



ey. huz

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

М.П. АЛЕКСЕЕВ

**ИЗБРАННЫЕ
ТРУДЫ**



М. П. АЛЕКСЕЕВ

**ПУШКИН
СРАВНИТЕЛЬНО-
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**



**Ответственные редакторы
Г. В. Степанов, В. Н. Баскаков**



**ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1984**

Том открывает «Избранные труды» академика М. П. Алексеева и включает пушкиноведческие работы. В этом составе книга «Пушкин. Сравнительно-исторические исследования» была опубликована в 1972 г. и удостоена академической премии им. В. Г. Белинского. Творчество Пушкина рассматривается автором в контексте истории мировой культуры.

Книге предпослана статья академика А. С. Бушмина и В. Н. Баскакова, являющаяся вступлением ко всей серии «Избранных трудов» М. П. Алексеева и характеризующая научный путь и исследовательские принципы ученого в целом.

Издание предназначено для специалистов-филологов и всех интересующихся творчеством Пушкина.

Редакционная коллегия:

В. Н. Баскаков, [А. С. Бушмин], Ю. Б. Вилнер, Р. Ю. Данилевский, П. Р. Заборов, А. В. Лавров (секретарь), Ю. Д. Левин, Г. П. Макогоненко, Г. В. Степанов (председатель), М. Б. Храпченко

Рецензенты:

В. Э. Вацуро, Н. Н. Скагов

Михаил Павлович Алексеев

ПУШКИН

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Утверждено к печати Отделением литературы и языка АН СССР

Редактор издательства *Л. М. Романова*. Художник *О. М. Разулевич*
Технический редактор *И. М. Кашеярова*
Корректоры *Е. А. Гинстлинг, Э. Г. Рабинович и К. С. Фридлянд*

ИБ № 21019

Сдано в набор 20.03.84. Подписано к печати 29.06.84. М-18461. Формат 60×90^{1/16}. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 30 + 0.12 вкл. Усл. кр.-отт. 30.06. Уч.-изд. л. 36.46. Тираж 20 000. Тип. зак. 1345. Цена 2 р. 50 к.

Издательство «Наука». Ленинградское отделение.
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука».
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.

А $\frac{4603010101-658}{042(02)-84}$ 366-84-III

© Издательство «Наука», 1984 г.



АКАДЕМИК М. П. АЛЕКСЕЕВ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Наука создается соединенными усилиями всех ученых, в ней работающих, но вклад каждого из них и роль его в научном процессе сегодняшнего дня, а впоследствии и в истории науки строго индивидуальны и определяются теми достижениями и открытиями, которые делаются или уже сделаны и оставлены ученым в наследие будущим поколениям. На всех этапах истории науки привлекают внимание современников и вызывают восхищение потомков те ее выдающиеся представители, которые силою своего ума и таланта, самоотверженностью труда определяют общие пути научного развития эпохи, олицетворяют крупнейшие завоевания отечественной науки, утверждают ее международный авторитет. Они будят движение научной мысли, создают школы и направления, определяют перспективы дальнейшего развития науки в целом или ее отдельных отраслей.

К числу таких ученых, деятельность которых открывает новые методы и пути исследования, расширяет области научных знаний, ведет к постижению общих закономерностей развития, принадлежит академик Михаил Павлович Алексеев (1896—1981). Как ученый, он ровесник советского литературоведения. Его первая научная работа по истории русской литературы появилась через несколько месяцев после Великой Октябрьской социалистической революции, а его последние труды выходят в свет и по сей день. Он был не просто ровесником советской литературной науки, свидетелем ее открытий и выдающихся достижений, но и одним из ее руководителей и крупнейших представителей, главой современного пушкиноведения и тургенеvedения, признанным руководителем советской школы сравнительного изучения литературы, выдающимся организатором и педагогом.

В сознании нашего современника М. П. Алексеев — выдающийся представитель советской литературной науки, но это не совсем точно: в его творчестве причудливо переплелись увлечения многими науками и многими видами искусства. В юношеские годы на первом плане была, конечно, музыка, ее история

и теории, исполнительство и композиция. Затем музыкальная критика и первые обращения к истории русской литературы: Пушкин и Тургенев, за ними Бестужев-Марлинский, Достоевский входят на страницы его трудов и остаются в его творчестве на многие годы, а Пушкин и Тургенев — навсегда. Немного позже — история английской литературы, вскоре ставшая профилирующей в научной и преподавательской работе Михаила Павловича, потом — все более и более захватывавшие его занятия сравнительным литературоведением, исследования взаимных отношений русской литературы с литературами Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, наконец, профессиональные выступления в области языкознания, истории музыки и живописи, великолепные образцы разысканий в одесском и сибирском краеведении. Трудно перечислить отрасли литературной и исторической наук, виды искусства, отмеченные исследовательской мыслью Михаила Павловича. Если в нашей современности при сказочно быстром развитии и дифференциации наук еще иногда появляются ученые-энциклопедисты, то академик М. П. Алексеев был их выдающимся и наиболее ярким представителем.

Занятие многими отраслями науки, увлечение разными видами искусства — одна из особенных черт творчества и личности Михаила Павловича, свидетельствующая об одаренности и талантливости его любознательной натуры, о широте интересов, а тем самым и о безграничности знаний, поражавшей при жизни ученого и продолжающей поражать всех, кто сегодня обращается к его трудам, кто ведет исследования в тех областях, в которых работал М. П. Алексеев. Знания его были действительно необозримы. Казалось, в мировой культуре или литературе не было такого явления, процесса, события, к которому не прикоснулся бы Михаил Павлович. Конечно, такое накопление знаний состоялось благодаря его одаренности, превосходной памяти, много способствовала этому окружающая среда — ведь Михаил Павлович был знаком и поддерживал отношения с множеством интереснейших людей в нашей стране и за ее рубежами, — но главное — это поразительное трудолюбие, от гимназических лет до конца дней его не покидавшее: последнюю статью он закончил и сам принес в Пушкинский Дом за день, а последнюю консультацию дал за час до смерти. Вся его жизнь — это подвиг труда. Результаты этого подвига служат и еще долго будут служить нашему народу, развитию науки и культуры которого была посвящена вся творческая деятельность академика М. П. Алексеева.

За семьдесят лет научной деятельности М. П. Алексеев обращался к тем явлениям литературы, которые дают простор для широких поисков и открытий, для определения ее общих закономерностей, для воссоздания целостной картины мирового литературного развития в его многообразии и единстве, во взаимной связи и обусловленности всех составляющих его национальных литератур.

Если собрать все труды М. П. Алексеева, написанные им с 1916 г., то получится редкостная по своей разносторонности библиотека, освещающая историю русской литературы в широком международном контексте, подчеркивающая величие отечественной литературы, ее выдающуюся роль в прошлом и настоящем человеческого общества и непреходящее значение для будущего литературного и культурного развития мира.¹

Судьбы и таланты ученых складываются по-разному. Одни быстро и уверенно находят свое истинное призвание, другие приходят к нему, преодолевая колебания, сомнения, противоречия. Сложным был путь в литературную науку и для М. П. Алексеева. Начавшийся в ранние юношеские годы, он во многом определялся той средой, в которой проходило детство, гимназические и студенческие годы будущего ученого.

М. П. Алексеев родился в семье, тесно связанной с культурным, научным и литературным развитием нашей страны. В кругу знакомых его семьи — Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, Д. И. Менделеев, А. П. Бородин, А. М. Бутлеров, К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко, прослеживаются связи его деда, профессора Киевского университета П. П. Алексеева с А. И. Герценом и И. С. Тургеневым. Постоянное общение с литераторами и учеными, книги, собранные в великолепных библиотеках деда и отца, увлечение в семье музыкой и живописью способствовали воспитанию художественного вкуса и любви к искусству, вели к первым опытам в музыкальной композиции и в музыкальной критике, в науке.

Многочисленные статьи М. П. Алексеева о музыкально-исполнительском искусстве в Киеве и Саратове позднее обусловили появление его историко-музыкальных исследований, в том числе и посвященных взаимосвязям музыкального искусства и литературы. «Музыка этих лет в Киеве была замечательная! Я писал о концертах Рахманинова, А. Гречанинова (я его знал лично, встречался с ним в салоне Кульженко), Цесевича, Воронеж и т. д. и т. д., — вспоминал впоследствии Михаил Павлович. — В оперном театре в 1916—1917 гг. у меня было свое постоянное место в партере, в 3 ряду, с медной пластинкой с моим именем, как музыкального рецензента».² К сожалению, выступления М. П. Алексеева на музыкальные темы не собраны, а между тем они представляют интересную страницу в тогдашней музыкальной критике. Они появлялись в «Саратовском вестнике» (1915—1916), в «Киевском музыкально-курьере» (1916), в «Южной газете» (Киев, 1917), в «Русском голосе» (Киев, 1918) и других

¹ Библиография трудов академика М. П. Алексеева издавалась дважды: Михаил Павлович Алексеев: Список научных печатных трудов / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1956, 35 с.; Михаил Павлович Алексеев. М., Наука, 1972. 128 с. (Материалы к библиографии ученых СССР); дополнения (1972—1975) см. в кн.: Сравнительное изучение литератур: Сборник статей к 80-летию акад. М. П. Алексеева. Л., 1976, с. 555—558.

² Вечерняя Одесса, 1981, 13 июля.

изданиях. Рецензии его отличались глубоким пониманием музыкального искусства, его теории и истории, умением живо и верно схватить особенности композиторского и исполнительского мастерства, правильно оценить их и умело ввести читателя в сложную атмосферу обозреваемого им музыкального явления.

М. П. Алексеев выступает как музыкальный критик и историк музыки в то время, когда советская музыкальная культура делает свои первые шаги. Поэтому неудивительно, что многие его выступления, лекции, критические статьи посвящены пропаганде первых достижений этой культуры, популяризации русского и зарубежного музыкального наследия. Интерес к музыке, зародившийся в детские годы, Михаил Павлович сохранил на всю жизнь. Незавершенность же ряда музыковедческих работ объясняется обращением к профессиональным занятиям литературной наукой, что со временем привело к конкретизации музыкальной проблематики и воплощению ее в той области, которая посвящена взаимоотношениям искусства и литературы.

В научном наследии М. П. Алексеева главное отыскать трудно: он с одинаковым успехом работал в разных, порою далеких друг от друга областях литературной науки. Исследования по истории английской литературы создавались одновременно с пушкиноведческими и тургеневедческими, труды по сравнительному литературоведению следовали за статьями по истории искусства, выступления о задачах современной науки сменялись блестящими работами о мировом значении русской литературы.

Первым своим литературоведческим выступлением сам Михаил Павлович считал небольшую книжечку «И. С. Тургенев и музыка», в 1918 г. изданную в Киеве. Потом он занялся историей английской литературы. Именно по этой специальности с 1920 г. он стал профессорским стипендиатом Новороссийского (Одесского) университета, где проходил подготовку под руководством известного англиста профессора В. Ф. Лазурского — и на протяжении всей своей жизни занимался изучением и преподаванием истории английской литературы и ее русских связей.

В занятиях Михаила Павловича иностранными литературами есть одна примечательная особенность. Явления литературной жизни Запада он почти всегда рассматривал в их сравнении с фольклором, с живописью и музыкой, с литературным движением той страны, которой оно принадлежит, с литературами других стран и народов. Это полностью относится и к английской литературе. Правда, Михаилу Павловичу принадлежит ряд глав в «Истории английской литературы» (1943) и в «Истории французской литературы» (1946), но внимание его всегда привлекали наименее изученные периоды, процессы, явления в этих литературах. Творчество Байрона он изучает в его связях с фольклором и современной поэту литературой, в «Утопии» Томаса Мора исследует славянские источники, к наследию Теккерея приходит через изучение его рисовального искусства. Умение правильно определить в истории литературы неизведанную в и то же

время существенную в ее развитии область, пацти оригинальный подход к ней исследовательской мысли, наиболее полно и глубоко вскрывающий закономерности и характер процесса, в ней совершающегося, всегда было свойственно М. П. Алексееву и воплощалось им безошибочно. Сочетание этого умения с искусством анализа и четкостью аргументации, основанной на широчайшем круге источников, как правило впервые вводимых Михаилом Павловичем, придает его работам особую свежесть: сегодня, например, статьи о сибирских мотивах в романе Даниэля Дефо или исследование о немецком поэте П. Флеминге в Новгороде XVII в. служат литературной науке столь же действенно и читаются с таким же интересом, как и в момент их первой публикации.

Как мы уже сказали, определить преимущественную область научного творчества М. П. Алексеева невозможно или по крайней мере сложно, но главный труд — труд всей его жизни — принадлежит все же англистике. В 1922 г. появилась статья Михаила Павловича «Ф. М. Достоевский и книга Де-Квинси «Confessions of English Opium-Eater», первая его работа по истории англо-русских литературных связей, а за несколько дней до смерти он подписал последнюю корректуру огромного труда «Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века)», составившего 91-й том «Литературного наследства» и представляющего собою итог многолетней деятельности ученого в этой области. И не только итог, но и образец исследования отношений двух народов, постоянно связанных между собою в сфере литературного творчества.

Эта работа М. П. Алексеева написана в историко-биографическом ключе. В ней проявились лучшие черты исследовательского дарования автора: искусство разыскания и комментирования, филигранная точность сравнительного анализа, умение частные явления и факты представить в системе, которая раскрывает общие закономерности литературного процесса. В сферу изучения входят целые эпохи, выдающиеся писатели и поэты той и другой нации — Байрон и Пушкин, Вальтер Скотт и Денис Давыдов, Лермонтов и Томас Мур, дипломаты, путешественники, переводчики, журналисты России и Англии, театральная и музыкальная жизнь этих стран, политические отношения, наконец, весь литературный быт времени. Удивительно широк круг охватываемых явлений, еще более поразительно их сочетание в общем процессе взаимосвязей словесной культуры английского и русского народов, которые приводят к мысли о необходимости дальнейшего исследования и распространения его на другие эпохи в истории литературного развития Англии и России. «Только один человек и мог создать этот труд — Михаил Павлович Алексеев», — написал рецензент.³ И написать это он имел бесспорное право: пройдут годы, может быть десятилетия, пока

³ Литературное наследство. М., 1982, т. 91, с. 10

в литературной науке появится новый подвижник, подобный Михаилу Павловичу. А пока обязанность коллег и учеников Михаила Павловича завершить второй том этой работы, продуманный и в значительной части им написанный.

Но все же не английская литература, а история мировой литературы, к которой чаще других обращался М. П. Алексеев, в ее диалектическом единстве и взаимосвязи отдельных составляющих ее национальных литератур, представляла собою цель его исследовательской деятельности. Ее практической и теоретической подготовке он и посвятил всю свою жизнь. Поэтому неудивительно, что в поле его зрения, помимо англоязычных литератур, находились литературы Франции, Германии, Испании, скандинавских и славянских стран. Обращаясь к ним преимущественно в аспекте их связей с русской литературой, Михаил Павлович, во-первых, исследует те моменты и явления этой истории, которые помогают в определении общих закономерностей в развитии отношений этих литератур с литературой русской, во-вторых, он выбирает самый сложный, но и наиболее перспективный путь в исследовании, трудясь в совершенно незатронутых наукой областях, либо касаясь тех проблем, которые ранее истолковывались ошибочно и тем самым закрывали пути для последующего развития научной мысли, наконец, в-третьих, он ведет исследование преимущественно прогрессивных и демократических явлений в зарубежных литературах, которые ярко отразились в формировании взаимоотношений их с русской литературой и имели первостепенное значение в этом процессе.

Выступая первооткрывателем неизвестных ранее закономерностей в литературной истории, М. П. Алексеев вводит в науку целые отрасли, эпохи, направления, ранее, казалось бы, изучению с точки зрения истории литературных взаимосвязей не подлежащие. Возьмем для примера испанскую часть творческого наследия М. П. Алексеева. Русско-испанские связи до него почти не привлекали внимания: исторически эти страны были очень разобщены и ученые не видели перспективы в изучении их литературных отношений. Представления изменились, едва к ним обратился Михаил Павлович. В 1937 г. он впервые выступил по этому вопросу со статьей «Тургенев и испанские писатели», в 1940-м напечатал «Этюды из истории испано-русских литературных отношений», за которыми последовали статьи о русской литературе в мадридском «Атенео» в 1860-е гг. (1947), об изучении испанской литературы в Петербургском—Ленинградском университете (1947), наконец в 1948 г. он печатает работу о «Письмах об Испании» В. П. Боткина и замечательную по искусству разыскания и методам исследования статью «К литературной истории одного из романсов в „Дон Кихоте“». Эти работы М. П. Алексеева в совокупности представляют собою своеобразный очерк важнейших моментов испано-русских литературных отношений от их возникновения до 1870-х гг. В советской науке они стали основой испано-русских исследований в современной

компаративистике, а книга «Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв.» (1964) переведена на испанский язык и ее автор избран членом-корреспондентом Испанской Королевской Академии.

Французская литература и ее русские связи интересовали М. П. Алексеева с давних пор. Начав с небольших статей о французских писателях (Пьер Дюпюи, Савиньен Лепуант, Огюст Барбье) и переводов с французского (А. Ренье), он обращается к важнейшим проблемам взаимных литературных связей французского и русского народов. Появляются его исследования «Бернарда и русская песня» (1933), «Виктор Гюго и его русские знакомства» (1937), «Вольтер и русская культура XVIII века» (1947), «Библиотека Вольтера в России» (1961) и др. И каждая работа — событие в науке, открытие, порою сенсация. Высочайшая оценка трудов М. П. Алексеева в этой области — избрание его почетным доктором в университетах Парижа и Бордо.

Английские, испанские и французские связи, конечно, увлекали Михаила Павловича больше, чем русские отношения других литератур, в том числе немецкой, американской, итальянской, польской и др. Тем не менее он часто обращался и к этим литературам. Не пытаясь создать общей картины их отношений с русской литературой, он занимался изучением конкретных вопросов этого процесса, в науке ранее не рассматривавшихся, но имевших особое значение для дальнейшего развития историко-литературных и сравнительно-исторических исследований. В немецкой литературе его интересовали П. Флеминг, Гете, А. Шамиссо, в итальянской — Данте, в американской — Лонгфелло, Марк Твен, в славянских — Мицкевич, Я. П. Иордан. Все исследования М. П. Алексеева, посвященные разным литературам мира, его обращения к многим видам искусств, изучение взаимосвязей литературы с фольклором, с точными науками, с философскими, этическими, религиозными, политическими и экономическим представлениями народов, подтверждают и развивают его мысль о диалектическом единстве мирового литературного процесса, о теснейшей связи и зависимости этого процесса от создающей его и владеющей им действительности.

Во всех работах Михаила Павловича, посвящены ли они зарубежным литературам, проблемам искусства, языковедения или истории, присутствует русская литература, она предстает в его исследованиях в самых разных эпохах своего исторического развития. Кажется, что для М. Павловича в ее истории не существует географических и хронологических границ, настолько широк диапазон его научных интересов и знаний — то он изучает явления гуманизма в литературе и публицистике русского средневековья, то находит иностранные параллели к «Поучению» Владимира Мономаха, то рассматривает незаконченную драму Гоголя «Альфрид» с точки зрения отразившейся в ней англосаксонской действительности, то выявляет источники поэмы В. К. Кюхельбекера «Семь спящих отроков».

Касаясь разных эпох в литературном развитии русского народа, Михаил Павлович от начала творческого пути до конца своих дней занимался изучением наследия и биографии Пушкина и Тургенева. С Пушкиным и Тургеневым он не расставался никогда. Первый привлекал его универсальностью своего творчества, ни с чем не сравнимой широтой интересов и знаний, поэтическим гением, второй — выдающимися заслугами в пропаганде на Западе достигшей отечественной культуры и литературы, писательским авторитетом и широтой литературных отношений, связывавших его с художественным развитием разных стран и народов. И Пушкин, и Тургенев — писатели поистине мирового звучания, и в исследованиях Михаила Павловича именно они выступают на первый план при решении проблемы мирового величия русской литературы. Можно сказать, что в научной деятельности М. П. Алексеева они связывают зарубежное и русское направления, делая ее предельно последовательной и целеустремленной.

Пушкин... Множество русских и зарубежных исследователей обращалось к его наследию, но никто не пытался еще вписать его конкретно в культурную, литературную, научную жизнь русского общества, никто не пытался представить великого поэта в теснейших связях с разнообразнейшими проявлениями тогдашней действительности более, чем это сделал М. П. Алексеев. По его собственному признанию, он «всегда одушевляем был той мыслью, что творчество великого русского поэта следует изучать на фоне и в тесной связи с историей мировой культуры, потому что и сам он представляет собою явление широкого исторического значения, переросшее национальные и языковые границы».⁴ Исходя из этого М. П. Алексеев изучает Пушкина на широком фоне мировой литературы и в сопоставлении со многими ее выдающимися явлениями, а также в его связях с современными наукам, с общественным и техническим прогрессом в России. Не требуется кропотливых разысканий для подтверждения высказанных положений, достаточно назвать несколько крупнейших в этой области работ Михаила Павловича: «Пушкин и наука его времени», «Пушкин и проблема „вечного мира“», «Пушкин и Шекспир», «Легенда о Пушкине и Вальтере Гете»... Все эти и ряд других работ вошли в известную книгу М. П. Алексеева «Пушкин. Сравнительно-исторические исследования» (1972 г.), удостоенную академической премии имени В. Г. Белинского (1975 г.), повторение которой, публикуемое ныне, и начинается «Избранные труды» М. П. Алексеева.

Непревзойденным примером всестороннего исследования поэтического произведения в советском литературоведении стала книга М. П. Алексеева «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг...“» (1967). Эта книга — совсем не библиографиче-

⁴ Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., Наука, 1972, с. 3.

ский обзор мнений критики и русской общественной мысли о знаменитом стихотворении Пушкина. Она прежде всего — исследование происхождения стихотворения в самом творчестве великого поэта, построенное на материалах, ранее неизвестных, изучение его творческой истории и судьбы в русской и зарубежной литературной среде. В ней с предельной полнотой раскрылись лучшие качества М. П. Алексеева как выдающегося пушкиниста, умеющего на примере одного стихотворения ставить и решать сложнейшие проблемы современного пушкиноведения. Критический пересмотр ранее существовавших суждений, ювелирная обработка и включение в научный процесс новой литературно-исторической документации позволили по-новому взглянуть на обстоятельства возникновения пушкинского стихотворения и его роль в творчестве поэта и в современной ему литературе.

Михаил Павлович жил и работал в ту эпоху, когда в советском литературоведении осуществлялось активнейшее освоение наследия Пушкина, когда в этой отрасли литературной науки работали пушкинисты высочайшей квалификации, такие как П. Е. Щеголев, М. А. Цявловский, Б. Л. Модзалевский, Д. П. Якубович, Б. В. Томашевский, Н. В. Измайлов и др., его учителя, коллеги и сотрудники, наконец, его ученики. И в этой блестящей пушкиноведческой плеяде он впоследствии стал одним из выдающихся представителей, сумевших вывести пушкиноведение на новый этап его развития, качественно новый и обладающий широкими творческими перспективами. Михаил Павлович участвовал в создании советского пушкиноведения как организатор, как ученый, как педагог. По его инициативе в 20-е гг. развертывалось изучение Пушкина в Одессе, читались первые лекционные курсы, создавался «Словарь одесских знакомых Пушкина», выходило серийное издание «Пушкин. Статьи и материалы», прекратившееся с отъездом Михаила Павловича в Иркутск. Здесь сказалась и его дружба со старожилом Одессы и страстным поклонником Пушкина А. М. де Рибасом, поддержка со стороны крупнейших историков литературы тех лет Л. П. Гроссмана, Н. Л. Бродского, Б. Л. Модзалевского.

Двадцать лет спустя, уже в Ленинграде, он выступает инициатором Всесоюзных Пушкинских конференций и поныне представляющих научный форум для пушкинистов всей страны, ведет большую исследовательскую и консультационную работу в пушкиноведении, в 1959 г. становится Председателем Пушкинской комиссии Академии наук СССР и признанным главою всего советского пушкиноведения. И главою подлинным: ни одно пушкиноведческое мероприятие не осуществлялось без его совета или консультации, ни одно крупное исследование не начиналось без предварительного обсуждения с ним, а сколько музеев, мемориальных досок, памятников Пушкину и писателям его поры было открыто при содействии Михаила Павловича и возглавляемой им комиссии! Впрочем, заглянем в разноцветные книжки «Времен-

ника Пушкинской комиссии», основанного и выпестованного Михаилом Павловичем, и пушкиноведческая деятельность его и возглавляемой им Комиссии предстанет во всей ее неутомимости, многообразии и кипучести.

Пушкину в творчестве М. П. Алексеева всегда сопутствовал И. С. Тургенев. И когда сейчас листаешь труды Михаила Павловича, обращаешься к его деловым записям и наброскам, просматриваешь его библиотеку, то кажется, что он всю жизнь, чуть ли не с гимназической скамьи, готовился к тому, что было осуществлено лишь в 60—70-х гг., — к созданию академического издания сочинений и писем И. С. Тургенева. Тургенев всегда привлекал Михаила Павловича как пропагандист русской литературы на Западе, биография и творчество которого давали ему возможность для постановки целого ряда проблем, касающихся распространения и восприятия русской литературы за рубежами нашей страны и ее мирового значения. И здесь интересы М. П. Алексеева как компаративиста и исследователя процесса проникновения русской литературы на Запад переплелись с его прямым интересом к творчеству Тургенева, особенно к его эпистолярному наследию, и к биографии писателя. Он очень внимательно следил за всем, что издается о Тургеневе, особенно за рубежом, собирал в своей библиотеке иностранные издания его произведений, публикации писем, переписывался с советскими и зарубежными тургеноведами, советовал, консультировал, помогал. Для Михаила Павловича это был постоянный поиск, напряженный и увлекательный, поиск длиною в жизнь: в 1948 г. — первая работа о Тургеневе, в 1981-м — оставшийся на столе учебного комментарий к особенно им любимым «Стихотворениям в прозе», предназначенный для переработки.

Главный результат этого поиска, осуществленного М. П. Алексеевым, его сотрудниками и коллегами, — Полное собрание сочинений и писем И. С. Тургенева, поражающее своей фундаментальностью, новизной и полнотой отражения в нем творчества, личности, мировоззрения художника, и сегодня выходящее вторым, исправленным и существенно дополненным изданием. В отечественной текстологии и издательской практике — это первый опыт столь грандиозного издания, которое составлялось соединенными усилиями ученых разных стран. Михаилу Павловичу удалось объединить вокруг издания подлинно интернациональный коллектив ученых-тургеноведов. Оно стало не только значительным этапом в истории советского тургеноведения, но и в очень большой степени способствовало становлению и развитию тургеноведческих исследований за рубежом нашей страны.

В тургеноведении ярко проявилась многоплановость интересов Михаила Павловича. Начав исследование с выяснения музыкальных вкусов и увлечений писателя, он занялся собиранием и публикацией его эпистолярного наследия, изучал отношения Тургенева с испанскими литераторами, прослеживал его связи

в Германии и Франции, ставил и решал проблемы мирового значения Тургенева. До сих пор памятен его доклад на юбилейной сессии в Орле «Мировое значение „Записок охотника“», который стал одним из значительных шагов на пути решения важнейшей для нашей науки проблемы мирового значения отечественной литературы. Тургенев и необходим был Михаилу Павловичу как пропагандист русской литературы на Западе, как звено, связующее русскую литературу с мировым литературным развитием, но для полного раскрытия этой роли Тургенева необходимо было тщательнейшее обследование его переписки. Поэтому издание сочинений и писем Тургенева М. П. Алексеев рассматривал не как итог изучения его биографии и творчества, а как переходный этап к широкому изучению взаимосвязей русской литературы с зарубежными литературами и участия в этом процессе Тургенева. И действительно, после выхода в свет Полного собрания сочинений и писем Тургенева значительное развитие, у нас и за рубежом, получила не только та отрасль литературной науки, которая занимается наследием писателя — серьезное оживление произошло в сфере сравнительного литературоведения, которое пополнилось новым и принципиальным для дальнейших исследований материалом.

Не чужды были М. П. Алексееву и языковедческие проблемы. С увлечением он занимается, например, историей русского языка, также в сравнительном плане. В Англии известна его статья «Английский язык в России и русский язык в Англии» (1944). Многие годы Михаил Павлович собирал материал для фундаментальной монографии «Русский язык в мировом культурном обиходе», часто обращался к ней, писал и дополнял написанное, но закончить книгу не успел. Он поставил проблему, приступил к ее решению, завершать которое — его коллегам и ученикам.

Научная деятельность М. П. Алексеева во всех областях, в которых ему приходилось работать, неотделима от его организаторской деятельности. Человек энциклопедических знаний, высокой культуры и образованности, он обладал умением привлекать к себе людей, заражать их своей поистине неуемной энергией и осторожно, умело, без назойливого нажима вводить их в науку, организуя и направляя их деятельность в соответствии с запросами и требованиями времени. Его опыт работы с коллективом, навыки организационной деятельности складывались постепенно и совершенствовались на протяжении всей его жизни, от первых опытов организации музыкальной жизни Киева в 1918 году до их высшего выражения в его работе на посту Председателя Международного комитета славистов. В Одессе он — один из инициаторов и организаторов Пушкинской комиссии, в Иркутске — заведующий кафедрой, в Географическом обществе Сибири — энтузиаст изучения истории и литературы Сибири. С переездом в 1933 г. в Ленинград расширяется и область его организационных забот как в высших учебных заведениях города, так и в Академии наук. Он заведует кафедрой всеобщей

литературы Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена (1938—1942), кафедрой западноевропейских литератур Ленинградского университета (1942—1945, 1951—1960), наконец, становится деканом филологического факультета этого университета (1945—1947, 1950—1953) и директором Филологического института при нем (1947—1949). В это время — в предвоенные и первые послевоенные годы — педагогическая работа в деятельности Михаила Павловича становится основной. По приглашению В. Ф. Шишмарева он читает лекции по английской литературе в Ленинградском университете, где в то время вели свою научную и педагогическую работу такие известные исследователи западных литератур, как В. М. Жирмунский, А. А. Смирнов, Б. А. Кржевский, С. С. Мокульский. Талантливый и многоопытный педагог, искусный лектор, М. П. Алексеев хорошо понимает задачи, цели и перспективы сложнейшей работы по подготовке филологических кадров в стране. Литературной науке, как и народному образованию, постоянно требуются квалифицированные кадры, обладающие высокой общей и филологической культурой. Только умелая постановка высшего образования в области литературной науки может гарантировать ей успешное развитие в будущем, а это в послевоенные годы, после понесенных наукой потерь, было главным. И главному отдаются все силы, опыт, знания.

Искусство лектора у М. П. Алексеева начало формироваться еще в Киеве, когда он с большим успехом выступал с лекциями или их циклами на музыкальные и историко-музыкальные темы. Успех этих выступлений уже тогда свидетельствовал о незаурядных лекторских данных Михаила Павловича, для которого было характерным умение установить контакт с аудиторией, порою ему совсем неизвестной, сделать лекцию содержательной, искусно выделив и подчеркнув главное, и блестящей по своему внешнему оформлению. Знание же разных видов искусств и литератур разных народов позволяло делать ее не просто интересной, а захватывающей. Его аудитория всегда была полна, и слушали его не только филологи, но и люди, к филологии имеющие отдаленное отношение. Привлекали талант, эрудиция лектора, а главное — развертывающаяся в лекции живая панорама литературы, увлекательная и поразительная. Михаил Павлович умел заинтересовать, вдохновить. И за ним шли, у него учились, ему верили и следовали. Постепенно складывалась школа М. П. Алексеева, которая в истории зарубежных литератур и в сравнительном литературоведении продолжает работать и сегодня.

Пушкинский Дом — особая любовь Михаила Павловича. Сюда он пришел в 1934 г. и с тех пор Институт русской литературы Академии наук СССР стал и его домом. С ним связаны крупнейшие творческие замыслы и сложнейшие организационные работы М. П. Алексеева. Здесь он в 1946 г. стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1958 — ее действительным членом. Историю Пушкинского Дома за последние пятьдесят лет

невозможно представить без Михаила Павловича, как и невозможно и его деятельность рассматривать вне связи с Пушкинским Домом. Ведь многие этапы его истории, особенно послевоенной, определялись деятельностью М. П. Алексеева, его учеников, коллег, соратников.

Придя в Пушкинский Дом, Михаил Павлович много работал в области истории филологических наук, вместе с В. Ф. Шишмаревым и В. М. Жирмунским готовя к изданию сочинения выдающегося русского филолога А. Н. Веселовского. Михаил Павлович всегда любил вспоминать эти полные напряженного труда годы, восстанавливать по памяти обстоятельства этой всегда его интересовавшей работы. Ведь сколько энтузиазма, знания, любви было вложено в нее тогда и как она была бы полезна нашему литературоведению сегодня! Мысль о необходимости издания сочинений А. Н. Веселовского не оставляла ученого до самых последних дней, и эта мысль была отражением насущных запросов и сегодняшней филологической науки.

В предвоенные годы Михаил Павлович принимал участие в подготовке «Истории английской литературы» и «Истории французской литературы», которые в то время создавались под руководством В. М. Жирмунского в Секторе западноевропейских литератур Пушкинского Дома. В научном творчестве М. П. Алексеева эти работы занимают особое место, являясь единственными его выступлениями в этом сложном и ответственном жанре. Почти четыре десятилетия прошло с тех пор, а главы по истории средневековой английской литературы, написанные им, составляют свое научное и педагогическое значение и сейчас переиздаются вновь.

Сказать, что Михаил Павлович работал в каком-то определенном секторе Пушкинского Дома, будет не совсем точно. Михаил Павлович принадлежал всему Пушкинскому Дому. В Пушкинском Доме осуществлялись его замыслы, здесь он возглавлял работу по сотрудничеству с зарубежной наукой, был инициатором и вдохновителем многих пушкиноведческих и тургеневедческих начинаний, долгое время руководил научной деятельностью института на посту заместителя его директора. Однако любимым его детищем был все же основанный им в 1956 г. Сектор взаимосвязей русской литературы с зарубежными, которым он заведовал на протяжении четверти века. Раньше в нашей стране не было научного центра, специально занимающегося сравнительным литературоведением. М. П. Алексеев создал его в Пушкинском Доме. К этому времени сам он стал признанным главой этого направления в науке — возникновение сектора объединило разрозненные силы советских специалистов, работающих в области сравнительного литературоведения, стимулировало подготовку кадров и обозначило начало систематических работ по исследованию двустороннего процесса восприятия литератур.

Если попробовать подвести итоги деятельности этого сектора, то можно сказать, что 25 лет его работы были подготовительным

этапом к переходу советского сравнительного литературоведения от частных работ к большим обобщающим исследованиям, посвященным всестороннему изучению взаимосвязей литератур, а также историко-литературному и теоретическому освещению процесса восприятия иностранных литератур на русской почве в целом или его отдельных моментов (история перевода в России, история изучения иностранных литератур в дореволюционном и советском литературоведении и др.). В секторе создана серия трудов о распространении и восприятии зарубежных литератур в нашей стране в XVIII и XIX вв. Здесь же подготовлен ряд трудов о взаимных отношениях русской литературы с литературами славянских народов, труды о многоязычии и литературном творчестве, о русских источниках в западноевропейских литературах. Вдохновителем, бессменным консультантом и редактором всех этих исследований был М. П. Алексеев. Центральной работой сектора, которая сразу же привлекла внимание научной общественности, советской и зарубежной, явилась коллективная монография «Шекспир и русская культура» (1965). В то время она стала не только центральной в деятельности сектора, но и в наиболее полном виде отразила характер, направление, методологические принципы проводимых здесь исследований. В ней же опубликованы исследования М. П. Алексеева «Первое знакомство с Шекспиром в России», «Пушкин и Шекспир», «Шекспир и русское государство XVI—XVII вв.». Как и последний труд М. П. Алексеева «Русско-английские литературные связи. XVIII—первая половина XIX века» (М., 1982), так и ранее созданная под его руководством коллективная монография «Шекспир и русская культура» знаменуют собою этапы в изучении литературных и культурных отношений русского и английского народов и обеспечивают условия для дальнейшей работы в этой области, для создания подлинной многосторонней и систематической истории русско-английских литературных связей, которая во многих своих звеньях, этапах, эпизодах исследована в трудах М. П. Алексеева и его сотрудников.

Благодаря Михаилу Павловичу в Пушкинском Доме на протяжении многих лет велись исследования в области русско-славянских литературных отношений. Этот цикл осуществлялся здесь еще и потому, что руководивший работой М. П. Алексеев был одним из виднейших организаторов отечественного и международного славяноведения: с 1959 года — он заместитель Председателя Советского комитета славистов, с 1970 — его Председатель, а на VIII Международном съезде славистов в 1978 г. его избирают Председателем Международного комитета славистов. Работу, которую Михаил Павлович проводил, организуя съезды славистов и участие в них советского славяноведения, можно назвать вдохновенной. О международной славистике, об изучении русской литературы за рубежом он мог говорить часами. Впечатления и гипотезы, сомнения и предположения сменяли друг друга, исчезали и возникали вновь, наконец, представляли в его беседах,

выступлениях, консультациях в виде стройпой и законченной системы, устремленной к одной цели — к осознанию великой роли русской литературы в строительстве мировой культуры, к пропаганде и изучению ее за рубежами отечества.

Как изучается русская литература за рубежом, где изучается и кто ее изучает — он знал так, словно это изучение осуществлялось где-то рядом и сам он принимал в нем участие. Широкие деловые связи с иностранными русистами, особенно при подготовке съездов славистов, обширнейшая переписка, обмен научными изданиями, частые поездки за рубеж и выступления там с докладами и лекциями — все это Михаил Павлович вел до последних дней своей жизни. В 1980 г., уже больной, он участвует в подготовительном заседании к IX Международному съезду славистов, которое состоялось в Цюрихе (Швейцария), и там же выступает с докладом о русско-швейцарских литературных связях, тем самым вводя в литературную науку новую проблему, ранее не ставившуюся и не решавшуюся.

Михаил Павлович не только отлично знал все нюансы в развитии зарубежной русистики, но пользовался непререкаемым и заслуженным авторитетом в научном мире Запада. Об этом свидетельствует избрание его почетным доктором многих иностранных университетов, академий, научных обществ. Оксфорд и Париж, Ростов и Познань, Будапешт и Бордо присвоили ему звание почетного члена своих университетов, Британская и Испанская академии избрали его членом-корреспондентом, Сербская академия наук и искусств — иностранным членом; в небольшом списке почетных членов огромной Американской ассоциации современных языков значится и его имя. Представляя советскую литературную науку на международных форумах и совещаниях, академик М. П. Алексеев утверждал ее авторитет, пропагандировал ее достижения и всей своей деятельностью, научной, общественной, организационной, утверждал подлинный интернационализм в изучении мирового литературного процесса, способствовал сближению и дружбе народов, сохранению и упрочению мира. В этом непреходящее значение роли ученого, в этом бесспорная ценность его творческого наследия, в этом его огромный вклад в развитие русской и мировой культуры и науки.

В. Н. Баскаков, А. С. Бушмин





*Книгу эту посвящаю
моей жене
Нине Владимировне
Алексеевой*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Собранные в настоящей книге исследования, статьи и заметки о Пушкине были написаны и опубликованы автором между 1919—1970 годами, т. е. в течение более чем пятидесяти лет. Здесь они появляются в заново просмотренном и дополненном виде. Все они очень отличаются друг от друга и по своему объему и по характеру литературных материалов, привлеченных в них для сопоставления с различными произведениями Пушкина. Кроме того, они несут на себе следы разновременности своего возникновения, хотя автор пытался устранить по возможности подобные хронологические приметы из их текста или, напротив, подчеркивал их особо, когда это казалось ему существенным с исторической точки зрения. Тем не менее все предлагаемые работы разных лет все же проникнуты известным единством, позволившим автору снабдить заглавие объединяющим их подзаголовком: «Сравнительно-исторические исследования».

В самом деле: занимаясь Пушкиным, автор на всем протяжении указанных десятилетий всегда одушевляем был той мыслью, что творчество великого русского поэта следует изучать на фоне и в тесной связи с историей мировой культуры, потому что и сам он представляет собою явление широкого исторического значения, переросшее национальные и языковые границы. Всеобъемлющий и необыкновенный по своему масштабу и универсальности гений Пушкина может быть понят, — как это мне уже приходилось отмечать не раз,¹ — только после многих и длительных усилий, которые мы должны затратить на то, чтобы сопоставить его творчество с различными и разновременными явлениями в мировой литературе. Нет, вероятно, ни одного боль-

¹ Могу сослаться здесь на такие свои работы, как «Пушкин на Западе» (в кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. 3, с. 104—151); выступление на тему «О мировом значении Пушкина» в московской дискуссии 1960 г. (см. в кн.: Взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур: Материалы дискуссии. М., 1961, с. 362—365), «Разноязычный Евгений Онегин» (в кн.: Мастерство перевода. М., 1965, с. 273—286) и др.

шого или мелкого произведения Пушкина, которое не стоило бы поставить в связь с тем или иным памятником западноевропейской мысли, — чтобы такое сопоставление или прояснило ту или другую личную особенность Пушкина как писателя, или подчеркнул всю его самостоятельность и творческую зрелость.

Чрезвычайной широте умственного кругозора Пушкина и глубине его познаний удивлялись его современники. Изучение этих его сведений и их разнородных источников, в частности в области западноевропейских литератур за несколько столетий, еще далеко не закончено и требует новых, дополнительных разысканий. В данном сборнике статей разыскания этого рода ведутся по преимуществу с мало изученных сторон; поэтому общие полученные автором результаты его исследований не должны считаться ни исчерпывающими, ни даже систематическими.

В творческом наследии великого поэта драгоценна каждая строчка, каждый черновой набросок: поэтому читатель не должен удивляться тому, что в данной книге наряду с важнейшими произведениями Пушкина изучаются также его неосуществленные замыслы или еще недостаточно истолкованные загадочные записи и фрагменты.

В настоящем сборнике объединены далеко не все статьи автора, посвященные Пушкину, и даже не все из тех его работ, которые он мог бы считать более существенными. В сборник, например, не вошли, — как слишком громоздкие по своему объему, — «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг“», «Пушкин на Западе» и ряд других. Все публикуемые статьи исправлены и дополнены новыми данными и соображениями.

Все цитаты из текстов Пушкина, находящиеся в этой книге, даются по «Полному собранию сочинений Пушкина» (тт. I—XVI, изд. Академии наук СССР, М.; Л., 1937—1949), если цитируемое издание не оговорено особо. За немногими исключениями на это издание переведены также ссылки и в тех статьях, которые появились в печати до выхода в свет большого академического издания. Для упрощения многократных ссылок они делаются непосредственно в тексте, а не в особых примечаниях, в такой форме: том (римскими цифрами), страница (арабскими); год выхода в свет этого тома не указывается. В заключительном отделе («Библиографические справки») можно найти указания на книги, сборники и периодические издания, в которых отдельные статьи, составляющие эту книгу, увидели свет впервые.

Ленинград, 1971





ПУШКИН И НАУКА ЕГО ВРЕМЕНИ

Многосторонность и всеобъемлющий характер творчества Пушкина, изумительная широта, с которой сумел он охватить своим умственным взором всю современную ему действительность, засвидетельствованы давно и неоднократно подвергались специальному обсуждению. Еще Белинский отмечал, что поэзия Пушкина «проникнута насквозь действительностью»,¹ подчеркивая кипучую стремительность русского культурного развития в те годы, когда зарождалось, складывалось и мужало творчество великого русского поэта. «...Пушкин откликнулся на все, в чем проявлялась русская жизнь; он обозрел все ее стороны, проследил ее во всех степенях», — писал Добролюбов.² Эти слова, исходившие от людей, близких к поколению самого Пушкина, имеют силу исторических свидетельств, тем более интересных, что они сказаны проникательными критиками лишь на основании изучения творчества Пушкина, знакомого им с гораздо меньшей полнотой, чем оно известно нам сейчас.

Но и ближайшие современники Пушкина, находившиеся с ним в личном общении и имевшие возможность непосредственно наблюдать за самым методом его творческого восприятия действительности, утверждали то же самое. Таково, например, свидетельство Гоголя, которое можно было бы считать своего рода лирическим преувеличением, если бы оно не было окружено другими ясными и точными свидетельствами по этому же поводу. Гоголь писал о Пушкине: «На все, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней».³ Друзья Пушкина, удивляясь его гениальной творческой восприимчивости, способной

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Пгр., 1917, т. XI, с. 395.

² Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1934, т. I, с. 114.

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Л., 1952, т. VIII, с. 380—381.

понять все то, что хотя бы случайно оказалось доступным его наблюдению и вниманию, пытались найти объяснения этому всех поражавшему явлению и указывали прежде всего на исключительную емкость и цепкость его памяти как на основу, незыблемый фундамент его могучего творческого ума. «Природа, кроме поэтического таланта, наградила его изумительной памятью и пронырливостью, — писал о Пушкине П. А. Плетнев. — Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь».⁴ У нас действительно есть множество указаний относительно того, что Пушкин запоминал сказанное, слышанное, промелькнувшее в его уме — все и навсегда. «Помилуй! что у тебя за дьявольская память?.. — писал Д. В. Давыдов Пушкину 4 апреля 1834 г., — когда-то на лету я рассказал тебе ответ мой о М. А. Нарышкиной... ты слово в слово поставил это эпитафией в одном из отделений Пиковой Дамы» (XV, 123). Анна Семеновна Сиркур (рожденная Хлюстина), говоря о последних своих встречах с Пушкиным в 1836 г. (письмо от 23 декабря 1837 г.), рассказывала, что «его ум, отличавшийся способностью угадывать все, что могло быть воспринято только с помощью интеллекта», поразил ее так же, как и «тот поэтический облик, который бессознательно придавала всякой вещи его воспринимаящая мысль».⁵

Все сказанное подтверждает лишний раз, что потребность знать Пушкина как можно шире и глубже в разнообразных проявлениях его гения и во всех возможных отношениях к окружающей его действительности определяет одну из задач нашего пушкиноведения. Нельзя сказать, чтобы эта задача не привлекала к себе исследователей: медленно, шаг за шагом, но все отчетливее вырисовываются перед нами отдельные детали интересующей нас картины. Мы представляем себе теперь, хотя все еще с недостаточной полнотой, разнообразные отношения, связывавшие творчество Пушкина с русским и западным искусством его времени. Все более увлекательными становятся разыскания об отношении Пушкина к гуманитарному знанию: Пушкин-историк, филолог-лингвист, этнограф или даже экономист все чаще становится предметом новых статей и исследований.⁶

⁴ Плетнев П. А. Сочинения и переписка. СПб., 1885, т. I, с. 366.

⁵ Hoffman M. Le Musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris. Paris, 1926, p. 35—36.

⁶ Напомним, что, когда в начале 1930-х гг. П. Е. Щеголев опубликовал статью «Пушкин-экономист» (Известия, 1930, 17 января), она показалась многим и неожиданной, и неоправданной, а между тем в настоящее время экономические воззрения Пушкина стали предметом немаловажных изысканий, подтвердивших самостоятельность суждений Пушкина по экономическим вопросам, общность экономических воззрений Пушкина и декабристов, роль журнала Пушкина «Современник» в развитии русской экономической мысли и т. д. (ср.: Трегубов И. Н. К вопросу об экономических взглядах А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкинский юбилейный сборник. Ульяновск, 1949, с. 40—57).

Тем не менее все уже выполненные разнообразные и многосторонние исследования далеко еще не охватили во всем объеме проблему отношения Пушкина к науке его времени, в первую очередь к русской науке. Предприятые, например, за последнее время работы о Пушкине как географе далеко еще не завершены; вопрос об отношении Пушкина к естествознанию и к «точным», экспериментальным наукам даже еще не ставился вообще, а между тем время, в которое жил Пушкин, было эпохой заметного роста и значительных достижений именно в этих областях знания, и Пушкин не мог остаться безмолвным свидетелем этих достижений как важных факторов нашего культурного развития.

В этом вопросе существуют противоречивые свидетельства, давшие повод к несомнительным и плохо аргументированным суждениям исследователей. «У Пушкина нет стремления к овладению силами природы. Ему чужда идея господства над природою... его отношение к природе определяется не желанием овладеть ею и технически использовать. В нем нет устремленности, которая, например, заставила Гете создать образ Фауста-инженера», — совершенно бездоказательно утверждал, например, Гл. Глебов.⁷ Столь же бездоказательными и ошибочными были, с нашей точки зрения, мнения комментаторов «Евгения Онегина», пояснявших стихи, где говорится о спорах, которые вели между собой Онегин и Ленский:

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло...

(VI, 38)

Н. Л. Бродский предположил, что под «плодами наук» Пушкин разумел в данном случае разговоры на научно-технические, сельскохозяйственные темы, которые должны были вести между собой «Онегин, владелец заводов и вод, и богатый помещик Ленский», т. е. о «применении машинной техники» к улучшению крепостного хозяйства.⁸ А. Иваненко возразил Н. Л. Бродскому, и, с нашей точки зрения, столь же неосновательно, что под «плодами наук» «разумеется скорее всего руссоистская тема влияния цивилизации на нравы, а не „технический прогресс“».⁹ Но почему Онегин и Ленский не могли спорить на тему о науке в более общем смысле — ее общественном назначении и о результатах ее применения к практической жизни, если именно этот вопрос в 20—30-е годы широко обсуждался в русской печати? Ведь

⁷ Глебов Гл. *Философия природы в теоретических высказываниях и творческой практике Пушкина*. — В кн.: *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*. М.; Л., 1936, вып. 2, с. 191.

⁸ Бродский Н. Л. *Евгений Онегин*. Роман А. С. Пушкина. 3-е изд. М., 1950, с. 144.

⁹ Пушкин: *Временник Пушкинской комиссии*. М.; Л., 1941, вып. 6, с. 528.

и Пушкин подчеркнул широту и многосторонность, а не узость той проблематики, — разумеется злободневной, — которой касались горячие споры его героев («Все подвергалось их суду»).

Недооценка значения проблемы науки в общественной жизни 20—30-х годов для изучения мировоззрения и творчества Пушкина приводила и к ряду других погрешностей, педомолвок, неправильных умозаключений. Частично они основывались на старых, односторонних суждениях, восходящих к свидетельствам враждебно настроенных к Пушкину современников, которые пытались утверждать, что, будучи поэтом, Пушкин мало интересовался всем, выходящим за пределы искусства. Таково, например, утверждение Н. И. Тарасенко-Отрешкова, лица, сыгравшего весьма сомнительную роль в жизни Пушкина. В своих педостовверных и не имеющих никакой цены воспоминаниях о поэте Отрешков утверждал, что «Пушкин в лицее отклонялся от изучения наук положительных и предавался только чтению книг, более или менее относящихся до словесности. К этому можно прибавить, что этому вкусу или потребности природы своего дарования он не изменил впоследствии и не читал или читал мало книг по иным предметам». Далее, с беспримерной развязностью тот же мемуарист пытался доказать, что в течение всей своей жизни Пушкин якобы «не имел времени заняться науками и чтением книг, до них относящихся». «Копечно, — восклицал он, — для поэта нужны книги, нужны познания и особенно в словесности; но главное нужно вдохновение, нужен простор его творчеству. Иное дело для приобретения познаний в науках. Здесь необходим труд, труд упорный и продолжительный, необходимо чтение книг, и притом многих книг». Но «природная склонность к произведениям собственной словесности не допустила его предаться иному чтению и наукам».¹⁰ Нет ничего несправедливее этих близоруких или злонамеренных утверждений. Их полностью опровергают свидетельства других, гораздо более авторитетных и близких к поэту лиц, например П. Б. Козловского, вспомнившего признания Пушкина о чтении им в журналах «полезных» статей «о науках естественных»,¹¹ или В. Ф. Одоевского, писавшего, что Пушкин был «поэт в стихах и беледиктипец в своем кабинете», и прибавлявшего: «...ши одно из тайств науки им не было забыто».¹² Об этом же неопровержимо свидетельствует состав библиотеки Пушкина, в которой находились книги по многим отраслям знаний, в том числе по естественной

¹⁰ См.: Лернер Н. О. Из неопубликованных материалов для биографии Пушкина. — Русская старина, 1908, февраль, т. 133, с. 431.

¹¹ Современник, 1837, т. VII, с. 51.

¹² Русский архив, 1864, кн. VII—VIII, стб. 828. — В одной из своих черновых записей о Пушкине В. Брюсов отметил: «Когда я узнаю, что Пушкин изучал Араго (французского физика), д'Аламбера, теорию вероятностей, Гизо, историю Средних веков, — мне не обидно, что я потрапил годы и годы на приобретение знаний которыми не воспользовался» (Брюсов В. Избр. соч. в 2-х т. М. 1955. т. 2, с. 557).

истории, физиологии, астрономии и даже по математической теории вероятностей. Случайны ли были эти последние или же они входили в широкую программу самообразования, им себе установленную, которая не исключала и этих областей знания? Был ли у Пушкина интерес к наукам «точным» и к их техническим применениям и не оставили ли они каких-либо следов в его творчестве?

Именно эти вопросы и пытаются поставить настоящие разыскания и этюды. Предпринимая их, я был далек от мысли исчерпать всю указанную проблему об отношении Пушкина к науке его времени. Это дело будущих, более широких исследований. Настоящие подготовительные этюды пытаются лишь осветить некоторые возможные подходы к таким исследованиям, и автор поделился первыми полученными результатами собственных разысканий в этой области.

1

В лицейские годы для Пушкина и его ближайших друзей наука смешивалась еще с ученьем и школьной премудростью, поэтому художественное творчество, в частности поэзия, противопоставлялось ими и учению и науке как высшая форма умственной деятельности. В стихах Пушкина лицейских лет слова «мудрец», «ученый» обычно вставлялись в юмористический или сатирический контекст и звучали насмешливо и задорно. Среди описанных в этих стихах вакхических и эротических проказ мы находим эпизоды, подчеркивающие ироническое отношение юного поэта к «хладному разуму» и «строгой мудрости», в том числе различные юмористические применения классических анекдотов об ученых древности или нового времени. Так, в поэме «Монах» в шутливых стихах описано, как

Панкратий вдруг в Невтоны претворился.
Обдумывал, смотрел, сличал, смекнул
И в радости свой опрокинул стул.

(I, 16)

А далее повествуется о превращении героя в нового Архимеда с его классическим возгласом — «Эврика, эврика!»:

И, как мудрец, кем Сиракуз спасался,
По улице бежавший бос и гол,
Открытием своим он восхищался
И громко всем кричал: «нашел! нашел!».¹³

(I, 16)

¹³ Анекдот, который Пушкин имел в виду, приписывает Архимеду случайное открытие основного закона гидростатики во время купания (см.: Ашукин Н. С., Апушкин М. Г. Крылатые слова. 3-е изд. М., 1966, с. 753).

Не были, впрочем, Пушкиным забыты и классические типы ученых нового времени. В одном из юмористических стихотворений Пушкина тех же лицейских лет мимоходом вычерчен, например, именно такой типичный карикатурный силуэт ученого-педанта:

...седой профессор Геттингена,
На старой кафедре согнувшийся дугой...
(Красавице, которая нюхала табак; I, 44)

Едва ли случайностью можно объяснить то, что общее представление об ученой сухости, отвлеченности, педантизме охотнее всего связывалось лицеистами с представителями «точных» наук: гуманитарная направленность лицейского образования давала себя знать и в системе преподавания, и в личных вкусах лицеистов. Математика и физика не увлекали и не давались многим из них, вызывая смешанные чувства уныния и досады.

Один из усердных школьников-лицеистов, А. Д. Илличевский, описывая в 1814 г. своему молодому другу лицейских наставников и профессоров, хотя и отзывался весьма почтительно об «адъюнкт-профессоре математических и физических наук» Я. И. Карцове (как об одном из тех лицейских преподавателей, которые «путешествовали по Европе, слушали известных ученых»), но признавался, что он беспомощно опускает руки перед представляемой им областью знания:

О Уранья чадо темнос,
О наука необъятная,
О премудрость непостижная,
Глубина неизмеримая!

Смысл этого стихотворного экспромта Илличевского заключался в признании, что ему на роду было написано взирать на математику «с благоговением», но как огня бояться «плодов ее учености».

«Признаюсь, и рад еще повторить прозой, — прибавлял Илличевский, — в ней, кажется, заключила природа всю горечь неизъяснимой скуки. Нельзя сказать, чтоб я не понимал ее, но... право, от одного воспоминания голова у меня заболела».¹⁴

В своей антипатии к «точным» наукам Илличевский среди лицеистов не был одинок. М. А. Корф в своих поздних воспоминаниях о лицейской жизни, рассказывая о занятиях с тем же Карцовым, свидетельствует своих школьных товарищах: «...математике все мы вообще сколько-нибудь учились только в первые три года; после, при переходе в высшие ее области, она смертельно всем надоела, и на лекциях Карцова каждый обыкновенно занимался чем-нибудь посторонним: готовился к дру-

¹⁴ См.: Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники: Статьи и материалы. 2-е изд. СПб., 1899, с. 61, 60.

гим предметам, писал стихи или читал романы... Во всем математическом классе шел за лекциями и знал, что преподавалось, один только Вальховский»,¹⁵ за что он, по-видимому, и был осмеян в одной из лицейских песен.¹⁶ Насмешливо-ироническое отношение к физико-математическим наукам нашло свое выражение в ряде эпиграмм Иллчевского 1814 г.¹⁷

Сходные чувства к этой области знания питал также А. А. Дельвиг. Об этом можно заключить, например, из нескольких ранних его поэтических опытов, в частности из стихотворения «К поэту-математику», увидевшего свет в том же 1814 г. в «Вестнике Европы».¹⁸

В статье о детстве и юности Дельвига, написанной около 1833 г., Пушкин вспоминал о цикле стихов своего друга, которые тогдашний издатель «Вестника Европы» В. В. Измайлов напечатал в этом журнале без имени автора; Пушкин прибавлял, что первые опыты Дельвига, «уженосящие на себе печать опыта и зрелости», привлекли к себе внимание знатоков (XI, 274). Именно в этом цикле и находится большое стихотворение Дельвига «К поэту-математику». Начинается оно с вопросительного обращения к некоему лицу:

Скажи мне, Финиас любезный!
В какие веки неизвестны
Была Урания дружна
С поэзией голубоокой?
Скажи, не вечно ли она
Жила не с нею, одиноко,
И, в телескоп вперяя око,
Небесный измеряла свод
И звезд блестящих быстрый ход?

Какими же, мой друг! судьбами
Ты математик и поэт?
Играешь громкими струнами,
И вдруг, оставовя полет,
Сидишь над грифельной доскою,
Поддерживая лоб рукою,
И пишешь с цифрами ноли,
Проводишь длинну апофему,
Доказываешь теорему,
Тупые, острые углы?¹⁹

¹⁵ Там же, с. 229.

¹⁶ Грот К. Я. Пушкинский лицей. 1811—1817: Бумага 1-го курса. СПб., 1911, с. 223, 230. — О Я. И. Карцове и программе его занятий по физике и математике см.: Селезнев И. Исторический очерк имп. бывшего Царскосельского лицея за первое его пятидесятилетие. СПб., 1861, с. 129—131.

¹⁷ Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицей: Материалы для словаря лицейстов первого курса 1811—1817 гг. СПб., 1912, т. II, с. 135, 149, 151.

¹⁸ Вестник Европы, 1814, ч. LXXVIII, № 21, с. 24—29.

¹⁹ Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959, с. 72 (Библиотека поэта. Большая серия). — В дальнейшем ссылки на это издание в тексте.

Вопрос, поставленный Дельвигом, имеет принципиальный, теоретический характер и в этом смысле оправдывает суждение Пушкина о том впечатлении «опыта и зрелости», которое произвели первые напечатанные стихи Дельвига на тогдашних любителей поэзии, не подозревавших, конечно, что автором их был еще шестнадцатилетний школьник. Стихотворение «К поэту-математику», во всяком случае, является не столько стихотворной шалостью, подымающей на смех конкретное лицо, сколько представляет собой более серьезное раздумье о несовместимых, как представлялось Дельвигу, качествах рассудочного аналитика, следующего абстрактные математические закономерности, и неисполненного лирической силы вдохновения восторженного поэта.

Дельвиг говорит в этом стихотворении о коренном, как ему кажется, противоречии, существующем между поэтическим и научным отношением к действительности; ради юмористического эффекта он противопоставляет метафорический язык поэзии рассудочному языку научной прозы; пересведшая на эту «рассудочную прозу» поэтическая речь, по его мнению, не только теряет все свое очарование, но прямо становится бессмысленной:

В восторге говорит поэт,
Любовь Алине изъясняя:
«Небесной красотой сияя,
Ты солнца помрачаешь свет!
Твои блестящи, черны очи,
Как светлый месяц зимней ночи,
Кидают огонь из-под бровей!».
Но математик важно ей
Все опровергнет, все докажет,
Определит и солнца свет,
И действие лучей покажет
Через преломленье на предмет;
Но, верно, угаит, что взоры
Прелестной, райской красоты
Воспламеняют камни, горы
И в сердце сладки льют мечты.

(с. 73)

И чтобы еще нагляднее представить читателю несовместимость, противоположность процесса поэтического творчества, оперирующего художественными образами, и аналитической научной мысли, Дельвиг представляет в своем стихотворении две параллельные картины: явление «богини измеренья» Урании ученому-математику и явление Музы — вдохновительницы лирического поэта. Явление Урании прозаик то, как и она сама; чтобы увидеть своего приверженца,

На острый нос очки надвинуя,
Берет орудия богиня,
Межует облаков квадрат.
Большие блоки с небесами
Соединяются гвоздями
И под веревкою скрыпят.

(с. 73—74)

Не такова Муза, у которой вдохновения просит бряцающий на лире поэт:

Но грянет по струнам поэт
И лишь богиню призовет —
При звуке сладостных лиры
Впрягутся в облако зефиры,
Крылами дружно размахнут,
Помчатся с Пинда, понесут, —
И вот в зефирном одеяньи,
Певец! она перед тобой
В венце, в божественном сияньи,
Племяющая красотой!
И ты падешь в благоговеньи
Перед подругою твоей!
Гремишь струнами в восхищеньи,
И ты — могучий чародей!

(с. 75)

Рисуя в привычных античных образах двух столь отличных друг от друга вдохновительниц творческого труда — научного и поэтического, юный Дельвиг имеет в виду не только противоположность самого творческого процесса, но и его результаты. Дельвиг явно стоит на стороне поэтических творцов; изображенная им Урания, обещающая ученому лавровые венцы, если он будет испытывать природу, бесстрашно измерять пучину и открывать новые звезды, не может утаить от него печальную участь, которая в конце концов уготована всем его творческим усилиям, сколь бы ни были они удачны и счастливы. Урания не может скрыть от своего приверженца унылую толпу ученых «промчавшихся веков», «толстые творенья» которых время рвет без всякой пощады.

Что делать, — плачут, да идут,
И среди такого треволненья
Одни — за Алгеброй бегут,
Те — Геометрию хватают,
Иль, руки опустя, рыдают.

(с. 74)

Поэтому своему стихотворцу-математику Дельвиг не предрекал ни бессмертья, ни удачи. Напротив, его пиитические опыты заранее противопоставлены Дельвигом творениям поэтов, вдохновленных Музой поэзии: Державина, который «метал перуны» «на сильных» и «добродетель прославлял», и Жуковского, автора «Певца во стане русских воинов», который

... дивными струнами
Мечи ко мщенью извлекал...

(с. 76)

Таким образом, общественное назначение поэзии и даже ее результаты, играющие, с точки зрения Дельвига, огромную действительную историческую роль, противопоставлены им здесь малой

пользе науки, по крайней мере в том случае, если учепый стремится быть одновременно и поэтом, т. е. идти сразу по этим двум никогда не пересекающимся дорогам. И вновь адресуясь к математику, пожелавшему быть также и поэтом, и указывая ему на завидную судьбу и славу главных деятелей тогдашнего русского Парнаса, Дельвиг спрашивает:

Но ты сравнишься ли с ними,
Когда, то Музами водимый,
То математикой своей,
Со всеми разною стезей
Идешь на высоте Парнаса
И ловишь сов или Пегаса?

(с. 76—77)

К кому адресовано стихотворение Дельвига и кто выведет им под пасторальным именем Финиаса, остается неизвестным и донныне. Очень возможно, что здесь имелся в виду друг А. Д. Илличевского, Павел Николаевич Фусс (1797—1855), ставший вскоре видным математиком, а с 1826 г., уже в звании академика, вступивший в должность непререваемого секретаря петербургской Академии наук.²⁰ В тот год, когда было напечатано стихотворение Дельвига «К поэту-математику», Фусс учился еще в петербургской гимназии и вместе с приятелем своим А. Г. Гофманом нередко ездил в Царское Село к своим друзьям-лицеистам, которых у него было несколько помимо А. Д. Илличевского; несомненно, что он встречался тогда и с Пушкиным.²¹ В эти юношеские годы, несмотря на вполне определившиеся уже в то время склонности к занятиям математикой, П. Н. Фусс, по-видимому, несколько грешил стихотворством; по крайней мере, А. Д. Илличевский в письмах к нему этих лет упоминает «прекрасное сочинение» Фусса «о красоте российского слова» и его же немецкие стихотворные переводы из Крылова и Капниста, в которых,

²⁰ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, с. 63.— П. Н. Фусс был сыном известного петербургского академика, также математика, и приходится правнуком по матери знаменитому Леонарду Эйлеру. Любопытно, что Илличевский, задумывая в это время написать книгу биографических очерков «о великих мужах России» и собираясь включить туда также биографию Эйлера, просил Фусса доставить ему сведения об Эйлере как «ближайшем его родственнике» (там же, с. 64). Ср.: *Eloge de P. N. Fuss: Discours de M. Otto Struve.*— *Compte rendu de l'Académie des Sciences de St.-Petersbourg.* 1856, p. 89—122; отдельное издание: *Eloge de P. N. Fuss: Discours de M. Otto Struve.* SPb., 1857. 18 p.

²¹ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, с. 62, примеч. 1.— Поклоны Пушкина Фуссу и Гофману Илличевский передал в письме к первому из них от 16 января 1816 г., присоединив к этому свидетельство о литературных планах поэта: «Кстати о Пушкине: он пишет теперь комедию в 5 действиях, в стихах, под названием „Философ“» (там же, с. 67). Вскоре Илличевский послал Фуссу просимое им стихотворение Дельвига вместе с подробной характеристикой его как поэта, а вслед за тем и «две *гусарские* пиесы нашего Пушкина» (там же, с. 68, 69).

по его словам, «дух авторов удержан совершенно»,²² в то же время Илличевский сообщал интересовавшие, очевидно, Фусса сведения о лицейских стихотворцах и списки их поэтических произведений.

Сколь ни отвлеченно, в условно-мифологических декорациях, поставлен был Дельвигом вопрос о противоречии творческих методов ученого и поэта, но это не исключало, конечно, конкретного повода к созданию его стихотворения; возможно поэтому, что, предупрежденный одним из лицейских друзей о математических способностях Фусса, он осудил как бесполезные его поэтические опыты.

Впрочем, случай, описанный Дельвигом, был довольно распространённым. Сам Дельвиг год спустя напечатал другое стихотворение — «К Т-ву», в котором мы находим то же противопоставление поэзии ученому труду, юмористические намеки на психологические трудности и конфликты, возникающие в личной судьбе тех, кто одновременно увлечен наукой и искусством; все это осложнено не совсем понятным для нас любовным эпизодом. Речь идет здесь о некоем человеке, который,

... взявши посох в руки,
На цыпочках, тихом
Укрылся от науки

и стал петь «на томной лире» о радости и любви. Но это — не свойственная ему сфера творческой деятельности; поэтому у него

... в песнях дышит холод,
В элегиях бомбаст,

и уделом его «на Пинде» будет «сатиров громкий хохот» (с. 105).²³ К. Н. Батюшков, в свою очередь, рассказывает в статье

²² Там же, с. 62, 66.

²³ Впервые опубликовано в «Российском музее» (1815, ч. II, № 5, с. 136—137). В сочинениях харьковского поэта-сатирика А. Н. Нахимова (1782—1814) печатается большое стихотворение «Поэт и математик» — диалог между поэтом и математиком как выразителями противоположных мыслей и чувств. Поэту представляется карикатурный образ математика, сидящего на стуле, с черепом, уклоненным долу, —

Он с грифеля не сводит взгляда
И оным на доске чертит.

Но и математик в свой черед ужасается, увидев поэта, в котором он чувствует своего антагониста:

Что слышу! Небо! он Поэт!
В нем вижу злого супостата,
От кося свирсых рифм
Трепещет робкий *логарифм*:
Он бич и *куба* и *квадрата*!

и т. д.

Нахимов А. Н. Сочинения в стихах и прозе, напечатанные по смерти его. 4-е изд. М., 1841, с. 55, 58—59.

1815 г., оставшейся не напечатанной при его жизни, о близком друге своем Петине, воспитанике Московского университетского благородного пансиона, товарище его по заграничным военным походам, на двадцать шестом году жизни убитом в сражении под Лейпцигом. Петин был одаренным математиком и печатал кое-что по этой части в специальных русских журналах. Батюшков рассказывает, что Петин «посреди рассеяния, мирных трудов военного ремесла и балов... любил уделять несколько часов науке, требующей самого постоянного внимания...». «Однажды... он пришел ко мне с свитком бумаг. „Опять математика?“ — спросил я, улыбаясь. „О, нет! — отвечал он, краснея более и более, — это... стихи, прочитай их и скажи мне свое мнение“. Стихи были писаны в молодости и весьма слабы, но в них приметны были смысл, ясность в выражении и язык довольно правильный. Я сказал, что думал, без прикрасы, и добрый Петин прижал меня к сердцу».²⁴

У нас есть все основания думать, что в ту историческую пору, когда русская поэзия гигантскими шагами двинулась к своему расцвету, когда количество стихотворцев возрастало с чудодейственной быстротой, творческие срывы и конфликтные положения подобного рода были довольно частым, обиходным явлением. В Лицее пушкинских лет, во всяком случае, где господствовало общее увлечение поэтическим творчеством, захватывавшее как воспитанников, так и их наставников, вопросы о предназначении поэта и качествах стихотворца, противопоставления истинного поэта-творца простому версификатору и т. д., несомненно, представляли для многих жизненный интерес и не могли не воплощаться в особенности тех, кто готов был поэтическую деятельность считать своим призванием. В этом смысле стихотворение Дельвига «К поэту-математику», по-видимому, было типическим для умонастроения многих из лицейстов. Несмотря на юношескую наивность в решении некоторых из поставленных вопросов, например о результатах и общественной ценности научного и поэтического творчества, высказанные в стихотворении мысли, вероятно, разделялись многими из сверстников Дельвига. Нельзя не увидеть здесь еще незрелых, не оформившихся вполне, но тем более привлекательных мечтаний о призвании, о роде избираемой деятельности, мечтаний, теснейшим образом связанных с теми литературными образцами, которые лицейсты изучали в свои школьные годы.

Дельвиг, который в Лицее, по свидетельству Пушкина, «не расставался с Державиным» (Х¹ 273), мог именно в творчестве этого поэта найти одушевившие его мысли о поэтическом вдохновении, отзвуки которых присутствуют в стихотворном обращении к «поэту-математику». В известной статье Державина о вдохновении и восторге, напечатанной в 1811 г., сказано, что «в прямом вдохновении пет ни связи, ни холодного рассуждения; оно

²⁴ Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1885, т. II, с. 196.

даже их убеждает и в высоком парении своем ищет только живых, чрезвычайных, занимательных представлений».

«Вдохновение, — по словам Державина, — не что иное есть, как живое ощущение, дар неба, луч божества. Поэт, в полном упоении чувств своих разгораясь свышним оным пламенем или, проще сказать, воображением, приходит в восторг, схватывает лиру и поет, что ему велит его сердце. Не разгораясь и не чувствуя себя восхищенным, и приниматься он за лиру не должен».²⁵ Таков мог быть один из источников мыслей Дельвига о закономерном несоответствии поэтического воспроизведения действительности в творениях искусства — рассудочному ее истолкованию, «лирическому беспорядку» в поэзии — строгой системе и безупречной логике рассуждения в научном труде, в особенности в той области, которая поэтическому взору представляется идеальной логической абстракцией.²⁶ Такое представление о поэзии могло быть усилено у Дельвига чтением некоторых иностранных поэтических образцов и эстетических трактатов, по преимуществу немецких. Характерно, что на той же точке зрения стоял и В. К. Кюхельбекер, который, — также по свидетельству Пуш-

²⁵ Чтения в Беседе любителей русского слова, 1811, кн. II, с. 15—16; Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1872, т. VII, с. 523. — Впрочем, мысли Державина вызвали и возражения современников. А. Ф. Мерзляков, например, в одной из своих статей о Державине, напечатанной в «Амфионе» (1815, июль), писал: «... пусть говорят, что от оды невозможно требовать плана! Он должен быть и есть в творениях великих писателей; тем труднее сохранить его, что он скрыт и имеет все наружные признаки беспорядка, столь свойственного иступленному воображению и пламенным чувствам... Природа и в самую бурю, когда все, кажется, готово разрушиться, не теряет своей стройности, или, лучше, самая буря имеет свои законы, начало, переходы и конец; почему же не должны иметь сего порядка, сих законов бури сердечные? — В порывах чувств есть своя система постоянная и верная; ее-то и должен открыть и исполнить стихотворец» (с. 31).

²⁶ Примером того, сколь обособленными друг от друга сферами творческой мысли являлись в России в начале второго десятилетия XIX в. математика и поэзия, как трудно было тогда представить себе их возможную совместимость, может служить следующий случай. В книге Ив. Левитского «Курс Российской словесности для девиц, содержащий в себе риторику, основания словесного искусства» и т. д. (СПб., 1812, ч. I. Риторика), глава о периодах начиналась такими словами: «Как в геометрии из многих коротких линий составляется круг, так в риторике из многих выражений и предложений составляется период». Это сравнение тотчас же вызвало весьма энергичные возражения у рецензента книги в «Санкт-Петербургском вестнике», писавшего: «Для чего захотелось ему объяснять таким образом период? Неужели нельзя объяснить оный как-нибудь попроще? Ссылаться в Риторике на геометрию столько же прилично, как и на химию или врачебную науку, если и положить, что девицы должны уже знать сии науки прежде риторики. И что такое в геометрии составляется круг, в риторике составляется период? Период составляется в сочинении, а не в риторике; круг составляется в черчении, т. е. когда что-нибудь чертится, а не в геометрии. Притом одному ли кругу, не всякой ли математической фигуре свойственно составляться из линий, короткие ли они будут или длинные?» (Санктпетербургский вестник, 1812, ч. 4, с. 95).

кина, — прочел с Дельвигом на лицейской скамье «Клоппшюка, Шиллера и Гельти» (XI, 273).

Сходные мысли бродили тогда у многих русских юношей, воспитывавшихся на образцах не только немецкой, но и французской сентиментально-романтической литературы. П. Н. Сакулин²⁷ считает, например, очень типичным для направления другой знаменитой русской школы этого времени — Московского университета — выбор для перевода молодым В. Ф. Одоевским, только что окончившим полный курс наук в этом пансионе, фрагмента главы из «Духа христианства» Шатобриана — «Astronomie et Mathématique». Под заглавием «Отрывок о математике» этот перевод В. Одоевского был напечатан в 1821 г. Мы находим здесь тот же круг мыслей, что и у лицейстов: противопоставление гуманитарных знаний «точным» наукам не в пользу последних, поэтического творчества — науке вообще: «Как ни тягостна эта истина для математиков, — пишет, например, Шатобриан в переведенном Одоевским отрывке, — но должно признаться, что природа как бы воспрещает им занимать первое место в ее произведениях. Исключая некоторых математиков-изобретателей, она осудила их на мрачную неизвестность, и даже сии самые гении изобретатели угрожаются забвением, если истории не оповестит о них миру. Архимед обязан своею славою — Полибию, Ньютон — Вольтеру, Платон и Пифагор бессмертны. может быть, еще более как философы, законодатели, Лейбниц и Декарт как метафизики, нежели как математики. Даламберт если бы не соединил в себе славы ученого с славою литератора, то имел бы участь Вариксона и Дюгамеля, коих имена, уважаемые в школах, существуют для света в одних похвальных речах Академических — и нигде более. Поэт с несколькими стихами уже не умирает для потомства, соделывает век свой бессмертным, переносит во времена грядущие людей, им воспетых на лире. Ученый же, едва известный в продолжении жизни, уже совершенно забыт на другой день смерти своей. . . Тщетно положит он имя своего благодетеля в печь химика или в физическую машину; почтенные усилия, которые не произведут ничего знаменитого! < . . . > Пусть же перестанут математики жаловаться на то, что все народы, по какому-то общему инстинкту, предпочитают словесные науки, — заключает отсюда Шатобриан, — ибо, в самом деле, человек, оставивший по себе хотя одно нравственное правило, произведший в чьей-либо душе чувство добра, — не полезнее ли обществу математику, открывшего самые изящные свойства треугольника? . . .»²⁸

Естественно, что эта статья не могла остаться без возражений. «Сын отечества» поместил вскоре «Замечания на статью о мате-

²⁷ Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. М., 1913. т. I, ч. I, с. 79.

²⁸ Р. О. [Кн. В. Ф. Одоевский]. Отрывок о математике. — Вестник Европы, 1821. ч. CXVI, № 4. с. 283—287 и ч. CXVII, № 5, с. 51—55

матике» некоего В. Ар. . . , ядовито замечавшего, что отрывок из Шатобриана наглядно демонстрирует две истины: «сколь опасно предаваться воображению там, где должен решать один холодный рассудок», и, «во-вторых, что ни автор, ни его знаменитый переводчик в математике не имеют надлежащего понятия». ²⁹ Слова Шатобриана «очень заблуждается тот, кто думает, что весь гений, вся мудрость человека должна заключаться в детском кругу механических изобретений», вызвали особенное негодование критика «Сына отечества», саркастически предлагавшего переводчику допустить, что «с помощью красноречивой страницы из Аталы, без астрономических методов, можно вести корабли мореходцу, что, поучившись несколько у вас, защитник отечества точнее нацелит разрушающий огонь бойниц на неприятельские лагери, что по правилам хрии воздвигнутся в нашем отечестве лучшие памятники, нежели по расчетам математической архитектуры, что без математики легче строить корабли и побеждать на морях, что сочинение солнечных и лунных таблиц, строение огромных телескопов по правилам строжайшей математической оптики, механизм хронометра, разложение солнечного луча и объяснение радуги, усовершенствование артиллерии и инженерного искусства и другие бесчисленные открытия военных и гражданских математиков не доказывают еще мудрости человека и причисляются к детскому кругу механических изобретений». Впрочем, «Вестник Европы» не оставил без возражений и эту красноречивую защиту математики и поместил вновь статью некоего Игнатия Веритова. ³⁰

Над тем же вопросом задумывался просвещенный русский писатель и дипломат И. М. Муравьев-Апостол (1765—1851), отец декабристов; но для него эта контроверза была прежде всего педагогической проблемой. В своих анонимно напечатанных «Письмах из Москвы в Нижний Новгород» (1813), этом замечательном памятнике русской эстетической и публицистической мысли, в шестом письме, почти полностью посвященном этой теме, И. М. Муравьев-Апостол вспоминал слова Шлецера: «Ни одна нация не исторгнута из варварства математикою» («*Noch keine Nation in der Welt ist der Barbarey durch Mathematik entrissen worden*») и заметил, что «в этом изречении его заключается великая истина», потому что, по его мнению, «все народы, проходившие от невежества к просвещению, сперва знакомились с Омером и Вергилием, а потом уже с Евклидом: так требует ход ума человеческого < . . . » Историческая жизнь народов, — рассуждает он, — как и жизнь человека, имеет свои возрасты. И подобно тому как изящные искусства наиболее приличны юношеству, когда воображение пылче и память свежее, так точно па-

²⁹ В. Ар. . . Замечания на статью о математике. — *Сын отечества*, 1821, ч. 68, № XIV, с. 305—312.

³⁰ Веритов Игнатий. К господам критикам (произведшим замечания на статью о математике в 14-й кн. «Сына отечества»). — *Вестник Европы*, 1821, ч. CXVIII, № 9, с. 44—51.

родам, возникающим к просвещению, должно начпать образование свое изящными искусствами, а не математикою. Примеры всех веков, всех народов делают истину сию неоспоримую — мы с недавних пор захотели перекопать порядок вещей; не знаю, однако же, удастся ли нам, природа не терпит прекословия». Далее автор объясняет повод, вызвавший указанное умозаключение; для истории русского просвещения это свидетельство представляет известный документальный интерес. «Я это говорю, — пишет И. М. Муравьев-Апостол, — на счет одного предубеждения, которое по наблюдениям моим лет с шесть тому назад как довольно сильно начинает уже вкореняться в домашнем нашем воспитании — именно: исключительное предпочтение математики всем прочим наукам. Математика! Кричат во все горло те, которые, кроме математики, ничему не учились, — и Математика! повторяет за ними толпа людей, которые и математики не знают, — вот единственная наука, достойная человека! все прочее вздор! Конечно крик сей не заглушит людей, имеющих основательное мнение о познаниях вообще; но, по несчастью, я замечая, что он очень удобен сбивать с толку тех, которые или худо учились, или от природы с головами, коих понятия не весьма ясны. Я встречался уже не с одним отцом, который положил себе за правило ничему другому не учить детей, как только математике, и также случилось мне видеть молодчиков, которым математика единственно служит епанчою, прикрывающей грубое их невежество во всем прочем».³¹

Разгоревшаяся вокруг перевода из Шатобриана журнальная полемика свидетельствует о том, что поднятые ею вопросы имели злободневный интерес еще в начале 20-х гг. В эти годы и Дельвиг продолжал высказывать в стихах мысли, весьма сходные с теми, которые одушевляли его в лицейские годы. Любопытно, например, что противопоставление «бессмертной» поэзии «смертным» творениям науки мы находим в стихотворении Дельвига «К А. С. Пушкину», написанном в 1819—1820 г.:

Нет, Пушкин, рок певцов — бессмертье, не забвенье,
 Пускай Армениус ученьем напыщен,
 В архивах роется и пишет рассужденье,
 Пусть в академиях почетный будет член,
 Но он глупец — и с ним умрут его творенья!
 Ему ли быть твоих гонителем даров?

(с. 83—84)

Дело не меняется от того, что од Армениусом здесь имеется в виду «зоил» и гонитель Пушкина — М. Т. Каченовский, т. е. историк, а не представитель «точных» наук, не ученый математик или естествоиспытатель. Дельвиг не только отказывает ему в критическом даре и поэтическом чувстве, в возможности понимать

³¹ Письма из Москвы в Нижнии Новгород — Сын отчества, 1813. ч. 10, № XLVIII, с. 97—99.

истинную поэзию; он прямо утверждает «бессмертье» поэзии и ограниченный предел возраста «ученых творений», умирающих нередко вместе с их создателями.

Может быть, поздним отзвуком подобных убеждений, этих еще лицейских примеров и сравнений, усвоенных в дружеском поэтическом кружке, является мысль, высказанная Пушкиным в так называемом Проекте предисловия к последним главам «Евгения Онегина» (28 ноября 1830 г.), в котором Пушкин, правда в полемических целях, затронул волновавший его современников вопрос о сравнительной ценности научного знания и художественного творчества: «Если век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, — то поэзия остается на одном месте... Цель ее одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими — произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны» (VI, 540, 541). Тем не менее по основному вопросу, затронутому Дельвигом в его стихотворении 1814 г., о противоположностях научного и поэтического мышления Пушкин не раз высказывался в смысле, противоположном Дельвигу, и у нас есть все основания думать, что еще в лицейские годы Пушкин сохранял самостоятельное суждение по этому поводу.

В середине 20-х годов споры о соотношениях наук и искусств были у нас положительно в моде: эти вопросы обсуждались в учебных кабинетах, в университетских аудиториях, на страницах журналов, и решения их не всегда совпадали. Так, в дневнике И. М. Снегирева под 9 апреля 1823 г. мы находим, например, следующую запись: «Обедал вместе с Чумаковым и Маловым у И. И. Давыдова <...> Говорено, что словесность отстала от точных наук и со времен Аристотеля будто не успевает; что без физиологии нельзя знать и эстетики, что, не зная законов мира вещественного, нельзя знать мира духовного».³² Год спустя, записывая в дневнике о беседе с тем же профессором-шеллингианцем И. И. Давыдовым, И. М. Снегирев пишет (запись от 1 мая 1824 г.): «... к Нечаеву, у которого обедал вместе с Каченовским и Давыдовым; спор о математике, которую И. И. ставит выше всего, почитая ее необходимою для трансцендентального идеализма; после разбирали „Книжал“ Пушкина и романтиков».³³ Любопытно, что в том же году в журнале Каченовского «Вестник Европы» была напечатана речь Павла Морозова, читанная на торжественном акте Московского университетского благородного пансиона, развивающая сходные воззрения: «Речь о влиянии наук точных на успехи наук словесных».³⁴ Стоит привести несколько выдержек из этого большого рассуждения, в котором автор, всту-

³² Снегирев И. М. Дневник. М., 1904, I (1820—1825), с. 13.

³³ Там же, с. 68.

³⁴ Вестник Европы, 1824, ч. 134, № 6, с. 96—126.

пая в полное противоречие с литераторами, касавшимися этой же проблемы за десятилетие перед тем, объявлял, что средством, «спасительным для целой нашей жизни», является теперь «слияние наук, равно действующих на ум и сердце, — наук изящных и основательных <...> Наблюдая ход и распространение знаний, — рассуждал П. Морозов, — мы видим, что они становились быстрее, по мере взаимного совокупления всех наук. В глубокой древности каждая отрасль развивалась без помощи прочих, управляемая собственными пачалами или положениями, оттого так медленно текло просвещение; оттого и беспорядок и неверность истии частных и отдельных, не поддерживаемых общими связями». ³⁵ Поскольку вселенная составляет «великий неистощимый предмет исследований человеческих», а «части ее бесконечно многообразны», утверждал он далее, «столь же многообразны могут быть и отрасли наук», которые ставят своею целью ее изучение. Но чем можно утвердительно доказать, что «науки точные могут также служить основой, светом, истолкователями для наук изящных и словесных»? «Что есть общего между науками точными и изящными? Что общего в их способах, образе действия и цели? Самые изучения философа и поэта могут ли быть одни и те же? <...> Вот мнение многих любителей изящного!» — восклицает автор, т. е. вот, по его мнению, каков круг вопросов, вызывающих споры. «Представим их здесь с некогорыми подробностями, прежде нежели скажем собственные свои мысли». ³⁶

«Вот наслаждение художника и наслаждение философа или математика, — пишет П. Морозов далее. — Первое превращается в восторг, очарование или вдохновение, которое есть душа поэта; без оногo, сколько бы ни были правильны его творения в связи, расположении и порядке, остаются мертвыми или скучными для нас; — напротив, другое ученое удовольствие, не выходя из своих пределов, от одного исследования увлекается к новым! <...> Таковы размышления, кои рождаются с первого взгляда, при совокупном рассматривании наук точных и словесных. Сии последние, кажется, действительно составляют отдельную сферу, нимало не зависящую от первых. Истины, метода, ход исследований — все представляется противоположным для наблюдателя. Но если это допустим, то где же родственная связь знаний, о которой прежде говорили мы и в которой столь сильно убеждает нас и благоразумное созерцание вселенной, и самое существо и успехи наук? Могут ли какие-либо истины противоречить друг другу? И самые вымыслы, основанные на вероятии, и самые предположения, условные по времени, месту и обстоятельствам, не должны ли быть утверждены на одних и тех же законах природы, которые царствуют в ее собственных творениях?» ³⁷

³⁵ Там же, с. 103.

³⁶ Там же, с. 105.

³⁷ Там же, с. 113—114.

Всю эту серию вопросов автор рассуждения ставит с целью дать на них ответ, вполне согласуемый с его же основными исходными положениями. «Для чего же многие писатели в стихах и в прозе отвергают родство вкуса и гения с благоразумною и тщательною ученостью и с основательными и верными началами искусства? Они проповедают, что в руках ученого вкус вянет, как свежий цветок в руках грубого садовника. — Причиною такого нареkania не наука и не вкус строгой и утонченный, но злоупотребление того и другого: наука требует, чтобы мы не слишком заходили в тесные тропы и лабиринты логики и не предавались слишком мечтаньям. Порядок и расположение стихотворца, конечно, не должны быть такие, как в книге, следующей методе математической, но они, по крайней мере в относительном и условном смысле, имеют одни и те же правила».³⁸

На последних страницах своего рассуждения П. Морозов приходит к следующим выводам. «Опыты веков доказывают, что там, где воспитание имело главною целью изучение наук точных и основательных или, сколько можно, всеобщее изощрение всех наших умственных и нравственных сил, — там, говорю я, и науки изящные имели успехи более быстрые, более блистательные, более прочные, не подверженные прихотям непостоянного мнения или временного вкуса. Так рождались творения, пережившие народы нетленной жизнью истины и мудрости! Кажется, настает время торжественное для наук точных и в нашем отечестве. Обогащенные произведениями свежего, пышного воображения, духа доблестного и чувства высокого, оживляемого сознанием собственных сил своих, — обладающие одним из прекраснейших языков Европы, мы начинаем чувствовать необходимость строжайших исследований тех самых способов, которыми обладаем, и руководства вернейшего для достижения высокой цели всеобщего, истинного просвещения. И у нас должны быть и будут свои Декарты, Лейбницы, Ньютоны. И от нас будет разливаться свет познаний основательных, подобно лучам славы и доблестей!.. Способы открыты: потребность математических знаний ощущается на всех путях службы; отличное уважение, знаки почестей, путь блистательный сретают каждого юношу, посвятившего труды свои сим занятиям», и т. д.³⁹ В органе Любомудров «Московском вестнике» через несколько лет высказывались очень сходные

³⁸ Там же, с. 122.

³⁹ Там же, с. 125—126. — В фельетоне Ф. Булгарина «Литературные призраки» приводится несомненно очень типичский разговор воображаемых русских литераторов «О необходимости поэтам учиться наукам». Один из беседующих утверждает: «Науки открывают поэтам новый мир, разрывают цепи воображения, которое у пеучей всегда остается в тесных пределах и, говоря нашим апакреонтическим языком, будет всегда закупоренным в бутылки... Советую вам, — говорит другой, — иногда заглядывать в сочинения, а особенно в журналы по части физических наук, чтобы не повторять рассказов нянюшек о естественных явлениях в природе» (Литературные листки, 1824, август, т. 3, с. 104, 107).

взгляды; так, в критическом обзоре за 1827 г. здесь писали: «Наука всегда имела первое и решительное влияние на словесность у всех народов. Мысль отражается в слове; чем зреее и богаче мысль, тем зреее и слово его, тем богаче содержание словесности. Следовательно, для того чтобы показать вполне направление русской литературы, должно было бы обозреть современное состояние наук в нашем отечестве».⁴⁰

Интересным примером поэта, близкого к «Московскому вестнику», не только разделявшего эти мысли, но и увлеченно записавшегося математикой, может служить Д. В. Веневитинов. Он считал, что «математика есть самый блестящий, самый совершенный плод на дереве человеческих познаний», и, сравнивая ее с философией, утверждал, что «математика есть также наука свободная: точка, линии, треугольники суть некоторым образом ее произведения, но математика занимается одними произведениями своими и тем ограничивает круг свой, между тем как философия обращает все свое внимание на самое действие».⁴¹ «Даже в литературно-критических статьях Веневитинов прибегал к помощи математики, — вспомним его математические пропорции в „Разборе статьи об Евгении Онегине“»,⁴² — пишет один из комментаторов Веневитинова, замечая тут же, что эти увлечения поэта получили свое отражение в статье, переведенной Вешевитиновым из сочинения немецкого философа Иоганна Вагнера «О математической философии» (ответ Вагнера г-ну Блише) и снабженной пояснением самого Веневитинова. Об этой статье Веневитинов писал А. И. Копелеву: «Я случаем получил на короткое время 1820 год журнала Окена («Isis») . . . Зная, что вы прилежно с миром занимаетесь математикой, я заключил, что вам приятно будет видеть мнение двух славных математиков-идеалистов о сей науке. Для сего и перевел я ученый спор между Вагнером и Блише».⁴³

Вагнер утверждает в своей полемической статье, что «математика есть наука полная, заключающая в себе самой свою цель и свое начало», и что «она есть даже орган всех наук; но можно ли сказать, что она наука наук, закон мира? Мне кажется, что сие заключение выведено несправедливо». Сославшись на доказательства, приводимые Шеллингом в защиту условий познания мира, Веневитинов приходит к следующему заключению, помещаемому в примечании к переведенной им статье: «Математика — такое необходимое условие для всех наук, какое пространство, время и числа — для г . . . явлений мира; но как пеза-

⁴⁰ Обзорение русской словесности за 1827 год. — *Московский вестник*, 1828, ч. VII, № 1, с. 61.

⁴¹ Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. / Под ред. и с примеч. Б. В. Смиренского. М.: Л., 1934, с. 255.

⁴² Смиренский Б. В. Эстетические и философские воззрения Д. В. Веневитинова. — *Филологические науки*, 1969, № 6, с. 46.

⁴³ Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч., с. 300.

висимо от мира существует идея мира, так и независимо от математики, как познания, существует идея всякого познания, наука самопознания или философия».⁴⁴

Возвратимся, однако, к Дельвигу. До нас не дошел отзыв Пушкина о стихотворении «К поэту-математику», которое он, вероятно, перечитывал после смерти Дельвига; догадка, что Пушкин готовил издание его стихотворений и что цитируемая выше его статья о юности Дельвига была задумана как предисловие к этому изданию,⁴⁵ кажется очень правдоподобной. Прибавим, что точная ссылка Пушкина на измайловский «Вестник Европы» 1814 г. едва ли не свидетельствует, что в начале 30-х годов он освежил в своей памяти юношеские стихи своего покойного и нежно любимого друга. Но еще и до этого времени в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях», напечатанных (без подписи) в «Северных цветах» на 1828 г., Пушкин поместил несколько «мыслей», которые кажутся неожиданными, если мы не поставим их в прямую связь с той проблемой, которой было посвящено указанное выше стихотворение Дельвига. Пушкин писал здесь: «„Все, что превышает геометрию, превышает нас“, сказал Паскаль. И в следствии того написал свои философические мысли!».⁴⁶ И далее: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следовательно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии» (XI, 54).

Хотя «Отрывки из писем, мысли и замечания» и увидели свет в 1827 г., но, как известно, частично они были выбраны Пушкиным из более ранних рукописей.⁴⁷ Так, интересующие нас слова о вдохновении в геометрии в почти тождественной форме оказались в более ранней рукописи поэта, относящейся, по-видимому, к 1826 г. и печатавшейся в дореволюционных изданиях сочинений Пушкина под заглавием «О вдохновении и восторге». Полностью по рукописному тексту, со всеми вариантами, этот

⁴⁴ Там же, с. 258, 259.

⁴⁵ Модзалевский Б. Новинки пушкинского текста по рукописям Пушкинского Дома. — В кн.: Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пгр., 1922, с. 9. — «Статья эта, — пишет Б. Л. Модзалевский, — предназначалась, быть может, для помещения при сборнике стихотворений Дельвига; по крайней мере рукописи его, находящиеся ныне в Пушкинском Доме, несут на себе следы помет Пушкина, — помет редакционного характера, свидетельствующая о работе над ними как редактора».

⁴⁶ Изречение: «Ce qui passe la géométrie nous surpasse» действительно находится в «Мыслях» Паскаля (Pascal B. Pensées. Paris, 1828, t. II, p. 31).

⁴⁷ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин. Соч. СПб., 1855, т. I, с. 110—111, примечание. — П. В. Анненков предположил даже (см. в его книге: А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. 1799—1826 гг. СПб., 1874, с. 155—156), что «Отрывки из писем, мысли и замечания» начаты были еще в Кишиневе; ряд их действительно восходит к более раннему времени, чем 1827 г. (см.: Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. СПб., 1912, с. 89, примечание).

отрывок опубликован был В. И. Срезневским.⁴⁸ Интересующее нас место в этом отрывке имеет ясно выраженный полемический характер (в редакции, напечатанной в «Северных цветах», сильно ослабленный): «Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом», и т. д.⁴⁹ Очевидно, мысль эта была дорога поэту, если он воспроизвел ее из более ранней статьи, оставшейся неопубликованной, и включил в «Отрывки», предназначенные для альманаха Дельвига.

С кем, однако, спорил Пушкин? Еще П. В. Анненков, напечатавший этот отрывок впервые,⁵⁰ предположил вполне основательно, — и эта догадка считается ныне бесспорной, — что замечания Пушкина, касающиеся вдохновения и восторга, представляют ответ на статьи В. Кюхельбекера, появившиеся во второй и третьей частях альманаха «Мнемозина» 1824 г. («О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» и «Разговор с Ф. В. Булгариным»). В этих статьях Кюхельбекер отдавал предпочтение лирике перед эпосом, а из жанров лирических ставил на первое место оду, создаваемую вдохновенным восторгом, понимаемым в архаическом смысле. Это и вызвало критическую реплику Пушкина; он возразил против отождествления «восторженности» и «вдохновения» и определил последнее с полной трезвостью; не согласился Пушкин и с пристрастием Кюхельбекера к оде, жанру, уже сыгравшему свою историческую роль и, кроме того, не оправдывавшему себя по теоретическим соображениям, поскольку ода «исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого». «Нет; решительно нет, — свидетельствовал Пушкин, — *восторг* исключает *спокойствие* — необходимое условие *прекрасного*» (XI, 42, 41).

Таким образом, в цитированных словах Пушкина о вдохновении в геометрии мы находимся в кругу тех мыслей, истоки которых ведут к лицейским спорам и юношеским стихам его

⁴⁸ Срезневский В. И. Новый автограф Пушкина: Замечания по поводу двух статей В. К. Кюхельбекера. — В кн.: Пушкин и его современники. Пгр., 1926, вып. XXXVI, с. 34—41.

⁴⁹ Там же, с. 40; см. также: XI, 41. — Историки английской поэзии обращают внимание на юношеское шуточное стихотворение английского поэта-романтика Семьюэла Тейлора Кольриджа (1772—1834), — творчеством его, как известно, интересовался и Пушкин, — из которого явствует, что Кольридж также задумывался над проблемами соотношения математики и поэзии. Стихотворение это характерно уже по своему заглавию: «Математическая проблема. Проспект и образец перевода Евклида в серии Пиндарических од» (Mathematical problem: Prospectus and Specimen of a translation of Euclid in a series of «Pindaric Odes», 1791). Д. Китчин в своей книге о бурлеске и пародии в английской литературе (Kitchin G. A Survey of Burlesque and Parody in English. Edinburgh; London, 1931, p. 132) приводит текст этого забавного стихотворения, но отказывается, впрочем, видеть в нем пародию и объявляет его примером *jeu d'esprit* поэта, образцом остроумной бессмыслицы, получаемой от столкновения и соединения в одном творческом акте взаимоисключающих сфер постижения мира.

⁵⁰ См.: Пушкин. Соч., 1855, т. I, с. 257—258.

друзей. Пушкин в сущности дает здесь ответ и Дельвигу, отрицавшему для поэзии значение того «вдохновенья», которое может внушить «богиня измеренья» Урания, и Кюхельбекеру, архаическая поэтика которого защищала высокое паренье поэзии и «одический беспорядок» в противовес рассудительности, обдуманности, логике, системе. Для изучения теоретических воззрений Пушкина на произведения поэтического творчества мысли его, подкрепленные ссылкой на Паскаля, и лаконические собственные формулировки имеют, конечно, первостепенное значение. Они раскрывают нам противоречия двух мировоззрений и соответственно двух поэтических систем, из которых одна имеет свои корни в немецком философском идеализме конца XVIII в., другая — во французском рационализме и русской просветительской мысли того же XVIII столетия.

Нас, однако, не может не поразить в «Отрывках» Пушкина еще одна, до сих пор не замеченная сторона. В тот момент, когда Пушкин печатно признавал роль вдохновения при создании выдающихся произведений «точных» наук и настаивал на том, что «вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии», в Казани уже была произнесена речь Н. И. Лобачевского о воображаемой геометрии, первый очерк одного из гениальных творений русской математической мысли.⁵¹

Хронологические совпадения редко бывают случайными. Причинная между ними связь может быть установлена даже тогда, когда они кажутся особенно неожиданными. Необходимо лишь найти промежуточные звенья в той общей исторической цепи, которая их связывает, чтобы случайность стала закономерностью. Не было, конечно, никакой случайности и в том, что величайшие создания пушкинского гения возникли в то самое время, когда русская научная мысль дала ряд блестящих результатов, обладавших той же степенью универсального, мирового значения. Пушкин и Лобачевский были порождены одной и той же эпохой нашего культурного развития. Они не только были современниками, но, несомненно, знали друг о друге.⁵²

⁵¹ Речь Н. И. Лобачевского, в которой впервые изложены были начала неевклидовой геометрии, была им прочитана в Казанском университете 24 февраля 1826 г. Хотя текст этой речи до нас не дошел, но он может быть восстановлен по извлечениям, опубликованным в 1829—1830 гг. «Воображаемая геометрия» появилась в 1835 г. в «Ученых записках» Казанского университета.

⁵² Хотя о личном знакомстве Пушкина с Лобачевским во время пребывания поэта в Казани в 1833 г. не сохранилось никаких документальных свидетельств (Модзалевский Л. Б. Материалы для биографии Н. И. Лобачевского. М.; Л., 1948, с. 784), но сношения Пушкина с казанской профессурой и литературными кругами 30-х гг. делают вполне вероятным, что он знал о Лобачевском. В особенности существенно то обстоятельство, что среди знакомцев и корреспондентов Пушкина был И. Е. Великопольский, единоутробный брат жены Н. И. Лобачевского Варвары Алексеевны. Сохранилась переписка Великопольского как с Пушкиным, с которым он виделся в Пскове в 1826 г. и, может быть, в Михайловском (Модзалевский Л. Б. И. Е. Великопольский. — В кн.: Па-

Близкое знакомство Пушкина с французской литературой просветительского века еще в лицейские годы (как об этом свидетельствует хотя бы его стихотворение «Городок») уже тогда могло предостеречь его от слишком прямолинейных противопоставлений поэзии науке. Убеждение Пушкина, что в том чрезвычайном напряжении интеллектуальных сил, которое именуется «вдохновением», неизбежно участие разума, могло опираться на авторитет французских рационалистов XVIII в.

По сочинениям Вольтера, Лебрена, д'Аламбера и других Пушкин, конечно, был знаком и с французским вариантом теории об «энтузиазме», своеобразии которого заключалось в признании разума как главной вдохновляющей и действенной силы, определяющей совершенство художественного творения. Ода Лебрена «Об энтузиазме» прямо основывалась на том, что «вдохновенный разум» в особенности проявил себя в области наук «точных» и экспериментальных.⁵³

Эстетика французских просветителей XVIII в. не только не противопоставляла поэзию науке, но, напротив, создала образцы того, что в XIX в. получило наименование «научной поэзии». Фюзиль в своем исследовании, посвященном истории «научной поэзии» во Франции, ведет ее начало от середины XVIII в.,⁵⁴ а Ральф Крам в книге «Научная мысль в поэзии» посвящает особую, пятую главу откликам французской художественной литературы на быстрый рост научной и технико-изобретательской мысли во Франции перед революцией 1789 г.⁵⁵ Действительно, прославление науки, способствующей познанию мира и подчинению сил природы творческому могуществу человеческой мысли, составляет одну из излюбленных тем французских од, посланий

мья Л. Н. Майкова. СПб., 1902, с. 359 и сл.; Зиссерман П. И. Пушкин и Великопольский. — В кн.: Пушкин и его современники. Л., 1930, вып. XXXVIII—XXXIX, с. 257—280), так и с Н. И. Лобачевским (Модзалевский Б. Л. Н. И. Лобачевский: Письма его к И. Е. Великопольскому. — Изв. Физ.-матем. о-ва при имп. Казанском унив. Казань, 1902, 2-я сер., т. XII, № 2, с. 86—101). Сохранились также стихотворные послания И. Е. Великопольского к Пушкину и Н. И. Лобачевскому. Известно, с другой стороны, что Н. И. Лобачевский любил и хорошо знал произведения Пушкина. С. М. Великопольская свидетельствует (в письме из Казани от 17 января 1832 г.), что Лобачевский «читал нам русские песни барона Дельвига, мелкие стихотворения Пушкина и стихотворения Баратынского, который здесь, в Казани...» (Модзалевский Л. Б. Материалы для биографии Н. И. Лобачевского, с. 303). Дочь Лобачевского, В. Н. Ахлопова, в свою очередь вспоминала, что ее отец любил декламировать стихотворения Пушкина «в семейном кругу своем» (там же, с. 594).

⁵³ Le Brun. Ode l'enthousiasme. — Œuvres choisies. Paris, 1829, p. 486 (цит. в кн.: Пушкин А. С. Соч. Л., 1929, т. IX, ч. 2, с. 927; ср. также статью Вольтера «Энтузиазм» в томе II его «Философского словаря» (V oltaire. Œuvres complètes. Paris, 1826, t. LIV, p. 353—361).

⁵⁴ Fusil C. La poésie scientifique de 1750 à nos jours. Paris, 1918.

⁵⁵ Crum Ralph B. Scientific Thought in Poetry. New York, 1931, p. 81—109.

и описательных поэм этого времени. Сеп-Ламбер в предисловии к своим «Временам года» утверждал, например, что «успехи наук, объединяемых под наименованиями физики, астрономии, химии, ботаники и т. д., помогли познанию дворца мира и людей, которые в нем обитают... Краспоречивые философы превратили физику в приятную науку, распространили ее идеи и сделали их популярными. Поэтому язык философии может стать и языком поэзии; стало возможно создавать поэмы, требующие разнообразного знакомства с природой».⁵⁶ Еще поэт Удар де ла Мотт (1672—1731) сочинил большую оду «Академия наук», в которой прославляет Парнас, где утвердилась Механика, примененная ко многим чудесным и уже в этом смысле вполне «поэтическим» явлениям физического мира. Механика побеждает все препятствия и заставляет служить своим чудесным опытам Воздух, Огонь, Ветры и Воды.⁵⁷

Особые строфы поэт посвятил в этой оде Геометрии, путеводительнице Механики, непрерывно освещающей ей путь своими правилами и своим компасом, и в особенности стремился прославить «точную Алгебру», это великое искусство, заключающее в себе нечто магическое, столь же пренебрегавшееся доселе, сколь и знаменитое:

La Géométrie est le guide
Qui sans cesse éclairant leur pas,
Leur prête les secours solides
De sa Règle et de son Compas...
Mieux qu'elle encore l'exacte Algèbre,
Ce grand art aux magiques traits,
Aussi négligé que célèbre.⁵⁸

Поэтому французская поэзия второй половины века прославляла не только науку, но и ее деятелей в прошлом и настоящем. Восхищение вызывали, в частности, те ученые, которые не гнушались также и поэзией. Напомним хотя бы похвалу Вольтера (в его «Храме вкуса», 1783), адресованную Фонтенелю, этому ученому и поэту, который «одной рукой легко брал и компас, и перо, и лиру»:

D'une main légère il prenait
Le compas, la plume et la lyre.⁵⁹

⁵⁶ Ibid., p. 97.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid., p. 97—98.

⁵⁹ Voltaire. Le temple du goût. — Œuvres complètes. Paris, 1828, t. XV, p. 58. — Леонардо Ольшки в своей богатой наблюдениями и обобщениями статье «Геометрический дух в литературе и искусстве» (Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Jhg. 1930, H. 3, S. 516—568) вскрыл близкое родство, существовавшее между математическими исследованиями и французской эстетической мыслью XVII—XVIII вв.; это родство сказалось в пристрастии к точным пропорциям в поэзии и прозе, в поисках симметрических логико-грамматических и ритмико-мелодических конструкций во французском литературном языке и т. д.

«Энциклопедический дух» в эту пору получил выражение в многочисленных произведениях целой группы поэтов, у которых поэзия стала верной служанкой науки: Пуэнсине написал поэму о прививке оспенной вакцины, маркиз Дефонтеп — об астрономии, Пьер-Луи Кастель — о растениях, Люс де Лапсваль — о географии, Лемьер — о происхождении химии.⁶⁰ Основная задача всех этих произведений — прославить новый научный метод, внушить самое возвышенное представление о безграничной смелости, дерзаниях и счастливых достижениях человеческого ума, о неисчерпаемых возможностях и грядущем прогрессе научного знания.

Духом «Энциклопедии» веет также и от поэмы «Три царства природы» Делиля, этого «парнасского муравья», по определению Пушкина (V, 377). Характерно, что в первой части этой поэмы Делиль посвятил особые стихотворные строфы геометрическим исследованиям Паскаля и электрическим явлениям, а в других частях писал о химии и вулканических процессах земли, о ботанических исследованиях Линнея, о любви растений и т. д. И уже на пороге нового века Андре Шенье начал поэму «Изобретение» («L'Invention»), которая должна была прославить новую науку и сделать ее достоянием новой поэзии. Торричелли, Ньютон, Кеплер и Галилей были и более знающими и более счастливыми в своих могучих творческих усилиях, чем ученые древности, свои сокровища они открыли новому Вергилию, и теперь слово за ним, — утверждает здесь Шенье. По его мнению, «все искусства взаимосвязаны», «человеческие знания не могли бы расширить пределы своего владычества, не содействуя в то же время успеху поэзии»:

Tous les arts sont unis: les sciences humaines
N'ont pu de leur empire étendre les domaines,
Sans agrandir aussi la carrière des vers.⁶¹

Для Пушкина и для многих его сверстников все перечисленные имена французских писателей и поэтов просветительского века были еще именами живыми, конкретными, как и для представителей старшего поколения русских любителей литературы. Произведения этих поэтов, стремившихся объединить усилия науки и художественного слова ради наиболее полного раскрытия и истолкования физической природы или картины вселенной, были хорошо известны у нас и в подлинниках, и в переводах. Цитаты из Делиля наряду с состоятельными опытами описательных «научных» поэм (вроде дерптской поэмы А. Воейкова «Искусства и науки», 1817, отрывки из которой печатались в «Вестнике Европы», 1819), из Лемьера, д'Аламбера и многих других нередко приводились в русских журналах двух первых десятилетий как привычные, знакомые читателям. Уже в выборе

⁶⁰ Crum Ralph B. *Scientific Thought in Poetry*, p. 98.

⁶¹ Chénier A. *Œuvres complètes*. Paris, 1819, p. 5.

этих цитат порою чувствовалось, что тот вопрос, который поднимался в юношеском стихотворении Дельвига «К поэту-математику», интересовал не его одного, что проблема противоречий между научным и художественным познанием действительности, различия в методах ее изучения и истолкования была проблемой действительной и в теории, и в практике.

Если Дельвиг, как мы видели, отрицательно решал вопрос о совместимости увлечений точным знанием и поэзией; если для него, по крайней мере в юные годы, не подлежала сомнению неподпорная общественная ценность науки и поэзии в общих творческих усилиях человеческого ума; если ему была чужда самая мысль о возможности «научной поэзии», — то, например, Батюшков, воспитавшийся на произведениях французских просветителей, стоял на противоположных эстетических позициях. Касаясь того же противопоставления ученого и поэта, что и Дельвиг, приблизительно в те же годы (1816) Батюшков сочувственно цитировал д'Аламбера, также противопоставлявшего их, но далеко не в пользу поэтического творца. Батюшков писал в своем «Вечере у Каштемира»: «Бросьте на остров необитаемый математика и стихотворца, говорил д'Аламбер: первый будет проводить линии и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется его наблюдениями; второй перестанет сочинять стихи, ибо некому хвалить их: следовательно, поэзия и поэт, заключает *рассудительный* философ, питаются суетностью».⁶² В оставшейся незаконченной статье 1822 года «О прозе» Пушкин тоже сослался на д'Аламбера по поводу суждения последнего о Бюффоне. Характерно, что и эта цитата имеет непосредственное отношение к тому же спору о поэзии и науке, но вопрос сосредоточен здесь в иной плоскости: речь идет у Пушкина о нежелательности «поэтического языка» в научной прозе, что, несомненно, родственно общей проблеме о вдохновении, питающем научную и поэтическую мысль (XI, 18—19).

Отзвуки близкого знакомства Пушкина с французской научно-художественной литературой и просветительской философией XVIII в., утверждавших его с юности в мысли о мнимом противоречии поэзии как искусства и научного знания, еще долго встречались в его творчестве. Онегина, после объяснения его с Татьяной, он заставил прочесть «скептического Беля» и «творенья Фонтенеля» (VI, 183), а в октавах «Домика в Коломне», вычеркнутых поэтом из текста, стоят рядом имена Вольтера и Делля, осуществивших, каждый на свой манер, этот союз поэзии и экспериментальной науки:

⁶² Батюшков К. Н. Соч., т. II, с. 220. — Впоследствии Е. А. Баратынский в письме к И. В. Киреевскому (июнь 1832 г.) цитировал слова Виланда, являвшиеся, по-видимому, возражением д'Аламберу: «Виланд, кажется, говорил, что, ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделял бы свои стихи, как в кругу любителей литературы» (Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951, с. 519).

И ты, Вольтер, философ и ругатель,
[Поэт, астроном, умственный Протей],
И ты, Делиль, парнасский муравей. . .

(V, 377)

Тем не менее вопрос о соотношении поэзии и науки, о различиях их методов или близости между ними, о возможностях их сочетания, объединения их усилий решался у нас в эти годы не только на примерах французской литературы просветительского века, но и на более близких образцах русской литературы XVIII в., в которых эта проблема поставлена была отнюдь не с меньшей остротой. Для Пушкина особенности этой проблемы в ее русской форме должны были иметь особо важное значение.

Русская поэзия XVIII в. довольно широко отразила процесс становления и быстрого развития русской науки в этом столетии — от Ломоносова и до Радищева включительно. В этом, в частности, получала свое выражение просветительская тенденция русской литературы этого века. Уже Кантемир был сатириком-просветителем своеобразного склада: стихотворство было для него одним из средств популяризации научных знаний. В его сатирах заключена весьма красноречивая апология «точных» наук, того «математического естествознания», которым Кантемир увлеченно занимался и сам еще до своего отъезда за границу; в примечаниях к сатирам изложены научные теории (например, закон всемирного тяготения; отличие систем Коперника и Птолемея представлено им в первой сатире еще до начала его работы над переводом «Разговоров о множественности миров» Фонтенеля),⁶³ объяснены научные термины, охарактеризованы инструменты для научных экспериментов, — например, микроскоп или химический горн, — вероятно, впервые названные в русском стихотворном тексте. Написанная в 1735 г. Кантемиром «песня», т. е. ода, «В похвалу наук» не только прославляет благотворную силу знания, но и набрасывает целую историю наук в круговороте времен и в связи с территориальным перемещением очагов цивилизации: от Египта, Греции и Рима до возрождения наук в Италии и обратного движения с Запада на Восток.

Еще более наглядный пример представляло собой творчество Ломоносова, совместившего в себе ученого и поэта, которое служило предметом удивления и внимательного изучения Пушкина и его современников. Одна из важнейших и излюбленных мыслей Ломоносова, одушевлявших его оды, — практическое значение науки, которая должна сыграть важную роль в развитии государственной мощи и укреплении благосостояния страны. Отчетливо высказана эта мысль в оде 1747 г.:

Возри в поля Твои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;

⁶³ Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. 2-е изд. М.; Л., 1947, с. 220. — Еще Батюшков отметил, что Кантемир с увлечением занимался алгеброй посреди своих поэтических занятий (Батюшков К. Н. Вечер у Кантемира. — Соч., т. II, с. 219).

Богаство в оных потаенно
Наукой будет откровенно...

В оде 1750 г. мы находим уже и более детализованную картину государственного значения отдельных наук и практического применения их в отечественных условиях — механики, химии, астрономии, географии. Обращение к механике предполагает в первую очередь грандиозную программу кораблестроительных и гидрографических работ:

Наполни воды кораблями,
Моря соедини реками,
И рвами блата иссуши...

Химия тесно связана с металлургией, геологией, почвоведением:

В земное недро ты, Химия,
Проникни взора остротой,
И что содержит в нем Россия,
Драги сокровища открой.

Здесь идет речь даже о метеорологии:

Наука легких метеоров,
Премены неба предвещай,
И бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки предъявляй...⁶⁴

Это не только целая программа будущего развития русских научных исследований, но и поэтический вызов отечественной науке, вдохновенный гимн ее будущему. Такие стихотворные произведения Ломоносова, как «Размышления» или эпистола «О пользе стекла», — это уже подлинные образцы своеобразной, полной национальной окраски русской «научной поэзии».

По стопам Ломоносова шел его ученик Николай Никитич Поповский (его стихотворное «Письмо о пользе наук» помещено в «Живописце», т. I, 1772, л. 8), а затем эта же тенденция к сближению задач поэзии и науки развивалась и дальше в русской поэзии XVIII в., ощущаясь то сильнее, то слабее, давая своеобразные и неожиданные сочетания у поэтов разного склада и стиля, но не исчезая вовсе из русских поэтических текстов.⁶⁵

⁶⁴ Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомлинова. СПб., 1891, т. I, с. 149, 219.

⁶⁵ Одно из первых крупных произведений молодого Хераскова — дидактическая поэма «Плоды наук» (1761), прославляющая пылкость человеческого ума и общественную пользу научных знаний. Основные ее тезисы выражены в таких строках:

Что мы ни вобразим, наукой основалось...

или:

Воззри, коль надобны для общества науки!

Очень своеобразные образцы русской «научной поэзии» имеются в творениях С. С. Боброва, которым, как известно, так интересовался Пушкин. В «Тавриде», например, Бобров в вставном эпизоде рассказывает о гибели Рихмана при «испытании электрической силы» и с восторгом описывает научные опыты Ломоносова:

Ах! — как он в сердце восхищался
При испытании эфира,
Когда шипящие лучи
Одеяны в цветы различны
Скакали с треском из металла? ⁶⁶

В «Тавриде» же мы находим целые стихотворные трактаты на разнообразные естественнонаучные темы. В другое, более

Может быть, эта поэма задумана как опровержение основных положений знаменитого рассуждения Руссо на тему о том, «способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов», но и в своих существенных частях поэма Хераскова прежде всего повторяет мысли Ломоносова о практическом значении наук для благоденствия отечества; здесь также механика стоит на первом месте, с нею связаны успехи сельского хозяйства:

Цветущие сады когда мы вобразим,
На земледельцовы орудия возрим,
Увидим, что прервать хотяща наше бедство,
Механика сие изобретала средство...

или военного искусства:

Дабы рука сильнее в сражении была,
Механика свои орудия дала.

Астрономия обеспечивает мастерство кораблевождения:

Когда через моря стремятся корабли,
На камни бы они, или на мель текли,
Когда б через свою великую науку
Нам астрономия не подавала руку...

В заключении поэмы говорится о значении науки в русской общественной жизни:

Проник в закрытый храм природы испытатель;
И Химик действует, сокровищей податель;
Явилась в наши дни наука Врачевства,
Для пользы общия в сиянье торжества;
Не нужны будут п... теперь страны чужия:
Науки преподаст п... ст своих Россия.

(Х е р а с к о в М. М. Эпические творения.
М., 1820, ч. II, с. 259, 260, 264)

Отметим, впрочем, что в поэме, написанной тридцать лет спустя («Вселенная», 1791), Херасков отрекался уже от прославления силы разума и с реакционно-мистических позиций выступал против «разрушающей» силы умствований.

⁶⁶ Б о б р о в С. Таврида. Николаев, 1798, с. 183.

позднее творение С. Боброва включена небольшая поэма «Обузданный Юпитер, или Громовый отвод» с маленьким трактатом по электричеству в подстрочных примечаниях и ссылками на сочинения Эйлера.⁶⁷

Имя Радищева особенно ярко блистает в той же связи: глубокие, никогда не прекращавшиеся занятия науками, сопровождавшиеся самостоятельными экспериментами, не могли не отразиться не только в философских работах Радищева, но и в его поэтическом творчестве. В оде «Вольность» отчетливо высказана мысль о великом освободительном значении научного творчества: успехи наук находятся в прямой зависимости от «зизждительного духа свободы», идущего наперекор церковному авторитету (ломающего «опор духовной власти», строфа 26) и зажигающего «святильник истины», «лучи просвещения»; поэтому в оде прославляются и великие ученые — Галилей, Ньютон:

Но чудо Галилей творить
Возмог, протекши пустотою,
Зизждительной своей рукою
Светило дневно утвердить...
Венец, наукой соплетенный,
Носим Невтоновой главой;

Таков, себе всегда мечтая,
На крыльях разума взлетая,
Дух бодр и тверд возможет вся;
[По всей вселенной пронесется;]
Миров до края вознесется...⁶⁸

Даже в свою «богатырскую повесть» «Бова» Радищев не побоялся вставить стихи, посвященные истории химических открытий, в частности рассказ об открытии фосфора, требующий в настоящее время особых пояснений, похвалу искусству изготовления цветного стекла или описание плавильного процесса в доменной печи, примененное в качестве развернутой поэтической метафоры.⁶⁹

Вслед за Радищевым поэтические прославления науки и новые образцы русской «научной поэзии» дали поэты той весьма прогрессивной по своим общественным воззрениям группы, которая получила у нас наименование «поэты-радищевцы». Многие поэты «Вольного общества» и сами с интересом изучали математику, физику, астрономию и в своих стихах ревностно популяризировали их; для прочих прославление экспериментальных наук и их воспитательной и просветительной роли являлось как бы частью их общественной программы. Напомним хотя бы оды И. П. Пнина «Время» и особенно «Солнце неподвижно между

⁶⁷ Бобров С. Рассвет полночи. СПб., 1804, ч. III. Игры важной Поэгимнии, с. 34—36.

⁶⁸ Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938, т. I, с. 9, 12.

⁶⁹ См. в моей статье «К истолкованию поэмы А. Н. Радищева „Бова“» (в кн.: Радищев: Статьи и материалы. Л., 1950, с. 206—211).

планетами»; в последней дается новое поэтическое изложение Птолемея и Коперника; в частности, в полном противоречии с упомянутым выше стихотворением Дельвига «К поэту-математику» у Пнина именно Урания вызывает вдохновенного поэта воспеть на лире надзвездные миры:

Какой бессмертной пред очамп
Отверзла Урания ход?
Твоими ли зовусь устамп,
Богиня, на небесный свод?
Спешу вослед я за тобою
И возвышенною душою
С земли подьмелюсь в небеса,
Светильник твой меня предводит
Ко храму, где мой взор находит
Природы тайны чуда.⁷⁰

Другие поэты воспевают электрические явления в природе, сопровождая свои стихи научно-популярными пояснениями. Так, например, в одном из стихотворений А. П. Бенитцкого («Трус») к стихам:

Небось вы мыслите, что я щцу спасенья
От грома и янтарного огня? —

сделано следующее примечание автора: «Первое действие электрической силы открыто было чрез янтарь — по-гречески *электр*, — от которого она и получила свое название».⁷¹ В стихах другого второстепенного поэта-радищевца, Ф. И. Ленкевича, специально интересовавшегося физикой, мы находим аналогичное указание:

Кто б мог провидеть, что крупинка,
Найденная у вод морских,
Покажет путь к уразуменью,
Как погашать небесный огонь?..

В примечаниях автора объяснено: «Электрическая сила в первый раз замечена в янтаре Фалесом почти за 600 лет до Р. Х.».⁷² Характерно, что тот же Ф. И. Ленкевич посвятил особое произведение результатам физического опыта, быть может, проведенного самим поэтом, «Стихи на разрыв эолипилы — физического инструмента, которым доказывается упругость паров»:

Во медяном шару, как будто в чреве Этны,
Вступила в бой вода с врагом своим — огнем;
Но видя большее устоство, силу в нем,
Пустилась с быстротой через преграды медны;
Как облак громовой, шар треснул, загремел:
Как град, металл вокруг звенящий полетел.⁷³

⁷⁰ См.: Поэты-радищевцы: Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Л., 1935, с. 172 (Библиотека поэта. Большая серия).

⁷¹ Там же, с. 690.

⁷² Там же, с. 639.

⁷³ Там же, с. 637.

Поэты-радищевцы посвящали свои стихи также успехам русской медицины («Ода на болезнь» И. П. Пнина, посвященная знаменитому русскому врачу О. К. Каменецкому), исследованиям русских естествоиспытателей («Ода на случай нового сочинения г. академика Лепехина» В. В. Попугаева), «бессмертным умам» великих ученых вообще («К строителям храма познаний» А. Х. Востокова).⁷⁴

Напомним здесь также о поэте Михаиле Никитиче Муравьеве (1757—1807), который в молодости интересовался не только историей и живописью, но также механикой, физикой, посещал в Академии наук лекции Эйлера, Крафта, и т. д. Вот почему и поэзия его постоянно возвращается к различным проблемам науки: он размышляет в стихах о «горячих солнцах», говорит о строении глазной сетчатки в стихотворении «Зрение» (1776), представляющем собой настоящий гимн в честь человеческого ока, учится читать книгу природы «в писаниях Бюффона и Линнея», упоминает «мореходца Беринга» и Декарта, и т. д.⁷⁵

В высшей степени характерно, что стихи, затрагивающие научные темы, изредка встречаются и у русских поэтов иных направлений, прошедших иную поэтическую школу и вдохновлявшихся иными образцами. В стихах молодого Карамзина, например, засвидетельствован его интерес к оптическим исследованиям Ньютона. В «Анакреонтических стихах» (1789) Карамзин рассказывает:

Рассматривал я присму,
Желая то увидеть,
Что Ньютонову душу
Толико занимало —
Что Ньютоново око
В восторге созерцало.

Правда, в последующих стихах Карамзин должен был признаться,

Что Ньютонова дара
Совсем я не имею;
Что мне нельзя проникнуть
В состав чудесный света,
Дробить лучей седмичных
Великого светила.⁷⁶

В конце концов «я Ньютона оставил», говорил он здесь же не без горечи, по тем не менее если не сочинения Ньютона, то по крайней мере какие-нибудь изложения его «Оптики» сопутствовали Карамзину при его изучении спектрального анализа. Отме-

⁷⁴ О пропаганде поэтами-радищевцами передового научного мировоззрения и об их вкладе в русскую «научную поэзию» см.: Орлов В. Н. Русские просветители 1790—1800-х гг. 2-е изд. М., 1953, с. 431—438.

⁷⁵ Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967, с. 39, 40, 160—162 (Библиотека поэта. Большая серия).

⁷⁶ Карамзин Н. М. Соч. Пгр., 1917, т. I. Стихотворения, с. 22, 23.

тим, впрочем, что это стихотворение Карамзина дало повод для не вполне правильных, на наш взгляд, умозаключений его исследователей. Так как «Анакреонтические стихи» посвящены другу Карамзина. его «Агатону» — А. А. Петрову, то с влиянием последнего связывались и занятия молодого Карамзина «естественными науками», которые он «бросился изучать», по испытал разочарование и неудачу.⁷⁷ При этом указывают на интерес Карамзина к Копернику и на собственные его признания в том, что одно время наука была предметом его стихотворных восхвалений:

Я пел хвалу Наукам,
Которые нам в душу
Свет правды проливают;
Которые нам служат
В час горестный отрадой.

(Мишеньке, 1790)⁷⁸

В числе приписываемых Карамзину стихотворений находится напечатанное в «Московском журнале» 1791 г. (ч. II) стихотворение «К текущему столетию», в котором высказана поэтическая хвала не только наукам, но и технико-изобретательской мысли, в частности тогдашним опытам воздухоплавания:

О век чудесностей, ума, изобретений! . .
В тебе открылся путь свободный в храм Наук. . .
В тебе и Естества познался законы;
В тебе щастливейши Икары, презря страх,
Полет свой к небу направляют;
В воздушных странствуют мирах,
И на земле опять без крыл себя являют.⁷⁹

Разносторонность интересов Карамзина в его молодые годы не подлежит сомнению, но не следует и преувеличивать его увлечения экспериментальными науками. По крайней мере, собственный рассказ Карамзина в «Анакреонтических стихах» о Ньютопе и опытах преломления солнечных лучей через призму, по-видимому, имел своим непосредственным источником не столько трактаты великого английского ученого, сколько произведения английской поэзии, в которых дана их интерпретация, и в первую очередь поэмы Дж. Томсона, упомянутые в «Анакреонтических стихах»:

Я Томсоном быть вздумал,
И петь златое лето. . .⁸⁰

⁷⁷ Именно так объясняет это стихотворение В. В. Сиповский в примечаниях к нему (см.: Карамзин Н. М. Соч., т. I, с. 403—404) и подробнее в своей книге «Н. М. Карамзин, автор „Писем русского путешественника“» (СПб., 1899, с. 112—113).

⁷⁸ Карамзин Н. М. Соч., т. I, с. 46. — Ср. похвалу науке, которую у Пушкина царь Борис произносит своему сыну Федору («Борис Годунов»).

⁷⁹ Карамзин Н. М. Соч., т. I, с. 333—334.

⁸⁰ Там же, с. 23.

Известно, что научные трактаты И. Ньютона, и в частности его «Оптика» (1704), оказали разностороннее влияние на английскую поэзию XVIII в. Как показали недавние исследования, в особенности исследования Маржори Никольсон, открытия Ньютона сильно воздействовали на воображение современных ему поэтов и вызвали множество стихотворных откликов. Изложению и своеобразному истолкованию в английской поэзии первой половины XVIII в. подверглось, в частности, учение Ньютона о физике света; оно послужило основой новых эстетических теорий того времени — об эстетике света и красочно-цветовых соотношений, о гармоническом соответствии красок и звуков («синестезия»), содействовало разработке новой колористической гаммы в поэтическом словаре, совершенствовало технику описательной поэзии и т. д.⁸¹ Среди целой группы второстепенных английских поэтов-ньютонианцев первой половины XVIII в. (Блэкмор, Брук, Мозес Браун и др.) выделяется Джемс Томсон, автор «Времен года» («Seasons»), как бы сосредоточивший в этой своей прославленной поэме все разнообразие воздействий и вдохновляющих идей,шедших от научных теорий Ньютона к английским поэтам его времени.⁸² Следует думать, что «Времена года» Томсона, пользовавшиеся столь длительной популярностью во всех европейских литературах XVIII в., в том числе и в русской,⁸³ и явились непосредственным источником, в котором молодой Карамзин почерпнул интерес к Ньютому и его опытам с призмой: все световые и колористические эффекты «Времен года» Томсона, включая его описание радуги, вся его пейзажная техника и поэтический словарь основаны на тщательном изучении творений Ньютона, воспроизводят его терминологию, придавая ей эстетический смысл; сам Ньютон неоднократно прославлен здесь как гениальный истолкователь «божественно простых» законов природы (см., например, «Лето», стихи 1560—1562).⁸⁴

«Ньютонианство» Дж. Томсона, современника Ломоносова и, между прочим, автора стихотворного панегирика Петру I как насчитателю наук, ремесел и искусств в преобразованной России,⁸⁵ —

⁸¹ Nicolson Marjory Hope. *Newton Demands the Muse: Newton's «Opticks» and the Eighteenth Century Poets.* Princeton, 1946. — В предшествующих работах того же автора (в особенности в ее книгах «The Microscope and English Imagination» и «A World in the Moon») собрано много интересных данных о воздействии научных исследований, производившихся с помощью микроскопа и телескопа, на английскую художественную мысль.

⁸² Drennon Herbert. *Newtonianism in James Thomson's Poetry.* — *Englische Studien*, 1935—1936, Bd 70, S. 358—372.

⁸³ О Томсоне и его переводных описательных поэмах на русской почве см.: Резапов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Пгр., 1916, вып. II, с. 498—513.

⁸⁴ Nicolson Marjory Hope. *Newton Demands the Muse*, p. 43—54.

⁸⁵ Этот панегирик включен Томсоном во «Времена года» («Зима», 1726); всю относящуюся к Петру I цитату Карамзин привел в «Письмах русского путешественника» (Лион, 9 марта 1790 г.) на том основании, что «может быть, не все читатели знают эти стихи».

лишь один эпизод из истории английской «научной поэзии», интересный для нас благодаря известности поэзии Томсона в русской литературе, в кругах, близких Пушкину. Другие и даже более характерные образцы английской «научной поэзии» XVII—XVIII вв. едва ли были у нас широко известны; стоит, однако, подчеркнуть, что ближайшие предшественники и современники Дж. Томсона, английские стихотворцы конца XVII и начала XVIII в., придерживались гораздо более прямолинейных взглядов на соотношение поэзии и науки, чем этот предтеча септентариально-романтической поэзии второй половины XVIII в. Если Томсон искусно применял результаты ньютоновских открытий к природоописательной, пейзажной технике своих поэм, способствовал созданию новых эстетических представлений о соотношениях света и краски и их словесного выражения, то другие поэты-ньютоновцы, приверженцы классицистической поэтики, не видели препятствий к тому, чтобы непосредственно выражать в своих стихах формулированные Ньютоном «Законы чисел, тел и движения»;⁸⁶ геометрические исследования они считали достойной темой для поэтического изложения и равноправной всякой другой.⁸⁷ «Гимн науке» («Hymn to Science») Марка Экепсайда, постулирующий единство целей философов, ученых и поэтов в их усилиях проникнуть в тайны природы и понять управляющие ею законы, несомненно выражал мнение целой группы поэтов, разделявших подобные воззрения.⁸⁸

К концу XVIII в. взгляды на поэтическое и научное творчество в Англии коренным образом изменились, как изменилось и отношение к самой науке в различных общественных кругах. В предисловии к «Лирическим балладам» (1800), этом манифесте романтической школы, Вордсворт высказался весьма неуверенно по поводу содружества ученого (Man of Science) и поэта (Poet), уклончиво допустив, что если бы наука стала более понятной и доступной, то открытия ученых могли бы сделаться более законными темами для поэтического творчества.⁸⁹ И если относительно Шелли, например, известно, что он с интересом следил за химическими исследованиями своего времени и основательно штудир-

⁸⁶ Nicolson Marjory Hope. Newton Demands the Muse, p. 55.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid. — Вопрос о воздействии научного естествознания на английскую литературу и эстетическую мысль XVII—XVIII вв. составляет особую тему, выходящую за пределы настоящих разысканий и этюдов. Укажем лишь, что она хорошо разработана в литературоведении, хотя бы в связи с научными описательными поэмами Эразма Дарвина «Botanic Garden» и «Temple of Nature» (ср.: Дарвин Эразм. Храм природы / Перевод Н. А. Холодковского, предисловие, редакция и комментарии академика Е. Н. Павловского. М., 1954); см., например: Logan James V. The Poetry and Aesthetics of Erasmus Darwin. Princeton, 1937. — Новейшая научная литература о взаимоотношениях науки и поэзии собрана в указателе: Dudley Fred. A. The Relation of Literature and Science: A Selected Bibliography 1930—1949. Washington, 1949.

⁸⁹ Nicolson Marjory Hope. Newton Demands the Muse. p. 55—56.

ровал пьютоповские «Начала» (и то и другое не прошло бесследно для его поэтического творчества),⁹⁰ то о Ките современники свидетельствовали, что он, наоборот, хулил Ньютона, в частности за то, что тот «уничтожил всю поэзию радуги, разложив ее на ее призматические цвета».⁹¹

Таким образом, в пределах одной литературной эпохи и даже в условиях близкого литературного общения проблема взаимоотношений науки и поэзии могла решаться различно в зависимости от личных вкусов и предрасположений поэтов. Аналогичным примером могли бы служить изложенные выше расхождения во взглядах на этот предмет Дельвига и Пушкина.

Представляло бы особый интерес определить отношение Пушкина к русской научной поэзии XVIII и начала XIX в., поскольку она не могла не остановить на себе его внимание в той же связи. По-видимому, это отношение испытывало различные колебания и пересматривалось. С наибольшей полнотой эти колебания отразились в истории его отношений к наследию Ломоносова. Первоначально Пушкин гораздо увереннее отказал Ломоносову в звании поэта, возвышая его как ученого. «Уважаю в нем великого человека, но, конечно, не великого поэта», — писал Пушкин о Ломоносове в письме к А. А. Бестужеву в 1825 г. (конец мая — начало июня) (XIII, 173) и в том же году в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» развивал ту же мысль, подкрепляя ее характерными аргументами: «Поэзия бывает исключительно страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни; но если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же — иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения» (XI, 32—33).

Не находимся ли мы и здесь в сфере тех самых споров, которые Пушкиным велись еще в лицейские годы? Не отзвук ли это тех же самых идей о противоречии между «пламенным» воображением и трезвой аналитической мыслью, которые развивали в свое время и Дельвиг, и Кюхельбекер, тех же их юношеских мечтаний о поэтическом призвании, исключаящем всякую другую творческую деятельность? Может быть, Пушкин возражает здесь против традиционных в его время оценок Ломоносова как «придворного» стихотворца или преимущественных восхвалений его как одического поэта, в противовес его научному творчеству, все величие которого тогда еще не было раскрыто?⁹²

⁹⁰ Grabo Carl. A Newton among the Poets. Chapel Hill, 1930; Nicolson Marjory Hope. Newton Demands the Muse, p. 3.

⁹¹ Nicolson Marjory Hope. Newton Demands the Muse, p. 1.

⁹² В риторических похвалах Ломоносову различия между ним как поэтом и ученым обычно не делалось. В стихотворной характеристике Ломоносова, включенной А. Воейковым в его поэму «Искусства и науки»

Отзвук тех же привычных осуждений Пушкиным Ломоносова как поэта слышится еще в «Путешествии из Москвы в Петербург» («В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения»; «С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмачестве, не думает... Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении»; XI, 249). Тем не менее уже здесь Пушкин отклоняется от своих односторонних приговоров более ранних лет и намечает иное решение проблемы. Совершенно новый, принципиально отличный от прежних суждений взгляд Пушкин высказывает в статье «Мнение М. Е. Лобанова» (1836): «... у Ломоносова оспоривали (весьма неосновательно) титул поэта. . . , ныне вошло в обыкновение хвалить в нем мужа ученого, унижая стихотворца» (XII, 72). Мы не знаем в точности, какие именно факты из истории литературной репутации Ломоносова Пушкин имел в виду в данном случае, но он, несомненно, верно уловил основную линию в развитии критических оценок наследия Ломоносова, которым свидетелем был сам,⁹³ и его слова о «неосновательности» отказа Ломоносову в звании поэта звучат как своего рода самоосуждение.⁹⁴ Изменилось ли собственное отношение Пушкина к поэзии Ломоносова? Пересмотрел ли он заново все ту же проблему о соотношении поэзии и науки в индивидуальном творческом труде? Во всяком случае не подлежит никакому сомнению, что Пушкин долго и упорно

(Вестник Европы, 1819, ч. СIII, № 8, с. 248—249), он прославлялся за то, что первый проложил у нас «дорогу к музам в храм, дорогу в храм Минервы»:

Хвала! ты был для нас Франклином и Ньютоном,
И совместил в себе Пиндара с Цицероном.

Батюшков в своих мыслях о Ломоносове, занесенных в его записную книжку (1817), напротив, удивляется стилю ломоносовской прозы, «красоте и точности сравнения», «порядку всех мыслей», «точности и приличию эпитетов» и с большой тонкостью подмечает, что источники этих красот — «беспреданное размышление о науках» и «созерцание чудес природы, его первой наставницы» (Батюшков К. Н. Соч., т. II, с. 344—345). О «тщательной отделке холодного искусства» в стихах Ломоносова тогда же писал П. А. Вяземский (Полн. собр. соч. СПб., 1878, т. I, с. 19—20).

⁹³ Получившая печальную известность ошибка французского историка науки Ф. Ноефег в его «Histoire de la chimie» (Paris, 1862, p. 367), писавшего о «Ломоносове-химике, которого не следует смешивать с посвятившим это же имя поэтом» (цитировано у Б. Г. Кузнецова в его книге «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку» (М., 1951, с. 24) и в статье С. М. Бурдина «Роль М. В. Ломоносова в создании русской естественнонаучной терминологии» (Уч. зап. Ташкентского гос. пед. инст., 1954, вып. II, с. 76)), закономерно восходит к этой отмеченной Пушкиным тенденции возвышать в Ломоносове ученого, умаляя его значение как стихотворца.

⁹⁴ Об отношениях Пушкина к Ломоносову-поэту см.: Коплан Б. П. «Полтавский бой» Пушкина и оды Ломоносова. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XXXVIII—XXXIX, с. 113—121 (где указана и литература вопроса).

размышлял над этой проблемой в целом и что она неоднократно привлекала его внимание.

Освещая на примере Ломоносова предполагаемый «конфликт» между наукой и поэзией, Пушкин уже в «Путешествии из Москвы в Петербург» давал ему то решение, которое намечалось значительно раньше. Объявив Ломоносова «самобытным сподвижником просвещения» и «первым нашим университетом» (XI, 249), Пушкин как бы уничтожал противоречия в творческой деятельности Ломоносова, делал их несущественными: одновременные труды Ломоносова в области науки и искусства сливались в некий единый и неразложимый комплекс величественного творческого дела.

«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник. . .», — писал Пушкин еще в 1825 г. в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (XI, 32).

«Обнять все отрасли просвещения» в глазах Пушкина было признаком творческой силы, а не слабости. Такую задачу могли ставить перед собой и ученые, и поэты; и во времена Ломоносова и во времена Пушкина это был важнейший вопрос русской культуры. Пушкин также ставил перед собой подобную задачу. Существенно было бы проследить, как менялось и усложнялось в словоупотреблении Пушкина понятие «просвещение»; не подлежит, однако, сомнению, что в 20-е годы в это понятие Пушкиным включалось и представление о многообразии научных отраслей; знакомство с ними Пушкин считал для себя обязательным и деятельно стремился к этому, чтобы, как он и сам признавался в своем послании к Чаадаеву, «в просвещении стать с веком наравне» (II, 187). «Любопытен только вопрос — что значило тогда в русском обществе: стать с веком наравне?» — спрашивал П. В. Анненков, цитируя эти стихи.⁹⁵ С нашей точки зрения, Пушкин подразумевал здесь прежде всего пополнение своих знаний в различных областях науки.

Отметим попутно еще один любопытный факт. В области эстетики и критической теории у нас наблюдалась в это время тенденция устранить ощутимый разрыв между «точным» знанием и «законами» искусства, шли поиски возможностей сблизить их в некоей общей умственной сфере познания, которая могла бы предъявлять науке и искусству общие требования, давать им одновременные указания. Интересное рассуждение по этому поводу мы находим в статье «О возможности изящной словесности как науки». Автор ее (неизвестный нам по имени, может быть, М. П. Розберг) ставил себе следующие вопросы: «в чем состоит изящество, что значит изящная словесность, каковы признаки.

⁹⁵ Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху, с. 156.

отличающие ее от других произведений, откуда происходят ее законы, или, соединив сии вопросы в один, — возможна ли изящная словесность как наука?». Отвечая на это, он подчеркивал прежде всего, что «без общего мерила изящества и без основных правил изящной словесности нельзя судить о превосходстве ее произведений. По сей-то причине правила словесности, хотя и называемые теорией, вопреки сему названию, кажутся неточными и противоположаются наукам точным». Вдумываясь далее в логические процессы познания природы и самопознания, он приходит к выводу, что они друг другу не противоречат: «Явления эстетического мира принадлежат к тому же первоначальному действию самопознания, посредством которого мы наблюдаем самих себя и природу, и что в нем заключаются начала всякого искусства, равно и изящной словесности. Из сего заключаем необходимость законов изящной словесности и о возможности оной как науки. Сии законы, коих происхождение не есть чувственное, объясняют всю цепь истин, показывая и звенья, на коих истины утверждены; они господствуют в математике, в науках нравственных и естественных, они должны быть в изящной словесности и в изящных искусствах».⁹⁶

3

Астрономические познания и представления Пушкина уже привлекали к себе внимание исследователей, но его несомненный интерес к науке о небесных светилах и строении вселенной подчеркнут не был. Планеты, звезды, кометы с их античными именами и связанными с ними легендами нередко упоминаются в его стихах в соответствии с русской поэтической традицией XVIII в., но наряду с этим, в особенности начиная с середины 20-х годов, мы встречаемся в его творчестве с отзвуками новейших научно-космогонических теорий и открытий в области астрофизики.

Специальных пояснений потребовало, как известно, стихотворение «Редет облаков летучая гряда...» (1820) с его обращением к «вечерней звезде»:

Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины...

(II, 157)

«Астрономическая картина в этом стихотворении совершенно ясна, — писал по этому поводу Н. Кузнецов, — поэт, увидев на вечернем небе звезду и припав ее за „знакомое светило“ — Венеру, вспоминает ее восход „над мирною страной“, в описании которой нетрудно узнать южный берег Крыма...». Однако

⁹⁶ О возможности изящной словесности как науки. — Московский телеграф, 1827, ч. XVI, с. 299—311.

в 1820 г. в Гурффузе он не мог видеть Венеру на вечернем небе, где могли быть видимы в то время только две другие планеты — Юпитер и Сатурн; последний находился в созвездии Водолея и заходил около полуночи. «Таким образом, — заключал отсюда Н. Кузнецов, — Пушкин хотя и ошибся, приняв одну из этих планет (вероятно, Юпитера, как более яркую) за Венеру, но все же проявил незаурядную наблюдательность, признав в случайно проглянувшей из-за облаков звезде планету».⁹⁷ В поисках «астрономических мотивов» в творчестве Пушкина, «поэта, изумительного по точности описаний природы и по необыкновенной художественской добросовестности и правдивости»,⁹⁸ тот же исследователь не обратил, однако, внимания на некоторые другие произведения поэта, в которых эти мотивы представляют еще больший интерес, так как они основаны не на одной лишь наблюдательности, но и на сведениях, полученных из книжных источников. Таков, например, набросок, предположительно относимый к 1825 г., оставшийся неотделанным и неоконченным и начинающийся следующими стихами:

Под каким созвездием,
Под какой планетою
Ты родился, юноша?
Ближнего Меркурия,
Аль Сатурна дальнего,
Марсовой, Кипридиной?⁹⁹

(II, 1, 447)

В вариантах мы находим поиски поэтом различных стилистических комбинаций с наименованиями планет; при этом даваемые звездам эпитеты подчеркивают другие их особенности, не расстояния между ними, но степень их яркости, например:

Золотая звездочка
Али Марса яркого...
Марса аль Меркурия...

(II, 2, 977)

Смысл начальных вопросов данного наброска только противопоставительный; поэт хочет сказать, поэтизируя старинные астрономические представления, что судьбой его героя управляли не какие-либо знаменитые светила, а случайная, «прелестная звезда»,¹⁰⁰ лишь на одно мгновение зажегшаяся на темном небе:

⁹⁷ Кузнецов Н. «Вечерняя звезда» в одном стихогворении Пушкина. — Мироведение, 1923, № 1 (44), с. 88, 89.

⁹⁸ Там же, с. 87.

⁹⁹ Этот отрывок впервые опубликован П. О. Морозовым (Новые стихи Пушкина. — Русское слово, 1916, 10 апреля) и введен в том же году в академическое издание сочинений Пушкина (т. IV, 1916, с. 294—295); к датировке его см.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Научное описание / Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937, с. 34, № 81.

¹⁰⁰ Под «прелестными звездами», по разъяснениям А. С. Шишкова, понимались тогда «вспасающие звезды, кои потом исчезают», «обманчивые»

Уродился юноша
Под звездой безвестною,
Под звездой падучею,
Миг один блеснувшей
В тишине небес.

(II, 1, 447)

Тем существеннее для нас встречающееся в основном тексте наброска, но имеющее в данном случае характер случайной и второстепенной детали сопоставление «ближнего Меркурия» и «Сатурна дальнего». В пушкинское время не всякий образованный человек обязан был помнить, что Меркурий является планетой, ближайшей к Солнцу; что касается Сатурна, то до открытия Урана (в 1781 г.) он действительно считался планетой, самой удаленной от Солнца; удержать в памяти данные этого рода мог лишь человек, интересовавшийся звездным небом. Каталог библиотеки Пушкина действительно свидетельствует, что астрономические сочинения не были ему чужды.¹⁰¹

звезды, метеориты. В. Виноградов (Язык Пушкина. М.; Л., 1935, с. 182—183) обратил на это внимание в связи с известными стихами из «Евгения Онегина»:

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве —

(VI, 161)

подчеркнув, что Пушкин, пользуясь этим термином, «каламбурно играет двойственностью его возможных смыслов, связью эпитета „прелестный“ со словами „красавица...“ (ср.: Бродский Н. Л. Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина, с. 273—274); в стихах Пушкина были указаны и характерные параллели в оде В. Петрова «Как промеж звезд луна», у Карамзина («Наталья, боярская дочь»), в «Тавриде» (1799) С. Боброва, где есть такие стихи:

Все звезды в севере блестящи,
Все дочери севера прекрасны;
Но ты одна средь них луна...

(Бобров С. Таврида, с. 71)

¹⁰¹ В библиотеке Пушкина сохранились две книги английского астронома Джона Гершеля (сына) во французских переводах: «Traité d'Astronomie... suivi d'une Addition sur la Distribution des Orbites cométaires dans l'Espace (Bruxelles, 1835)» и «Publication complète des nouvelles découvertes de Sir John Herschel dans le Ciel Austral et dans la Lune» (Paris, 1836) (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, с. 248, №№ 982, 983). Имя этого астронома, как и прославленное имя его отца, Вильяма Гершеля, открывшего Уран и построившего знаменитые телескопы, несомненно, было хорошо известно Пушкину значительно раньше, так как об их открытиях много писали в русских журналах первой трети XIX в. Можно высказать предположение, что интерес к астрономии был усвоен у Пушкина беседами в Кишиневе с «первым декабристом» В. Ф. Раевским, давно и серьезно занимавшимся этой наукой: в своих стихотворных посланиях 1818—1819 гг. к другу своей юности, будущему декабристу Г. С. Батенькову, Раевский недаром упоминал и имя Гершеля

В 1824 г. в Михайловском, создавая свои «Подражания Корану», Пушкин написал в пятом отрывке:

Земля недвижна — неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой —

и сопроводил их следующим примечанием: «Плохая физика: но зато какая смелая поэзия!» (II, I, 354, 358). Указанный отрывок, как отмечено было К. С. Кашталевой,¹⁰² подобно всему произведению в целом, основан на подлинном тексте Корана в русском прозаическом переводе М. И. Веревкина («Создал горы, удерживая землю от движения... , покрыл их небом, поддерживая оное, да не падет на них»). «... Пушкин, — замечает в свою очередь Н. А. Смирнов, — блестяще уловил ведущую идею Корана... В пятом „Подражании“ точно передается представление Корана о неподвижности земли».¹⁰³ Особое примечание, сделанное Пушкиным к указанным стихам, представляется нам знаменательным: оно свидетельствует, что при чтении Корана Пушкина поразило существующее здесь противоречие между «смелым» поэтическим представлением и научными данными о движении небесных тел, с таким трудом добытыми и доказанными европейской наукой. Это было одно из тех противоречий между научным и поэтическим мышлением, которое, как мы видели выше, всегда интересовало Пушкина, но в данном случае он, вероятно, задумался еще раз и над самой научной проблемой. Мы судим об этом на основании стихотворения «Движение», написанного около того же времени, самый выбор темы которого нельзя объяснить случайностью.

Так как в истории создания этого стихотворения существует еще много неясностей, нам необходимо остановиться на нем несколько подробнее.

В конце ноября—начале декабря 1825 г. из Михайловского Пушкин послал П. А. Вяземскому несколько мелких стихотворений «для какого-то альманаха»; эти стихотворения в том же письме названы Пушкиным «эпиграммами» («вот тебе несколько эпиграмм, у меня их пропасть, избираю невиннейших»; XIII, 245).

«с циркулом планет»; Раевский был уверен, что и Батеньков «мыслию летал»

С Ньютоном, с Гершелем в планетах отдаленных,
Движенья их, часы, минуты исчислял...

(Атеней Историко-литературный вестник. Л., 1926, кн. III, с. 7; см. также: Пушкинский юбилейный сборник, с. 287)

¹⁰² Кашталева К. С. «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточник. — Записки Коллегии востоковедов. Л., 1930, т. V, с. 252.

¹⁰³ Смирнов Н. А. Очерки истории изучения ислама в СССР. М., 1954, с. 32—33, 227—228; ср.: Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской арабистике. М., 1950, с. 241.

Альманахом, куда они направлялись и в редакцию которого они были доставлены Вяземским, была «Урагия. Карманная книжка на 1826 год для любителей и любителей русской словесности», изданная М. Погодиным (М., 1826). Здесь действительно напечатаны Пушкиным все пять пьес («Совет», «Соловей и кукушка», «Движение», «Дружба», «Мадригал»).¹⁰⁴

Отнесение всех этих пьес, включая «Движение», к эпиграмматическому роду имело, конечно, совершенно определенный смысл; с точки зрения Пушкина, все они вполне соответствовали тому привычному пониманию «эпиграммы» как стихотворного жанра, которое было усвоено им еще в лицейские годы. Все эти маленькие пьесы названы «эпиграммами» прежде всего потому, что каждая из них имеет в виду конкретный объект насмешки или обличения, а все вместе они образуют своего рода цикл, направленный против вполне злободневных явлений современной поэту идейной и литературной жизни. Первая, «Совет», подсказана досадой на «рой журнальный» докучных критиков и прямо считает «эпиграмму» наиболее действенным средством борьбы с ними; вторая, «Соловей и кукушка», направлена против элегиков; недаром Баратынский сразу же догадался, куда метил поэт: «... как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом», — писал он по этому поводу Пушкину (Пушкин, XIII, 254); четвертая и пятая пьесы «эпиграмматически» выворачивают наизнанку привычные определения дружбы или подоплеку стихотворного комплимента, вскрывая житейское несоответствие сущности явления устойчивому его наименованию.¹⁰⁵

Жанровое родство всех указанных пяти пьес бросается в глаза, так же как и своего рода законченность образуемого ими цикла; из всех написанных им эпиграмм Пушкин выбрал пять «невиннейших», т. е. не содержащих в себе каких-либо общественно-политических намеков и, следовательно, не опасных в цензурном смысле, но в смысле выбора их для печати он, несомненно, руководствовался общей мыслью, определившей, быть может, даже последовательность их расположения, к сожалению, нарушаемую в собраниях его сочинений.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Историю появления этих стихотворений в альманахе «Урагия» см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888, кн. I, с. 316—319.

¹⁰⁵ К последней «эпиграмме» («Мадригал») прямую параллель мы находим в «Евгении Онегине»:

И псевди - эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

(VI, 86)

¹⁰⁶ Представило бы известный интерес выяснение тех причин, по которым нарушен был порядок расположения этих «эпиграмм», первоначально установленный самим Пушкиным. В «Урагии» они напечатаны не в той последовательности, в какой они были сообщены самим поэтом

Из всех указанных пьес эпиграмматический смысл третьей, «Движения», обычно ускользает от исследователей, как, впрочем, и теснейшее родство ее с двумя заключительными («Дружба» и «Мадригал»). Напомним эту эпиграмму, так как для последующего анализа значение имеет каждое ее слово:

Д в и ж е н и е

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

(II, 1, 432)

В кого метит эта «эпиграмма» и почему в середине 20-х годов она должна была иметь характер злободневного отклика? Что такой именно характер должен был быть ей присущ по замыслу Пушкина, видно из того, что она занимает третье место в этом маленьком цикле, логический ход которого ведет нас от более частных и конкретных нападений к критике более общих философских проблем гносеологического и лингвистического характера.

Эпиграммы, в которых высмеивались не столько научные теории, сколько нерадивые восприимчивики школьной премудрости, были распространены в Лицее. Пушкин не мог не знать, что А. Д. Илличевский под своим лицейским псевдонимом (*-йший*) напечатал в «Российском музее» эпиграмму «Философия пьяного астронома»:

Коперник справедлив — тут нечему дивиться;
Я вижу сам, земля вертится.
Но это что за чудеса?
Два солнца светят мне в глаза.¹⁰⁷

в письме к Вяземскому: «Мадригал» стоит на первом месте, затем идут «Движение», «Совет», «Соловей и кукушка» и «Дружба»; во второй части «Стихотворений» Пушкина издания 1829 г. порядок снова изменен: весь цикл открывается «Движением», за которым следуют «Дружба», «Соловей и кукушка» и «Совет».

¹⁰⁷ Российский музей, 1815, ч. II, № 5, с. 143. — Хотя А. Д. Илличевский напечатал эту эпиграмму без всякого указания на ее источник, она заимствована: оригиналом ее является стихотворение немецкого поэта Эвальда фон Клейста (1715—1759) —

Gedanken eines betrunkenen
Sternsehers

Mich wundert nicht, dass sich
Ihr Freunde, wie ihr seht,
Die Erde sichtbar dreht;
Copernik hat fürwar kein falsch System ersonnen!

Как ни естественна сама по себе житейская ситуация, положенная в основу этой эпиграммы, развернувшей в анекдот обиходное выражение («двоится в глазах»),¹⁰⁸ но в русской литературе тот же мотив и также в анекдотическом плане еще шире разработан был на полвека раньше Ломоносовым в стихотворении, получившем широкую популярность.

Среди «Кратких замысловатых повестей», помещенных в знаменитом «Письмовнике» Н. Г. Курганова, книге, столь хорошо известной Пушкину, помещен, между прочим, следующий анекдот:

Doch, Brüder! — dort seh'ich
Am Himmel gar zwey Sonnen.
Ey, ey! das wundert mich!

(1758)

Задолго до Илличевского это же стихотворение Клейста перевел и напечатал Г. П. Каменев (Муза, 1796, ч. II, с. 14):

Мысли пьяного астронома
(с немецкого)

Ничуть меня не удивляет,
Любезные друзья!
Вертится что земля:
Коперник правду утверждает.
Эй!.. на небе два солнца — не одно!
Вот это мудрено.

Немецкий источник указан в ст.: Бобров Е. К биографии Г. П. Каменева. — Варшавские унив. известия, 1905, кн. II, с. 76. — Отметим еще один русский анонимный перевод указанного стихотворения Э. фон Клейста:

Пьяный астроном

Друзья! Оставим спор, послушайте меня.
Так движется земля, а не светило дня.
Теперь-то истину Коперника системы
Я вижу явственно; против нее все немы.
Я вижу более, системы разны вдруг...
И небо, и земля, и вы вертитесь вокруг.

(Улей, 1811, ч. I, № 5, с. 388)

В оглавлении указано: «с немецкого». Вариант того же мотива, заимствованного из эпиграммы французского поэта Pons de Verdun «Livrogne logicien», см. Д. Давыдова в его «Логике пьяного» (Полн. собр. стихотворений. Л., [1933], с. 106 и 253 (Библиотека поэта. Большая серия)).

¹⁰⁸ В дневнике Ф. Малевского (под 19 февраля 1827 г.) кратко описан вечер у Н. А. Полевого, в котором кроме самого Малевского и друга его Мицкевича присутствовали Пушкин, Вяземский, Дмитриев, Соболевский, Баратынский, Полторацкий. Беседа зашла, между прочим, относительно «сна, в котором два солнца»; Малевский приводит по этому поводу язвительное замечание, сделанное, по-видимому, И. И. Дмитриевым: «Если бы кончил на бутылке шампанского, ничего не было бы удивительного, что у него бы в глазах двоилось» (см.: Цявловская Т. Г. Пушкин в дневнике Фрагтшека Малевского. — В кн.: Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 226). Как отметил D. Cyževskij (Zeitschrift für slavische Philologie, 1955, Bd XXIII, II, 2, S. 390), речь, несомненно, шла о незадолго перед тем появившемся в «Московском

«Молодой звездочет, будучи в беседе, уверял, что солнце, а не земля обращается, и хотя вытти; тогда один шутник ему сказал: пожалуй, побудьте с нами немного, я хочу доказать противное вашему мнению. Знаете ли, что солнце оживотворяет, греет и печет всё на земле? Правда, отвечал на то звездарь. Так видно, продолжал шут, что не солнце, да земля вертится, ибо, когда жарят птиц, тогда вертят их, а не очаг. Это правде подобно, сказал другой, но весьма далеко от мнения многих ученых мужей и от истины, и я знаю таких писателей, кои разумно утверждают на том мнении. Может статья, отвечал шут. Да веришь ли, что правда в вине? Слышал... Хорошо, так напейся же до пьяна, тогда увидишь, что земля, а не солнце вертится».

«То же доказано в следующих стихах, — продолжает Курганов и приводит стихотворение на ту же тему, не называя, впрочем, его автора —

Случились вместе два астронома в шутку
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: земля вертятся круг солнца ходит.
Другой, что солнце все с собой планеты водит:
Один Коперник был, другой слыл Птоломей;
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: ты звезд течение знаешь?
Скажи, как ты о сем сомнение рассуждаешь?
Он дал такой ответ: что в том Коперник прав:
Я правду докажу, на солнце не бывав.
Кто видел простяка из поваров такова,
Который бы вертел очаг кругом жаркова?».¹⁰⁹

Хотя автор стихотворения не назван, но составитель «Письмовника» знал его хорошо: это был Ломоносов, напечатавший эти стихи в своей брошюре «Явление Венеры на солнце, наблюдаемое в Санктпетербургской Академии Наук мая 26 дня 1761 года» (СПб., 1761, с. 10—12), первую половину которой составляет описание учебных наблюдений над прохождением Венеры двух

вестнике», без подписи, стихотворении С. П. Шевырева «Сон», в котором развернута своеобразная астрономическая картина, вызвавшая трезвое скептическое замечание Дмитриева:

Гляжу — с заката и с восхода,
В единый миг на небосклон
Два солнца всходят лучезарных...
.....
Все дышет жизнью двойной:
Два солнца отражают воды,
Два сердца бьют в груди природы...

(Московский вестник, 1827, ч. I, № IV, с. 249—250; Шевырев С. П. Стихотворения. Л., 1939, с. 28—30 (Библиотека поэта. Большая серия))

¹⁰⁹ Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многими присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия. СПб., 1818, 9-е изд., ч. 1 / Составил Н. Курганов, с. 158—159.

петербургских астрономов — А. И. Красильникова и будущего составителя «Письмовника» Н. Г. Курганова.¹¹⁰

Стихотворение Пушкина «Движение», сохраняя известное жанровое родство и с указанным произведением Ломоносова, и с эпиграммами лицейских лет, вроде приведенной выше эпиграммы Илличевского, не имеет, однако, с ними ничего общего по существу. Если Ломоносов написал свое шуточное стихотворение для популяризации гелиоцентрической теории Коперника, встречавшей еще враждебное отношение в России в XVIII в. в реакционных кругах, чем и воспользовался знакомец и почитатель Ломоносова Н. Г. Курганов в тех же просветительских целях, то в эпиграмме Илличевского перед нами простая житейская шутка, намекающая на известную научную теорию, но снижающая смысл ее положений сугубо бытовым применением; то же снижающее бытовое применение находим и в широко распространенных впоследствии школьных виршах с именами Пифагора, Коперника или Галилея в качестве лукаво утверждаемых или опровергаемых житейскими доводами ученых авторитетов. «Движение» Пушкина — это удивительное по своей мысли философское суждение, имеющее в то же время явно полемический характер; в противном случае оно не было бы «эпиграммой» и не должно было войти в данный злободневный эпиграмматический цикл.

В рукописях Пушкина сохранилась запись на французском языке, которую с давних пор принято считать «источником» или

¹¹⁰ Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомятина, т. II, с. 225, 327—328; Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России, с. 309—311. — «Письмовник» Н. Г. Курганова не указан ни в том, ни в другом источнике. В новейшем академическом «Полном собрании сочинений» Ломоносова, в примечании к указанному стихотворению, вслед за Д. Д. Благим, утверждается, что «аргумент, вложенный в уста повара, заимствован из весьма известного, много раз переиздававшегося во второй половине XVII в. прозаического произведения французского писателя Сирано де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи Луны», где автор говорит: „Было бы одинаково смешно думать, что это великое светило [солнце] станет вращаться вокруг точки, до которой ему нет никакого дела, как было бы смешно предположить при виде жареного жаворонка, что вокруг него вертелась печь“» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., т. 8, 1959, с. 695, 1124—1125; ср.: т. 4, с. 371—378). Ср.: Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. М.; Л., 1964, с. 320—321. — Указанное выше стихотворение Эвальда фон Клейста лишает убедительности приведенное категорическое указание на французский источник Ломоносова. Отметим также, что в комедии Я. в. Княжнина «Неудачный примпритель, или Без обеда домой поеду» (д. I, сц. 1) повар Яков Ростер, вспоминая о «мусье Кассероле, славном французском кухмистре», сообщает, что этот его «мудрый учитель» говаривал ему: «В поваренной все есть: астрономия, физика, химия, мораль, политика и сама медицина... и точно так... в астрономии толковал он мне часто обращение около своей оси небесных шаров, в том числе и нашей земли. Жареное была земля, а вертел — ось ее. То правда, что от того он, заговариваясь о небесах, часто пережигал жаркое; но для просвещения ума это безделица» (Княжнин и п. Соч. СПб., 1848, т. 2, с. 333).

«первым очерком темы» «Движения» или его «планом». «Превозносили [Философа] Циника, который начал ходить перед тем, кто отрицал движение. Солнце поступает так же, как Диоген, но никого не убеждает».¹¹¹ Уже давно было разъяснено, что «брадатый мудрец», отрицавший движение, — это Зенон Элейский, древнегреческий философ V в. до н. э., а его оппонент, вступивший с ним в «бездомный спор», — «Диоген-циник».¹¹² Последний назван здесь, кстати сказать, по недоразумению вместо другого философа, которому античная традиция приписывала наглядную аргументацию возможности движения на глазах у Зенона, — Аптисфена.¹¹³ Сведения, которые можно получить о Зеноне в лю-

¹¹¹ Эта запись, впервые опубликованная П. В. Анненковым (Пушкин. Соч. СПб., 1855, т. I, с. 272), находится на обороте автографа стихотворения «Все в жертву памяти твоей...», датированного здесь же самим поэтом 1825 г. П. В. Анненков вполне правильно предположил, что выскаянная в этой записи мысль «породила небольшое стихотворение: *Движение*». Воспроизводя эту заметку, П. О. Морозов (Пушкин А. С. Соч. СПб., 1887, т. I, с. 353—354) ошибочно утверждал, что «*приписку*, которая и послужила для него темою», Пушкин якобы сделал при стихотворении «Движение». П. А. Шляпкии, вновь опубликовавший эту запись по принадлежавшему ему автографу Пушкина, следуя Морозову, ошибочно утверждал в свою очередь, что «эта приписка повторяется в рукописи стихотворения *Движение*», из чего следовало, что якобы запись эта повторена Пушкиным дважды (Шляпкии Н. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903, с. 3; Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935, с. 496—497).

¹¹² Черняев Н. П. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков. 1900, с. 327—333.

¹¹³ Диоген не мог быть этим философом, так как он жил по крайней мере на сто лет позже Зенона Элейского. А. Маковельский приводит первоисточник этого анекдота из трактата Элиаса (In Categ., с. 109, 6 по изданию Буссе), где говорится о Зеноне: «И еще в другой раз как-то, выступив в защиту того же самого учителя «Парменида», говорившего, что сущее неподвижно, он «Зенон» подкрепляет учение о неподвижности сущего пятью эпискремами. Будучи не в состоянии ответить на них, циник Антисфен встал и начал ходить, полагая, что доказательство действием сильнее всякого словесного выражения» (Маковельский А. Досократики: Первые греческие мыслители в их творениях, в свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Казань, 1915, ч. II, с. 78). Гл. Глебов упрекнул Пушкина за то, что он в своей заметке допустил «две неточности»: во-первых, приписал Диогену то, что относится к Антисфену, и, во-вторых, что он «сместил историческую перспективу»: «ведь „действие“ солнца на небе в течение тысячелетий убеждало людей в том, что оно вращается вокруг неподвижной земли. Потребовалась огромная работа ума для понимания действительного положения вещей»; лишь «в процессе осуществления своего замысла Пушкин эти неточности устранил» (Глебов Гл. Философская эпиграмма Пушкина. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. 3, с. 400). Отметим со своей стороны, что в окупательном тексте «Движения» нет никакого исторического колорита, и это, по нашему мнению, лишний раз свидетельствует об интересе Пушкина к существу проблемы, а не к легендарно-анекдотическим подробностям из истории ее научной разработки. Единственная живописная деталь во всем тексте «Движения», которая могла бы быть истолкована как намек на историческое время, к которому относится воспроизводимый в нем философский анекдот, — это эпитет, которым Пушкин наделяет мудреца, не называя его по имени. Однако «мудрец брадатый» не обязательно должен был вызвать в представлении читателей

бой истории древнегреческой философии, все же не могут дать нам никакого ответа на поставленный выше вопрос: почему «Движение» включено Пушкиным в эпиграмматический цикл и какие факты современной ему научно-философской мысли он имел в виду, посвящая свою эпиграмму данной проблеме.

Очень вероятно, что о Зеноне и о выдвинутых им доказательствах против движения Пушкин знал еще из лицейских лекций А. И. Галича,¹¹⁴ тем не менее мы предполагаем, что непосредственным поводом для возникновения эпиграммы «Движение» явилась статья В. Ф. Одоевского, напечатанная им в четвертой части альманаха «Мнемозина» под заглавием «Секта идеалистико-элеатическая» и представлявшая собой отрывок из задуманного им «Словаря истории философии».¹¹⁵

В. Ф. Одоевский дал в этой статье характеристику четырех философов-«досократиков» элейской школы — Ксенофана, Парменида, Мелисса и Зенона. Выбор этой школы, или «секты», как она именуется Одоевским, имел глубокий смысл в связи с увлечениями его в то время немецким философским идеализмом, в частности Шеллингом. Одоевский и сам подчеркнул в своей статье, что элейцы и пифагорейская школа явились предтечами Платона, породили некоторые позднейшие философские системы и, наконец, «были основанием теории многих новейших мыслителей, далеко оставивших за собою все усилия прежде бывшихлюбомудров».¹¹⁶ «Элеатику-метафизику» Зенону Одоевский посвятил заключительный раздел своей статьи.

Считая Зенона «явлением весьма достопримечательным в летописях ума человеческого», Одоевский дал следующую оценку его учению: «Зенон не составил никакой особенной системы; его целью было поддерживать мнения Парменидовы, доказать, что опытность имеет множество различных сторон, из коих каждая может быть справедлива и несправедлива, и что следовательно

образ древнегреческого философа (выразительные скульптурные изображения которых Пушкину были столь хорошо знакомы хотя бы по царскосельской «Камероновой галерее»).

¹¹⁴ А. И. Галич посвятил четыре страницы своей «Истории философских систем» (кн. 1, СПб., 1818) «идеалистическому училищу первых элеатиков» (с. 50—54), особое внимание уделив именно Зенону (с. 52—54). Характерно, однако, что Галич далек от каких-либо восхвалений этого философа; он считает, что Зенон «довершил расторженность, открывшуюся между познаниями смысла и чувств», так как он «противопоставлял друг другу смысл и опыт (наипаче касательно движения...)). Имя в виду прежде всего аргументы Зенона против движения и пространства, Галич был убежден, что они имели отрицательное значение для последующего развития философской мысли: «...воздвигаая, утверждая и опровергая противоречивые положения, запутывая оп разум в собственные свои хитросплетения, оглушал слушателей, не научая ничему, рассеивал молву о необычайной крепости своего ума и, соделавшись, таким образом, с одной стороны, изобретателем *скептики* и *софистики*, вынуждал, с другой, диалектику — искусство словопрения, развязывающее хитросплетенные узлы» (с. 52—53).

¹¹⁵ Мнемозина, ч. IV, 1825, с. 160—192.

¹¹⁶ Там же, с. 169—170.

опытность ведет к заблуждениям; наконец, что одно умозрение может довести нас до истины».¹¹⁷

Таким образом, усматривая в элейской школе, и в частности в положениях Зенона, «основание» «теории многих новейших мыслителей», Одоевский, несомненно, имел в виду Шеллинга и его ранних русских ревнителей; характеристика идеалистической элейской школы, Парменида и Зенона делалась Одоевским в «Мнемозине» прежде всего для подкрепления тех положений «новейших мыслителей», которые он считал в то время справедливыми и бесспорными.¹¹⁸

Характерно, что в той же четвертой книжке «Мнемозины», где была напечатана указанная статья В. Ф. Одоевского, М. Г. Павлов (скрывавшийся за двумя греческими буквами л. л.) напечатал свою статью «О способах исследования природы». Это была его первая большая статья натурфилософского содержания, в которой он защищал «умозрение» против «эмпириков». «Природа, — писал здесь М. Г. Павлов, — исследуется двумя способами: аналитическим — эмпирическим и синтетическим — умозрительным. По первому способу во главу угла полагается опыт, и на нем зиждется все знание; по второму — умозрение; по первому от явлений восходят к началам, по второму от начал к явлениям. Совокупность сведений, первым способом приобретенных, называется *эмпирическими*, а вторым — *умозрительными* естественными науками».¹¹⁹ Вся статья М. Г. Павлова и направлена против «эмпиризма». «Эмпирия от окружности устремляется к центру наудачу; умозрение от центра поступает к окружности наверное»; по его мнению, эмпирические науки обогатили наше знание, но мы все еще не знаем, что такое электричество, гальванизм, магнетизм и т. д. «Опыт может доводить до открытий, но до знания оных никогда»; теории эмпириков беспрерывно сменяются одна другою (например, теория горения), но в конце концов они не что иное, как старая и новая ложь.¹²⁰

Разбор философских учений элейской школы, представленный Одоевским в «Мнемозине», сделан ради защиты тех же положений, что и у Павлова; именно эти положения и составляют ее существо. Поэтому аргументы Зенона против движения

¹¹⁷ Там же, с. 187, 189.

¹¹⁸ Впоследствии, более тридцати лет спустя, в предисловии к своим «Русским ночам», написанным около 1860 г., Одоевский вспоминал о своей «юношеской самонадеянности», которой «представлялось доступным исследовать каждую философскую систему порознь (в виде философского словаря)... и потом все эти системы свести в огромную драму, где бы действующими лицами были все философы от элеатов до Шеллинга...» (Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 2, с. 215—216). Статья его «Секта идеалистико-элеатическая» и была первым фрагментом этого юношеского замысла; в другом месте своей работы П. Н. Сакулин предположил, что статья Одоевского примыкала «к подобным же статьям Давыдова по истории древней философии» (т. I, ч. 1, с. 141).

¹¹⁹ Мнемозина, ч. IV, с. 8—9.

¹²⁰ Там же, с. 30, 32, 33.

и пространства изложены Одоевским с очень ясно выраженной тенденцией. «Силлогизмы» и «апории» Зенона Одоевский изложил, опираясь на некоторые новейшие немецкие источники, и придал им прежде всего полемический смысл. Зенон, по словам Одоевского, «явился на сцену в то время, когда все были вооружены против элеатиков за их недоверчивость к чувствам. Парменидовой идее об единстве противуполагали многообразие предметов, утверждаемое опытностью; опровержению движения — противупоставлялось беспрестанное изменение предметов, ощущаемое чувствами. Зенон решился поразить противников их же собственным оружием: рассуждая о каком-либо предмете, он как бы брал сторону своего соперника, развивал его собственную мысль и доводил ее — до нелепости». С этой точки зрения Одоевский изложил и некоторые силлогизмы Зенона, «которыми он приводил в затруднение защитников опытности». В частности, одно из пяти Зеноновых «опровержений движения» имеет у Одоевского следующий вид: «Положим, что пущенная стрела движется; но в каждое мгновение она находится в пространстве, ей равно; следственно, она в сем пространстве находится в покое; следственно, она каждое мгновение находится в покое и в движении, что невозможно».¹²¹

Добавим ко всему сказанному, что ни в книге Галича, ни в статье Одоевского анекдот о наглядных возражениях Аписифена (или, как указывали прежде, Диогена) апоориям (аргументам) Зенона Элейского не указывается; следовательно, Пушкин нашел его в другом источнике, скорее всего французском, на что указывает и французский язык его заметки-концепта, послуживший ему материалом для эпиграммы «Движение». Такой источник может быть в настоящее время указан: им, несомненно, являлась большая статья «Зенон» в «Историческом и критическом словаре» Пьера Бейля, столь хорошо известном Пушкину: шестнадцатитомное переиздание этого знаменитого словаря 1820—1824 гг. сохранилось в библиотеке Пушкина.¹²² Между прочим, на словарь Бейля как на один из источников своих сведений об «элеатах», и в частности о Зеноне, ссылается и Одоевский в «Мнемозине», относясь, впрочем, довольно критически к этому французскому рационалисту и скептику XVII в.¹²³

¹²¹ Там же, с. 187, 188. — Ср. изложение этого аргумента (именуемого «Стрела») у А. Галича: «Каждое движущееся тело во всякое данное мгновение находится в равном ему пространстве, и потому в каждое мгновение — в покое. Если бы оно действительно двигалось, то в каждое данное мгновение было бы и в покое и в движении, что нелепо» (Галич А. II История философских систем, кн. 1, с. 53—54).

¹²² Bayle Pierre. Dictionnaire historique et critique. Nouvelle édition. Paris, 1820—1824, t. I—XVI (Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 154, № 586). — Для дальнейшего изложения мы пользовались экземпляром этой книги, принадлежавшим Пушкину и хранящимся в ИРЛИ АН СССР в Ленинграде. Никаких помет или отчеркиваний книги не имеет.

¹²³ Мнемозина, ч. IV, с. 189.

Статья о Зеноне Элейском в том издании «Словаря» Бейля, которым располагал Пушкин, находится в пятнадцатом томе.¹²⁴ Она представляет собой серьезное и чрезвычайно широко документированное историко-философское исследование; мы находим здесь и свод данных о жизни Зенона, именуемого «одним из важнейших философов древности», и подробное изложение его учения на основании критического сопоставления различных источников, и всю историю истолкования этого учения от философов древности до современных Бейлю европейских ученых, философов, физиков и математиков. Значительное место статья Бейля уделяет также изложению всех аргументов Зенона против движения и всех позднейших, этими аргументами порожденных ученых споров. Внимание Пушкина должен был особенно привлечь тот отдел этой статьи (р. 57—59), в котором Бейль, широко привлекая разнообразные материалы из древних и новых авторов, доказывает следующее положение: *«Ответ, подобный данному Диогеном, более софистичен, чем доводы нашего Зенона»*. По-видимому, именно на основании данного раздела указанной статьи Пушкин и составил свою уже приводившуюся выше французскую заметку, послужившую основанием для эпиграммы «Движение». Однако эта заметка не является выпиской из статьи Бейля в точном смысле этого слова, но заметкой-концептом, передающей самую суть заинтересовавших Пушкина страниц, хотя все же удерживающей также дословно и некоторые формулировки французского оригинала. Слишком обильные и мелочные подробности, в которые входил Бейль и во всей статье, и в данном ее разделе, Пушкину не были нужны: он вкратце изложил древний анекдот о наглядном, но безмолвном возражении Зенону (приведенный Бейлем во всех кратких и распространенных вариантах по всем доступным ему источникам в греческих текстах и латинских переводах)¹²⁵ и, кроме того, припаял доказательства Бейля относительно того, что Диоген-цицик по хронологическим соображениям не мог быть оппонентом Зенона, которого различные авторы смешивали с другим, более поздним греческим философом, Зеноном-эпикурейцем.¹²⁶ Этим, по-види-

¹²⁴ Bayle Pierre. Dictionnaire historique et critique, t. XV, p. 30—60.

¹²⁵ Бейль приводит самую краткую редакцию этого рассказа из «Жизни философов» Диогена Лаэртца, позднего греческого философа и историка конца II и начала III в. н. э., и более распространенные варианты из знаменитого трактата Секста Эмпирика, греческого философа, астронома и врача начала III в. н. э., «Пирроповские основоположения» (Πυρρονείων ἀποτυπώσεις, в трех книгах), который содержал в себе критику догматизма в логике, физике и этике, складывающуюся в целую систему скептических воззрений, а также из сочинений еще более поздних писателей, в частности португальских иезуитов и испанских схоластиков, комментаторов «Физики» Аристотеля.

¹²⁶ «Лучше не называть никого, чем уверять, что Диоген-цицик и Зенон Элейский были действующими лицами этого рассказа», — пишет, между прочим, Бейль (t. XV, p. 58). Статья о Зеноне — эпикурейском философе помещена в «Словаре» непосредственно вслед за статьей о Зеноне Элейском (t. XV, p. 60—67). Этого Зенона-стоика, эпикурейца,

тому, и объясняется то, что в тексте эпиграммы «Движение» не названы по имени ни оппонент Зепона Элейского («другой смолчал»), ни он сам («мудрец брадатый»), тогда как в заметке-концепте имя Диогена еще присутствует.

В подлинном тексте заметки Пушкина (перевод ее дан выше) говорится: «On a admiré le [Phi]losophe] Cynique qui marcha devant celui qui niait le mouvement—le soleil fait tous les jours la même chose que Diogène, mais ne persuade personne».¹²⁷

В «Словаре» Бейля (p. 58):

«Ils <les auteurs modernes> ont nommé le philosophe qui niait le mouvement, ils ont embelli les circonstances de la réponse pratique, ils en ont fait la matière des chréies actives à l'usage des jeunes rhétoriciens. Je m'étonne que Sextus Empiricus n'ait daigné nommer celui qui réfuta de la sorte les objections contre l'existence du mouvement. Ce qu'il a dit de moins vague est qu'un cynique se servit de cette manière de les réfuter: . . . „Ideòque cùm proposita esset philosopho oratio motum negans, tacitus ambulare coepit“ (Sextus Empiricus. Pyrrhon. Hypotypos., lib. II, cap. XXII, page 104). Dans un autre endroit il s'exprime ainsi: . . . „Ideòque quidam ex cynicis, cùm ei proposita esset contra motum oratio, nihil respondit; sed surgens ambulare coepit, opere et actu ostendens existere motum“ (Idem ibidem, lib. III, cap. VIII, page 124)».¹²⁸

И далее (p. 59): «Qui qu'il en soit, la réponse de Diogène le cynique au philosophe qui niait le mouvement est le sophisme que les logiciens appellent *ignorationem elenchi*. C'était sortir de l'état de la question: car ce philosophe ne rejetait pas le mouvement apparent, il ne niait pas qu'il ne semble à l'homme qu'il y a du mouvement: mais il soutenait que réellement rien ne se meut, et il le

Пушкин хорошо знал еще в лицейские годы, как это видно из его «Послания Лиде» (1816). М. М. Покровский полагает, что знакомством с циниками и стойками Пушкин в те годы был обязан прежде всего лекциям Куницына (Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 30—31).

¹²⁷ Приводим текст по сверке с автографом, хранящимся в ИРЛИ (ф. 244, оп. 1, № 77), так как в большинстве существующих публикаций этой заметки она приводится с мелкими неточностями. В сборнике «Русло Пушкина» (с. 496—497) неточность допущена в транскрипции имени Диогена: Dioguène (sic) вместо Diogène; только так Пушкин и мог написать это имя, которое в автографе написано неотчетливо.

¹²⁸ «Они <новейшие писатели> назвали философа, который отрицал движение; они украсили обстоятельства его практического ответа; они сделали его материалом для хрией. Эпигонных для убогребления молодых риториков. Я удивляюсь, что Секст Эмпирик не соблаговолил назвать того кто опроверг подобным образом возражения против существования движения. То, что он сказал менее неопределенного, сводится к тому, что один циник воспользовался данным способом, чтобы их опровергнуть: . . . и потому, как рассказывают, был философ, который в опровержении речи против движения безмолвно начал ходить». В другом месте он («Секст Эмпирик») выражается так: . . . и потому некто из циников, которым против него была речь против движения, не ответил ничем; но почтительно начал ходить, самым делом и действием показывая существование движения».

prouvait par des raisons très-subtiles et tout-à-fait embarrassantes».¹²⁹

Сопоставление пушкинской заметки с ее первоисточником приводит к нескольким существенным выводам. Заметка наглядно демонстрирует начальный момент в развитии творческого замысла «Движения»: лаконичная запись-концепт удерживала для памяти основное зерно будущей эпиграммы. Пушкин не только записал для себя суть аргументации Бейля в пользу Зенона и против его древнего оппонента, но и придумал сам очень удачный пример той логической ошибки, которую Бейль определял термином *ignoratio elenchi*. Пример с Галилеем у Бейля отсутствует, он изобретен самим Пушкиным, быть может, по ассоциативной связи с теми источниками (лицейская эпиграмма Иллчевского, стихотворение Ломоносова и «замысловатая повесть» в «Письмовнике» Курганова), которые он знал раньше; этот пример заместил собою тот, который приводит Бейль в заключительной части того же раздела своей статьи¹³⁰ и который был отброшен Пушкиным как значительно менее удачный и выразительный.

Таким образом, весь процесс создания «Движения» представляется нам в следующем виде. Пушкин прочел в Михайловском свежую четвертую книжку «Мнемозины» со статьей В. Ф. Одоевского,¹³¹ с которым он в то время еще лично не был зна-

¹²⁹ «Как бы там ни было, ответ Диогена-цивика философу, отрицавшему движению, является софизмом того рода, который логики называют *ignoratio elenchi*. Это означало выйти за пределы вопроса, потому что философ не отрицал видимость движения; он не отрицал, что человеку кажется, что движение существует, он утверждал лишь, что в действительности ничто не движется, и он доказывал это доводами очень хитроумными и повергающими в полное смущение».

¹³⁰ Bayle Pierre. Dictionnaire historique et critique, t. XV, p. 60. — Имеем в виду то место, где Бейль рассказывает о софисте Диодоре, «который не был в состоянии смеяться, когда на него нападали с лукавой иронией за то, что в своих лекциях он отрицал существование движения...». Нижеследующие строки Бейля могли Пушкину внушить четвертый стих его «Движения» («Хвалили все ответ замысловатый...»): «Из всего этого следует, что ответ Диогена был софистическим, хотя он и способен был вызвать аплодисменты всей компании. Этот ответ был издевательским, но я думаю также, что философ, заинтересованный его существом, мог лишь отнестись к нему с презрением» (p. 60).

¹³¹ Хотя цензурное разрешение этой части «Мнемозины» датировано 13 октября 1824 г., по книге вышла в свет с запозданием на целый год — между первым и двадцатым октября 1825 г. (Синявский Н. и Цявловский М. Пушкин в печати. 1814—1837. 2-е изд. М., 1938, с. 30—31; Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951, т. I, с. 641—642). В этой же книжке «Мнемозины» впервые напечатано стихотворение Пушкина «К морю», и его имя упомянуто еще несколько раз, в частности в апологе Одоевского «Новый демон». Стихотворение Пушкина «Движение» до сих пор датируется очень неопределенно — между январем и ноябрем 1825 г. (Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, с. 563). Если справедливо наше предположение, что непосредственным поводом для его возникновения явилась статья Одоевского, то «Движение» следует датировать более точно: между

ком,¹³² но который уже интересовал его как соиздатель (совместно с В. К. Кюхельбекером) популярного альманаха. Не согласившись ни с общей идеалистической направленностью статьи Одоевского, ни с данной в ней интерпретацией «аргументов» Зенона, Пушкин заглянул в указанный Одоевским «Исторический и критический словарь» Бейля: здесь нашелся и анекдот о «безмолвном оппоненте» Зенона, и критика логической ошибочности и беспомощности опровержения одного из важнейших аргументов Зенона, которую Пушкин привял, подкрепив самостоятельно избранным примером. Вся проблема о «возможности» или «невозможности» движения осветилась для Пушкина совсем с другой стороны. Это и послужило поводом для создания эпитагмы «Движение», направленной прежде всего против идеалистической концепции Одоевского и защищаемых им теорий новейших «умозрителей», опровергавших «опытность» как метод познания мира.

С точки зрения Одоевского, Зенон своими доказательствами «приводил в затруднение защитников опытности»; в частности, парадокс о покое летящей стрелы казался ему хитроумным софизмом, в котором с издевательской целью доводились до явной бессмыслицы собственные аргументы противников древнего философа — ионийских эмпириков. Это была, так сказать, компрометация эмпиризма на самой заре европейской науки, как полагал Одоевский вместе со многими другими философами-идеалистами своего времени, опиравшимися на парадоксы Зенона для доказательства непознаваемости вселенной и действующих в ней сил. Пушкин не разделял подобных воззрений, и его «Движение» намечает другой путь подхода к апориям Зенона, достигая при этом удивительной глубины и теснейшим образом соприкасаясь с важнейшими проблемами теории познания.

Философская оценка этого древнего спора, изложенного уже в шестой книге «Физики» Аристотеля (которая и сохранила нам аргументы Зенона вместе с возражениями на них), и в новейшее время приводила к резким разногласиям среди европейских мыслителей. Помимо Пьера Бейля, статью которого о Зеноне (пытавшуюся взять под защиту его положения против Аристотеля), как мы видели, читал Пушкин, свои доводы за и против Зенона и свои замечания о сущности понятия движения делали Декарт, Локк и Лейбниц, Кант, Гербарт и Гегель и многие другие философы, а также теоретики в различных областях знания.

В 20—30-е годы XIX в. интерес к аргументам Зенона обновился. Заново Гегель уделил Зенону внимание в своих знаменитых «Лекциях по истории философии», где заявил, в частности, что «Зенонова диалектика материи донныне не опроверг-

серединной октября и ноябрем 1825 г., — иными словами, вскоре после получения Пушкиным «Мнемозины».

¹³² Измайлов Н. В. Пушкин и кн. В. Ф. Одоевский. — В кн.: Пушкин в мировой литературе. Л., 1926, с. 290.

чуа».¹³³ В. Кузену, посвятившему особую работу элейцам, приписывают обоснование исторического взгляда на Зенона; с точки зрения этого французского философа, Зенон не был ни «скептиком», ни «софистом» и вовсе не стремился к тому, чтобы довести понятие движения «до абсурда»: его аргументы носили конструктивный, а не полемический характер.¹³⁴ Следовательно, проблема была как раз в это время весьма актуальной, тем более что с ее решением тесно связывались и новейшие астрономические теории, и разработка важнейших математических задач, и обоснование механики как теоретической дисциплины. Вопросы диалектики научных понятий приобретали особый смысл и занимали не только философов, но и ученых разных специальностей, и широкие читательские круги. Интересное подтверждение этому мы находим, например, в письме Ф. П. Фонтана, знакомого Пушкина, Дельвига и Баратынского, написанном им в 1829 г. из лагеря действующей Дунайской армии: «Астроном Гершель утверждает, что в солнце не жарко и что солнечные лучи, то есть спящая атмосфера солнца, производят теплоту, только когда падают на среднюю, их унимающую <т. е. на воспринимающую их среду>...»

С другой стороны, многие философы доказывают, что все явления природы, показывающиеся нам противоположными, как-то шум и тишина, движение и покой, свет и темнота, жар и холод, суть только относительные понятия.

Хотел бы я, однако же, господина Гершеля и этих философов пустить под мою палатку, они бы скоро убедились, что солнце греет и что жар не есть холод».¹³⁵

Таков был житейский аргумент, противопоставлявший личный опыт теориям «умозрителей», по существу своему близко соответствовавший безмолвному хождению Антисфена перед фило-

¹³³ G. W. F. Hegel's Vorlesungen über Geschichte der Philosophie / hrsg von D. Karl Ludwig Michelet. Berlin, 1833, Erster Band, S. 302—307; п. с. 309 Гегель утверждает, что у Зенона мы находим «действительно объективную диалектику» («die wahrhaft objective Dialektik»); на с. 314 приведен анекдот о пагальных, хотя и безмолвных возражениях Зенону «циника Дипогена из Синопса». Хотя эти знаменитые «Лекции» Гегеля впервые напечатаны в цитируемом издании 1833 г., но, как известно, многие из положений были широко известны еще до этого времени.

¹³⁴ Cousin Victor. Nouveaux fragmens philosophiques. Paris, 1828. Зенону Элейскому посвящен здесь отдельный очерк (р. 96—150), в котором, в частности, подробно изложены его аргументы против движения (р. 119—127), а также критика их в последующей европейской философской мысли. Кузен отмечает «првосходную» статью о Зеноне Пьера Бейля, но с особенной похвалой отзывается о Капте, который в «Критике чистого разума» первый признал объективную философскую ценность аргументов Зенона; особые страницы посвящены Кузеном вопросу о понимании учения Зенона немецкими философами-идеалистами конца XVIII—начала XIX в., среди которых он пользовался известной популярностью. Отметим со своей стороны, что в год написания Пушкиным «Движения» в Марбурге вышла новая работа о тех же аргументах Зенона: Gerling I. De Zenonis Eleatici paradoxismis motum spectantibus. Marburgi, 1825.

¹³⁵ Фонтан Ф. П. Воспоминания. Лейпциг, 1862, т. II, с. 37.

софствовавшим Зеноном. Но дело в том, что Пушкин в своем «Движении» пошел дальше и аргументации Антисфена и ее защитников и хулителей в новой европейской философии, прекрасно понимая, что следовало вести речь о *сущности* и *определении* движения, а не о его *видимости*.

К этому, вообще говоря, и сводились в основном дальнейшие споры вокруг данной проблемы, так как она не перестала привлекать к себе ученое внимание и в то же время вызывать новые разногласия. В XIX в. эта проблема породила огромную философскую литературу, в том числе и на русском языке. Характерно, однако, что лишь в немногих русских работах, посвященных данному вопросу, не была забыта эпиграмма Пушкина;¹³⁶ впрочем, и в специальной пушкинской литературе еще недостаточно было подчеркнуто, что в истории спора о «движении» как научном понятии Пушкин занял самостоятельную позицию, сумев близко подойти к важнейшим гносеологическим выводам.

Еще в конце XIX в. многие историки философской мысли, возвращаясь к аргументам Зенона, утверждали, что его апории основаны на разногласии между мышлением и чувственным восприятием и что он злоупотребил первым в ущерб второму. Время и пространство, говорили они, — непрерывные величины, и только мышление делает их суммой отдельных моментов и точек; отсюда они приходили к неправомерному выводу, что мышление является несовершенным орудием для понимания действительности. Вопросы о том, можно ли путем логического конструирования достичь понятия непрерывной величины, отправляясь от понятия величины прерывной, впущенного нам непосредственным чувственным восприятием времени и пространства, и отвлекаясь от него, составляли спорную проблему логики, математики и других наук.¹³⁷ Еще в первой работе Анри Бергсона (1888), оказавшей столь решительное воздействие на развитие идеалистических концепций в точных и экспериментальных науках на рубеже XIX—XX веков, аргументы Зенона возрождались вновь для обоснования метафизических воззрений на движение и материю. С точки зрения Бергсона, аргументы Зенона произошли

¹³⁶ Богомолов С. А. Аргументы Зенона Элейского при свете учения об актуальной бесконечности. — ЖМНП, 1915, апрель, с. 327. — Из более старой русской литературы по этому вопросу см.: Сватковский В. П. Парадокс Зенона о летящей стреле. — ЖМНП, 1888, апрель, с. 203—239; Херсонский Н. Х. У истоков теории познания. (По поводу аргументов Зенона против движения). — ЖМНП, 1911, август, с. 207—221; Мандес М. И. Эле. . Филологические разыскания в области истории греческой философии. — Зап. имп. Новороссийского унив., ист.-филол. фак. Одесса, 1911, вып. IV (гл. III — «Зенон и его софизмы», с. 198—244), и др.

¹³⁷ Cajou F. History of Zenon's Arguments against Motion. 1915; Kougé A. Bemerkungen zu den Zenonischen Paradoxien. Jahrbuch für Philosophie, 1922, Bd 5; Heiss R. Logik des Widerspruchs. Berlin; Leipzig 1932; Sesemann W. Die logischen Gesetze und das Sein. Eranos. Kaunas 1932, Bd III.

из смешения понятий о движении и пространстве; однако он считал также, что подобное смешение свойственно было не только греческим философам, так как, по его мнению, «и в наши дни его постоянно делают в самой науке о движении, механике, и в науке, от нее зависящей, астрономии... Движение, которое изучает механика, есть лишь сопоставление точек пространства. Физик и астроном работают лишь над неподвижностью»; между тем «нельзя наблюдать движение в неподвижности, равно как нельзя пространство обратить во время».¹³⁸

Марксистская история философии думает об этом иначе. В заслугу Зенону она вменяет то, что ему удалось указать на реальную противоречивость пространства и движения, но считает бесспорным, что он не сумел выразить эту противоречивость в логике понятий. Именно к такому выводу пришел В. И. Ленин, конспектируя лекции Гегеля по истории философии. Как известно, Гегель цитирует здесь и Аристотеля и статью о Зеноне в «Словаре» Бейля. По этому поводу В. И. Ленин замечает в своем конспекте: «Неправ Ueberweg—Heinze, 10 изд., стр. 63 (§ 20), говоря, что Гегель „защищает против Bayl'я Аристотеля“. Гегель опровергает и скептика (Бейля) и антидиалектика (Аристотеля)».¹³⁹

Сочувственно цитирует В. И. Ленин следующие слова Гегеля: «Сущность времени и пространства есть движение, потому что оно всеобщее; понять его значит высказать его сущность в форме понятия». На полях Ленин отметил: «Верно!».¹⁴⁰ К словам Гегеля «движение само есть диалектика всего сущего», развивая эту мысль, Ленин пишет: «Зенон и не думал отрицать движение как „чувственную достоверность“, вопрос стоял лишь „nach ihrer (движения) Wahrheit“ — (об истинности движения)». На следующей странице, сделав выписку из того места «Лекций» Гегеля, где идет речь об анекдоте о Диогене, ходьбой опровергавшем отрицание Зенона, Ленин пишет: «NB. Сие можно и должно *обернуть*: вопрос не о том, есть ли движение, а о том, как его выразить в логике понятий».¹⁴¹

Эти слова могут служить лучшим комментарием к стихотворению Пушкина. Именно на такую мысль и наводит его «Движение», хотя она и не высказана здесь в прямой форме. Для нас чрезвычайно существенно подчеркнуть, что для Пушкина определение того, что такое движение, было не вопросом абстрагирующей логической мысли, но теснейшим образом связывалось с конкретными проблемами научного познания. Отсюда его смелое и неожиданно смещающее историческую перспективу в указанном стихотворении сопоставление античной контроверзы с одним из важнейших открытий нового времени о строении вселен-

¹³⁸ Bergson H. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris, 1888, p. 86.

¹³⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 231.

¹⁴⁰ Там же.

¹⁴¹ Там же, с. 230.

ной; глубоко серьезный и принципиальный характер проблемы подчеркнут здесь также и тем, что юмористическому бытовому колориту античного философского анекдота во второй половине стихотворения противостоит напоминание о полной драматизма истории «упрямого» Галилея. Поэтому, несмотря на свой лаконизм, «Движение» Пушкина воспроизводит, в сущности, в характерных образах и примерах целую историю европейской науки в наиболее важные этапы ее развития от древней Греции до итальянского Возрождения, намечает будущую научную проблематику, ставит один из самых существенных вопросов гносеологии. Естественно при этом, что, задуманное как «эпиграмма», как злободневный отклик на чтение современных ему русских книг, «Движение» выходит за пределы своего первоначального задания и превращается в один из шедевров русской философской лирики.

Когда в стихотворении, написанном к двадцать пятой лицейской годовщине («Была пора: наш праздник молодой...», 1836), оглядываясь на прожитую четверть века на фоне бурных событий европейской истории, Пушкин напоминал друзьям «судьбы закон», неумолимо изменяющий их вместе со всем окружающим миром, он в последний раз вспомнил об утверждениях «упрямого Галилея» и контрверзе о движении, смело и почти эпиграмматически применив их к нравственной сфере:

Вращается весь мир вокруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?

(III, 431)

4

Время, в которое жил Пушкин, являлось эпохой, когда передовая научная мысль в России, вопреки тяжелым условиям, в которые поставлено было просвещение, работала напряженно и достигла замечательных результатов в самых разнообразных областях знания. В 20—30-е годы XIX в. все научные дисциплины — от чистой и прикладной математики до наук экспериментальных и технических — находились в России в непосредственном движении и быстро развивались. Выдающиеся научные открытия и технические изобретения, подлинное значение которых в ряде случаев могло быть определено лишь значительно позже, следовали одно за другим, привлекая к себе внимание и любопытство широких общественных кругов.

Самостоятельное и важное значение получала у нас в это время большая программа математических исследований, охватывавшая все отрасли от теории чисел до науки о движении земных океанов и планет. Русские математики 20—30-х годов, продолжатели прославленных трудов Леонардо Эйлера, выполненных и оцененных в России в XVIII в., пошли новыми и самобытными путями и в геометрии, и в анализе, и в разнообразных их прило-

жениях в физике и механике. Именно в 20-е годы Н. И. Лобачевским заложены были начала новой неевклидовой геометрии, доказавшей «возможность существования ряда пространств, свойства которых отличаются от нашего, евклидоваго пространства», и в то же время позволившей «впервые установить, что геометрия является по существу экспериментальной наукой, и из всех экспериментальных наук наиболее точной».¹⁴² В те же самые годы у нас были открыты и доказаны важнейшие теоремы, играющие столь важную роль в математической физике, — в гидродинамике, теории тепла, электричестве, магнетизме; таково было, например, «знаменитое преобразование тройного интеграла в двойной», открытое М. В. Остроградским в 1828 и опубликованное в 1831 г.¹⁴³ Тогда же значительные успехи достигнуты были в звездной астрономии, в астрономическо-геодезических работах. Выдающийся русский астроном В. Я. Струве (род. в 1793 г.), сверстник Лобачевского и Пушкина, в 1819 г. задумал измерить дугу меридиана, включая наиболее северные части земного шара; эти работы, несмотря на большие трудности, в основном были им завершены уже к осени 1827 г. Это было «наиболее полное из всех измерений, сделанных к тому времени в странах Западной Европы, давшее очень ценные данные для суждения о форме нашей земли».¹⁴⁴ Уже в 1827 г. В. Я. Струве, как свидетельствовал отчет петербургской Академии наук, «представил публике, как первый плод своих наблюдений посредством Фраунгоферова телескопа, роспись 3112 двойных звезд, из коих 2392 были до того времени неизвестны»,¹⁴⁵ а в 1835 г. приступил к определениям звездных расстояний, требовавшим сложных вычислений, самая методика которых была еще делом новым и недостаточно разработанным. В том же направлении работал и другой видный русский астроном тех же лет И. М. Симонов, участник антарктической экспедиции на шлюпе «Восток», книга которого «Астрономические и физические наблюдения, сделанные во время плавания в Южный Ледовитый океан», вышла в свет в Петербурге в 1828 г.¹⁴⁶

¹⁴² Лазарев П. П. Очерки истории русской науки. М.; Л., 1950, с. 20, 18.

¹⁴³ П. П. Лазарев (там же, с. 16) заимствует эти даты из знаменитого трактата по электричеству и магнетизму Максвелла (Oxford, 1871, v. I, p. 117), где говорится, что «эта теорема, по-видимому, была в первый раз дана Остроградским в статье, прочитанной в 1828 г. в «петербургской» Академии наук и опубликованной в 1831 г.».

¹⁴⁴ Лазарев П. П. Очерки истории русской науки, с. 20; Любарский А. Свет русской науки: Очерки. Таллин, 1952, с. 127—128.

¹⁴⁵ Отчет имп. Санктпетербургской Академии наук за 1834 год, читанный в публичном заседании оной 29 декабря 1834 г. — ЖМНП, 1835, март, отд. III, с. 517—518.

¹⁴⁶ В своей речи «О явлениях звездного неба и о важнейших астрономических открытиях» (ЖМНП, 1835, август, с. 236—275) И. М. Симонов говорил и об исследованиях отечественных ученых в области астрономии, в частности об открытиях В. Я. Струве (с. 265).

Значительные успехи достигнуты были у нас тогда же и в области физики. Открытые в 1820 г. Эрстедом явления электромагнетизма и последующие знаменитые работы Фарадея по электромагнитной индукции закладывали основания для первых изысканий об электрических машинах и тотчас же были подхвачены и развиты далее русскими физиками. Если изыскания Фарадея по электромагнитной индукции датируются 1831 г., то уже 29 ноября 1833 г. академик Э. Х. Ленц в докладе петербургской Академии наук сообщил о своем открытии «принципа обратимости процессов электромагнитного вращения и электромагнитной индукции»,¹⁴⁷ а к 1834 г. относятся первые известия об изобретением Б. С. Якоби электродвигателе.¹⁴⁸ К концу 20-х годов относится изобретение П. Л. Шиллингом электромагнитного телеграфа, а в 1832 г. первый сконструированный им аппарат такого рода уже показывался в Петербурге в действии всем желающим.¹⁴⁹

Нетрудно было бы указать и на ряд других аналогичных фактов, неоспоримо свидетельствующих о силе и размахе научной мысли и технико-изобретательской деятельности русских ученых, являвшихся современниками Пушкина, однако не это является нашей задачей. Нас в данном случае интересует другой вопрос: мог ли Пушкин и ближайшие его сверстники и друзья равнодушно пройти мимо всей той усиленной и блестящей по своим результатам умственной деятельности, основные события которой развертывались на его глазах? Результаты эти были столь очевидны и даже паглядны, что не заметить их, не попытаться связать их вместе и определить их причины и следствия было невозможно.

Сведения обо всех названных выше и многих других исследованиях, открытиях или изобретениях во всех областях науки и практических их применениях в интересующие нас годы быстро распространялись в самых широких общественных кругах, освещались не только в специальной периодической печати (рост научных и научно-популярных периодических изданий составляет характерную особенность русской журналистики этой поры), но и в общих литературных журналах. Раньше корреспонденции о технических новинках начали появляться в русских газетах и журналах уже в первые десятилетия XIX в. Так, например, О. П. Козодавлев для своей петербургской газеты «Северная почта» получил из Англии «описание паровых машин, употребляемых для перевозки тяжестей»,¹⁵⁰ тотчас же поделился со своими читателями известием об открытии, которому предстояла такая

¹⁴⁷ Вопросы истории отечественной науки. Общее собрание Академии наук СССР, посвященное истории отечественной науки. М.; Л., 1949, с. 228—231.

¹⁴⁸ Там же, с. 231—232.

¹⁴⁹ Там же, с. 204.

большая будущность. Он следил за дальнейшим ходом дела и помещал в своей газете описание и рисунки машин». ¹⁵⁰

Все русские журналы 20—30-х годов уделяли место на своих страницах научно-популярным статьям и ученым известиям. Н. Полевой, приступая к изданию «Московского телеграфа», недаром, конечно, обращал внимание на то, «с какою ревностью стараются теперь везде о сближении и быстром обмене ученых открытий и литературных произведений», ¹⁵¹ и в дальнейшем помещал в своем журнале много статей и материалов научно-популярного характера, следуя совершенно энциклопедической программе, обнимающей, как шутил А. А. Бестужев, решительно все, «начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках». ¹⁵² Удельный вес особых научных отделов русских литературных журналов 20—30-х годов разных направлений постепенно, но неуклонно повышался; такие отделы становились обязательными в каждом периодическом органе, принимая различную направленность лишь в соответствии со вкусами редакторов. В «Литературной газете» также был отдел «Ученые известия», в котором публиковались статьи и рецензии научно-популярного характера; отдел «Науки» в «Библиотеке для чтения» применялся к уровню среднего, преимущественно провинциального читателя, но все же открыл ему «целый мир технических, естественнонаучных, отчасти исторических и этнографических знаний»; ¹⁵³ «Телескоп» Надеждина уже своим названием подчеркивал свою органическую принадлежность к сфере научной мысли, инструментом которой он хотел быть. ¹⁵⁴ Любопытно, что даже в альманахах пушкинской поры статьи научного, теоретического характера стали почти

¹⁵⁰ Сухомлинов М. И. История Российской Академии. СПб., 1882, вып. VI, с. 237. — Корреспондент О. П. Козодавлева писал: «Недавно в Англии начали делать движущиеся паровые машины, кои употребляются особенно для возки угляев с мест добывания их к рекам. Машины сии движутся по чугунной дорожке, таща за собой целые обозы с угольями, иногда из двадцати и более возов состоящие, и провозят по шести верст в час. . . Искусственная лошадь не устает никогда, если только откармливать ее уголем и теплою водою. Можно думать, что силой таковой машины скоро поедет и почта из одного города в другой» (Северная почта, 1815, 13 января). Об изобретениях различных «механических путников» в XVIII в. в Англии и Франции вплоть до «путешествующей машины» Стефенсона 1813 г. см. в обзорной статье с датами отдельных изобретений: Лигин В. Исторический очерк изобретения железных дорог. — Зап. имп. Новороссийского унив. Одесса, 1874, т. XV, с. 16—18.

¹⁵¹ Московский телеграф, 1825, ч. I, № 1, с. 11.

¹⁵² Полярная звезда на 1825 г., с. 22.

¹⁵³ Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950, т. I, с. 329.

¹⁵⁴ В 1833 г. в «Телескопе» появился специальный отдел «Микроскоп», в котором говорилось «об ошибках и погрешностях в области естественных наук» (см. №№ 3, 7 и 9); этот отдел находился, по-видимому, под наблюдением М. А. Максимовича (см.: Очерки по истории русской журналистики и критики, т. I, с. 354).

обязательным.¹⁵⁵ Наконец, книги и статьи научного содержания рассматривались в литературно-критических обзорах в общем потоке литературной производительности за соответствующий период и оценке их уделялось здесь порой довольно значительное место. Некоторые более проникательные критики пытались при этом с полными к тому основаниями усматривать общие тенденции в движении русской научной и литературно-художественной мысли. Так, И. В. Киреевский в своем «Обзоре русской словесности за 1829 год», помещенном в альманахе М. А. Максимовича «Денница» (1830), статье, вызвавшей, по словам самого автора, комплиментарные отзывы Пушкина,¹⁵⁶ пытался установить общую закономерность, сказавшуюся в направленности науки и литературы. Ему представлялось, что если «философия устремила свою деятельность на применение умозрений к действительности», если «математика остановилась в открытии общих законов и обратилась к частным приложениям, к сведению теории на существование действительности», то и «поэзия . . . должна была также перейти в действительность. . .»¹⁵⁷ В самом деле, становилось все более трудным отгораживать сферу собственного поэтического творчества не только от философских движений этой поры, но и от науки в более тесном смысле, включая сюда и область ее технических применений в практической жизни.

Не подлежит никакому сомнению, что Пушкин очень внимательно следил за развитием научной мысли своего времени и что из орбиты его наблюдений вовсе не исключались те научные отрасли, от которых он, казалось бы, должен был быть особенно далек по общему складу своих интересов. Однако в наших представлениях о круге этих интересов поэта до сих пор допускались искусственные и ничем не оправданные ограничения.¹⁵⁸ На самом

¹⁵⁵ Этой традиции придерживался и Пушкин. Решив продолжать издание «Северных цветов» после смерти Дельвига, он через О. М. Сомова обращался к М. А. Максимовичу с особой просьбой прислать в альманах отрывок из его «вдохновенной ботаники». Когда Максимович откликнулся на призыв, Сомов писал ему: «Пушкин и я челом вам бьем за столь живую „Жизнь растений“, которая служит прелестным pendant некогда столь ярко блиставшему цветку» (Русский архив, 1908, кн. III, с. 265).

¹⁵⁶ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911, т. 1, с. 18. — Отзыв Пушкина об этой статье Киреевского см.: XI, 103—109.

¹⁵⁷ Киреевский И. В. Полн. собр. соч., т. 1, с. 19.

¹⁵⁸ В этом отношении Пушкин не составлял исключения среди русских литераторов, также интересовавшихся теми же научными дисциплинами. Так, А. Грибоедов в 1826 г. просил прислать ему «Дифференциальное исчисление» Франкёра (Грибоедов С. Соч./Ред. В. Орлова. Л., 1945, с. 505); юноша-Гоголь писал П. Кося, вскому (13 сентября 1827 г.): «На днях я получил 5 часть Ручной математической энциклопедии, которая только что вышла. Не знаю, как воздать хвалу этому образцовому сочинению. Верите ли, что я, только читая ее, понял все то, что мне казалось темным, неудовлетворительным, когда проходил математику. Как удивительно изъяснена теория дифференциального и интегрального исчисления» и т. д. В ответ на вопрос того же корреспондента, спрашивавшего, что это за энциклопедия, Гоголь отвечал ему (3 октября 1827 г.): «Она заключает полное собрание физико-математических наук; по своему новейшему, пре-

деле они были значительно шире и гораздо интенсивнее, чем предполагалось до сих пор. Впрочем, Пушкин и сам засвидетельствовал это несколько раз в ряде прямых и косвенных указаний, которые тем для нас интереснее, что от них протягиваются непосредственные нити к таким его произведениям или творческим опытам, которые получили еще недостаточно полное освещение в специальной пушкинской литературе или требуют новых толкований.

В 1830 г. (в проекте предисловия к предполагавшемуся изданию восьмой и девятой глав «Евгения Опегина») Пушкин подчеркнул чрезвычайно быстрый рост научных знаний в различных областях, процесс их непрерывного, «каждодневного» обновления («... открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими...»; VI, 541). Что за этим процессом Пушкин следил по новым книгам и особенно журналам, он и сам рассказывал П. Б. Козловскому. «Он <Пушкин> говорил, — свидетельствует Козловский, — что иногда случалось ему читать в некоторых из наших журналов полезные статьи о науках естественных...».¹⁵⁹ Когда Пушкин привлечен был к участию в «Энциклопедическом лексиконе» А. А. Плюшара, то он воздержался от этого только потому, что это предприятие оказалось в руках «воровской шайки» Греча и Сенковского,¹⁶⁰ но самая идея издания «русского Conversation's Lexicon» встретила его одобрение: он считал подобный словарь книгой полезной и необходимой (XV, 155—156). Как известно, Пушкин был подписчиком этого издания, начавшего выходить в свет в 1835 г., и в его библиотеке сохранились первые четыре тома «Лексикона». Кстати сказать, естественнонаучные и в особенности научно-технические части этой энциклопедии отличались довольно высоким уровнем благодаря тому, что в ней принимали участие видные русские ученые 30-х годов — астрономы, математики, физики и т. д.

В последнее десятилетие своей жизни, когда Пушкин принимал активное участие в журнальной деятельности, — особенно

красному расположению, по вмещению в себе новых истин и новейших открытий, изысканий и исчислений, наконец, по легкости, удобности, с какой изложено, она может быть первым математическим сочинением; вмещается в 13-ти маленьких томах, которые все можно разместить по карманам. заключает в себе всю чистую и высшую математику, динамику, статику, гидродинамику, гидростатику, физику, оптику и астрономию» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. X, с. 109 и 114). В комментарии к этим письмам приводится цитата из «Записок и жизни Н. В. Гоголя» П. А. Кулшпа (СПб., 1856, т. I, с. 28), утверждающего, что Гоголь, «любя и не зная математики», будто бы «выписал Математическую энциклопедию Перевощикова, на собственные свои деньги, за то только, что она издава была в шестнадцатую долю листа», так как «особенно любил издания миниатюрного формата». Едва ли Кулшпа был прав; во всяком случае, вышеприведенные цитаты из писем Гоголя этого его свидетельства не подтверждают.

¹⁵⁹ Современник, 1837, т. VII, с. 51.

¹⁶⁰ Литературный архив. М.; Л., 1951, т. III, с. 24—27.

в период издания «Современника», — живой и деятельный интерес его к развитию отечественной науки и техники диктовался задачами, стоявшими перед всяким русским журналистом. Но возник этот интерес в более ранние годы, и мы вправе предположить, что немалую роль в этом отношении сыграли не только книжные воздействия, но и житейские впечатления, и прежде всего люди, с которыми Пушкин общался и которые могли поддержать и усилить у него внимание и любопытство к очень специальным отраслям физических знаний и технических изобретений того времени.

Среди подобных людей на одно из первых мест следует поставить П. Л. Шиллинга, выдающегося деятеля на многих поприщах, прославившего свое имя как изобретателя электромагнитного телеграфа. Об этом изобретении много говорили в России в годы наибольшей близости Пушкина к П. Л. Шиллингу, что и дает право думать, что Пушкин об этом изобретении знал и не мог не высказать о нем своих суждений. Аргументация этого умозаключения требует, однако, разнообразных биографических и хронологических справок, тем более что вся история личных отношений Пушкина и Шиллинга имеет еще очень много темных мест.

Павла Львовича Шиллинга (1786—1837) хорошо знали в том кругу старшего поколения русских литераторов, к которому Пушкин стал близок по выходе из Лицея. Он был в приятельских отношениях с К. Н. Батюшковым, В. А. Жуковским, А. И. Тургеневым, П. А. Вяземским и др. Молодость свою Шиллинг провел на военной службе, участвовал в войне 1812—1814 гг. и заграничных походах русских армий, был свидетелем вступления русских войск в Париж, жил затем некоторое время за границей, подготавливая, между прочим, открытие в Петербурге при министерстве иностранных дел русской литографии, и вернулся в Петербург осенью 1816 г. с готовыми образцами литографической печати, первенцем которой, по-видимому, был полный текст поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед».¹⁶¹ По этому поводу А. И. Тургенев писал А. Я. Булгакову в Москву (26 сентября 1816 г.): «Объяви осторожнее Василью Львовичу» Пушкину, по осторожнее, дабы ему от радости дурно не сделалось, что вчера явился ко мне Шиллинг из чужих краев и привез первый опыт литографический — и что же напечатано? Опасный сосед! Сам литограф челом бьет брату Константину...».¹⁶² Литография, организованная Шиллингом в Петербурге в 1816 г., быстро сделалась образцовым заведением и привлекла к себе большое внимание в довольно широких кругах. Представляется очень вероятным, что и Пушкин видел ее ранние «неофициальные издания» — крымские

¹⁶¹ Коростин А. Ф. Начало литографии в России. 1816—1818. М., 1943, с. 33—35, 78—79.

¹⁶² Письма Александра Тургенева Булгаковым / Ред. А. А. Сабурова. М., 1939, с. 151—152.

пейзажи, портреты русских исторических деятелей из собрания В. П. Кочубея, работы А. Г. Венецианова¹⁶³ и т. д. Первое достоверное известие о встрече Пушкина с Шиллингом относится, однако, к 1818 г.: в конце ноября этого года оба они, в компании общих друзей, среди которых были Жуковский, Гнедич и Лунин, присутствовали на проводах К. Н. Батюшкова перед отъездом его в Италию.¹⁶⁴ В начале 20-х годов это знакомство прервалось; пока Пушкин был в ссылке на юге, Шиллинг много странствовал за границей. Но в конце этого десятилетия знакомство их возобновилось и стало даже более близким. Пушкин и Шиллинг упомянуты П. А. Вяземским в письме от 21 мая 1828 г. В этом письме Вяземский предлагал устроить совместный пикник; среди других его участников названы Алексей Оленин-младший, Грибоедов, Киселев, С. Голицын и Мицкевич.¹⁶⁵ Через несколько дней (25 мая) состоялась поездка Вяземского вместе с Пушкиным, Олениным и Шиллингом на пароходе в Кронштадт: это и было, по-видимому, осуществление задуманного «пикника», состоявшееся, однако, уже в несколько иной компании.¹⁶⁶

Известно далее, что, когда в ноябре—декабре 1829 г. П. Л. Шиллинг деятельно готовился к экспедиции в Восточную Сибирь и Китай в сопровождении Иакинфа Бичурина, этого выдающегося русского синолога (которого Шиллинг вызволил из монастырской тюрьмы),¹⁶⁷ Пушкин просил отпустить его вместе с ними в дальние края. К концу 1829 г. относится его отрывок, который толкуется обычно как обращение к обоим возможным его спутникам — Шиллингу и Иакинфу Бичурину:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать...

(III, 1, 191)

Отказ Николая I на просьбу Пушкина был получен поэтом 17 января 1830 г. (XIV, 58, 398). В «Записной книжке» Е. В. Путяты отмечено, что Пушкин «собирался... с бароном Шиллингом в Сибирь на границу Китая».¹⁶⁸ Именно к этому времени, т. е.

¹⁶³ Коростин А. Ф. Начало литографии в России, с. 89—96.

¹⁶⁴ Остафьевский архив. СПб., 1899, т. I, с. 150.

¹⁶⁵ Старица и новизна. СПб., 1904, кн. VIII, с. 86. — Это «приглашение друзей на пикник» с распиской Пушкина датировано Б. Л. Модзалевским в его издании писем Пушкина (М.; Л., 1928, т. II, с. 290).

¹⁶⁶ Об этой поездке мы знаем из письма П. А. Вяземского к жене, посланного на другой день, 26 мая 1828 г. (Литературное наследство, т. 58, с. 81). Ср. позднейшие воспоминания об этой прогулке А. А. Олениной-Андрю (Литературное наследство, 1946, т. 47—48, с. 237). Об этой же поездке П. А. Вяземский писал Н. А. Муханову 22 мая 1828 г.: «В пятницу <25 мая> едем в Кронштадт с Мицкевичем, Пушкиным, Сергеем Голицыным и проч. Поезжайте с нами» (Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. М., 1902, ч. X, с. 411; см. также: Русский архив, 1905, кн. I, с. 330).

¹⁶⁷ Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. III, с. 132.

¹⁶⁸ Русский архив, 1899, кн. II, с. 351.

к концу 1829 или началу 1830 г., относит Т. Г. Цявловская рисунок Пушкина в альбоме Е. Н. Ушаковой, определенный ею как портрет П. Л. Шиллинга. Наезжая в Москву в это время, Пушкин бывал у сестер Ушаковых и делился с ними впечатлениями о своих петербургских знакомых; так могла возникнуть и зарисовка в альбоме характерного облика Шиллинга. «Рассказывая сестрам Ушаковым о незаурядном человеке, крупном русском физике и востоковеде Шиллинге, поэт, вероятно, и зарисовал у них в альбоме его портрет, великолепно передав образ этого тучного человека с веселым, энергичным и умным лицом».¹⁶⁹ Побывать в Китае, куда его влекли давние интересы востоковеда, обротившего на себя внимание своими занятиями китайской письменностью и удачными опытами литографирования китайских иероглифов,¹⁷⁰ Шиллингу так и не удалось; но между 1830—1832 гг. он почти два года провел в Монголии, в областях, смежных с Китаем, собрав во время своих путешествий богатейшую коллекцию рукописей, костюмов, утвари, культовых предметов, расставленную на его петербургской квартире и привлекавшую к себе большое количество посетителей.¹⁷¹ С этого времени, т. е. по-видимому, в конце 1832 г., дружеское общение Пушкина с Шиллингом снова возобновилось; впоследствии М. П. Погодин вспоминал, что встречались они, между прочим, и в гостинице у В. Ф. Одоевского: «Здесь сходились веселый Пушкин и отец

¹⁶⁹ Цявловская Т. Неизвестный рисунок Пушкина. Огонек, 1952, № 7, с. 16. — Существует общеизвестный портрет П. Л. Шиллинга (масло), выполненный в первой половине 30-х гг., оригинал которого находится в настоящее время в Центральном музее связи имени А. С. Попова в Ленинграде. Шиллинг изображен здесь в халате, на фоне восточных редкостей своего кабинета, заставленного также физическими приборами. Воспроизводился этот портрет много раз (см., например: Очерки русских работ по электротехнике с 1800 по 1900 г. / «Составлен комиссией при имп. Русском техническом обществе для всемирной выставки 1900 г. в Париже». СПб., 1900; Новое время. Иллюстрированное приложение, 1900, 16 февраля, № 8611, с. 7 и др.). Возможно, что ему предшествовал карандашный вариант работы К. Гампельна, литографированный Гейтманом (воспроизведен в кн.: Коростин А. Ф. Начало литографии в России, с. 80). Оба варианта этого портрета относятся ко времени после 1832 г., но не ранее, если судить по изображенному на его фоне «восточным редкостям» кабинета П. Л. Шиллинга, несомненно, привезенным им из Сибири. Существует еще более ранний акварельный портрет Шиллинга, впервые воспроизведенный в кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956, т. I, с. 56—57; он датирован 1828 г.; оригинал находится ныне во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде.

¹⁷⁰ Коростин А. Ф. Начало литографии в России, с. 82—84: О изображении китайских письмен в любопытных изданиях Шиллинга. — Азиатский вестник, 1825, кн. 4, с. 367—373; ср.: Алексеев М. П. Пушкин и Китай. — В кн.: Пушкин и Сибирь. Иркутск, 1937, с. 129—135.

¹⁷¹ В Москву Шиллинг вернулся из Сибири в марте 1832 г. А. Я. Булгаков писал в письме к брату от 10 марта этого года: «Вдур отворяются двери и входит... кто же? Шиллинг. Вчера не успели мы поговорить... Навез множество любопытных предметов, кои отправлены уже в Петербург... Собирается к вам через несколько дней» (Русский архив, 1902, кн. 1, с. 280).

Пакиф <Бичурин> с китайскими сузившимися глазами, толстый путешественник... Шиллинг, возвратившийся из Сибири». ¹⁷²

Осенью 1832 г. Шиллинг впервые показал публике сконструированный им электромагнитный телеграф, однако его упорные работы над этим изобретением относятся к более раннему времени. А. В. Яроцкий, автор специальной монографии о П. Л. Шиллинге как технике-изобретателе, сопоставляя различные данные, пришел к заключению, что Шиллинг «приступил к непосредственному осуществлению той конструкции телеграфа, которая была им продемонстрирована в 1832 г., не позднее середины 1828 г.». ¹⁷³ «... Павел Львович именно в 1828 г. получил возможность производить электротехнические испытания в больших масштабах. Следовательно, период 1828—1832 гг. был использован изобретателем главным образом для непосредственного изготовления приборов телеграфа и решения тех практических вопросов, которые при этом неизбежно должны были встать перед ним. Основные же принципиальные решения относительно электромагнитного телеграфа были получены П. Л. Шиллингом до 1828 г.». ¹⁷⁴ Подтверждением того, что уже в начале 1828 г. Шиллинг делился с рядом лиц результатами своего открытия, может служить свидетельство близко знакомого ему Ф. П. Фонтон. Фонтон принадлежал к тому же кругу; управляясь из Петербурга в действующую армию за Дунай на турецкую границу, он писал П. И. Кривцову в марте 1828 г.: «Ходил я вчера прощаться с Дельвигом и кого ты думаешь я там застал? Александра Пушкина и Баратынского. Каков терцет?». И далее, в том же письме: «Как я Пушкину сказал, что еду в армию, то у него та же мысль родилась, но ему с этим нужна дикость Кавказа, и он, кажется, отправится к Паскевичу». ¹⁷⁵ Через год, находясь в армии, в лагере под Силистрией, в мае 1829 г. в письме к тому же П. И. Кривцову Ф. П. Фонтон дал, между прочим, подробную характеристику П. Л. Шиллинга как человека необычайно разносторонних интересов и дарованный.

Шиллинг, по словам Фонтон, — это «Калиостро или что-то приближающееся». Он и «чиновник нашего министерства иностранных дел», и «говорит, что знает по-китайски, что весьма легко, ибо никто в этом ему противоречить не может, кроме отца Иакифья»; он «играет в шахматы две партии вдруг, не глядя на шахматную доску, и обоих противников в один и тот же момент побеждает»; он «сочинил для министерства такой тайный алфавит, то есть так называемый шифр, что даже австрийский, так искусный тайный кабинет, и через полвека не успеет про-

¹⁷² В память о кн. В. Ф. Одоевском. М., 1869, с. 56.

¹⁷³ Яроцкий А. В. Павел Львович Шиллинг. М.; Л., 1953, с. 52 (Деятели энергетической техники. Биограф. сер., вып. XVI).

¹⁷⁴ Там же.

¹⁷⁵ Фонтон Ф. П. Воспоминания, т. I, с. 26.

честь!». Кроме того, он «выдумал способ в удобном расстоянии посредством электричества произвести искру для зажигания мин. Этим-то способом хочет генерал Шильдер руководствоваться под Силистриею». «В шестых — что весьма мало известно, ибо никто не есть пророком в своей земле, — прибавляет, наконец, Фонтон, — барон Шиллинг изобрел новый образ телеграфа. Средством электрического тока, проводимого по проволокам, растянутым между двумя пунктами, он производит знаки, коих комбинации составляют алфавит, слова, речения и так далее. Это кажется маловажным, но, со временем и усовершенствованием, оно заменит наши теперешние телеграфы, которые при туманной пещной погоде или когда сон нападает на телеграфщиков, что так же часто, как туманы, делаются пемыми».¹⁷⁶

Для того чтобы понять последнюю фразу этой характеристики и вместе с тем яснее представить себе истинное значение изобретения П. Л. Шиллинга и то впечатление, которое оно должно было производить на современников, напомним, что в первое тридцатилетие XIX в. под «телеграфом» понималось нечто совершенно иное, чем во второй половине столетия, или чем то, что мы понимаем под этим теперь.

С. А. Тучков, старый приятель Радищева, инженер и писатель, в своем «Военном словаре» еще в конце второго десятилетия XIX в. давал такое определение термину «телеграф»: «...машина, устроенная на возвышении, чрез которую посредством разных знаков можно извещать о том, что происходит или что открыто. Телеграфы делаются один от другого в таком расстоянии, чтобы можно было способом зрительной трубы ясно рассмотреть знаки одного, которые повторяются ближайшим, а от сего другим, и так далее, чрез что в самое короткое время можно узнать, что происходит, или какое получено известие за несколько десятков миль».¹⁷⁷ Дело идет здесь о так называемом оптическом семафорном телеграфе, изобретенном лишь в середине девяностых годов XVIII в. одновременно и независимо друг от друга: во Франции — Клодом Шаппом, в России — И. П. Кулибиным;¹⁷⁸ при этом в России с 1835 до 1842 г. существовали только две оптические телеграфные линии, имевшие сравнительно небольшое значение: из Петербурга в Варшаву и из Петербурга в Кропштадт; что касается электромагнитных линий, то они постепенно начали устанавливаться у нас только после 1852 г.¹⁷⁹ Поэтому

¹⁷⁶ Там же, т. II, с. 21, 22—23.

¹⁷⁷ Тучков С. А. Военный словарь. М., 1818, ч. II, с. 171—172.

¹⁷⁸ Яроцкий А. В. Павел Львович Шиллинг, с. 39—40; Каргин Д. И. Оптический телеграф Кулибина. — Архив истории науки и техники. Л., 1934, вып. 3, с. 394—397; Пипуныров В. П. Иван Петрович Кулибин: Жизнь и творчество. М., 1955, с. 69—73.

¹⁷⁹ Соколовский Евг. Павел Львович Шиллинг Института и Корпуса инженеров путей сообщения: Исторический очерк. СПб., 1859, с. 139; Пипуныров В. Н. Иван Петрович Кулибин, с. 73. — В поэме «В конце сороковых годов» Я. П. Полонский, описывая путешествие своего героя, заставляет его между прочим наблюдать действие оптического телеграфа:

самое слово «телеграф» в первые два десятилетия XIX в. не принадлежало к числу распространенных ни в Западной Европе, ни у нас.¹⁸⁰

В России это слово быстро привилось исключительно благодаря успеху и популярности журнала Н. А. Полевого «Московский телеграф», но что сам издатель понимал под этим термином семафорный телеграф самого простого устройства, видно и из его пояснений и из литографированной картинки, украшавшей обложку первой книжки 1825 г.: здесь изображена была башня на высокой скале, на самом берегу озера, снабженная сигнальным устройством.¹⁸¹ Как ни примитивны были тогдашние семафорные телеграфы, по самое обозначение их казалось еще словом новым и необычным в обиходной речи. К. Полевой в «Записках о жизни и сочинениях Н. А. Полевого» приводит между прочим эпиграмму А. И. Писарева, направленную против нового журнала, в которой подчеркнута необычность заглавия «Московского телеграфа» для его первых читателей:

И помнит он, как в этом мраке стали
Усталые глаза его встречать
Какие-то огни... они играли,
Качались, подымались и опять
Кувыркались. То телеграфы были,
И ум его впотьмах они дразнили:
Условные огни во все концы
Переносили вести...

К этому месту автор сделал такое примечание: «Электрических телеграфов в России еще не было» (Полонский Я. П. Стихотворения. Л., 1954. (Библиотека поэта. Большая серия), с. 468.

¹⁸⁰ Когда в 1819 г. молодой В. Гюго написал сатирическую поэму под заглавием «Le Télégraphe», то это слово казалось еще и необычным, и непонятным, и, во всяком случае, непоэтическим; кстати сказать, и Гюго имел в виду в данном случае лишь сигнальные семафорные телеграфы, которые только и существовали тогда во Франции и в других странах Европы. Первый электрический телеграф (по системе Морзе, предложенный в 1843 г., следовательно, пятнадцать лет спустя после изобретения Шиллинга) во Франции установлен был в 1844 г. между Парижем и Руаном (Grant E. M. French Poetry and Modern Industry. 1830—1870. Cambridge, Mass., 1927, p. 17—18).

¹⁸¹ Воспроизведение этой картинки см., между прочим, в книге: Полевой Н. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов / Редакция В. Орлова. Л., 1934, с. 163; см. здесь же пояснения Полевого, что желал он означить названием своего журнала, представленные в официальных бумагах (с. 381); из последних видно, что под словом «телеграф» Полевой понимал прежде всего приспособление, с помощью которого можно передавать различные полезные известия; в его понимании термин был синонимичен слову «посредник» и во всяком случае исключал представление о быстроте передачи, служащей столь важным смысловым признаком этого термина в наше время. В таком старом смысле это слово употребил еще И. Лажечников в первом своем историческом романе «Последний новик» (1831): «...дом баронессы... сделался очагом политических мнений... и телеграфом всех повостей, имевших влияние на страну» (Лажечников И. Соч. СПб., М., 1883, т. I, с. 125).

- Ты видел «Телеграф»? — Во Франции видал.
- Читал ли? — Нет. — А что ж тому причина?
- Как что? Ведь «Телеграф» — журнал!
- Пустое! Телеграф — машина!¹⁸²

Можно поэтому думать, что впоследствии Н. И. Надеждин назвал свой журнал «Телескопом» не без воздействия термина, родственного ему и этимологически, и по существу популяризованного у нас Полевым. Так два важных для русской идейной жизни 20—30-х годов литературных журналов уже своими заглавиями сделались насадителями технической терминологии в русском литературном языке пушкинской поры.

Мы не знаем, как слово «телеграф» воспринял Пушкин, увидев его на обложке нового московского журнала, первые книги которого он с жадностью читал в Михайловском.¹⁸³ Но мы зато знаем, что увлекательные известия о новинках европейской технической мысли, помещенные в первом же номере «Московского телеграфа» за 1825 г., увлекли его и крепко ему запомнились: именно эти известия Пушкин, несомненно, и имел в виду, адресуясь к П. А. Вяземскому 27 мая 1826 г.: «... когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, ... мое глухое Ми-

¹⁸² См.: Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX в. / Составил В. Орлов. М.; Л., 1931, т. I, с. 251. — Первые читатели журнала Полевого пользовались его названием для критических замечаний; так, В. А. Жуковский писал П. А. Вяземскому 26 декабря 1826 г.: «„Телеграф“ не изменяет своему имени. В известиях телеграфических не заботятся о слоге» (Литературное наследство, т. 58, с. 59). О том, что слово «телеграф» в 20-х гг. не принадлежало к обиходным словам русской речи, свидетельствует роман Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян» (2-е изд. М., 1833, ч. IV, с. 40—42); здесь описана сцена в гостиной, где идет речь «о модной картинке Велеграфа»; дочь хозяйки восклицает по этому поводу: «Помилуйте, маменька, эта книга называется не Велеграф, а „Московский Телеграф!“», слуга, которому поручено достать эту книгу, называет ее «Телендряф», и т. д. Некий Тюрин поместил в книге «Зимцерла. Альманах на 1829 год» (М., 1829) отрывки из зауярдного водевиля «Телеграф» (с. 51—87), в котором, между прочим, показывается морской телеграф в действии. Этот телеграф представляет собою световые сигналы; в начале пьесы сообщается: «Показание телеграфа дало знать морскому правлению, что г. Боннард пожалован комиссаром... туман помешал разобрать остальное» (с. 66—67); в конце концов в этом «телеграфическом известии» все проясняется: «туман прошел и остальные слова сделались видны» (с. 79).

¹⁸³ Впрочем, для Пушкина и его друзей оба заглавия этих журналов и впоследствии служили постоянным поводом для каламбуров и остроумия: Пушкин шутил, что критики французских журналов «не лучше наших Телескопических и графских» (XV, 29); П. А. Вяземский просил М. А. Максимовича (в письме от 12 января 1831 г.) прислать ему журнальные новинки «начиная от „Телескопа“ Надеждина до лорнетки Шатинова (т. е. «Дамского журнала»)» (Пономарев С. П. Памяти князя П. А. Вяземского. Сборник ОРЯС Акад. наук, СПб., 1880, т. XX, № 5, с. 155). Отметим, что под «телескопом» в то время имелись в виду также «бинокли» (см. в письме Пушкина от 27 октября 1819 г. («по-прежнему поднимаются на нее телескопы»; XIII, 11) и в «Герое нашего времени» Лермонтова («наводили телескоп на Эльбрус»)).

хайловское наводит на меня тоску и бешенство» (XIII, 280).¹⁸⁴ Когда через несколько лет Пушкин очутился в Петербурге, он не мог не заметить значительных изменений в области разнообразных технических усовершенствований, происшедших и в русской столице за годы его отсутствия. «Паровые корабли» бороздили Неву и Финский залив уже во множестве, тогда как к его лицейским годам относились лишь первые опыты с русскими «стимботами»;¹⁸⁵ доступными стали и пароводные прогулки в Кронштадт, и Пушкин не раз предпринимал их в компании друзей. Достоинно особого внимания, что среди этих друзей был также и П. Л. Шиллинг, технико-изобретательская мысль которого как раз в эти годы была ключом: он продолжал свои работы над электромагнитным телеграфом, производил и в самом Петербурге, и за городом опыты по зажиганию пороха под землей электричеством на дальних расстояниях, о чем много говорили в военных кругах и в городе вообще, произвел сильное впечатление своим «угольным светом», пропуская сильный гальванический ток через кусок угля, и, по свидетельству современника, «свет этих горящих углей был так силен, что смотреть на него было трудно».¹⁸⁶ Рассказывая об этих новаторских опытах Шиллинга, сильно поражавших воображение его многочисленных петербургских знакомых, тот же современник отмечал «странную участь наших открытий и опытов, т. е. тех, которые производятся у нас, в России, и нашими согражданами. Об них редко говорится у нас печатно: от того наши труды пропадают. Не только иностранцы, большая часть России ничего не знает о них, и всякое известие об открытиях иностранных принимают за свежую новость. Например, нынешним летом извещали нас, что в Америке открыли способ применить электрическую силу к движению машин, что в Англии изобрели электрический телеграф. Все это очень хорошо и справедливо, да зачем же наши журналы не объявляли, что это изобретено также и у нас, и по крайней мере в одно время, если не раньше».¹⁸⁷

Возвратимся, однако, к той характеристике Шиллинга как своего рода русского Калиostro, которая принадлежит Ф. П. Фонтону и уже приведенная была выше. Она интересна для нас не

¹⁸⁴ В отделе «Иностранных известий» «Московского телеграфа» (1825, ч. I, с. 100) говорится: «Усовершенствование механических производств в наше время приводит в изумление, и если бы теория не доказывалась опытностью, можно бы даже не верить, что пишут о новейших изобретениях механиков»; далее в качестве примеров указывалось на то, что «учрежденные сношения между Англией и Восточною Индией... пародами возбудило в Англии величайшее внимание... Не с меньшим ревностью прилежались в Англии за подземную дорогу, которая будет прокопана под Темзою... Между тем придумывают учреждение паровых карет между Лондоном и Эдинбургом и почитают это делом возможным»

¹⁸⁵ См. об этом ниже, в разделе 8

¹⁸⁶ Усов С. Об электрических опытах в России. — Северная пчела, 1837, 11 декабря, с. 1127.

¹⁸⁷ Там же, с. 1125—1126.

только по существу, но и своей датой — май 1829 г. Фонтон рассказал здесь то, что передавалось об изобретениях Шиллинга в Петербурге еще в начале 1828 г., т. е. до отъезда Фонтона в действующую армию. Характерно, что среди других изобретений Шиллинга здесь уже назван его электромагнитный телеграф. Можно сослаться здесь и на другое аналогичное свидетельство. В «Библиотеке для чтения» 1840 г. была помещена статья, в которой указание на изобретение Шиллинга ведет нас к той же самой дате, т. е. к 1828 г.: «Лет десять или двенадцать тому назад охотники до диковинных затей с любопытством посещали в Петербурге физический кабинет покойного барона Шиллинга, который много трудился над осуществленном идее гальванического телеграфа», и т. д.¹⁸⁸ (следует описание сконструированного им аппарата).

Сопоставляя все эти даты, мы можем прийти к выводу, что либо в 1828, либо в 1829 г. Пушкин должен был узнать в той или иной форме об открытии Шиллинга в области электротелеграфии и что он не мог не знать в это же время также и о других его изобретениях, тем более что о них все чаще говорили в Петербурге. В особенности близко Пушкин мог познакомиться с ними в конце 1829 г., т. е. в то время, когда он добивался разрешения примкнуть к экспедиции Шиллинга на китайскую границу. Очевидно, что Пушкин не мог возбуждать официального ходатайства, не заручившись на это предварительно согласием самого Шиллинга; кроме того, Пушкин жил в это время в Петербурге и, конечно, должен был быть в курсе всех приготовлений к дальней поездке Шиллинга и Бичурина, когда обращался к ним в своем элегическом отрывке «Поедем, я готов...».

Этот отрывок в рукописи имеет точную дату: 23 декабря 1829 г. Приблизительно тем же временем датируется и другой отрывок Пушкина, до сих пор не приурочивавшийся еще к какому-либо определенному событию, факту или лицу. Этот фрагмент, несмотря на свою незавершенность, по словам С. И. Вавилова, «гениален по своей глубине и значению для ученого»; каждая его строчка «свидетельствует о прощикновенном понимании Пушкиным методов научного творчества»:¹⁸⁹

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель]...

(III, 2, 464)

Отрывок сохранился в черновике, испещренном многочисленными поправками; перебелены лишь его начальные стихи; многочис-

¹⁸⁸ Электрические телеграфы. — Библиотека для чтения, 1840, т. 42, отд. IV, с. 2—3.

¹⁸⁹ А. С. Пушкин. 1799—1949: Материалы юбилейных торжеств. М.: Л., 1951, с. 32, 33.

ленные варианты, отразившие колебания поэта в выборе тех или иных слов, в фиксации отдельных мыслей, оказывают сравнительно небольшую помощь при расшифровке этого замысла, не получившего окончательного воплощения. Тем не менее в рукописи можно отметить ряд особенностей, которые следует учесть для выяснения того, при каких обстоятельствах эти стихотворные строки могли возникнуть в творческом сознании поэта. Первоначально Пушкин написал:

О сколько ждут открытий чудных
Ум и труд —

переправленное затем на:

О сколько ждем открытий чудных

и еще позже на:

О сколько нам открытий чудных
Еще готовят Ум и Труд.

Обращают на себя внимание и следующие строки:

Готовят Опыты веков
И смелый дух *

Готовят дух
И Гений просвещенья друг
И опыт сын ошибок трудных
И Случай, вождь *

И Случай отец
Изобретательный слепец *

И случай бог изобретатель ¹⁹⁰

(III, 2, 1059—1060)

Вчитываясь в эти строки, легко заметить прежде всего характерную и полную значения замену глагольной формы «ждут» на «ждем», как бы подчеркнувшую личную заинтересованность поэта результатами дальнейшего развития наук вместо прежней, более общей констатации их неуклонного движения вперед. Для нас интересны также упорные поиски наиболее отчетливого выражения мысли в различных пробных словосочетаниях, связанных с понятиями: ум и труд, опыт и случай. Несомненно, что мы имеем здесь дело с попыткой Пушкина дать обобщенное представление о научно-творческом процессе вообще, об условиях, определяющих его успехи, о предвидимых и неожиданных результатах научных исканий, о роли закономерностей и случайностей в истории научных открытий. И все же основной, одушевляющей мыслью всего фрагмента, связывающей вместе его определения,

¹⁹⁰ Отрывок впервые напечатан В. Е. Якушкиным (Русская старина, 1884, ноябрь, т. 44, с. 349).

удивительные по силе лаконизма, является вера в могущество разума; уверенность в том, что грядущие «чудные открытия» неисчислимы, обеспеченные умом и трудом.

За каждой неотделанной строкой этого фрагмента стоят опыт и знания самого поэта; приведенные выше слова С. И. Вавилова о «проникновенном понимании Пушкиным методов научного творчества» справедливы прежде всего в том смысле, что Пушкин в обобщенных формулировках этого отрывка отобразил свои собственные интересы к истории науки и свои познания в этой области. Характерно, что Пушкин говорит здесь о науке вообще, о роли научной мысли в истории культуры, не конкретизируя, в частности, «открытия» в какой области знания он прежде всего имел в виду: это «открытия» вообще во всех сферах человеческой деятельности, которой руководит беспокойный, пытливый и ищущий ум. Тем не менее у данного отрывка должен был быть и конкретный повод: возникновение его не могло быть совершенно случайным.

Думается, что ничто не мешает нам связать замысел этого отрывка с теми мыслями, которые должны были возникнуть у Пушкина при встречах его с П. Л. Шиллингом в связи с решением присоединиться к его экспедиции в дальневосточные края. Пушкин, как это мы уже предположили выше, не только должен был знать в это время об открытии Шиллингом электромагнитного телеграфа, но мог даже видеть первые опыты его действия. И о телеграфе, и о других изобретениях Пушкин мог слышать из уст самого Шиллинга; от него же Пушкин должен был ожидать в недалеком будущем также открытий другого рода; ведь на глазах поэта предпринималась настоящая научная экспедиция, которая обещала интересные результаты; заканчивались приготовления к отъезду, устанавливались маршруты и определялись задачи наблюдений и изысканий.¹⁹¹ Перед Пушкиным стоял образ возможного спутника, этого «нового Калиостро», человека энциклопедических знаний и разносторонних интересов, который оставлял на время почти завершённые, уже давшие результаты работы в области электротехники, чтобы пуститься в дальний путь, испытать радость путешественника, падающего ярко выраженными интересами востоковеда; в сущности, на живом примере Шиллинга он мог сопоставлять и различные типы и пути научных исследований, роль случая и труда в изобретениях и странствованиях. И не надеждой ли на личное участие в последних продиктована была замечательная вставка слов «ждут открытий» на «ждем открытий»? Разумеется, все это пока лишь гипотезы, требующие еще дополнительных аргументов.

Обратим, однако, внимание на время, когда был создан интересующий нас отрывок; датировка его имеет для нас существенное значение. Местоположение его в рукописи свидетель-

¹⁹¹ Основной официальной целью экспедиции было собирание сведений о торговле у северных и западных границ Китая.

ствуем о его хронологической близости к стихотворению «Поедем, я готов», и это, безусловно, может служить подтверждением высказанного выше предположения, что оба они находятся между собой в непосредственной связи. Оба отрывка записаны в одной и той же тетради Пушкина, хранящейся ныне в Институте русской литературы Академии наук СССР¹⁹² и описанной еще В. Е. Якушкиным:¹⁹³ «О сколько нам открытий чудных...» — на л. 19₁, «Поедем я готов...» — на л. 24₁. Эти страницы тетради заполнялись во второй половине декабря 1829 г., что видно, между прочим, из дат, кое-где проставленных самим поэтом, однако последовательность записи иногда им нарушалась: Пушкин возвращался к предшествующим страницам и заполнял оставшиеся свободные места. «Элегический отрывок» «Поедем, я готов...» в тетради датирован 23 декабря 1829 г., очевидно, эта дата представляла для Пушкина известное значение, так как она удержана и при первой публикации стихотворения в следующем же 1830 г.¹⁹⁴ Следующим днем, 24 декабря, помечено записанное на обороте воспоминание «В те дни, когда в садах лицей...»; приблизительно в те же дни, т. е. 23—24 декабря, Пушкин сделал и запись «О сколько нам открытий чудных...» на л. 19₁, на месте, оставшемся свободным от наброска статьи «Несколько московских литераторов...» (XI, 85—86 и 357—358). Напомним в связи с этим, что просьба «о дозволении посетить Китай вместе с посольством, которое туда скоро отправляется» (в черновике «подготавливается туда»)¹⁹⁵ (XIV, 56, 268, 398), была направлена Пушкиным А. Х. Бенкендорфу 7 января 1830 г., что отказ Николая I был сообщен Пушкину 17 января (XIV, 58, 398) и что, таким образом, в течение почти целого месяца внимание поэта к предприятиям Шиллинга было особенно обострено.

Впрочем, и независимо от отрывка «О сколько нам открытий чудных...» (конкретный повод создания которого мы стремились угадать) близкое знакомство и общение с Шиллингом и его успехи на разнородных научных поприщах не могли не оставить у Пушкина самых живых впечатлений. Шиллинг был человеком общительным, веселым и остроумным собеседником; таким рисуют его все дошедшие до нас свидетельства его современников.¹⁹⁶ Его знакомые и друзья следили за его странствованиями по Си-

¹⁹² Ф. 244, оп. 1, № 841 (ранее эта тетрадь была известна под шифром ЛБ № 2382).

¹⁹³ Русская старина, 1884, ноябрь, т. 44, с. 349—350.

¹⁹⁴ Московский вестник, 1830, ч. III, № XI, с. 194—195.

¹⁹⁵ Черновик находится в той же тетради, что и отрывок «О сколько нам открытий чудных...» и «Поедем, я готов...», на л. 30.

¹⁹⁶ «Известный синолог, необыкновенно толстый и в то же время живой, проворный на бегу», — характеризует его К. С. Сербинович, видевший его в 1825 г. в гостях у Карамзиных вместе с Жуковским и А. И. Тургеневым (Русская старина, 1874, октябрь, т. 11, с. 247). П. Х. Граббе вспоминает о нем как об «умном, всегда веселом и любезном человеке» (Русский архив, 1873, кн. I, стб. 850). По описанию Э. П. Стогова, видевшего Шиллинга в 1830 г. в Троицкосавске, это был «необычайно толстый человек, с большими связями, ученый, весельчак, отличный говорун... На него

бири и Монголии¹⁹⁷ и усилили к нему свое любопытство, когда он вернулся в Петербург, нагруженный собранными коллекциями и полный самых увлекательных рассказов. Трудно предположить, что Пушкин остался в стороне и не побывал у Шиллинга, чтобы лично увидеть привезенные им «восточные редкости» и послушать его рассказы.

Если правдоподобным представляется предположение, что в конце 1829 г. Пушкин был осведомлен об открытиях Шиллинга в области электротелеграфии, то едва ли подлежит сомнению, что он присутствовал при демонстрациях нового аппарата в 1832 г. В марте этого года Шиллинг вернулся в Петербург и вновь деятельно принялся за усовершенствование своего изобретения. Авторитетный свидетель этих работ, сам вскоре прославившийся своими открытиями в области электромагнетизма, Б. С. Якоби, после смерти Шиллинга анализируя причины, приведшие к изобретению телеграфа, писал: «Шиллинг имел то особое преимущество, что по своему служебному положению он был хорошо осведомлен о потребностях страны в средствах связи. Удовлетворение этих потребностей и составило задачу, которую он стремился разрешить на протяжении всей своей жизни, с одной стороны, привлекая на помощь успехи естествознания, с другой стороны, направляя свой исключительно острый ум на создание и составление простейшего кода. В последнем деле ему послужило замечательным подспорьем специальное знание восточных языков. Два совершенно различных направления знаний — естественные науки и востоковедение — слились вместе, чтобы помочь возникновению телеграфии».¹⁹⁸

Эти соображения могут служить еще одним пояснением той удивительной энергии и настойчивости, с которыми Шиллинг возобновил занятия своим телеграфом тотчас же по возвращении из Сибири.

смотрели как на какую-то загадку» (Русская старина, 1903, апрель, т. 114, с. 126). Прибавим, что пущенная С. Я. Штрайхом легенда о близости Шиллинга к III Отделению, которую повторил и Б. Л. Модзалевский (Пушкин. Письма, т. II, с. 292), оказалась основанной на недоразумении и была с полным основанием опровергнута А. Ф. Коростиным (Начало литографии в России, с. 87) и А. В. Яроцким (Павел Львович Шиллинг, с. 123).

¹⁹⁷ В «Литературной газете» (1830, 16 мая, с. 226) помещены были «Выписки из письма о. Иакинфа Бичурина к И. В. С.» из Иркутска с описанием приезда экспедиции Шиллинга, а в номере от 23 октября (т. II, с. 189—190) за тот же год статья Н. Б. (Николая Бестужева?) «Кяхтинский пир (Письмо из Восточно-Азиатской России)», где, вероятно со слов того же Бичурина, дано описание встречи китайских и монгольских властей, по случаю отправлявшейся в Пекин новой духовной миссии, в присутствии Шиллинга. «Одному нашему Шиллингу житье, — писал П. А. Вяземский А. Я. Булгакову. — Он брюхом своим берет у китайцев. Я читал в Литературной газете, в описании Кяхтинского праздника, что китайцы были поражены *важною осанкою его*» (Русский архив, 1879, кн. II, с. 103). Эти статьи были, несомненно, известны и Пушкину; второй из них, вероятно, вызвано упоминание Кяхты в письме его к Н. Н. Гончаровой из Болдина от 11 октября 1830 г. (XIV, 115—116, 417).

¹⁹⁸ Яроцкий и А. В. Павел Львович Шиллинг, с. 106.

9 октября 1832 г. П. Л. Шиллинг впервые показал свой усовершенствованный телеграфный аппарат более широкому кругу интересующихся. «Демонстрация происходила в квартире Павла Львовича в Петербурге на Царицыном лугу (ныне Марсово поле)», — сообщает А. В. Яроцкий.¹⁹⁹

«Пятикомнатная квартира изобретателя оказалась малой для демонстраций телеграфа, и П. Л. Шиллинг на время напаял у владельцев дома весь этаж. По этому поводу один из сослуживцев изобретателя, Х. Е. Лазарев, писал: „Когда надобности опытов размещения всего этого телеграфа потребовали, тогда он <П. Л. Шиллинг> для большего простора занял всю линию, верхний весь этаж, дабы от одного конца крайней комнаты в другую оконечную провести на дальнейе пространство проволоку и цепи, и через то по телеграфу сообщать те известия, кои предназначали посетители, которых он многократно, всегда и почти ежедневно приглашал в разных отдельных обществах высшего, среднего и низшего круга и класса“.

Для демонстрации, — продолжает А. В. Яроцкий, — передатчик был установлен в одном конце здания, где собрались приглашенные в небольшом зале, а приемник — в другом конце, в рабочем кабинете П. Л. Шиллинга, так называемой „китайской комнате“. Получилось расстояние, превышавшее 10 м. Первая в мире телеграмма, состоявшая из десятка слов, на глазах у собравшихся была лично принята по электромагнитному телеграфу П. Л. Шиллингом моментально и верно.

Интерес, который вызвало изобретение в самых разнообразных кругах русского общества, был настолько велик, что демонстрации не прекращались почти до самых рождественских праздников».²⁰⁰

Пушкин приехал в Петербург в середине октября того же года и все еще носился с мыслью об издании газеты «Дневник». Незадолго перед тем он был в Москве, где вербовал сотрудников в будущую газету; в начале сентября составлен был и пробный номер этой газеты; 21 октября А. Н. Мордвинов уведомлял Пушкина, что этот номер представлен Бенкендорфу. Хотя, как известно, издание это не состоялось, Пушкин решил воздержаться от него только потому, что разрешение «долго не приходило», как он сам сообщил П. Н. Нащокину в письме от 2 декабря; извещая его, что в нынешнем году газета «издаваться не будет», Пушкин, однако, все же прибавлял: «К будущему успею осмотреться и приготовиться», — следовательно, и тогда еще не окончательно отказался от своей затеи (XV, 37). Вполне естественно, что в число этих «приготовлений» входила и вербовка сотрудников в Петербурге, и внимательное знакомство со всеми новостями петербургской жизни; более детальное ознакомление с изобретением Шиллинга диктовалось всеми планами его деятельности как жур-

¹⁹⁹ Там же, с. 50. — Дом этот сохранился до сих пор, на нем прибита мемориальная доска.

²⁰⁰ Я р о ц к и й А. В. Павел Львович Шиллинг, с. 50—51.

налиста; мимо публичных демонстраций повозобретенного Шпллингом телеграфа, о которых говорил весь Петербург, газета Пушкина, если бы она начала выходить в назначенное время, разумеется, пройти не могла, тем более что известия именно такого рода предполагались и ее программой.²⁰¹ Впоследствии издание «Современника» заставило Пушкина еще внимательнее, чем прежде, следить за всеми успехами русской науки и техники.

5

В «Сценах из рыцарских времен» есть небольшой, по полному глубокого философского смысла эпизод — разговор между Мартыном и Бертольдом, в котором, как это справедливо отметил Д. П. Якубович, «в кратких формулах противопоставлено мировоззрение ученого, смутно предчувствующего колоссальное значение двигателя-машины, совершившей переворот в истории человечества, — и купца, безвыходно ограниченного в своем мировоззрении отношениями торговли».²⁰² В этом диалоге Пушкин действительно стремился подчеркнуть, что Мартын и Бертольд не могут понять друг друга; для купца Мартына научное творчество есть лишь один из путей приобретения, возможность делать золото; научно-изобретательская мысль Бертольда, напротив, бескорыстна: он ищет не личных выгод, но истины, предвидя, что деятельность человеческого разума, направленная на завоевание сил природы и открытие ее законов, поистине беспредельна. В окончательном тексте «Сцен из рыцарских времен» этот диалог имеет следующий вид (VII, 220—221):

Мартын

Постой! Ну, а если опыт твой тебе удастся, и у тебя будет и золото и славы вдоволь, будешь ли ты спокойно наслаждаться жизнью?

Бертольд

Займусь еще одним исследованием: мне кажется, есть средства открыть *perpetuum mobile*...

Мартын

Что такое *perpetuum mobile*?

Бертольд

Perpetuum mobile, то есть *вечное движение*. Если я найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому... видишь ли, добрый мой Мартын: делать золото — задача заманчивая, открытие, может быть, любопытное — но найти *perpetuum mobile*... О!..

²⁰¹ В тексте пробного номера «Дневника», представленного Бенкендорфу, несмотря на его отрывочный и предварительный характер, набрана все же заметка об изобретении французским ученым «подводного судна» (Пушкин. Письма. М.; Л., 1935, т. III, с. 497, где текст всего этого пробного номера опубликован впервые).

²⁰² Пушкин. Полн. собр. соч. Л., 1935, т. VII, с. 657.

Среди черновых рукописей «Сцен из рыцарских времен» до нас дошел первоначальный черновой набросок, которым Пушкин воспользовался именно для указанного диалога. Этот набросок имеет для нас интерес, так как он дает некоторое представление о том, как развивался данный диалог в творческом сознании Пушкина, прежде чем он был введен в вышеприведенный окончательный текст. Набросок имеет еще совершенно предварительный характер — он зафиксировал первую творческую мысль, подлежащую дальнейшему развитию и словесному воплощению; даже имя одного из собеседников, купца Мартына, в нем еще отсутствует: вместо него стоит здесь неопределенное имя Калибана, взятое на выдержку из Шекспира («Буря»), но, очевидно, без всякой связи с характерным образом его поспетеля, и затем устранившееся.²⁰³ Но основное противопоставление — средневекового ученого-монаха, бескорыстного искателя истины, и богатого, но алчного купца — в наброске дано уже в достаточно выразительных чертах.

Речь идет о наброске, называемом обычно по его первой строке «Шварц ищет философского камня». Рукопись принадлежала некогда собранию А. Ф. Онегина и потому сравнительно поздно введена была в научный оборот; ныне она хранится в ИРЛИ (ф. 244, оп. 1, № 281). Опубликованный впервые в 1922 г.,²⁰⁴ набросок этот входит ныне во все полные собрания сочинений Пушкина. Тем не менее обращение к подлинной рукописи не является бесполезным, поскольку во всех существующих ее описаниях и воспроизведениях остаются еще недомолвки или спорные места.

Интересующий нас текст набросан весьма небрежным почерком на случайном листке (VII, 346—347):

«Шварц ищет философского камня — Калибан, его сосед, над ним смеется. Он проедает свое богатство в пустой надежде —

Шварц — нет я ищущу не богатства, а истины, мне богатство не нужно —

Зачем ищешь ты золота —

Я ищущу разрешения вопроса —

Если ты найдешь золото [будешь] ведь ты сложа руки будешь жить —

Нет, я стану искать квадратуру круга —

Что это такое, верно...».

Под этой строкой, но позже, другим почерком, Пушкин написал: «Perpetuum mobile» и, вероятно одновременно с этим, несколькими поспешными чертами зачеркнул слова «квадратура круга».

Набрасывая этот план, Пушкин не случайно остановился на словах «квадратура круга»: он почувствовал, вероятно, что этот

²⁰³ Единственным основанием для этой странной ассоциации могло быть представление о шекспировском Калибанае как о воплощении антиинтеллектуализма в противовес творческой, ищущей натуре Бертольда Шварца.

²⁰⁴ Неизданный Пушкин. Пгр., 1922, с. 167—168.

пример не доводит его мысль до конца; и в самом деле, упорство в стремлении найти решение неразрешимой и абстрактной математической задачи не могло быть свойственно Бертольдцу как представителю средневековой учености, искавшему более конкретных применений своих знаний к практической жизни; педагогом он должен был выступать в тех же «Сценах» Пушкина как изобретатель пороха, как алхимик. Пример *perpetuum mobile*, удержанный и в белом тексте, гораздо лучше оттенял его основную мысль. Таким образом, написав слова «квадратура круга» и задумавшись над тем, как объяснить их Бертольдцу на вопрос купца «что это такое», Пушкин остановился и, как это нередко бывало у него в моменты подобных творческих пауз, начал чертить рисунки на том же листке, теснейшим образом связанные с поисками лучшего решения ввиду возникшего в его сознании затруднения.

В первом издании этого фрагмента 1922 г. рисунки описаны не были.²⁰⁵ В VII томе академического издания (1935) рисунки описаны подробно и довольно точно: «геометрические фигуры (треугольник, круг, внутри которого — четырехугольник, разбитый на три треугольника) и нечто вроде частей машины»; кроме того, здесь же сделано безусловно правильное указание, что эти рисунки, «очевидно, связаны с текстом плана: „Нет я стану искать квадратуру круга“ — и ниже: „*perpetuum mobile*“».²⁰⁶ В описании Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского рисунки расшифрованы несколько иначе: «геометрические фигуры и двухэтажный дом».²⁰⁷

Для того чтобы понять, что в действительности изображают эти рисунки, остановимся еще на датировке указанного наброска и сопровождающих его рисунков. В этом вопросе разногласий между исследователями, по-видимому, не было. «Так как самые „Сцены“ относятся к 1835 году, то и наш план нужно датировать этим временем», — заметил Н. В. Измайлов.²⁰⁸ Такого же мнения придерживался и Д. П. Якубович, писавший: «Датировать листок (по связи с остальными документами, относящимися к пьесе) можно также 1835 годом».²⁰⁹ Более точной датировке рукопись не

²⁰⁵ Там же. — Нет никаких данных о рисунках и в первом упоминании об этой рукописи в кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1909, вып. XII, с. 18, № 44.

²⁰⁶ Пушкин. Полн. собр. соч., т. VII, 1935, с. 640.

²⁰⁷ Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме, с. 109, № 281.

²⁰⁸ См.: Неизданный Пушкин, с. 168.

²⁰⁹ См.: Пушкин. Полн. собр. соч., 1935, т. VII, с. 640. — Тут же, впрочем, Д. П. Якубович допускал, что план мог относиться и к предшествующему году. Черновая рукопись «Сцен» находится в той тетради, которая заведена была Пушкиным в самом конце 1833 г.; отсюда заключают, что дата («15 августа»), проставленная в рукописи Пушкиным, может относиться и к 1834, и к 1835 г.; так как текст пьесы значительно отошел от плана, несомненно написанного раньше, то отсюда Д. П. Якубович и заключал, что интересующий нас листок написан был «может быть даже в 1834 году» (VII, 1935, 640, 650).

поддается; не менее трудно было бы установить, каким временем приписка «perpetuum mobile» отделена от даты первоначального заполнения листка. Тем не менее, думается, можно подойти к решению этих вопросов с другой стороны, попытавшись установить, в силу каких причин у Пушкина возникла мысль заменить один пример другим и почему вместо «квадратуры круга» на листок вписано было другое определение: *perpetuum mobile*.

О бесплодных попытках решить проблему «вечного двигателя» и о месте, которое заняла она в истории человеческой мысли, Пушкин, разумеется, знал задолго до того времени, когда он задумал свои «Сцены из рыцарских времен». Трудно утверждать с полной определенностью, была ли ему известна, хотя бы в общих чертах, длинная история попыток изобретения *perpetuum mobile*, восходящая действительно к европейскому средневековью.²¹⁰ Но Пушкин все же мог знать, что, хотя уже в XVII в. Ньютон признал невозможность создания такого двигателя, а столетие спустя парижская Академия наук (в 1775 г.), а вскоре за ней и лондонское Королевское общество постановили не принимать к рассмотрению никаких описаний новоизобретенных «вечнодвижущихся» механизмов (так же как и решений задач о квадратуре круга и удвоении куба), новые опыты по изобретению и конструированию таких механизмов все еще продолжались. Время от времени сведения о них проникали и в печать. П. П. Свиньин в составленной им биографии И. П. Кулибина (1735—1818) рассказывал, например, как сильно идея *perpetuum mobile* захватила этого талантливого русского механика-самородка. «Кулибин, — писал Свиньин, — тайно от всех занимался сим открытием, и... в 1816 году удача некоторого опыта так польстила его, что в последние минуты жизни своей он единственно обращал все внимание свое на предмет сей и надеялся успеть еще подарить оным отечество свое, страстно им любимое». Характерно при этом, что Свиньин, по-видимому, простодушно допускал теоретическую возможность создания такого механизма, потому что он даже высказывал сожаление по поводу того, что Кулибину так и не удалось «кончить сего важного изобретения». «Может быть, он был бы счастливее своих предшественников, останавливавшихся на сем камне преткновения, — с полной серьезностью писал о Кулибине Свиньин, — может быть, он доказал бы, что *вечное движение* не есть химера механики, как утверждал Даламберт, подобно *философскому камню* в химии, *бескорыстной любви* — в нравственно-

²¹⁰ Одно из наиболее древних описаний механизма, будто бы представляющего собой «вечный двигатель», находится в рукописи французского архитектора XIII в. Вилара де Гонекора. Существует довольно много историй изобретения такого двигателя: одна из наиболее полных: Da u l A. Das *perpetuum mobile*. Eine Beschreibung der interessantesten, wenn auch vergeblichen, aber doch immer sinnreichen und belehrenden Versuche. eine Vorrichtung oder Maschine herzustellen, welche sich beständig soll. Wien; Pest; Leipzig, 1900.

сти».²¹¹ Из других источников²¹² мы знаем, какое потрясающее впечатление произвела на Кулибина незадолго до его смерти небольшая заметка, помещенная в «Русском ивалиде»: здесь сообщалось, что некий Петерс, механик из Майнца, будто бы «изобрел наконец так называемое вечное движение (perpetuum mobile), которого тщетно изыскивали в течение многих веков, и привел оное к концу в Брюсселе в ночи с 25 на 26 августа».²¹³ Однако в русской печати пушкинского времени термин *perpetuum mobile* встречается в качестве синонима затруднительного вопроса или неразрешимой задачи. «В чем могут состоять надежды публики?» — спрашивал, например, Н. Полевой в «Письме издателя к Н. Н.» в первом номере «Московского телеграфа» и отвечал, что этот вопрос кажется ему «*perpetuum mobile* в спорах и квадратурой круга в литературе».²¹⁴

Любопытно, однако, что в 1834—1835 гг. в петербургской печати тот же термин применен был к действительно выдающемуся открытию Б. С. Якоби и вся эта проблема неожиданно получила у нас совершенное новое освещение и привлекла к себе большое внимание.

В 1834 г. в десятом номере петербургского «Журнала мануфактур и торговли» под интригующим заголовком «Новая машина для непрерывного кругообращения» появилось сообщение об изобретенном Б. С. Якоби, выдающимся физиком этого времени и в недалеком будущем знаменитым петербургским академи-

²¹¹ Статья «Жизнь русского механика Кулибина и его изобретения. Сочинение Павла Свиныгина» была одновременно напечатана в «Отечественных записках» и «Сыне отечества» в 1819 году и вышла отдельным изданием (СПб., 1819). Любопытно, что еще А. Н. Островский, создавая «Грозу» и воспользовавшись для образа Кулигина некоторыми чертами И. П. Кулибина, удержал в тексте своей драмы и этот штрих из биографии прототипа своего героя: «мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле» (см.: Гудзий Н. К. Прототип Кулигина. — В кн.: Историко-литературный сборник: Посвящается В. И. Срезневскому. Л., 1924, с. 185, 187).

²¹² Каргин Д. И. *Perpetuum mobile* И. П. Кулибина. — Архив истории науки и техники, М.; Л., 1935, вып. 6, с. 187—209; Пипуныров В. Н. Иван Петрович Кулибин, с. 105.

²¹³ Русский ивалид, 1817, 22 сентября. — Далее следовало описание самого изобретения Петерса: «Сие вечное движение состоит... из колеса, имеющего два фута толщины и 8 фут в поперечнике. Оное движется собственной своею силою и без всякой помощи пружин, ртути, огня, электрической или гальванической силы. Хорошество оного превосходит вероятие. Если прикрепить оное к дорожной карете или коляске, то в течение 12 часов проехать можно 100 французских миль, взбираясь притом на самые крутые горы и опускаясь с оных без малейшей опасности. Сие изобретение вводит совсем новую систему механики, ибо оное, как кажется, противоречит принятому доселе правилу, что с прибавлением скорости уменьшается сила и напротив».

²¹⁴ Московский телеграф, 1825, ч. I, с. 4. — Ср. еще в последней статье К. Рылеева «Несколько мыслей о поэзии»: «... что бы тогда осталось грядущим поколениям? Куда бы девалось *perpetuum mobile*?» (Сын отечества, 1825, ч. 104, № XXI, с. 154).

ком, электродвигателе, первая модель которого была им продемонстрирована 15 мая 1834 г. То же сообщение опубликовано было и в петербургской немецкой газете (*St. Petersburgische Zeitung*, 1834, 5 сентября, стр. 804) под заглавием «*Elektromagnetisches Perpetuum mobile*».²¹⁵

Эта заметка сообщала, что Б. С. Якоби «выдумал произвести непрерывно круговое движение посредством электромагнетизма железа. Он показывал свой снаряд многим ученым мужам и технологам, которые прилежно наблюдали его действия». Далее кратко описывалась и самая машина: «Снаряд состоит из 8 железных полос неподвижных и 8 других таких же полос, вставленных в кружок и движущихся вокруг деревянного вала...; сии полосы окружены, в виде винта, железною проволокою» и т. д. Заметка кончалась известием, что «г. Якоби занимается теперь доказательствами, что сия новая двигательная сила может быть применена ко всяким машинам, дабы дать им потребное движение».²¹⁶

Сведения об этом первом электродвигателе, которому суждено было сыграть столь важную роль в истории не только отечественной, но и мировой техники, сообщались в печати и в 1835 г. В номере от 6 марта за 1835 г. в той же петербургской немецкой газете (стр. 231) писали, например, о продолжающихся опытах Б. С. Якоби над его двигателем, названным в заметке «электромагнитным *perpetuum mobile*», а в номере от 9 марта (стр. 243) шла уже речь не только о преимуществах новоизобретенной машины, но и о неправильном наименовании ее в печати и о мнении самого изобретателя по поводу *perpetuum mobile*. Дело в том, что еще в 1834 г. в своем докладе «Об использовании сил природы для нужд человека», который, между прочим, дает Б. С. Якоби право считаться «одним из предшественников великого открытия закона сохранения энергии»,²¹⁷ он уже достаточно ясно высказался о том, почему чисто механический *perpetuum mobile* невозможен,²¹⁸ следовательно, наименование его электромаг-

²¹⁵ Борис Семенович Якоби: Библиографический указатель / Составила М. Г. Новлянская, под редакцией К. И. Шафрановского. М.; Л., 1953, с. 105, 178.

²¹⁶ Журнал мануфактур и торговли, 1834, № 10, с. 60, 61.

²¹⁷ Кравец Т. П. К семидесятипятилетию со дня кончины Б. С. Якоби (1874—1949). — Успехи физических наук, 1949, т. XXXVIII, вып. 3, с. 411.

²¹⁸ Считаю, что Б. С. Якоби стоял «на самых передовых позициях физической мысли», и цитирую его соображения по поводу того, почему невозможен механический «так называемый *perpetuum mobile*, или машина, которая должна работать, не требуя затраты силы», Т. П. Кравец, однако, обращает внимание также на другое место того же доклада Якоби 1834 г., которое является действительно наивным и, во всяком случае, очень типичным для уровня знаний того времени об электромагнетизме как движущей силе: «Механический *perpetuum mobile*, — писал Якоби, — невозможен, так как движущая сила может дать только равный ей эффект; физический, конечно, можно себе представить, ибо он нуждался бы лишь в движущей силе, которая могла бы, подобно магнетизму Фарадея, возбуждаться простым движением, поэтому не нуждалась бы в питании

нитного двигателя этим термином оказалось ошибкой, тем не менее популярный термин, несомненно, сыграл свою роль при обсуждении его изобретения в широких кругах, в особенности потому, что собственного утвердившегося наименования изобретенный Якоби двигатель еще не имел.

Машина Якоби, предназначенная для практической работы, несмотря на все несовершенства своих первых моделей, как известно, оправдала свое назначение; работы над нею Якоби продолжались и в последующие годы со все возрастающим успехом, сопровождаемые удачными опытами ее применения, например в судоходстве; об этом все чаще писали и русские журналы и газеты второй половины 30-х годов.²¹⁹ Хотя наиболее удачные из этих опытов, сопровождавшиеся и другими замечательными открытиями Якоби в области физики и техники, относятся к концу 30-х—началу 40-х годов, т. е. ко времени уже после смерти Пушкина, но хронологическое совпадение первых печатных известий о новоизобретенном *perpetuum mobile* с появлением этого термина в набросках «Сцен из рыцарских времен» не кажется нам случайным. Более того, соблазнительно было бы приписку Пушкина на указанном выше листке (после отброшенных слов «квадратура круга») поставить в прямую связь с получением им известия об изобретении Б. С. Якоби. Мог ли знать о нем Пушкин в 1834—1835 гг.? Могли ли дойти до него заметки об этом, мелькнувшие в петербургской печати тех лет? На это можно ответить утвердительно прежде всего потому, что одним из информаторов его об этой новости мог быть П. Л. Шиллинг, бывший, кстати сказать, одним из первых, кто сразу же понял выдающееся значение изобретения Якоби и предсказал его будущее.²²⁰

Возвращаясь теперь к рисунку Пушкина, сопровождающему набросок беседы между Бертольдом Шварцом и Мартыном,

или требовала бы его очень мало, и, — в чем и состоит, в сущности, значение *perpetuum mobile*, — действие которой не стоило бы ничего или почти ничего». «Тепловой двигатель, — замечает Т. П. Кравец по поводу этого высказывания Якоби, — управляет всей современной ему техникой — и инженер Якоби отчетливо видит, что тепловой *perpetuum mobile* невозможен; но электродвигатель еще не вошел в технику, и тот же инженер Якоби не считает возможным распространить на него этот принцип без дальнейшего обсуждения» (Кравец Т. П. К семидесятипятилетию со дня кончины Б. С. Якоби, с. 412). Таким образом, журналисты 1834—1835 гг., называвшие двигатель Якоби «электромагнитным *perpetuum mobile*», в сущности не столь сильно погрелись против уровня физических понятий своего времени. (См. также: Ремов Д. В., Радовский М. И. Электродвигатель в его историческом развитии: Документы и материалы. М.; Л., 1936, I, с. 110—116, 148—209; Радовский М. И. Борис Семенович Якоби. М.; Л., 1949, с. 12—42).

²¹⁹ Ср. заметку: Двигательная электромагнитная машина г. Якоби. — Библиотека для чтения, 1838, т. 29, отд. VII, с. 9—12.

²²⁰ П. Л. Шиллинг был и лично близко знаком с Б. С. Якоби и встречался с ним до конца своей жизни в 1837 г. См.: Любарский А. Свет русской науки, с. 87; Чиратов Ф. X. Работы П. Л. Шиллинга и Б. С. Якоби в области электрических линий связи. — Изв. АН СССР, Сер. физич., 1949, т. XIII, № 4, с. 497—504.

можно, думается, с большой уверенностью сказать, что та его часть, которая была принята за «двухэтажный дом» или за «нечто вроде машины», ближе всего напоминает первую модель двигателя Якоби, как он был описан в десятом номере «Журнала мануфактур и торговли» за 1834 г. под заглавием «Новая машина для непрерывного кругообращения».²²¹ Приписка Пушкина «*regretuum mobile*» сделана им справа от его рисунка машины, а расходящиеся от нее линии — это не детали пейзажа вокруг мнимого «двухэтажного дома», а скорее всего изображение возникающих электрических разрядов.

В 30-е годы для большинства современников Пушкина машины, подобные двигателю Якоби, были окружены еще атмосферой своеобразной романтики. Можно указать здесь в качестве примера на одно из типических в этом смысле описаний опытной лаборатории Б. С. Якоби, которое может подтвердить, что ассоциативная связь между образами новейших изобретателей и средневековых ученых возникала сама собой и не являлась натяжкой. В «Северной пчеле» за 1839 г., т. е. всего лишь через четыре года после того, как созданы были «Сцены из рыцарских времен», писал: «Квартира г. Якоби, на Васильевском острове, в доме Парланда № 30, на берегу Невы, между 16 и 17 линиями, — это точно жилище волшебника. Везде стоят машины и аппараты самого простого устройства, и по прикосновению его волшебного жезла вдруг все машины двигаются, мечут искры, плавают металлы! От прикосновения другим концом жезла... все мертвеет. Любопытно и поучительно! В средние века фанатики сожгли бы г. Якоби, а поэты и сказочники выдумали бы о нем легенду, как о Фаусте».²²²

Ассоциативная мысль Пушкина могла идти тем же путем. Прочтя или услышав в 1834—1835 гг. (т. е. в период, когда в его творческом сознании складывались первые очертания будущих «Сцен из рыцарских времен») об изобретении «электромагнитного *regretuum mobile*», он заменил «квадратуру круга» — задачу, которая должна была первоначально владеть мыслью его Бертольда Шварца, другим, более удачным примером и тогда же приписал на своем наброске слова «*regretuum mobile*» рядом с рисунком этого воображаемого «вечного двигателя».

Если некоторые краски для образа Бертольда, помимо книжных источников, Пушкин мог частично позаимствовать из бесед с В. Ф. Одоевским, как раз в этот период много занимавшимся средневековой наукой, философией и алхимией, то другие, менее заметные, но все же уловимые нити тянутся от «Сцен» Пушкина непосредственно к современной ему жизни и, может быть, ведут нас в физический кабинет того же П. Л. Шиллинга, к беседам с ним поэта о новейших изобретениях и будущности их в истории

²²¹ См. изображение ранней модели двигателя Якоби в кн.: Любарский А. Свет русской науки, с. 88.

²²² Северная пчела, 1839, 27 сентября, с. 868.

русской культуры.²²³ С другой стороны, полулегендарный, полуисторический Бертольд Шварц был именно тем лицом, которому предание упорно и с давних пор приписывало изобретение пороха.²²⁴

С середины 30-х годов эти открытия и изобретения, в особенности в области электромагнетизма, начинают играть столь заметную роль среди впечатлений действительности, так прочно водворяются в сознании людей этой поры, что с ними нельзя не считаться при характеристике особенностей русской литературной лексики и произведений литературы, казалось бы, вовсе далеких от сферы научной деятельности. Из множества примеров, которые могли бы здесь быть приведены, укажем прежде всего на употребление прилагательного «электрический» (в переносном смысле) у самого Пушкина в следующем отрывке его статьи «Опровержение на критики» (1830): «Я не могу вам позволить начать писать... стихи, а уж, конечно, не стихов. Неужто электрическая сила отриц[ательной] частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном» (XI, 147). Из «Словаря языка Пушкина» (т. IV, М., 1961, с. 1004) видно, что слово «электрический» встречается в писаниях Пушкина только однажды. Укажем также и на другой пример, имеющий ближайшее отношение к Пушкину.

Один из «любителей искусств», выведенных Гоголем во второй редакции «Театрального развезда», утверждает, что все теперь изменилось в свете и что в театральных пьесах нынешнего времени должна играть первенствующую роль не любовная интрига, а иные движущие силы: «Теперь сильнее завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отомстить за пренебрежение, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чип, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?»²²⁵

²²³ Может быть, самая идея ввести в «Сцены из рыцарских времен» эпизод взрыва крепости-тюрьмы изобретенным Бертольдом порохом возникла у Пушкина под влиянием опытов взрыва пороха электричеством, производившихся в Петербурге, которыми П. Л. Шиллинг был как раз сильно занят в 1833—1835 гг. (см.: Яроцкий А. В. Павел Львович Шиллинг, с. 23—26). Отметим, кстати, что одна из публичных лекций, читанных в Петербурге в 1832 г. от имени Института инженеров путей сообщения, называлась: «Об изобретении пороха» (Соколовский Евг. Пятидесятилетие Института и корпуса инженеров путей сообщения, с. 38—39).

²²⁴ Хотя в Фрейбурге (Брейзгау) воздвигнут памятник Бертольду Шварцу, на котором высечен 1380 г в качестве даты изобретения пороха (см.: Ha usjakob H. Der Schwarz Barthold, der Erfinder des Schießpulvers und der Feuerwaffen. Freiburg, 1891), но в настоящее время можно считать вполне установленным, что самое отнесение жизни Шварца к XIV в. является ничем не подкрепленной легендой. Францисканский монах Bartholdus, с именем которого связывается изобретение пороха, упоминается в источниках только начиная с XVI в. (Hertstlet W. L. Der Treppenwitz der Weltgeschichte: Geschichtliche Irrtümer, Entstellungen und Erfindungen. Berlin, 1918, S. 198—199). Было бы интересно установить, из каких источников легенда о Бертольде Шварце была известна Пушкину.

²²⁵ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. V, с. 142. — Примечательно, что тот же «любитель искусств» уподобляет театральную пьесу сложному

Метафорическое употребление слова «электричество» в данном контексте примечательно как живая черта эпохи; с этим словом у Гоголя соединялись поэтические представления, и оно прочно вошло в его литературный словарь. Еще в статье «Несколько слов о Пушкине» (1832) Гоголь писал, что имя поэта «имело в себе что-то электрическое»,²²⁶ да и впоследствии в статье, вошедшей в «Переписку с друзьями» («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность»), Гоголь именно о Пушкине говорил, что он «изо всего, как ничтожного, так и великого... исторгает одну электрическую искру... поэтического огня».²²⁷ Характерно, что та же терминология была привычна и для В. Ф. Одоевского: свою статью о Пушкине он начинал со свидетельства, что имя поэта везде производит «какое-то электрическое потрясение».²²⁸ И. В. Киреевский в своей знаменитой статье «Деятельный век» также напомнил «электрические слова, которых звук так потрясал умы: *свобода, разум, человечество*».²²⁹ Эти примеры подтверждают, что в 30-е годы специальная физическая терминология не только входила в обиходную речь, но что она получала определенные экспрессивные функции в литературном языке, ставилась одним из элементов художественной литературы.

6

В третьей главе «Пиковой дамы»²³⁰ рассказу о роковой встрече Германна со старой графиней предшествует подробное описание

по своему устройству механизму и утверждает, что «течение и ход шесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело... И в машине одни колеса заметней и сильней движутся; их можно только назвать главными; по правят шесою идея, мысль» (там же, с. 142, 143). Как установлено было В. В. Гишлеусом, высказывания этого «любителя искусств» довольно близки некоторым положениям статьи В. П. Андросова о «Ревизоре» в «Московском наблюдателе» 1836 г., однако ставший знаменитым тезис об «электричестве», которым обладают «чин, денежный капитал, выгодная женитьба», принадлежит исключительно самому Гоголю. Белинский цитировал этот тезис в статье «Русская литература в 1843 году». Напомним здесь также, что в самом начале 30-х годов А. А. Бестужев-Марлинский написал свое сатирическое «Объявление от общества приспособления точных наук к словесности», в котором высмеивал трафаретные приемы в исторических повестях и романах многочисленных русских подражателей В. Скотта: он предлагал проект паровой машины для приготовления общих мест к новым историческим романам, в которой главным механизмом является «валик, на манер Вальтера Скотта» (Марлинский А. Полн. собр. соч., т. IV, ч. X. 2-е изд. СПб., 1847, с. 191).

²²⁶ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 51. — Отметим, что в фразе этой же статьи о «чудной, магической силе» сочинений Пушкина первоначально вместо «магической» стояло «магнитной» (там же, с. 602).

²²⁷ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 381.

²²⁸ См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 2, с. 327.

²²⁹ Европеец, 1832, № 1, с. 7.

²³⁰ «Пиковая дама» напечатана впервые в «Библиотеке для чтения» (1834, т. 2, отд. III, с. 109—140) и в том же году вошла в состав «Повестей, изданных А. Пушкиным» (с. 187—247).

того, что увидел он, украдкой проникнув в старый барский дом. Не замеченный никем Германн наблюдает за графиней, вернувшейся с бала, когда, отослав горничных, она остается одна: «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвисшими губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма» (VIII, 1, 240).

Комментаторы Пушкина обычно проходят мимо последней детали либо дают ей неправдоподобное объяснение, поэтому ее истинный смысл ускользает от читателя наших дней. Что Пушкин имел в виду, говоря о «действии скрытого гальванизма»? «Путеводитель по Пушкину» под словом «гальванизм», имея в виду, в первую очередь, указанное место в тексте «Ликовой дамы», дает следующую справку: «Так назывались различные явления, связанные с действием электрического тока на живой организм (судорожные сокращения мышц и т. п.). Название происходит от имени итальянского физика (?) Гальвани (1737—1798), который объявил эти явления существованием особой жизненной „гальванической“ силы. Загадочные явления, не получившие в то время достаточно научного объяснения, привлекали всеобщее внимание. В романтической литературе, тяготившей к таинственным и ужасным мотивам, встречались изображения гальванизированных трупов и самое слово „гальванический“ было модным. Поэтому Пушкин назвал французский „ужасный“ роман „гальванической словесностью“».²³¹

Решительно все неверно в этом пояснении, ориентирующем читателя на таинственное, «мистическое» восприятие как слова «гальванический», так и всего эпизода в целом. Между тем в речевой практике русского читателя 30-х годов в слове «гальванизм» оттенка, настраивающего на таинственный лад, уже не было. Современники Пушкина хорошо знали, что итальянец Алоизий Гальвани, от имени которого в конце XVIII в. возникло новое слово, никогда не был физиком, но болонским врачом, ставшим профессором анатомии; знали они также, что открытые им явления перестали быть загадочными уж в конце XVIII в., получив свое научное объяснение после открытий Вольты, сделанных в 1799 г.²³² В 30-е годы слова «гальванизм» и «гальванический»

²³¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., Изд. «Красной нивы», 1931, т. VI. Путеводитель по Пушкину, с. 90.

²³² Русские работы, рассматривавшие этот вопрос с точки зрения физики, относятся тоже к самому началу XIX в. Такова, например, книга В. В. Петрова «Известие о гальвано-вольтовских опытах» (СПб., 1803), которая, по отзыву неперемennого секретаря петербургской Академии наук, «замечательна как первое сочинение на русском языке о сем предмете, привлекавшем в то время всеобщее внимание» (ЖМНП, 1835, март, отд. III, с. 487). Ср.: Столетие со дня смерти акад. В. В. Петрова. — Архив истории науки и техники, 1934, вып. 6, с. 427—429. — Историю борьбы научных представлений о магните и магнетизме с суеверным представлением о магнетической силе см.: Still Alfred. Soul of Lodestone: The Background of Magnetical Science. New York; Toronto, 1946.

были у нас не столько модными, сколько просто общеупотребительными, обозначая уже не какую-то таинственную «жизненную силу нервов», а попросту электрический ток. «Библиотека для чтения» через несколько лет после появления в этом же журнале «Пиковой дамы» объясняла, что под именем «гальванизма» со времени открытия Вольты разумеется «динамическое электричество», т. е. «свободно движущееся незримою струей по проводникам от одного полюса к другому»;²³³ отдел о «гальванизме», рассматривавший единственно существовавшие в то время источники электроэнергии, занимал немалое место в лучших русских оригинальных руководствах по физике этих лет.²³⁴

Обширная статья «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара в томе, вышедшем в свет в 1838 г., под словом «гальванизм» приводит уже подробную историческую справку о ходе изучения электрических возбудителей в физиологическом, физическом, химическом и других отношениях, излагает «теорию и главные явления гальванического действия», перечисляет «известнейшие снаряды, которые в общем употреблении носят название гальванических столбов и упоминаются в книгах под разными именами».²³⁵ «Гальвани, — говорится, между прочим, в этой статье, — приписал замеченные явления жизненной силе нервов; в этом соглашались с ним почти все те, которые повторяли его опыты, — по большей части врачи. Знаменитый Вольта первый предположил другую причину и стал доказывать, что она заключается в электричестве, которое возбуждается соприкосновением двух металлов... Наконец, Вольта открыл устройство первого прибора, названного по его имени *Вольтовым столбом*. Этим чрезвычайно важным открытием в области естественных наук было встречено XIX столетие» (с. 123—124). И далее: «Столб удержал за собою имя Вольты, как первого изобретателя снаряда», но электрический ток «продолжают и до сих пор называть гальванизмом. Это несправедливо» (с. 141). Статья о «гальванизме» в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара принадлежит Э. Х. Ленцу (1804—1865), выдающемуся петербургскому физику, с 1834 г. академику, с именем которого связаны многие весьма важные

²³³ Библиотека для чтения, 1840, т. 42, отд. IV, с. 2.

²³⁴ Можно указать, например, на пользовавшиеся в эти годы известностью учебники Н. П. Щеглова (1829) и Э. Х. Ленца (1836); см. также статью Д. М. Перевощикова «О гальванизме» в «Новом магазине естественной истории, физики, химии и сведений экономических» И. А. Двигубского (1827, ч. II, № III, с. 173—190; № IV, с. 271—284). Даже в шеллингианских «Основаниях физики» М. Г. Павлова (М., 1836, ч. II) гальванизму уделено было большое внимание и, между прочим, объяснялось, что, «где соединяются два возбудителя и один проводник, там неотменно должен иметь место и гальванический процесс» (с. 366); (ср.: Бобров Е. Философия в России: Материалы, исследования и заметки. Казань, 1899, вып. II, с. 189).

²³⁵ Энциклопедический лексикон. СПб., 1838, т. XIII: «Гальванизм» (с. 123—140), «Гальванические столбы» (с. 140—143), «Гальваническая терминология Фарадея» (с. 143—145).

исследования этих лет в области электромагнитических явлений; на основе открытий Эрстеда (1820) и Фарадея (1832) Э. Х. Ленц «привел всю область магнито-электричества к одному простому началу и показал связь ее с электродинамикой».²³⁶

Поэтому и Пушкин, говоря «о действии скрытого гальванизма», вероятно, не имел в виду ничего другого, как «гальваническую батарею», да и однажды употребленный им термин «гальваническая словесность», на что ссылается тот же «Путеводитель по Пушкину», следует понимать прежде всего в смысле литературы «электризующей», т. е. возбuditельно действующей на воображение читателей.²³⁷

Рассказывая о качаниях старухи из стороны в сторону, казавшихся Германну непроизвольными, как бы вызванными действиями электрического тока, исходящего из какого-то «скрытого», т. е. невидимого, источника электроэнергии,²³⁸ Пушкин едва ли хотел намекнуть на «гальванизацию трупа» или вызвать какие-либо ассоциации, связанные с «ужасным» французским романом; это прежде всего реалистическая деталь, но в повести она могла иметь также и особое «психологическое» назначение. Напомним, что герой «Пиковой дамы» — бедный инженерный офицер и что служебное положение и профессия Германа едва ли случайно несколько раз подчеркнуты в повести (см. разговор Лизаветы Ивановны с Нарумовым во второй главе). В наши дни эта деталь почти вовсе ускользает от читателя, но современники отнеслись к ней иначе. Ее выделил, например, А. А. Шаховской в драматической переделке «Пиковой дамы», игравшейся на петербургской сцене уже в 1836 г. В этой нелепой и безвкусной переделке (названной «Хризомания, или Страсть к деньгам») Германн, переименованный в Карла Ирмуса, характеризуется Томским в следующих словах: «Он — инженер, математик, человек аккуратный... так он и бережет денежку на черный день»;²³⁹ в другой

²³⁶ Савельев А. О трудах академика Э. Х. Ленца в магнито-электричестве. — ЖМНП, 1854, август, отд. V, с. 4—5.

²³⁷ Имеется в виду полемическая статья Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной» (1836), в которой есть следующие слова: «...словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр. — эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнения публики» (XII, 70).

²³⁸ Ср. у Ф. Булгарина («Поездка в Кронштадт 1 мая 1826 г.»): «Мой процесс... сказал один сухощавый человек своему товарищу. Это одно слово, как гальваническое прикосновение, оттолкнуло меня на три шага от рассказчика» (Булгарин Ф. С. СПб., 1828, т. III, ч. 5, с. 32).

²³⁹ Цитируется по статье: Вицоградов В. В. Стиль «Пиковой дамы». — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 2, с. 101; о «Хризомании» Шаховского ем. также: Столпянский П. Одна из переделок произведений А. С. Пушкина для сцены. Ежегодник императорских театров, 1914, вып. III, с. 11—15; Абрамкин В. М. Пушкин в драматической цензуре. — Литературный архив. М.—Л., 1938, т. I, с. 235—236, 259. — Цензор Е. Ольдекоп писал о «Хризомании», разрешая ее представление в Александринском театре: «Несмотря на то, что эта пьеса заимствована из прекрасной повести, она столь же уродлива, как ее заглавие».

сцене пьесы Шаховской заставляет инженера Ирмуса, т. е. Германна, размышлять вслух на тему о соотношении математически точного расчета и роли случая в карточной игре,²⁴⁰ что можно было бы при желании счесть свидетельством знакомства его с теорией вероятностей, которой, как известно, интересовался также и Пушкин.

Качание старой графини описано в повести теми словами, какими мог рассказывать об этом безмолвно наблюдавший за нею Германн: это ему представилось, что она качается направо и налево как бы «по действию скрытого гальванизма». Именно поэтому эта деталь и кажется нам поразительным художественным штрихом. Молодой инженерный офицер, несмотря на волнение, охватившее его перед решающим для его судьбы разговором со старухой, все же не может вовсе забыть о впечатлениях, связанных с его инженерной специальностью. В этот момент они подсознательны, но все же управляют его сравнениями; движения старухи — не просто механические или «машинальные» (слово это хорошо известно Пушкину, он пользовался им в «Евгении Онегине»); их вызывает, кажется Германну, электрическая сила, исходящая из невидимого источника. Здесь нет никакой таинственности, никаких намеков на французскую «неистовую словесность»: Германн не мог быть в ней начитан, да и старуха для него в минуты, когда он ждал от нее тайны трех карт, не была ни трупом, ни призраком.

С инженерной специальностью Германна, которая, по замыслу Пушкина, очевидно, могла давать себя знать, несмотря на его «сильные страсти» и «огненное воображение», связаны, вероятно, и некоторые другие детали повести. Шестая глава начинается словами, предваряющими рассказ о дальнейших событиях жизни Германна: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место» (VIII, 1, 249).²⁴¹

Пушкин говорит это от себя, но можно ли объяснить случайностью, что и стилистически и по существу сформулированное здесь положение воспроизводит одну из аксиом любого курса механики, распространенную лишь на область «нравственной природы»? Едва ли эта мысль, изложенная точным языком учебной теоремы, введена в текст повести в результате случайного, бессознательного творческого акта; мы, наоборот, имеем полное право предположить, что она является следствием глубоко обдуманного артистического расчета, что она входит в целую систему подробностей, специально предназначенных к тому, чтобы усилить вос-

²⁴⁰ Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы», с. 90.

²⁴¹ Ср., впрочем, в писавшемся одновременно «Путешествии из Москвы в Петербург»: «Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческого» (XI, 247). См. замечание М. А. Цявловского в издании: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1938, т. VII, с. 860—861.

приятие Германна читателями как инженера по профессии. В этой тонко разработанной системе деталей есть и такие, которые могут представиться читателям либо неожиданными, либо вовсе излишними, если они не учтут этого замысла Пушкина.

Таково, например, описание всего того, что Германн увидел в спальне графини, дожидаясь ее возвращения (гл. III). М. Гершензон в своей статье о «Пиковой даме» безоговорочно отнес это описание к числу «художественных ошибок» Пушкина. «Современный художник, — пишет Гершензон, — например Чехов, нарисовал бы здесь только те черты обстановки, которые мог и должен был в эту минуту величайшего напряжения заметить Германн. Так поступил и сам Пушкин, рисуя приготовления к дуэли Онегина с Ленским...». Гершензон ссылается на психологически сходную, как ему кажется, сцену возвращения Ростова в отчий дом из «Войны и мира», в которой Л. Н. Толстой проникновенно изобразил не все то, что могло встретиться Ростову, но лишь «элементарные зрительные впечатления, схваченные на лету... и вихрем возникающие обрывки воспоминаний». «С этой точки зрения, — заключает отсюда Гершензон, — подробное *объективное* описание графининой спальни, как ни хорошо оно само по себе, — серьезный художественный промах; всего, что здесь перечислено, Германн, конечно, не мог тогда видеть и сопоставлять в своем уме».²⁴²

Такой вывод является и поспешным и несправедливым. В тексте повести ясно указано, что в покоях графини Германн проводит свыше двух часов («Время шло медленно... В гостиной пробило двенадцать... Германн стоял, прислонясь к холодной печке»). «Дальний стук» приближающейся кареты Германн услышал только тогда, когда часы пробили «второй час утра»; VIII, 1, 240). Следовательно, у Германна было достаточно времени на то, чтобы осмотреться кругом и заметить все. Еще существеннее то, что Германн вовсе не находился в состоянии лихорадочного волнения. Пушкин особо подчеркнул: в долгие часы ожидания графини Германн не испытывал ни нетерпения, ни страха («Он был спокоен; сердце его билось ровно»; VIII, 1, 240). Естественно, что все мысли Германна были сосредоточены на старой графине и на предстоявшей встрече с нею. Думая о графине в ее комнатах, он старался составить о ней представление и по окружавшим ее вещам. По замыслу Пушкина, впечатления Германна должны были совпасть с тем образом графини, который создался у него первоначально на основании рассказа о пей Томского; вещи как бы подтверждали реальность биографии графини и даже удивительную точность всех как бы случайно, мимоходом упомянутых Томским дат (Томский сообщил, например, что его бабушке восемьдесят лет и что она «лет шестьдесят тому назад ездила в Париж и была там в большой моде»; VIII, 1, 228).

²⁴² Гершензон М. Мудрость Пушкина. М., 1919, с. 111, 112.

Описание спальни графини, какой представилась эта барская комната Германну, следует считать не «серьезным художественным промахом» Пушкина, как думал Гершензон, но удивительным и поистине безупречным воплощением тончайшего авторского замысла. В этом описании нет ни одной ненужной подробности, ни одного лишнего слова: они согласованы между собой до конца. Весь рассказ Томского о графине, воспламенивший воображение Германна и потому удержавшийся в его памяти во всех деталях, получает в этом месте повести свое реальное подтверждение: каждая вещь комнаты свидетельствует о том или ином событии в жизни графини, утверждает в сознании Германна, что все услышанное им о графине правдоподобно или справедливо; ему остается теперь выведать лишь тайну трех карт. Все вещи, украшавшие спальню, свидетельствовали прежде всего о Париже XVIII в.: полинялые штофные кресла с «сошедшей позолотой», китайские обои на стенах, портреты, писанные «в Париже» Виже Лейбрен. Но этих подробностей Пушкину показалось недостаточно, и он добавил: «По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Легоу, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьевым шаром и Месмеровым магнетизмом» (VIII, 1, 239, 240).

Фарфоровые безделушки и всевозможные «дамские игрушки», бросившиеся в глаза Германну, характеризуют обстановку комнаты аристократической модной красавицы XVIII в.; не случайно здесь же упомянуто, что убранство этой спальни завершилось «в конце минувшего столетия». Но какой смысл имеет упоминание, что эти игрушки изобретены были «вместе с Монгольфьевым шаром и Месмеровым магнетизмом»? Прежде всего — хронологическое. Эти указания имеют прямое отношение и к возрасту графини, и к дате ее пребывания в Париже («лет шестьдесят назад»). Пушкин здесь, как и всегда, безупречно точен. Братья Монгольфье пустили первый аэростат, наполненный нагретым воздухом («Монгольфьер»), в Версале в июне 1783 г., и приблизительно около того же года начали входить в моду опыты по внушению (гипнотические явления именовались тогда «магнетизмом») немецкого врача Фридриха Антона Месмера (1733—1815).

У Пушкина в момент создания «Пиковой дамы» мог быть под руками источник, обеспечивший хронологическую точность при сопоставлении двух, казалось бы, столь далеких друг от друга событий — первого опыта воздухоплавания и открытия гипноза как врачебного средства. Таким источником могла быть ода Г. Р. Державина «На счастье» (1789). В этой известной оде, написанной шуточным слогом и полной сатирических намеков на события того времени, Державин представляет счастье и переменчивость фортуны в различных образах и применениях и, в частности, упоминает модные тогда «Монгольфьеров шар» и «магнетические» опыты с предсказаниями будущего.

Державин пишет о счастье:

Но, ах! как некая ты сфера
Иль легкий шар Монгольфьера,
Блестя в воздухе, летишь...

и поясняет: воздушному шару «счастье здесь тем уподобляется, что упадет куда случится».²⁴³ Н. Ф. Остолопов, отметив, что эта ода Державина писана в 1789 г., также разъяснил, что в указанных стихах «изображается своеобразие счастья... что оно редко благоприятствует достойным людям, а подобно воздушному Монгольфьером изобретенному шару упадет куда случится».²⁴⁴

К стихам другой строфы:

Как ты лишь всем чудотворишь,
Девиц и дам магпизируешь —²⁴⁵

во времена Пушкина давался комментарий, сопровождаемый точной датой: «В 1786 году в Петербурге магнетизм был в великом употреблении. Одна г-жа К. <Ковалицкая, жена правителя канцелярии Потемкина> занималась новым сим открытием и пред всеми в таинственном сне делала разные прорицания».²⁴⁶

Стоит отметить, что в той же оде «На счастье» Державин говорит и о карточной игре, смело вводя в стихи профессиональные словечки из жаргона карточных игроков.

Предполагаемое нами обращение Пушкина к оде Державина в поисках исторического колорита для «Пиковой дамы», точных «признаков времени» представляется и естественным, и вполне закономерным. Здесь мог иметь место и полусознательный ход ассоциативных идей: о чем Пушкин мог заставить думать Германа, внимательно разглядывавшего комнату графини, как не о случайностях фортуны, уподобленной воздушному шару, игрушку ветров, или об удачных предсказаниях, сделанных под воздействием гипноза?²⁴⁷

²⁴³ Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. I, с. 255.

²⁴⁴ [Остолопов Н. Ф.] Ключ к сочинениям Державина. СПб., 1822, с. 47. — Братья Монгольфье были хорошо известны в России XVIII в. и часто упоминались в русской литературе. Многократно говорит о них А. Н. Радищев (в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии», в «Памятнике дактилохорейческому витязю», в стихотворении «Оснадцатое столетие» и др.).

²⁴⁵ Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. I, с. 245.

²⁴⁶ Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные..., изданные Ф. П. Львовым. СПб., 1834, ч. I, с. 20.

²⁴⁷ Учение Месмера было, однако, известно Пушкину уже с давних пор. По-видимому, он был знаком с большим трудом, изданным в 1818 г. профессором Д. М. Велланским, впоследствии приятелем В. Ф. Одоевского и сотрудником «Литературной газеты» Дельвига: «Животный магнетизм, представленный в историческом, практическом и теоретическом содержании. Первые две части переведены из немецкого сочинения профессора Клуге, а третью сочинил Д. Велланский» (СПб., 1818). Книга по-

Во всяком случае, каков бы ни был источник, в котором Пушкин почерпнул или с которым он сверил нужные ему даты, они кажутся строго согласованными между собой; и «Монгольфьеров шар» и первые успехи «месмеризма» ведут нас в Париж начала 80-х годов XVIII в., и это в свою очередь вполне соответствует указанию Томского, что графиня «лет шестьдесят тому назад ездила в Париж и была там в большой моде».

И все же не эта безупречная хронологическая согласованность деталей, казалось бы второстепенных и малозначительных, представляется особенно поразительной в повести Пушкина. Невольно создается впечатление, что Пушкиным был глубоко обдуман самый выбор предметов, обративших на себя внимание Германна в покоях графини, что Пушкин не упустил возможности и здесь, в этом перечислении, дать тонкую характеристику инженерной специальности своего героя. В самом деле, и «Монгольфьеров шар», и различные «дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия», могли Германну вспомниться скорее, чем любому другому наблюдателю. Привычный «инженерный» взгляд Германна успел заметить в спальне многое такое, что другим могло бы и вовсе остаться незамеченным. Германн увидел, например, «коробочки, рулетки, веера», «столовые часы работы славного Легоу». Обратим внимание прежде всего на слово «рулетка», потерявшее свое прежнее значение и поэтому не воспринимаемое более читателем «Пиковой дамы» наших дней или толкуемое вполне произвольно. Как понимал его Пушкин? Речь здесь ни в коем случае, разумеется, не могла идти о приспособлении для азартной игры; Пушкин имел в виду «игрушку, состоящую из

священа памяти Месмера, и ее первая часть излагает историю того, как Месмер, гонимый в Австрии, переселился во Францию и получил здесь возможность обнародовать главные основания своего учения (ср.: Бобр в Е. Философия в России, вып. III, с. 8—15). Отзвук знакомства Пушкина с этой книгой Велланского можно усмотреть в начальных стихах четвертой главы «Руслана и Людмилы» издания 1820 г. (затем отброшенных):

...теперь колдун
Иль магнетизмом лечит бедных
И девушек худых и бледных...

(IV, 279)

О «силе магнетизма» Пушкин вновь упомянул в восьмой главе «Евгения Онегина» (строфа XXXVIII). В 30-х гг. «магнетизм» был в Петербурге в большой моде (Лернер Н. О. Пушкинологические этюды. — Звенья. М.; Л., 1935, т. V, с. 101—103). Добавим, что Пушкин, несомненно, читал статью Д. М. Велланского «Замечание на статью литературного французского журнала Le Furet», напечатанную в «Литературной газете» (1830, 17 марта, с. 126—128) в непосредственном соседстве с его собственным стихотворением. Статья Д. М. Велланского написана в защиту магнетизма, осмеянного петербургским французским журналом, и довольно подробно говорит о Месмере: «Почти за 60 лет до нынешнего времени доктор Месмер начал лечить болезни животным магнетизмом, за что должен был оставить Вену и выехать из Австрии. Прибывши в Париж, делал он чудеса магнитным своим лечением» и т. д. (там же, с. 127).

кружка, бегающего вниз и вверх по шнуру»,²⁴⁸ действительно «изобретенную» и бывшую в моде во Франции, а затем в России, в конце XVIII в.

В «Дамском журнале» мы находим по этому поводу заслуживающее внимания свидетельство (в заметке «Анекдот о Митрофанушке»): «Было время, когда *рулетки* вместе с собою кружили все головы: дома, в гостях, в спектаклях, на вечерах, на гульбищах, пешком и верхом, у мужчин и дам всеминутно выпрыгивали из рук рулетки, которые осыпались жемчугом, яхонтами, бриллиантами и проч., и проч.

Находя подобную роскошь и подобную забаву довольно смешными, бессмертная Екатерина велела, чтобы при представлении *Недоросля*, Митрофана Терентьевича, он выбежал на сцену — с рулеткою в руках и вместо мыльных пузырей, обыкновенно им пускаемых, тешился — рулеткою.

Можно угадать, что рулетки из всех рук — выпали навсегда.

Так-то *Митрофанушки* подчас преподают урок другим Митрофанушкам под разными именами!».²⁴⁹

Характерно, однако, что значение «рулетки» как игрушки к середине XIX в. забылось настолько, что П. Мериме, переводя «Пиковую даму» на французский язык, не смог уже догадаться, что должно было значить в тексте пушкинской повести это слово французского происхождения с русским суффиксом, и попросту выключил его из своего перевода.²⁵⁰

²⁴⁸ Словарь церковно-славянского и русского языка / Сост. Вторым отд. Акад. наук. СПб., 1847, т. IV, с. 78; Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб., 1882, т. IV, с. 114.

²⁴⁹ Дамский журнал, 1829, № 41, с. 26. — Анекдот полностью воспроизведен также в «Библиографических заметках» В. В. Каллаша (Русский архив, 1904, кн. I, с. 699). Французское слово *roulette* (с основным значением «колесико») в XVIII и XIX вв. имело много применений в техническом языке и являлось также распространенным геометрическим термином.

²⁵⁰ Mérimé Prosper. Œuvres complètes. Paris, 1934, t. IX, Etudes de littérature russe / Ed. H. Mongault, p. 58—59. — А. Монго в комментарии к указанному месту перевода «Пиковой дамы» обратил внимание на пропуск этого слова и заметил, что пушкинское «рулетки» Мериме мог передать французским «des émigrettes» (р. 214). Однако и это слово требует в настоящее время специальных пояснений. «Эмигретками» стали с 1791 г. называть в Париже именно эти игрушки-рулетки, пользовавшиеся тогда чрезвычайной популярностью: небольшой диск, сделанный из дерева или слоновой кости, похожий на ткацкий челнок, с выемкой по окружности, по желанию державших его в руках вращался вверх и вниз по шнуру. В Париже распространена была тогда и острая песенка, объяснявшая, почему эта игрушка прозвана была «эмигреткой», т. е. «игрушкой эмигрантов»: «в ней, — говорилось в песенке, — находятся одновременно и колесо и веревка». В комедии Бомарше («Женитьба Фигаро») Фигаро появляется перед публикой с «эмигреткой в руках». В январе 1792 г. Бомарше опубликовал даже в «Chronique de Paris» небольшую сцену, которую он предлагал включить в свою комедию: это был полный политического смысла диалог Фигаро с Бридуазоном, в котором ловкий слуга, играя «эмигреткой», объяснял, что он «хорошо умеет и поднимать вверх и опускать вниз»; впоследствии эта сцена, являвшаяся весьма злободневным откли-

Что касается «столовых часов работы славного Легоу», то комментаторы «Пиковой дамы» ограничиваются на этот раз простейшей и поистине бесполезной справкой, сообщая, что Леруа — «французский часовщик», что и само собой понятно. Почему, однако, он назван «славным»? Неужели это слово оказалось лишним в тексте повести? История французской технической мысли знает двух знаменитых Леруа, отца и сына; оба они были часовщиками, но второй, Леруа-сын, был к тому же прославленным ученым, оставившим солидные труды по механике. Жюльен Леруа-отец (1686—1759) был придворным часовщиком Людовика XV, жил в Версале и прославлен Вольтером как изобретатель, затмивший своими часовыми механизмами английские образцы, считавшиеся в то время лучшими в мире. Пьер Леруа (1717—1785), сын предыдущего, не только продолжал изобретательские труды своего отца (придумав, в частности, настенные часы особой формы со звонким боем), но много занимался открытыми им явлениями аномальности хронометрических измерений; его труды имели важное значение для кораблевождения и военного дела и были увенчаны парижской Академией наук. Мы делаем отсюда вывод, что именно Пьер Леруа, названный «славным», и имеется в виду в «Пиковой даме»; в пушкинское время его классические сочинения по механике и хронометрии должны были быть известны, хотя бы понаслышке, каждому русскому инженеру. Вполне естественным представляется также, что Германну достаточно было бросить беглый взгляд на часы в полутемной комнате, чтобы определить, что это были часы «славного Легоу». Остается теперь представить себе в общих чертах типичный образ петербургского военного инженера начала 30-х годов XIX в., чтобы получить подтверждение правомерности и правдоподобия высказанных выше догадок и толкований.

Д. П. Якубович в своем комментарии к «Пиковой даме» высказал предположение, что, изображая Германа бедным инженерным офицером, живущим в «смирненном своем уголке», Пушкин имел в виду «офицера Главного инженерного училища»,²⁵¹ т. е. школы военных инженеров, основанной в 1819 г. Такой вывод не представляется мне достаточно обоснованным. Несомненно, что для современников Пушкина — читателей «Пиковой дамы» авторское его указание имело совершенно конкретный смысл; поэтому выяснение действительных намерений Пушкина имеет для нас далеко не второстепенное значение.

Известно, что с начала XIX в. военными являлись в России не только инженеры, получившие образование или занимавшие преподавательские должности в Главном инженерном училище.

ком на всеобщее увлечение рулеткой-эмигреткой, была, однако, из комедии исключена. Очень вероятно, что все это было известно и Пушкину, так как в противном случае слова в «Пиковой даме» об игрушках, «изобретенных в конце минувшего столетия», оставались бы вовсе непонятными.

²⁵¹ Пушкин А. Пиковая дама / Редакция текста, статья и комментарий Д. П. Якубовича. Л., 1936, с. 65.

Корпусу инженеров, образованному по указу Александра I в 1809 г., было повелено «быть на положении воинском»,²⁵² а после его преобразования в Корпус путей сообщения он сохранял военный характер, как и образованный при нем Институт корпуса путей сообщения. В положениях об этом Институте 1823 и 1829 г. сделаны были по этому поводу особые оговорки.²⁵³ Институт корпуса путей сообщения представлял собой в эти годы военное учебное заведение на манер кадетских корпусов, в особенности после присоединения к нему (в 1829 г.) Военно-строительного училища, но имел также и особые офицерские классы, по окончании которых лица, производившиеся в поручики, не имели права в течение десяти лет переходить на службу в гражданское ведомство.²⁵⁴

Таким образом, в 20—30-е годы XIX в. все русские инженеры причислялись к составу войск и носили военную форму; они участвовали в военных парадах, имели военные чины, а в случае каких-либо проступков переводились в армейские части. Инженерные офицеры этого времени от офицеров армейских отличались, главным образом, объемом и характером полученного ими образования. Достаточно сказать, что офицеры, кончившие в Институте путей сообщения полный курс наук и получившие чин поручика, «в случае перехода их в последствии времени по расстроенному здоровью или по другим обстоятельствам в гражданскую службу», уравнивались в правах с лицами, «кончившими курс наук в университетах и других высших учебных заведениях».²⁵⁵

В 20—30-х годах как в Главном инженерном училище, так и в Институте путей сообщения учебной части придавалось гораздо больше внимания, чем во всех прежде существовавших у нас инженерных школах. «Общество как бы вдруг пошло быстрыми шагами вперед по различным отраслям знаний, — отмечает историк Главного инженерного училища. — Новые исследования и открытия, принадлежащие к области химии, механики, физики, шли одно за другим. . . , круг деятельности инженера расширился, а вместе с тем он должен был обладать и гораздо большим запасом сведений, чем прежде, чтобы удовлетворять своему назначению. Эта необходимость серьезного образования для инженерного офицера весьма ясно создалась учредителями Инженерного училища при самом его открытии».²⁵⁶ В конце 20-х годов в Главном инженерном училище обращали особое внимание на математику, механику, физику, химию; к предметам специальным относились постройки дорог и мостов, военно-строительное искусство

²⁵² Соколовский Евг. Пятидесятилетие Института и корпуса инженеров путей сообщения, с. VIII.

²⁵³ Там же, с. 27 и 32; Житков С. М. Институт инженеров путей сообщения: Исторический очерк. СПб., 1899, с. 53.

²⁵⁴ Житков С. М. Институт инженеров путей сообщения, с. 57.

²⁵⁵ Там же, с. 54.

²⁵⁶ Максимовский М. Исторический очерк развития Главного инженерного училища: 1819—1869. СПб., 1869, с. 37.

и т. д.²⁵⁷ По физике, которая преподавалась по руководству Н. П. Щеглова, особое внимание обращалось на «атмосферу земли, звук, оптику, магнетизм и электричество».²⁵⁸

Институт путей сообщения в то же самое время, т. е. в конце 20-х—начале 30-х годов, в отношении преподаваемых в нем наук стоял на еще более высокой ступени. В составе его профессоров помимо инженерных офицеров числились виднейшие ученые, например академики В. Я. Бунаковский, М. В. Остроградский и др.²⁵⁹ С 1826 г. Институт издавал собственный научно-технический журнал, ставивший своей целью излагать «занимательные приложения физических и математических наук к инженерному искусству, почерпнутые из изысканий и опытов как членов корпуса, так равно русских и иностранных ученых», а также «представить новые способы, чтоб ознакомиться короче с пространною Россиею».²⁶⁰ В 1831—1832 гг. в Институте два раза в неделю по вечерам читались публичные лекции на такие, например, темы: «Об изобретении пороха», «Образование различных систем гор через поднятие земли», «Построение железных дорог в Англии», «Восстановление некоторых химических веществ синтетически», «Исторический очерк успехов теории чисел» и т. д.²⁶¹ Судя по современному рапорту, «не только молодые офицеры», но и посторонние лица посещали эти лекции, способствовавшие «развитию нового света в науках точных и в их приложениях по инженерной специальности».²⁶²

Один из офицеров, воспитывавшихся в этом Институте в самом начале 30-х годов, А. И. Дельви́г, отмечает в своих воспоминаниях: «Император Николай и великий князь Михаил Павлович очень не любили инженеров путей сообщения, а вследствие этого и заведение, служившее их рассадником. Эта нелюбовь основывалась на том мнении, что из Института выходят ученые, следовательно вольнодумцы. . . При всем видимом их нерасположе-

²⁵⁷ Там же, с. 38.

²⁵⁸ Там же, с. 66.

²⁵⁹ Житков С. М. Институт инженеров путей сообщения, с. 71.

²⁶⁰ Там же, с. 49. — Речь идет о «Журнале путей сообщения»; между 1826—1837 гг. выпущено было 36 его томов. Стоит отметить, что в первом номере «Литературной газеты» (1830, 1 января, с. 7—8) к заметке «Обман зрения в Персии» сделана была следующая характерная редакционная приписка: «...желательно, чтобы кто-либо из гг. инженерных офицеров ... доставил в нашу газету подтверждение или опровержение того, что английские путешественники рассказывают о чудном действии оптического обмана в стране сей».

²⁶¹ Соколовский Евг. Пятидесятилетие Института и корпуса инженеров путей сообщения, с. 38—39; Житков С. М. Институт инженеров путей сообщения, с. 66—68. — Любопытно, что полковник Севастьянов, читавший одну из этих публичных лекций — об успехах начертательной геометрии в России, «просил разрешения говорить по-русски (а не по-французски, — М. А.), с целью ввести в русский язык терминологию науки, до тех пор известной весьма мало в России» (Житков С. М., с. 69).

²⁶² Соколовский Евг. Пятидесятилетие Института и корпуса инженеров путей сообщения, с. 40.

нии к ученым, им было, однако же, очень досадно, что главное инженерное училище, по преподаванию в нем наук, стояло постоянно ниже Института. Сверх того, в то время Институт был единственное заведение, образованное вполне на военную ногу и не подчиненное вполне великому князю Михаилу Павловичу».²⁶³ Думается, что это замечание, сделанное, кстати сказать, молодым инженерным офицером, общавшимся в эти годы с Пушкиным, должно быть учтено при решении вопроса, какого «инженерного офицера» Пушкин изображал в своей повести, которая, как мы знаем из его же дневника, оживленно обсуждалась и при дворе (XII, 324).

Следует, по-видимому, прийти к заключению, что в лице Германа Пушкин изображал не офицера Главного инженерного училища, как предполагал Д. П. Якубович, а инженера Корпуса путей сообщения или, что еще более вероятно, слушателя офицерских классов Института путей сообщения; между прочим, обучавшиеся в этих классах подпоручики и прапорщики имели право жить на частных квартирах и пользовались относительной свободой.²⁶⁴ Пушкин мог также знать, что по существовавшим тогда правилам в Институт могли «поступать на собственное содержание дети купцов, преимущественно иностранного происхождения», и что «первый чин, полученный в Институте, давал права потомственного дворянства».²⁶⁵

Не менее важно для нас и то обстоятельство, что Пушкин хорошо знаком был с целым рядом инженерных офицеров и что к некоторым из них он приглядывался очень внимательно. Около года провел в Инженерном корпусе Н. М. Языков; позже офицером того же корпуса был Э. И. Губер, переводчик «Фауста».²⁶⁶ В годы, непосредственно предшествовавшие созданию «Пиковой дамы», Пушкин близко знал молодого инженерного офицера Андрея Ивановича Дельвига, двоюродного брата поэта. А. И. Дельвиг с 1827 г. учился в Военно-строительном училище, через два года слитом с Институтом путей сообщения, и окончил офицерские классы последнего с чином поручика (в мае 1832 г.), после чего был назначен на действительную службу в Московский округ путей сообщения. Встречи А. И. Дельвига с Пушкиным относятся к 1827—1832 гг. А. И. Дельвиг вспоминал, что Пушкина он увидел впервые в октябре 1827 г.²⁶⁷ «Пушкин, — говорит он, — в дружеском обществе был очень приятен и ко мне с самого первого знакомства очень приветлив».²⁶⁸ В доме у поэта Дельвига, где Андрей Иванович часто бывал, а иногда жил подолгу, он видел друзей Пушкина, близко знал многих из них и находился

²⁶³ Дельвиг А. И. Мои воспоминания. М., 1912, т. I, с. 87.

²⁶⁴ Житков С. М. Институт инженеров путей сообщения, с. 58.

²⁶⁵ Там же, с. 47, 58.

²⁶⁶ Соколовский Евг. Пятидесятилетие Института и корпуса инженеров путей сообщения, с. 141.

²⁶⁷ Дельвиг А. И. Мои воспоминания, т. I, с. 71.

²⁶⁸ Там же, с. 72.

в курсе всех литературных повостей. В пачале мая 1830 г. А. И. Дельви́г надел офицерский мундир и, получив право жить на частной квартире, поселился у своего двоюродного брата. На глазах А. И. Дельви́га родилась «Литературная газета», он посвящен был во многие обстоятельства ее истории, при нем умер Антон Антонович Дельви́г. В последующие годы Андрей Иванович, посещая вечера у П. А. Плетнева, также встречал там Пушкина, но «он не приглашал меня к себе и я у него не бывал».²⁶⁹

Если А. И. Дельви́г мог довольно много рассказать о Пушкине в своих воспоминаниях, то несомненно, что и Пушкин имел возможность присмотреться к этому молодому инженерному офицеру, близкому родственнику одного из его лучших друзей. Речь идет здесь, конечно, не о том, что А. И. Дельви́г был одним из «прототипов» Германа, но подтверждает лишь, что в понятие «инженерный офицер» Пушкин вкладывал вполне конкретное содержание; общаясь с ним, Пушкин мог уловить и удержать в своей памяти черты, типические для его круга и специальности, которые могли стать компонентами для того художественного обобщения, каким сделался герой «Пиковой дамы». В этом смысле «Воспоминания» А. И. Дельви́га, в той их части, где он рассказывает о быте петербургских инженерных офицеров начала 30-х годов, своих сверстников и однокашников, могут, вообще говоря, служить интересным реальным комментарием к пушкинской повести. Нетрудно узнать здесь ту самую житейскую атмосферу и бытовую обстановку, в которой мог бы жить и Герман из «Пиковой дамы». Скромная квартира в доме Колотушкина у Обухова моста, которую А. И. Дельви́г по недостаточности средств нанимал вместе с инженер-подпоручиком Лукиным; игра в карты, несмотря на бережливость и аккуратность рассказчика приводившая иногда к крупным проигрышам; воспоминания об азартной игре не только на квартирах у офицеров, но и в помещении «офицерских классов», усиливавшаяся «немедля по получении квартирных денег»; характерные фигуры главных персонажей этих игр, ставших затем «сильными карточными игроками»; наконец, относящийся к 1831 г. рассказ о явлении покойного А. А. Дельви́га, вскоре после его смерти, другу его Н. В. Левашеву, сопровождаемый оговорками мемуариста, что «по его «Левашева» образу мыслей и характеру подобное видение могло ему пригрезиться менее, чем всякому другому», и «да не подумает читатель, что я легко верю во все чудесное»,²⁷⁰ — рассказ, который мог бы быть известен и Пушкину, — все это чрезвычайно близко к той идейной атмосфере и бытовому укладу, который угадывается и в пушкинской «Пиковой даме» во всем, что характеризует инженера Германа.

Но вместе с тем А. И. Дельви́г был весьма образованным инженером своего времени, хорошим математиком, талантливым

²⁶⁹ Там же, с. 152.

²⁷⁰ Там же, с. 119, 152, 153.

строителем, серьезно интересовавшимся техническими изобретениями своего времени; эта сторона его жизни также не забыта в его «Воспоминаниях». Не мог не учесть этих особенностей русских инженерных офицеров 30-х годов также и Пушкин, безусловно осведомленный и о характере их образования, о тех передовых технических идеях, которые многие из них старались сделать достоянием гласности и широкого общественного обсуждения. Любопытно, что А. И. Дельвиг в тех же своих «Воспоминаниях» весьма благоприятно отзываясь об инженер-майоре Матвее Степановиче Волкове, состоявшем профессором «офицерских классов» Института; лекции его он слушал в начале 30-х годов.²⁷¹ Это был тот самый Волков, который должен был стать сотрудником «Современника» и инженерную рукопись которого Пушкин внимательно читал в конце 1836 г.

7

Историки русского дорожного дела отмечают, что если в первой трети XIX в. в России развитие всех элементов транспортной техники шло медленно, задерживаясь в силу многих причин,²⁷² то с начала 30-х годов эта техника быстрыми шагами двинулась вперед. Крутой подъем наметился тогда сразу во всех областях, где только могла проявить себя новаторская техническая инициатива.

В эту пору все средства путей сообщения у нас не только совершенствовались, но и быстро изменялись. В начале 30-х годов открылось наконец долгожданное шоссе между Москвой и Петербургом; год от года увеличивались пароходные рейсы по водным путям; во второй половине этого десятилетия началось и строительство первых железных дорог. Все это ощутимо меняло общий уклад жизни в столицах и провинции, оживленно обсуждалось в русской печати и не могло не стать в эти же годы достоянием литературы и искусства.

Действительно, в поэзии, в повествовательной литературе, в публицистике 30-х и особенно 40-х годов стали мелькать непривычные и еще не установившиеся технические термины, все чаще начали появляться красноречивые описания в стихах и в прозе езды на пароходах и железных дорогах и связанных с этим новых впечатлений и ощущений, наконец, рассуждения о желательности или нежелательности дальнейших технических нововведений — уже не только на транспорте, но и во многих других сферах практической жизни. Модным становился, в конце концов, вопрос об охватившем все общественные круги «практицизме», о «духе индустриализма» или «техницизма», завладевшем

²⁷¹ Там же, с. 154.

²⁷² Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г. — Исторические записки. М., 1948, т. 25, с. 142.

всеми умам и якобы пагубно сказавшемся и на общественных связях и отношениях и на особых уклонах научной и философской мысли.

Проблема русского технического прогресса заняла довольно видное место в русской публицистике 30—40-х годов; спор по этому поводу, привлечший к себе большое количество участников, быстро разделил их на два враждебных лагеря — защитников и противников этого прогресса. Хотя особенной остроты спор о желательности или ненужности в России дальнейших технических нововведений достиг у нас уже после смерти Пушкина, в начале 40-х годов, но возник он еще при его жизни. Необходимо особо подчеркнуть, что Пушкин не только принял участие в нем при самом возникновении полемики в русской печати, но что он сразу же занял среди спорящих весьма прогрессивную позицию. Для Пушкина, как и для декабристов, а позднее для Белинского, ликвидация русской технической отсталости, сковывавшей развитие производительных сил в стране, была одной из важных задач русской культуры («просвещения» — согласно его словоупотреблению); при этом, с его точки зрения, технический прогресс отнюдь не препятствовал дальнейшему развитию науки, как казалось тогда некоторым недалёковидным русским философам и публицистам, но, напротив, являлся ее естественным и закономерным следствием. Все подобные утверждения в том или ином виде мы найдем в собственных статьях и заметках Пушкина 30-х годов, в редактированных им статьях журнала «Современник», в дружеской и деловой его переписке. Для нас особенно существенно, что все это высказано было Пушкиным уже и раньше в стихах, которые могут показаться нам неожиданными или случайными, если мы не поставим их в прямую связь с данной проблемой в целом.

Спор о техническом прогрессе начался в русской печати с вопроса о развитии транспорта в России; особенную остроту получил он в связи с обсуждением целесообразности строительства в России железных дорог. Пушкин также подошел к этой проблеме с обсуждения злостных в начале 30-х годов вопросов о состоянии русского дорожного дела.

«Путешествие из Москвы в Петербург», начатое в конце 1833 г. и создававшееся с перерывами в последующие годы (1834—1835), было одной из первых публицистических работ Пушкина, в которой он уделил некоторое внимание вопросам русского технического прогресса. Написанное от имени воображаемого лица с оглядкой на «Путешествие» Радищева и содержащее в себе искусно замаскированную защиту этой великой книги, «Путешествие» Пушкина уже по замыслу своему давало не один повод для целого ряда ретроспективно-исторических умозаключений и обобщений. Сопоставляя «век нынешний» и «век минувший», Пушкин приходил к выводам, имевшим большое

принципиальное значение; таково, например, признание им прогрессивности промышленного развития Москвы, признаки которого он сумел разглядеть и оценить по-своему, в полном противоречии с оценкой их дворянской литературой той поры.²⁷³ Естественно поэтому, что уже в первой главе своего «Путешествия» Пушкин сделал несколько выводов относительно технических усовершенствований путей сообщения в России в течение последних десятилетий.

Рассуждая как бы от имени своего воображаемого повествователя, Пушкин выделил в «Путешествии» Радищева несколько таких мест, в которых идет речь о противоречии между технической изобретательностью человеческого ума и гнетущим социальным порядком, сковывающим человеческие силы;²⁷⁴ тем не менее он должен был отметить, и это угадывается между строк, что, вопреки той социальной системе, в которой не произошло еще резких сдвигов, но уже шли глубоко скрытые внутренние процессы, технические изменения и улучшения в практической жизни были налицо. Примечательны уже первые строки пушкинского «Путешествия», характеризующие заметные новшества в русском дорожном деле:

«Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург... Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы» (XI, 243). Далее воображаемый Пушкиным путешественник рассказывает, что, «катясь по гладкому шоссе», которое показалось ему «великолепным», он вспомнил о прежних своих поездках «по старой дороге», и по этому поводу высказывает несколько замечаний технического характера, на которые,

²⁷³ Мейлах Б. С. «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкина. — Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1949, т. VIII, вып. 3, с. 221—222.

²⁷⁴ См., например, приведенную Пушкиным в главе «Шлюзы» цитату из «Путешествия» Радищева (глава «Вышний Волочок»), в которой идет речь о благотельных усилиях тех, кто «сделал реку *руководельною* — и все концы единой области привел в сообщении» (XI, 265—266). Вполне вероятно, что и Радищев, благословлявший «память того, кто, уподобясь природе в ее благодеяниях», осуществил эти гидротехнические работы, и цитировавший его слова Пушкин знали, что строительство более чем трехкилометрового канала со шлюзами между реками Тверцою и Цной у самого Вышневолоцкого водочка начато было по инициативе и повелению Петра I еще в 1703 г. и закончено пять лет спустя (см.: Бернштейн-Коган С. В. Вышневолоцкий водный путь. М., 1946, с. 9). Пушкин не мог не обратить внимания и на последующие строки в той же главе книги Радищева, в которых водный транспорт противопоставлен неудобству сухопутных сообщений в русских условиях: «Римляне строили большие дороги, водоводы, коих прочности и ныне по справедливости удивляются; но о водных сообщениях, каковые есть в Европе, они не имели понятия. Дороги, каковые у римлян бывали, наши не будут никогда; препятствует тому наша долгая зима и сильные морозы, а каналы и без обделки пескоро заровняются» (Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. I, с. 323).

между прочим, ссылаются историки русского дорожного дела.²⁷⁵ Однако в пушкинской литературе именно вступительная глава «Путешествия» («Шоссе») оставляется обычно без всяких комментариев к этим самым суждениям. Стоит в связи с этим отметить, что во вступительной главе каждое слово сказано Пушкиным с умыслом и строгим расчетом, включая даже проставленную здесь вымышленную дату. Октябрь, безусловно, намеренно выбран для описываемой поездки как пора ненастья и распутицы; свойства шоссе и удобства путешествия описаны им с подчеркнутой похвалой, тем более очевидной, что она находится в явном противоречии с другими известными нам мыслями Пушкина по этому поводу, которые он не предназначал к печати.²⁷⁶ Для нас небезразлично и то обстоятельство, что Пушкину, по-видимому, была хорошо известна история строительства шоссе между Москвой и Петербургом²⁷⁷ и организации регулярного движения «поспешных дилижансов» — эта затея считалась первоначально одной из аристократических причуд и некоторое время оживленно обсуждалась в Москве и Петербурге.²⁷⁸

²⁷⁵ Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 141—142.

²⁷⁶ За год перед тем, рассказывая о своей поездке по этой самой дороге в письме к жене (от 22 сентября 1832 г.), Пушкин судил обо всем гораздо более строго и, между прочим, заметил: «Велосифер, по-русски Поспешный дилижанс, несмотря на плеоназм, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак» (XV, 30). Интересно отметить употребление Пушкиным иностранного технического термина («велосифер»), принятого в то время во Франции, но у нас не распространенного. «Велосифером» называлась тогда «общественная карета поспешных сообщений» или «легкая и на ходу быстрая коляска», как поясняет «Всеобщий француско-русский словарь» И. Татищева (3-е изд. М., 1844, т. II, с. 740; в предшествующем втором издании этого словаря 1832 г. данное слово еще отсутствует). Отметим, однако, что слово «велосифер» встретилось мне в книге путевых писем, изданных в том же 1832 г., когда его употребил и Пушкин (см.: [Горихвостов Д. П.] Записки россиянина, путешествовавшего по Европе с 1824 по 1827 г. М., 1832, кн. II, с. 247): «Ехав в поспешном дилижансе, vélocifère, мы сменили лошадей один только раз».

²⁷⁷ Пушкин упоминает, что «великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра», а «дилижансы учреждены обществом частных людей» (XI, 244). Действительно, первое шоссе между Москвой и Петербургом строилось с 1816 г. и открыто только в 1833 г.; это было крупное событие, но переставшее служить темой для оживленных бесед в течение нескольких лет, тем более что даже к концу 30-х гг. в пределах тогдашней Российской империи «было устроено лишь 780 км посейных дорог, преимущественно в Царстве Польском» (Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 142).

²⁷⁸ Первая в России крупная акционерная компания по организации пассажирских рейсов в дилижансах между Москвой и Петербургом учреждена была в 1820 г. Пушкин не мог не знать, что во главе этого «общества частных людей» стояли представители русской знати, и прежде всего М. С. Воронцов; другими акционерами были А. И. Татищев, А. С. Меншиков, А. Лобанов-Ростовский и др. Н. И. Тургенев писал брату Сергею Ивановичу 30 ноября 1820 г.: «Дилижансы, по акциям графом Воронцовым и другими учрежденные, устроены. На сей неделе отправилась первая пара дилижанса в Москву. Я намерен воспользоваться сим учреждением». В дальнейших письмах Н. И. Тургенева дано и описание совершен-

Высказанная Пушкиным здесь по этому же поводу мысль, что «у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения» (XI, 244), могла, однако, дать повод к криво толкам и совершенно неправильному пониманию его истинных намерений. Очевидно, он вовсе не стремился здесь к тому, чтобы хвалить правительственную инициативу в области технических усовершенствований и вместе с тем давать нечто вроде апологии самодержавия. Что на этот раз мысли самого Пушкина и его воображаемого путешественника, от имени которого он вел рассказ, не совпадали, можно заключить из сопоставления «Путешествия из Москвы в Петербург» с некоторыми более ранними произведениями Пушкина, в которых он касается вопроса о состоянии русского транспорта и возможных перспектив его дальнейшего развития, в особенности из XXXIII строфы седьмой главы «Евгения Онегина», представляющей своего рода параллель к главе «Шоссе» «Путешествия». Однако и в истории возникновения указанной строфы есть некоторые, еще не замеченные подробности, которые интересно вспомнить, выясняя действительное отношение Пушкина к русскому техническому прогрессу его времени. Объяснение Н. Л. Бродского, что будто бы в этой строфе «Пушкин скептически отнесся к работам местных властей, отодвинув улучшение почтовых дорог на 500 лет»,²⁷⁹ едва ли соответствует истине и, во всяком случае, не передает действительной направленности мысли поэта.

«Дорожная тема», как известно, была излюбленной в русской поэзии. Пушкин откликался на нее не раз в ряде своих стихотворений от «Телеги жизни» (1823) до «Дорожных жалоб» (1829), не менее, чем Пушкина, привлекала она также П. А. Вяземского. Начиная от стихотворения «Станция» (1825—1828), в котором, между прочим, сопоставлены путешествия по польским шоссе и отечественным ухабыстым дорогам, он посвятил езде на русских дорогах целый стихотворный цикл; сюда входят: «Юляска. Отрывки из путешествия в стихах» (1826), «Зимние карикатуры. Отрывки из Журнала зимней поездки в степных губер-

пой им поездки; он утверждал, что «охотников ездить в дилижансе очень много: записываются за две недели, чтобы иметь место», и что дела компании, действительно, находились в цветущем состоянии, тем не менее в письме к братьям от 3 января 1821 г. С. И. Тургенев задавался вопросом, «удержатся ли дилижансы?» и прибавлял: «Я боюсь наших аристократических идей, которые нигде сильнее не являются, как на почтовых дворах» (Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936, с. 322, 325, 444, 487). Действительность, однако, не оправдала этих pessimистических прогнозов: рейсы дилижансов прочно вошли в быт жителей Москвы и Петербурга, в особенности после открытия шоссе; впрочем, участники подобного рода компаний стали у нас рьяными противниками строительства железных дорог, в их числе, например, знакомец Пушкина Н. И. Отрешков, получивший в марте 1830 г. привилегию «на учреждение дилижансовых липеек под названием омнибус» для пригородных сообщений в Петербурге (см.: Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 143).

²⁷⁹ Бродский Н. Л. Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина, с. 264

ниях» (1828), «Дорожная дума» (1830), другое стихотворение под тем же заглавием (1833), «Тройка» (1834) и др. Характерно, что большинство этих стихотворений относится именно к тем годам, когда у нас особенно обострился вопрос об улучшении средств сообщения, и что в большинстве из них своеобразно отразились назревшие в то время транспортно-технические проблемы.

Пушкин хорошо знал эти стихотворения. Из стихотворения «Станция» он взял двадцать стихов и поместил их в примечание 42 к XXXIV строфе седьмой главы «Евгения Онегина» (к стиху: «Теперь у нас дороги плохи») и, кроме того, эпиграф к «Станционному смотрителю». О «Зимних карикатурах» (состоявших из четырех пьес: «Русская луна», «Кибитка», «Метель», «Ухабы. Обозы») Пушкин писал Вяземскому 2 января 1831 г.: «Стихи твои прелесть... Обозы, поросята и бригадир удивительно забавны» (XIV, 139).²⁸⁰

И. Н. Розанов, обративший внимание на ряд случаев творческих составлений Пушкина с Вяземским и упомянувший в связи с этим о цитате из «Станции» в «Евгении Онегине»,²⁸¹ не заметил, однако, что не только первый стих XXXIV строфы седьмой главы романа Пушкина, но и вся предшествующая строфа представляет собой своеобразную поэтическую реплику Пушкина на стихотворения Вяземского «Станция» и «Зимние карикатуры».

Напомним, что в «Станции», с похвалой отзываясь об удобстве езды по шоссейным дорогам Польши, Вяземский высказывает весьма критическое отношение к отечественным путям сообщений:

Дороги наши сад для глаз:
Дерева, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль — проезда нет подчас.

Балагура в том же ироническом тоне, Вяземский старается убедить читателя, что русские дороги хороши только в зимнюю стужу или знойным летом, когда вместо дорожных мастеров сама природа заботится о бедных путешественниках. Дороги пригодны для проезда

В двух только случаях: когда
Наш *Мак-Адам*, или *Мак-Ева* —
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег.

²⁸⁰ Рукопись «Зимних карикатур» Вяземский прислал Пушкину, предназначая их в альманах М. А. Максимова; Пушкин сначала было воспротивился этому, собиравшись отослать ее Дельвигу, но затем уступил настоянию автора. Максимова писал Вяземскому (9 января 1831 г.): «Благодарю вас покорнейше за ваш поэтический подарок моей *Деннице*, который сейчас получил от Пушкина: в вашей „Кибитке“ и по раздольным ухабам накатаешься досыта!» (Старина и новизна, кн. IV. СПб., 1901, с. 188, 213; см. также письмо П. А. Вяземского к Максимова от 12 января того же года; Пономарев С. И. Памяти князя П. А. Вяземского, с. 154)

²⁸¹ Розанов И. Н. Кн. Вяземский и Пушкин. — Беседы. Сборник Общества истории литературы в Москве. М., 1915, т. I, с. 64 сл.

Путь окует чугуном льдистым
И запылит ранний снег
Следы ее песком пушистым,
Или когда поля проймет
Такая знойная засуха,
Что через лужу может вброд
Пройти, глаза зажмура, муха.

Но Вяземский не теряет надежды на будущее:

Что ж делать? Время есть всему:
Гражданству, роскоши, уму.
Рукой степенной ход размерен:
Итог в успехах наших верен...

Исполнятся судьбы земные,
И мы не будем без дорог.²⁸²

Публикуя это стихотворение в альманахе «Подснежник», Вяземский снабдил его длинным примечанием, в котором писал, между прочим: «В прозе я был бы справедливее к русским дорогам; сказал бы, что в некоторых губерниях они и теперь уже улучшаются, что петербургское шоссе утешительней государственной просвещенной роскоши и проч.». Здесь же по поводу наименования им холодной русской зимы «нашим Мак-Адамом или Мак-Евой» Вяземский сделал следующие разъяснения: «По имени изобретателя называется *Макадам*, или по английскому произношению *Мекедем*, новое устройство битой дороги, ныне в большом употреблении в Англии как в городах, так и по трактам».²⁸³

Вяземский, следовательно, не только иронизировал над тем, что роль усовершенствователя путей берет на себя русский мороз,²⁸⁴ но и обнаружил при этом некоторое знакомство с техни-

²⁸² Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1958, с. 175—176 (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.).

²⁸³ Подснежник. СПб., 1829, с. 46, 47.

²⁸⁴ Речь идет об английском инженере Джоне Макадаме (John L. Macadam или Mc Adam, 1756—1836), авторе книги «A Practical Essay on the Scientific Repair and Preservation of Roads» (1819) и заслужившего особую популярность и много раз переиздававшегося трактата «Present State of Road Making» (1820). В 1827 г. Макадам получил должность главного начальника английских дорог. Фамилия изобретателя дала английскому словарю термин *macadam* (и глагол *macadamize*), вошедший в обиходную речь в значении «щебень» и «шоссейная дорога» и удержавшийся доныне во всеобщем употреблении (см.: Partridge Eric. Name into Word. Proper names that have become common property, 2-d ed. London, 1950, p. 260). О морозе, улучшавшем русские дороги, Вяземский много раз упоминал и впоследствии. См., например, его позднее стихотворение «Маслица на чужой стороне» (1853):

Нам не страшен снег суровый
С снегом — батюшка-мороз
Наш природный, наш дешевый
Пароход и паровоз.

(Вяземский П. А.
Стихотворения, с. 296)

ческой стороной дела. Собственная его острота пасчет Мак-Адама Вяземскому, очевидно, нравилась; однако, когда впоследствии он захотел было повторить ее по тому же поводу в стихотворении «Русские проселки», вмешалась цензура, усмотревшая в этом игривом переосмыслении шотландской фамилии богохульственный намек.²⁸⁵ Слово «макадам», давшее Вяземскому повод для шутки (и употребленное им в стихотворении для того, чтобы избежать другого иностранного термина «шоссе», считавшегося еще в то время непоэтическим), в русском языке не привилось.²⁸⁶ Характерно, однако, что тому же Вяземскому еще и в начале 60-х годов пришлось воевать за право гражданства в русском словаре и термина «шоссе», против которого ополчались тогда такие пуристы, как М. П. Погодин.²⁸⁷

По-видимому, именно это стихотворение пародировал В. С. Курочкин:

Не знаю сам зачем, к чему,
Но я игриво замечтался
Про нашу *матушку-зиму*.
Занявшись *батюшкой-морозом*,
Его сравнил я с паровозом...

(Курочкин В. С. Собрание
стихотворений.) [М.], 1947,
с. 145—146 (Библиотека поэта.
Большая серия)).

²⁸⁵ Стихотворение «Русские проселки» предназначалось для опубликования в «Москвитяине», но, как видно из письма М. П. Погодина к П. А. Вяземскому от 4 января 1842 г., цензор не пропустил нескольких стихов и, в частности, «просил уничтожить» Мак-Адама (Старина и новизна, кн. IV, с. 35). Стихотворение действительно появилось в «Москвитяине» (1842, ч. I, № 2, с. 347—349) с пропуском двух стихов (после слов: «Род человеческий всегда ездил в дормёзах»), которые восстановлены были только в «Полном собрании сочинений» П. А. Вяземского (т. IV, СПб., 1880, с. 256):

И что, пожалуй, наш родоначальник сам
Не кто иной, как всем известный Мак-Адам.

(см. также: Вяземский П. А. Стихотворения, с. 268).

²⁸⁶ Еще В. П. Гурьев (Об учреждении торцовых дорог и сухопутных пароходов в России посредством компании. СПб., 1836) отмечал, что «Мак-Адам оставил свое имя изобретению» и что «в Англии и Франции из его имени сделали глагол *Mc Adamize*, *mac-adamiser*, макадамить дорогу, т. е. посыпать ее разбитым камнем по системе Мак-Адама. Наши русские шоссе построены по его способу» (с. 62).

²⁸⁷ М. П. Погодин, по свидетельству С. И. Пonomарева, «терпеть не мог иностранных слов, даже общезвестных, вроде *факта*, *шоссе*»; еще в статье «О злоупотреблениях русского языка», напечатанной в газете «Русский» (1868, 29 января, с. 139—140), М. П. Погодин предлагал писать «замостить» вместо «варварского слова шоссе». Сделав выписку из этой статьи в своей записной книжке, Вяземский занес сюда и целое рассуждение на эту тему: «Варварское или нет, по все-таки это слово имеет свое определенное значение, которое возбуждает и определенное понятие, а именно: понятие о дороге, убитой мелким камнем и песком. В *Академическом Словаре* переводится оно на слово: *укап... Мостовая, мост,*

Большую выдержку из «Станции» Вяземского, как раз те стихи, в которых идет речь о природном русском «макадаме», Пушкин поместил в примечании к XXXIV строфе седьмой главы «Евгения Онегина», но вспомнил он о них раньше, создавая предшествующие строфы, где описан отъезд Татьяны в Москву именно по «зимнему пути». Непосредственное отношение к стихотворению Вяземского имеет вся XXXIII строфа той же главы, в которой, словно состязаясь с мыслью Вяземского и, во всяком случае, исходя из его же скептических предпосылок, Пушкин развертывает поразительную и не имеющую себе аналогий в русской поэзии тех лет картину, которая не может не остановить на себе пристального внимания, особенно в наши дни:

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Современем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги верно
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды...

(VI, 153)

Ироническая концовка строфы («И заведет крещеный мир / На каждой станции трактир») несколько не ослабляет пафоса высказанных здесь чаяний, вдохновенного гимна грядущему русскому техническому прогрессу. Вялой сатирической мысли Вяземского — «Исполняются судьбы земные, / И мы не будем без дорог» — Пушкин противопоставляет широкую перспективу общественного благоустройства и более совершенной транспортной техники; «судьбе» у Вяземского здесь явно противостоит «просвещение», как и остроумам Вяземского насчет технической терминологии — совершенно ясное представление о безграничных возможностях дерзаний человеческого ума; скептическая улыбка Пушкина относится только к сроку, когда это видение будущего сможет воплотиться в жизнь, по условиям, при которых станет возможна реализация этой технической утопии, для него бесспорны:

Когда благо просвещенью
Отдвинем более границ...

Нас не могут не интересовать источники этих прозрений Пушкина, этой его попытки заглянуть в отдаленное, как ему казалось, будущее. Есть основания предполагать, что XXXIII строфа явля-

мостки ничего не имеют сходного с *шоссе*» (Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. X, с. 263—264; Пономарев С. И. Памяти князя П. А. Вяземского, с. 171, примеч. 1).

ется репликой не только на «Станцию» Вяземского, но имеет в виду и его «Зимние карикатуры», где также идет речь о русских дорогах и высказываются скептические суждения по поводу той книги, на которую глухо намекнул и Пушкин, говоря о «философических таблицах»: современники Пушкина и Вяземского знали о ней хорошо, и намеки были понятны читателям «Евгения Онегина»; впоследствии, однако, она забылась, и смысл сделанных на нее указаний от нас ускользает, требуя особых пояснений.

Б. В. Томашевский уже определил, на что намекал Пушкин, говоря о «философических таблицах»: «Судя по рукописи, Пушкин имел в виду книгу французского статистика Шарля Дюпена „Производительные и торговые силы Франции“, 1827, где даны сравнительные статистические таблицы, показывающие экономику европейских государств, в том числе и России».²⁸⁸

В черновых набросках указанной строфы «Евгения Онегина» мы действительно находим имя Дюпена как автора «таблиц», самое определение которых, однако, вызвало затруднения у Пушкина. Первоначально в соответствующей строке вместо «философических» стояло «полистатических», «геостатических»; затем эти наименования были оставлены, так как они укладывались в стих только с усечением, вызывавшим смысловую ошибку (следовало «полистатистических» и «геостатистических», т. е. «всеобщих статистических» и «землеописательно-статистически»). Вместе с тем пришлось отказаться от смелой попытки ввести в поэтический словарь «Евгения Онегина» многосложный и неупотребительный в то время научный термин; Пушкин заменил его более неопределенным и расплывчатым, представлявшим, однако, то преимущество, что он имел легкий иронический оттенок (ср. тот же эпитет в «Евгении Онегине»: «философической пустыне»; VI, 118). Отброшены были также попытки назвать имя Дюпена («Dupin сравнительных таблиц», «Дюпеновых таблиц»; VI, 446) по основаниям, о которых можно только догадываться: возможно, что Пушкин из осторожности не хотел прямо называть автора книги, имевшей в России довольно примечательную судьбу.

Шарль Дюпен (1784—1873), «геометр, инженер и статистик», как его рекомендует русский «Энциклопедический лексикон», «всегда усердно старался о полезном применении математических наук в гражданской службе».²⁸⁹ Его многочисленные геометрические исследования, труды по кораблестроению, книги по прикладной механике и т. д. не обращали на себя особого внимания русских читателей; однако его большой двухтомный труд «Forces productives et commerciales de la France» (Paris, 1827) вызвал восторженную рецензию Н. Полевого в «Московском телеграфе». Полевой называл этот труд Дюпена «лучшей и полезнейшей книгой, появившейся в 1827 г.», и так излагал основные ее задачи:

²⁸⁸ См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.; Л., 1949, т. V, с. 589.

²⁸⁹ Энциклопедический лексикон, т. XVII, с. 403—404.

«У него <Дюпена> математика, статистика и политическая экономика, в безразличном соединении, составляют науку счастья общественного.

Человечество идет к совершенству, несмотря на препятствия, которые неминуемо уничтожаются временем. Совершенствование человека является нам в улучшении нравов, просвещении ума и увеличении вещественного богатства. Все сии три предмета для полного успеха требуют взаимной помощи и один без другого существовать не могут или будут несовершенны. В усовершенствовании общественном все звания граждан, без исключения, должны участвовать.

Вот основные идеи, которые раскрывает Дюпен в красноречивом изложении своем *производящих сил Франции*. Введение к книге его, где объясняет он необходимость и постепенность усовершенствования, было издано в прошлом году, и с того времени *восемь* изданий сряду явились во Франции.²⁹⁰

Н. Полевой и позднее с таким же, по его словам, «благодарным удивлением» отзывался о гении «благодетельного Дюпена» и о его «великом творении», изъявляя желание видеть последнее на русском языке,²⁹¹ а в 1830 г. писал: «Пожелаем, чтобы Дюпен явился теперь и у нас в России. Ему сыщется много дела, найдется и много людей, могущих понимать его».²⁹² В 1831 г. эта книга Дюпена была издана в Москве в переводе Н. И. Розанова,²⁹³ переводчик сам засвидетельствовал впоследствии, что этот перевод был выполнен им по мысли Н. А. Полевого, высказавшего ему сожаление, что по недосугу он не может сделать его сам.²⁹⁴

²⁹⁰ Московский телеграф, 1828, с. XXII, с. 259, 260—261.

²⁹¹ Там же, 1829, ч. XXIX, с. 225, 226; 1831, ч. XXXVIII, с. 98. — Любопытно, что Полевой регулярно и безвозмездно посылал Шарлю Дюпену в Париж книжки «Московского телеграфа» (Полевой Н. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов, с. 47).

²⁹² Московский телеграф, 1830, ч. XXXIV, с. 229—230.

²⁹³ Дюпен Карл. О производительных и торговых силах Франции. М., 1831. — Переводчик скрылся за инициалами Н. Р., выставленными лишь после предисловия («От переводчика», с. V—XXXV). Рецензия на это издание в «Московском телеграфе» (1831, ч. XXXVIII, с. 97—99) принадлежит Н. Полевому (ср.: Березина В. Г. Н. А. Полевой в «Московском телеграфе». — Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол., № 173, вып. 20, 1954, с. 111—112, 126, 138). Рассказывая о парижском салоне Сегюра, «умного и милого старика», у которого «ежедневно собирается все отличнейшее между литераторов и публицистов», С. А. Соболевский писал к И. В. Киреевскому (25 декабря 1829 г.): «Как вскочит Полевой, когда он узнает, что я тут ежедневно вижу Charles Dupin!!!» (см.: Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. . ., 1928, с. 26). Позднее о своем знакомстве с Ш. Дюпенем в Париже писал Н. С. Всеволожский (Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу. . . в Италию, Южную Францию и Париж в 1836—1837 гг. М., 1839, т. II, с. 503). О бароне Дюпене, который определил «арифметическими выкладками ум, способности, нравственность и образованность отечества», писал О. И. Сенковский (Собр. соч. СПб., 1858, т. I, с. 481).

²⁹⁴ Н. А. Полевой, рассказывает Н. И. Розанов, «часто говорил мне о превосходном сочинении барона Дюпена и сожалел, что самому ему некогда, а между сотрудниками по изданию журнала не было такого, кто смог бы перевести на русский язык книгу, в которой талантливый

Математик и инженер, Дюпен не отличался особой самостоятельностью мысли во всем, что относилось к социальным проблемам и экономическим теориям, и был полон буржуазно-либеральных иллюзий, частично заимствованных им у английских публицистов той поры. Однако серьезной общественной заслугой Дюпена была его активная агитация за всеобщее обучение (к указанной книге он, между прочим, приложил интересную карту распространения грамотности во Франции по департаментам),²⁹⁵ да и собранные им обширные статистические данные представляют и теперь еще несомненный исторический интерес.

Русский переводчик книги Дюпена, Н. И. Розанов, называет ее «новой теорией сравнительной статистики государства, в коей рассматривается сила и могущество оных по нравственному и вещественному богатству народа», и так разъясняет основной действенный смысл переведенного им труда: «Сие обозрение заключает в себе не одни вещественные предметы произведений: народонаселение, объем границ, земледелие, успехи фабрик и разных изделий, механических и химических искусств, ... сочинитель, соображая следствия двенадцатилетней гражданской деятельности (с 1814 по 1827 г.), представляет математические доказательства, что вещественные силы и богатство народа не только нераздельны с нравственным его положением, но суть следствие одного, что всякое положительное знание окончательным образом обращается в пользу промышленности и торговли, следовательно утверждает могущество и богатство народа; по что за всем тем успехи знаний зависят от общности печального обучения грамоте и счету...».²⁹⁶

Эти слова дают довольно ясное представление о том, как воспринималась книга Дюпена ее русскими современниками и что

Дюпен, известный по составленным им курсам прикладной геометрии и механики, с редким искусством умел оживить холодный труп статистических цифр». Когда Розанов кончил перевод «Введения» к этой книге, состоялась чтение рукописи, в котором присутствовали братья Полевые, П. М. Строев, М. А. Максимович, М. П. Розберг, М. Н. Лихонин и др.; это происходило в конце 1829 или самом начале 1830 г., так как 3 апреля 1830 г. датировано письмо М. П. Розберга к Н. И. Розанову (с упоминанием Пушкина и седьмой главы «Евгения Онегина») из Одессы, куда Розберг переехал на жительство (Русский архив, 1900, кн. II, с. 199—200; Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, ч. VII, с. 345—347). Перевод всей книги Дюпена напечатан был на казенный счет. «В продолжение многих лет, — прибавляет Н. И. Розанов в тех же своих воспоминаниях, — в малуфактурном совете г. Москвы, в котором он состоял секретарем» Дюпен в переводе был пастольною книгой, и, в случае каких-либо общих мер правительства по части промышленности и торговли, председатель совета всегда бывало заглядывает сперва, нет ли в книге Дюпена суждения о предполагаемом предмете» (Розанов Н. И. Воспоминания о Д. Велланском. — Русский вестник, 1867, ноябрь, с. 123—124). О Н. И. Розанове и переводе им книги Дюпена см. также: Бобров Е. Философия в России, вып. II, с. 244—255.

²⁹⁵ Эта карта («Carte figurative de l'instruction publique de la France») приложена ко второму тому.

²⁹⁶ См.: Дюпен Карл. О производительных и торговых силах Франции, см. V, X, XI, XII («От переводчика»).

они считали в ней основным.²⁹⁷ Несомненно, что «расчисленные философических таблиц», на которые намекал Пушкин, и в его понимании относились не столько к «улучшению шоссеиных до-рог», как предполагал Н. Л. Бродский, сколько к тому времени, когда у нас наконец будут «раздвинуты» границы «благого просвещения». Пессимистические прогнозы и горькие расчеты Пушкина относятся не к перспективе русского технического процветания — картину будущего он рисует бодро и уверенно, — а к его ожиданиям более широких прав, которые когда-нибудь, со временем получит у нас «просвещение» — в том специфическом смысле, в котором Пушкин употреблял это слово в те годы. Стоит сопоставить эту мысль с уже приводившейся выше цитатой из его «Путешествия» («у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения»), чтобы увидеть, что в последнем случае Пушкин лукавит или высказывает чужую мысль. Так думал его воображаемый путешественник, но не он сам, собственные же его воззрения по этому поводу недвусмысленно выражены им в XXXIII строфе «Евгения Онегина»; набрасывая ее начерно и вспомнив о Дюпене, он с несомненной досадой говорит, что потребуются много времени на то, чтобы пали преграды, сковывающие возможное, осуществимое развитие русской культуры, распространение ее по всей стране, во всех сферах практической деятельности. От современников Пушкина не требовалось и особой сообразительности, чтобы догадаться, в чем видел он эти преграды и от кого со столь слабой надеждой и в столь отдаленном будущем он ждал их устранения. В правительственных сферах, по крайней мере, подобные иронические памеки понимали хорошо, порой даже слишком прямолинейно. Прочтя статью И. В. Киреевского «Деятельный век» в первой книжке «Европейца», Николай I пришел в сильное негодование. «Его величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о высшей политике... — сообщил Бенкендорф министру народного просвещения 7 февраля 1832 г., — стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная середина* не что

²⁹⁷ Отметим, что в восприятии молодого Герцена книга Дюпена была картиной постепенного развития и улучшения внешних форм и материального быта европейских обществ. В отрывке критической статьи начала 30-х гг. он писал: «История уже показывает, насколько мы ушли, но еще есть остатки того века, и это естественно; исчезнут они мало-помалу, дни их уже высчитал Дюпень, и тогда явится век новый или, лучше, начнется вполне» (Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954, т. I, с. 26; в этом издании почему-то разъяснено, что Герцен имеет в виду Андре Мари Жака Жака Дюпена (1783—1868), «французского адвоката и политического деятеля» (с. 547), тогда как не подлежит никакому сомнению, что Герцен говорит о «Forces productives» Шарля Дюпена, что и отмечено в «Литературном архиве» (т. III, с. 41), где этот отрывок Герцена напечатан впервые).

иное, как *конституция*».²⁹⁸ Таким образом, слово «просвещение» становилось в те годы опасным или подозрительным термином в некоторых словосочетаниях: недаром реакционная журналистика всячески старалась истолковать это слово в весьма ограничительном смысле.²⁹⁹ Специальные разъяснения о значении русских синонимических слов «просвещение», «образованность», «гражданственность» в сопоставлении с французским *civilisation* (еще не вошедшим в русский словарь) сделал и Н. И. Розанов во введении к русскому изданию книги Дюпена.³⁰⁰

Отметим, что Пушкин в XXXIII строфе «Евгения Онегина», как и Вяземский в «Зимних карикатурах», мог иметь в виду только оригинал книги Дюпена, а не ее русский перевод, появившийся позже; однако оба они, несомненно, уже знали о пропаганде этого труда, которую развернул Н. А. Полевой на страницах «Московского телеграфа», и это могло усилить их настроенное отношение к Дюпену. Кстати сказать, сравнительно с подлинником русский перевод сильно сокращен, и в последнем почти отсутствуют статистические таблицы, на которые ссылается Пушкин;³⁰¹ но и в оригинале нет такой таблицы, в которой сопо-

²⁹⁸ См.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908, с. 73; Русская старина, 1903, февраль, т. 113, с. 314—315.

²⁹⁹ В статье С. Усова «Просвещение и образованность», напечатанной в «Северной пчеле» (1826, 2 февраля), сделана была одна из ранних попыток разобраться в значении этих терминов: «...как часто употребляют совсем некстати сии слова!.. как часто просвещенный ставится наряду с образованным!.. — замечает автор и предлагает такое их истолкование, — просвещение есть необходимость для государственного благосостояния, а образованность только условное приличие в обществе и кругах его». В 40-е годы С. Бурачок предложил свое истолкование «новых слов» — «просвещение, образованность, гражданственность» (Маяк, 1840, ч. III, с. 80—81, примечание), т. е. собственно их «новых» значений, устанавливавшихся в общественном употреблении, поскольку эти слова стояли даже в подзаголовке этого реакционного журнала, вызывая иронические кривотолки; реплику на критические замечания Бурачка подал и Ф. Булгарин («Северная пчела», 1840, 23 апреля, с. 354—255; 24 апреля, с. 358). Характерно, что подобные упражнения в области русской синонимии привели к полной неразберихе. «Мы повторяем теперь еще бессмысленное слово «просвещение», — писал Гоголь. — Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке; оно только у нас...» и т. д. (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 285).

³⁰⁰ Дюпен Карл. О производительных и торговых силах Франции, с. XX—XXII («От переводчика»). — Н. И. Розанов замечал здесь, между прочим, что «ни образованность, ни просвещение не определяют того общественного состояния, какое должно понимать под названием гражданственности», слова, которым он перевел часто встречающееся у Дюпена *civilisation*. «Образованность, — по мнению переводчика, — представляет внешние стороны нас и общества: обычаи, искусства, поступки, одним словом, все изящное в произведениях и наших отношениях к другим. Просвещение, напротив, выражает внутренние качества человеческого ума, озаренного светильником знаний: нравы, понятия, науки, все истинное. Но ни та, ни другое, порознь, не может быть исключительно достоянием каждого человека, ни целого общества», и т. д.

³⁰¹ Два больших тома оригинала «*Forces productives*» в русском переводе превратились в одну книгу небольшого формата; некоторые сокра-

ставлялись бы транспортные средства или особенности дорожных сообщений различных государств.

Возможно, что Пушкин видел «Дюпеновы таблицы» и держал в руках эту книгу; однако нам представляется правдоподобным, что мысль о них возникла у Пушкина при работе над XXXIII строфой в связи с «Зимними карикатурами» Вяземского, где труд Дюпена «О производительных и торговых силах Франции» не только упомянут, но и является поводом для остроумных и насмешливых lamentаций на ту же дорожную тему, что и в его «Станции». Как раз в том разделе «Зимних карикатур» («Ухабы. Обозы»), которые показались Пушкину «удивительно забавными», есть две строфы, посвященные рассуждению о качестве русских зимних дорог в связи с теориями Дюпена:

Хозяйство, урожай, плоды земных работ,
В народном бюджете вы светлые итоги,
Вы капитал земли стремите в оборот,
Но жаль, что портите вы зимние дороги.
На креслах у огня, не хуже чем Дюпень,
Движенья сил земных я радуюсь избытку;
Но рад я проклинать, как попаду в кибитку,
Труды, промышленность и пользы деревень.³⁰²

Сатирическая соль этих стихов почти ускользает от современного нам читателя, но современники Пушкина и Вяземского легко понимали весь ход его мысли. «Движенья сил земных» — это и есть *forces productives*, взятые непосредственно из заглавия книги Дюпена, и ее же, взятую в целом, имеют в виду слова: «плоды земных работ», «народный бюджет», «капитал земли». Некоторая ирония в мысли Вяземского заключается в том, что он теоретически готов приветствовать развитие промышленности и торговли, стоящих, по учению Дюпена, в прямой зависимости от сельскохозяйственной продуктивности, но не эта ли самая продуктивность, пускающая в оборот «капитал земли», рассуждает он, наносит реальный вред русским дорогам? —

Покажется декабрь — и тысяча обозов
Из пристаней степных пойдут за барышом,
И путь, уравненный от снега и морозов,
Начнут коверкать непутем, —³⁰³

щения и переделки вызваны были, по-видимому, цензурными опасениями переводчика, хотя и в общем ходе рассуждений Дюпена, и в его замечаниях о России не было, собственно, никаких слишком «крамольных» мыслей. В первом томе Дюпен вводит, например, сравнительную таблицу увеличения народонаселения в семи европейских государствах (с. 35); в русском переводе стоит в шести, так как данные о России выключены. Некоторые исправления переводчика имели, однако, менее безобидный характер. В переводе, например, говорится: «Во Франции нет тридцати двух миллионов жителей; в России их более сорока шести; но между тем кто бы подумал, что сила и богатство России в полтора раза значительнее силы и богатства Франции...» (с. 4—5); между тем, исходя из тех же цифр, Дюпен утверждает в оригинале нечто совсем обратное.³⁰² Вяземский П. А. Стихотворения, с. 213.

³⁰³ Там же, с. 213—214.

и горе тогда путешественнику, степная кибитка которого, подобно ладье, пыряет между хребтами замерзших волн этого снежного океана!

Вспомнив эти стихи и уподобления Вяземского, Пушкин вспомнил также и упомянутого Вяземским Дюпена; так представляется нам ассоциативный ход его мысли в момент работы над XXXIII строфой. Но если в ее текст вошли этим путем «филологические таблицы», то дальнейшие пути мысли Пушкина и Вяземского в этом очередном их «творческом состязании» резко разошлись. Юмористические метафоры Вяземского отзываются ворчливым брюзжаьем, которое распространяется не только на труд Дюпена, но и на русскую действительность: он «рад проклинать» «труды, промысленность и пользы деревень». Легкая ирония, которая у Пушкина предвзвешивает и завершает развернутое им в лапидарных стихах и поразительное по своей поэтической силе видение будущего, напротив того, лишена всяких личных мотивов; поэтому и его картина полна света и веры в грядущую техническую мощь и умелую изобретательность «просвещенного» русского народа. Внимательный анализ черновых вариантов этой строфы еще более подчеркивает сознательность усилий Пушкина резче, выразительнее оттенить необходимость активного вмешательства в жизнь, действительного ее улучшения,³⁰⁴ и это придает его пейзажу будущего особую живость и движение.

Замечательно при этом, что картина технически усовершенствованных средств сообщения в будущей России, изображенная Пушкиным, представлялась ему вполне реальной и осуществимой и лишена каких бы то ни было утопических черт. К каждому стиху XXXIII строфы можно подобрать соответствующий источник или параллельный текст, заимствуя их не из специальной технической литературы, но из современной ему периодической печати. Пушкин, например, пишет (в начале 1828 г.):

Мосты чугунные чрез воды
Повиснут звонкою дугой...
(VI, 446)

В первом номере «Московского телеграфа» за 1825 г. сообщалось: «Висячие мосты входят в общее употребление. В Петербурге сделан такой мост через Мойку. В Англии остров Англезей соединен с твердою землею таким мостом».³⁰⁵ У Пушкина:

... под водой
Пророем дерзостные своды...

³⁰⁴ Несколько наблюдений по этому поводу сделал И. М. Дегтеревский в статье «Пейзаж в „Евгении Онегине“ Пушкина» (Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина, 1954, т. XLIII, вып. 4, с. 183—184).

³⁰⁵ Московский телеграф, 1835, ч. I, с. 100—101. — Случайностью ли следует объяснить, что в библиотеке Пушкина находилось (до нас, правда, не дошедшее) описание моста в Вильне, издания 1833 г. (Литературное наследство, т. 16—18, 1934, с. 994, № 21)?

В Англии, сообщал тот же «Московский телеграф», ревностно «принялись... за подземную дорогу, которая будет прокопана *под Темзою*», и т. д.³⁰⁶

Изображенная Пушкиным в XXXIII строфе картиня грядущего техпического прогресса в России находит себе параллели в творчестве Адама Мицкевича. Среди литературных замыслов Мицкевича, не получивших своего окончательного воплощения, одним из особенно примечательных и в то же время наиболее загадочных является его «История будущего» («Historia Przyszłości»). До нас дошло лишь несколько фрагментов этой повести, предположительно датруемых началом 30-х годов; сохранились, однако, свидетельства, дающие возможность несколько полнее представить себе развитие этого замысла на начальной его стадии. Важнейшее из этих свидетельств принадлежит А. Одынцу, другу Мицкевича, приехавшему в Петербург перед самым отъездом его из России: находится оно в письме Одынца к Юлиану Корсаку из Петербурга, датированном 9 (21) мая 1829 г.³⁰⁷ В этом письме Одынец рассказывает, что имел возможность познакомиться с рукописью «Истории будущего» Мицкевича, которую он писал по-французски, и что к этому времени в ней было уже готово около тридцати страниц. «Повествование начинается с 2000 года и должно охватить два столетия», — писал Одынец, делаясь впечатлениями со своим корреспондентом о содержании и об общем плане этого «оригинальнейшего произведения». «Вся же история, как мне говорил Адам, закончится установлением связи между землей и планетами с помощью воздушных шаров, которые в те времена будут летать по воздуху так же, как пыне плавают корабли по морю; вся земля покроется сетью железных дорог, которые, как тебе известно, строятся уже в Америке и начипают прокладываться и в Англии. Адам предсказывает их огромное будущее, утверждая, что они изменят лицо мира. А что говорить о чудесах промышленной техники, изобретениях и открытиях, которые уже описаны в его произведении. Это — мир из „Тысячи и одной ночи“, и все так поэтично, и так чудесно, и притом так правдоподобно, что хочешь, чтобы так было, и веришь, что так

³⁰⁶ Московский телеграф, 1825, ч. I, с. 100—101. — См. еще «Московский телеграф», 1828, ч. XXIII, с. 128—129: «К сей книжке „Телеграфа“ приложен вид туннеля, или проезда, который хотели прорыть под Темзою в Лондоне». После окончания постройки лондонский тоннель под Темзою был описан Н. Гречем на основании его собственных впечатлений 1837 г. Греч, между прочим, замечал: «О тоннеле, или подводном пути под Темзою, Вы имеете, конечно, достаточное понятие, почерпнутое из описаний и картин» (Греч Н. Путевые письма из Англии, Германии и Франции. СПб., 1839, ч. I, с. 79). Обращаем, кстати, внимание на то, что слово «туннель» в те годы еще требовало перевода и употреблялось в русских текстах в двух различных транскрипциях.

³⁰⁷ *Listy z podróży Antoniego Edwarda Odyńca*, t. 1, wyd. 2. Warszawa, 1884, s. 59—61; полный французский перевод этого письма см. в кн.: *Mélanges posthumes d'Adam Mickiewicz / Publ. par Ladislas Mickiewicz*. Paris, 1872, p. 182; в сокращении письмо имеется и в русском переводе: Мицкевич А. Собр. соч. М., 1954, т. 5, с. 632.

может быть в действительности». А. Одынец приводит и несколько подробностей из этой «технической утопии», которую задумал Мицкевич, находясь в Петербурге: он упоминает «о целых флотилиях крылатых воздушных шаров, летающих по небу словно журавли и гуси», о «целых городах из домов и магазинов, построенных из железа на колесах и мчащихся по рельсам со всех концов материка на мировую ярмарку под Лиссабоном», «об архимедовых зеркалах», устроенных на огромном расстоянии друг от друга таким образом, что огненные буквы, отраженные в первом, во мгновение ока отражаются в последнем», и т. д. Вышеприведенные свидетельства А. Одынца подверглись сомнениям и критике некоторых историков польской литературы, однако эти сомнения встретили новые возражения;³⁰⁸ одним из аргументов в пользу достоверности сделанных А. Одынцом указаний явились как раз явные аналогии между «чудесами техники», описанными Мицкевичем, и XXXIII строфой седьмой главы «Евгения Онегина» Пушкина, проникнутой верой в дерзновенные искания и неисчерпаемые возможности изобретательской мысли, в действительность человеческого труда по овладению силами природы и победе над ними, в благодетельность технического прогресса вообще. Характерно, что в тяготении к картинам грядущих технических усовершенствований заключалась одна из особенностей русских утопий этого времени. В 1824 г. Ф. Булгарин напечатал в «Литературных листках» свою утопическую повесть «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в двадцать девятом веке», в которой он, по собственным словам, вознамерился «перешагнуть 1000 лет вперед и посмотреть, что делают наши потомки». Он полагал, что «древние превосходили нас в нравственном отношении, но зато как далеко мы шагнули вперед в науках физических. В последнее столетие сделано больше открытий, нежели в первую тысячу лет. В наше время созданы химия, физиология, физика, механика, медицина, открыто электричество, магнетизм, исследованы газы и проч. Все это со временем завлечет нас далеко на поприще открытий и усовершенствований. Теперь каждый номер газеты объявляет что-нибудь новое по части наук». Поэтому Булгарин противопоставляет свои вымыслы фантазиям более ранних утопистов — Л. С. Мерсье «2440-й год, или Несбыточный сон» (L. Mercier. L'An 2440 ou Rêve s'il en fut jamais. 1770) или Ю. Фосса (J. Voss. Ein Roman aus dem 21 Jahrh. Berlin, 1810), «которые поместили в своих сочинениях много не-

³⁰⁸ См.: Алексеев М. П. Замыслы «Historii Przyszłości» Мицкевича и русская утопическая мысль 20—30-х гг. XIX в. — Slavia (Praha), 1959, XXVIII, seč. 1, s. 58—67. — Итоги изучения «Истории будущего» Мицкевича представлены в настоящее время в превосходном исследовании проф. С. Скварчиньской (Skwarczyńska Stefania, Mickiewicza «Historia przyszłości» i jej realizacje literackie. Łódź, 1964); на с. 62—66 автор анализирует также связи произведения Мицкевича с русскими утопиями времени его жизни в России. Ср. также: Суژهвский D. Neue Lesefrüchte, II. 16. Die ältesten russischen technischen Utopien. — Zeitschrift für slavische Philologie, 1956, Bd XXV, H. 2, S. 322—325.

вероятностей, вопреки законам природы»; «я напротив того, основываясь на начальных открытиях в науках, предполагаю в будущем одно правдоподобное, хотя в наше время несбыточное». У Фосса, например, «воздушные шары управляются запряженными в них орлами. Мне показалось это совершенно невозможным, и я выдумал крылья и паровую машину». Действительно, в повести Булгарина, действие которой отнесено им к 2824 г., описаны «воздушные дилижансы», чугунные дома, снабженные особыми рычагами для подъема тяжестей, купеческие магазины, повозки,двигающиеся по рельсам без лошадей, «светородный» газ, освещающий и согревающий дома и улицы, и т. д.³⁰⁹

Мысль о создании утопической повести с увлекательными ображениями техническими новшествами одновременно с Мицкевичем увлекла также другого его русского знакомого писателя — В. Ф. Одоевского. Еще в 1828 г. под псевдонимом «Каллидор» В. Ф. Одоевский поместил в «Московском вестнике» свою повесть «Два дня в жизни земного шара», в которой можно увидеть ранний вариант замысла более развитого утопического произведения, к написанию которого Одоевский приступил десятилетие спустя и отрывок которого увидел свет в «Утренней заре на 1840 год» В. Владиславлева под заглавием «4338 год. Петербургское письмо».³¹⁰ Это последнее произведение, оставшееся неоконченным, в некоторых отношениях также родственно «Истории будущего» Мицкевича или упомянутым выше строфам «Евгения Онегина», так как оно одушевлено той же мыслью о поразительных достижениях техники, полностью преобразующих петербургский быт. Одоевский рассказывает в своей повести, что о езде на лошадях в 44 веке останутся лишь смутные воспоминания, потому что люди будут пользоваться другими, более совершенными способами передвижения — «электроходами» и летающими приборами «гальваностатами» («воздушными шарами, приводимыми в движение гальванизмом»). Жилища будут верхом роскоши и комфорта: с хрустальными крышами, с внутренними садами, засажеными редкими растениями и освещенными «прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца», который химически действует на деревья и кустарники; к услугам людей будут «магнетические телеграфы, посредством которых живущие на расстоянии разговаривают друг с другом», цветная фотография, одежда из «эластического стекла», и т. д.

Таким образом Мицкевич, задумывая повесть о будущем, мог, описывая завлекательные технические новинки, вдохновляться и

³⁰⁹ Литературные листки, 1824, № XVIII—XX, XXIII—XXIV.

³¹⁰ См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 2, с. 181—184. — Хотя отрывок из этой повести был напечатан также в «Московском наблюдателе» 1835 г., а ее более полный вариант написан в конце 30-х гг., но в бумагах Одоевского сохранились ранние редакции начальных глав, а замысел ее относится к еще более раннему времени. См.: Одоевский В. Ф. 4338 год. Петербургское письмо / Ред. и вступ. статья О. Цехновицера. М., 1926, — и его же издание «Романтических повестей» В. Ф. Одоевского (Л., 1928).

тем, что говорили об этом в конце 20-х годов в Петербурге, и тем, что об этом рассказывалось в произведениях, по своему типу приближавшихся к научно-фантастическим романам. Правда, «История будущего» Мицкевича, как она изложена А. Одынцом и как она нам известна по дошедшим до нас фрагментам, гораздо шире проблемы технического прогресса и только частично может относиться к разряду «технических утопий». Ее идейный смысл остается еще в значительной степени загадочным и неразъясненным. Мы вовсе не хотим возвести ее замысел всецело к русским источникам, тем более что и русская утопическая мысль в эти годы еще полностью не развернулась. Характерно, однако, что именно в русских источниках мы можем найти косвенное подтверждение интереса Мицкевича к утопическому жанру, к проблемам будущего, проявлявшегося у него в последние годы его жизни в России. В своих известных стихах о Мицкевиче Пушкин писал в 1834 г.:

. нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта.

(III, 331)

Нельзя ли эти строки истолковать как конкретное указание на беседы Мицкевича в кругу его русских друзей на темы о социально-утопических доктринах? Л. П. Гроссман именно в этих стихах Пушкина усматривал его сочувствие к идеям Сен-Симона и его последователей.³¹¹ Не следует ли, однако, пойти дальше и предположить, что Пушкину был известен и замысел «Истории будущего» Мицкевича? Чрезвычайно знаменательно в связи с этим, что и Мицкевич в своем некрологе Пушкина, как известно, задавался вопросами, куда были направлены помыслы русского поэта в последние годы его жизни и не размышлял ли он над идеями Сен-Симона или Фурье?³¹²

8

Бытовое окружение Пушкина, тот материальный мир вещей, предметов и обиходных явлений, в котором он жил, мы представляем себе в настоящее время в своего рода сублимированном, преображенном виде. Источниками этого представления (помимо творчества самого поэта, в котором действительность его времени предстает перед нами в художественном претворении) служат по

³¹¹ Гроссман Л. П. Пушкин и сепсимонизм. -- Красная новь, 1936, № 6, с. 137.

³¹² Ср.: Сакулл П. Русская литература и социализм. М., 1924, т. I, с. 435—436.

преимуществу музейные экспонаты, произведения пластических искусств, художественная литература той поры. Поэтому из возникающей в нашем представлении бытовой картины, как бы мы ни стремились ее воссоздать во всей ее жизненной полноте, исчезают порой очень существенные детали. Это неизбежно происходит, например, в том случае, если соответствующие явления действительности по тем или иным причинам не получили еще достаточно полного отражения в творчестве самого поэта или вообще в искусстве его времени. Между тем некоторые подобные явления, в особенности относящиеся к сфере практической жизни, не затрагивались еще в произведениях художественной литературы по разным причинам — то по своей незначительности в тогдашнем бытовом обиходе, то по своей непривычности или новизне, то, наконец, по своей «внеэстетической» природе, согласно эстетическим воззрениям тех лет. Отсюда, однако, вовсе не следует, что явления эти и тогда еще не привлекали к себе внимания современников, не будили их мысль, не вызывали обсуждений, обмена мнений, споров или таких откликов, которые мы не умеем заметить.

С другой стороны, комментарии к художественным текстам прошлого, в свою очередь, страдают обычной, хотя и вполне естественной неполнотой, прежде всего в части своих реально-бытовых пояснений, тем более что объем и границы реального комментария едва ли могут быть строго регламентированы и заранее подчинены историко-литературной задаче, а «культуроведение» как сложный комплекс разнородных сведений, относящихся к какой-либо исторической эпохе, не имеет сколько-нибудь ясных очертаний вспомогательной исторической дисциплины. Благодаря этому мы нередко затрудняемся ответить на простейшие бытовые вопросы, относящиеся к русской жизни времен Пушкина, даем произвольное истолкование тем или другим местам интерпретируемого текста, пугаемся в словах, изменивших свою семантику, так как не всегда правильно догадываемся о вещах, которым эти слова в свое время служили обозначением.

Примером подобного рода упущений может служить уже приводившееся выше объяснение термина «рулетка» в «Пиковой даме» или характерная история истолкования известных слов Пушкина в «Евгении Онегине» о том времени, когда он «даль свободного романа» и судьбу своих героев еще неясно различал «сквозь магический кристалл» (VI, 190). Слова эти стали своего рода поэтической формулой, не раз применявшейся в статьях о Пушкине в некоем метафорическом смысле, в неопределенно поэтическом, расплывчатом значении, не предполагавшем никаких очертаний обиходного предмета, по с обязательной, как казалось, эмоциональной окраской.³¹³

³¹³ Лернер Н. О. Пушкинологовические этюды, с. 105—106. — Существенные поправки к этой статье и новые ценные соображения о том, что следует понимать под этим предметом, предпачавшимся для гадания,

Еще более сложным является тот случай, когда возникающий перед нами историко-бытовой вопрос не имеет, как нам кажется, непосредственного отношения к комментируемому тексту, хотя и вполне естествен для житейского обихода определенного исторического времени, в течение которого то или иное бытовое явление не могло не входить в сознание современников в сложном нерасчлененном потоке ежедневных житейских впечатлений. Нас могут, например, поставить в тупик вопросы об освещении улиц или о качестве петербургских мостовых в пушкинское время, как вопросы явно внелитературные. Между тем опыты газового освещения на улицах Петербурга производились при Пушкине, и эти нововведения, вероятно, обсуждались в ежедневных беседах; равным образом Петербург оказался пионером торцовых мостовых, довольно широко примененных здесь уже в начале 30-х годов.³¹⁴ Вполне вероятно, что знакомство с подобными фактами не является бесполезным для того, чтобы с большей полнотой оценить удивительную художественную остроту зрения Пушкина, например при описании ночных улиц в «Евгении Онегине», звуковую меткость стихов из «Медного всадника»:

Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой —
(V, 148)

или тонкий слуховой эффект в том же «Евгении Онегине»:

Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг...
(VI, 25)

В итоге даже пушкинский Петербург, большинство вещественных памятников которого дошло до наших дней, мы представляем себе неполно и односторонне, поскольку помимо сохранившихся зданий или предметов того времени, составляющих материальную основу для представляемой нами картины города, дополнительными ее источниками являются те же стихи Пушкина, воссоздающие его архитектурный облик,³¹⁵ городские пейзажи художников

см. в статье М. Ф. Мурьянова «Магический кристалл» (Временник Пушкинской комиссии. 1967—1968. Л., 1970, с. 92—95).

³¹⁴ Около 1829 г. на Невском проспекте за Аничковым мостом испытывалась прочность мостовой из торцовых кубиков, замененных затем торцовыми шашками по системе В. П. Гурьева. Вскоре после того по повелению Николая I подобными же торцовыми шашками были замощены: площадь около Зимнего дворца, Большая Морская улица, Караванная, часть Малой Морской, набережная Мойки, Английская набережная, Дворцовая набережная и часть Литейного проспекта. Официальная записка «О построении торцовых образцовых шоссе» напечатана в «Журнале министерства путей сообщения» в 1834 г. (см.: Таненбаум А. С. Василий Петрович Гурьев и его идеи о дорогах для автомобилей (sic). СПб., 1902, с. 8—9).

³¹⁵ С. Дурылин (Отражение архитектуры в поэзии Пушкина. — Архитектура СССР, 1937, № 3, с. 33—37) совершенно справедливо отметил, что

той поры, литературные описания, принадлежащие перу ближайших современников поэта, и т. д. Иначе говоря, перед нами все тот же качественно однородный ряд исторических свидетельств, извлекаемых нами преимущественно из произведений искусства, в которых еще отсутствуют или из которых намеренно исключены многие бытовые явления городской жизни тех лет, как еще не заслужившие права быть воспроизведенными в стихах или на художественных полотнах. Именно по этой причине нам чрезвычайно трудно представить себе Пушкина, едущего по Неве на пароходе, на пароходе же пересекающего Финский залив до самого Кронштадта или же редактирующего статью по железнодорожному делу для «Современника», между тем все это о Пушкине нам известно.

Поднимаемый здесь вопрос, думается нам, имеет интерес не только узко биографический, поскольку изучение его может дать дополнительные факты для более полного представления о житейском опыте Пушкина, но и литературный, так как в теснейшей связи с ним находится проблема литературного языка Пушкина, в частности встававший и перед ним, так же как и перед многими другими русскими поэтами 20—30-х годов, вопрос о возможности пополнения поэтической лексики из создававшегося в те же годы фонда русской научной или технической терминологии.

В западноевропейской поэзии — французской, английской, немецкой — технический прогресс отразился сравнительно поздно: во Франции, например, «поэзия машинизма» стала проблемой, вызвавшей острые и длительные критические споры лишь в середине XIX в., главным образом после выхода в свет знаменитых «Современных песен» («Chants modernes», 1855) Максима Дюкана с предисловием, сыгравшим роль литературного манифеста. До этой книги, пытавшейся открыть поэзии новые источники красоты в паровых и электрических машинах, во всех новейших усовершенствованиях «индустриального» века, паровые машины (например, пароход или паровоз), прочно входившие в быт, долгое время не вызвали никаких поэтических откликов. Исследователи отражения технического прогресса во французской поэзии отметили лишь несколько стихотворных произведений, относящихся

у Пушкина «изображение города с его памятниками нигде не превращается в самодовлеющее любованье его архитектурными красотами», но что «архитектурный пейзаж у Пушкина есть многочисленное выявление исторических и социально-экономических путей развития данного города» (с. 37); в этом смысле стихи Пушкина, посвященные Петербургу, как суггестивно художественное обобщение, сами подлежат для читателя наших дней истолкованию с помощью широко развернутого реально-исторического комментария. Существующие попытки составить комментарий такого рода, при всем их интересе, либо сбиваются на путеводители искусствоведческого характера, либо сужают реальные пояснения, приспособляя их преимущественно к пушкинским текстам (см.: Яценевич А. Пушкинский Петербург. 2-е изд. Л., 1935; Пушкинский Петербург / Редакция Б. В. Томашевского. Л., 1949).

к более раннему времени, в которых можно найти более или менее случайные отклики на развитие железнодорожного дела во Франции, на замену парусных судов кораблями, движимыми паровыми машинами, и т. д. Так, например, Ж.-Ж. Ампер, сын известного ученого, в своей поэме «Флот» (напечатанной в «*Mercure du XIX-e siècle*», 1823) одним из первых во французской поэзии посвятил несколько стихотворных строк новому способу океанских путешествий на корабле, движимом силой паров и уже независимом от направления ветра,³¹⁶ по это поэтическое прославление «стимбота» надолго осталось без подражаний во Франции, и самое слово «стимбот», замененное Ампером поэтическими парафразами, исключалось еще из французского стихотворного словаря как шотрашное и непоэтическое. Случайным было также поэтическое уподобление города металлургическому заводу с его гигантскими колесами и плавильными котлами в поэме Альфреда де Виньи «Париж» (1831)³¹⁷ или краткое, но выразительное упоминание железных дорог в поэме Альфреда де Мюссе «Ролла» (напечатана в августовской книжке «*Revue des Deux Mondes*» за 1833 г.) через год после открытия первой железнодорожной линии во Франции.³¹⁸ Тема индустриализма, намеченная в «Ямбах» О. Барбье (1831, в стихотворении «*La Machine*»), получила более широкое развитие в его «Лазаре» (1837),³¹⁹ где картины индустриального Лондона даны только для того, чтобы засвидетельствовать бедственное положение английских пролетариев. Более популярными темы индустриализма и машинизма стали во французской и бельгийской поэзии лишь в 40-е и 50-е годы.³²⁰

³¹⁶ Grant E. M. *French Poetry and Modern Industry. 1830—1870*, p. 18. — В другой поэме Ж.-Ж. Ампера («Демократия», вошла в его сборник «*Heures de poésie*», 1863, но написана, очевидно, в 30-е гг.) описан пароход, идущий по Рейну, представленный как поэтический символ новой, возникающей цивилизации, в то время как замки на высоких берегах реки, мимо которых идет пароход, служат символом старого, отживающего свой век мира. Характерно, однако, что, пользуясь здесь привычным словом «bateau» (судно) и не употребляя еще нового термина «пароход» («steamboat» или «le bateau à vapeur»), поэт прямо считает его «прозаическим», хотя и «сильным, отважным, новым» (p. 18—19):

... il est ici, c'est ce bateau,
Prosaïque, mais fort, mais hardi, mais nouveau!

³¹⁷ См.: Grant E. M. *French Poetry and Modern Industry*, p. 19.

³¹⁸ *Ibid.*, p. 20. — Альфред де Мюссе пишет в «Ролла»:

Tout est bien balayé sur vos chemins de fer;
Tout est grand, tout est beau, mais on meurt dans votre air.

(Все чисто подметено на ваших железных дорогах; все величественно и красиво, но задыхаешься в вашем воздухе).

³¹⁹ *Ibid.*, p. 20—21.

³²⁰ *Ibid.*, p. 25—65.

Сходную картину представляет нам также английская поэзия XIX в., в которой не только поэтизация технического прогресса, но и непосредственные отклики на технические усовершенствования разного рода и поэтические применения технической терминологии появляются сравнительно поздно, не ранее, чем во французской. Одним из первых попытался сделать это Вордсворт в нескольких своих поздних (и не лучших) сонетах. Хотя он бесстрашно употребил здесь несколько новых технических слов, но эти его стихотворения лишены всякой поэтической силы и отзываются простой риторикой; далеки они и от прославления развивающейся техники как дерзания человеческого ума. Так, например, сонет Вордсворта «Пароходы, путепроводы и железные дороги» («Steamboats, Viaducs and Railways», 1833) в большей степени посвящен прославлению неисчерпаемых богатств природы, чем усилий человека подчинить их себе.³²¹ Наконец, и в немецкой поэзии первой половины XIX в. едва ли не наиболее интересные поэтические отклики на темы машинизма и индустриализма находятся в творчестве позднего Гете, но они также долгое время не находят себе никаких аналогий.³²²

Из этих сопоставлений нетрудно увидеть, что русская поэзия скорее и легче откликнулась на разнообразные явления технического прогресса, укоренившиеся в быту 20—30-х годов; XXXIII строфа седьмой главы «Евгения Онегина» с бодрым и уверенным тоном ее технических предвидений, не имея сколько-нибудь значительных аналогий в западноевропейской поэзии тех же лет, не оставалась вовсе одинокой в русской литературе. У нас «пароходы» или «паровозы» на железных дорогах сравнительно быстро сделались предметами поэтического воспроизведения или стихотворных обсуждений и размышлений; соответствующая техническая терминология также установилась у нас относительно

³²¹ Впоследствии только А. Теннисон в поэме «Локсли-Холл» (1842) писал о «пароходах» и «железных дорогах» как о волнующих проявлениях человеческого ума:

In the steamship, in the railway, in the
Thought that shake mankind.

(Crum Ralph B. *Scientific Thought in Poetry*, p. 158). См. также: Bush Douglas. *Science and English Poetry: A Historical Sketch*. New York, 1950, p. 97.

³²² Frobenius V. *Die Behandlung von Technik und Industrie in der deutschen Dichtung von Goethe bis zu Gegenwart*. Heidelberg. Diss. Brinkum, 1935. — В ту пору и немецкие писатели любили иногда заглядывать вперед и тешили себя утопическими техническими фантазиями. Находясь в Берлине в 1839 г., Н. В. Стапкевич в письме от 3 января этого года рассказывал своим друзьям Н. Г. и Е. П. Фроловым о впечатлениях от виденного им в зрелищем театре трехактного фарса под названием «1739-й, 1839-й и 1939-й годы»: «Последнее действие особенно замечательно, — сообщает Стапкевич, — здесь ходят юпоши в белых фраках с малиновыми воротничками; дрожки ездят по воздуху с помощью газа... Плоке едет на паровых калошах» (см.: Стапкевич П. В. *Переписка*. М. 1914, с. 675).

быстро, благодаря чему и могла постепенно пополнять русский поэтический словарь.

Термин «пароход» в применении к водоходным судам с паровыми двигателями, правда, устоялся у нас не сразу: некоторое время речные и морские пароходы назывались у нас «стимботами» и «пироскафами». Характерно, однако, что быстрое изменение их обозначений относится ко времени Пушкина, который в юные годы мог читать в русских журналах о первых опытах установления пароходного движения по Неве, а в конце 20-х годов уже не раз совершал пароходные поездки до Кронштадта.

Вопрос о «стимботах», или «паровых» судах, обсуждался в русской печати уже к середине второго десятилетия XIX в. «Сын отечества» еще в 1815 г. выражал надежду, что «мы в нынешнем году увидим, может быть, стимбот, плавающий из *С. Петербурга в Кронштадт*».³²³ «Нетрудно исчислить, — отмечали в том же журнале, — какое влияние иметь будет сие сбережение сил и людей на земледелие и ремесла! Конечно, надобно много времени, трудов и попечений для общего введения сего изобретения; но способности и искусство русских художников извданы».³²⁴ Первое движимое паром судно появилось на Неве уже в августе 1815 г.; по словам того же журнала, паровая машина вделана была «в обыкновенную тихвинскую лодку».³²⁵ Пароход «Елизавета» совершал рейсы между Петербургом и Кронштадтом с 1815 г., и в следующее десятилетие у нас построено было одиннадцать пароходных машин. С 1827 г. Ижорский завод начал строить пароходы также для Камы и Волги.³²⁶ В Петербурге пароходное движение в конце 20-х годов прочно вошло в быт горожан и стало уже вполне привычным делом.

Описывая свою поездку из Петербурга в Кронштадт, совершенную 9 июня 1828 г., А. В. Никитенко писал в своем дневнике: «Изобретение парохода — одно из чудес нашего века. Стоя

³²³ Стимбот на Неве. — Сын отечества, 1815, ч. 24, № XXXVIII, с. 210.

³²⁴ Там же, с. 217. — О тех же «Бердовых стимботах» см. статью «Паровой бот на Неве» (Дух журналов, 1815, ч. VI, кн. 36, с. 521—532), также подчеркнувшую огромное практическое значение нового технического начинания.

³²⁵ Сын отечества, 1815, ч. 6, № XXXVIII, с. 211 — Первые известия об американских «стимботах» Фультона появились в этом журнале в 1814 г. Быстрота, с которой пароходное движение установилось на русских реках, становится особенно наглядной при сопоставлении данных о появлении «стимботов» в других странах Европы. Первый французский «стимбот» появился на Сене в 1816 г., и в том же году пароход «Элиза» впервые пересек Ла-Манш; первое трансатлантическое путешествие на океанском пароходе совершенно было в 1819 г. К 1830 г. Франция владела пятнадцатью пароходами; первая пароходная линия между Марселем и Константинополем открылась в 1835 г., и т. д. (см.: Grant E. M. French Poetry and Modern Industry, p. 4, со ссылкой на кн.: Schnitzler J. H. Statistique générale, méthodique et complète de la France comparée aux autres grandes puissances de l'Europe. Paris, 1846, где есть сведения и относительно России).

³²⁶ Кирпичев М. В. Русские паротехники. — В кн.: Вопросы истории отечественной науки. М.; Л., 1949, с. 523.

на палубе, спокойно сидя в каюте, вы с невероятной быстротою, почти незаметно, переноситесь вдаль: так ровен ход судна, до такой степени двигающая его сила подавляет колебание волн. Один только шум колеса, которое быстро вращается под действием пара и как плуг взрывает водную равнину, нарушает тишину».³²⁷

Ф. Булгарин в статье «Поездка в Кронштадт 1 мая 1826 г.», написанной в форме письма к Н. И. Гнедичу, рассказывал в свою очередь: «Догадаетесь ли вы, о чем я думал, сидя на пароходе?.. Кто знает, как высоко поднимутся науки через сто лет, если они будут возвышаться в той же соразмерности, как доселе!.. Может быть, мои внуки будут на какой-нибудь машине скакать в галоп по волнам из Петербурга в Кронштадт и возвращаться по воздуху. Все это я вправе предполагать, сидя на машине, изобретенной в мое время, будучи отделен железною бляхою от огня, а доскою от воды; на машине, покорившей огнем две противоположные стихии, воду и воздух или ветер! Вот о чем думал я, прислушиваясь к шуму паровой машины».³²⁸ Рассуждения на подобные темы становились у нас тогда повседневными, обыденными.

К этому времени и Пушкину были уже хорошо знакомы подобные ощущения: в 20—30-е годы он ездил на пароходе в Кронштадт несколько раз.³²⁹ Историки русской лексики обращали внимание на тот факт, что первоначально, говоря о пароходах, Пушкин чаще всего называл их «пироскафами», словом, заменившим недолго у нас державшийся английский термин «стимбот».³³⁰

«Смерть хочется... возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе...», — писал П. А. Вяземский жене 19 апреля 1828 г. и прибавлял: — Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я».³³¹ Слово «пироскаф» находим у Пушкина в отрывке «Участь моя решена» (1830): «Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся — морской свежий воздух

³²⁷ Никитенко А. В. Дневник в трех томах. [Л.], 1955, т. I, с. 79. — Об открытии регулярного сообщения «паровыми судами» между Петербургом и Кронштадтом см.: Полное собрание законов Российской империи, [1817], т. XXXIV, № 27120 и т. XXXV, № 28427. — Интересные бытовые впечатления об этих поездках см. также в «Записках» Д. Н. Свербева (М., 1899, т. I, с. 284—285).

³²⁸ Булгарин Ф. Соч., т. III, ч. 5, с. 26—28.

³²⁹ О поездке Пушкина, состоявшейся 25 мая 1828 г. в обществе П. А. Вяземского, П. Л. Шиллинга и Олениных (Литературное наследство, т. 47—48, с. 237), уже упоминалось выше; см. также: Литературный архив, 1938, т. I, с. 7 и подпись Пушкина к стихотворению, посвященному художнику Д. Доу, — «To Dawe. Esq^r» (III, 1, 101).

³³⁰ Виноградов В. В. Из истории современной русской литературной лексики. — Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1950, т. IX, вып. 5, с. 389.

³³¹ Литературное наследство, т. 58, с. 76.

веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег» (VIII, 407).

Тем же словом Пушкин пользуется в письме к П. А. Вяземскому от 11 июня 1831 г.³³² и в письмах к жене от 3 и 11 июня 1834 г.: «Я провожал их до пироскафа»; «Еду на пироскафе провожать Вьельгорского» (XV, 155, 159). «Пироскаф» упомянут Пушкиным также в статье «Джон Теннер» (1836). Однако в дневнике Пушкина (запись от 2 июня 1834 г.) в том же значении встречается и слово «пароход»: «26 мая был я на пароходе и провожал Мещерских, отправляющихся в Италию» (XII, 330).

В то же приблизительно время русское слово употреблял уже и П. А. Вяземский. Уже в стихотворном «Послании к А. А. Б. при посылке портрета» (1828) Вяземского мы находим следующие строки:

Век литографий, пароходов,
Fac simile, записок век!
В себе и без больших расходов
Десятерится человек...³³³

20 июня 1832 г. Вяземский писал жене, что он провожал в Кронштадте Жуковского и А. И. Тургенева, отправившихся за границу: «Пароход их поднялся с якоря и колеса зашумели»; затем он ждал в Кронштадте до утра, «чтобы отправиться на пароходе, идущем в Петербург».³³⁴ Ей же Вяземский писал (18 июля 1832 г.), что из-за холеры в Любеке «сообщение пароходное будет на время прекращено».³³⁵ Через несколько лет А. И. Тургенев писал тому же П. А. Вяземскому (7 сентября 1836 г.): «Как мое европейство обрадовалось, увидев у Симбирска пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахани».³³⁶

³³² Пушкин писал здесь: «В Твери, сказывают, холера и карантин. Как же ты к нам приедешь? Уж не на пироскафе, как Паскевич поехал в армию» (XIV, 174). Л. Б. Модзалевский указал, что ирония Пушкина вызвана была сообщением «Северной пчелы» (1834, 11 июня, с. 1), известившей, что И. Ф. Паскевич, назначенный главнокомандующим действующей армией вместо умершего Дибича, действительно отправился на пароходе «Ижора» из Петербурга через Кронштадт на Мемель — самым кратчайшим и безопасным путем (Пушкин. Письма, т. III, с. 284).

³³³ Вяземский П. А. Стихотворения, с. 207.

³³⁴ Звенья, т. IX, 1951, с. 396.

³³⁵ Там же, с. 417. — Отрывок из путешествия морем из Эдинбурга в Лондон был помещен в «Вестнике Европы», 1830, ч. CLXXII; № 11, с. 285—296 под заглавием «Пароход»; автор говорит здесь, что этот «способ перепоиться с одного места на другое дешевле, со времени же употребления пароходов он и быстрее и притом еще заключает в себе много приятного». В книге В. В. (Строева) «Сцены из Петербургской жизни» (ч. 1, СПб., 1835, с. 91) упоминают «пароход „Наследник“, стоящий на Английской набережной». В кн. И. П. Бороздины «Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма» (М., 1837, с. 95) читаем:

И ждали, но не дождались
Из Цареграда парохода!

О пароходе-пироскафе см.: Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892, ч. V, с. 162.

³³⁶ Литературный архив, 1938, т. I, с. 85.

Таким образом, уже в начале 30-х годов слово «пироскаф» выходило из употребления и его место прочно занимало русское «пароход». Правда, Е. А. Баратынский еще в «Современнике» за 1844 г. (т. XXXV, № 8, с. 215—216) напечатал стихотворение, озаглавленное «Пироскаф», но к тому времени это слово было у нас уже редким. Поэтому явно ошибочно предположение, высказанное в свое время Р. Ф. Брандтом, что Баратынский озаглавил свое стихотворение этим иностранным термином потому, что он якобы не знал еще слова «пароход»;³³⁷ скорее всего, дело объясняется тем, что свое стихотворение Баратынский написал за границей, при морском переезде из Марселя в Италию. Тем естественнее, что он воспользовался словом, употреблявшимся тогда как во французском, так и в итальянском языках,³³⁸ кроме того, слово «пироскаф» использовано только в заглавии стихотворения и в текст его не введено (здесь стоит более привычное для поэтического языка «наш корабль»). Тем не менее все стихотворение Баратынского поэтизирует не только морской средиземноморский пейзаж, но и движение по волнам с помощью паротехники:

...Братствую с паром,
Ветру наш парус раздался педаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лопо пучины.
Парус надулся. Берег исчез.³³⁹

³³⁷ Брандт Р. Ф. Несколько замечаний об употреблении иностранных слов. — Изв. ист.-филол. инст. кн. Безбородко. Нежин, 1883, т. VIII, с. 16.

³³⁸ Грант Э. (Grant E. M. French Poetry and Modern Industry, p. 30, 195) как раз тем же 1844 г. датирует первый встретившийся ему случай употребления слова «пироскаф» во французской поэзии, в сатире V. Pommier («Le Progrès»):

... sur les eaux l'agile pyroscaphe,
Avec sa mécanique et son tuyau fumeux,
Comme un léviathan bat les flots écumeux...

(На водах проворный пироскаф, со своей механикой и дымящей трубой, подобно левиафану, бьет пенящиеся волны...).

В. Кипарский в специальной статье об истории употребления в русском языке слов «пароход» и «локомотив» отмечает, что слово «пароход» рядом со словом «стимбот» встречается уже в «Духе журналов» Яценко в 1820 г. (в номере, вышедшем 13 декабря); по его же наблюдениям, академическому словарю 1822 г. знакомы лишь термины «паровое судно» или «паровик», но слово «пароход» употребляется уже в «Адресной книге на 1823 год»; по мнению В. Кипарского, высказанному в этой же статье, утверждение «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1939, т. III, с. 264), что будто бы «пироскаф» — первоначальное название парохода, не соответствует действительности, так как термин «пароход» употреблялся у нас ранее (Kiparsky V. Die russische Ausdrücke für «Dampfer» und «Lokomotive». — Zeitschrift für slavische Philologie, 1956, Bd XXIV, H. 2, S. 247—251); это подтверждается и примерами, собранными нами.

³³⁹ Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957, с. 200 (Библиотека поэта. Большая серия).

В русском литературном языке слово «пароход» в смысле корабля, движимого паровой машиной, употреблялось уже в середине 20-х годов. В дневнике путешествия И. А. Крылова и А. Н. Оленина в Ревель под 23 июля 1824 г. отмечено: «... после обеда выехали из Петербурга на пароходе в Кронштадт»;³⁴⁰ «Московский телеграф» в 1825 г. (ч. I, стр. 100) писал об «учреждении сношений между Англией и Восточную Индией... пароходами»; и, может быть, под воздействием словоупотребления, принятого в этом журнале, которому приписывают важную роль в деле разработки русской технической терминологии,³⁴¹ Пушкин также говорил о «паровых кораблях».³⁴² В августе 1824 г. на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» в Петербурге читано и одобрено было стихотворение П. И. Колошина «Пароход»,³⁴³ в котором, по-видимому, слово употреблялось в указанном выше смысле. Слово «пароход» встречается далее в «Сашке» (1825) А. И. Полежаева:

Я-с по бульвару все ходил,
Потом спуск видел парохода,
Да Зимний осмотрел дворец.³⁴⁴

Ф. Н. Глинка в большом стихотворении о поездке по взморью Финского залива, напечатанном в 1825 г. под общим заглавием «Картины», многократно пользуется словом «пароход» и в поэтическом тексте, и в подзаголовках к отдельным его частям:

Наш пароход — особый мир!
Тут люди разных стран, чинов и разной веры...
.....
Я думал: будь земля — огромный пароход;
Будь пассажир — весь смертных род;
Друзья! спокойно плыть и в беспокойстве вод!
Откинем страх: тут правит пароходом
Уж лучше Берда кто-нибудь!
(Но Берду все и честь и слава!)

И далее — в подзаголовке «Ночь в каюте парохода» или в разделе «Утро на палубе»:

Пошел ходчее пароход...³⁴⁵

³⁴⁰ Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1955, сб. III, с. 56.

³⁴¹ См.: Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., ст. 141.

³⁴² Письмо к П. А. Вяземскому из Пскова от 27 мая 1826 г. (XIII, 280).

³⁴³ См.: Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, с. 401. — Текст этого стихотворения нам, к сожалению, неизвестен.

³⁴⁴ Полежаев А. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1939, с. 23 (Библиотека поэта. Большая серия).

³⁴⁵ Глинка Ф. Н. Избр. произв. Л., 1957, с. 214, 216 (Библиотека поэта. Большая серия). — (Первоначально «Картины» напечатаны были в «Северной пчеле», 1825, 30 июля).

В конце 30-х и начале 40-х годов слово «пароход» уже часто встречается в поэтических произведениях. Укажем, например, на стихотворение К. Павловой 1839 г., в котором говорится:

Реки есть без пароходов,
Люди есть без ремесла...³⁴⁶

и на стихотворение В. Бенедиктова (написанное между 1838 и 1846 гг.) «Одесса»:

И евксински бурны воды
Шумно пенят пароходы...³⁴⁷

или на «Песню балтийским водам» (1841) Н. М. Языкова:

...тысячи, тьмы расписных пароходов
И всяких торговых судов...³⁴⁸

С начала 40-х годов слово «пароход» уже прочно утвердилось в русском поэтическом словаре и не считалось непоэтическим; в 40—50-е годы оно уже постоянно мелькало в стихотворениях как ближайших современников Пушкина (например, в поздних стихотворных опытах П. А. Вяземского), так и поэтов следующих поколений.³⁴⁹

³⁴⁶ Павлова Каролина. Полн. собр. стихотворений. Л., 1939, с. 4 (Библиотека поэта. Большая серия).

³⁴⁷ В. Г. Бенедиктов. Стихотворения. Л., 1939, с. 198 (Библиотека поэта. Большая серия).

³⁴⁸ Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964, с. 373 (Библиотека поэта. Большая серия).

³⁴⁹ См., например, стихотворение П. А. Вяземского «Босфор» (1849), где есть такие строки:

Закоштив неба свод, вот валит пароход,
По покорным волнам он стучит и колотит;
Огнедышащий кит, море он кипятит,
Бой огромных колес волны в брызги молотит.

(Вяземский П. А. Стихотворения, с. 288)

В поэме Н. П. Огарева «Юмор» (см.: Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. М., 1938, т. II, с. 51 (Библиотека поэта. Большая серия):

Скорей оставлю скучный град,
Пушусь на пароходе в море...

В издании «Картинки русских нравов» (кн. IV. СПб., 1841) помещена статья А. Греча «Невский пароход». В рецензии на это издание, помещенной в «Отечественных записках» 1842 г., Белинский высмеял статью Греча, заметив, что ее главное достоинство составляет «точность, с какою в ней означены часы прихода и отхода пароходов на Английской набережной» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 397). См. также стихотворения Я. П. Полонского «Ночь на восточном берегу Черного моря» (1850), «Воспоминание» (1853), «На Черном море» (1855) и др. И. Гончаров писал во «Фрегате Паллада». «Некоторые находят, что в пароходе

Правда, в 30-х годах «пароходами» у нас изредка называли и сухопутные паровые тягачи, а к концу этого десятилетия — и железнодорожные паровозы, но происходившая отсюда путаница разъяснена была в печати еще до окончания постройки первой в России железнодорожной линии.³⁵⁰ Место недолго державшегося у нас термина «сухопутный пароход»³⁵¹ вскоре заняло слово «паровоз», вошедшее в обиход с начала 40-х годов; один из последних случаев возникавшей путаницы понятий вследствие перазграниченности новых технических терминов — «Попутная песня» Н. В. Кукольника, ставшая знаменитой в русском искусстве благодаря музыке Глинка: поэтический текст песни написан был в 1839 г., а в декабре следующего года она вышла в свет.³⁵²

меньше поэзии, <чем в парусном судне,> что он не так опрятен, некрасив. Это от непривычки...». И пояснял далее: «...если б пароходы существовали несколько тысяч лет, а парусные суда недавно, глаз людской, конечно, находил бы больше поэзии в этом быстром, видимом стремлении судна, на котором стоит... человек, с покойным сознанием, что под ногами его сжата сила, равная силе моря...» (Гончаров И. Собр. соч. М., 1952, т. II, с. 31). Когда после запрещения газеты И. С. Аксакова «Парус» (1852) предположено было возобновить издание под названием «Пароход», А. К. Толстой писал, что «переселение славянской мысли из Паруса в Пароход... в высшей степени курьезно, но название журнала знаменательно» (см.: Труды Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1939, сб. IV, с. 228).

³⁵⁰ «Северная пчела» в номере от 30 сентября 1836 г. сообщала: «Немедленно по прибытии паровых машин (Locomotives), которые для отличия от водяных пароходов можно было бы назвать паровозами, последуют опыты употребления их».

³⁵¹ «У нас есть свои машинисты; на наших заводах строятся сухопутные пароходы», — писала «Северная пчела» (1836, 25 апреля, с. 371), рассказывая о паровазах Черепановых. Мирон Черепанов с отцом «называли новую машину <первый паровоз 1834 г.> „сухопутным пароходом“, потому что на Урале речной пароход был построен еще в 1817 г., — замечает А. Бармин (Сухопутный пароход. Альманах «Уральский современник», 1. Свердловск, 1938, с. 227). Ср. еще заглавие книги В. П. Гурьева «Об учреждении торцовых дорог и сухопутных пароходов в России посредством компании».

³⁵² Литературный текст «Попутной песни» написан был после того, как уже создан был Глинкой ее музыкальный текст. Н. В. Кукольник отмечает в своем дневнике (запись от 24 декабря 1839 г.), что он «подложил» специально сочиненные им слова к нотному тексту, в котором «чрезвычайно оригинальная композиция изображает паровоз с его (?) ежедневными ощущениями...» и прибавляет: «В области музыки мне не встречалось еще ничего подобного» (см.: Глинка М. И. Записки. М.; Л., 1930, Приложение, с. 477). Хотя Кукольник и сам говорит о «паровозе», но в тексте «Попутной песни» он употребляет слово «пароход», едва ли не ради рифмы:

Дым столбом, кипит, дымится пароход!
Пестрота, разгул, волшенья, ожданья, петершенья!
Веселится и ликует весь народ,
И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле!
Нет! Тайная дума быстрее летит,
И сердце, мновенья считая, стучит!

и т. д.

Рецензент «Библиотеки для чтения» (1840, т. 42, отд. VII, с. 84—85) в пространной статье, посвященной песенному циклу Глинка «Прощание

Характерно, что тот же Н. Кукольник уже ранее напечатал стихотворение «Встреча пароходов 31 мая 1836 г.»,³⁵³ где он под «пароходом» подразумевал не железнодорожный «паровоз», как в тексте «Попутной песни», но паровой морской корабль (впрочем, в самом тексте стихотворения слово «пароход» отсутствует; вместо него фигурирует поэтическая «морская колесница»).

Создание широкой и разветвленной «системы быстрых и дешевых сообщений» современники Пушкина считали «первейшим вопросом XIX в.».³⁵⁴ В середине 30-х годов, когда у нас заговорили не только об умножении и улучшении шоссейных дорог, почтовых трактов или каналов с движущимися по ним «пароходами», но и целой сети железных дорог, которые могли бы связать важнейшие промышленные и культурные центры страны, это становилось особенно очевидным. Предприимчивый русский изобретатель этого времени В. П. Гурьев писал по этому поводу: «Главная, животворная мысль, которая одушевляет эту эпоху, состоит в том, чтобы связать деятельность и трудолюбие обществ, обитающих в разных точках данного пространства, самыми быстрыми и дешевыми средствами взаимного сообщения и чтобы тем придать их производительной силе все могущество совокупного действия многих миллионов рук и умов, трудящихся дружно и вместе. Следствия этой великой идеи неисчислимы, и теперь еще нельзя предвидеть, какие чудеса произведет она на земле, хотя мы уже смотрим на их начало».³⁵⁵ Эти строки напечатаны в 1836 г., т. е. в то время, когда «железнодорожный вопрос» стал у нас действительно злободневным и оживленно обсуждался в русской печати, вызывая взволнованные и раздраженные споры. Хорошо известно, что в круг споривших вовлечены были тогда и многие русские литераторы, в их числе также и Пушкин. Но его интерес к этим проблемам, заставивший его в конце концов принять косвенное участие в развернувшихся дебатах, гораздо старше этой даты — он возник у Пушкина на целое десятилетие раньше.

Первое известное нам упоминание Пушкиным «чугунных дорог» находится в письме его к П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 г. из Михайловского: в то время, когда ссылка в глухой деревне навела на него «тоску и бешенство», «чугунные дороги» наряду

с Петербургом», особо выделил «Попутную песню» и точно указал на ее происхождение. В этой песне «... движение определяет особенную жизнь, хлопотливость, поспешность — необходимые принадлежности поездки по царскосельской железной дороге... Внешние ощущения поездки и внутреннее волнение, страстное, исполненное надежд и ожидающий, рассказаны с окончательным изяществом. По художеству это едва ли не лучший номер в „Прощании с Петербургом“». Слово «паровоз» мы находим в стихотворении П. А. Вяземского «Русские проселки» (1841).

³⁵³ Библиотека для чтения, 1838, т. 27, отд. III, с. 5—6.

³⁵⁴ Гурьев В. П. Об учреждении торцовых дорог и сухопутных пароходов в России посредством компании, с. XI.

³⁵⁵ Там же, с. 1.

с «паровыми кораблями» чудились ему как последнее слово цивилизации (XII, 280). Мы уже предположили выше, что источником, вдохновившим Пушкина, в данном случае были известия о первых опытах постройки железных дорог в Англии, помещенные в «Московском телеграфе» 1825 г. Впрочем, как раз около этого времени «чугунным», рельсовым дорогам и преимуществам их перед другими видами транспорта стала уделять значительное внимание не только русская специальная, но и общая периодическая печать. «Чугунной дороге в Кольванских заводах» еще в 1821 г. особую статью посвятили «Отечественные записки» П. П. Свинына (всегда особо интересовавшегося русской технико-изобретательской мыслью); о выгодах, представляемых «чугунными дорогами» в сравнении с каналами или обыкновенными дорогами, хотя бы и наилучшим образом устроенными, в 1825 г. писал будущий корреспондент Пушкина Г. И. Спасский в своем «Азиатском вестнике», журнале, столь хорошо известном поэту; «Сын отечества» в том же 1825 г. поместил статью «Чугунные дороги и паровые пушки», в которой между прочим утверждалось, что «чугунные дороги... не прежде введения паровых машин оказались во всей своей важности» и что они «могут быть устроены во всякой земле, годны для повозок всякого рода и имеют великое преимущество перед каналами»; в 1826 г. «Московский телеграф» поместил переводную статью о железных дорогах Э. Био, и т. д.³⁵⁶

Во второй половине 20-х годов «железнодорожный вопрос» ставился в порядке дня, казался все более неотложным; равнодушно пройти мимо него, не откликнуться на него в той или иной форме, не принять участия в его обсуждении становилось все более трудным; поэтому в переписке и мемуарах этой поры, в публицистических и критических статьях, в произведениях художественной литературы мы находим действительно много высказываний и замечаний по этому поводу, еще не полностью учтенных как историками железнодорожного дела в России, так и в особенности историками русской литературы.

У Пушкина были особые поводы внимательно следить за развертывавшейся полемикой: как раз в эти годы он имел личные

³⁵⁶ Обо всех этих статьях см.: Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 140—141. — Автор отмечает между прочим, что заслугой «Московского телеграфа» при переводе статьи Э. Био (1826, ч. XII, отд. II, с. 29 сл.) была «разработка... русской технической железнодорожной терминологии. В частности, переводчик употребляет необычный еще в то время термин „железные дороги“ (вместо «чугунных», «полосных», «колейных», как тогда обычно выражались)». Как видно из библиографических материалов, собранных В. С. Виргинским, этот термин был известен у нас и значительно раньше, хотя привился не сразу: в «С.-Петербургских коммерческих ведомостях» еще в 1803 г. появилась заметка «О употреблении железных дорог для возки минералов»; статья «О железных или чугунных дорогах» напечатана была в «Журнале мануфактур и торговли» в 1826 г. (см.: Виргинский В. С., с. 140, 141, 155).

дела и входил в непосредственные сношения с несколькими лицами, выступавшими со статьями о железных дорогах. Спор, как известно, начался с напечатанной в Петербурге в начале 1830 г. статьи Н. П. Щеглова «О железных дорогах и преимуществах их над обыкновенными дорогами и каналами»,³⁵⁷ в которой автор, по словам В. С. Виргинского, проявил себя в качестве «решительного поборника экономического и технического прогресса» в России.³⁵⁸ Действительно, Щеглов доказывал необходимость скорейшей постройки в России «металлических дорог» и утверждал, что только это может избавить государство от серьезных и все возрастающих транспортных затруднений. Постройка подобных дорог, по-видимому, казалась ему тем более осуществимой, что с техникой «чугунных дорог» Россия знакома была уже с давних пор. Конечно, это была прогрессивная идея. Аргументацию подобного рода мы нередко встречаем в письмах декабристов, из которых многие, живя в Сибири, высказывались в пользу широкого железнодорожного строительства в России как важного государственного дела. Так, например, Н. А. Бестужев писал своему брату Павлу из сибирской ссылки (в январе 1837 г.): «... по-вашему, нет лучше способа для просвещения, как легкие и быстрые сообщения всех частей государства между собою... Говоря о ходе просвещения, нельзя также не упомянуть тебе с некоторой гордостью, что в части физических применений мы, русские, в многих случаях опереживали других европейцев: чугунные дороги не новы, они существуют на многих железных заводах для перевозки руды, бог знает с которой поры».³⁵⁹

Тем не менее Н. П. Щеглов, открывший своей статьей 1830 г. длительную полемику в русской печати по железнодорожному вопросу, вызывал к себе общественное сочувствие современников далеко не во всех сферах своей деятельности. Имея в виду главным образом данную статью Н. П. Щеглова, В. С. Виргинский называет его «молодым прогрессивным ученым», «безвременно погибшим от эпидемии в расцвете своей деятельности».³⁶⁰ Однако Пушкин, знавший Щеглова лично, относился к нему недоверчиво и даже враждебно и не зачислял его в круг передовых деятелей своего времени, на что, правда, имелись особые причины.

Николай Прокофьевич Щеглов (1794—1831) уже с 1822 г. был профессором физики в Петербургском университете и обратил на себя внимание своим курсом «Общей физики», который в 20-е годы считался одним из лучших, оригинальных русских

³⁵⁷ Северный муравей, 1830, № 1, 2.

³⁵⁸ Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 149.

³⁵⁹ Бестужев Н. А. Статьи и письма. М.; Л., 1933, с. 256.

³⁶⁰ Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 149.

руководств этого рода. Щеглов издавал также (между 1824—1831 гг.) ежемесячный научно-популярный журнал «Указатель открытий по физике, химии, естественной истории и технологии», пользовавшийся успехом, засвидетельствованным в «Московском телеграфе».³⁶¹ В 1830 г. Щеглов начал издавать в Пестербурге еженедельную научно-промышленную газету под названием «Северный муравей»,³⁶² в первых двух номерах которой и была напечатана его статья «О железных дорогах». Несмотря на множество занятий по университету, Вольному экономическому обществу (непрерывным секретарем которого он стал в 1828 г.), сотрудничество с Н. Мордвиновым и служебные дела по государственному контролю, Н. П. Щеглов был также цензором, и отсюда имело и знал его Пушкин. С конца января 1830 г. Щеглову поручено было цензурировать «Литературной газеты» Дельвига;³⁶³ он же цензурировал «Северные цветы» на 1831 г., изданные Дельвигом. Для этого дела Щеглов, разумеется, был мало подходящим лицом, что и вызвало недовольство Пушкина. Все дошедшие до нас отзывы Пушкина о Щеглове достаточно суровы. Еще в первой половине февраля 1830 г. Пушкин представил даже особое ходатайство о замене Щеглова другим «менее своеправным цензором» (XIV, 65). В письме к П. А. Плетневу из Болдина (от 9 сентября 1830 г.) Пушкин шутя сравнивал Щеглова-цензора с невестой, которая «язык и руки связывает» (XIV, 112), а получив известие о его скоростижной смерти в холерную эпидемию, писал П. А. Вяземскому (3 июля 1831 г.): «Кстати о цензуре: Щеглов умер: не нашего полку, чужого» (XIV, 187).³⁶⁴

Отрицательное отношение Пушкина к Щеглову-цензору, однако, не исключало, как можно предполагать, возможного интереса поэта к научным трудам Щеглова как профессора или издателя научно-популярных журналов. «Северный муравей» начал издаваться в то самое время, когда Пушкин задумывал издание собственной газеты: его обостренное внимание к периодической печати в России с начала 30-х годов общеизвестно; Пушкин приглядывался тогда к различным типам существовавших в то время русских журналов, изучал их направленность и особенности, отношение к ним читателей. Ему не могло не броситься в глаза

³⁶¹ К концу первого года существования «Указателя открытий» Щеглова Н. Полевой отзывался с большой похвалой об этом журнале и сопоставлял его с аналогичным московским журналом И. А. Двигубского «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических», выходившим в те же годы, между 1820 и 1830 (Московский телеграф, 1825, ч. I отд. III, с. 144—145).

³⁶² Объявление об этой «еженедельной газете промышленности, торговли, земледелия и химических и физических искусств» напечатано в «Литературной газете» (1830, 15 июня, с. 276).

³⁶³ Пушкин и его современники, вып. XXIX—XXX. Пгр. 1918, с. 65—66

³⁶⁴ О смерти Щеглова Пушкина известил Е. Ф. Розен (Пушкин л. XIV, 183; ср.: Русский архив, 1908, кн. III, с. 263—264).

сравнительное обилие специальных научно-технических и научно-популярных журналов, выходивших у нас во второй половине 20-х годов (например, «Горный журнал» — с 1825 г., «Журнал путей сообщения» и «Инженерные записки» — с 1826 г. и т. д.), к которым прибавлялись все новые издания того же типа; Пушкин хорошо знал также, как постепенно повышался в эти годы удельный вес «научных» и «научно-прикладных» отделов в журналах собственно литературных. Это был «дух века».³⁶⁵ Поэтому представляется вполне правдоподобным, что Пушкину была известна и упомянутая выше статья Щеглова о железных дорогах; она обратила на себя внимание, ее цитировали в других журналах, с ней вступали в споры. . .

Многие положения этой статьи, — уязвимой, как отмечают специалисты, и с экономической, и с технической стороны,³⁶⁶ — представляют для нас интерес, в частности, потому, что они невольно заставляют нас вспомнить о той стихотворной полемике Пушкина с Вяземским, о которой речь уже шла выше.³⁶⁷

Статья Н. Щеглова и вскоре последовавшие за ней другие довольно многочисленные статьи в защиту железнодорожного строительства в России были полны надежд на скорейшую ликвидацию «бездорожья» и вообще транспортных затруднений в России; очевидно, эти вопросы уже в конце 20-х годов при-

³⁶⁵ Характерно, что первым серьезным замыслом О. Сенковского в области журналистики был представленный им в 1829 или 1830 г. проект издания «Всеобщей газеты»; почти весь научный отдел в этом проекте посвящен был прикладной стороне точных наук: «а) Рассуждения и известия об успехах точных наук в разных странах Европы. . . в) Рассуждения и описания применения сих наук к разным частям промышленности» и т. п. «Беллетристика занимала в этом проекте лишь одну пятую предпоследнего отдела» (см.: Каверин В. Барон Брамбеус. Л., 1929, с. 42). Издание «Всеобщей газеты» не осуществилось, но основанная через несколько лет «Библиотека для чтения» удержала существенные черты ранее задуманного Сенковским периодического органа, и в этом, как известно, был один из секретов ее успеха.

³⁶⁶ Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 151—152.

³⁶⁷ В статье Щеглова мы находим сравнительную характеристику сухопутных и водных сообщений: «... российская земля рассечена в разных направлениях великими судоходными реками, но против сего можно заметить, что очень немного находится рек, на коих плавание совершается беспрепятственно целое лето; между тем «все те губернии наши, у коих нет водных сообщений с главнейшими сего рода путями. . . , терпят великое зло от избытка своих земельных произведений. . . ». Возражения Щеглова против тех, кто доказывал преимущества зимнего сапного пути, приводят на память острофы П. А. Вяземского (в «Зимних карикатурах») о морозе как о природном шоссе и о «зимнем судоходстве» обзов: «Я не буду говорить здесь о выгодах зимней нашей перевозки на санях, — замечает по этому поводу Н. Щеглов, — она выгодна только, да и то не в большой пропорции, в отношении к нашей худой летней сухопутной перевозке и не может стать ни в какое сравнение с перевозкою по железным дорогам» и т. д. (см.: Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 150)

влекали к себе всеобщее внимание. В этом смысле статья Щеглова действительно отражала прогрессивные чаяния довольно широких общественных кругов. Историки русского железнодорожного транспорта подчеркивают, что ее сила заключалась в ее общей направленности: «... Щеглов не просто высказывался в пользу железных дорог... Такого решительного, убежденного призыва к строительству железных дорог в русской печати еще не появлялось, а за рубежом они были очень редки».³⁶⁸

Однако идеи защитников введения железных дорог в России встретили у нас не только сочувствие, но и сильное противодействие; полемика по этому поводу особенно обострилась к середине 30-х годов. В 1835 г. в «Библиотеке для чтения» появилась статья «Чугунные дороги», горячо отстаивавшая необходимость такого строительства и опровергавшая всевозможные доводы его хулителей, лагерь которых был уже довольно велик: против железнодорожного транспорта писались у нас статьи, брошюры, читались публичные лекции; сильные противники железных дорог пахотились и в правительственных кругах.³⁶⁹

Одним из яростных противников железных дорог был Наркиз Иванович Тарасенко-Отрешков, выступивший в том же 1835 г. со статьей «Об устройении железных дорог в России».³⁷⁰ Н. И. Тарасенко-Отрешков был весьма посредственным литератором, однако мнившим себя знатоком экономических и технологических вопросов. По словам П. В. Анненкова, он «успел составить себе репутацию серьезного ученого и литератора по салонам, гостиным и кабинетам влиятельных лиц, не имея никакого имени и авторитета ни в ученом, ни в литературном мире. Он прослыл агрономом, политико-экономом, финансовою способностью, не прикасаясь с людьми науки».³⁷¹ Одним из тех лиц, к которым Тарасенко-Отрешков успел втереться в доверие, хотя и на короткое время, был Пушкин. Задумав издание газеты «Дневник», Пушкин, как известно, предложил Тарасенко-Отрешкову принять участие в организационных трудах по изданию этой газеты и заключил с ним по этому поводу особый деловой договор.³⁷² Хотя издание «Дневника» и не состоялось, но Тарасенко-Отрешков и позже сохранил кое-какие деловые отношения с Пушкиным, который, впрочем, называл его «Отрыжковым» и, по-види-

³⁶⁸ Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 152.

³⁶⁹ Подробно вся эта полемика изложена в указанной статье В. С. Виргинского (с. 149—152); см. также: Уродков в С. А. Петербурго-Московская железная дорога: История строительства. Л., 1951, с. 28—41.

³⁷⁰ Сын отечества и Северный архив, 1835, ч. 51, с. 360—389, 414—450 (отдельное издание — СПб., 1835).

³⁷¹ Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. СПб., 1881, с. 258.

³⁷² Пяксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник» (1831—1832). — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1907, вып. V, с. 30—74.

тому, никогда не обольщался на счет его личных или деловых качеств.³⁷³

Статья Тарасенко-Отрешкова «Об устройении железных дорог в России» не могла остаться без возражений со стороны группы молодых русских инженеров, горячо стремившихся «к испытанию железных дорог в нашем отечестве». Одним из «теоретиков и идеологов» этой группы считают Матвея Степановича Волкова, который принял вызов Тарасенко-Отрешкова и ответил ему резкой полемической статьей.³⁷⁴

Именно эта статья и связана с Пушкиным. Предназначалась она для «Современника»; рукопись ее была прислана Пушкину осенью 1836 г.; посредником в сношениях автора с Пушкиным был В. Ф. Одоевский, которому, вероятно, и принадлежит инициатива опубликования ее в этом журнале. «Статья г. Волкова в самом деле очень замечательна, дельно и умно написана и занимательна для всякого», — писал Пушкин В. Ф. Одоевскому в ноябре—декабре 1836 г. (XVI, 210). Правда, напечатать статью в «Современнике» Пушкин отказался, опасаясь навлечь на свой журнал лишнее неудовольствие властей: он не без основания считал, что лагерь противников железных дорог в России достаточно силен и полон влиятельных лиц.

³⁷³ Между 1833 и 1835 гг. Н. И. Отрешков издавал в Петербурге «Журнал общепользных сведений или Библиотеки по части промышленности, сельского хозяйства и наук, к ним относящихся» (в последующие четыре года это издание продолжал А. П. Башуцкий). Комплект этого журнала до 1835 г. находился в библиотеке Пушкина; сохранился также билет на его получение с подписью: «Н. Атрешков», выданный Пушкину (Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 127, № 474). Отрешков оставил также воспоминания о Пушкине, не представляющие, впрочем, никакой ценности (Жернер Н. Из неизданных материалов для биографии Пушкина, с. 428—433). После смерти Пушкина Отрешков стал одним из опекунов его семьи, что вызвало впоследствии протесты Н. Н. Пушкиной-Ланской, обвинившей его в похищении ряда автографов поэта еще в тот период, когда печаталось посмертное издание его сочинений (см.: Андерсон В. Н. И. Тарасенко-Отрешков и автографы Пушкина. — Русский библиофил, 1913, № 6, с. 21—27; Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 гг. М., 1925, с. 76—77).

³⁷⁴ См.: Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 159. — М. С. Волков (1802—1878), окончив Институт путей сообщения еще в 1821 г., специализировался по вопросам строительного искусства, но печатал статьи и по другим поводам — о проекте «телеграфической линии от Петербурга до Днѣпбурга», о «паровозах на обыкновенных дорогах» и т. д. Придавая огромное значение железнодорожному строительству, Волков уже к 1835/36 учебному году добился официального разрешения на включение в программу своего курса большого раздела о железных дорогах. В изданных впоследствии «Отрывках из заграничных писем (1844—1848)» (СПб., 1857) Волков говорил об историческом значении железных дорог: «По моему мнению, в истории будут огненные две величайшие эпохи преобразования общества: это — введение христианства и — введение железных дорог» и т. д. (с. 5—6). (Ср.: Сакулин П. И. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1, с. 571). Любопытно, что среди единомышленников М. С. Волкова В. Виргинский цитирует А. И. Дельвига (с. 161—162).

«Статья Волкова писана живо, остро, — писал Пушкин в том же письме. — Отрешков отделан очень смешно; но не должно забывать, что против железных дорог были многие из Государственного Совета; и тон статьи вообще должен быть очень смягчен. Я бы желал, — прибавлял Пушкин, — чтоб статья была напечатана особо, или в другом журнале, тогда бы мы об ней представили выгодный отчет с обильными выписками» (XVI, 211).

Все это писалось уже незадолго до гибели Пушкина. Сохранилось также письмо В. Ф. Одоевского к М. С. Волкову, отправленное автору почти полгода спустя после смерти Пушкина. Одоевский извещал Волкова, что статья его о железных дорогах «должна была явиться в свет в 1-м № „Современника“ <1837 г.>, который не вышел за смертью издателя: я, Жуковский, кн. Вяземский, Плетнев и Краевский взялись издать „Современник“ в пользу детей Пушкина, но вообразите себе: Наркиз Атрешков в числе опекунов Пушкина! поместить о нем в журнале Пушкина было бы, разумеется, неприлично — и я перенес эту статью в „Литературные Прибавления“, издаваемые Краевским. Это объяснение мне необходимо было Вам сделать, дабы Вы не удивились, увидев в „Литературных Прибавлениях“ Вашу статью».³⁷⁵

Не подлежит никакому сомнению, что Пушкин очень внимательно читал рукопись статьи М. С. Волкова. Даже в цитированном выше деловом письме к В. Ф. Одоевскому Пушкин высказал по этому поводу ряд собственных мыслей, подтверждающих, что он был вполне в курсе развернувшейся в это время полемики. Любопытно, например, что, по мнению Пушкина, русскому правительству «вовсе не нужно было вмешиваться в проект этого Герстнера».³⁷⁶ Россия не может бросить 3 000 000 на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут.³⁷⁷ Всё, что можно им обещать, — так это привилегию на 12 или 15 лет. Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург — по моему мнению — было бы: с нее и начать...» (XVI, 210).

Стараясь представить себе практические результаты введения железных дорог в России, Пушкин вник даже в такие технические подробности представлявшихся проектов, которые не предусмотрены были представителями передовой русской инженерной мысли. В том же письме к В. Ф. Одоевскому Пушкин

³⁷⁵ Русская старина, 1880, август, т. 28, с. 804.

³⁷⁶ Речь идет о проекте, изложенном в брошюре Ф. А. Герстнера «О выгодах построения железной дороги из Санкт-Петербурга в Царское Село и Павловск, высочайше привилегированною его императорским величеством компаниею» (СПб., 1836).

³⁷⁷ Отметим, что в «Путешествии из Москвы в Петербург», говоря о строительстве шоссе, Пушкин утверждал совершенно обратное («правительство открывает дорогу: частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться» и т. д.; XI, 244). Что касается предложения Пушкина о дороге между Москвой и Нижним Новгородом, то оно, несомненно, стоит в связи с рядом предлагавшихся в то время проектов о железнодорожной связи между столицами и волжскими пристаями.

писал: «Некоторые возражения противу проекта неоспоримы. Например: о заносе снега. Для сего должна быть *выдумана* новая машина, sine qua pop.³⁷⁸ О высылке парада или о найме работников для сметания снега нечего и думать: это нелепость» (XVI, 210).

В этих словах Пушкина нас поражает не только его смелое техническое предложение русским изобретателям; доказывая необходимость изобрести механический снегоочиститель, Пушкин имел в виду, в первую очередь, интересы трудовых народных масс. Уже за несколько лет перед тем в своем «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин обращал внимание на недопустимое пользование рабским трудом в дорожном деле. «Поправка дорог, — писал он тогда, — одна из самых тягостных повинностей, не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к угнетению и взяткам» (XI, 243). Несомненно, что «высылка народа на железнодорожные пути для сметания снега» казалась ему «нелепой» в этом же смысле.

По поводу ранних русских железнодорожных проектов В. С. Виргинский справедливо заметил: «Конечно, Волков, Мельников и их друзья не понимали, что и частнокапиталистические и государственные железные дороги будут использованы господствующими классами никак не в интересах трудящихся. Но верный инстинкт новаторов техники заставлял этих инженеров, рука об руку с мастерами-самородками, видеть в передовой технике завоевание, которое в конечном счете послужит благу родной страны и родного народа. Это чувство многие русские инженеры и ученые выражали в своих выступлениях противоречиво, смутно, а иногда и в шелухе буржуазно-либеральных фраз...».³⁷⁹ В этом отношении мысль Пушкина представляется особо значительной: он оказался одним из немногих участников первого спора о русских железных дорогах, заинтересовавшихся не только технической или экономической стороной проектов, но и условиями труда при будущей эксплуатации железных дорог.

Указанное письмо Пушкина к В. Ф. Одоевскому было опубликовано первый раз в «Русском архиве» 1864 г.³⁸⁰ Готовя его к изданию, П. И. Бартенев обратился за справками к Ф. В. Чижевскому, автору известных воспоминаний о Гоголе, бывшему в то время директором Троицкой железной дороги. Ф. В. Чижев был искренне поражен и отметил в своих пояснениях к первой публикации этого письма: «Снегочистителя тогда, когда писал Пуш-

³⁷⁸ Стоит отметить попутно, что аналогичную прозорливость в технических вопросах Пушкин проявил и при описании устройства проселочных дорог, говоря о необходимости сооружения водоотводных канав (по его собственным словам — «параллельных рвов для стечения дождевой воды», XI, 243).

³⁷⁹ Виргинский В. С. Железнодорожный вопрос в России до 1835 г., с. 167.

³⁸⁰ Русский архив, 1864, стб. 822—823; см. также: К биографии А. С. Пушкина. М., 1885, вып. II, с. 118—119.

кин, не было и в помине, да и теперь он не на всех железных дорогах».³⁸¹

До открытия первого железнодорожного сообщения в России Пушкин не дождал, но строительство началось еще при нем. Призвания Ф. А. Герстнера на монополию были отклонены, но решено было в виде опыта построить дорогу от Петербурга до Царского Села и Павловска. Указ сенату по этому поводу датирован 15 апреля 1836 г., в мае начались земляные работы, а в конце сентября уже произведены были первые опыты движения по рельсам между Царским Селом и Павловском. Так как доставка паровозов задержалась, опыты производились с помощью копной тяги. Приблизительно в то время, когда Пушкин читал рукопись статьи М. С. Волкова, «Северная пчела» сообщала об успешности первых испытанной строившейся дороги: в каждый «экипаж», установленный на рельсы, сажали по 60 человек, впрягали по две ямских лошади и гнали их со скоростью 12 верст в час.³⁸² Газета свидетельствовала, что присутствовавшие при этом петербургские жители были в полном восторге.³⁸³ 2, 3 и 4 января 1837 г. происходили новые поездки по этой железной дороге. «В первый день употреблены были три паровоза и сделаны были четыре поездки из Павловска до Кузьмина и обратно. На каждой поездке паровоз тащил за собою до 15 экипажей, и по приезде на место сменялся для обратного пути другим... В воскресенье, 3 января, составлен был обоз <поезд> из 23 повозок <вагонов>. Большая их часть была наполнена пассажирами... В Павловске между тем собралось несколько тысяч человек, с нетерпением ждавших прибытия паровоза. По сей причине оставлены были там повозки с животными и другим грузом и сделаны с одними пассажирами пять поездок в Царское Село и обратно. Жители петербургские, прибывшие в Царское Село и Павловск слишком в 1000 сапей, в таком множестве теснившихся для занятия мест, что 115 человек, в том числе и дамы, сели в фуру <вагон>, назначенную для перевозки строевого лесу...; между тем с удовольствием заметим, что во время поездки не случилось ни малейшего бедствия или даже неприятности. Публика возвратилась в С. Петербург с твердым уверением, что дорога сия, по окончании ее, не будет пуждаться в пассажирах».³⁸⁴ Несомненно, что об этих первых испытаниях строящейся дороги, привлечших к себе такое любопытство жителей Петербурга, знал и Пушкин; по официальное ее открытие состоялось уже после его смерти — 30 октября 1837 г.³⁸⁵ Харак-

³⁸¹ Русский архив, 1864, стб. 823.

³⁸² Северная пчела, 1836, 29 сентября, с. 885 -886. - Интересное описание этих поездок дала присутствовавшая при испытаниях строящейся дороги Е. А. Карамзина в письме от 29 сентября 1836 г. (Пушкин в письмах Карамзинных 1836—1837 гг. / Под ред. П. В. Измайлова. М.; Л., 1960, с. 115).

³⁸³ Северная пчела, 1836, 7 октября, с. 913.

³⁸⁴ Там же, 1837, 8 января, с. 17—18.

³⁸⁵ У р о д к о в С. А. Петербурго-Московская железная дорога, с. 48—49.

терно, что «Северная пчела» в своем отчете об этом торжественном событии превозносила достоинства железной дороги и едко высмеивала московское шоссе, которым еще недавно восхищались.³⁸⁶ Вскоре и в русской поэзии появились стихотворные отклики на эту тему. К концу 30-х годов, по-видимому, относится стихотворение Ф. Н. Глинки «Две дороги», в котором он не только сопоставляет новые железные дороги со «старыми», шоссейными, но предвидит в будущем даже новый вид сообщений — воздушный:

2

А там вдали мелькает струпка,
Из-за лесов струится дым:
То горделивая чугушка
С своим пожаром подвижным.

3

Шоссе поет про рок свой слезной:
«Что ж это сделал человек?!
Он весь поехал по железной,
А мне грозит железный век!..

4

Давно ль красавицей-дорогой
Считалась общей я молвой? —
И вот теперь сижу убогой
И обездоленной вдовой!..»

6

Но рок дойдет и до чугушки:
Смелчак взвонится выше гор
И на две брошенные струнки
С презрением гордый бросит взор.

7

И станет человек воздушный
(Плывя в воздушной полосе)
Смеяться и чугушке душой,
И каменистому шоссе.³⁸⁷

³⁸⁶ Северная пчела, 1837, 2 ноября, с. 991. — Естественно, что не доживший до открытия железнодорожного сообщения в России Пушкин не дожидаясь до превращения в популярные «железнодорожные» термины в конце 30-х — начале 40-х гг. таких слов, как «вокзал» или «дебаркадер». Что касается первого из них («воксал»), заимствованного в русский словарь из английского языка в XVIII в., то Пушкин употреблял его еще в лицейских стихотворениях, по исключительному в значениях «залы для танцев и концертов» или «увеселительного сада», см.: Словарь языка Пушкина. М., 1956, т. I, с. 338—339; Tesnière L. Les antécédents du nom russe de la gare. — Revue des études slaves. Paris, 1951, t. 27, p. 255—266.

³⁸⁷ Глинка Федор. Избранное, с. 151—152. — Точная дата написания этого стихотворения, к сожалению, неизвестна; напечатано оно также в свое время не было; текст его обнаружен в рукописном сборнике Ф. Глинки среди стихотворений, написанных им между 1834 и 1845 гг. Однако далеко не все русские поэты той поры, касаясь перспектив будущего технического прогресса, с таким удовольствием прозревали предвидимые успехи воздухоплавания. Современник Пушкина, Д. Струйский, в позднем стихотворении «Воздушный паролет», напечатанном

В западноевропейской поэзии этих лет трудно найти произведения, в которых столь же отчетливо высказывалась бы уверенность в благодетельности грядущего технического прогресса и в которые, кстати, с такой естественностью и простотой вводились бы технические термины вместо обычно замещающих их метафорических выражений или перифраз. Во французской поэзии, например, «железнодорожная» тема с трудом пробивала себе дорогу в 40-е годы и тогда еще признавалась абсолютно «непоэтической».³⁸⁸ Характерно, что сама терминология железнодорожного дела устанавливалась во французском языке медленно и затрудненно.³⁸⁹

в журнале «Москвитянин» (1845, ч. III, №№ 5 и 6, отд. II, с. 87—88), признавал, что

В наш век, открытиями богатый,
Все покорилось власти человека:

луч солнца «передает изображение людей ничтожных», «покорствует океан», нет непроходимых лесов, измерены и горы и пустыни; словом —

Все наше! Только дальний воздух
Свободен как душа и недоступен.
До сей поры тяжелый паровоз
(С его буфетом, койками и кладью)
Не бороздил пустыню голубую,
Где солнце и луна, и звезды
Свершают бесконечный путь...

Поэту кажется, что человек на этом должен остановиться и не притязать на покорение воздушной стихии:

И я молю благое Провиденье,
Чтоб воздух был на вечность недоступен
Бессмысленным желаньям человека.
Зачем туда, где блещет это солнце,
Переносить железный паровоз
С его промышленностью жадной?
Пусть на земле, для бедной пошлой цели —
Влачится оп, как червь презренный,
И наши страсти биржевые
Следят за ним, как за ребенком мать!..
Но небо — да свободно будет!

Нет никакого сомнения, что в то время находилось немало читателей, вполне разделявших этот патриархальный призыв.

³⁸⁸ Grant E. M. French Poetry and Modern Industry, p. 18, 28. — См. здесь же, в приложении, любопытный для сопоставлений словарь технических терминов с указаниями относительно их первого употребления во французской поэзии: такие слова, как rail, rail-way, locomotive, встречены исследователем впервые в поэтических текстах середины или конца 40-х гг.; термин «chemin de fer», первый раз случайно употребленный Альфредом де Мюссе в 1833 г., чаще встречается в поэзии лишь со второй половины 40-х гг. Характерно, что первое сочувственное поэтическое описание железнодорожного паровоза сделано во французской поэзии поэтом-рабочим Савиньеном Лапуэнтгом (ibid., p. 35).

³⁸⁹ Swan n Harvey J. French Terminologies in the Making: Studies in Conscious Contributions to the Vocabulary. New York, 1918, p. 1—34 (глава

В России же, как мы видели, она установилась довольно быстро: термин «железная дорога» стал общеупотребительным (наряду с просторечным «чугунка») к середине 30-х годов; термин «паровоз» утвердился во второй половине 30-х годов, а к началу 40-х был уже введен и в поэтический оборот.³⁹⁰ Вообще «поэтическая» сторона железнодорожной поездки рано получила у нас свое художественное выражение. Недаром еще Е. А. Баратынский, впервые испытавший ощущения железнодорожной поездки, писал в начале 40-х годов Н. В. Пугаче: «Железные дороги чудная вещь. Эта апофеоза рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии».³⁹¹

«The Terminology of the Railroad»). Ранняя европейская литература по железнодорожному вопросу зарегистрирована в предварительном библиографическом перечне: European Railway: Check-List of Early European Railway Literature, 1831—1848 / Prepared by Daniel C. Haskell, with a preface note by Arthur H. Cole, Baker Library. New York, 1955.

³⁹⁰ См. этот термин в стихотворении П. А. Вяземского «Русские проселки», 1841 (Стихотворения, с. 269):

Двух паровозов, двух волканов на лету
Я видел сшибку: лоб со лбом они столкнулись,
И страшно крикнули, и страшно пошатнулись —
И смертоносен был напор сих двух громад.

В письме к Н. А. Бакунину от 28 ноября 1842 г. Белинский писал: «...никакой паровоз не удовлетворил бы полету души моей» (Белинский. Письма. СПб., 1912, т. II, с. 323); ср. в позднейшем стихотворении Н. А. Добролюбова 1857 г. «Я к милой несусь...» (Полн. собр. соч., т. VI, с. 251):

Летит паровоз, точно вихорь степей,
Но мысль и его обгоняет...

³⁹¹ Баратынский Е. А. Соч. 4-е изд. Казань, 1884, с. 539. — Укажем, кстати, любопытное письмо И. Т. Калашикова к П. А. Словцову от 25 августа 1838 г., еще не бывшее в печати, в котором описаны впечатления от поездки по новооткрытой железной дороге: «Век наш есть век идолопоклонства Разуму, потому что в самом деле разум слишком далеко ушел, особенно в изобретениях к выгодам жизни. Часто я езжу в Царское Село — где помещен мой сын в Лицее — по железной дороге. Удивительное изобретение! Представьте, 12 экипажей, из которых каждый есть соединение трех карет — больших 8-местных. Таким образом в каждом экипаже сидит 24 человека, а во всех 288 человек. Все экипажи продолжают сажены на 15. Вся эта страшная масса — этот сухопутный корабль летит до Царского Села (20 верст) едет полчаса. Но вы не примете скорости, если не будете смотреть на окружающие вас предметы: тут не триста, и при этой легкой езде можно читать преспокойно книгу. Вы едва успеете ехать — уже на месте! Между тем огненный конь пускает клубами дым, который разстилается величественным, бесконечным флюгером. В ночное время этот дым освещается пламенем машины, и часто сыплются искры. Удивительная картина! Никак не можешь к ней привыкнуть; совершенное волшебство. Была какая-то старинная сказка, что Емеля-дурачок ездил на печке: теперь все, что было сказкою, видим на деле. Опасности нет никакой... До Царского берут 1 р. 80 к. с человека, тогда как в городе доехать до Невского монастыря должно заплатить по крайней мере

В поэтическом творчестве Пушкина железная дорога не могла найти своего отражения, но как издатель «Современника» он явно представил себе, какое значение может иметь этот вопрос для его журнала; отсюда и его внимание к статье М. С. Волкова. Напомним в связи с этим о заботах Пушкина по привлечению к сотрудничеству в «Современнике» П. Б. Козловского. Уже в первом томе своего журнала Пушкин поместил статью Козловского «Разбор парижского математического ежегодника на 1836 г.», в третьем томе — его же статью о теории вероятностей, которая и раньше уже интересовала поэта;³⁹² наконец, накануне своей гибели Пушкин заказал ему и третью статью — о паровых машинах. Выбор всех этих тем чрезвычайно характерен: верное чутье журналиста подсказывало Пушкину, что именно эти статьи должны привлечь к себе внимание.

«Когда незабвенный издатель „Современника“ убеждал меня быть его сотрудником в этом журнале, — вспоминал П. Б. Козловский вскоре после смерти поэта, — я представлял ему, без всякой лицемерной скромности, без всяких уверток самолюбия, сколько сухие статьи мои, по моему мнению, должныствовали казаться неуместными в периодических листах, одной легкой литературе посвященных. Не так думал Пушкин...»³⁹³

По мнению поэта, в «Современнике» следовало помещать оригинальные научные статьи вместо переводных, которыми пестрели тогдашние русские журналы. В достоверности этого свидетельства П. Б. Козловского сомневаться не приходится. Заинтересованность Пушкина в паровых машинах отмечена также П. А. Вяземским, сообщившим, что накануне дуэли, 26 января 1837 г., на балу у гр. Разумовской Пушкин просил его «написать

1 р. 20 к. — Приготавлиют, говорят, осветить газом; по Невскому паделлапы чугуные столбы и проведены подземные железные трубы. Между тем делали опыт — освещение посредством огня, производимого гальванизмом. Сказывают, от одного фонаря свет немощный, так что для Невского проспекта нужно не более 5 фонарей. — Все это надувает человеческий разум — едва ли не за счет нравственности и религии!» (ИРЛИ, ф. 120, № 37, л. 19об.—21). За указание этого интересного неопубликованного документа приношу благодарность М. П. Султан-Шах.

³⁹² В библиотеке Пушкина (Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 268, № 1070; ср. здесь же, ст. 265, № 1059) сохранились два сочинения о теории вероятностей, среди них знаменитый труд Лапласа «Опыт философии теории вероятностей» в пятом парижском издании 1825 г. (впервые он появился в свет в 1812 г. в качестве введения к его «Аналитической теории вероятностей»). Освобожденный от сложного математического аппарата, «Опыт» представлял собой вполне доступное для неспециалиста изложение применений исчисления вероятностей к азартным играм, к вопросам социальной статистики, к «нравственным наукам» и т. д. Этот и другие труды Лапласа по теории вероятностей были рекомендованы в «Московском телеграфе» (1827, ч. XVI, отд. 1, с. 207) в большой статье, переведенной из работы Франкера, где разъясняется, что это учение «было совершенно неизвестно» древним; «долго окруженная мраком теория сия подвергалась сильным противоречиям и только после трудов Кондорсе, Д. Бернулли и Лапласа сделалась она положительным знанием».

³⁹³ Современник, 1837, т. VII, с. 51.

к кн. Козловскому и напомнить ему об обещанной статье для „Современника“». ³⁹⁴ Посылая эту статью В. Ф. Одоевскому (8 июля 1837 г.), П. Б. Козловский вновь вспоминал о своем обещании, данном Пушкину; ³⁹⁵ наконец, публикуя эту статью в седьмом томе «Современника», П. Б. Козловский свидетельствовал еще раз, что «одно из последних желаний» Пушкина было исполнением того обещания: доставить в „Современник“ статью *о теории паровых машин*, изложенной по моей собственной методе». ³⁹⁶

Таким образом, не только забота о журнале, но и действительный интерес к «точным» наукам («естественным», по терминологии П. Б. Козловского) и их приложениям к технике сопровождал Пушкина до конца его жизни. Это нельзя не отметить как одну из весьма существенных особенностей его мировоззрения поздних лет. Это был не только интерес, но борьба за передовую науку в России, которую он вел последовательно и с глубоким убеждением. Понятнее «наука», как и в прежние годы, сливалось для Пушкина с более общим определением «просвещения», в защиту которого он выступал сам и побуждал выступать своих друзей и сотрудников.

Во втором томе «Современника» 1836 г. (стр. 206—217) В. Ф. Одоевский поместил свою статью «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе». ³⁹⁷ Характерно, что заглавие этой статьи дано Пушкиным, ³⁹⁸ безусловно разделявшим многие положения автора. Статья эта открывается эпиграфом, взятым у М. П. Погодина:

... Нежное растение наука!

Чуть солнце опалит, пль чуть мороз прохватит,
Чуть ветерок похлопнет, пль чуть мороз надолго
К земле приклонится опа ...

В этой статье В. Ф. Одоевский горячо осуждает «новый, действительно чудовищный род литературы, основанный на презрении к просвещению, исполненный ребяческих жалоб на несовершенство ума человеческого, ребяческих воспоминаний о счастливом невежестве предков, возгласов против философии, против машин, и, наконец, исполненный преступных похвал простоте черни и мужеству ремесленников, разрушающих прядильные машины». Одоевский утверждает, что этот род литературы «явился во всех возможных видах: и повестей, и водевилей, и догматиче-

³⁹⁴ Там же, с. 52.

³⁹⁵ Литературное наследство, т. 58, с. 133—134.

³⁹⁶ Современник, 1837, т. VII, с. 52.

³⁹⁷ Модзалевский Б. Л. Записка Пушкина к князю В. Ф. Одоевскому. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1913, вып. XVI, с. 12—13.

³⁹⁸ Впоследствии статья эта перепечатана в «Сочинениях» В. Ф. Одоевского (СПб., 1844, ч. III, с. 360—372).

ских прений»,³⁹⁹ в которых обличают «как раз самое дорогое для России — ее просвещение, не злоупотребления даже наукой, а самое науку: стали высмеивать агрономию, в которой так нуждается земледельческая Россия. . . , толкуют о вреде от излишней учености, о вреде машин. . .».⁴⁰⁰ Вопрос, поднятый этой статьей Одоевского и сформулированный заглавием, данным ей Пушкиным, действительно возникал тогда в русской литературе и публицистике. Разговоры о русской науке и путях ее развития в связи с общим «духом века» не сходили со страниц русских журналов второй половины 30-х годов. Иные из русских журналистов, стоя на воинствующих идеалистических позициях, одно из самых осязательных проявлений «духа времени» видели в чрезмерном и быстром вторжении к нам европейского «индустриализма»; практическое приложение научных знаний рассматривалось то как отвлечение от философских умозрепий, то как прямой подрыв научной теории. Характерно, что «машинизм» и «технизизм» во многих областях знания и даже железнодорожное строительство многие реакционные русские публицисты тех лет рассматривали как прямое посягательство на векозаветные устои и традиционный жизненный уклад, как попытку разрушить старую, привычную науку, на самом деле представлявшую собой рутину. Пушкину было с ними не по пути; статья Одоевского заинтересовала его и была им одобрена потому, что намечала только созревшую тогда проблему.

Гораздо яснее вся эта проблема стала в 40-е годы, когда ее обсуждали с еще большей горячностью. Известно, что в то время ей уделил внимание и Белинский, писавший в статье о Баратынском («Отечественные записки», 1842): «Бедный век наш — сколько на него пападок, каким чудовищем считают его! И все это за железные дороги, за пароходы — эти великие победы его, уже не над материею только, но над пространством и временем! . . Мы еще понимаем трусливые опасения за будущую участь человечества тех недостаточно верующих людей, которые думают предвидеть его погибель в индустриальности, меркантильности и поклонении тельцу златому; но мы никак не понимаем отчаяние тех людей, которые думают видеть гибель человечества в науке. Ведь человеческое знание состоит не из одной математики и технологии, ведь оно прилагается не к одним железным дорогам и машинам. . . Напротив, это только одна сторона знания, это еще только низшее знание, — высшее объемлет собою

³⁹⁹ Там же, с. 363.

⁴⁰⁰ См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 2, с. 393. — Здесь же П. Н. Сакулин указал на рукописные отрывки, примыкающие к этой статье: в одном из них Одоевский говорит: «Нападения против науки, против философии понятия в чужих краях — там оно дело партии — у нас же не имеет никакого смысла; просвещение еще на заре: не может у нас быть в нем злоупотреблений, потому что нет еще и употребления».

мир нравственный, заключает в области своего ведения все, чем высоко и свято бытие человеческое». ⁴⁰¹

Мы имеем все основания полагать, что приблизительно то же думал по этому поводу и Пушкин. Он зорко разглядел все великие вопросы своего времени. Он приветствовал русский технический прогресс как сумму завоеваний цивилизации, которые неизбежно послужат ко благу родной страны и парода. Он верил в науку, считая ее одним из важнейших двигателей культуры, но он был так же далек от односторонних увлечений в науке, как и от односторонних упреков по ее адресу: она предстояла перед ним как единое мощное орудие, оказывающее существенную помощь творческому восприятию действительности.

⁴⁰¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 478, 479.





ПУШКИН И ПРОБЛЕМА «ВЕЧНОГО МИРА»

1

В черновых бумагах Пушкина между записей всякого рода, сделанных им для себя по разным поводам, посреди торопливых строк, закреплявших порою в сокращениях, понятных только самому поэту, разрозненные мысли, суждения о книгах, о людях, есть немало мест, еще ожидающих своего истолкования. Если они даже и прочтены, то мы далеко не всегда уверенно можем сказать, *как* они возникли, *чем* были вызваны, *что* заставило Пушкина набросать их на бумагу, чтобы удержать в своей памяти. Раскрытие подобных мест, своего рода загадок, завещанных нам черновыми рукописями поэта, шло чрезвычайно медленно. Потребовались многие десятилетия упорного труда по собиранию автографов поэта, изучению его почерка, совершенствованию методики дешифровки его рукописей, накоплению данных о самом поэте, процессе его творчества, времени, в которое он жил и т. д., чтобы отдельные черновики, писанные его рукою, поддались прочтению и правдоподобному объяснению.

И все же порою даже всего этого оказывалось недостаточно для проникновения в замыслы или намерения поэта. Отдельные строки и даже целые отрывки рукописей Пушкина становились понятными только в известных исторических условиях; может показаться даже, что они приобретали значение только тогда, когда для этого приходило время. Исторический опыт, сочетаясь с яркими впечатлениями текущего дня, неожиданно подсказывал новое толкование строкам, которые раньше казались темными или малозначащими. Внезапно раскрывалась мысль поэта, поражающая своей силой и яркостью, словно нашедшая своего испытующего читателя именно тогда, когда он ее искал. И тогда лишний раз можно было убедиться в исключительной исторической дальнорзости Пушкина, в его умении увидеть или угадать, понять или предусмотреть многое из того, что волнует людей нашего времени, лучше сказать, наших дней. Он задумывался уже над многими из тех великих проблем, которые

решает наша эпоха, и в пользу именно этих решений выставлял такие доводы, какими можем воспользоваться и мы. Впрочем, все это в одинаковой мере относится не только к рукописям поэта, но и ко всем изданным его сочинениям. Сколько раз, перечитывая Пушкина, наталкиваемся мы на свидетельства того, что его мысль жива и современна нам, что он и поныне еще является соучастником нашей идейной жизни. Как часто вспоминаются при этом и знаменитые суждения о Пушкине прозорливых критиков его времени, Белинского, писавшего о нем как о непрерывно развивающемся явлении нашей культуры, или Гоголя, говорившего о нем как о поэте и мыслителе будущих времен («это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет»). Поистине, Пушкин это какая-то «странная вечность».

Все эти мысли невольно приходят в голову, когда мы перечитываем черновой отрывок Пушкина, посвященный проблемам разоружения будущего человечества, наказания военных преступников, ликвидации войн и установления «вечного мира». Хотя этот отрывок печатается во всех собраниях сочинений Пушкина, но известен он далеко не столь широко, как того заслуживает; помимо этого, в некоторых отношениях он является неясным и спорным и безусловно нуждается в более тщательном разборе и объяснении, чем то, которое удалось представить до сих пор. Так как отрывок этот невелик, необходимо напомнить его текст, чтобы последующий анализ его отдельных строк и положений не повредил цельности впечатления, которое он производит, по крайней мере в своей первой части. Следует также иметь в виду, что отрывок написан по-французски и что в этом, может быть, следует видеть причину его относительной малоизвестности; тем не менее во всех советских изданиях сочинений Пушкина он сопровождается русским переводом, который я и воспроизвожу, не касаясь пока тех мест в транскрипции оригинального французского текста, которые, как мне кажется, пугаются в исправлениях.

«1. Невозможно, чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т. д. Они увидят, что наше предназначение — есть, жить и быть свободными.

2. Так как конституции уже являются крупным шагом в человеческом сознании, и этот шаг не будет единственным — вызывая стремление к уменьшению числа войск в государстве, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, — то возможно, что менее чем через 100 лет не будет больше постоянных армий.

3. Что же до великих страстей и великих военных талантов, то на это всегда будет гильотина, так как обществу мало заботы до восхищения великими комбинациями победоносного генерала — имеются иные дела — и не для того поставили себя под защиту законов». Вслед за этими положениями, как бы развивая

и конкретизируя их, Пушкин ссылается на Ж.-Ж. Руссо, мнения которого, по-видимому, и послужили поводом для записи собственных мыслей поэта о мире и войне. Во всех новейших изданиях сочинений Пушкина дальнейший текст отрывка имеет следующий вид: «Руссо, рассуждавший не так плохо для верующего протестанта, говорит в точных выражениях: „то, что полезно обществу, вводится в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда этому противоречат. Без сомнения, вечный мир в настоящее время весьма нелепый проект; но пусть нам вернут Генриха IV и Сюлли, и вечный мир снова станет благоразумным проектом; или точнее: воздадим должное этому прекрасному плану, но утешимся в том, что он не осуществлен, так как это можно достигнуть только средствами жестокими и ужасными для человечества“. Очевидно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, — революции. Вот они и настали. Знаю, что все эти доводы очень слабы, так как свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не выигравшего ни одной победилки, не имеет никакого веса, — но спор всегда хорош, так как он способствует пищеварению. Впрочем, он еще никогда никого не переубедил» (XII, 480).¹ Таков весь текст, подлежащий исследованию.

Э

Приведенный отрывок долгое время не привлекал к себе никакого внимания, оставаясь не только неопубликованным, но и непрочтенным. Много лет пролежал он в так называемом собрании Майкова автографов Пушкина, в числе тех рукописей, которые впервые описаны были в 1906 г. Однако опись эта была столь краткой и невразумительной, что не возбуждала особой охоты заняться дешифровкой этих записей поэта. В описи говорилось: «Заметки и выписки о государственном строе, отрывки (1820-ые гг.). В четверку, 3 л. Синяя, голубая и сероватая бумага. Среди текста красные цифры (т. е. жандармские пометы): 58, 57, 59. На двух листах текст с одной стороны. Писано по-французски».²

По странной случайности в том же 1906 г. М. О. Гершензон впервые опубликовал отрывок из неизданного письма Екатерины Николаевны Орловой к брату Александру Николаевичу Раевскому из Кишинева (от 23 ноября 1821 г.), в котором есть следующие строки (подлинник по-французски): «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — *вечный мир аббата Сен-Пьера*. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными ха-

¹ Далее зачеркнуто: «только глупцы думают иначе» (XII, 489).

² Пушкин и его современники. СПб., 1906, вып. IV, с. 27, № 13.

рактерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками».³ Это интересное свидетельство обратило на себя внимание и нередко цитировалось в литературе о Пушкине, в частности в начале первой мировой войны;⁴ журнальная статья Гершензона, в которой приводились указанные слова из письма Е. Н. Орловой, перепечатана была два раза (в 1908 и 1923 гг.), что сделало их еще более известными; тем не менее это свидетельство не связывалось ни с какими другими данными и не имело никаких других документальных подтверждений до тех пор, пока не был опубликован интересующий нас отрывок Пушкина.

В 1924 г. в статье «Мысли Пушкина о войне» Б. В. Томашевский впервые привел небольшой фрагмент из этой черновой записи Пушкина по листкам собрания Майкова,⁵ но лишь несколько лет спустя ему удалось разгадать, что вся она находится в теснейшей связи с приведенным выше свидетельством Е. Н. Орловой, что они взаимно дополняют и поясняют друг друга. В 1930 г. Б. В. Томашевский опубликовал запись Пушкина полностью со своими комментариями.⁶ С тех пор отрывок начал печататься во всех собраниях сочинений Пушкина, под разнообразными заглавиями редакторов: по первой строке («Невозможно, чтобы люди...»), или «Заметки по поводу суждения о проекте вечного мира», или «Запись споров о вечном мире», или просто «О вечном мире».⁷ Во всех новейших изданиях сочинений (не исключая и последнего по времени парижского издания 1958 г.)⁸ текст отрывка дается в чтении Б. В. Томашевского. Ему неоспоримо принадлежит та заслуга, что он первый обнаружил, прочел и напечатал этот отрывок, он также датировал его. Письмо Е. Н. Орловой, устанавливающее, что «вечный мир» является «теперешним коньком» Пушкина, помечено 23 ноября 1821 г. Очевидно, что и отрывок относится к тому же времени. Мы узнаем теперь и место действия — Кичинев, квартира генерала М. Ф. Орлова, октябрь—ноябрь 1821 г. Е. Н. Орлова указала и на источник суждений Пушкина — труды о вечном мире аббата Сен-Пьера, французского писателя раннего просвещения (1658—1743). Сопоставляя

³ См.: Гершензон М. Семья декабристов: (По неизданным материалам). — Былое, 1906, № 10, с. 308.

⁴ Интерес Пушкина к проекту аббата Сен-Пьера отметил Б. М. Эйхенбаум в статье «Проблема „вечного мира“» (Русская мысль, 1914, № 8—9, с. 116—119).

⁵ Жизнь искусства, 1924, 10 июня, с. 3.

⁶ Томашевский Б. Пушкин и вечный мир. — Звезда, 1930, № 7, с. 227—231.

⁷ Первые отрывок вошел в издание Полного собрания сочинений Пушкина в шести томах (М.: Л., 1931, т. V, с. 411).

⁸ Pouchkine. Œuvres complètes: Autobiographie, critique, correspondance / Éd. H. Meynieux. Paris, [1958], p. 36—37 (D'un carnet de notes. «Sur la Paix perpétuelle»).

эго указание с упоминанием в заметке Пушкина Ж.-Ж. Руссо, который, как известно, был автором краткого изложения проекта «вечного мира» Сен-Пьера и своего «Суждения» о нем, мы получаем надежное свидетельство и о тех книгах и о том круге идей, которые стали предметом спора. Все это было установлено Б. В. Томашевским прочно, незыблемо и вошло в широкий обиход пушкиноведения.

Тем не менее с 1930 г., когда появился первый, написанный Томашевским комментарий к этому отрывку, сколько мне известно, не было сделано никаких попыток его проверки или пополнения. Эти краткие выводы появившейся 1930 г. повторяются и допущены во всех новых изданиях сочинений Пушкина. Основную свою аргументацию Б. В. Томашевский сохранил, приведя ее лишь в несколько расширенном виде, на тех страницах своей последней книги о Пушкине, где идет речь об интересующем нас отрывке.⁹

Между тем еще далеко не ясными представляются ответы на многие из тех вопросов, которые ставит нам пушкинский текст. Полностью ли он дошел до нас? Доказано ли, что отрывок представляет «запись споров» о вечном мире и как в таком случае определяются границы собственных суждений Пушкина на эту тему? Достаточно ли объяснен повод возникновения этих споров и причины увлечения Пушкина всей проблемой в целом? Служила ли запись Пушкина комментарием его собственных мнений, которые он собирался предложить спорщикам, или же он старался удерживать в памяти весь ход спора, уже состоявшегося ранее? Подобных вопросов возникает много, и далеко не на все из них при дальнейшем изучении отрывка можно будет получить исчерпывающие ответы. Но гипотетические объяснения важнейших из этих недоумений не только возможны, но и обязательны, если мы хотим получить ясное представление об отрывке, его происхождении и месте, которое занимает он в истории идейного развития Пушкина в период его южной ссылки.

Сомнения вызывает уже самый текст отрывка, в особенности вторая, заключительная его часть.¹⁰ Хотя весь отрывок написан четко, уверенной рукой, по уже на первом листке беловой текст с поправками переходит в черновой; так, второе из трех положений, которыми начинается текст, подверглось особенно сильным переделкам и заключает в себе ошибку (оно вторично помечено цифрой 1). Дальнейшая запись велась с еще большей поспешностью: Пушкин не только зачеркивал, но и сокращал при писании

⁹ Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956, кн. 1 (1813—1824), с. 534—537; то же см. в кн.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 135—138.

¹⁰ Мы пользовались автографом, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (ф. 244, оп. 1, № 284, л. 1—1 об.). Краткое его описание см. в кн.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937, с. 111, № 284.

отдельные слова и фразы, прибегая для скорости даже к характерным аббревиатурам (пользуясь, например, чертой для обозначения удвоенных согласных: со^тме вм. comme, perso^тме вм. personne). В недописанной строчке на втором листке троеточие, заключенное в скобки, указывает, что она должна была быть полнена цитатой, и т. д.

Что касается сокращенных слов, то их можно читать по-разному, и предлагаемое Б. В. Томашевским чтение не всюду является бесспорным и обязательным. Наиболее удачным и правдоподобным представляется мне раскрытие сокращения в строке: «Je sais bien que toutes ces r. s. tr. mau». «Сокращенные слова вписаны. Может быть, их следует читать так: toutes ces raisons sont très mauvaises», — догадывался Томашевский. В рукописи мы находим также следующую фразу: «Rousseau qui ne raisonnait pas mal pour un Cr. de prot. dit en propres termes». Впервые публикуя этот текст, Томашевский писал: «В подлинном тексте не совсем ясно сокращение, которое я условно расшифровываю croyant de protestantisme» (верующий протестант).¹¹ Несмотря на оговорку, это «условное» чтение удержано во всех последующих перепечатках отрывка в изданиях Пушкина, большей частью даже без ломаных скобок или пастораживающего знака вопроса; это предположительная копьектура донныне прочпо сохраняется традицией.

Вдумаемся, однако, в эту поистине страшную фразу: «Руссо, рассуждавший не так плохо для верующего протестанта. . .». Пушкин, разумеется, хорошо знал, каково было вероисповедание «жениевского гражданина», но почему мог он сомневаться в умственных способностях протестантов XVIII столетия? Где и когда давал он повод для того, чтобы мы могли приписать ему такой образ мыслей? Какое значение могла иметь такая оговорка для логики всего рассуждения, если сам Руссо, излагая политические мнения и проекты католического аббата Сен-Пьера, ни словом не упомянул о вероисповедных с ним различиях? Очевидно, сокращенное слово «Cr.» следует расшифровывать не как «croyant», а иначе. Не предвешая окончательного суждения по поводу этого текстологического казуса, требующего, по-видимому, пересмотра и особого обоснования предположительного чтения всех спорных мест указанного отрывка, укажем в качестве догадки, что ипстригующие сокращенные слова «Cr. de prot.» (или de prof, du proj. и т. д.) мы могли бы читать не croyant de protestantisme, а critique de profession, critique du projet, — «профессиональный критик», «критик проекта» и т. д. Одно из подобных обозначений было бы гораздо естественнее в устах Пушкина, поскольку он в данном случае высказывал мнение о Руссо прежде всего как о критике проектов Сен-Пьера и воздавал ему должное именно в этом смысле, хотя и с известными ограничениями. Равным образом, цитата из Руссо, которую Пушкин имел в виду, ныне включается в текст

¹¹ Томашевский Б. Пушкин и вечный мир, с. 229.

его записи по догадке, хотя и правдоподобной, но не исключаящей другие предположения. Внимательно вчитываясь в то сочинение Руссо, из которого могла быть извлечена нужная Пушкину цитата, мы можем найти еще несколько аналогичных мест, которые с такой же, если не с большей вероятностью, могли обратиться на себя его особое внимание. Но если эта цитата вызывает сомнения, то тем самым нарушается вся логика рассуждения в фрагменте Пушкина и те выводы, которые можно из него извлечь. Ощущение недосказанности, разорванности, нестройности действительно не покидает нас при чтении заключительных строк отрывка Пушкина. Зачем Пушкину нужно было цитировать эти слова Руссо: «Без сомнения, вечный мир в предстоящее время весьма желанный проект; но пусть нам вернут Генриха IV и Сюлли, и вечный мир снова станет благоразумным проектом»? Без предшествующих им страниц, на которых Руссо доказывает, что Сен-Пьер заимствовал свои идеи о вечном мире из проекта герцога Сюлли об организации «лиги христианских государей», указанные слова, которые Пушкин якобы поместил для выписки («Rousseau... dit en propres termes»), могут быть поняты превратно. В какую связь становится эта цитата с пушкинскими словами о значении революций для будущего вечного мира? И почему Пушкин далее иронически и даже пренебрежительно отзывается о Руссо, если в указанном сочинении, которое сам Руссо не мог напечатать при жизни, он объявляет себя убежденным сторонником народовластия?

Приходится признать, что текст заметки Пушкина разобран только предположительно, что он истолкован еще не до конца и что дальнейшие догадки по его расшифровке не только возможны, но и просто необходимы. Однако они останутся бесплодной игрой воображения, если мы не подыщем для них прочных оснований и не постараемся представить себе сущность спора, возникшего в Кишиневе в ноябре 1821 г., и возможное отношение к нему собеседников.

3

Участников спора и обстановку, в которой возникли самые споры, мы представляем себе довольно отчетливо. Напомним несколько общезвестных фактов. Дело происходило в кишиневском доме генерала М. Ф. Орлова, одного из виднейших деятелей Союза благоденствия, командовавшего здесь 16-й дивизией. Пушкин знал М. Ф. Орлова по «Арзамасу» и еще в Кишиневе иногда именовал его по его арзамасскому прозвищу — «превосходительный Рейн». М. Ф. Орлов, со своей стороны, следил за успехами Пушкина на литературном поприще и вспоминал его еще до того, как они встретились и закрепили свою дружбу в Кишиневе: «поклон юному Аруэту» (т. е. Вольтеру) — Пушкину М. Ф. Орлов посылал в июле 1820 г. в письме к А. Н. Раевскому из Кавказа. В мае 1821 г. М. Ф. Орлов женился на Екатерине Нико-

лаевне Раевской, представительнице семьи, столь близкой Пушкину в годы его южной ссылки,¹² и зажил в Кишиневе открытым домом, игравшим роль и политического салона, и места конспиративных встреч кишиневской ячейки тайного общества. В любом очерке жизни Пушкина кишиневских лет можно найти более или менее подробную характеристику той общественной среды и идейной атмосферы, в которой поэт находился во второй половине 1821 г., и того значения, какое имело для него дружеское общение с четой Орловых.

В их доме он бывал едва ли не ежедневным гостем. В переписке Орловых с Раевским (к сожалению, донные известной только в отрывках) неоднократно идет речь о Пушкине. Александр Раевский через сестру посылает ему приветы (5 ноября), а Екатерина Николаевна в свою очередь пишет брату, что Пушкин «очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает и болтает очень приятно» (12 ноября 1821 г.); «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша...».¹³ Среди прочих частых гостей Орловых необходимо отметить как возможных участников интересующего нас спора майора В. Ф. Раевского, И. П. Липранди.¹⁴ Известна злобно язвительная характеристика этого салона, данная Ф. Ф. Вигелем в его «Записках», и вполне дружелюбные отзывы В. П. Горчакова, также бывавшего здесь запросто вместе с Пушкиным.

В своих воспоминаниях В. П. Горчаков, в частности, рассказывает, как однажды он обедал у Орлова вместе с Пушкиным:

¹² О предполагаемой женитьбе М. Ф. Орлова Пушкин писал из Кишинева А. И. Тургеневу (7 мая 1821 г.) и упомянул об этом в стихотворном послании к В. Л. Давыдову. В письме к П. А. Вяземскому (Кишинев, 2 января 1822 г.) есть такая фраза: «Пишу тебе у Рейна — все тот же он, не изменился, хоть и женился». О характере отношений его с Орловыми мы находим следующее свидетельство В. П. Горчакова: «В половине 1821 г. М. Ф. Орлов приехал назад в Кишинев с молодой женою, Екатериной Николаевной, урожденной Раевской. Пушкин необыкновенно уважал ее; но с самим Орловым он не чинился и валялся у него на диванах в бархатных шароварах. Орлов улыбался и раз сказал ему известные стихи:

Мои, твои права равны;
Да мой сапог тебе не впору.

— Эка важность, сапоги! — возразил Пушкин: у слона еще больше должны быть сапоги. Орлов говорил ему ты, Пушкин ему вы» (в кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. 1950, с. 223—224).

¹³ Выдержки из этих писем, приведенные уже Гершензоном, цитируются также М. А. Цявловским, по сверке их с подлинными автографами, хранящимися в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина. (Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, М., 1951, т. I, с. 316—317).

¹⁴ О взаимоотношениях Липранди, Пушкина, В. Ф. Раевского, М. Ф. Орлова интересные замечания сделал П. А. Садилов («И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов» в кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии М.; Л., 1941, вып. 6, с. 266—295).

«Пушкин говорил довольно много и не скажу, чтобы дурно, вопреки постоянной придирчивости некоторых, а в особенности самого М. Ф. Орлова», который утверждал, что Пушкин так же дурно говорит, как хорошо пишет; но мне постоянно казалось это сравнение преувеличенным. Правда, что в рассказах Пушкина не было последовательности, все как будто в разрыве и очерках, но разговор его всегда был одушевлен и полон пачатков мысли. Что же касается до чистоты разговорного языка, то это иное дело: Пушкин, как и другие, воспитанные от пеленок французами, употреблял иногда галлицизмы. Но из этого не следует, чтоб он не знал, как замешать их родной речью».¹⁵ Это свидетельство очевидца одного из жарких споров, возникших за обеденным столом у Орлова, самим мемуаристом отпесено к марту 1821 г., т. е. еще до жемчужбы Орлова, споры велись тогда преимущественно по-русски; появление в доме Е. П. Орловой в качестве хозяйки, вероятно, способствовало переходу собеседников на французский язык; в позднейшем письме к брату (27 июля 1821 г., Кишинев) Пушкин просил его: «... пиши мне по-русски, потому что, слава богу, с моими конституционными друзьями¹⁶ я скоро позабуду русскую азбуку» (XIII, 30). Этим, по-видимому, и объясняется, что запись спора о «вечном мире» сделана Пушкиным по-французски.

О горячности Пушкина в это время, о его постоянной готовности отстаивать свои мнения перед кем угодно, о его «мгновенных взрывах» во время беседы мы находим много указаний у различных мемуаристов, у того же Горчакова, И. П. Липранди и других. П. И. Долгоруков пишет в своем дневнике (от 18 января 1822 г.): «Рассказывают, что за столом у генерала Орлова Пушкин отпустил ему, разгораясь: *Vous raisonnez, Général, comme une vieille femme* (вы, генерал, рассуждаете, как старая баба). Орлов на это отвечал: *Pouchkine, vous me dites des injures; prenez garde à vous* (Пушкин, ты мне говоришь дерзости, берегись)».¹⁷

Среди «спорщиков», часто бывавших в доме Орлова, выделялся как опытный диалектик и пропагандист В. Ф. Раевский; Пушкин нередко павещал и его. В. П. Горчаков добродушно рассказывает, что спор разгорался в особенности, «если Пушкин, вопреки мнению Раевского, был одного мнения со мною...», мы, кажется, взаимно тешились очередным воспламенением спора, который, продолжаясь иногда по несколько часов, ничем не оканчивался, и мы расходились по-прежнему добрыми приятелями до новой встречи и неизбежного спора».¹⁸

¹⁵ Пушкин в воспоминаниях современников, с. 196; по словам Горчакова, спор М. Ф. Орлова с Пушкиным однажды коснулся «Душеньки» Богдановича (там же, с. 195—196).

¹⁶ Б. Л. Модзалевский объясняет, что под своими «конституционными друзьями» Пушкин разумел М. Ф. Орлова, П. И. Пестеля, В. Ф. Раевского (см.: Пушкин и Письма. М.; Л., 1926, т. I, с. 228).

¹⁷ Дневник Долгорукова. — Звенья. М.; Л., 1951, т. IX, с. 29.

¹⁸ См.: Пушкин в воспоминаниях современников, с. 197.

Припомним, кстати, конец интересующей нас записи Пушкина: «...но спор всегда хорош, так как он способствует пищеварению. Впрочем, он еще никогда никого не переубедил (только глупцы думают иначе)». Эту шутливую мысль нельзя, однако, принимать всерьез: споры происходили тогда не по пустякам и не ради искусства спорить. Один из таких споров воспроизведен самим В. Ф. Раевским в его «Вечере в Кишиневе»;¹⁹ несогласия его с Пушкиным были литературно-эстетического порядка. Для дебатов более жарких, острых, откровенных избирались предметы более важные: недаром о них меньше всего говорят нам источники; следы их могли быть уничтожены вместе с бумагами Раевского перед его арестом (о котором его предупредил, как известно, Пушкин), вместе с компрометирующими бумагами М. Ф. Орлова, наконец, и самого Пушкина. Вот почему дошедшие до нас листки с записью Пушкина о проблеме вечного мира имеют такое большое значение.

Имея в виду, что запись эта делалась в конце ноября 1821 г., не забудем, что в середине этого же месяца была закрыта кишиневская масонская ложа «Овидий», что уже собиралась гроза над той дивизионной школой, которой руководил В. Ф. Раевский, что 3 декабря того же года произошли события в Камчатском полку, входившем в 16-ю дивизию, которой командовал Орлов, вызвавшие строгое расследование и окончившиеся полным разгромом кишиневской группы декабристов.²⁰

Обратим в связи с этим внимание на то, что интересующие нас листки Пушкина были вырваны им из одной из двух его кишиневских тетрадей; сохранился кусок смежного листа.²¹ Зачем Пушкин вырвал их? Не из опасений ли, что они обратят на себя внимание постороннего взора? Не из той же ли осторожности не вписал он в рукопись намеченную к выписке цитату из Руссо и заключил запись намеренно шутливой концовкой о бесполезности спора, как бы заметая следы более ответственных мыслей, которые было опасно доверять бумаге? Во всяком случае, кажется бесспорным, что указанные листки являются одним из важных источников для изучения политических воззрений Пушкина в конце 1821 г. и что следует дорожить каждой мелочью, чтобы восстановить их правильное чтение и дать им правдоподобное истолкование.

¹⁹ Литературное наследство, т. 4, т. 16—18, с. 657—666. — Допныне не объяснено еще, что имел в виду Пушкин, когда писал брату из Кишинева 24 сентября 1820 г.: «Михайло Орлов с восторгом повторяет... *Русским безвестную!*... я также» (Пушкин. Письма, т. I, с. 14 и 216). Подлинник этого письма дошел до нас в поврежденном виде; случайностью ли, однако, следует объяснять тот факт, что автограф прожжен в тех местах, где поставлены точки?

²⁰ См.: Базанов В. 1) Декабристы в Кишиневе: (М. Ф. Орлов и В. Ф. Раевский). Кишинев, 1954; 2) В. Ф. Раевский: Новые материалы. М.; Л., 1949.

²¹ Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме, с. 111.

Имя Ж.-Ж. Руссо — единственное, которое Пушкин упоминает в своем отрывке. Если бы мы не имели параллельного свидетельства Е. Н. Орловой о том, что Пушкин носится с проектом вечного мира аббата Сен-Пьера, было бы трудно указать, какое из сочинений Руссо Пушкин в данном случае имел в виду. Не подлежит, однако, сомнению, что именно на юге Пушкин впервые начал серьезно знакомиться с его сочинениями. «По-видимому, по-настоящему к чтению сочинений Руссо Пушкин приступил только в 1820 г.», — отмечал Б. В. Томашевский, обращая внимание на то, что до этого Руссо упомянут Пушкиным лишь однажды в «Городке» «без всякой характеристики» и что, по-видимому, «в лицейское время он был для Пушкина главой чувствительного направления, сентиментальным прозаиком»,²² в 20-е же годы Пушкин впервые заинтересовался философскими и публицистическими работами Руссо.

Ряд данных свидетельствует, что в Кишиневе между 1821—1823 гг. в руках у Пушкина было какое-то французское издание сочинений Руссо. В письме к Н. И. Гнедичу (29 апреля 1822 г., Кишинев) Пушкин вспоминает «прелестную быль о Пигмалионе», которая нравилась «пламенному воображению Руссо» (XIII, 372); французская цитата из Руссо²³ в письме к П. А. Вяземскому (март 1823 г., Кишинев) скорее всего ведет нас к «Исповеди» Руссо, как и некоторые черновики «Отрывков мыслей и замечаний», пачатых в Кишиневе и переработанных шесть лет спустя.²⁴ В примечаниях к первой главе «Евгения Онегина» (писанной в 1823 г.) приведена большая выписка из «Исповеди» Руссо (ч. II, кн. 9), и та же книга имеется в виду в письме Пушкина

²² Томашевский Б. Пушкин и французская литература. — В кн.: Литературное наследство, 1937, т. 31—32, с. 42; см. также: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 132. — Об отношении к Ж.-Ж. Руссо Пушкина в период его южной ссылки см. в статье Ю. М. Лотмана «Руссо и русская культура XVIII—нач. XIX века», в прилож. к кн.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 590—598 (сер. «Литературные памятники»). — «Бесспорно, что самостоятельное отношение Пушкина к Руссо сложилось именно в связи с общим идейным влиянием на него декабристов Юга», — справедливо отмечает здесь Ю. М. Лотман; однако в этой статье об идеях Руссо о вечном мире, в связи с Сен-Пьером, и об отношении к этим проблемам Пушкина речь не идет. Отметим кстати, что в указанном новейшем издании «Трактатов» Ж.-Ж. Руссо напечатано «Суждение о вечном мире» в переводе А. Д. Хаютина (с. 142—150). В комментариях к «Суждению» (с. 638—639) из русских литераторов упоминают лишь его первый переводчик на русский язык — И. Ф. Богданович (с. 638).

²³ Цитируя здесь слова Руссо о «ремесле» писателя, которое он назвал «паболес подлым» («le plus vil des métiers»), Пушкин заметил, что, говоря так, Руссо «не впервой соврал», потому что это ремесло «не подлее других» (XIII, 59, 525).

²⁴ К «Исповеди» ведет нас также и фраза из позднейшей статьи Пушкина («О ничтожестве литературы русской»), где Руссо назван «задумчивым» (в черповом варпанте «задумчивым софистом»; XI, 272, 507).

к П. А. Вяземскому (сентябрь 1825 г.) в строках о Байроне: «... его бы уличили, как уличили Руссо». Наконец, руссоистские идеи отразились в «Кавказском пленнике» и особенно в «Цыганах»: в опущенной из окончательного текста поэмы, но оставшейся в черновиках речи Алско к сыну находят следы внимательного чтения Пушкиным той же «Исповеди» Руссо.²⁵ Ничто не препятствует нам допустить, что если Пушкин знал «Исповедь» Руссо в 1822—1823 гг., то он был знаком с ней и раньше — в январе 1821 г. Именно в «Исповеди» Руссо, и как раз в той ее части и книге, из которой Пушкин извлек цитату для первой главы «Евгения Онегина», он мог найти подробный рассказ Руссо о том, как возникли его работы о Сен-Пьере.

Руссо довольно много говорит в «Исповеди» о Сен-Пьере (ч. II, кн. 9 и 11) и дает ему здесь довольно полную характеристику как прекраснородушному мечтателю, не имевшему ни малейшего понятия о действительной жизни. Когда племянник аббата обратился к Руссо с предложением просмотреть все печатные сочинения его дяди и все оставшиеся от него рукописи, чтобы подготовить их для нового издания, Руссо оказался в затруднении, стоит ли ему приниматься за это и какую форму следует придать такому труду. Возникший у него интерес к рукописям аббата не оправдался; оказалось, что в них не нашлось ничего особенно достопримечательного; что же касается его печатных сочинений, то в них «попадались превосходные мысли, но они были так плохо выражены, что чтение их являлось нелегким делом». «Предстояло прочесть, продумать, изложить двадцать три тома — расплывчатых, нелепых, полных длиннот, повторений, близоруких или ложных взглядов, среди которых падо было выудить несколько великих, прекрасных мыслей, дававших мне мужество перенести тяжкое бремя этой работы». Как следовало взяться за нее? «Оставить вымыслы без опровержения — значило не сделать ничего полезного, опровергнуть их со всей строгостью — значило поступить нечестно <...> Наконец, — продолжает Руссо, — я принял решение, показавшееся мне самым пристойным, разумным и целесообразным: изложить идеи автора и свои собственные отдельно, а для этого стать на его точку зрения, осветить, развить и сделать все, чтобы ее можно было оценить по достоинству». Первый опыт Руссо сделал с «Проектом вечного мира», который он называет «самым значительным и самым работанным из всех сочинений аббата».²⁶

В 11-й книге второй части Руссо подробно рассказывает, как напечатано было составленное им изложение, или «Сокращение» (как его обычно у нас называли), проекта вечного мира аббата

²⁵ См.: Винокур Г. Монолог Алеко. — Литературный критик, 1937, № 1, с. 217—231.

²⁶ Руссо Ж.-Ж. Исповедь. М., 1949, с. 385. — Пользуюсь напечатанным здесь переводом М. Розанова и Д. Горбова, сверяя его по изданию: *Œuvres complètes de J. J. Rousseau avec des notes historiques par G. Peltan*. Paris, 1839, t. I.

Сен-Пьера и какова была судьба одновременно написанного им «Суждения» об этом произведении Сен-Пьера. «Сокращение» Руссо уступил де Бастиду, редактору журнала «Monde»: «... мы договорились о том, что отрывок этот будет напечатан у него в журнале, но как только он завладел рукописью, то пошел более удобным напечатать ее отдельно, с некоторыми сокращениями по требованию цензора... Что было бы — если б я присоединил к этому труду и свою критику? (т. е. «Judgement», — М. А.), — спрашивает Руссо. — К счастью, я ничего не сказал о ней де Бастиду, и она не входила в наш договор. Критика эта и теперь еще находится в рукописи среди моих бумаг. Если она когда-нибудь увидит свет, то убедается, как жалки были мне шутки и самодовольный тон Вольтера по этому поводу, ибо я хорошо знал меру способности этого бедняги в политических вопросах, которые он брался обсуждать».²⁷

«Мой труд должен был состоять из двух совершенно различных частей», — сообщает Руссо далее. Одна из них предназначалась для изложения проектов Сен-Пьера, другая, по его замыслу, должна была появиться «лишь после того, как первая произведет свое действие», и в ней он намеревался высказать «свое суждение об этих самых проектах». Руссо не случайно прибавляет тут же, что его «Суждение» могло бы подвергнуть эти творения аббата «участии сонета в Мизантропе». Чтобы правильно оценить этот недвусмысленный намек, надо иметь в виду ту сцену знаменитой комедии Мольера (д. I, явл. 2), где Альцест прямодушно и без всяких стеснений высказывает свое суровое мнение о сонете Оронта, утверждая, например,

... что надо, разум свой исправно в руки взяв,
Не выносить на свет плоды своих забав,
И что желанье всем читать творенья эти
Способно выставить творца в печальном свете...

Таким образом, следует строго различать составленное Руссо и изданное в 1761 г. «Сокращение проекта вечного мира» («Extrait du projet de paix perpétuelle») и его же «Суждение относительно проекта о вечном мире» («Judgement sur la paix perpétuelle»). Последнее впервые увидело свет только через двадцать лет после смерти Руссо и лишь с конца XVIII в. стало входить в собрание его сочинений.²⁸ Хотя обе эти небольшие работы и написаны были Руссо почти одновременно, но они не столько дополняют друг друга, сколько вступают между собой в противо-

²⁷ Руссо Ж.-Ж. Исповедь, с. 491; Œuvres complètes de J. J. Rousseau... t. I, p. 530—531.

²⁸ «Extrait du projet» издано было в 1761 г. трижды в Париже (без обозначения места и года), в Амстердаме — Мишелом Ресм (контрафакция) и, наконец, вместе с памфлетом Вольтера «Рескрипт о вечном мире китайского императора», без обозначения года и места печати. См.: Se n é l i e r Jean. Bibliographie générale des œuvres de J. J. Rousseau. Paris, 1950, p. 180—181. — Последующие издания были весьма многочисленны.

речие: в «Суждении» Руссо подвергает проекты аббата самой суровой критике.

Сен-Пьер многословно изложил в своем трактате идею союза пескольких европейских держав и состоящего при нем свособразного арбитражного совета, который был бы в состоянии разрешать мирным путем или предотвращать возникавшие между государствами военные конфликты.²⁹ Как отметил уже и Руссо, эта идея не была особенно новой, поскольку Сен-Пьер в значительной мере исходил из так называемого Великого плана французского короля Генриха IV и его министра герцога Сюлли, предлагавших создать союз «христианских монархов» Европы, направленный против турок, но, в сущности, также и для ослабления могущества габсбургского дома.³⁰ Внимание Сен-Пьера, а за ним и Руссо к этому проекту более чем столетней давности вполне объяснимо: французские просветители рапшей цоры, как известно, весьма почитали Генриха IV, видя в нем образец «просвещенного» монарха; недаром он стал героем эпической поэмы Вольтера («Генриада»). Впрочем, и этому «плану» предшествовал длинный ряд аналогичных проектов еще более раннего времени.

В своем «Сокращении» Руссо добросовестно изложил проект Сен-Пьера, и это краткое, но ясное изложение его основных предложений о «вечном мире» сделало их чрезвычайно популярными.

Именно это «Сокращение» в большей мере, чем многословные писания самого аббата, дало целое направление буржуазному пацифизму. Самую идею осуществимости прочного мира с помощью пековой международной организации стали связывать с именем Сен-Пьера. Проекты «вечного мира» плодились везде, куда только пропикали идеи просветительского века. Во Франции от д'Аржансона, Вольтера, Руссо до д'Аламбера и Мерсье, в Германии — от Лейбница, Гердера и до Канта тянется длинный ряд обсужде-

²⁹ Существует две редакции этого труда Сен-Пьера (ше во всем сходные между собою): полная, изданная в трех томах (1713—1716) и сокращенная под заглавием «Abrégé du projet de paix perpétuelle». О проекте Сен-Пьера существует огромная литература на всех европейских языках. См.: Лодыженский Андрей. Проекты вечного мира и их значение. М., 1880, с. 141—145; Яценко А. Международнй федерализм: Идея юридической организации человечества в политических учениях до конца XVIII в. М., 1908, с. 293—296; Drouet Joseph. L'abbé de Saint-Pierre: L'homme et l'oeuvre. Paris, 1912; Börner Wilhelm. Das Weltstaatsprojekt des Abbé de Saint-Pierre: Ein Beit zur Geschichte des Weltfriedensidee. Berlin; Leipzig, 1913, и др.

³⁰ О «Великом плане» Генриха IV—Сюлли см.: Яценко А. Международнй федерализм, с. 281—282. — Здесь же подробно характеризованы проекты французского публициста времени Филиппа Красивого Пьера Дюбуа (XIV в.), чешского короля Георгия Подибрада (XV), гугенота XVII в. Эмерика Круссе (с. 268 и сл.) и т. д. Ср.: Raumer Kurt v. Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance. Freiburg; München, 1953; см. также сборник, составленный И. С. Андреевой и А. В. Гулыгой, — «Трактаты о мире» (М., 1963), где проект Сен-Пьера напечатан (с. 107—149) вместе с предшествовавшими ему сочинениями Эразма Роттердамского, Яна-Амоса Коменского и Вильяма Пешна.

ний этой проблемы в книгах и статьях, трактатах и памфлетах — и все они так или иначе связаны с Сен-Пьером (в особенности в тех случаях, когда речь идет о проектах того или иного международного органа) независимо от того, основаны ли они на его предпосылках или подвергают их критике.³¹

Если д'Аржансон, этот типичный представитель ранней фазы французского Просвещения, охотно называвший себя «учеником» Сен-Пьера, относился к его проектам с полным доверием, пытаясь даже развивать их, то уже Вольтер оценивал их с нескрываемым сарказмом. Хотя Вольтер и ненавидел войну, считая ее несчастием человеческого рода, но о миролюбивых мечтаниях «Сен-Пьера из Утопии», как он однажды назвал этого прекрасного оптимиста (см. письмо Вольтера к Терию от 31 октября 1738 г.), всегда отзывался то иронически, то с острой насмешкой. Присущий Вольтеру здравый смысл подсказывал ему, что на истребление войн в недалеком будущем трудно надеяться; он предпочитал задумываться над тем, не являются ли войны очевидным свидетельством неразумия человеческого рода; этому, в частности, посвящена его статья «Война» в «Философском словаре», где утверждается, что разум, казалось бы, дан человеку вовсе не для того, чтобы опускаться до уровня животных, «тем более что природа не снабдила их ни орудиями уничтожения себе подобных, ни инстинктом высасывать у них кровь».³² В двух особых памфлетах Вольтер подверг осмеянию идеи Сен-Пьера. В одном из них, написанном в 1769 г. от имени некоего воображаемого англичанина, «доктора Добросердечного», Вольтер утверждал: «Мир между людьми может быть установлен лишь одной терпимостью; мир же, воображаемый неким французом по имени Сен-Пьер, это химера, осуществимая между князьями в такой же степени, как и между слонами и посорогами, волками и собаками. Хищные животные всегда, при первом удобном случае, будут разрывать друг друга на части».³³ В более раннем и остро сатирическом памфлете начала 60-х годов (который, по-видимому, Руссо и имел в виду в вышенаведенной цитате из «Исповеди») Вольтер высмеял мирные проекты Сен-Пьера с точки зрения столь же фантастического, как и его доктор-англичанин, «китайского императора».³⁴ Если Вольтер и не вовсе отвергал возможности установления «вечного мира», то он считал их делом очень отдаленного будущего.³⁵

³¹ Помимо литературы, указанной выше, см. содержательную статью: Bahner Werner. Der Friedensgedanke in der Literatur der französischen Aufklärung. — In: Grundpositionen der französischen Aufklärung. Berlin, 1955, S. 139—208 (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft, Bd. I).

³² Voltaire. Dictionnaire philosophique — Œuvres complètes / Éd. L. Mo-land, t. XIX, p. 318.

³³ Voltaire. De la paix perpétuelle, par de docteur Goodheart. — Œuvres complètes, t. XXVIII, p. 105.

³⁴ См. выше, с. 186.

³⁵ К точке зрения Вольтера близок также д'Аламбер, который в своем «Eloge de l'abbé Saint-Pierre», читанном на публичном заседании Фран-

В середине XVIII столетия, когда в печати появилось «Сокращение проекта мира», составленное Руссо, идеи Сен-Пьера повсеместно широко обсуждались. Так, например, в 1757 г. со своим «проектом» выступил Анж Гудар, полагавший, в частности, что хорошим началом для достижения конечной цели было бы обусловленное международным соглашением всеобщее прекращение военных действий на двадцать лет.³⁶ В 1766 г. Французская Академия объявила конкурс на лучшее сочинение на следующую тему, предложенную лицом, пожелавшим остаться неизвестным и доставившим Академии необходимую денежную сумму для вручения победителю в качестве награды: «Представить выгоды мира, внушить отвращение к опустошениям войны и вызвать все нации к объединению для установления постоянного мира». Первая премия была вручена знаменитому впоследствии литературному критику Жаку-Франсуа Лагарпу за сочинение под заглавием «О бедствиях войны и выгоде мира», в котором он красноречиво взывал к человеческому разуму и высказывал надежду, что однажды наступит счастливое время, когда международные отношения будут строиться на основах морали. Другой французский публицист, Гайар, также откликнувшийся на этот же конкурс, в своем сочинении выступал с еще более патетической апологией мира против войн, этого «бича человечества»: выдвинув проект международного судилища как средства ликвидации военных конфликтов, Гайар призывал Францию взять инициативу в свои руки и действовать во имя мира в духе Генриха IV и Сен-Пьера.³⁷

В 1782 г. во Франции появился еще один трактат на эту же тему, якобы переведенный с английского, с предложением международной организации европейских дипломатов для обеспечения мира, а в 1788 г. в Швейцарии (в Лозанне) появился еще один анонимный «Новый опыт проекта постоянного мира», автором которого был Палье де Сеп-Жермен. В этой работе обращает на себя внимание острая критика монархов, ведущих войны в своекорыстных целях, по принуждающих к этому подвластные им па-

дузской Академии в 1755 г., критически отнесся к проекту «вечного мира» как неосуществимому, поскольку Сен-Пьер не считается со «страстями», присущими «властителям», и слишком оптимистически взирал на будущее (D'Alembert. *Œuvres philosophiques, historiques et littéraires*. Paris, 1805, t. XI, p. 101).

³⁶ См.: Bahner Werner. *Der Friedensgedanke...*, S. 170; см.: Goudar Ange. *La Paix de l'Europe ne peut s'établir qu'à la suite d'une longue trêve, ou Projet de pacification générale...* par M. le Chevalier G***. Amsterdam, 1757. — Существует русский перевод Р. М. Цербикова: Гудар Анж. Мир Европы не может иначе восстановиться, как только по продолжительном перемирии, или Проект всеобщего замрения... / Переведено с французского языка в стапе перед Очаковым в 1788 г. СПб., 1789. Об А. Гударе см. подробнее в статье: Гордон Л. С. Некоторые итоги изучения запрещенной литературы эпохи просвещения (вторая половина XVIII в.). — В кн.: Французский ежегодник. М., 1960, т. II, с. 101—106.

³⁷ Bahner Werner. *Der Friedensgedanke...*, S. 171.

роды; автор считает также, что борьбу с войнами надлежит вести международному правосудию.³⁸

Для всей обширной литературы, возникшей вокруг проблемы «вечного мира» во второй половине XVIII в., характерно то, что она почти не отразила на себе основных прогрессивных идей французского просветительства зрелой поры. Для виднейших философов-материалистов и публицистов этого времени главные вопросы, подлежавшие решению, сосредоточены были не в области международных отношений, но в сфере внутренней общественно-политической жизни. Свою главную цель видели они в расшатывании основ феодальной монархии, в обновлении государственного строя с точки зрения «естественного права»; перспективы будущего мирного сотрудничества европейских наций не могли волновать их в такой степени, как общественные реформы в пределах их собственной страны. Между тем все проекты «вечного мира» строились еще на обращениях к правителям европейских держав или на апелляции к абстрактно понимаемым нравственным обязательствам человека, тогда как Руссо, Гольбах, Мабли, Дидро достигли уже большой глубины в своей критике феодально-абсолютистской государственности. Поэтому все эти «проекты» — при всех их частных различиях — родственны идеям Сен-Пьера; если авторы этих «проектов» и критикуют отдельные его положения, они все же остаются еще в сфере тех представлений и понятий, какие свойственны были просветительству ранней поры, начала XVIII в. В этом отношении «Суждение относительно проекта о вечном мире» Руссо занимает совершенно особое место в указанной литературе как одно из самых выдающихся сочинений этого рода. Написанное с откровенно демократических позиций и изданное в 1761 г., за год до «Общественного договора», оно находится в теснейшем идейном родстве с этим трактатом и вместе с ним оказало сильное воздействие на последующую революционную мысль.

В отличие от предшествующих рассуждений, посвященных идее мира, и в полном противоречии с кругом мыслей Сен-Пьера и его многочисленных подражателей, «Суждение» Руссо может быть поставлено во главе тех немногочисленных последующих проектов, которые для достижения будущего всеобщего мира предлагают исходить не из юридических договорных оснований международного характера, но из реформ внутреннего строя государства.

³⁸ Ibid., S. 172. — Мерсье в своем утопическом романе о Европе в XXV в. («L'an 2440, rêve s'il en fût jamais», 1786) также исходил из идей Сен-Пьера, пересказанных Руссо, когда создавал картину всеобщего мира, наступившего после ликвидации войн: короли, с общего согласия, устанавливают естественные границы своим владениям; наиболее мудрые люди всех наций устанавливают общий договор, и он будет единогласно принят; предрассудки, разделявшие нации, исчезнут: «Индийцы и китайцы сделались нашими соотечественниками. Мы приучаем наших детей смотреть на вселенную, как на одну семью, собранную перед очами общего отца» (см.: Яценко А. Международный федерализм, с. 297).

В «Суждении» Руссо подверг беспристрастной критике оптимистическую мирную тактику буржуазного пацифизма и не признал сколько-нибудь существенными те средства, которые рекомендованы были Сен-Пьером. Он не верит, что можно убедить когда-либо королей или их министров заключить общий союз и призвать к действительной жизни некую международную организацию только на том основании, что это отвечало бы «общим интересам» народов. «У королей, — утверждает Руссо, — или у тех, кого они ставят вместо себя, есть лишь два заветия, две цели — расширить свое внешнее владычество и сделать его более абсолютным внутри государства; все остальное или относится к указанному или служит только предлогом: таковы *общее благо* (bien publique), *счастье подданных* (bonheur des sujets), *национальная слава* (gloire de la nation). Все это слова, повсегда изгнанные из кабинетов и столь редко употребляемые в публичных эдиктах, что народ стонет заранее, когда его властители говорят ему об отеческом попечении».³⁹ Разумеется, рассуждает Руссо, основание какой-либо международной организации окажется в полном противоречии с этими неустранимыми качествами всяческих правителей. Допустим, что какой-нибудь европейский совет, если таковой когда-либо будет создан, заставит правительство каждого государства не переступать границ, установленных с общего согласия, и обеспечит монархов от восстаний их подданных; но все это может произойти лишь в том случае, если тот же совет оградит подданных от тирании монархов, потому что в противном случае он существовать не может. «А я спрашиваю, — восклицает Руссо, — существует ли в мире хоть один государь, который, будучи ограничен в самых близких своему сердцу действиях, смог бы вынести без негодования самую мысль о том, что он будет принуждаем к справедливому отношению не только к иностранцам, но даже к своим подданным?». Отсюда Руссо неопровержимо выводит очень важное для всей его концепции положение, что захватнические войны и развитие деспотизма взаимосвязаны теснейшим образом: у народа, находящегося в рабстве, правители по своему желанию берут людей и средства для угнетения других; война дает предлог для депежных требований и для содержания громадных армий, необходимых, чтобы заставить народ быть в состоянии вечного страха. Можно ли надеяться, что удастся подчинить верховному суду тех людей, которые осмеливаются хвалиться, что они властвуют благодаря своему мечу? Министры подобны правителям педалеко ушли от своих хозяев: «Министры нуждаются в войне, чтобы сделать себя необходимыми, чтобы поставить государя в затруднительное положение, из которого он не мог бы выйти без их помощи, и

³⁹ Здесь и в дальнейшем я пользовался изданием «Œuvres complètes de J. J. Rousseau...» 1839 г., повторяющим издание 1819 г., где, как и в изд. 1839 г., «Jugement sur la paix perpétuelle» напечатано в IV томе (р. 280—288); в нескольких случаях воспроизвожу удачный перевод А. Яценко, сверяя его с подлинным текстом

чтобы скорее погубить свое государство, если потребуется, чем потерять свое место; они нуждаются в войне, чтобы мучить народ под предлогом общественной необходимости; они нуждаются в войне, чтобы предоставлять должности своим креатурам, паживаться игрой па бпрже п втайне создавать тысячи отвратительных монополий (*mille odieux monopoles*); они нуждаются в войне, чтобы удовлетворять своим страстям и изгонять друг друга; они нуждаются в войне, чтобы овладевать государем, когда против них при дворе создают опасные интриги. Все эти ресурсы министры потеряли бы при постоянном мире. И люди спрашивают еще, почему, если проект мира осуществим, он до сих пор не принят! . . .».⁴⁰

Руссо приходит к заключению, что нельзя питать ни малейших иллюзий по поводу того, что добрая воля государей и их министров когда-либо создаст общий организованный союз народов. Одна лишь сила может их к этому принудить. «И тогда, — заключает отсюда Руссо, — не придется более убеждать их, но принуждать, и не нужно будет писать книги, но подымать дружины (*et alors il n'est plus question de persuader, mais de contraindre; et il ne faut plus écrire des livres, mais lever des troupes?*)».⁴¹

Именно здесь находится естественный логический центр всего рассуждения Руссо, опорный пункт, на котором оно держится и ради которого оно написано. Оставалось заключить его вынужденной похвалой Сен-Пьеру, более подходящей на беспощадный приговор: «. . . хотя проект Сен-Пьера был очень мудрым, средства, предложенные им для его реализации, доказывали простоту автора. Он наивно воображал, что стоит лишь созвать конгресс, предложить па нем подписать статьи мирного договора, и все будет сделано. Сознаемся, что во всех своих проектах этот честный человек прекрасно видел результаты вещей, когда они будут установлены, но судил, как дитя, о средствах для их установления».⁴²

Возвратимся, однако, к Пушкину. Е. Н. Орлова была посвоему права, когда утверждала, что «коньком Пушкина» сделана в Кншиневе на некоторое время «вечный мир аббата Сен-Пьера», но Сен-Пьер назвал здесь, конечно, как родоначальник ранней просветительской идеи о возможности установления мира на началах разума и согласия, и только. Пушкин читал не Сен-Пьера, но Руссо, как об этом сам свидетельствует, но какое из двух его сочинений, написанных по этому поводу?

Б. В. Томашевский совершенно правильно указал, что цитату из заинтересовавшего его рассуждения Руссо Пушкин должен был извлечь не из его «Сокращения», но из «Суждения о проекте». Однако трудно согласиться с Б. В. Томашевским пе

⁴⁰ *Œuvres complètes de J. J. Rousseau. . .*, t. IV, p. 284.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

только в определении этой самой цитаты, но и в общей оценке сочинения Руссо. «Цитата не выписана Пушкиным, но ее нетрудно отыскать», — утверждал Б. В. Томашевский, впервые комментируя отрывок Пушкина о вечном мире, и выделял то место в «Суждении», где Руссо якобы предостерегает от будущих революционных взрывов как опасных для человечества. В заключении указанного Б. В. Томашевским абзаца Руссо действительно говорит: «Без сомнения, вечный мир в настоящее время весьма нелепый проект; но пусть нам вернут Генриха IV и Сюлли, и вечный мир снова станет благоразумным проектом; или точнее: воздадим должное этому прекрасному плану, но утешимся в том, что он не осуществлен, так как это можно достигнуть только средствами жестокими и ужасными для человечества». Последнюю фразу, действительно, весьма соблазнительно связать со словами Пушкина, непосредственно следующими за пропуском места для цитаты: «Очевидно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, — революции». Пушкин как бы непосредственно подхватывает мысль Руссо и развивает ее далее. «Таким образом, — заключает отсюда Б. В. Томашевский, — Пушкин примыкает к мнению Руссо, но вместо того, чтобы считать революцию невозможной или опасной для человечества, он ее приветствует, видя в революционных движениях залог осуществимости идеи вечного мира».⁴³ Позднее Б. В. Томашевский еще более категорически настаивал на своем мнении и писал: «Указывая на мнение Руссо о проекте Сен-Пьера, Пушкин отмечает то место, где Руссо с характерной для него робостью, противоречащей радикализму его взглядов, советует не осуществлять проекта „вечного мира“ (представляющего собой своеобразную «Лигу наций» в условиях XVIII в.) из опасения потрясений, так как это осуществление потребовало бы ужасных средств... Пушкину эта боязнь потрясений не была свойственна, и он возражал».⁴⁴ Последующие комментаторы Пушкина вполне согласились с этими утверждениями Б. В. Томашевского и не только варьировали их на разные лады, но, как мы видели, даже ввели в текст пушкинской заметки предположительно указанную цитату из Руссо.

На самом деле и эта цитата вызывает сильные сомнения, и общий ход рассуждения Пушкина представляется в данном случае совершенно иным. Абзац из «Суждения» Руссо, произвольно вырванный из контекста, дает повод к совершенно превратному его истолкованию. Не подлежит сомнению, что Пушкин очень внимательно читал «Суждения» Руссо и что он отчетливо представлял себе его целенаправленность; уже в силу этого он не мог выделить тот абзац, который обычно указывается, и отметить его себе для выписки. Руссо был опытный диалектик, но туманность и недоговоренность многих страниц даже таких про-

⁴³ Томашевский Б. Пушкин и вечный мир, с. 230; см. также: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 138.

⁴⁴ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 133.

славленных и наиболее разработанных его сочинений, как «Общественный договор», открыли широкое поле для произвольных толкований. Абзац из «Суждения», который указывается как обративший на себя особое внимание Пушкина, также заключает в себе трудно объяснимые противоречия, если его анализировать вне контекста всей этой статьи в целом; не забудем, что Пушкин отозвался тут же с похвалой о ходе его мыслей в этом самом предполагаемом отрывке («Руссо, рассуждавший не так плохо... говорит...»). Что же в этом рассуждении могло понравиться Пушкину? Допустим, что слова Руссо «то, что полезно обществу, вводится в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда этому противостоят» импонировали Пушкину, так как они отвечали его собственным взглядам, но как это утверждение Руссо согласуется с его же опасениями относительно «жестоких и ужасных» средств, которые могут понадобиться во имя тех же народных интересов? Что имел в виду Руссо, говоря «пусть нам вернут Генриха IV и Скулли, и вечный мир снова станет благоразумным проектом», и почему это положение предназначалось Пушкиным к выписке как образец удовлетворившего его рассуждения? Почему, наконец, «более точное» объяснение этих загадочных слов самим Руссо связалось в сознании Пушкина с понятием революции? Приходится признать, что весь указанный отрывок из Руссо достаточно темен для того, чтобы Пушкин мог счесть его образцом «неплохого» рассуждения и именно на нем остановить свой взор. В «Суждении» Руссо было много несомненно более замечательных мест, достойных цитации и в то же время гораздо более ясных и существенных для понимания основной точки зрения автора. Пушкин, в высокой степени наделенный способностью схватывать самое главное в том, что он читал, не мог, с нашей точки зрения, не понять, что является самым важным в «Суждении» Руссо, для какой цели оно им написано и в чем заключаются и на чем основаны его расхождения со взглядами Сен-Пьера. Нам представляется поэтому вполне правдоподобным, что Пушкин разделял мнение Руссо относительно «принуждения» государей как единственной меры, которая в состоянии будет обеспечить впоследствии действительную международную организацию, и что вместе с Руссо, а не возражая ему, он оправдывал революцию как неизбежное средство для достижения грядущего умиротворения народов; очень возможно поэтому, что Пушкин не прошел мимо той мысли Руссо, которую мы назвали «опорной» в его «Суждении», — что наступит время, когда нужно будет не создавать «книжные» проекты всеобщего мира, а действовать силой, «поднимать дружины», и что именно эту мысль он хотел выделить в своей цитате из Руссо, дав ей и свои пояснения. Не забудем, наконец, что этот маленький трактат Руссо обсуждался Пушкиным в самом центре одной из важных «декабристских» организаций, действовавшей совместно с П. И. Пестелем. Мог ли Пушкин со своими собеседниками пройти мимо утверждений Руссо, что наступит пора,

когда «не придется больше писать книги», что надобно будет «подымать дружины»? Этот тезис звучал как яркий и актуальнейший лозунг.

Характеризуя выше работы Руссо о проектах Сен-Пьера, мы уже подчеркнули, что «Суждение» написано им незадолго до «Общественного договора» и находится с ним в идейном родстве. В «Суждении» на частном примере дается оправдание революции, представленное им вскоре в более широко разработанном виде в «Общественном договоре», где Руссо, как известно, обосновывает смелую мысль, что, поскольку все существующие государства не в состоянии справиться с задачами, поставленными перед государствами идеальными, они заслуживают того, чтобы быть уничтоженными: «Пока народ, принужденный повиноваться, повинуется, он поступает хорошо; но как только, имея возможность сбросить с себя ярмо, народ сбрасывает его, он поступает еще лучше, так как народ, возвращая себе свободу по тому же праву, по какому она была у него отнята, был вправе вернуть себе ее, или же не было никакого основания отнимать у него».⁴⁵ Если в «Общественном договоре» Руссо дает последовательное изложение и теоретическое обоснование буржуазного понимания революции, не только оправдывая ее, но и отводя ей важное место в своей политической доктрине, то именно в «Суждении» мы находим уже очертания того же самого круга идей.

Анализируя термин «революция» в понимании и словоупотреблении Руссо, исследователи его обычно ссылаются на знаменитое место в «Общественном договоре», в котором представлены доказательства, что революция не просто избавляет парод от необходимости повиноваться государству, потерявшему свои правовые основы, но и нужна народу как средство его перевоспитания, перерождения, превращающее его в достойного этого государства гражданина. Это положение Руссо, как известно, выделяет его из всех представителей школы «естественного права», которые испытывали страх перед революцией и в той или иной степени были склонны к компромиссу с феодализмом. Руссо же утверждает, что революция необходима, сколь ни жестокими могли бы показаться средства, которыми ей приходится пользоваться: «Подобно тем глупым и трусливым больным, — пишет Руссо, — которые дрожат при виде врача, народ не может вынести даже прикосновения к своим язвам, хотя бы и с целью их уничтожения. Как некоторые болезни производят переворот в голове людей и отнимают у последних память о прошедшем так и в течение жизни государств встречаются иногда бурные слюхи, когда революции производят на народы то же действие, какое известные кризисы производят на отдельных индивидов, когда ужас прошлого заменяет забвение, и государство, охваченное международными войнами, возрождается, так сказать, из собственного пепла и вновь приобретает силу юности, вырвавшись из рук смерти. Таково было состояние

⁴⁵ Руссо Жан-Жак. Об общественном договоре. СПб., 1907, с. 4—5.

Спарты во времена Ликурга, таково было состояние Рима после Тарквиниев, а в наше время — Голландии и Швейцарии после изгнания тиранов».⁴⁶ Если в свете приведенной цитаты подойти к «Суждению» Руссо, — а именно такова была, как мы предполагаем, последовательность чтения этих сочинений Руссо и собеседниками Пушкина и им самим, обратившимся к изучению «Суждения» только после «Общественного договора», — то идейный строй «Суждения» представится гораздо более ясным, а его основные положения проступят в тексте гораздо более четко. Вместе с тем отпадут и основания, по которым у нас доньше считается, что Пушкин возражал Руссо, боявшемуся потрясений и предупредившему, что они осуществляются с помощью ужасных средств («des moyens violents et redoutables à l'humanité»). Напомним, кстати, что и Пушкин иногда принуждаем был произносить благонамеренные речи в качестве «заслона от цензуры», для того чтобы лучше оттепить свою скрытую основную мысль,⁴⁷ и что к тому же прему прибегал и Руссо, так как слишком прямолинейно высказанный тезис иногда в состоянии был испугать читателей и тем самым способствовать извращенному пониманию его.

Высказанные выше соображения, впрочем, недостаточны для того, чтобы они могли обосновать необходимость подыскивать к отрывку Пушкина другую цитату из «Суждения» Руссо вместо той, которую обычно приводят; необходимо еще определить, что явилось непосредственным поводом для возникновения того спора, который Пушкин вел в кишиневском кружке М. Ф. Орлова в ноябре 1821 г., и в чем заключалось существо их разногласий. Тот бесспорный факт, что в руках Пушкина находился тогда французский томик сочинений Руссо, вовсе не объясняет нам, почему пристальное внимание поэта и его друзей остановили на себе помещенные в этом томике и давно уже написанные разборы стародавних проектов Сен-Пьера. Очевидно, это объяснялось целым комплексом причин, и нам необходимо будет расчленить их для удобства аргументации и ясности последующего изложения.

⁴⁶ Там же. Ср.: Mühlenkamp Irmgard. Der Begriff der Revolution bei Jean-Jacques Rousseau im Rahmen der Grundbegriffe seines Systems. Diss. Leipzig, 1936, S. 26—27.

⁴⁷ Ю. Г. Оксман (Пушкин в работе над «Капитанской дочкой». — В кн.: Литературное наследство, 1952, т. 58, с. 241) вскрыл происхождение и истинный смысл тех сентенций, которые вложены были Пушкиным в уста Гринева, утверждающего, например, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (гл. VI); в «Путешествии из Москвы в Петербург» мы находим ту же сентенцию, выраженную теми же словами: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (гл. «Русская изба»). Было бы глубоко ошибочно не только приписывать их самому Пушкину, но и возводить их к предполагаемой цитате из Руссо, хотя они и имеют текстуальное сходство с ней.

На рубеже XVIII и XIX столетий проблема «вечного мира» продолжала занимать Западную Европу в еще большей степени, чем в предшествующие десятилетия; она представлялась теперь и более реальной благодаря участвовавшим попыткам применить на практике принципы некоторых политических учений, складывавшихся на основе теории естественного права, и в то же время более недостижимой, так как непрекращавшиеся войны вовлекали в общеевропейский конфликт все новые и новые страны. Современникам Пушкина все начальные десятилетия пового века представлялись не иначе, как освещенные неугасимым заревом войн и опустошительных пожаров. Государственное, публичное осуждение войны было одной из новых политических идей, провозглашенных во Франции в начале буржуазной революции 1789 г. и, несомненно, обязанных своим философским обоснованием учениям просветителей. Национальное собрание на заседании, состоявшемся 14 мая 1790 г., объявляло народы суверенными и равными между собою и высказывало надежду, что, добившись свободы и развиваясь в условиях взаимной солидарности, они должны будут достичь и высшего блага — всеобщего мира. В соответствии с этим в конституцию 1791 г. включены следующие слова: «Французский народ отказывается от всякой войны в видах завоевания. Никогда не употребит он своих сил для подавления свободы других народов» (титул VI).⁴⁸ Через несколько лет Робеспьер в выдвинутом им на заседании Конвента (24 апреля 1793 г.) проекте «Декларации прав» провозглашал, в частности, следующие три положения:

«34. Жители всех стран являются братьями: различные народы должны помогать друг другу в зависимости от своих возможностей, как граждане одного и того же государства.

35. Всякий человек, угнетающий одну какую-нибудь нацию, является врагом всех народов.

36. Лица, ведущие войну против какого-нибудь народа с целью задержать прогресс свободы, должны преследоваться всеми не как обыкновенные враги, а как убийцы, бунтовщики и разбойники».⁴⁹

Не прошло, однако, и нескольких лет, как эти слова превратились в пустой звук. История Франции и целой Европы последующих десятилетий превратилась в историю непрерывных войн и разделов, походов и вторжений в чужие пределы, династических интриг и попрания международных обязательств; напрасной казалась тогда борьба против всеобщего военного духа, обуявшего властителей и их подданных, недостаточной и не достигающей

⁴⁸ См.: Камаровский Л. Главные моменты идеи мира в истории. — Русская мысль, 1895, № 6, с. 22.

⁴⁹ См.: Герман Л. Жан-Жак Руссо и французская революция XVIII в. — Под знаменем марксизма, 1939, кн. 8, с. 120.

цели — проповедь против войны ораторов и проповедников, ставших, однако, все более пастойчивыми и красноречивыми по мере того, как увеличивалась пропасть между просветительскими идеями и реальной практикой европейских правителей, когда «от Китая до Кадикса мир принадлежал сильнейшему», а «честолюбие и алчность издевались над наукой и общественным мнением». ⁵⁰

Закономерно, что проекты «вечного мира» появлялись и в особенности увеличивались в числе в периоды длительных войн и затянувшихся международных конфликтов. Проект Сен-Пьера также возник в самый разгар династических войн, грозивших Европе гегемонией Людовика XIV, и одушевлявшие его утопические идеи периодически обновлялись в последующие десятилетия в атмосфере новых войн или серьезных обострений международных отношений. Французская революция, последовавшие за ней наполеоновские войны, Венский конгресс 1814 г., произведший новый дележ территорий между победителями и положивший начало «Священному союзу» реакционных монархов Европы, в свою очередь оказались причиной возникновения новых проектов «вечного мира» и разнообразных предложений для достижения «равновесия» европейских держав. В этот период проекты «вечного мира» плодились всюду в необычайном количестве, во Франции, в Германии, Швейцарии и т. д.; как увидим ниже, и Россия во второй половине XVIII и начале XIX в. не осталась в стороне от этого общеевропейского движения и внесла в него свой самостоятельный и очень ценный вклад.

В доказательство того, как обширна была в указанные десятилетия литература о «вечном мире», сошлемся здесь хотя бы на «проекты» графа Карамена (1792), И. Канта (1795), Фридриха Гутьера (1796), Ламотта (1796), Бургуэна (1796), Бертольо (1800), Батэна (1802), Гондона (1807), Де Валя (1808), Бога (1813), Сен-Симона (1814), Липса (1814), Треттера (1815), Паоли-Шаньи (1818), и т. д. ⁵¹ Некоторые из этих проектов стали лучше известны благодаря личности своих авторов или своей последующей судьбе: таковы, например, трактаты Канта («Zum ewigen Frieden», 1795), Иеремии Бентэма («A Plan for an Universal and Perpetual Peace», 1789; впервые опубликован в 1839 г.), Сен-Симона («Réorganisation de la Société européenne», 1814), ⁵²

⁵⁰ Dreyfus. L'arbitrage international. Paris, 1892, p. 71; см. также: Камаровский Л. Главные моменты идеи мира в истории, с. 16.

⁵¹ Неполный перечень этих проектов, составленный по книге Р. Моля (Mohr R. Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, S. 438) приводит А. Лодыженский (Проекты вечного мира и их значение, с. 83), а также А. Яценко (Международный федерализм, с. 127—128).

⁵² Критика проекта Сен-Пьера, данная Сен-Симоном в этом сочинении, имеет сходство с той, которая представлена была Руссо; кроме того, Сен-Симон считает, что неизбежным результатом международной организации, предложенной Сен-Пьером, если бы таковая была создана, было бы закрепление навеки феодальной системы, превращающее власть государей в еще более грозную силу и отнимающее у народов всякую возможность борьбы

другие канули в Лету, как убогие по своим предложениям и фантазиям продукты злободневной публицистики; тем не менее все они вместе характеризуют определенную направленность общественной мысли этой поры, силившейся удержать проблему «вечного мира» в числе важнейших вопросов дня и укрепить к ней повсеместный интерес. Известно, далее, что вслед за попытками отдельных лиц в пропаганду идеи мира включались целые ассоциации: первое общество друзей мира основано было в 1815 г. в Нью-Йорке, вскоре подобные же общества учреждены были в той же Америке в штатах Огайо и Массачусетс. В 1816 г. «Общество для установления всеобщего и вечного мира» возникло в Лондоне, в 1820 г. — в Париже⁵³ и т. д. К концу первого десятилетия XIX в. движение принимало уже универсальный характер и постоянно привлекало к себе внимание европейской и американской прессы.

Из авторов прежних «проектов» этого рода Сен-Пьера и теперь еще вспоминали чаще других как родоначальника или идейного вдохновителя всего этого шумного, но достаточно бесполезного потока пацифистской литературы. Так, некий Н. Сарразен в своей книге «Возвращение золотого века» (Metz, 1816) поместил собственное «Усовершенствование проекта аббата Сен-Пьера»; чаще всего именно на Сен-Пьера продолжали ссылаться в тех случаях, когда возникали споры о каком-либо новом международном соглашении европейских монархов. Характерно, что проекты Сен-Пьера заставили вспомнить основание «Священного союза», подвергнувшегося широкому обсуждению и нареканиям в самых различных общественных кругах Европы. Интересное свидетельство по этому поводу мы находим во французской книге 1821 г., бывшей, в частности, в библиотеке Пушкина. Неизвестно, находилась ли эта книга у него в руках уже в Кишиневе или приобретена позже, тем не менее не следует пренебречь этим указанием, так как оно, несомненно, было не единственным. Книга называется «История жизни и сочинений Ж.-Ж. Руссо»; во втором ее томе довольно подробно и по первоисточникам рассказывается история возникновения обеих работ Руссо о проекте Сен-Пьера («Extrait du projet», «Jugement sur la paix») и приводятся из них извлечения. Попутно автор замечает, что старинным проектам Сен-Пьера и тому, что было написано о них Руссо, «в обстоятельствах, в которых мы теперь находимся, придает известный интерес один новейший договор, более знаменитый, чем извест-

с тиранией. Не исключена возможность, что через посредство М. Лупина, познакомившегося с Сен-Симоном в Париже в 1816 г., об этом его сочинении узнал и Пушкин еще в Кишиневе. Ср.: Гроссман Л. Пушкин и сенсимонизм. — Красная новь, 1936, № 6, с. 159; см также статью: Андреева И. С. Сен-Симон и идея всеобщего мира. — Вестник истории мировой культуры, 1961, № 4, с. 44—55.

⁵³ Лодыженский и Андрей. Проекты вечного мира и их значение, с. 83—84.

чий».⁵⁴ Речь идет о «Священном союзе» (*La Sainte Alliance*), самое наименование которого невольно вызывает в памяти названия союзов эпохи религиозных войн, направленных против Генриха III и Генриха IV («*La Sainte Ligue*» и «*La Sainte Union*»)⁵⁵. Как видим, немалое значение для удерживавшейся и в XIX в. популярности Сен-Пьера имели также писания о нем Руссо, хотя демократический пафос второго из них («*Jugement*») оставался еще без настоящих истолкователей и отозвался сравнительно слабо в европейской пацифистской литературе первых двух десятилетий XIX в. Современники и сверстники Пушкина не могли не знать этой литературы, выпускавшейся во всех концах тогдашней Европы. Дворянская интеллигенция, и прежде всего офицерская молодежь, участвовавшая в заграничных походах и вывозившая оттуда целые библиотеки текущей политической литературы, внимательно следила за каждой новинкой в этой области и поэтому должна была хорошо знать о Сен-Пьере хотя бы в претворении его новейших подражателей; следовавшие один за другим проекты «вечного мира» должны были интересовать их потому, что они могли читать о них на бивуаках, на роздыхе в европейских столицах, на столбцах ежедневных газет, посреди дипломатических известий, предсказывавших исходы военных действий и новые коалиции держав. Особый интерес этой литературе придавало то, что в эту пору она теснейшим образом связана была с Россией и ее ролью в международных делах. Проекты Сен-Пьера, опубликованные при жизни Петра I (1713), вовсе не упоминали еще о России; не назвал ее и Руссо, излагавший эти проекты почти полвека спустя, к тому же он, как известно, хмуро и подозрительно относился к этой великой деспотической северной державе, внушавшей страх всей Европе блеском своих военных побед. В начале же следующего столетия, когда наполеоновские войны привели в действие войска молодого императора Александра, и в особенности в последующие годы, когда русская армия, поддержанная единодушным патриотическим порывом русского народа, ускорила гибель наполеоновских полчищ и освобождение Европы, ни один очередной проект «вечного

⁵⁴ *Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau, composée de documents authentiques...* Paris, MDCCCXXI, t. II, p. 421—426; см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, с. 249, № 988; принадлежавший Пушкину и дошедший до нас экземпляр этой книги, которым я пользовался, на интересующих нас страницах оказался неразрезанным.

⁵⁵ *Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau...*, p. 425. — Р. С. Эдлинг, столь близкая к кругам дипломатов и святош, окружавших Александра I в последние годы его жизни, и к самому императору, в своих «Мемуарах» замечает, что «трактат об основании Священного союза, столь остроумно названный Прадом «Апокалипсисом дипломатии», есть, в сущности, не что иное, как великолепная греза Генриха IV и аббата Сен-Пьера, но в форме более религиозной и менее положительной» (см.: Надлер В. К. Имп. Александр I и идея Священного союза. Рига, 1892, т. V, с. 637).

мира» не мог обойтись без того, чтобы в деле его обеспечения России не отводилась бы та или иная, более или менее решающая роль. Уже по одному этому у нас не могли не знать о существовании этих «проектов» и вызванной ими публицистической литературы.

Авторы иных «проектов» навещали и русские столицы. В первые годы царствования Александра I в Петербурге появился, например, аббат-итальянец Сдиппои Пьятоли и ненадолго занял здесь внимание русской знати своим «проектом вечного мира». Пьятоли был воспитателем молодого Адама Чарторыйского и через него пытался внушить Александру I свой совершенно беспочвенный план создания европейской коалиции против Наполеона, в которой видную роль он предоставлял России и возрожденной Польше. Это была одна из бесчисленных вариаций на тему Сен-Пьера, примененная лишь к новой международной ситуации.⁵⁶ С необычайной художественной прозорливостью и в полном согласии с историческими источниками Л. Н. Толстой вывел этого аббата в начальных главах своей великой эпопеи о войне и мире как типичное для этой эпохи лицо, постоянно рассуждающее о «вечном мире» без какой-либо надежды изменить порядок вещей или даже понять, что для этого требуется. В окончательном тексте романа он назван аббатом Морно, но в черновых рукописях он носит еще подлинное имя; здесь Пьятоли, этому «изгнаннику, философу и политику», привезшему в Петербург «проект совершенно нового политического устройства Европы», предоставлялась еще более заметная роль. Именно с ним вступает в беседу Пьер Безухов, уже и раньше слышавший о его утопических проектах. «Именно здесь, в Петербурге, и теперь именно, в нынешнем 1805 г., есть возможность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма и злейшего из зол, родоначальника всех других — от войны», — убеждает Пьера аббат.

— Какие же это средства? — пробурлил м-г Piette, оживленно заинтересованный.

— Средства очень простые: европейское равновесие и *droit des gens*. Стоит одному могущественному государству, как Россия — прославленному за варварство, — стать бескорыстно во главе союза, имеющего цель равновесие Европы, и она спасет мир.

— *Et la guerre est impossible*, — окончил аббат.

— Что же мы, военные люди, будем делать, любезный аббат? — спросил князь Андрей, лениво улыбаясь.⁵⁷

Все в этой сцене необычайно верно исторической правде. И наивное удивление князя Андрея, и оживленная заинтересованность Пьера были не один раз пережиты современниками Пушкина

⁵⁶ D'Ancona A. S. Piattoli e la Polonia, con un appendici di documenti. Firenze, 1915.

⁵⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 90-та т. М., 1949, т. 13, с. 186—193, 194; см.: Толстой Л. Н. Война и мир, т. III—IV / Комментарии. Б. М. Эйхенбаум. Л., 1936, с. 667—668

кина, непосредственными участниками войн против Наполеона. Пережил их, в частности, и М. Ф. Орлов, воевавший с 1805 г. Он проявил распорядительность и храбрость в заграничных походах 1813—1814 гг., находился среди русских войск, осадивших Париж, и по поручению Александра I вел переговоры о капитуляции французской столицы. Как видный военный деятель и дипломат, с мнениями которого считались и тогдашние французские публицисты,⁵⁸ М. Ф. Орлов на личном опыте проверил всю шкалу ощущений, доставляемых войной и надеждами о мире, и хорошо был начитан в посвященной им текущей европейской литературе. В ней же, подобно многим будущим декабристам, участником заграничных походов 1813—1814 гг., обрел он идейные подкрепления для скорого перерождения своего общественно-политического мировоззрения. В письмах своих к Д. П. Бутурлину 1819—1820 гг., автору «Военной истории походов России в XVIII столетии» (1819), М. Ф. Орлов, уже являвшийся видным членом тайного общества и принявший командование 16-й дивизией, с восторгом вспоминал о пережитых им войнах («Мы сражались против целой Европы, но целая Европа ожидала от наших усилий своего освобождения. Вспомни согласие общих желаний, вспомни благотворное содействие всех благомыслящих людей, когда наши войска, переходя из земли в землю, основывали везде возрождение народов. Тогда-то мы были сильны, тогда-то мы были страшны общему врагу, ибо под знаменами нашими возрастало древо общего освобождения»),⁵⁹ но в то же время осуждал бутурлинское славословие как «совершенно противное нынешнему духу времени»: «Зачем возбуждать ненависть к отечеству в прочих народах? Разве тебе не довольно того, что Прад, Биньон, Герц и прочие публицисты восстают против нашего могущества, ты хочешь также восстать против нас? С какого права вручаешь нам политические весы Европы? Друг мой! Нет никого на свете, который бы более меня привязан был чувством к славе отечества. Но не время теперь самим себя превозносить. Ты видишь все с высокой точки умозрения, с поля сражения. Войди в хижину бедного россиянина, истощенного от рабства и несчастья, и извлеки оттуда, ежели можешь, предвозвещенье будущего нашего величия».⁶⁰ Эти две цитаты из писем Орлова к официальному военному историку наглядно иллюстрируют тот резкий сдвиг, который произошел во взглядах на войну лучших представителей военной касты русской дворянской интеллигенции: на войну надлежало смотреть не с поля битвы, в упоении удалством и храбростью, и не с точки зрения того, будет ли она способствовать «установлению так называемого рав-

⁵⁸ См.: Семеvский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, с. 382—384; Литературное наследство. М., 1937, т. 29—30, с. 616.

⁵⁹ Письма М. Ф. Орлова к Д. П. Бутурлину опубликованы А. А. Сиверсом в кн.: Декабристы и их время. М., 1928, т. I, с. 200 и сл.

⁶⁰ Там же, с. 201—202.

новесия Европы», — по словам того же М. Ф. Орлова,⁶¹ а из хижины крепостного земледельца, бесправного исполнителя царской воли. Это приближало к осуждению давно исчерпавших себя мирных «проектов» сеп-пьеровского типа и одновременно к пониманию критики их у Руссо.

В русскую литературу XVIII в. Сен-Пьер введен был именно Руссо. Молодой И. Ф. Богданович, будущий автор «Душеньки», по поручению петербургского общества переводчиков еще в 1771 г. издал отдельной брошюрой «Сокращение, сделанное Жап-Жаком Руссо (sic), женеvским гражданином, из проекта о вечном мире, сочиненного господином аббатом Сен-Пьером».⁶² Следовательно, это сочинение вышло на русском языке еще при жизни Руссо и притом раньше, чем во многих других странах (за исключением Англии, где оно появилось в переводе на десятилетие раньше, в год его первой публикации в оригинале). Хотя на Руссо уже в то время в России косились с опаской в правительственных сферах,⁶³ но в прогрессивных читательских кругах последних десятилетий XVIII в. у нас ценили его не столько как

⁶¹ Там же, с. 201.

⁶² Приводим заглавие по экземпляру Библиотеки Академии наук СССР; переводчик не указан. Ср.: Сопиков В. С. Опыт российской библиографии / Ред. В. Н. Рогожина. СПб., 1905, т. IV, с. 301, № 11107; Семеновников В. П. Собрание, старающееся о переводе иностранных книг. СПб., 1913, с. 39 (на с. 13 ошибочно утверждается, что автором проекта является Бернарден де Сен-Пьер). И. Ф. Богданович перевел только «Extrait du projet». «Jugement» Руссо в это время еще не было опубликовано. А. Востоков в своей «Речи о просвещении человеческого рода», читанной в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств (15-го июня 1802 г.), высказал надежду, что Европа, «конечно, будет еще вести войны междубоубные, но все реже и реже, а между тем одним действием времени нечувствительно образуется та европейская республика, о которой мечтал Сен-Пьер» (см.: ЖМНП, 1890, март, с. 72). Ту же мысль Востоков изложил и в поэтической форме, в стихотворении «К Фантазии», напечатанном в кн.: Свисток муз. СПб., 1802, кн. I. В этом характерном для «поэта-радищевца» стихотворении Востоков, обращаясь к своей вдохновительнице, Фантазии, между прочим говорит:

С тобой люблю я, в мыслях сладких,
Собрать, устроить, просветить
Народы, тигров, к крови падких,
В смиренных агнцев превратить.
С тобой я извергов караю
И добродетель награждаю,
Достойным скоты раздаю,
А угнетенным ем свободу,
И человеческому роду
С Сен-Пьером вечный мир даю!..

(Востоков А. Стихотворения. Л., 1935,
с. 83. (Библиотека поэта. Большая серия))

⁶³ Борьбу с Руссо начала Екатерина II, еще в 1763 г. особым указом запретив в России его «Эмилия» (см.: Кобеко Д. Ф. Екатерина II и Жап-Жак Руссо. — Исторический вестник, 1883, т. XII, с. 614).

автора «Новой Элоизы» и вдохновителя «чувствительности» в европейской литературе, но как автора трактата об общественном неравенстве, слава которого у нас непрерывно возрастала наперекор запрещениям и всякого рода цензурному вмешательству. Именно это сочинение («Общественный договор»), опубликованное на русском языке в 1786 г., по свидетельству «Словаря исторического» (1793), «почиталось многими за превосходное произведение ума»; Н. И. Новиков считал, что Руссо «обрел славнейшие в нашем веке мудрости», Я. П. Козельский (в своих «Философских предложениях») характеризовал его как «высокопарного орла», который «превозмог всех бывших до него философов», а М. Д. Чулков ставил его первым среди учителей, наставников и путеводителей «к премудрости людей в познаниях и в добродетелях высочайших». ⁶⁴ Едва ли не под непосредственным воздействием того же «Extrait du projet» Руссо и сам М. Д. Чулков составил свой «Проект трактата между европейскими государствами для вечного истребления в Европе войны», ⁶⁵ где, по-видимому, речь должна была идти и о Сен-Пьере. Впрочем, Чулкову могла быть известна уже и вторая статья Руссо о Сен-Пьере («Judgement»), к тому времени уже напечатанная, а наряду с ней и образцы европейской пацифистской литературы, появившиеся накануне и во время революции 1789 г.

Увлечение Руссо как философом-демократом русские просветители завещали будущим декабристам. В показаниях, письмах, воспоминаниях деятелей декабристских тайных обществ сохранилось много свидетельств о том значении, какое имели для развития их общественно-политических взглядов сочинения Руссо, и в первую очередь его «Общественный договор»: это утверждали М. А. Фонвизин, Ф. Н. Глинка, Н. М. Муравьев, А. В. Поджио, Н. А. Крюков, И. А. Анненков, П. Н. Свистунов ⁶⁶ и многие другие. Примечательно, что и В. Ф. Раевский, по собственному признанию, «Общественный договор» «вытвердил как азбуку». ⁶⁷ Поэтому М. А. Цявловский с полным основанием утверждал, что «руссоизм» Пушкина в годы южной ссылки был подкреплен Раевским. ⁶⁸ Совершенно естественно было бы заключать отсюда, что

⁶⁴ См.: Штрапге М. М. Русское общество и французская революция 1789—1794 гг. М., 1956, с. 39.

⁶⁵ Это сочинение Чулкова до нас не дошло, но он сам упомянул о нем в приложении к своей книге «Записки экономические» (М., 1790) в перечне написанных им литературных работ (см.: Шкловский Викт. Чулков и Левшин. Л., 1933, с. 87).

⁶⁶ Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов, с. 219—227; Базанов В. Очерки декабристской литературы. М., 1953, с. 94—95.

⁶⁷ См.: Щеголев П. Е. Декабристы. Л., 1926, с. 13; Воспоминания В. Ф. Раевского. — В кн.: Литературное наследство. М., 1956, т. 60, кн. I, с. 116.

⁶⁸ Цявловский М. А. Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941, вып. 6, с. 43.

именно Раевский открыл Пушкину новые стороны в творчестве Руссо — философа и демократа, какие Пушкин сравнительно мало знал в предшествующие годы, и что вместе с настольным для него «Общественным договором» он указал поэту и на «Исповедь» Руссо и на статьи его о проектах Сеп-Пьера, которые и вызвали спор.⁶⁹

Со своей стороны, Пушкин также мог знать об этих проектах еще в лицейские годы из сочинений Вольтера и энциклопедистов и, без сомнения, еще в ту пору не раз сталкивался с проблемой «вечного мира» по литературным источникам, имевшим для него совершенно особое значение. Лицейсты увлекались, например, чтением сочинений Ф. Р. Вейса, швейцарского руссоиста, в 1789 г. открыто вставшего на защиту французской революции. Много выписок из Вейса включено было в тот рукописный «Словарь» — объемистый свод сентенций на философские, политические и моральные темы, — который составлял В. К. Кюхельбекер с 1815 г. вплоть до окончания Лицея; словарь этот был хорошо известен и Пушкину,⁷⁰ и прочим друзьям Кюхельбекера: именно об этой рукописной энциклопедии Пушкин вспоминал еще в 1825 г. (в стихотворении «19 октября»):

И наш словарь, и плески мирной славы,
И критики лицейских мудрецов!

Были в этом словаре также выписки из Вейса относительно морального оправдания войны и о средствах для достижения постоянного мира, например следующая, помещенная под рубрикой «Война прекрасная»: «Как благородною была бы война, предпринятая противу деспотических правительств, единственно для того, чтобы освободить их рабов».⁷¹

⁶⁹ Не из библиотеки ли В. Ф. Раевского происходил тот экземпляр французских сочинений Руссо, который был в руках Пушкина в Кипи-неве? По свидетельству самого Раевского, в его квартире, куда хаживал и Пушкин, «был шкаф с книгами более 200 экземпляров французских и русских» (см.: Щеголев П. Е. Декабристы, с. 72); по воспоминаниям Горчакова, «книги Пушкин брал у Орлова, у Пущина и особенно у штаб-офицера И. П. Липранди» (Пушкин в воспоминаниях современников, с. 224).

⁷⁰ Тынянов Ю. Пушкин и Кюхельбекер. — В кн.: Литературное наследство, т. 16—18, с. 332—336.

⁷¹ Там же, с. 334. — К сожалению, этот лицейский «Словарь», бывший в руках Ю. Н. Тынянова, доньше остается неопубликованным. Книга Вейса «Principes philosophiques politiques et moraux» по свидетельству декабриста Н. И. Лорера очень увлекала петербургскую военную молодежь по возвращении из походов 1813—1815 гг.; из нее переводили А. А. Бестужев, М. М. Спиридов, Н. А. Крюков и др. (см.: Семейский В. И. Политические и общественные идеи декабристов, с. 226, 228, 229). Еще ранее одна часть из трехтомных «Principes» Вейса выпущена была у нас в переводе А. Струговщикова под заглавием «Основание или существенные правила философии, политики и нравственности» (СПб., 1807); ср. также: Свойства и действия страстей человеческих, из сочинений Руссо, Рошефукольда [sic], Вейса и других новейших писателей. СПб., 1802 (см.:

Еще раньше Пушкин и все лицеисты хорошо знали все то, что об этой проблеме написано было первым и всеми любимым директором Лицея — В. Ф. Малиновским. Еще в 1803 г. Малиновский издал в Петербурге отдельной книгой свое «Рассуждение о мире и войне» в двух частях, всецело проникнутое дыханием просветительского века. Это замечательное сочинение, лишь недавно оцененное по достоинству историками русской общественной мысли,⁷² явилось как раз одним из самостоятельных национальных вкладов в проблему ликвидации войн, поставленную европейским XVIII веком. Аргументация Малиновского самостоятельна и очень интересна. Уже первая книга «Рассуждения», написанная Малиновским в Англии (в Ричмонде в 1790 г.), открывается красноречивой филиппикой против войны, «которая есть зло самопроизвольное и соединение всех зол в свете». «Привычка нас делает ко всему равнодушными, — писал Малиновский. — Слеплены оною, мы не чувствуем всей лютой войны. Если же бы можно было, освободившись от сего ослепления и равнодушия, рассмотреть войну в настоящем ее виде, мы бы поражены были ужасом и прискорбием о нещастиях, ею причиняемых. Война заключает в себе все бедствия, коим человек по природе своей может подвергнуться, соединяя всю свирепость зверей с искусством человеческого разума, устремленного на пагубу людей. Она есть адское чудовище, которого следы повсюду означаются кровию, которому везде последует отчаяние, ужас, скорбь, болезни и смерть <...> Время нам оставить сие заблуждение и истребить зло, подкрепляемое наиболее всего невежеством».⁷³ В особых главах рассматривает Малиновский «Мнимые пользы войны» и «Предубеждения народов», где он, в частности, утверждает, что «привычка, невежество и суеверие причиною тому, что народы убивают друг друга с таким же равнодушием, как скотину. Ужасное ослепление века, почитаемого просвещенным, а и того еще более человеколюбивым»,⁷⁴ и что происходит это оттого, что «ненависть есть обильнейший источник предубеждения народов», а между тем, «чтобы более уважать себя взаимно, народы должны только более знать друг друга».⁷⁵

Много говорится здесь о «Причинах войны и политике», «Бедствиях войны» и «Выгодах мира», но одна из наиболее интересных глав — «Почтение к войне, геройство и великость духа»,

Сопиков В. С. Опыт российской библиографии, т. IV, с. 70 и 230, №№ 7933 и 10161).

⁷² Араб-Оглы Э. А. Выдающийся русский просветитель-демократ: (К 150-летию выхода в свет «Рассуждения о мире и войне»). — Вопросы философии, 1954, кн. 2, с. 181—197. — «Рассуждение» Малиновского перепечатано в книге, выпущенной Институтом философии Академии наук СССР: Малиновский В. Ф. Избранные общественно-политические сочинения. М., 1958 (с. 41—93); здесь же перепечатана его статья «Общий мир» (с. 94—98) по тексту «Сына отечества» 1813 г.

⁷³ Рассуждение о мире и войне. СПб., 1803, т. I, с. 1—2.

⁷⁴ Там же, с. 24.

⁷⁵ Там же, с. 27.

в которой ставится вопрос, следует ли почитать войну «непрерывным путем к славе». Малиновский дает на это резко отрицательный ответ. «Были люди, которые почитаются великими от всех народов и всех веков. Число их весьма мало и убавляется или прибавляется со временем, смотря по тому, как люди думают и в чем полагают славу и великость». Так, например, «европейцы почитали превыше всех людей Александра Македонского... Мы так привыкли почитать его великим, что сие слово сделалось почти нераздельным от его имени». Но справедливо ли это прозвание? Ведь «храбрость, мужество и неустранимость сколь ни великие суть добродетели, но они могут быть почтены только по хорошему их употреблению: их может иметь завоеватель и разбойник». «Ревностнейший подражатель Александра был Карл XII. Унижения и несчастья отняли у других охоту подражать ему, и это был первый удар, который претерпела слава Александра. Но она еще гораздо должнаствовала унизиться, когда известный шах Надир, будучи в начале токмо разбойник, покорил так же, как Александр, Индию, Персию и многие другие земли <...> К несчастью сей шах не имел ласкателями славных историков, стихотворцев и художников, которые могли бы в приятном виде представить его дела. Иначе европейцы стали бы его почитать и назвали бы его героем и великим человеком <...> Из новейших государей мы имеем Людовика XIV, который иными называется великим и который всю жизнь свою смущал спокойствие Европы и разорил свое отечество для получения славы».⁷⁶

Это типично просветительская аргументация. Мы узнаем здесь идеи переведенного Радищевым Мабли и самого Радищева, вместе с другими просветителями разоблачавшего «завоевательный дух» знаменитых властителей и относительность понятий «величия», «славы», «геройства»; много писали об этом и английские просветители от Г. Филдинга и до В. Годвина. Что касается Малиновского, то он не только провозгласил, что «никто не достоин столько имени великого как законодатель»,⁷⁷ но и развенчал «великих» завоевателей как доказательство, что война не может и не должна служить средством для достижения славы. Нетрудно усмотреть непосредственную аналогию с этим ходом мыслей в том положении отрывка Пушкина о «вечном мире», где говорится, что для «великих страстей и великих воинских талантов... всегда будет гильотина», потому что «обществу мало заботы до восхищения великими комбинациями победоносного генерала». Правдоподобно, что это было одно из тех убеждений, которое сложилось у Пушкина еще в лицейские годы. Хотя «Рассуждение о мире и войне» Малиновского вышло в свет без имени автора,⁷⁸ но немыслимо допустить, чтобы лицеисты первого курса — Пуш-

⁷⁶ Там же, с. 31—39.

⁷⁷ Там же, с. 5.

⁷⁸ В конце книги стоят инициалы В. М., раскрытые им самим в письмах А. Г. Воронцову и Г. Р. Державину.

нии в их числе — не знали об этой книге своего директора, в которой он пытался утвердить мысль, что Европа должна прекратить войны и установить «общий и неразрывный мир», и предлагал для осуществления этого создать «общий совет», составленный из уполномоченных союзных европейских народов. Не забудем, что сын Малиновского Иван также учился в Лицее и был одним из самых близких к Пушкину товарищей; с ним и с Пушилым Пушкин был особенно дружен и после выпуска из Лицея.⁷⁹ Лицейсты, конечно, знали, что В. Ф. Малиновский и в период своего директорства продолжал работать над еще не опубликованным продолжением своего «Рассуждения о мире и войне»⁸⁰ и что в самый разгар освободительной войны против Наполеона, незадолго до смерти, он все еще посылал с мыслью, что Россия призвана до конца выполнить свое великое предназначение и, «освободив Европу от общего утеснения», должна будет добиться умиротворения и ликвидации дальнейших военных конфликтов. «И ныне предлежит ей (России, — М. А.) увенчать сей великий подвиг и обеспечить освобожденные народы общим их союзом между собой», — писал В. Ф. Малиновский в своей последней статье «Общий мир», напечатанной в «Сыне отечества» 1813 г.⁸¹ и, несомненно, читанной всеми лицеистами. Самое Царское Село, наполненное «и славой мраморной, и медными хвалами Екатерининских орлов...» невольно внушало лицеистам увлечение былой «военной славой россиян»; мимо Лицея проходили русские войска, отправлявшиеся воевать с Наполеоном. Вспоминая об этом времени, Пушкин, незадолго до своей смерти, писал:

Вы помните: текла за ратью рать,
 Со старшими мы братьями прощались
 И в сень наук с досадой возвращались,
 Завидуя тому, кто умирать
 Шел мимо нас...

(III, 1, 432)

В юношеской оде «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.» Пушкин также сожалел, что он не принял сам участия в военных действиях для защиты отечества:

Я видел, как на брань летели ваши строи;
 Душой восторженной за братьями спешил.
 Почто ж на бранный дол я крови не пролил?

⁷⁹ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. 2-е изд. СПб., 1899, с. 70.

⁸⁰ В. Ф. Малиновский писал Г. Р. Державину из Царского Села 4 августа 1812 г.: «Книжка о мире и войне писана мной самим в Англии и в здешних окрестностях, есть и продолжение, но теперь драчливое время, и можно сказать коротко: воюйте прочие и деритесь» (см.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1871, т. VI, с. 239—240).

⁸¹ Сын отечества, 1813, ч. X, № 11, с. 241—243.

Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою
И славы под крылом па утре не почил?

(I, 146)

Но это было лишь одическое преувеличение. В том же году в послании «Батюшкову» Пушкин отказывался, например, петь «при звуках лир войны кровавый пир» и еще яснее выражал свое отношение к воинским лаврам в стихотворении «Мечтатель» (1815):

Пускай, удара в звучный щит
И с видом дерзновенным,
Мне Слава издали грозит
Перстом окровавленным,
И бранны вьются знамена,
И пышет бой кровавый —
Прелестна сердцу тишина:
Нейду, нейду за Славой.

(I, 124)

Эта «тишина» мечталась шестнадцатилетнему поэту не только как личное стремление, но и как международный идеал, в конкретно-поэтическом противопоставлении «шуму брани»:

Утихла брань племен; в пределах отдаленных
Не слышен битвы шум и голос труб военных;
С небесной высоты, при звуках стройных лир
На землю мрачную нисходит светлый Мир, —

(I, 145)

писал Пушкин в той же оде на возвращение Александра I из Парижа; заканчивалась же она обращением к царю и призывами оставить «и грозный меч войны, и щит — ограду нашу»:

Излей пред Янусом священну мира чашу,
И, брани сокрушив могущею рукой,
Вселенну осени желанной тишиной!..

(I, 147)

И в 1816 г. Пушкин признается в стихотворении «Сон»:

Я не герой, по лаврам не тоскую;
Спокойствием и негой не торгую,
Не чудится мне ночью грозный бой!..

(I, 190)

или (в стихотворении «Из писем к В. Л. Пушкину»):

Дай бог, чтобы во всей вселенной
Воскресли мир и тишина..⁸²

(I, 181)

⁸² Попытку проследить отношение Пушкина к войне на всем протяжении его поэтического творчества см в статьях С. Ашевского (М П Сл.)

«Рассуждение» В. Ф. Малиновского с его проектом «Общего союза Европы» и «совета уполномоченных» народов для утверждения постоянного мира, которое, как мы предполагаем, должно было быть известно Пушкину еще в лицейские годы, не могло ему, однако, напомнить ни о Сен-Пьере, ни о Руссо, так как скупоссылающийся на читанные им книги Малиновский нигде не упоминает ни того, ни другого. Живя в Кишиневе, Пушкин не один раз имел повод вспомнить о Малиновском и о его трактате. По свидетельству В. П. Горчакова, Пушкин часто вспоминал о годах, проведенных в Лицее, и рассказывал о них своим кишиневским друзьям. «Нередко при воспоминании о царско-сельской своей жизни Пушкин как бы в действительности переселялся в то общество, где расцвела первоначальная поэтическая жизнь его со всеми призраками и очарованием».⁸³ Любопытно, что та самая дивизионная школа при 16-й дивизии, которой руководил В. Ф. Раевский, известна была в Кишиневе под именем «Лицея» и что донос по поводу этой школы послан был в Главный штаб и дошел до Александра I в те самые последние месяцы 1821 г., когда готовился разгром кишиневской группы «декабристов», а они сами спорили с Пушкиным о «вечном мире»: очень возможно, что этот донос косвенно связан был и с Пушкиным.⁸⁴ О Лицее и лицейских наставниках, этих насадителей «вольнлюбивых мыслей», несомненно, много говорили в Кишиневе, к Малиновскому же возник особый интерес при первых известиях о греческих событиях в Молдавии. Дело в том, что Малиновский вскоре после окончания работы над рукописью первой части своего «Рассуждения о мире и войне» был отправлен в звании секретаря на конгресс в Яссы, на котором был заключен мир с Турцией, а в 1800 г. на два года был назначен генеральным русским консулом в Молдавии. В 20-е годы здесь его еще помнили как гуманного и просвещенного деятеля;⁸⁵ вполне естественно, что в те месяцы, когда назревал новый военный конфликт с Турцией, а очагами греческого восстания стали те самые города, которые Малиновский так хорошо изучил за двадцатилетие перед тем, воспоминания о нем в Кишиневе обновились, и первым мог вспомнить о нем Пушкин, потому что и перед ним и перед его друзьями еще раз встала тогда та же жгучая проблема о войне и мире,

лярова) «Пушкин и война» (Мир божий, 1899, № 6, отд. II, с. 14—20) и А. Дейча «Пушкин и война» (Новая жизнь, 1915, кн. VII—VIII, с. 153—161).

⁸³ Пушкин в воспоминаниях современников, с. 198.

⁸⁴ Об этом доносе и его последствиях см.: Бейс с о в П. С. Общественно-политические взгляды В. Ф. Раевского. — Уч. зап. Ульяновск. гос. пед. инст., 1953, вып. V, с. 438—439.

⁸⁵ Семевский В. И. Размышление В. Ф. Малиновского о преобразовании государственного устройства России. — Голос минувшего, 1915, № 10, с. 241—242. — Сам Малиновский в автобиографической записке, посланной гр. А. Р. Воронцову, рассказывает о своей деятельности в Молдавии (Архив кн. Воронцова, кн. XXX, М., 1884, с. 391—392); дополнительные подробности — в письме его к В. П. Кочубею (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1863, т. I, с. 172—175).

которую решал и Малиновский. Но на этот раз эта проблема представлялась уже в новом свете: вопрос шел теперь о справедливости национально-освободительной войны в связи с усилиями восставших греков и естественно перерастал в декабристскую проблему о праве народов на свое освобождение. Здесь и оказались весьма кстати старые работы Руссо о Сен-Пьере.

6

В своих воспоминаниях о Пушкине и Кишиневе его времени В. П. Горчаков указывает на странное «столкновение событий»: «... в то же время, когда возникла угнетенная Греция и восходила звезда древней Эллады, среди пустынного океана угасла иная звезда лучезарной славы. И тот, кто так недавно возмущал племена и народы своею неодолимою силою, исчезал с лица земли, как невольник, при кликах крамол и неволи».⁸⁶ Действительно, вторая половина 1821 г. была насыщена событиями, непрерывно обращавшими мысли к проблемам войны и мира. Известие о смерти Наполеона 21 апреля (5 мая) дошло до Пушкина 18 июля 1821 г.; в тот же день он сделал набросок программы и написал текст стихотворения, законченного в сентябре — поябре этого года. Восстания в Европе продолжались; вслед за революциями в Сицилии (июнь 1820), в Португалии (август 1820) в марте 1821 г. началась революция в Пьемонте, почти совпавшая с началом греческого восстания: именно в марте 1821 г. Пушкин писал из Кишинева, что там «восторг умов дошел до высочайшей степени» в связи с событиями, происходившими на юге Европы и в европейской Турции. В сожженной 10-й главе «Евгения Онегина» эти события также объединены:

Тряслися грозно Пиренеи —
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Морей
Из Кишинева уж мигал...

(VI, 523)

В апреле 1821 г. в Петербурге серьезно обсуждался проект отправки в Италию русского экспедиционного корпуса для помощи австрийцам в подавлении неаполитанской революции; однако этот проект осуществлен не был в значительной степени потому, что предполагавшиеся военные действия для подавления освободительного движения в чуждой стране были резко осуждены передовым русским офицерством. «Настроение умов не хорошо, — доносил по этому поводу кп. Васильчиков Александру I. — Неудовольствие всеобщее и неизбежность жертв, сопряженных с ведением войны, необходимость которой непопятна

⁸⁶ Пушкин в воспоминаниях современников, с 198

простым смертным, должны несомненно произвести дурное впечатление».⁸⁷ Но в то же самое время известие о восстании в Греции «воспламенило молодежь... Все были уверены, что государь подаст руку помощи единоверцам и что двинут пашу армию в Молдавию», — вспоминал Н. П. Лорер.⁸⁸ «Важный вопрос: что стапет делать Россия; зайдем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов» (XIII, 24), — спрашивал и Пушкин, описывая начало греческого восстания. Хорошо известно, как жадно ловил поэт все новости и слухи, которые распространялись по этому поводу, с каким сочувствием отнесся он к успехам дела греческой свободы, мечтая даже принять личное участие в военных действиях и с нетерпением ожидая их начала после того, как в августе 1821 г. разорваны были дипломатические отношения между Россией и Турцией. Стихотворение «Война», известное в списках этого года под более точным заглавием «Ожидание войны»,⁸⁹ имеет в рукописи дату 29 ноября 1821 г. (первоначально оно было помечено 29 октября), т. е. около того времени, когда он вел споры о «вечном мире» и читал Руссо. Очень существенно поэтому, что именно в этом стихотворении, спрашивая громко:

Что ж медлит ужас боевой,
Что ж битва первая еще не закипела? —
(II, 1, 167)

поэт задавал вопрос и самому себе, вопрос глубоко интимный, сугубо важный, если сопоставить его со всем тем, что думал он о «воинской славе» в предшествующие годы и как излагал он его в своем прозаическом отрывке, вдохновленном чтением Руссо:

Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев!
(II, 1, 166)

Справедливо отмечалось, что пушкинские «военные стихи» 1820—1821 гг. «звучали несомненно в радикально-политическом плане, были декабристскими стихами».⁹⁰

Декабристы, осуждавшие задуманный Александром I поход в Италию для подавления итальянской свободы, напротив того, горячо приветствовали войну против деспотической Турции в поддержку восставшим грекам и втайне, может быть, питали на-

⁸⁷ См.: Фадеев А. В. Россия и восточный кризис 20-х гг. XIX в. М., 1958, с. 77.

⁸⁸ Там же, с. 77—78.

⁸⁹ Остафьевский архив. СПб., 1899, т. II, с. 282.

⁹⁰ Гуконский Г. Стиль гражданского романтизма в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.; Л., 1941, с. 181 и сл.

дежду на то, что эта война ускорит освобождение от деспотического режима и в России. Вопрос о войне «справедливой», «освободительной» становился одним из важнейших вопросов, который решали в то время декабристы. Этот вопрос очень волновал и Пушкина, сумевшего поднять его до значения большого философского обобщения и заглянуть далеко в будущее. Однако именно здесь намечались существенные расхождения во взглядах между отдельными членами декабристских организаций. Самая русско-турецкая война, объявления которой ожидали с минуты на минуту, вызывала к себе двойственное отношение. Н. И. Тургенев писал, например, брату, Сергею Ивановичу, 30 июня 1821 г.: «... слухи о войне, которая кажется быть у нас популярною, увеличивая беспокойство мое, делая положение моего духа еще более смущенным, не вынуждают от меня решительного мнения на счет этой войны. Напротив того, имея в виду между государствами одну Россию и между народами одних русских, я никогда не дал бы голоса моего ни для какой войны, кроме войны оборонительной».⁹¹ П. И. Пестель, напротив, еще в 1821 г. пришел к заключению, что главное стремление его времени выражалось в национально-освободительных движениях и революционных войнах и что именно Россия призвана поддержать революционные движения народов, охватывающие земной шар.⁹² В течение марта—июня 1821 г. Пестель трижды приезжал в Кишинев «по делам о возмущении греков» и именно в эти месяцы виделся и долго беседовал с Пушкиным. Глубоко сочувствуя борьбе греков против турецкого ига, убежденный сторонник этой справедливой, освободительной войны, Пестель тогда уже «намечал проект будущего политического устройства освобожденных балканских стран, выдвигая идею создания балканской федерации из 10 самоуправляющихся областей, образованных по национальному признаку».⁹³ Декабристское «Общество соединенных славян» также, как известно по словам П. И. Горбачевского, «имело главной целью освобождение всех славянских племен от самовластия... и соединение всех обитаемых ими земель федеративным союзом».⁹⁴ Речь, таким образом, шла не только о будущем России, но и о будущем Европы, славянской в первую очередь, и вопросы будущей военной организации республиканской России и других стран становились злободневной политической проблемой.

Все сказанное приводит нас к заключению, уже намечавшемуся и выше, что отрывок о вечном мире» представляет собою

⁹¹ Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. Л., 1936, с. 343.

⁹² См.: Сыроечковский Б. Е. П. И. Пестель и К. Ф. Герман. — Уч. зап. МГУ, вып. 167, 1954, с. 176.

⁹³ Сыроечковский Б. Е. Балканская проблема в политических планах декабристов. — В кн.: Очерки по истории движения декабристов. М., 1954, с. 73.

⁹⁴ Там же.

одни из важнейших документов для изучения политических воззрений Пушкина в кишиневский период его жизни, свидетельствующий также о близости этих воззрений к взглядам кишиневских «декабристов». В пользу такого вывода мы можем привести еще одно соображение, представляющееся немаловажным. Пушкин, как мы видели, исходя из того, что «принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее», высказывал такое предположение: «...возможно, что менее, чем через 100 лет не будет больше постоянных армий». В чем следует усматривать ближайший источник этой мысли?

Известно, что уже французские просветители XVIII в., Вольтер, Руссо, энциклопедисты, выступали против постоянных армий, хотя, как это справедливо отмечал Ф. Меринг, они еще «не могли понять, что система постоянных войск неразрывно связана с определенными потребностями буржуазного развития».⁹⁵ Декабристов также весьма волновали вопросы о будущем уничтожении постоянных армий при республиканском строе и о демократических формах организации вооруженных сил. Отрицательное отношение декабристов-офицеров к той крепостнической армии, к которой они принадлежали, в особенности «усиливалось тем, что в царствование Александра I происходил огромный численный рост ее состава, а режим „аракчеевщины“ делал ее еще более ненавистной для солдат и для крестьянства».⁹⁶ Положение в армии к началу 20-х годов становилось все более угрожающим: друг за другом следовали восстания военных поселян (1817—1819), Семеновского полка (1820), с жестокостью подавляемые солдатские волнения 1820—1821 гг.;⁹⁷ чем ближе находились декабристы к восстанию, задуманному ими самими, тем чаще возвращались они к вопросу, какой станет армия в преобразованной ими России. Не подлежит сомнению, что в декабристских кругах этот вопрос широко обсуждался в начале 20-х годов и что большинство декабристов уже тогда склонялось к идее будущей замены постоянной армии системой «милиционных войск», при которой оборона государства осуществлялась бы всеми гражданами, способными носить оружие, но призываемыми лишь в случае необходимости. Эта система заимствовалась ими из опыта французской революции⁹⁸ и подвергалась постоянному обсуждению: об этом свидетельствуют воспоминания Д. Завалишина, статья М. Фонвизина о сокращении армии. «Идея милиции была частично воплощена в проекте конституции Н. Муравьева, поддержана в „Рассуждениях“ Торсона и не встретила возражений у дру-

⁹⁵ Меринг Ф. Очерки по истории войн и военного искусства. 3-е изд. М., 1937, с. 451.

⁹⁶ Прокофьев Е. А. Борьба декабристов за передовое русское военное искусство. М., 1953, с. 164; см. также: Прокофьев Е. А. Военные взгляды декабристов. М., 1953.

⁹⁷ Гессен С. Солдатские волнения в начале XIX в. М., 1929.

⁹⁸ Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958, с. 266

гих декабристов, читавших эти документы». ⁹⁹ В так называемом Манифесте к русскому народу, найденном в бумагах С. П. Трубецкого при его аресте, вопрос о форме организации военных сил в будущей обновленной России решался в том же самом смысле. Во втором разделе манифеста, содержащем в себе поручения Временному правительству, ему вменялось в обязанность произвести, в частности, и следующие реформы:

«3. Образование внутренней народной стражи. . .

5. Уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями.

6. Уничтожение постоянной армии». ¹⁰⁰ Мог ли Пушкин знать в 1821 г. в Кишиневе о сущности задуманных декабристами военных реформ, принадлежавших к числу тех, которыми они, вероятно, неохотно делились с непосвященными? В этом не может быть никакого сомнения. Еще в Петербурге в кругу членов «Зеленой лампы» в конце 1819 г. он мог слышать чтение небольшого произведения приятеля своего А. Д. Улыбышева под заглавием «Сон», эту раннюю декабристскую «утопию», в которой идет речь о будущей России, освобожденной после революционного переворота от гнета феодально-абсолютистского режима. ¹⁰¹

Среди многих преобразований полной реформе подверглось также и войско обновленной страны. «— Извините, если я перебую вас, сударь, — спрашивает путешественник жителя этой страны будущего, — но я не вижу той массы военных, для которых, говорили мне, ваш город служит главным центром.

— Тем не менее, — ответил он, — мы имеем больше солдат, чем когда-либо было в России, потому что их число достигает 50 миллионов человек.

— Как, армия в 50 миллионов человек! Вы шутите, сударь!

— Ничего нет правильнее этого, ибо природа и нация — одно и то же. Каждый гражданин делается героем, когда надо защищать землю, которая питает законы, его защищающие, детей, которых он воспитывает в духе свободы и чести, и отечество, сыном которого он гордится быть. Мы действительно не содержим больше этих бесчисленных толп бездельников и построенных в полки воров — этого бича не только для тех, против кого их посылают, но и для народа, который их кормит, ибо если они не уничтожают поколения оружием, то они губят их в корпе, рас-

⁹⁹ Прокофьев Е. А. Борьба декабристов за передовое русское военное искусство, с. 166.

¹⁰⁰ Там же, с. 167.

¹⁰¹ Там же. — М. В. Нечкина (Декабристская утопия. — В кн.: Из истории социально-политических идей. М., 1955, с. 376—384) справедливо оценила «Сон» Улыбышева как «важный документ передовой политической идеологии эпохи Союза благоденствия». «Сон» читан был на 13-м заседании «Зеленой лампы». «Неизвестно, — пишет она, — присутствовал ли А. С. Пушкин при чтении рукописи А. Д. Улыбышева. Можно лишь заметить, что он мог присутствовать, так как в конце 1819 г. был в Петербурге, а пропуск заседаний «Зеленой лампы» как будто не был в его обычае» (с. 379).

пространяя заразные болезни. Они нам не пужны более. Исса, поддерживающие деспотизм, рухнули вместе с ним... Служба, необходимая для внутреннего спокойствия страны, исполняется по очереди всеми гражданами, могущими носить оружие, на всем протяжении империи. Вы понимаете, что это изменение в военной системе произвело огромную перемену и в финансах. Три четверти наших доходов, поглощавшихся прежде исключительно содержанием армии, — которой это не мешало умирать с голоду, — употребляется теперь на увеличение общественного благосостояния, на поощрение земледелия, торговли, промышленности...»¹⁰²

Эта красноречивая страничка, написанная в самый разгар агитации на армию аракатеевской реакции, выразила в то же время представление о той желательной форме будущей организации вооруженных сил, которое складывалось у деятелей русских тайных обществ, будущих декабристов; ход мыслей Пушкина удивительно к ним близок.

7

Выясняется, таким образом, что проблема «вечного мира», увлекшая Пушкина в конце 1821 г., связана была с именем Сен-Пьера лишь внешне и формально; Руссо вызвал его внимание не только потому, что он нашел в его разборах проектов Сен-Пьера аналогию своим мыслям. Спор шел тогда, по-видимому, о гораздо более серьезных вещах — о зависимости войн от феодально-абсолютистских режимов, о том, как долго будут еще необходимы справедливые войны, о том, когда будут ликвидированы армии при условии победы республиканского строя в одном и нескольких государствах, о тактике революционных действий вообще. Руссо и Сен-Пьер дали лишь импульс к обсуждению всех этих мыслей, естественно возникавших в той сложной международной ситуации, которая складывалась в последние месяцы 1821 г. и возбуждала различные прогнозы и надежды на будущее.

Гипотетически можно указать еще на одну книгу, которая именно в указанное время могла дать М. Ф. Орлову и Пушкину дополнительный повод для споров о войне и «вечном мире» и в то же время сообщить их беседам еще более страстный и взволнованный характер. В июне 1821 г. в Париже вышла книга Жозефа де Местра «Петербургские вечера», вызвавшая громкую полемику не в одной лишь Франции. Французская печать объявила «Петербургские вечера» одной из самых примечательных книг всего 1821 г., называя ее исповеданием веры и завещанием знаменитого политического писателя, в котором он в последний раз перед смертью (де Местр умер в феврале 1821 г.) давал бой

¹⁰² Декабристы и их время, т. I, с. 47—48.

всему европейскому свободомыслию и выступал апологетом «деспотизма во всей его непристойности».¹⁰³ Очень быстро эта книга дошла и до России, где было немало людей, лично знавших покойного писателя или сохранявших интерес к его писаниям: едва ли подлежит сомнению, что ее быстро заметили в «декабристских» и близких к ним кругах русской дворянской интеллигенции. Книга ставила самые жгучие вопросы, освещая их с точки зрения метафизической этики; она давала широкие обозрения предшествующего века европейской истории и философской мысли; завлекательным для русского читателя было, наконец, самое заглавие ее, определявшее место действия. В библиотеке Пушкина сохранилось второе издание «Петербургских вечеров» 1831 г.,¹⁰⁴ но он не мог не знать эту книгу и ранее.

«Петербургские вечера» де Местра представляют собою, как известно, серию философских диалогов (числом 11), которые ведут между собою в Петербурге в 1809 г. три лица: сам автор, петербургский сенатор (le conseiller privé de T***, membre du sénat de St.-Pétersbourg) и молодой французский эмигрант, бежавший из Франции «во время революционной бури». Первый диалог разворачивается во время прогулки по Неве; автор начинает свою книгу живописной панорамой Петербурга в теплую белую ночь, открывающейся собеседникам с лодки, медленно скользящей по глади реки. Многое должно было увлечь и Пушкина в этой с подлинным литературным блеском написанной картине: «Нет ничего более редкостного и чарующего, как прекрасная летняя почь в Петербурге, где она нежнее и молчаливее, чем в более мягких климатах. Солнце медленно, как будто с сожалением, растает с землею. Его пылающий диск, окруженный красноватыми облаками, катится как огненный шар пад темными лесами, венчающими горизонт, и его лучи, отраженные витражами дворцов, создают зрителю впечатление огромного пожара». Де Местр подробно описывает Неву, полноводно текущую в лоне великолепного города и до самого горизонта «сдержанную гранитными набережными, для чего невозможно отыскать ни образец, ни подражание»; Нева полна нарядных шлюпок, сплывающих взад и вперед; в отдалении видны иностранные корабли, складывающие свои паруса и бросающие якорь: сюда «по соседству с полюсом» привезли они дары тропических стран и плоды трудов всей земли.¹⁰⁵

Медленно плывет лодка по Неве, и собеседники внимают красоте пейзажа и тишине ночи. Но вот возникает перед ними

¹⁰³ Lesur C. L. Annuaire historique universel pour 1821. Paris, 1822, p. 801—802; из этой книги мы заимствуем и дату выхода в свет «Петербургских вечеров».

¹⁰⁴ Comte Joseph de Maistre. Les soirées de St.-Pétersbourg, ou Entretien sur le gouvernement temporel de la Providence. 2-me éd. Lyon, 1831; Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 279, № 1127.

¹⁰⁵ de Maistre Joseph. Les soirées de Saint-Pétersbourg. Paris, 1821, t. 1, p. 2—3.

видная с Невы «копная статуя Петра I, возвышающаяся на краю необъятной Исаакиевской площади. Его суровое лицо смотрит на реку и все еще одушевляет судоходство, созданное гением основателя. Все, что слышит ухо, все, что созерцает глаз в этом великолепном зрелище, вызвано мыслью этой могучей головы. Это она воздвигла столько пышных строений из болота. На этих прискорбных берегах, откуда природа кажется вовсе изгнала жизнь, Петр поместил свою столицу. Здесь создал он своих подданных, которые еще толпятся вокруг его царственного изображения. Его ужасная рука еще простерта над их будущей судьбою. Глядишь на него и не знаешь — его бронзовая длань защищает или угрожает?».¹⁰⁶

Читая эти вступительные страницы к знаменитой книге де Местра, трудно отделаться от впечатления, что какие-то нити протягиваются от них к чеканным строфам «Медного всадника»; и для Пушкина, как и для де Местра, «кумир с простертою рукою», бронзовый облик того,

... чьей волей роковой
Под морем город основался...

стал художественным предлогом для больших историсофских обобщений, для решения, хотя и в совершенно противоположном де Местру смысле, проблемы добра и зла в сфере государственных и личных отношений.

В «Петербургских вечерах» рассказано, что в тишине этой сияющей ночи, в виду Медного всадника, простершего свою державную десницу и над городом и над плывущей мимо него лодкой, разворачивается философский разговор о человеческой жизни и тех силах, которые ею управляют; разговор продолжается и в последующие вечера: де Местр достигает здесь крайних пределов своего пессимизма и наперекор всякому праву и долгу, в полном противоречии со всеми завоеваниями передовой общественной мысли этой поры, создает свою пристрастную апологию деспотизма, исполненную чудовищных парадоксов и оправдания зла, столь возмущавших впоследствии демократа В. Гюго. Теоретик дворянской реакции, фанатик, яростно боровшийся с наследием просветительского века, который он объявил «одним из самых постыдных периодов в истории человеческого разума», воинствующий ненавистник Руссо и его теории народовластия, пытавшийся реставрировать влияние папства и католицизма, де Местр, помимо того, создал в «Петербургских вечерах» свое учение о «божественности войны» как «искупительной жертвы», как «вечного, неизбежного, постоянного жертвоприношения».

В седьмом диалоге книги, преимущественно посвященном фаталистическому оправданию войны, именно петербургский сенатор Т*** задает автору ряд волнующих вопросов, чтобы заставить

¹⁰⁶ Ibid., p. 5—6.

затем высказать противоположные доводы; он недоумевает, например, почему отдельные народы, если они действительно перешли «от естественного состояния, в вульгарном смысле этого слова, к состоянию цивилизованному», не имели достаточно разума, чтобы добиться счастья, какое в состоянии были обрести отдельные люди? Как случилось, недоумевает он, что нации никогда не могли прийти к соглашению, чтобы навсегда прекратить возникающие между ними пререкания, ссоры, кровопролитные войны? Характерно, что в этом месте де Местр заставляет петербургского сенатора, очевидно хорошо посвященного в теорию французских просветителей XVIII в. и играющего роль несколько наивного их подголоска, вспомнить Сен-Пьера и его проекты, для того чтобы тотчас получить резкую отповедь на это. «Можно легко выставить на посмешище неосуществимый мир аббата Сен-Пьера (а я допускаю, что он неосуществим), но я спрашиваю вас — почему?» — рассуждает сенатор. «Я спрашиваю, почему народы не могли возвыситься до общественного состояния (*état social*), какого достигли отдельные люди? Каким образом в особенности рассуждающая Европа (*la raisonnante Europe*) не пыталась испробовать что-либо в этом роде!.. Аргумент, который можно было бы извлечь из невозможности придать верховной власти желаемую всемирность, не имел бы силы. Народы и без того достаточно разъединены реками, морями, горами, религиями и особенно языками. И если бы некоторое количество народов согласилось бы перейти в состояние цивилизованности, то это уже был бы один шаг в пользу человечества. Другие народы, скажут мне, нападут на них. Не все ли равно! Они все-таки всегда станут с большим спокойствием относиться друг к другу и будут более сильными с точки зрения других, и этого достаточно. Совершенство вовсе не необходимо в этом отношении: достаточно к нему приблизиться, и я не могу заставить себя убедиться в том, что никогда нельзя было бы попытаться сделать что-нибудь в этом роде, минуя мистический и ужасный закон, требующий человеческой крови».¹⁰⁷ В ответ на эти робкие аргументы и недодуманные утверждения Ж. де Местр и развертывает перед сенатором этот «мистический и ужасный закон» войны, которая существует в мире навеки, как первородный грех, и не может быть уничтожена волею человека, как «промысел божий». В войне, рассуждает де Местр, видит то «героическую поэму», то «бич человечества», для которого нет имени, то историческое явление, которое когда-то имело оправдание, но не имеет его теперь. С точки зрения де Местра, война — ни то, ни другое, ни третье; «война божественна» как «мировой закон» — и по причинам, по которым она возникает, и по своим исходам, не зависящим от ее участников; поэтому пролитая кровь питает землю непрерывно, как роса, и на громадном жертвеннике, имеющем землю, нет и не будет конца заклятиям.

¹⁰⁷ Ibid., t. II, p. 17—18.

Современным читателям эти преступленные страницы фанатика в оправдание войны могут показаться бредом, тем более опасным, что в них проявляется порой отравленная, болезненная поэзия. Не так ли должен был посмотреть на эти страницы и Пушкин вместе со своими передовыми современниками, с его трезвыми мыслями о войне, сложившимися с лицейских лет с помощью «декабристских» учений о справедливых и несправедливых войнах, ввиду нового разгоравшегося военного пожара? Не эта ли книга являлась лишним поводом для кишиневского спора о войне и мире? Не она ли усилила горячность и категоричность утверждений Пушкина в его замечательном отрывке о «вечном мире»? В этом пет ничего невозможного. Писаниями де Местра очень интересовались и, несомненно, испытали на себе их влияние и П. Я. Чаадаев и М. С. Лунин, с мнениями которых Пушкин всегда считался и с которыми рад был спорить. Особенности интересоваться «Петербургскими вечерами» были, однако, у М. Ф. Орлова. Он был лично знаком с де Местром и состоял с ним в переписке; одно из писем Орлова к Жозефу де Местру (от 24 декабря 1814 г.) написано было по поводу книги «*Considération sur la France*»,¹⁰⁸ также переизданной в 1821 г. в первом томе посмертного парижского «Собрания сочинений» де Местра; примечательнее всего то, что в этом издании (1821) впервые опубликовано было это самое письмо М. Ф. Орлова, переданное вдовой де Местра издателю Антуану Барбье 7 июля 1821 г.¹⁰⁹ Знал ли об этом М. Ф. Орлов уже в Кишиневе? Это очень вероятно; многочисленные друзья его не могли не сообщить ему об этом, да и в самом Кишиневе свежие французские книги получались довольно быстро; все это усиливает наше предположение, что и «Петербургские вечера», появившиеся в июне 1821 г. в Париже, могли быть получены в Кишиневе к ноябрю того же года, когда состоялся интересующий нас спор.

Однако и в том случае, если бы высказанные догадки не подтвердились, сопоставление идей де Местра о войне с отрывком Пушкина о «вечном мире» представляло бы несомненный исторический интерес: на частном, но типичном примере выяснилось бышний раз, какая пропасть разделяла Пушкина и этого старого дворянского реакционера, «наглого, бессовестного фанатика» и «ярого поборника крайнего деспотизма», как де Местра назвал одно время бывший его приверженцем младший современник Пушкина В. С. Печерин.¹¹⁰ Нет, война не божественна, — утверждает Пушкин. Ее вызывают и ею управляют люди, те самые, для которых уготована будет гильотина. Нет, война не вечный закон. Она будет устранена волей народов.

Будем надеяться, что Пушкин и на этот раз был прав.

¹⁰⁸ Эта книга Ж. де Местра в позднем издании (1834) также была в библиотеке Пушкина (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 279, № 1122).

¹⁰⁹ Степанов М. Жозеф де Местр в России. — В кн.: Литературное наследство, 1937, т. 29—30, с. 625.

¹¹⁰ Печерин В. С. Замогильные записки. М., 1932, с. 114.



РЕМАРКА ПУШКИНА
«НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ»

1

Последняя сцена «Бориса Годунова» в первом издании трагедии Пушкина 1831 г., как известно, кончалась словами Мосальского, вышедшего на крыльцо «дома Борисова» в Кремле: «Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (*Народ в ужасе молчит*). Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! Народ *безмолвствует*».

В заключительной авторской ремарке слово «безмолвствует» выделено курсивом. Ниже крупным шрифтом набрано: «Конец».¹

История истолкования этой знаменитой ремарки очень примечательна: она весьма наглядно демонстрирует, как много неясного существует еще не только в рукописных, но даже в печатных текстах произведений Пушкина и какие противоречивые и даже исключаяющие друг друга суждения об этих текстах высказывались критиками и исследователями; многие подобные противоречия из литературы о Пушкине не устранены еще и доныне. Вокруг приведенной концовки «Бориса Годунова» более чем за столетие, протекшее со времени ее первого появления в печати, накопилась целая критическая литература, пространно и на все лады комментирующая эту, казалось бы, столь понятную фразу простейшей синтаксической конструкции. Как это ни странно, но история ее появления в тексте «Бориса Годунова» действительно довольно загадочна, допускает различные предположения, а источники ее возникновения еще не определены.

Еще И. В. Киреевский, поместивший в своем журнале «Европеец» (1832) один из наиболее проникновенных отзывов о «Борисе Годунове» (среди появившихся при жизни поэта), отметил, что в этом произведении Пушкин неизмеримо выше своих читателей и что «такого рода трагедия, где главная пружина не

¹ Борис Годунов, сочинение Александра Пушкина. СПб., 1831, с. 142.

страсть, а мысль, по сущности своей не может быть понята большинством нашей публики».² Действительно, подавляющая часть критических суждений, высказанных о «Борисе Годунове» в 30-е гг., обнаруживает полное непонимание этой великой народной драмы и явное неумение найти надлежащий критерий для ее справедливой оценки. Вполне естественно, что в придиричвых и большею частью невежественных замечаниях о «Борисе Годунове», которые мы встречаем в русских журналах той поры, о заключительной сцене не говорится почти вовсе. Лишь один Н. Полевой в большой статье о «Борисе Годунове», напечатанной в «Московском телеграфе» (1833), с похвалой отозвался о двух последних сценах трагедии, но в таком контексте, который сводил па пет как будто высказанное им одобрение: «Если рассматривать сцены, каждую отдельно, — писал Н. Полевой, — то большая часть из них прекрасны — некоторые особливо отделаны полно, мастерски». Далее следует небольшое перечисление сцен этого рода; заключают его «обе сцены эпилога». «Зато другие, — оговаривался Н. Полевой, — слабы, ничтожны».³

В конце 30-х годов в журнале С. Е. Раича «Галатей» (фактически редактором журнала был в это время П. И. Артемов) появился довольно подробный критический разбор «Бориса Годунова». Автор этой неподписанной статьи (имя его остается неизвестным) между прочим признавался: «Мы... не можем, не должны пропустить последней сцены, в которой так много поэтического, что вы, прочитавши ее, невольно прослезитесь над несчастьем невинных детей Годунова... и над безумием легкомысленного, неблагодарного народа». Далее следует довольно обширное рассуждение о заключительной ремарке Пушкина, рассуждение, которым, по-видимому, и открылась последующая дискуссия о ней в русской критике и публицистике XIX—XX вв.

«Как много заключается в этом „народ безмолвствует“! — писал критик „Галатеи“. — Вы нехотя задумываетесь при этом „народ безмолвствует“ и как будто присутствуете при поражении Аполлоновыми стрелами Ниобы и при превращении ее в камень в минуту погибели невинных ее детей». Напомнив античный миф о Ниобе (или Ниобее), над которой свершился суд оскорбленных богов-олимпийцев,⁴ критик «Галатеи» продолжал, по-своему толкуя значение пушкинской ремарки для уразумения представления Пушкина о народной массе и той роли, которую народ играл

² Киреевский И. В. Обзорение русской словесности за 1831 год. — В кн.: Полн. собр. соч. И. В. Киреевского. В 2-х т. М., 1914, т. II, с. 46—47. — Этот отзыв вполне удовлетворил также и Пушкина, писавшего И. В. Киреевскому 4 февраля 1832 г.: «Ваша статья о Годунове и о Натожнице (Баратынского, — М. А.) порадовала все сердца; насилу-то дождались мы истинной критики» (XV, 9).

³ Московский телеграф, 1833, ч. XLIX, январь, с. 309; вошло в кн.: Полевой Николай. Очерки русской литературы, ч. I. СПб., 1839, с. 193.

⁴ Для Пушкина Ниобей, как это видно, в частности, из его стихотворения «Художнику» (1836), была олицетворением горя, печали, страдания: «Тут Аполлон — идеал, там Ниобей — печаль...».

в династическом перевороте в Москве в начале XVII в.: «В этом „народ безмолствует“ таится глубокая политическая и нравственная мысль: при всяком великом общественном перевороте народ служит ступенью для властолюбцев-аристократов; он сам по себе ни добр, ни зол, или, лучше сказать, он и добр и зол. смотря по тому, как заправляют им высшие; нравственность его может быть и самую чистою и самую испорченною, — все зависит от примера: он слепо доверяется тем, которые выше его и в умственном и в политическом отношении; но увидевши, что доверенность его употребляют во зло, он *безмолствует* от ужаса, от сознания зла, которому прежде бессознательно содействовал; *безмолствует*, потому что голос его заглушается внутренним голосом проснувшейся, громко заговорившей совести. В высшем сословии совсем другое дело: там совесть подчинена и раболепно покорствуется расчетам честолюбия или какой другой страсти...».⁵

Этот интересный отзыв не обратил на себя широкого внимания, вероятно, по недостаточной распространенности журнала «Галатея», и критика о нем вскоре забыла.⁶

Напротив, большой известностью всегда пользовался и пользуется другой отзыв о «Борисе Годунове», появившийся несколько лет спустя в «Отечественных записках». В 1845 г. в этом журнале без подписи была напечатана посвященная «Борису Годунову» десятая статья Белинского из цикла его статей о Пушкине. В ней идет речь и о концовке этого «истинного и гениального образца народной драмы» (так Белинский назвал «Бориса Годунова» в почти одновременно написанных им «Мыслях и заметках о русской литературе», 1846).⁷ «Превосходно окончание трагедии, — рассуждает Белинский. — Когда Мосальский объявил народу о смерти детей Годунова, — *народ в ужасе молчит*... Отчего же он молчит? разве не сам он хотел гибели годуновского рода, разве не сам он кричал: „вязать Борисова щенка“?.. Мосальский продолжает: „Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!“ — *Народ безмолствует*... Это — последнее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира... В этом безмолвии народа слышен

⁵ Галатея, 1839, ч. IV, № 27, с. 52, 54—55. — Белинский, несомненно, хорошо знал эту статью, хотя нигде на нее не ссылается. В том же помере «Галатеи», несколькими страницами далее (в статейке «Журнальные отметки»), помещен полемический выпад против Белинского, на который критик хотел отвечать; в письме к А. А. Краевскому от 19 августа 1839 г. Белинский обещал «разделаться с Галатеей». В следующем году (когда фактическим редактором «Галатеи» был уже В. С. Межевич) Белинский несколько раз иронически высказывался об этом журнале (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954, т. IV, с. 137 и 440—441).

⁶ П. О. Морозов напомнил об этом отзыве в своем комментарии к «Борису Годунову» в академическом издании сочинений Пушкина для иллюстрации того положения, что «критики, ближайшие по времени к Пушкину, не только не имели по поводу заключения трагедии каких-либо сомнений, но считали это заключение чрезвычайно сильным и удачным» (см.: Сочинения Пушкина. Пгр., 1916, т. IV, с. 113).

⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IX, с. 451.

страшный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд свой над новою жертвою — над тем, кто погубил род Годуновых...».⁸

Приведенное пояснение Белинского к заключительной ремарке пушкинской трагедии приобрело широкую известность и начало свое длительное странствование из книги в книгу; судьба этого пояснения также может уже составить особый эпизод в истории русской критической мысли. Вся статья Белинского о «Борисе Годунове», в которой идет речь о заключительной сцене трагедии, неоднократно перепечатывалась (полностью или с сокращениями) в собраниях его сочинений, в подборках его статей о Пушкине, школьных пособиях, хрестоматиях литературных материалов и т. д.; цитаты из этой статьи приводились часто и охотно. Слова о «новой Немезиде» с полным сочувствием цитировал, например, С. Елисеев, не соглашаясь, однако, с оценкой Белинским «Бориса Годунова» во многих других отношениях, в частности с тем, что ремарка о безмолвствующем народе «достойна Шекспира». Приведя всю интересующую нас цитату, С. Елисеев делает следующую оговорку: Белинский, «конечно, прав; но и тут не вполне: нигде, ни в одной драме Шекспира, даже в исторических хрониках, даже в Юлии Цезаре, народ не играет такой роли, не заполняет собой так пьесы, не изображен так всесторонне, выпукло и живо, как в комедии о настоящей беде Московского государства».⁹ Иногда этот отзыв Белинского с незначительными переделками или в легкой перефразировке приводили и без имени автора. Так, например, в выдержавшей четыре издания (между 1886—1909 гг.) книжке Е. Воскресенского о «Борисе Годунове» заключительная сцена характеризуется следующим образом: «... народ с ужасом и в безмолвии выслушал заключительные слова Мосальского... Он почувствовал все беззаконие такой ужасной расправы... Страшный, карающий голос новой Немезиды, осуждающий убийц Годуновых, слышен в этом безмолвии...».¹⁰ Иногда, напротив, слова Белинского о «новой Немезиде» служили источником дальнейшего рассуждения или распространения, но их приводили и в этих случаях в обязательном порядке с функцией эпиграфа, подчеркивающего исходный момент рассуждения. Так, Д. Д. Благой приводит цитату о Неме-

⁸ Там же, т. VII, с. 534 (первоначально в «Отечественных записках», 1845, № 11). — В этой статье Белинский не в первый раз восторженно отзывался о пушкинской трагедии. Уже самая ранняя из известных нам критических статей Белинского («Листок», 1831) защищала «Бориса Годунова» от нападок русской печати вскоре после выхода в свет отдельного издания трагедии, в частности от упреков Надеждина в «Телескопе» (см.: Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829—1836. [М.], 1954, с. 197); правда, в этой статье Белинского 1831 г. о концовке «Бориса Годунова» речь не идет.

⁹ Елисеев С. Ошибки Белинского в оценке «Бориса Годунова». — Дело, 1887, № 5, с. 61.

¹⁰ Воскресенский Е. «Борис Годунов» А. С. Пушкина: Разбор трагедии. 4-е изд. М., 1909, с. 187.

зиде для подкрепления той мысли, что «безмолвие народа» в финале пушкинской трагедии — «это очевидный ответ народа на то, чему он только что был свидетелем, и этот немой ответ звучит сильнее всяких слов». «В этом „безмолвии“ заключена, по Пушкину, вся дальнейшая судьба самозванца, — поясняет Д. Д. Благой вслед за Белинским, — поскольку народ от него отвернулся, его, достигшего высшего могущества и власти, ждет быстрое свержение и бесславная гибель. Сегодня — народ безмолвствует, а завтра — он заговорит; и горе тому, против кого он обратит свой голос, — таков смысл этого единственного в своем роде, потрясающего пушкинского финала».¹¹ В связи с такой трактовкой трагедии исследователю представляется знаменательным, что фраза «народ безмолвствует» «дается Пушкиным без скобок, в которых даны все ремарки, т. е. не в порядке ремарки».¹² В своей книге «Русский драматический театр XIX века», характеризуя «Бориса Годунова», С. С. Данилов приводит ту же цитату из статьи Белинского о «трагическом голосе новой Немезиды» для подкрепления того наблюдения, что «безмолвие народа в конце трагедии по существу тоже действено, ибо является залогом скорого падения нового царя». При этом С. С. Данилов выражает свое согласие с мнением Д. Д. Благого и полагает, что заключительная фраза «народ безмолвствует» — «это не ремарка, а смысловое резюме, вытекающее из исторических и политических размышлений Пушкина».¹³

Многочисленные новейшие исследователи Белинского обычно цитировали его слова о пушкинской концовке с похвалой, исключая возможность несогласия с ними. Они не знали, что возражения Белинскому в свое время уже были сделаны. «Говоря о „превосходном окончании трагедии“, включающем в себя известную фразу: „народ безмолвствует“, Белинский верно угадал ее огромный смысл», — замечает, например, И. Пехтелев.¹⁴

Представляется, однако, странным и даже необъяснимым, как случилось, что никто из восторженно цитировавших указанные слова Белинского о «безмолвии» и «повой Немезиде» не заметил, что они уже сказаны были до него в статье 1838 г., статье, которую Белинский отлично знал и на которую он сам ссылался неод-

¹¹ Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. (1813—1826). М.; Л., 1950, с. 472.

¹² Там же, с. 471.

¹³ Данилов С. С. Русский драматический театр XIX в. М.; Л., 1957, т. I, с. 115.

¹⁴ Пехтелев И. Г. Белинский — историк русской литературы. 2-е изд. М., 1961, с. 235; Н. А. Кастилин в своей книге «Белинский — театральный критик» (М., 1950, с. 105—106), со своей стороны, подчеркнул, что «Белинский недалек от истины (?) в интерпретации этой картины», и, приведя всю цитату о «новой Немезиде», прибегнул к собственной ее амплификации; при этом он достиг почти юмористического эффекта, если взглянуть на его утверждение с акустической точки зрения: «В безмолвии народа как бы слышны первые раскаты грома, предвещающие кровавую грозу».

покрайню. Это были слова Фарнгагена фон Энзе в его известной характеристике творчества Пушкина, помещенной в берлинском журнале.¹⁵ В 1839 г. статья была дважды напечатана в России в двух различных переводах.¹⁶ Существенно, что именно Белинский сыграл немалую роль в деле популяризации этой статьи среди русских читателей. В том же 1839 г. в одном из своих журнальных обзоров он привел полностью интересующее нас место статьи Фарнгагена о заключительной сцене «Бориса Годунова» как очень ему понравившееся. Подробно пересказывая мнение Фарнгагена о «Борисе Годунове», Белинский в обзорной статье 1839 г. о русских журналах между прочим писал: «Изложивши содержание „Бориса Годунова“, Фарнгаген заключает

¹⁵ Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 1838, October; вошло в кн.: Varnhagen von Ense. Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften. Leipzig, 1843, Bd V, S. 592—635. — Осведомленность Фарнгагена во всем, что имело отношение к биографии и к творчеству Пушкина, частично объясняется его дружескими отношениями с А. И. Тургеевым и П. А. Вяземским (см.: Остафьевский архив. СПб., 1899, т IV, с. 77—78).

¹⁶ Статья Фарнгагена о Пушкине (поводом для ее написания явился выход трех томов посмертного издания сочинений поэта) была хорошо принята в России в кругу друзей Пушкина, но вызвала полное неодобрение Н. А. Полевого, который писал о ней: «... мы удивляемся, чем могла она обратить на себя внимание германцев? Мы поместили перевод ее в сей книжке Сына Отечества как предмет, для нас любопытный, но читатели наши сами могут видеть, что, несмотря на немецкую манеру выражаться, статья Фарнгагена показывает самую неверную, самую превратную критику, односторонний взгляд на Пушкина, и — решительное незнание русской литературы и русской истории (...). Мы, — заключал Полевой, — передаем нашим читателям статью г-на Фарнгагена, как... образец упадка современной критики и философии в Германии» (Сын отечества, 1839, т. VII, № 1, отд. IV, с. 44). Полное несогласие с данной оценкой статьи Фарнгагена Полевым Белинский тотчас же высказал в «Московском наблюдателе» (1839, ч. II, № 4, отд. IV, с. 100—138), отмечая п «странное заключение» Полевого, и крайне неудовлетворительные качества перевода статьи Фарнгагена. Белинский заказал даже новый перевод этой статьи М. П. Каткову и надеялся, что сможет опубликовать ее в том же «Московском наблюдателе». Однако этот перевод не был пропущен цензурой, о чем мы знаем из свидетельства И. М. Спегирева, явившегося, очевидно, инициатором этого запрещения: «... согласно с мнением моим, оп (граф С. Г. Строганов, — М. А.) находит статью из Московского Наблюдателя о Пушкине предосудительною во многих местах и хотел призвать к себе Каткова, переведшего ее из Фарнгагена для вразумления» (Дневник Ивана Михайловича Спегирева. М., 1904, т. I, с. 261; см. также с. 260). В. И. Кулешов (см.: Кулешов В. И. Литературные связи России и Западной Европы в XIX в. (первая половина). М., 1965, с. 66) ошибается, утверждая, что статья Фарнгагена была опубликована в «Московском наблюдателе»; в этом журнале Белинский мог дать лишь ее изложение с цитатами из непропущенного перевода М. Каткова. Он писал по этому поводу: «Не можем удержаться, несмотря на недостаток времени и места, чтобы не поговорить об этой прекрасной статье, которая вдвойне важна для русской публики — и как дельная и верная оценка ее великого поэта, и как оценка, сделанная иностранцем, — обстоятельство драгоценное для нашего патристического чувства» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. III, с. 182; см. также с. 171 и 617). Через месяц статью Фарнгагена в переводе Каткова удалось все же напечатать в петербургском журнале «Отечественные записки».

свой беглый разбор этого гигантского создания следующим глубоко философским взглядом на его основную мысль». Следует (петитом) большая цитата из статьи Фарнгагена (по рукописи перевода М. Н. Каткова, что, конечно, не могло быть оговорено). Мы извлекаем из этой цитаты лишь самое ее начало: «Так заключается драма, заключается величественным впечатлением, в котором сосредоточивается вся сила совершившегося и в котором таится предчувствие новой Немезиды для нового преступления. Поэт разоблачил перед нашими взорами мировую судьбу... История не всегда свершает так свой суд; наши глаза часто едва-едва могут следить по рядам столетий за Немезидою; но те моменты истории, в которых суд свершается так же быстро и так же явственно, как здесь, — они-то и заключают в себе то, что мы зовем трагическим»,¹⁷ и т. д.

Нетрудно заметить, что этот, по мнению Белинского, «глубоко философский взгляд» на окончание пушкинской трагедии чрезвычайно близок к тому, о чем писал он сам несколько лет спустя. Даже мифологический образ Немезиды как олицетворение возмездия, отмщения, неизбежной судьбы был в данном случае подсказан Белинскому Фарнгагеном; впрочем, такое словоупотребление было близко людям пушкинской поры и самому Пушкину (в его стихах речь идет о «вечной», «бессмертной» и «пародной» Немезиде).¹⁸ От Белинского и Фарнгагена такой взгляд на концовку трагедии получил довольно широкое распространение;¹⁹ усвоил его и П. В. Анненков.

2

П. В. Анненков был первым издателем «Бориса Годунова», заметившим, что в автографической рукописи трагедии конец был иной. В своем издании «Сочинений Пушкина» (1855) он воспроизвел «Бориса Годунова» по первопечатному тексту 1831 г., но в примечании к заключительной фразе отметил: «В рукописи... после извещения Мосальского, что дети Годунова отравились, народ еще кричит: „Да здравствует царь Димитрий

¹⁷ См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. III, с. 185. — Немецкий текст этой цитаты приведен в книге: Филонов Андрей. «Борис Годунов» А. С. Пушкина: Опыт разбора со стороны исторической и эстетической. СПб., 1899, с. 132—133; там же приводится и перевод по тексту М. Н. Каткова, напечатанному в «Отечественных записках» (1839, т. III, № 5, Приложение, с. 22). Подробные данные о последующих перепечатках этой статьи Фарнгагена и об оценке ее в критической литературе см.: Алексеев М. П. Пушкин на Западе. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. 3, с. 133—134.

¹⁸ Словарь языка Пушкина, т. II, М., 1957, с. 805.

¹⁹ См., например: Аверкиев Д. В. О драме. Критическое рассуждение. 2-е изд. СПб., 1907, с. 47 и 190. — Анализируя заключительную сцену в том же смысле, Аверкиев добавлял, что она «имеет не только значение указания на будущую судьбу Самозванца..., но и высокое трагическое значение: она рисует последнее и конечное, посмертное несчастье Бориса».

Иванович!», а уже при печатании это заменено словами: „народ безмолвствует“, что так удивительно заключает хронику, предрекая близкий суд и заслуженную кару преступлению». ²⁰ На чем основывался П. В. Анненков, свидетельствуя, что ремарка «народ безмолвствует» впервые появилась в тексте «Бориса Годунова» «при печатании» трагедии, остается неизвестным; мы, к сожалению, не знаем, был ли это собственный домысел Анненкова, исходившего из сличения рукописи Пушкина и первопечатного издания трагедии, или же ему стало известно об этом из какого-либо устного источника. В последующих изданиях сочинений Пушкина (например, в обоих изданиях Г. Н. Геннади — 1859—1860 и 1869—1871 гг. и ранних изданиях П. А. Ефремова) отличие печатной концовки от рукописной либо не отмечалось вовсе, либо редакторы следовали за П. В. Анненковым и кратко сообщали, что возглас «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» «при печатании» трагедии был заменен словами «народ безмолвствует». ²¹

В конце 80-х годов стали известны и вкратце описаны такие важные источники текста «Бориса Годунова», как беловой автограф с поправками Пушкина и В. А. Жуковского и писарская копия трагедии, находившаяся в руках А. Х. Бенкендорфа и того лица, которому он от имени Николая I поручил функцию цензора пьесы. Знакомство с этими рукописными источниками, ставшими собственностью государственных книгохранилищ (имп. Публичной библиотеки в Петербурге и Румянцевского музея в Москве), ²² прежде всего подтвердило справедливость вышеприведенного свидетельства П. В. Анненкова, по крайней мере в том отношении, что слов «народ безмолвствует» нет ни в одной авторской рукописи «Бориса Годунова». Может быть, в связи именно с этим обстоятельством в интерпретации печатной концовки пушкинской пьесы появился новый мотив: ее предложили считать теперь не только вынужденной, но даже недостаточно оправданной внутренними мотивами, случайной подробностью текста. Такое отношение к заключительной ремарке трагедии высказал в 1887 г. П. О. Морозов. Публикуя заново «Бориса Годунова» в сочинениях Пушкина, изданных от имени Литературного фонда, П. О. Морозов сопроводил слова «народ безмолвствует» следующим примечанием: «В рукописи пьеса оканчивалась иначе:

Н а р о д

Да здравствует царь Димитрий Иванович!..

Пушкин должен был изменить это окончание, потому что оно было найдено „предосудительным в политическом отношении“. ²³

²⁰ Сочинения Пушкина / Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855, т. IV, с. 457.

²¹ См., например: Сочинения А. С. Пушкина / Под ред. П. А. Ефремова. 3-е изд. СПб., 1800, т. II, с. 411.

²² См.: Богаевская К. П. Пушкин в печати за сто лет (1837—1937). М., 1938, с. 18—19, № 63.

²³ Сочинения Пушкина / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1887, т. III, с. 76.

Откуда П. О. Морозов взял известие о предосудительности рукописной концовки — здравицы в честь воцаряющегося Дмитрия, остается неизвестным в такой же мере, как и вышеприведенное свидетельство П. В. Аннешкова о замене возгласа ремаркой, произведенной будто бы «при печатании» пьесы. Нужно думать, что это была личная догадка П. О. Морозова, скорее всего основанная на его собственном истолковании «Замечаний», сделанных тем «верным» лицом, которому А. Бенкендорф по распоряжению Николая I поручил дать отзыв о возможности печатания пушкинской трагедии: эти «Замечания» незадолго перед тем были впервые обнародованы М. И. Сухомлиновым.²⁴ Доверенный Бенкендорфа (Б. В. Томашевский и Г. О. Випокур считали, что им был Ф. Булгарин)²⁵ в своих «Замечаниях» сделал только один намек, который и мог дать П. О. Морозову повод для его заключения: отзываясь в общем благожелательно о «духе целого сочинения» Пушкина, автор «Замечаний» полагал, что в «Борисе Годунове» «только одно место предосудительно в политическом отношении: народ привязывается к самозванцу именно потому, что почитает его отраслью древнего царского рода». Этот упрек критика, уполномоченного III Отделением, однако, едва ли мог иметь в виду концовку пьесы, в любом варианте которой трудно было бы упрекнуть Пушкина за намерение изобразить «привязанность» народа к Самозванцу; во всяком случае гораздо больше оснований для этого давали такие сцены, как «Севск», «Ставка» или «Лобное место».

Между тем у П. О. Морозова пашлись единомышленники. Так, рецензент редактированного им издания «Сочинений Пушкина» (1887), характеризуя изменения в тексте, допущенные П. О. Морозовым после сверки его с рукописями поэта, писал: «Некоторые из этих поправок оказываются очень интересными. Таково, например, окончание „Бориса Годунова“, которое было изменено Пушкиным потому, что его пашли „предосудительным“ в политическом отношении... Первоначальная редакция, в которой народ, не рассуждая, приветствует самозванца, вполне согласуется с характеристикой того же народа в сцене на Девичьем поле, где он плачет, а о чем — „то ведают бояре“ <...> Нам кажется, — заключал свою мысль рецензент, — что г. Морозов напрасно отнес эту первоначальную версию в подстрочное приме-

²⁴ Речь идет о «Замечаниях на Комедию о царе Борисе и Гришке Отрепьеве», данных Николаю I от имени цензора для запрещения пьесы. Впервые эти замечания опубликованы были М. И. Сухомлиновым в статье «Император Николай Павлович — критик и цензор сочинений Пушкина» (Исторический вестник, 1884, № 1, с. 55—87), откуда они и должны были стать известными П. О. Морозову. Статья Сухомлинова вошла вскоре в его книгу «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению» (СПб, 1889, т. II, с. 207—246). Позднее текст этих «Замечаний» воспроизводился несколько раз, всего исправлен — по подлиннику — Г. О. Випокуром в VII томе Полного собрания сочинений Пушкина ([Л.], 1935, с. 412—415).

²⁵ Випокур Г. О. Кто был цензором «Бориса Годунова»? — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 1, с. 203—214.

чапке, оставив в тексте прежнюю фразу о безмолвии».²⁶ Вероятно, так думал и сам П. О. Морозов, потому что в одном из своих последующих изданий сочинений Пушкина (1903) при публикации «Бориса Годунова» он так и поступил: трагедию окапчивает возглас пародной толпы в честь Самозванца, а ремарка «народ безмолвствует» отнесена в примечание.²⁷

Как видим, не прошло и пятидесяти лет с тех пор, как критики «Бориса Годунова» восхищались глубиной и многозначительностью его ремарки о народном безмолвии, а отношение к этой концовке резко изменилось; теперь ее считали лишней или вынужденной, оправдываемой лишь соображениями цензурной безопасности. Неудивительно, что некоторые исследователи даже пытались в то время примирить оба варианта окончания «Бориса Годунова» — рукописный и печатный, заявляя, что они не видят особых различий между ними. В таком именно смысле высказывался в своей известной лекции о «Борисе Годунове» И. Н. Жданов в 1892 г. «На каком бы из этих двух вариантов мы ни остановились, — говорит он, — сущность дела не меняется <...> Крик народа, который перед тем „в ужасе молчал“, не указывает, конечно, на перемену построения народной массы; за этим вынужденным криком кроется все тот же ужас, на который указывает и „народное безмолвие“. Этот ужас, это безмолвие — ценой приговор самозванцу».²⁸ Если критики 30—40-х годов воспринимали народные сцены трагедии как удавшиеся Пушкину и очень важные для ее структуры, то полстолетия спустя русские критики, напротив, указывали на эти же сцены как на неудачные, а изображение народа считали зыбким, неотчетливым. А. Незеленов, например, полагал, что народ изображен в «Борисе Годунове» «не совсем удачно; но взгляд поэта на него объективен и сочувствен, и многое в его жизни подмечено верно <...> Во всех народных сценах трагедии Пушкин рисует разнообразие душевных движений в народной массе, — рассуждает А. Незеленов далее, — поэт указывает и на проявление зверских инстинктов в массе... , по этот же самый народ отвечает знаменательным высоко нравственным безмолвием, когда клеветы самозванца, убив Федора и мать его, предлагают приветствовать нового царя, таким кровавым путем восходящего на престол». В итоге всех этих наблюдений А. Незеленов приходит к следую-

²⁶ Дело, 1887, № 4, с. 20.

²⁷ Пушкин, Сочинения и письма. СПб., 1903, т. III, с. 354, 639. — В вышедшем в том же году новом издании под редакцией П. А. Ефремова (Сочинения Пушкина. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1903, т. III, с. 162) сохранена ремарка «народ безмолвствует»; в сноске к ней отмечено: «В рукописи первоначально было: „Народ. Да здравствует царь Дмитрий Иванович!“ и затем приписано: „Конец комедии, в ней же первая персона царь Борис Годунов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь“». Об этом писал еще М. И. Сухомлинов (см.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II, с. 235).

²⁸ Жданов И. П. О драме А. С. Пушкина «Борис Годунов». СПб., 1892, с. 35.

щему, весьма странно звучащему в наше время выводу: «Судя по тому, что трагедия заканчивается именно этим пародным безмолвием, пародным отвращением от кровавого дела, можно думать, что поэт признавал преобладание в народе добрых начал над злыми; но вообще народ изображен в трагедии не настолько ярко и художественно, чтобы сделать решительное заключение о взгляде на него поэта».²⁹

Достаточно близок был к этой точке зрения также Н. А. Котляревский, нашедший известное оправдание для Пушкина в трудных и жестких цензурных условиях, которые были для его творчества столь стеснительными. Н. А. Котляревский считал, что Пушкин будто бы вынужден был отодвинуть народ с первого плана на самый дальний: поэт, по его словам, «даже отнял у народа последнюю реплику в тот момент, когда народ, конечно, не мог молчать... Молчание народа в данной сцене было очень эффективно и благородно, но оно в сущности ничего не выражало, ни осуждения совершившегося факта, ни привета ему. А поэту несомненно представлялся в этой сцене удобный случай дать живую картину пародной психики и яркий образчик пародного образа мыслей».³⁰

«Эффектным», по, следовательно, незакономерным и неестественным по существу находил пародное «безмолвие» еще Н. К. Михайловский, который шел дальше многих других критиков в своих сомнениях, какой «народ» изображен Пушкиным в его трагедии и можно ли это изображение считать удачным вообще. «Как много путаницы в наших разговорах о народничестве и о многом другом происходит оттого, что под словом „народ“ мы сплошь и рядом безразлично разумеем то этнографическую группу, то государственно-национальную, то исключительно „мужика“, то „чернь“, „простонародье“, то представителей труда, то толпу, которая так эффективно „безмолвствует“ в последней строке пушкинского „Бориса Годунова“, — писал Н. К. Михайловский и, снова возвращаясь к параллелям из драм Шекспира к пушкинской трагедии, приходил, в конце концов, к весьма пессимистическим заключениям о понимании как Шекспиром, так и Пушкиным психологии народной массы: «... везде народ оказывается легко возбудимой, быстро меняющей построение массой, в которой бесследно топчет всякая индивидуальность, которая „любит без толку и печавидит без причины“ и слепо движется в том или другом направлении, данным каким-нибудь, ей самой непонятным толчком. Очевидно, это какой-то условный, отвлеченный народ, вернее сказать, художественное воспроизведение одной лишь черты или одной группы черт народа. Известно, как высоко чтит Пушкин, например, пародное поэтическое

²⁹ Пезелепов А. И. Полн. собр. соч. В 6-ти т. СПб., 1903, т. I. Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии. Первый и второй периоды жизни и деятельности, с. 260—261.

³⁰ Котляревский Нестор. Литературные направления Александровской эпохи. 2-е изд., СПб., 1913, с. 213—214.

творчество; он, следовательно, предполагал в народе известные силы, не нашедшие, однако, себе выражения в „Борисе Годунове“». ³¹

Рассуждения этого рода подрывали представление о социальной прозорливости Пушкина и о том значении, какое «народ» имеет в его трагедии; ³² в этих условиях прежний смысл концовки о «безмолвии» и придававшиеся ей значение исчезали почти вовсе и усиливалось мнение в пользу того окончания пьесы, какое находится в ее рукописях (возглас в честь Самозванца).

Н. П. Павлов-Сильванский в своей известной статье о «Борисе Годунове», впервые опубликованной в 1908 г. во втором томе сочинений Пушкина (под редакцией С. А. Венгерова), говоря о заключительной сцене трагедии, был близок в своем истолковании ее к цитированному выше мнению П. О. Морозова. Н. П. Павлов-Сильванский склонялся к мысли, что слова Мельсальского, бездумно, бессмысленно повторенные стоящим в Кремле народом, «еще сильнее оттеняли почти автоматическую покорность народа внушениям власти, чем знаменитая фраза: „народ безмолвствует“, которой заканчивается печатный текст». Он считал также, что «в этой роли угнетенного до потери политического сознания, до равнодушия к переменам на престоле и выступает народ неизменно во всей трагедии, как „бессмысленная чернь“, которая

Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна.

³¹ Михайловский Н. К. Литература и жизнь. — Русское богатство, 1893, № 4, с. 124—126. — Стоит отметить, что семантика слова «народ» в литературном языке XVIII—XIX вв. хорошо изучена и что у нас нет никаких сомнений в том, как это слово понимал Пушкин. Ю. Д. Соболева в статье «Из истории общественно-политической лексики XVIII века» (Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена / Кафедра русского языка, 1958, т. 173, с. 144—145) отметила, что в широком круге значений, какие слова «народ» имело у нас в XVIII в. («жители страны, государства», «простой народ», «племя, народность», «люди»), значение «простой народ» первоначально не было широко употребительно, хотя в таком смысле оно встречается, иногда и в сатирических журналах Н. И. Новикова и у Радищева: «более употребительным оно становится в XIX веке», и в таком смысле («основная масса трудового населения», „простонародье“ (в основном крестьянство и мещанство)) мы находим его и у Грибоедова и у Пушкина (см.: Словарь языка Пушкина, т. II, с. 725).

³² Впрочем, еще в 60-е г. русские критики не очень лестно отзывались о понимании Пушкиным народа и свойственных ему психических особенностей. В Водозов в книге «Новая русская литература (от Жуковского до Гоголя включительно)» (СПб., 1866, с. 201—202) подчеркивал, что «во многих... отношениях» идея «Бориса Годунова» «не вяжется с историческим развитием событий»: народ, например, будто бы «представлен... слепым орудием судьбы, с его беспричинной ненавистью к Борису, или является пассивным зрителем происходящего пред его глазами, или бессмысленно действует по боярскому наказу. В большей части случаев он напоминает толпу, которую выводит на сцену для декоративных целей и именуют в афишах словом: „народ“».

Таким является народ в первых сценах трагедии, при избрании царя Бориса; таков же он и в последних сценах, при воцарении Лжедмитрия... Пушкин ярко оттеняет эту пассивность...».³³ Именно такое понимание ремарки о безмолвии народа зафиксировал Н. С. Ашукин в книге о русских «крылатых словах»; утверждая, что эта ремарка стала общеупотребительным в русском языке крылатым выражением, он заметил: «...употребляется как характеристика бесправного положения народа в условиях политической реакции, а также иронически по отношению к людям, упорно хранящим молчание при обсуждении чего-либо».³⁴

Возможно, конечно, что с таким именно значением фразы «народ безмолвствует» употреблялась в русской публицистике и ораторской речи в условиях политической реакции в России между двумя революциями — 1905 и 1917 гг. Однако не может не броситься в глаза, что такое истолкование вступает в явное противоречие со смыслом, который вкладывали в эти слова и Пушкин, и первые их интерпретаторы. Между бессмысленным повторением народом возгласа, нужного правителю, захватывающему власть, и тяжким, грозным, зловеющим молчанием, которое чревато предчувствием «новой Немезиды» — неотвратимого грядущего возмездия, — целая пропасть. А между тем и Пушкин говорил о «народной Немезиде». Вспомним, например, стихи из «Бородинской годовщины» того же 1831 г., когда вышло в свет первое издание «Бориса Годунова»:

Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица...

Обращает на себя внимание и тот факт, что когда П. О. Морозову пришлось еще раз издавать под своей редакцией «Бориса Годунова» в 1916 г., то он, говоря в комментариях к последней сцене о ее рукописном и печатном вариантах, с меньшей категоричностью, чем раньше, высказывал догадку о цензурном происхождении печатной концовки. «Трудно сказать решительно, вызвана ли замена приветственных криков народа — безмолвием требованиями цензуры или сделана Пушкиным добровольно», — писал П. О. Морозов на этот раз. При этом он делал все же следующую оговорку: «Нельзя, однако, упускать из вида, что чиновник III Отделения, составлявший официальный отзыв о *Борисе Годунове*, находил пассивность народа к Самозванцу „предсудительною в политическом отношении“. Приветствия народа находят себе косвенное подтверждение в отзывах о „черни“ Бориса и Шуйского и напоминают поведение толпы

³³ См.: Пушкин. Соч. СПб., Изд. Брокгауз—Ефрон, 1908, т. 11, с. 310; вошло в книгу: Павлов-Сильванский Н. П. Очерки по русской истории XVIII—XIX вв. СПб., 1910, с. 289—303.

³⁴ Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. 3-е изд. М., 1966, с. 427.

в *Генрихе VI* Шекспира (часть II, действие IV, сцена 8-я)... Заключительная сцена трагедии Пушкина могла быть подсказана изучением Шекспира.³⁵

По поводу концовки «Бориса Годунова» П. О. Морозов высказался еще раз в специальной статье «Безмолвие народа» (1919) в сборнике материалов к постановке «Бориса Годунова», изданном в серии «комментариев к пьесам Цеха Мастеров Специальных Постановок». В этой статье П. О. Морозов сформулировал шесть отдельных пунктов, где перечисляются доказательства против ремарки «народ безмолвствует» и в пользу приветственного возгласа «царю Димитрию Ивановичу».³⁶ «В нашем издании прилаг этот последний вариант», — пишет Морозов и приводит ряд соображений в подтверждение правильности своего выбора. Необходимо познакомиться хотя бы с некоторыми из его доказательств, имеющих, как мы видели, весьма длинную историю (с 1837 г.). В первом из своих положений Морозов пишет: «1) В обеих рукописях „Бориса“, содержащих в себе полный текст драмы (Моск. Публ. и Рум. Муз. № 2392 и р-сьв Росс. Публ. Б-ки), она оканчивается приветствием народа, без каких бы то ни было поправок. Народ „безмолвствует“ только в печатном издании 1831 г., которое, как известно, явилось результатом некоторого „очищения“ пьесы по требованию высшей цензуры; 2) Поводом к замене приветствия безмолвием могло послужить замечание чиновника III Отделения с. е. и. в. Канцелярии..., что „привязанность“ народа к Самозванцу является предосудительною в политическом отношении».

В пунктах 3 и 4 обращается внимание на то, что в сценах на Девичьем поле и предпоследней у Лобного места «народ ведет себя также мало созвательно», например, «после обращения к нему Григория Пушкина, кричит: „Да здравствует Димитрий, наш отец!“ (запмысловано у Карамзина) и затем „несется толпою“ по призыву возводного на амвон мужика — „взять Борисова щенка“. Это — как бы иллюстрация к словам Шуйского (сцена в царских палатах): „бессмысленная чернь... мгновенному внушению послушна“».

Все эти соображения приводились уже критиком и ранее; последний, 6-й пункт доказательств П. О. Морозова представляет собою повторение его же тезиса о том, что образцом для Пушкина будто бы послужил Шекспир, который «во всех своих произведениях, где выводится на сцену народная толпа, всегда подчеркивает ее изменчивость и непадежность».

Лишь в 5 пункте своих доказательств П. О. Морозов высказывает нечто новое, но, впрочем, столь же малоубедительное,

³⁵ См.: Сочинения Пушкина, 1916, т. IV, с. 112—113. — Цитата из указанной сцены «Генриха VI» имеет в виду только легкость и дерзость, с которой из толпы приветствуют то «бунтовщика» Кеда, то законного короля без видимых на то оснований.

³⁶ «Борис Годунов» А. С. Пушкина: Материалы к постановке под редакцией В. Мейерхольда и К. Державина. [Пб.], МСМХIX, с. 5—7.

как и все другие его домыслы: «В гою же самой заключительной сцене „Бориса“, которая служит предметом нашего объяснения, народ, выслушав заявление Мосальского о том, что „Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом“, — „в ужасе молчит“. Повторение через две строчки: „молчит“ и „безмолвствует“ — едва ли может быть оправдано с художественной точки зрения». Это соображение как основанное исключительно на субъективном эстетическом впечатлении доказательством служить не может; можно привести и соображения противоположного характера — о намеренном авторском замысле подчеркнуть соответствие слов о молчании от ужаса и сознательном безмолвии для обоюдного их усиления. Это, несомненно, почувствовал и П. О. Морозов, так как в заключение своей статьи он писал: «Но, с другой стороны, и „безмолвие“ народа, появившееся в заключительной строке пьесы, может быть, и против воли автора, находит некоторое объяснение в том обстоятельстве, что толпа, пораженная ужасом при неожиданной вести о гибели Годуновых, не сразу может опомниться. Притом это безмолвие, как известно, освящено давнею литературною традициею и отзывами критики, увидевшей в нем выражение глубокой политической и нравственной мысли».

Все приведенные соображения, помещенные в сборнике материалов для постановки «Бориса Годунова» на драматической сцене, предваряли и оправдывали указания режиссерского характера, из которых небесполезно привести небольшую выдержку: «Нельзя также не заметить, что изображаемая на сцене толпа вообще никогда не должна представлять собою вполне однородную массу. Наоборот, правила реальной сценической постановки требуют известной индивидуализации — выделения на общем фоне отдельных личностей или групп. Поэтому нам кажется, что руководитель рассматриваемой сцены поступил бы целесообразно, если бы заставил одну часть „народа“ кричать немедленно и как можно громче, другую — решительно присоединиться к этим крикам, а третью — и вовсе молчать. Такое разделение, по-видимому, было бы согласно и с характером толпы, и с историческою правдою».³⁷ Ссылка на «историческую правду», вероятно, справедлива, но нельзя не признать, что во всем остальном, давая совет постановщику, старый комментатор «Бориса Годунова», в сущности, шел на компромисс и невольно сдавал свои прежние позиции.

В истории любого театра весьма немало таких примеров, когда сценическая практика подсказывала весьма существенные аргументы в пользу того или иного истолкования драматургического текста или сценической ремарки. В данном случае мы наблюдаем нечто совершенно противоположное: сценическое воплощение пушкинской трагедии было бессильно повлиять на то или иное решение в спорах о правильности понимания той или

³⁷ Там же, с. 7.

ипой коцовки «Бориса Годунова», апелляция филологов к сценическим деятелям за разъяснениями была бы на этот раз практически бесполезной.³⁸

3

Какой же из двух вариантов окончания «Бориса Годунова» следует считать основным и как возникла появившаяся в печатном тексте замеса одной коцовки другой? В настоящее время нам довольно хорошо известны как хронология всех этапов создания трагедии, так и соответствовавшая им картина постепенного видоизменения ее текста. Беловой список трагедии имеет дату, поставленную самим Пушкиным: 7 ноября 1825 г.; в сентябре—октябре 1826 г. состоялись чтения пьесы в московских литературных кружках. Уже тогда Пушкин сделал первые шаги для подготовки ее к изданию: в Москве же, где Пушкин оставался до начала ноября 1826 г., с автографа «Бориса Годунова» была сделана писарская копия. «Замечания» по поводу автографической рукописи заказаны были Бенкендорфом в Петербурге после 9 декабря того же года, когда он известил Пушкина о получении рукописи и о том, что она будет представлена государю. Запрещение опубликования трагедии Николаем I было подготовлено докладной запиской Бенкендорфа: «Во всяком случае эта пьеса не годится для сцены, но с некоторыми изменениями ее можно напечатать; если ваше величество прикажете, я ему верну и сообщу замечания». Уже 14 декабря 1826 г. Бенкендорф сообщил Пушкину высочайшее решение, по текст «Замечаний» до его сведения не довел; он указал лишь (в соответствии

³⁸ Не следует забывать также, что опыты постановок на драматических сценах пушкинского «Бориса Годунова» были редкими и долго не приводили к успешным результатам. С. Н. Дурылин, проследивший историю сценического воплощения «Бориса Годунова» начиная от первой постановки его в 1870 г., утверждает, что и в театрах заключительная сцена трактовалась различно, в соответствии с пониманием самой идеи пушкинской трагедии. В ранних постановках «(за исключением постановки Художественного театра, 1907) „народ безмолвствовал“ не только в последней сцене, но во всей трагедии, и „безмолвствовал“ не только из-за цензурных вымарок народных сцен, но и оттого, что постановщики не создавали первостепенной, ведущей роли народа в трагедии Пушкина». Только в советскую эпоху сообразно с новым, углубленным постижением трагедии и ее общественно-политического стержня «выдвинулось на первый план то действующее лицо трагедии, которое было или вовсе не замечено, или отодвинуто на задний план в старых постановках трагедии Пушкина. Это лицо — народ». В постановке Ленинградского театра драмы имени Пушкина (1934), по свидетельству С. Н. Дурылина, «наиболее замечательными... были... народные сцены и наиболее удачными из них оказались как раз те, в которых народ пробуждается к живому историческому действию». Удалась «труднейшая сцена „Лобное место“ с ее призывом к „мятежу“. «А следовавшая за ней народная сцена „Дом Борисов“ с ее знаменитым финалом „Народ безмолвствует“ захватывала не менее грозным народным молчанием» (Дурылин С. Н. Пушкин на сцене. М., 1951, с. 148, 152).

с этими «Замечаниями») несколько мест, «требующих некоторого очищения». На это Пушкин ответил Бенкендорфу 3 января 1827 г., что не может переделать однажды им написанное. В последующие годы в печати появились лишь некоторые отрывки и сцены из «Бориса Годунова». Лишь в 1829 г. Пушкин возобновил попытки добиться напечатания трагедии в полном виде.

Перед отъездом на Кавказ в действующую армию Пушкин передал свою рукопись Жуковскому с тем, чтобы он, «пересмотрев еще поправленное сочинение, принял на себя труд заготовить чистый экземпляр, в каком виде полагает лучше издать его». 20 июля 1829 г. П. А. Плетнев представил рукопись «Бориса Годунова» в III Отделение; 10 декабря о ней доложено было Николаю I, который снова потребовал ее просмотра доверенными лицами и, хотя сам, по-видимому, рукописи не читал, обязал поэта сделать перемсы нескольких «слишком тривиальных мест». Лишь 28 апреля 1830 г. от имени императора было дано разрешение на печатание трагедии, по «под собственную ответственностью» автора. Книга печаталась в типографии департамента народного просвещения и выпущена была в свет в начале января 1831 г. под нынешним заглавием и пометой вместо цензурного разрешения: «С дозволения правительства».³⁹

Эта хронологическая справка в особенности интересна потому, что она усиливает наглядность того существенного для нас факта, что ни на одном из указанных выше этапов довольно длительной творческой истории «Бориса Годунова» ни один из дошедших до нас документов, ни одно из сохранившихся свидетельств не упоминает интересующую нас концовку о народном безмолвии. Как мы уже упоминали выше, остается неизвестным, на каком основании П. В. Аппелков утверждал, что эти слова вставлены в текст при «печатании» драмы; к сожалению, он не пояснил, кем они вставлены, при каких обстоятельствах, а также не указал, на чем свидетельстве он основывался; как известно, сам Пушкин за ходом печатания драмы не наблюдал и корректур ее не читал.⁴⁰ «Цензура» на этот раз была особая, и какой-либо след замены концовки или обсуждения ее во время печатания пьесы должен был сохраниться в соответствующих документах из дела о ходе выпуска книги в свет, на этот раз дошедших до нас в сравнительно большом количестве.⁴¹ Напомним также, что заказанные III Отделением «Замечания» о рукописи «Бориса Годунова», в одном из которых П. О. Морозов усматривал повод для замены Пушкиным одной концовки другой, Пушкину известны не были; кроме того, «Замечания» эти представ-

³⁹ Приведенные здесь факты и даты неоднократно сообщались исследователями; они выверены мною по комментариям к «Борису Годунову», составленному Г. О. Випокуром и напечатанному в VII томе Полного собрания сочинений Пушкина ([Л.], 1935, с. 415—427).

⁴⁰ См.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VII, с. 430.

⁴¹ Замков П. К. Архивные мелочи о Пушкине. — В кн.: Пушкин и его современники. Пгр., 1918, вып. XXIX—XXX, с. 67—68.

лепы были Бенкендорфу в 1826 г., за четыре года до появления драмы в печати. И перед сдачей в типографию новой исправленной рукописи едва ли кем-либо просматривались заново. Г. О. Винокур писал в своем комментарии к «Борису Годунову» в академическом издании, имея в виду заключительную сцену трагедии: «Цензура никакого внимания на это место рукописи не обратила, так что никаких внешних побуждений исправлять его у Пушкина не могло быть. Еще меньше оснований предполагать, что первоначальный вариант написан специально для цензуры, а позднейший Пушкин держал про себя впрок, так как рукопись (беловой автограф с поправками Пушкина и Жуковского, — М. А.)... в момент своего заполнения, особенно же ее последняя третья тетрадь, меньше всего предназначалась для цензуры».⁴²

Таким образом, после всех указанных разъяснений не приходится доказывать, что ремарка «народ безмолвствует» принадлежит Пушкину, но поводу же того, когда эта ремарка заместила в последней сцене эхо приветственного возгласа Мосальского Самозванцу, приходится строить только догадки: никакими документальными данными мы не располагаем.

Пушкиноведы-текстологи давно уже призывали к сугубой осторожности при пользовании теми вариантами основного текста, которые имеются только в печатном издании «Бориса Годунова», но отсутствуют в обеих дошедших до нас полных рукописях трагедии. Среди этих вариантов печатного текста есть ряд таких, которые возникли либо в результате опечаток или описок, либо благодаря исправлениям Жуковского. Не может быть сомнения, что интересующая нас ремарка «народ безмолвствует» не принадлежит к вариантам этого рода. По мнению того же Г. О. Винокура, «нет... никаких оснований заподозривать авторское происхождение знаменитого: „Народ безмолвствует“», и эта фраза должна быть оставлена в основном тексте как принадлежащая к исправлениям самого Пушкина.⁴³ Что же касается того, в какой рукописи находилась эта авторская поправка, то об этом можно высказать довольно правдоподобное предположение. В письме на имя А. Х. Бенкендорфа от 16 апреля 1830 г. Пушкин просил довести до сведения государя, что он умоляет его развязать ему руки и позволить напечатать трагедию такую, как он считает это нужным (подлинник — по-французски; XIV, 78, 406), а в начале мая того же года уже спешил поделиться своей радостью с П. А. Плетневым из Москвы: «Милый! победа! Царь позволяет мне напечатать *Годунова* в первобытной красоте... Слушай же, кормилец: я пришлю тебе трагедию мою с моими поправками — а ты, благодетель, явись к Ф<он> Ф.<оку> и возьми от него письменное дозволение (нужно ли оно?)» (XIV, 89); Плетнев отвечал Пушкину, что письменного дозволе-

⁴² См.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VII, с. 430.

⁴³ Там же.

ния от фон Фока (управляющего III Отделением) брать не считает нужным, «потому что он же подпишет рукопись для печатания» (XIV, 3). О какой рукописи идет речь? Принято считать, что именно эта рукопись, с которой, вероятно, и производился набор, до нас не дошла. Обе сохранившиеся рукописи трагедии не могли быть тем оригиналом, который поступил в типографию; в них имеются варианты, в печатный текст не попавшие. Пушкин мог посылать только копию белого автографа, по мнению Г. О. Винокура, «снятую во время его пребывания на Кавказе, и именно в этой рукописи, до нас не дошедшей, он очевидно наносил те поправки, о которых пишет Плетневу». ⁴⁴ В ней же должна была стоять и концовка «народ безмолвствует». Если такая догадка правильна, то новый вариант концовки занесен был в рукопись не позже августа 1829 г.

До появления обстоятельного комментария к «Борису Годунову» Г. О. Винокура в 1935 г. история текста трагедии, а также результаты сличения всех ее рукописей в связном и полном виде не излагались (если не считать «крайне неудовлетворительного», по словам Винокура, текстологического раздела в комментарии к IV тому академического издания сочинений Пушкина 1916 г.). Это и было одной из существенных причин появления весьма разноречивых или прямо ошибочных суждений о происхождении и смысле концовки «о безмолвствующем народе», из которых часть уже была нами изложена выше. Споры о заключительной ремарке, впрочем, продолжались и после того, как нам стали лучше известны хронология создания и публикации трагедии, ее цензурные мытарства, многие особенности и варианты ее текста. ⁴⁵ Характерно, однако, что хотя и после издания 1935 г. допускались произвольные и необоснованные толкования интересующей нас заключительной строки, ⁴⁶ но не сделано было ни одной

⁴⁴ Там же, с. 427. — Современники Пушкина, несомненно, ошибались, утверждая, что в руках В. А. Жуковского находилась рукопись «Бориса Годунова» с пометами Николая I и что сам государь собственноручно подчеркнул красным карандашом некоторые места трагедии (см.: Зенгер Т. Николай I — редактор Пушкина. — В кн.: Литературное наследство. М., 1934, т. 16—18, с. 515, 533—534). Тем не менее еще 22 марта 1837 г. А. В. Никитенко сделал такую запись в своем дневнике: «Был у В. А. Жуковского. Он показывал мне „Бориса Годунова“ Пушкина в рукописи с цензурою государя. Многие вычеркнуто» и т. д. (Никитенко А. В. Дневник в трех томах. М., 1955, т. I, с. 198).

⁴⁵ Д. Благой усматривал в «Борисе Годунове» «сплав» весьма противоречивых воззрений на народ, который был свойствен декабристам: по его мнению, «борьба в самом Пушкине между этим двойным отношением к народу сказывается с особенной отчетливостью в двух последовательных вариантах конца пьесы» (Благой Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. 2-е изд. М., 1931, с. 69).

⁴⁶ Н. Н. Арденс, говоря о концовке, подчеркивает, что «это — знаменательная ремарка Пушкина, пришедшая ему в голову после ряда творческих колебаний и удачно передавшая последний этап мысли художника». Комментируя далее эту концовку, Н. Н. Арденс не только возвращается к старому толкованию «безмолвия» Белинским («Это — грозное, предостерегающее безмолвие... призыв Мосальского остается без ответа. Народу

попытки объявить ее не-авторской, не-пушкинской концовкой, результатом вмешательства в пушкинский текст постороннего лица. Напротив, принадлежность ее Пушкину считалась незыблемой, несмотря даже на отсутствие ее в дошедших до нас авторских рукописях. По этому поводу Г. О. Винокур писал в своем комментарии, что если «политическое содержание Б. Г. несколько не меняется от того, как заканчивается трагедия, потому что оно определяется всей идейной концепцией и всем текстом трагедии, а не одной этой строчкой»,⁴⁷ то «художественная выразительность» ее, «конечно, во многом меняется в зависимости от того, какой из этих двух вариантов считать основным. В этом отношении восторженная оценка варианта: „Народ безмолвствует“, данная Белинским, не потеряла своего значения до нашего времени: трудно действительно допустить, чтобы этот конец был придуман для Пушкина кем-нибудь другим. Во всяком случае является совершенно бесспорной принадлежность этого варианта именно основной редакции Б. Г.»⁴⁸

Свое значение при утверждении авторства Пушкина имели также догадки об источниках, которые могли внушить Пушкину интересующую нас ремарку. Большинство исследователей последних десятилетий пыталось найти этот источник у Карамзина, прежде всего, конечно, в его «Истории государства Российского». Г. О. Винокур в своем комментарии писал об этом следующее: «Что касается заключительной реплики „Народ безмолвствует“, то возможно, что и она навеяна Карамзиным, у которого встречается это выражение, правда, в совершенно ином контексте, при описании суда над Василием Шуйским при Самозванце...»⁴⁹ Цитата, которую приводит при этом Г. О. Винокур («Народ безмолвствует в горести, издавна любя Шуйских»), действительно не имеет ничего общего с пушкинской ремаркой и ничего в ней не поясняет. Гораздо подробнее на сличениях концовки «Бориса Годунова» с текстами Карамзина останавливался Б. П. Городецкий. Еще в статье 1936 г. он утверждал, что «формула „безмолвие народа“ вообще характерна для „Истории государства Российского“ Карамзина», и подкреплял это наблюдение целым

надо подумать. Народ думает над своею будущностью. В его молчании слишком много слов» и т. д.), но легкомысленно утверждает даже, что Николай I «читал трагедию Пушкина» и будто бы со страхом «всматривался в ее конец» (Арденс Н. Н. Драматургия и театр А. С. Пушкина. М., 1939, с. 123). Эти домыслы представляются чистой, беспримесной фантазией.

⁴⁷ См.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VII, с. 430. — Такая точка зрения была уязвимой и действительно вызвала возражения. Так, В. Лаврецкая в книге «Произведения А. С. Пушкина на темы русской истории» (М., 1962, с. 40) заметила по поводу данного утверждения Г. О. Винокура, что с ним «никак нельзя согласиться». По ее мнению, «бесспорно прав Д. Д. Благой, что старый вариант концовки означал бы, что „народ решительно ни в чем не изменился, что опыт народного волнения, народного мятежа прошел для него бесследно“».

⁴⁸ См.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VII, с. 431.

⁴⁹ Там же, с. 476.

рядом примеров, извлеченных из этого труда («Наконец Борис венчался на царство еще пышнее и торжественнее Феодора... Народ благоговел в безмолвии»; «...и молчание народа, служа для царя явною укоризною, возвестило важную перемену в сердцах россиян: они уже не любили Бориса!»). «Мы видим, — заключал отсюда Б. П. Городецкий, — что даже у Карамзина эта формула могла выражать и активное осуждение... и столь же активное приятие». Наконец, по его же мнению, «оба окончания „Бориса Годунова“ имеют непосредственные параллели у Карамзина», что иллюстрируется следующей цитатой: «Тысячи воскликнули, и Рязанцы первые: „Да здравствует же отец наш, государь Дмитрий Иоаннович!“». Другие еще безмолвствовали в изумлении». ⁵⁰ Те же цитаты, но с развитием тех выводов, которые можно сделать из собранных примеров, мы находим также в монографии Б. П. Городецкого о «Борисе Годунове» 1953 г. Хотя в этой работе исследователь снова настаивал на том, что «окончание трагедии в обоих своих вариантах имеет соответствия в повествовании Карамзина», он признавал уже, что «формула „безмолвие народа“ в ее „специфически-карамзинской трактовке“ «глубоко отлична» от пушкинской. ⁵¹ В другом месте той же своей работы, возвращаясь к вопросу об изменении Пушкиным окончания трагедии в 1829 г., Б. П. Городецкий подчеркивал: «Это — самый значительный и самый интересный момент из всех изменений, внесенных Пушкиным в окончательный текст трагедии... Здесь Пушкин нашел новую гениальную формулу, не только не противоречащую всей исторической концепции трагедии в целом и не приглушающую политическую остроту ее, но, наоборот, подчеркивающую ее и придающую всему произведению еще более глубокий смысл». ⁵²

Таким образом, в конце концов кажущаяся текстуальная близость в формулах о народном безмолвии у Карамзина и Пушкина перестала играть сколько-нибудь существенную роль в истолковании печатной концовки «Бориса Годунова». В данном

⁵⁰ Городецкий Б. П. «Борис Годунов» в творчестве Пушкина. — В кн.: «Борис Годунов» А. С. Пушкина: Сборник статей под общей редакцией К. Н. Державина. Л., 1936, с. 39—40. — В своей лекции «Драматургия Пушкина» (Л., 1949, с. 17—18) Б. П. Городецкий, лишь вскользь упомянув Карамзина, отмечал большое значение заключительной сцены «Бориса Годунова» для понимания мировоззрения Пушкина: «Народ победил, но не мог воспользоваться плодами своей победы. Положение его осталось тем же: „Народ в ужасе молчит“».

В этом финале — ключ к пониманию не только „Бориса Годунова“, но и тех социально-политических и историко-философских взглядов, к каким пришел Пушкин к кануну декабрьских событий и которые — особенно в свете трагедии на Сенатской площади — надолго определили направление его социально-политических и историко-философских исканий в последекабрьский период».

⁵¹ Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина. М; Л., 1953, с. 177—178.

⁵² Там же, с. 237.

случае Пушкин едва ли вдохновлялся Карамзиным, поскольку последний говорит о безмолвии народа как о выражении покорности, удивления или печали, а не осуждения или гнева:⁵³ для Карамзина народ — опора самодержавной власти и «воплощение идеи справедливости, а отнюдь не решающая историческая сила». «Вот почему в „Истории государства Российского“ о вмешательстве народа в дела государственные рассказано так, что снижается и значение, и активность этого вмешательства»; отсюда делали вывод, что если «Пушкин показал в неodobрительном безмолвии народа такую силу, которой не в состоянии управлять ни царь, ни бояре», то это произошло под воздействием дополнительных источников, полнее раскрывавших перед ним, чем это делал Карамзин в своей «Истории», сложный характер народных движений на Руси в начале XVII в.: «Такой взгляд на историческую роль народа могло подсказать Пушкину чтение летописных сказаний о Смутном времени, в которых не раз говорится об активном вмешательстве народа в дела государства»;⁵⁴ такова, например, «Летопись о многих мятежах и о разорении московского государства...», издавшая Н. Новиковым (в 1771 и 1788 гг.).⁵⁵

В результате всех перечисленных выше исследований было прочно установлено, что основу пушкинской трагедии составляет взаимоотношение самодержавной власти и народа и что в конфликте между ними победу одерживает именно народ. Г. О. Винокур обращал внимание на тот многозначительный факт, что в «Борисе Годунове» «„народ“ значится как отдельный персонаж в списке действующих лиц... и в таком же качестве фигурирует в авторских ремарках трагедии».⁵⁶ Последующие исследователи стремились представить себе, что думал Пушкин о характере русского народа и в какой связи это находилось с развитием политического мировоззрения поэта. «Народ в „Борисе Годунове“ показан столь же сложно, как и царь. Народ — сила и творец истории, суть государства. Вместе с тем он — потенциальная сила революции. Он готов восстать, и дело не в поводах, а в стремле-

⁵³ К подтверждающим это наблюдение цитатам из «Истории государства Российского» можно добавить ссылку на историческую повесть «Марфа Посадница, или Покорение Повагорода». Рассказывая о падении высокой башни Ярославовой с вечевым колоколом, Карамзин пишет: «Пораженные сие явлением, граждане безмолвствуют», и добавляет в примечании: «Летописи наши говорят о падении новой колокольни и ужасе народа»; ср. там же: «Унылое молчание царствует на Великой площади, я вижу знаки отчаяния на многих лицах» (Сочинения Карамзина. М., 1803, т. 6, с. 326, 379).

⁵⁴ Рабинович М. Б. «Борис Годунов» Пушкина, «История» Карамзина и летописи. — В кн.: Пушкин в школе: Сборник статей под ред. Н. Л. Бродского и В. В. Голубкова. М., 1951, с. 316—317. См. также: Державина О. А. Трагедия Пушкина «Борис Годунов» и русские исторические повести начала XVII в. — Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина, 1954, т. 43, вып. 4, с. 141—162.

⁵⁵ См.: Пушкин Н. Полн. собр. соч., т. VII, с. 466.

⁵⁶ Там же, с. 488.

нии народа свергнуть тиранию», — писал, например, Г. А. Гукковский. Проанализировав роль, которую народ играет в развитии действия и в структуре трагедии, он подчеркивал, что итог драмы нужно рассматривать в тесной связи с ее началом, так как между ними существует преднамеренный параллелизм: «Трагедия закончилась точно тем, чем она начиналась. Мы вернулись к исходной ситуации. Опять народ в окопах (победа его восстания обернулась против него). Опять бояре ведут политические интриги. Опять они лгут перед народом. Опять на престол вступает новый царь, поставленный боярами и ненужный народу, ибо Самозванец превратился в царя тирана. Опять новый царь вступает на трон через убийство, через кровь, и опять невинную кровь. Опять еще до начала царствования начинается цепь преступлений царя. И уже опять повторяется история отношения народа к Борису: народ, посадивший на трон Димитрия, уже „в ужасе молчит“, а затем „народ безмолвствует“. И мы уже предвидим новый взрыв ненависти народа к повому царю — и опять гибель царя <..> Так в трагедии Пушкина срывается народная победа, — заключает Г. А. Гукковский. — Вся мощь народа и вся сила его ненависти к царю не способна изменить положения вещей в стране. Пушкин и в своем изучении проблемы народа преодолел метафизичность представлений о нем. Он показал, что свойства народа вообще не исчерпывают вопроса; что история определяет условия успешности восстаний и в России XVII, как и начала XIX в.; в 1825 г. условия для успешности революции он не нашел. Это и была его трагедия. Но это было связано и с завоеванием понимания народа, как конкретной драматической силы, и с завоеванием реально-исторического мышления в политических вопросах; это было движение вперед по пути углубления передовой мысли, уже демократической в своем существе».⁵⁷

По мнению новейших исследователей, «Борис Годунов» — драма сугубо «политическая» на тему о постепенном падении авторитета самодержавной власти и роли в этом процессе народного мнения. Для многих современников Пушкина «Борис Годунов» действительно представлялся произведением с ярко злободневным содержанием и проблематикой, имевшей соответствие с некоторыми сенсационными произведениями современной французской литературы, например с «Баррикадами 1830 г.» поэта-песенника Эмиля Дебро, те, по словам П. А. Катенина, сделавшего это сопоставление, изображена «последняя революция парижская».⁵⁸ Сопоставление «Бориса Годунова» с русскими драматическими произведениями 20-х годов также свидетельст-

⁵⁷ Гукковский Г. А. «Борис Годунов» Пушкина. — В кн.: Русские классики и театр. М.; Л., 1947, с. 272, 283—284; вошло в его книгу «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957, с. 9—72).

⁵⁸ «Борис Годунов» А. С. Пушкина, с. 64; ср. также: А. С. Слюпинский. Мастерство Пушкина. М., 1959, с. 457—498. особенно с. 464—471 (о «Борисе Годунове» и французской «трагедии применений»).

вует о том, что трагедия Пушкина представляла собою вершину русской исторической драматургии той поры, разрабатывавшей, в частности, проблемы существования «абсолютистского государства» в условиях активизации народных масс как действенной силы.⁵⁹

4

Существует еще один круг источников, до сих пор не привлекавшийся к исследованию «Бориса Годунова», который мог в большей мере вдохновить Пушкина на создание заключительной сцены его трагедии, чем Карамзин или русские летописи. Таковы были книги и статьи по истории французской революции 1789 г., попавшие в поле его зрения незадолго до того времени, когда он начал обдумывать и создавать своего «Бориса».

С середины 20-х годов Пушкин проявлял все повышавшийся интерес к трудам новейших французских историков. В письме к П. А. Вяземскому, писанном 5 июля 1824 г., т. е. еще из Одессы, Пушкин убеждал своего друга, что «французы ничуть не ниже англичан в истории», напоминал, что еще Вольтер «первый пошел по новой дороге — и внес светильник философии в темные архивы истории» и что, например, исторический труд Лемонте (Обзорение царствования Людовика XIV) выше сочинений Юма и Робертсона; лишь труд Рабо де Сент-Этьена («Précis de l'histoire de la Révolution Française» (1791), прочитанный им в это же время, вызвал его отрицательный отзыв («Рабо де С-т Этьен — дрянь»; XIII, 102). Может быть, еще ранее, вскоре после окончания Лицея, Пушкин узнал посмертный трактат г-жи де Сталь «Cosidérations sur... la Révolution Française...» (издан в 1818 г.), в котором дано было историческое обоснование закономерности революции 1789 г. и представлен был с точки зрения либерализма анализ различных политических форм, сменявшихся во Франции с 1789 г. до реставрации Бурбонов. Близкое знакомство Пушкина с этой книгой подтверждается эпиграфом из нее в 4-й главе «Евгения Онегина» и цитатой (начальные слова 2-й главы первой части), которую Пушкин приводит в своей статье о «Юрии Милославском» Загоскина в «Литературной газете» 1830 г.: «Люди, как утверждала Madame de Staël, знают только историю своего времени» (XI, 92).

Во второй половине 20-х годов Пушкин внимательно следил за книгами Тьерри, Гизо, Баранта, Тьера, Минье и др. Под

⁵⁹ См.: Бочкарев В. А. Основные идейно-художественные особенности русской исторической драматургии периода подготовки восстания декабристов. — В кн.: Вопросы русской и зарубежной литературы: Сборник статей. Куйбышев, 1962, с. 11, 16—17, 19—20, 26. — Заслуживающее внимания сопоставление окончания «Бориса Годунова» с одним вновь прочтенным местом незаконченной «Истории Петра» Пушкина находим в статье И. Л. Фейнберга «Неизвестные строки Пушкина» (Вестн АН СССР, 1950, № 8, с. 55).

влиянием знакомства с сочинениями этих историков к началу 30-х годов у Пушкина созрел собственный замысел историко-публицистического труда, посвященного французской революции 1789 г. Подготовка к этому труду шла довольно интенсивно, все время переплетаясь с реализацией художественных замыслов поэта; хотя эта работа воплощения не получила, но подготовительные для нее материалы, извлечения из читанных книг и черновые записи сохранились; они печатаются теперь в собраниях сочинений Пушкина под условным заглавием «Введение в историю французской революции».⁶⁰ Некоторые из книг, читанных Пушкиным в связи с задуманным трудом, невольно обращают на себя наше внимание.

«Я предпринял очерк⁶¹ французской революции, — писал Пушкин в середине июня 1831 г. из Царского Села к Е. М. Хитрово. — Если это возможно, умоляю вас прислать мне Тьера и Минье. Оба эти труда запрещены. Здесь у меня только мемуары, относящиеся к революции». В том же месяце Пушкин получил «Историю французской революции с 1789 по 1814 г.» Ф.-А. Минье, как это явствует из его же письма к Е. М. Хитрово, написанного 19 или 20 июня 1831 г. («Благодарю вас за Революцию Минье, я получил ее через Новосильцева»). Эта книга (пятое издание в двух томах, Брюссель, 1828) сохранилась в библиотеке Пушкина⁶² (первое издание ее вышло в 1824 г.). Вскоре Пушкин раздобыл также «Историю французской революции» Тьера в десяти томах; этот труд также находится среди книг его библиотеки во втором льежском издании 1828 г.⁶³ Ничто не мешает нам, однако, предположить, что книгу Тьера Пушкин мог знать и раньше: первое ее издание начало выходить в 1823 г. Обращаясь к Е. М. Хитрово с просьбой достать ему сочинение Тьера вместе с книгой Минье, Пушкин прекрасно знал, что он сможет в нем найти и чем ему будет пригоден этот источник для собственного задуманного труда.⁶⁴

Так или иначе, в 1831 г. или в более раннее время Пушкин должен был прочесть в книге Тьера рассказ о событиях в Париже на другой день после взятия Бастилии 14 июля 1789 г., в частности о том, что происходило утром 15 июля в Учредитель-

⁶⁰ См.: Ясинский Я. И. Работа Пушкина над историей французской революции. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 367—368; Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Л., 1927, с. 25, 117—119; Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 191—192.

⁶¹ Во французском оригинале — *étude*.

⁶² См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, с. 289, № 1168.

⁶³ Там же, с. 349, № 1434.

⁶⁴ Л. Б. Модзалевский в комментарии к «Письмам» Пушкина (т III, [М.; Л.], 1935, с. 292—293) высказал предположение, что об указанных работах Тьера и Минье Пушкин знал уже из статей Сент-Бева в «Le Globe» (о Тьере в номерах от 10 и 19 января 1826 г., 28 апреля, 12 мая и 29 ноября 1827 г.; о Минье — в номере от 28 марта 1826 г.).

пом собрания. Тьер утверждает, что Учредительное собрание совсем уже было собралось направить депутацию к королю, как стало известно, что Людовик XVI идет в Собрание сам, без стражи и свиты; тогда, пишет Тьер, «Мирабо берет слово и говорит: „Пусть мрачное молчание прежде всего встретит монарха в эту минуту скорби. Молчание народа — урок королям“» (*Le silence des peuples est la leçon des rois*).⁶⁵

Сходство этой сентенции с заключительной ремаркой в «Борисе Годунове» бросается в глаза; обращает на себя внимание некоторая аналогия в ситуациях — изображенной Пушкиным и той, в которой приведенные слова были произнесены Мирабо. Дело происходило в тяжелый, переломный момент жизни государства перед смелой властью; представительная масса народа принимала на себя ответственность за судьбу Франции. Призыв к мрачному молчанию, заключаемый изречением о зловещем и предостерегающем значении безмолвия, играющего роль паузы или своего рода антракта между действиями, полным драматического содержания, которые разыгрываются в самой исторической действительности, — все это довольно близко соответствует тому «таинственному оцепенению действия», которым, по определению А. Филонова, оканчивается «Борис Годунов».⁶⁶

Первый том «Истории французской революции» Тьера, в самом начале которого находится цитированный эпизод, Пушкин, вероятно, получил почти одновременно с сочинением Минье летом 1831 г., т. е. через полгода после выхода в свет «Бориса Годунова». Имел ли Пушкин в руках этот том ранее — мы не знаем. Тем не менее у нас есть основания утверждать, что указанную сентенцию Мирабо в том или ином контексте Пушкин, несомненно, знал до того времени, когда не дошедшая до нас рукопись его «Бориса Годунова» с заключительной ремаркой направлена была в печать.

Биографией Мирабо, его письмами и публичными выступлениями в пользу «третьего сословия», с разоблачением тюремной практики накануне революции, участием его в Учредительном собрании и т. д. Пушкин интересовался долгие годы; об этом свидетельствуют частые упоминания «пламенного трибуна» в писаниях и переписке Пушкина,⁶⁷ а также книги его библиотеки. В статье 1833—1834 г. «О ничтожестве литературы русской» Пушкин засвидетельствовал, какую представлялась ему роль

⁶⁵ Thiers M.-A. Histoire de la Révolution Française /Seconde édition, revue par l'auteur. Liège, 1828, p. 82—83 (цитирую по экземпляру библиотеки Пушкина, — М. А.).

⁶⁶ См.: Филонов Андрей. «Борис Годунов» А. С. Пушкина, с. 73.

⁶⁷ «Пламенным трибуном», который «предрек, восторга полный, пере-рождение земли», Пушкин назвал Мирабо в стихотворении «Андрей Шенье» (1825); в черновом автографе было: «И дивный Мир(а)бо» (II, 2, 939). В статье «Александр Радищев» (1836) Пушкин говорит об авторе «Путешествия»: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра» (XII, 34).

Мирабо незадолго до революционного взрыва во Франции: «Старое общество созрело для великого разрушения. Все еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, подобный отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается...» (XI, 272). Среди книг библиотеки Пушкина, в которой было несколько книг самого Мирабо и о нем,⁶⁸ находилось, в частности, многотомное собрание «Сочинения Мирабо, предваренные заметкой о его жизни и его произведениях г. Мерилью» (Париж, 1825—1827). В первом томе этого издания («Исторический опыт о жизни и сочинениях Мирабо») мы находим тот же рассказ о словах, сказанных Мирабо в Учредительном собрании утром 15 июля 1789 г., который привел в своей книге Тьер. М. Мерилью сообщает об этом следующее: «До прихода Людовика XVI Мирабо требует, чтобы собрание воздержалось от всяческих знаков неодобрения, поскольку, говорит он, молчание народа — это урок королям».⁶⁹

Впрочем, септенция о безмолвии — знаке упрека или осуждения, собственно, Мирабо не принадлежит, что давно уже отмечено французскими лексикографами. Он воспользовался этими словами как «крылатой фразой», ставшей широко известной за пятнадцать лет перед тем. Автором данной исторической фразы считается знаменитый проповедник Людовика XV Жап Бове (1731—1790), архиепископ Сенесский (Senez).⁷⁰ В своей исторической проповеди, произнесенной по повелению Людовика XVI в аббатстве Сеп-Дени на похоронах Людовика XV, молсеньер Бове между прочим сказал: «Народ, конечно, не имеет права роптать, но у него есть право молчать, и его молчание — урок для королей».⁷¹

Жап Бове как выдающийся представитель духовного красноречия пользовался во Франции XVIII в. широкой известностью; его проповеди, паегирики и погребальные речи издавались и цитировались; многие знали те смелые упреки, которые однажды он адресовал Людовику XV в одной из своих проповедей, сказанных в присутствии короля. Французский народ несчастен, говорил он, но эту истину скрывают от короля, потому что именно он является причиной всех бедствий народа. Вольтер ад-

⁶⁸ Кроме собрания сочинений Мирабо, цитируемого ниже, в библиотеке Пушкина сохранились его «Письма», «Мемуары», воспоминания о нем Этьена Дюмона (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 227 и 291, №№ 895, 1177, 1179).

⁶⁹ M. Merilhou. Essai historique sur la vie et les ouvrages de Mirabeau. — In: Œuvres de Mirabeau, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Merilhou. Paris, 1824, t. 1, p. CXI. — Как видно из представленного Пушкину счета книжного магазина Беллизара, это издание было приобретено Пушкиным 17 февраля 1836 г., а «Мемуары» Мирабо — 3 февраля того же года (см.: XVI, 197). Однако эти книги Пушкин мог видеть и раньше.

⁷⁰ Roger Alexandre. Le Musée de la Conversation. Répertoire de citations françaises, dictons modernes, curiosités littéraires, historiques et anecdotes. 2-me éd. Paris, 1892, p. 373—374.

⁷¹ Sermons de Messire de Beauvais. Paris, 1807, t. IV, p. 243.

ресовал Жану Бове критические замечания, сопровождаемые тонкой насмешкой, по поводу той самой речи его 1774 г., произнесенной при погребении Людовика XV, из которой мы привели цитату (правда, эта цитата Вольтером не приводится). В 1789 г., незадолго до смерти, Жан Бове был избран депутатом в Генеральные штаты от парижского округа.⁷² Все это может объяснить, почему Мирабо мог воспользоваться исторической фразой: она была в памяти у многих, в том числе, может быть, и у депутатов Учредительного собрания, которые могли знать также об обстоятельствах, при которых ее впервые произнес прославленный прелат.

Были эти слова известны и в России. Мы находим их, например, в статье, переведенной из французского «Conservateur» и помещенной в московском журнале «Минерва» за 1807 г. под заглавием «Похвала молчанию». Интересующий нас афоризм «Le silence du peuple est la leçon des rois» в русском переводе получил такой вид: «Молчание подданных — урок для государей». Ссылки на Бове или на Мирабо мы здесь, однако, не находим. Эта фраза вставлена в «Минерву» в длинное рассуждение о значении молчания в общественной жизни и сопровождается здесь другими сходными сентенциями и многими историческими примерами. «Молчание часто изображает мысли с большею ясностью и выразительностью, нежели слово, — говорится, например, в этой статье. — Самое витийство иногда прибегает к сему немому языку — и скорее убеждает ум, и сильнее трогает сердце <...> Ничто не изображает так сильно отказа, как молчание. Следующий анекдот, помещенный у Плутарха между острыми изречениями лакедемонцев, доказывает сию истину <...> Благоразумен тот, кто умеет молчать, когда говорить не нужно <...> Молчание сильнее всякой укоризны действует на людей, навлекших на себя презрение»,⁷³ и т. д.

⁷² См.: Dictionnaire des Lettres Françaises: Le Dix-huitième siècle. Paris, 1960, vol. I, p. 163. Послание Вольтера («Au reverend père en Dieu messire Jean de Beauvais, crée par le feu roi, Louis XV, évêque de Senes») издано было отдельной брошюрой в Женеве в 1774 г., без имени автора, но рано стало включаться в собрания его сочинений. См. его, например (в составе сборника «Парижские фацеции»): Voltaire. Œuvres complètes / Ed. de l'imprimerie de la Société Littéraire-typographique. [S. I], 1785, t. 46, p. 364—366; ср. также: Bengesco G. Voltaire: Bibliographie des œuvres. Paris, 1885, t. II, p. 303—305.

⁷³ Минерва, 1807, ч. IV, № 15, с. 228—231. — Среди исторических анекдотов и цитат из писателей древнего и нового мира, приводимых в данной статье, отсутствует, однако, упоминание Цицерона. В своей первой речи против Катиллы, произнесенной в римском сенате в 63 г., Цицерон говорил, обращаясь к разоблачаемому им заговорщику: «Зачем тебе еще ждать словесного оскорбления, когда ты уже уничтожен грозным молчаливым приговором», и, указывая на сенаторов, восклицал, что их безмолвие красноречиво: «Хотя они молчат, они вопиют» (Quum tacent, clamant). Однако ситуация здесь другая, и сентенция имеет иной смысл: Цицерон хочет сказать, что сенаторы молчаливо подтверждают справедливость обвинений консула против Катиллы. Та же латинская фраза в более позднее

Как видим, есть все основания предполагать, что историческая сентенция о безмолвии могла дойти до Пушкина разными путями и отозваться затем в заключительной ремарке «Бориса Годунова». И все же наиболее правдоподобно, что в памяти Пушкина, точность и цепкость которой так восхищала его друзей,⁷⁴ слова о безмолвии-осуждении прочно ассоциировались с началом французской революции 1789 г. и с выступлением Мирабо в Учредительном собрании, поскольку эти слова не раз цитировались именно в трудах об истории французской революции. Любопытно, что в интересном полемическом письме к А. А. Бестужеву, писанном в конце мая—начале июня 1825 г., Пушкин, оспаривая тезис Бестужева «У нас есть критика, а нет литературы», ссылаясь на другую сентенцию о молчании, сказанную Мирабо в начале 1790 г. по поводу аббата Сийеса (Sieyès), бывшего председателем Учредительного собрания: «Об нашей-то лире можно сказать, что Мирабо сказал о Сийесе. Son silence est une calamité publique» (т. е.: его молчание — общественное бедствие; XIII, 179).⁷⁵ В январе 1826 г. Пушкин писал Жуковскому по поводу смерти Александра I: «Говорят, ты написал стихи на смерть Алекс.<андра> — предмет богатый! — Но в теченье десяти лет его царствования, лира твоя молчала. Это лучший упрек ему» (XIII, 258). Эти слова поэта свидетельствуют, насколько близко ему было представление об осуждающем молчании.

Американский комментатор «Бориса Годунова» Ф. Барбур в примечании к заключительной ремарке Пушкина отметил, что она напомнила ему мысль, высказанную М. Метерлинком в его трактате «Сокровище смиренных».⁷⁶ Этот трактат начинается главой «Молчание» и развивает идеи о «дейтельном молчании»; место, которое Ф. Барбур имеет в виду, читается так: «Мы с трудом переносим одинокое молчание; но молчание пескольных, молчание многих и особенно молчание толпы — такое непосильное бремя, что даже самые сильные души ужасаются его необъяснимой тяжести». Однако мысль бельгийского писателя-импрессиониста, возвеличивавшего молчание в противовес длинным и бесполезным речам, примененная им и на практике в его драматургии,⁷⁷ родственная также идеям Т. Карлейля о молчании как

время получила и юмористический смысл, примененная к молчащим строппытым женам.

⁷⁴ См.: Сочинения и переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885, т. I, с. 366.

⁷⁵ Источник этой цитаты неясен. Возможно, что Пушкин основывался на характеристиках Мирабо и Сийеса, которые были даны в книге г-жи де Сталь «Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française» (Paris, 1820, t. 1, p. 199, 295).

⁷⁶ Pushkin A. Boris Godunov / Russian Text with translation and notes by Philip L. Barbour. New York, 1953, p. 196.

⁷⁷ См.: Глинский М. «Пелеас и Мелисанда» Метерлинка и Дебюсси. — Русская музыкальная газета, 1916, № 1, с. 13. — Характеризуя драму Метерлинка, автор подчеркивает, что наиболее выдающиеся события происходят в ней в те моменты, когда со сцены не раздается ни одного слова; композитор, в свою очередь, прекрасно понял, что, «когда молчат люди, разговаривают их души».

стихии, в которой зарождаются великие идеи, восходит к раннему немецкому романтизму как к своему источнику (в нем находятся также корни тютчевского «Silentium») ⁷⁸ и не имеет ничего общего с тем кругом идей о молчании — укор и социальном осуждении, которые встречались в сочинениях об истории французской революции и могли, как мы стремились показать, отозваться в заключительной ремарке пушкинской трагедии. Этот круг идей связан был также с мыслью о народном протесте, о роли и значении народной массы в историческом процессе. ⁷⁹ Если высказанные выше догадки правильны, они могут лишней раз подчеркнуть плодотворность дальнейшего изучения «Бориса Годунова» в свете тех мнений, фактов и их интерпретации, которые Пушкин почерпнул из книг французских историков, работая над созданием своей трагедии и почти одновременно трудясь над задуманной им историей французской революции 1789 г.

Отметим в заключение, что вышеизложенная догадка о происхождении последней ремарки Пушкина в «Борисе Годунове» вызвала разнообразные сомнения, отклики и возражения, появившиеся в нашей и зарубежной печати после 1967 г. Их подробный разбор не может входить в нашу задачу, так как он потребовал бы дополнительных разысканий и увел бы далеко в сторону от интересующего нас вопроса. Поэтому мы ограничимся здесь кратким указанием на те работы о пушкинской трагедии, которые появились в последнее время и могут оказаться полезными при дальнейшем изучении представленных выше проблем. К ним вернулся, например, Вл. Сватонь в специальной статье; ⁸⁰ нам представляется, однако, что автор без достаточных

⁷⁸ В связи с Тютчевым уместно было бы вспомнить здесь также знаменитый стих Жуковского из его отрывка 1819 г. «Невыразимое» (увидевшего свет лишь в 1827 г.):

И лишь молчанье понятно говорит...

(см. Жуковский В. А.
Стихотворения. Л., 1956, с. 236)

⁷⁹ Показательными в этом смысле представляются слова о молчании, но мыслящем народе, сказанные М. С. Луниным в письме к сестре из Сибири (сентябрь, 1838 г.): «Ибо народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, которые мешают ему выразить» (см.: Декабрист М. С. Лунип: Сочинения и письма / Редакция и прим. С. Я. Штрайха Пб., 1923, с. 43).

⁸⁰ Сватонь Владимир. Заключительная сцена в «Борисе Годунове» Пушкина. По поводу текстологических исследований Г. О. Вшокура и М. П. Алексеева. — *Ceskoslovenska rusistika*. Praha, 1968, 1, s. 58—70 — Уже после появления этой работы вышло в свет весьма содержательное исследование Гозеппуд А. А. Из истории общественно-интературной борьбы 20—30-х гг. XIX в.: («Борис Годунов» и «Димитрий Самозванец») — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969, т. VI, с. 252—275, в котором приведены новые и очень существенные соображения описи

оснований пришел в своем исследовании к выводу о больших и принципиально важных отличиях сохранившейся рукописной редакции «Бориса Годунова» от его первопечатного варианта: различия эти, более предполагаемые, чем известные нам фактически, несомненно преувеличены исследователем. Неправомерной и очень искусственной представляется нам также попытка Вл. Сватоны представить раннюю редакцию пушкинской трагедии («Комедию о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе Годунове и о Гришке Отрепьеве...») как своего рода подражание «барочным» пьесам раннего периода русского театра: ни Пушкин, ни «доверенный Бенкендорфа» (т. е. Булгарин), на которого ссылается исследователь, не могли знать об этих драмах ничего, кроме их заглавий; кроме того, как известно, замысел «Бориса Годунова» связан у Пушкина с представлением о «романтической» трагедии, т. е. о таком драматическом произведении, которое игнорирует все правила поэтического классицизма.⁸¹ Соплелся здесь также на интересную, но спорную статью С. В. Шервинского, в которой он осуждает Беллинского за то, что критик «недооценивает нравственной значительности окончания „Бориса Годунова“, когда вручает ее развязку Немезиде — богине мщения и возмездия».⁸² По мнению Шервинского, ремарку «Народ безмолвствует» нельзя рассматривать в разобщении с предшествующей, включенной в последние слова Мосальского: «Безмолвие народа после этих слов — продолжение его молчания при известии о смерти жены и сына Годунова... Наступившее осуждение не разрешилось».⁸³ С нашей точки зрения, вопрос о зна-

тельно странной и долгой задержки извещения Пушкина о судьбе его трагедии и запрещения ее Николаем I. С. П. Шевырев в одном из своих писем (от 15—27 февраля 1830 г.) прямо свидетельствовал, что «в канцелярии (III Отделения) задерживают „Годунова“, потому что выходит „Самозванец“ Булгарина. Ему хочется опередить» (Литературное наследство. М., т. 16—18, с. 744). Оказывается, что небезосновательными были обвинения Булгарина в плагиате из рукописи «Бориса Годунова», которая, очевидно, была ему известна, и т. д. Кстати, Вл. Сватоны (с. 59, прим.) заблуждается, утверждая, что я ошибся, указывая 10 декабря 1830 г. (вместо 10 октября) датой запрещения «Бориса» Николаем I, тогда как именно в этот день (10 декабря) в канцелярии Бенкендорфа на его последней докладной записке государю сделана была помета: «Высочайшего соизволения не последовало».

⁸¹ Иллюзорное сходство «Бориса Годунова» с драмами эпохи барокко, может быть, подсказано было Вл. Сватоно любознательными указаниями на «барочную оперу» гамбургского композитора Йоганна Маттезона «Boris Godunov» (1710), извлеченными Дм. Чижевским из труда: Wolff H. Chr. Die Barockoper in Hamburg. (1957 - Zeitschrift für slavische Philologie, 1962, Bd XXX, H. 2, S. 237—242).

⁸² Шервинский С. В. Ремарки в «Борисе Годунове» Пушкина. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1971, т. XXX, вып. 1, с. 62—71. — К сожалению, наша статья названа здесь ошибочно: «Ремарка Пушкина „Народ безмолвствует“» (вм. безмолвствует).

⁸³ Ср. «немую сцену» в конце «Ревизора» Гоголя и соображения о ее происхождении в ст.: Мани Ю. Формула опеменения у Гоголя. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1971, т. XXX, вып. 1, с. 28—36. — См. также замечания о драматическом движении в «Борисе Годунове» Пушкина

комстве Пушкина с исторической фразой Мирабо этим не снимается, как не снимается он также недавними исследованиями о близости Пушкина в его трагедии художественным задачам «Истории» Карамзина.⁸⁴

в связи с проблемой его сценичности в работе: Ivaпov A. Moto e pepno nella struttura del «Boris Godunov». Udino, 1967.

⁸⁴ Ср.: Лузянина Л. Н. «История государства Российского» Н. М. Карамзина и трагедия Пушкина «Борис Годунов». — Русская литература, 1971, № 1, с. 45—57 и ее же статью «Об особенностях изображения народа в „Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина» в кн.: Русская литература XIX—XX вв. Л., 1974, с. 3—17).





ПУШКИН И ШЕКСПИР

Эволюция отношения к Шекспиру Пушкина, определение тех важных сдвигов, какие творчество Шекспира произвело в мировоззрении и системе эстетических воззрений русского поэта, уже с давних пор служили предметом особого внимания как русских, так и зарубежных исследователей. Критическая литература, посвященная этой проблеме в целом или входящим в нее частным вопросам, довольно велика; стоит отметить также, что всеми этими вопросами интересовались как историки русской литературы и театра, так и специалисты-шекспироведы.¹

¹ Для ближайших современников Пушкина, за немногими исключениями, понимание шекспиризма Пушкина представляло непреодолимые трудности; разобраться во всем круге возникающих в этой связи вопросов они не сумели. После Белинского, о суждениях которого пойдет речь ниже, одним из первых о шекспиризме Пушкина писал П. В. Анненков (прежде всего в статье, вошедшей потом в его известную книгу: А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. — Вестник Европы, 1874, кн. 2, с. 532—537), за ним — Н. И. Стороженко (статья «Отношение Пушкина к иностранной словесности» в кн.: Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880, с. 223—227) и др. Хотя уже ранние исследователи отношений Пушкина к Шекспиру сделали ряд интересных и верных наблюдений по этому поводу, выводы их были сильно ограничены недостаточным знакомством с рукописями Пушкина, значительно позднее введенными в научный оборот. Лишь в последние десятилетия, когда была закончена публикация всего пушкинского рукописного фонда, стало возможным более уверенно говорить об объеме знаний Пушкиным произведений Шекспира, о знакомстве его с посвященной Шекспиру критической литературой, и т. д. Отношения Пушкина к Шекспиру в целом рассматриваются в работах: ТимOFFEEB C. Влияние Шекспира на русскую драму: Историко-критический этюд. М., 1887, с. 50—83; КозМИЧ Ч. Взгляд Пушкина на драму. СПб., 1900, с. 13—14, 19—40; POKPOBCKИЙ M. Pusckin und Shakespeare. — In: Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 1907, Bd XLIII, S. 169—209; Покрoвский M. М. Шекспиризм Пушкина. — В кн.: Пушкин. Сочинения / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1910, т. IV, с. 1—20; Herford C. H. A Russian Shakespearean. — Bull. of the J. Rylands Library. Manchester, 1925, vol. IX (ср.: Эттингер П. Зарубежная пушкиниана. — Искусство, 1927, № 2—3, I. Русский шекспировец, с. 150—151); Lavrin J. Puškin and Shakespeare. — In: Puškin and Russian Literature. New York, 1948, p. 140—160; KrefT Dr. Bratko. Puškin in Shakespeare. Ljubliana, 1952; Wolf Tatiana A. Shakespeare's Influence on Pushkin's Dramatic

Знакомство Пушкина с произведениями Шекспира относится к началу 20-х годов. Между тем в английской печати уже в конце этого десятилетия появились сообщения, будто бы Пушкин «начал свою литературную деятельность переводом „Короля Лира“ Шекспира» и что, следовательно, этот воображаемый перевод относится еще к лицейскому периоду его жизни: так утверждали анонимный автор статьи в английском журнале об апологии русской поэзии, а затем путешественник А. Гренвилл.² Это известие основано на явном недоразумении; скорее всего Пушкин спутан с П. П. Гедичем, чей перевод дюсисовской переделки «Короля Лира» действительно относится к ранней поре его литературной деятельности. В дошедших до нас рукописях Пушкина до середины 20-х годов имя Шекспира нигде не встречается, но должно было быть известно юному поэту из сочинений Вольтера и Лагарпа: в течение всего указанного периода это имя не возбуждало у Пушкина особого любопытства.

Первое документально засвидетельствованное упоминание имени Шекспира Пушкиным дошло до нас в отрывке из его письма, скопированного почтовым перлюстратором; письмо это написано было Пушкиным в Одессе между мартом и маем 1824 г. и обращено к неизвестному адресату. Старая традиция считала этим адресатом П. А. Вяземского; новейшие исследователи высказали догадку, что оно направлено было к В. К. Кюхельбекеру. Пушкин писал: «... читая Шекспира и библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира» (XIII, 92). Контекст, в котором находилась эта фраза, нам, к сожалению, неизвестен, но вполне очевидно, что «крамольными» и достойными доносительного рапорта оказались не имена Гете и Шекспира, но «библия» и «святой дух» в весьма опасных сочетаниях и сопоставлениях; это была пора, когда Пушкин у одесского англичанина брал «уроки чистого афеизма» (XIII, 92). «Замечу, что имена Гете и Шекспира до этого вообще не встречались в переписке Пушкина, — утверждает Б. В. Томашевский. — Они характеризуют, видимо, не собственные интересы Пушкина, а интересы его корреспондента. Между тем Гете и Шекспир были в круге литературных интересов Кюхельбекера: Гете он считал величайшим поэтом, а Шекспир дал ему материал для того произведения, которое он в эти дни писал: „Шек-

Work. — Shakespeare Survey, 1952, vol. V, p. 93—105. — Работы о Пушкине и Шекспире более частного характера названы ниже.

² The Foreign Quarterly Review, 1827, vol. I, N 2, p. 624—625. — Г. Струве (Struve G. Pushkin in Early English Criticism. — The American Slavic and East European Review, 1949, vol. VIII, N 4, p. 300) высказывал предположение, что автором указанной статьи был пеклий русский (В. Смирнов?), недвусмысленно заявивший о своих симпатиях к «классикам» и перасположении к «романтикам». В книге Гренвилла (Granville A. B. St.-Petersburg. A Journal of travels to and from that Capital. London, 1828, vol. II, p. 245) то же известие о Пушкине повторено, но без хронологического приурочения. «Пушкину, — говорится здесь, — русские обязаны переводом шекспировского „Короля Лира“».

спировы духи“». ³ Следует, впрочем, отметить, что интерес к Шекспиру возник в то время и у П. А. Вяземского и что посредником между ним и английским драматургом были, как и у Пушкина, французские переводчики и критики. ⁴ С другой стороны, Пушкин познакомился с Шекспиром во французском переводе еще до указанного письма; об этом свидетельствует, в частности, вторая глава «Евгения Онегина», оконченная в Одессе 8 декабря 1823 г.

В строфе XXXVIII упомянуто посещение Ленским сельского кладбища; здесь увидел он

Соседа памятник смиренный,
И вздох он пещи посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Poor Yorick! — мохвил он уныло, —
Он на руках меня держал».

(VI, 48)

К английской цитате Пушкин сделал следующее примечание: «Бедный Иорик! — восклицание Гамлета пад черепом шута (см. Шекспира и Стерна)» (VI, 192). Н. Л. Бродский в комментарии к указанной строфе замечает, что Пушкин сам «отметил литературный источник восклицания Лепского» и что будто бы «ссылкой на Стерна, автора „Тристрама Шенди“... и „Сентиментального путешествия“, Пушкин тонко раскрывал свое критическое отношение к Ленскому в его неуместном примесении именно английского шута к бригадиру Ларипу». ⁵ На самом деле Пушкин лишь воспроизвел вкратце то примечание, которое к восклицанию Гамлета дано во французском издании «Полного собрания сочинений Шекспира» 1821 г. под редакцией Ф. Гизо и А. Пишо: «Alas, poor Yorick! Все вспоминают и о главе Стерна, в которой он цитирует это место, а также и то, что в „Сентиментальном путешествии“ он самому себе дал имя Иорика». ⁶ Вы-

³ Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956, кн. 1 (1813—1824), с. 669.

⁴ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1878, т. I, с. 229.

⁵ Бродский Н. Л. Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина. 3-е изд. М., 1950, с. 160.

⁶ Œuvres complètes de Shakespeare traduites de l'anglais de Letourneur/Nouvelle édition, revue et corrigée par F. Guisot et A. P. [Amedée Pichot] traducteur du Lord Byron: précédée d'une notice biographique et littéraire de Shakespeare. Paris, M^o XXXI, vol. I, p. 386—387. — Все издание 1821 г. имеет тринадцать томов (только на обложке последнего тома значится: MDCCCXXII); это издание сохранилось и в библиотеке Пушкина (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, с. 338, № 1389), но не в том комплекте, которым он, вероятно, пользовался в Михайловском в 1825 г.: упоминание «всего Шекспира», которого Пушкин, по словам его письма к брату (в первой половине февраля этого года; XIII, 142), променял бы на «Записки» Фуше, наводит на мысль, что указанное издание под редакцией Ф. Гизо и А. Пишо было получено им тогда через посредство Л. С. Пушкина; см. также сборник «On Translation» (Cambridge, Mass., 1959, p. 100). Б. В. Томашевский указал на один очевидный случай обра-

сказывались предположения, что Пушкин читал Шекспира в этом издании еще в одесской библиотеке гр. М. С. Воронцова.⁷ Именно об этом издании, бывшем в руках Пушкина, говорит и С. П. Шевырев в своих воспоминаниях о поэте: «Шекспира... Пушкин не читал в подлиннике, а во французском старом переводе, поправленном Гизо, но понимал его гениально. По-английски он выучился гораздо позже, в С.-Петербурге».⁸ Приведя указанные слова, М. А. Цявловский справедливо отметил: «Это свидетельство Шевырева особенно ценно, так как он во время пребывания Пушкина в Москве по приезде из Михайловского (осень 1826 г.) часто разговаривал с ним о Шекспире и, конечно, от самого Пушкина слышал, как и что он читал из английского поэта. На это указывает и то, что Шевырев знает, в каком переводе Пушкин читал Шекспира».⁹ Действительно, как установил тот же М. А. Цявловский, Шекспира в английском подлиннике Пушкин более свободно смог читать не ранее 1828 г., когда он довольно хорошо овладел английским языком;¹⁰ впрочем, очень вероятно, что подлинный шекспировский текст побывал в руках Пушкина задолго до этого времени: между прочим, однотомник драматических произведений Шекспира в лейпцигском издании на английском языке дошел до нас среди книг пушкинской библиотеки; тем не менее хотя он и датирован 1824 г., но приобретен был поэтом значительно позже.¹¹

Таким образом, французское издание Шекспира 1821 г. было первым и основным из тех источников, с помощью которых Пушкин в 1823—1825 гг. начал серьезно изучать творения английского драматурга. В истории французского шекспироведения это

щения Пушкина к тексту шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра» в переводе Летуэрера. К 1824 г. относится первый замысел стихотворения Пушкина о Клеопатре; работа над ним возобновлялась несколько раз, оно видоизменялось, включалось затем в неоконченную прозаическую повесть и, вероятно, должно было войти в «Египетские ночи». Анализируя черновые наброски этого стихотворения, Б. В. Томашевский пришел к заключению, что, описывая царицу Египта, Пушкин вдохновлялся не столько рассказом Плутарха, сколько Шекспиром, в трагедии которого (д. II, с. 2) этот рассказ воспроизведен почти буквально; при этом «стих „Блестит ложе золотое“ показывает на зависимость Пушкина от Шекспира в переводе Летуэрера» (Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2, с. 60—61).

⁷ Гроссман Л. Пушкин. М., 1958, с. 257.

⁸ Цит. по: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899, с. 330.

⁹ Цявловский М. А. Пушкин и английский язык. — В кн.: Пушкин и его современники СПб., 1913, вып. XVII—XVIII, с. 71.

¹⁰ Об этом существует ряд свидетельств, тщательно подобранных М. А. Цявловским в названной статье. К сожалению, остается неизвестным, кем сообщено в «Московский телеграф» (1829, ч. XXVII, № 11, с. 390) известие, будто бы «в последние годы Пушкин выучился английскому языку — кто поверит тому? — в четыре месяца! Он хотел читать Байрона и Шекспира в подлиннике — и через четыре месяца читал их по-английски, как на своем родном языке». Едва ли подлежит сомнению, что познания Пушкина в данном случае явно преувеличены.

¹¹ The Dramatic Works of Shakespeare. Leipzig, 1824 (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 338, № 1390).

издание занимает довольно важное место;¹² тем не менее оно полно недостатков и ни в коем случае не могло заменить подлинник. Напечатанные здесь переводы сделаны были в основном Летуэрнером еще в XVIII в. (1776—1779) и притом в прозе. Для своих первых французских читателей они имели большое значение, так как впервые открывали для них Шекспира с такой широтой и полнотой, но для XIX в. они уже являлись архаическими и старомодными. Исправления, сделанные в ряде этих переводов как Ф. Гизо, так и в особенности другим редактором издания — А. Пишо, хорошим знатоком всех идиом английской речи, несколько улучшили текст, приблизив его к оригиналу, но не сделали его более поэтическим по своему стилю и звучанию. Переводы Летуэрнера, в частности, не передают одного из характерных приемов Шекспира — чередования стихотворных и прозаических сцен; весьма искусное пользование Пушкиным подобной сменой стихов и прозы, ставшей одним из признаков драматической структуры «Бориса Годунова» именно под воздействием Шекспира, заставляет предположить, что, создавая свою трагедию в 1825 г., Пушкин, безусловно, должен был видеть шекспировский текст также в английском подлиннике.¹³

В 30-х годах, уже испытав на себе мощное воздействие шекспировской драматургической манеры и отдав себе полный отчет во всех ее отличительных особенностях, Пушкин несколько раз засвидетельствовал, что он не мог в то время следовать ни переводческому восприятию, ни критическому истолкованию Шекспира у Летуэрнера; на первых порах, очевидно, Пушкину пришлось угадывать подлинного Шекспира сквозь прозаический текст Летуэрнера, а также преодолевая издавна известные русскому поэту критические осуждения Шекспира и английской драматургии, высказанные Вольтером и Лагарпом. В заметке 1832 г. («Всемирно известно, что французы народ самый анти-поэтический...») Пушкин писал, что «Montesquieu смеется над Гомером, Вольтер и Лагарп над Шекспиром» (XI, 453); очевидно, он имел в виду действительно не очень сочувственный отзыв Лагарпа о переводе Шекспира Летуэрнером.¹⁴ В позднейшей статье,

¹² Haines C. M. Shakespeare in France. Criticism: Voltaire to Victor Hugo. London; Oxford, 1925.

¹³ Это предположение высказано было Г. О. Випокуром в его комментарии к «Борису Годунову» в кн.: Пушкин П. Полн. собр. соч. Л., 1935, т. VII, с. 489.

¹⁴ Лагарп, говоря, например, о двух первых томах летуэрнеровского перевода Шекспира, не без раздражения упоминал, что переводчик предпослал им свое рассуждение, в котором «народу, имеющему Корпеля, Расина и Вольтера, в качестве образца драматического искусства предлагают писателя-варвара (un auteur barbare), жившего в варварский век, в чудовищных (monstrueuses) пьесах которого можно найти лишь несколько талантильвых черт, рассеянных в целом, лишенном здравого смысла и правдоподобия» (La Harpe J. F. Œuvres. Paris, 1820, t. X, p. 295); с явным непониманием Лагарп отзывался также о Дюисовой переделке «Гамлета» (La Harpe J. F. Œuvres, t. V, p. 68—79); позднее в своем «Литературном», столь хорошо известном Пушкину, Лагарп признавал, что Шекспир «по-

предназначавшейся для «Современника», «О Мильтоне и Шатобриановом переводе Потерянного рая», говоря об истории и теории искусства перевода во Франции, Пушкин прямо назвал переводческие работы Летуриера и оценил их как не удовлетворяющие современным требованиям: «Накопец критика спохватлась. Стали подозревать, что г. Летуриер мог ошибочно судить о Шекспире и не совсем благоразумно поступил, переправляя на свой лад Гамлета, Ромео и Лира. От переводчиков стали требовать более верности и менее щекотливости и усердия к публике — пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде» (XII, 173).

Представление о том, сколь долгое время Пушкин, воспитанный на образцах французской литературы XVII—XVIII вв., не мог забыть наставлений, оценок и пристрастий, еще в юности внушенных ему французскими критиками, некогда препятствовало исследователям понять правильно историю зарождения и эволюции пушкинского шекспиризма. Даже в «Борисе Годунове» усматривали пробивающиеся сквозь шекспировские воздействия отчетливые воспоминания о драматических теориях Расина; в изложении поисков Пушкиным собственной драматической формы подчеркивали, что борьба, сопровождавшая в его собственной практике разрыв с учением о трех единствах, была длительной и что именно эта борьба отразилась в его письмах к Н. Раевскому. Для отношений Пушкина к Шекспиру Б. В. Томашевский считал характерным то, что «везде, где он говорит о нем, он противопоставляет его французам. Все его характеристики Шекспира создаются на фоне французского классицизма. Шекспир или Расин, Шекспир или Мольер — вот проблемы. Даже отдельные произведения Шекспира понимаются им лишь при условии противопоставления французским драматическим образцам. „Венецианский купец“ и „Скупой“ Мольера, „Мера за меру“ и „Гартюф“ — вот привычные аптитезы. Даже „Отелло“ понимается им на фоне вольтеровского подражания. Мерой в литературной оценке остается французская классическая школа».¹⁵

Тем важнее становится тот внутренний перелом, который был пережит Пушкиным в значительной степени под влиянием изучения Шекспира в 1824—1825 гг.; этот перелом сопровождался отказом от предпочтения французской культуры и опытами выработки самостоятельного и объективного суждения о литературных ценностях, созданных в прошлом другими народами Европы — итальянцами, англичанами, испанцами; так в эстетических размышлениях Пушкина появилось новое и устойчиво употреблявшееся созвездие: Данте, Шекспир, Кальдерон.

рою» подымался до «высоких мыслей, красноречия сильных страстей, энергии трагических характеров», но все же не считал возможным сравнивать его с французскими драматургами (см.: Brockmeier Peter. Darstellungen der französischen Literaturgeschichte von Claude Fauchet bis Laharpe. Berlin, 1963, S. 174, 266).

¹⁵ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 91—92.

В истории указанного перелома немалую поддержку Пушкину оказало именно французское издание Шекспира 1821 г. Дело в том, что в первом томе этого издания была напечатана большая вводная статья Ф. Гизо «Жизнь Шекспира», в которой изложена была биография Шекспира, не освобожденная еще от ряда апокрифических и сомнительных данных, но все же достаточно подробная;¹⁶ большое место в этой статье заняли также анализ драматургических принципов Шекспира и общие соображения о природе драматического искусства. Значение, которое имела эта статья, подчеркивает то обстоятельство, что в 20-е годы она была очень популярна в русских литературных кругах и что извлечения из нее неоднократно печатались в русских журналах того времени.¹⁷ Для Пушкина эта статья оказалась чрезвычайно существенной; он изучил ее весьма тщательно, проверяя отдельные положения Ф. Гизо на примерах произведений Шекспира; неудивительно, что собственные теоретические положения Пушкина относительно драматургии, сложившиеся во второй половине 20-х годов, находятся в несомненной связи с некоторыми декларациями Ф. Гизо и его предшественников.

Статью Ф. Гизо, предпосланную французскому изданию Шекспира, приравнивают обычно к таким историческим документам утверждавшего себя в то время во Франции романтизма, как трактат Стендаля «Расин и Шекспир» (1823—1825) или предисловие к «Кромвелю» В. Гюго (1827).¹⁸ Анализируя статью Гизо, Б. Г. Реизов также утверждает, что она стала «манифестом нового направления в искусстве». «Отныне все, писавшие о Шекспире или им вдохновлявшиеся, опирались на эту статью, настолько известную, что ссылки на нее казались необязательными. Без этой статьи трудно было даже понять движущие силы романтизма, общественный смысл его эстетических теорий и пафос борьбы за новое искусство... Новая интерпретация Шекспира

¹⁶ Вероятно, из этого источника Пушкин взял ошибочное известие о том, что «Шекспир лучшие свои комедии написал по заказу Елизаветы» (письмо к А. А. Бестужеву из Михайловского конца мая—начала июня 1825 г.; XIII, 179).

¹⁷ Одним из первых в русской печати на это сочинение Ф. Гизо указал (сопоставляя его взгляды на Шекспира с воззрениями Вольтера) П. А. Вяземский в «Письмах из Парижа», печатавшихся в «Московском телеграфе» в 1826—1827 гг. (см.: Московский телеграф, 1826, ч. XII, отд. II, с. 61—62). В 1827 г. в журнале «Сын отечества» (ч. 113, № IX, с. 45—63) в переводе О. Сомова была напечатана заключительная часть «Жизни Шекспира» Гизо под заголовком «Характеристика трагедий Шекспировых»; в следующем году был напечатан другой отрывок из того же сочинения, озаглавленный «О поэзии драматической и Шекспире» (Атеней, 1828, ч. I, № 4, отд. I, с. 1—32). См. также сб. «Шекспир и русская культура», М.; Л., 1965, с. 205, 232—234).

¹⁸ См.: Haines C. M. Shakespeare in France. Criticism: Voltaire to Victor Hugo (1925). — По мнению Хейнза, статья Гизо, впоследствии изданная отдельной книгой (Paris, 1852), начинается новый (третий по его счету), «романтический» период в истории шекспироведения во Франции (1821—1870).

должна была стать манифестом литературной школы и вместе с тем нового, более или менее демократического мировоззрения».¹⁹

Гизо с полным основанием утверждал, что драматическая поэзия своими истоками имеет народные зрелища: «Театральное представление — это народное празднество... драматическая поэзия не могла возникнуть иначе как в народной среде и никогда иначе не возникла. При своем возникновении она была предназначена для развлечения народа»; лишь с течением времени, догадываясь Гизо, драма становилась полюбленным удовольствием общественной верхушки, теряла свою независимость и разномыслие и т. д. Сходную мысль мы неоднократно встречаем и у Пушкина, в частности в начале его незаконченной статьи о «Марфе Посаднице» М. П. Погодина («Драма родилась на площади и составляла увеселение народное» и т. д.; XI, 178). Очень существенными оказались для Пушкина характеристики исторических хроник Шекспира, их жанровых особенностей, их зависимости от английских летописных источников (в частности, хроники Холлшета). К лучшим страницам статьи Гизо, внимательно прочтенным Пушкиным, относятся также критические замечания о «широком изложении» типических характеров в произведениях Шекспира.²⁰ В образе Гамлета, например, он усматривает «единство во множестве» (что напоминает воззрения С. Т. Кольриджа) и основную заслугу Шекспира-драматурга видит в том, что действие его пьес выведено им из характеров действующих лиц, а не наоборот; такое допущение являлось в сущности основной предпосылкой шекспировской критики в XIX в., ошибочной с точки зрения истории возникновения шекспировской драматургии, но справедливой по отношению к воздействию, которое она оказывала на драматических писателей в этом столетии.

Конечно, многое в статье Гизо было уже подготовлено предшествующей критикой и эстетикой, в частности книгой по истории драматургии Августа-Вильгельма Шлегеля. В этой книге, французский перевод которой, сделанный Неккер де Соссюр, родственницей г-жи де Сталь, Пушкин настойчиво выписывал к себе в Михайловское (см. его письма к брату от 14 и 23 апреля 1825 г.), он мог найти отдельные главы, посвященные Шекспиру и французским классикам на общем фоне развития драматических зрелищ и театра у народов древнего мира и нового времени.²¹ Не меньшее значение имели для Пушкина также сочинения г-жи де Сталь, писательницы, в свою очередь находившейся под воздействием идей немецких критиков и эстетиков, в частно-

¹⁹ Реизов В. Шекспир и эстетика французского романтизма. («Жизнь Шекспира» Ф. Гизо). — В кн.: Шекспир в мировой литературе. М.; Л., 1964, с. 157—197.

²⁰ См. замечания Г. О. Винокура в комментарии к «Борису Годунову» в кн.: Пушкин в Полн. собр. соч., т. VII, с. 489—490.

²¹ Schlegel A. W. Cours de littérature dramatique. Paris; Genève, 1814, 3 vols.

сти того же Шлегеля. Таковы были книга Сталь «О литературе» («De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales», Paris, 1880), в которой Шекспир интерпретирован в особой посвященной ему главе, кроме того, знаменитый трактат «О Германии» (1813) и даже посмертная книга — «Десять лет изгнания» (1821), где, между прочим, великое историческое явление, именуемое Россией, сопоставлено с выдающейся, полной своеобразия шекспировской пьесой.²² Пушкин едва ли прошел мимо этой неожиданной параллели в той книге Сталь, которую он читал и защищал в 1825 г. от поверхностных русских критиков. Недаром вскоре Пушкин предлагал своему другу А. А. Дельвигу взглянуть на восстание декабристов на Сенатской площади с той же широтой взгляда на исторический процесс, с тем же пониманием социальных конфликтов и неизбежности жизненной борьбы, какое, с его точки зрения, всегда отличало Шекспира. «Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские» трагики, — писал Пушкин, — но взглянем на трагедию (восставших и потерпевших поражение декабристов, — М. А.) взглядом Шекспира» (письмо к А. А. Дельвигу от 15 февраля 1826 г. из Михайловского; XIII, 259).²³ Таким образом, Шекспир переставал быть источником только литературных или театральных воздействий; он становился теперь также мощным импульсом идейных влияний, проблемой мировоззрения, содействовал выработке представлений о ходе истории, о государственной жизни и человеческих судьбах.

Изучение шекспировских драм, начатое Пушкиным в Одессе и продолженное им в ссылке в Михайловском, поставило перед поэтом множество важных и весьма актуальных историко-политических и психологических вопросов и одновременно заставило его усиленно и с огромной внутренней заинтересованностью размышлять, какую должна была бы быть русская национальная историческая трагедия. «... но что за человек этот Шекспир! — писал Пушкин Н. Н. Раевскому-сыну в конце июля 1825 г. из

²² «Один умный человек, — писала г-жа де Сталь в этой книге, — сказал о России, что она похожа на пьесу Шекспира, в которой величественно (sublime) все, что не составляет явную ошибку, и все, что не величественно, — ошибка. Ничего не может быть вернее этого замечания» (M-me de Staël. Dix années d'exil. Ed. nouvelle. Paris, 1904, p. 300). «Если Россия в 1812 г., по мнению г-жи де Сталь, похожа на многосложную шекспировскую историческую хронику, то все черты величия, свойственные такой хронике, были на стороне народа, поднявшегося на защиту родной страны», — справедливо подчеркнул ст С. Н. Дурылин (Г-жа де Сталь и ее русские отношения. — В кн.: Литературное наследство. М., 1939, т. 33—34, с. 267).

²³ Любопытно, что несколько лет спустя П. А. Вяземский, записывая в свою записную книжку весьма сочувственную характеристику только что совершившейся Июльской революции во Франции как неизбежной и «законной», «если святы права народа, испутившего их своею кровью и бедствиями разнородными», добавил: «Революции на одно лицо суть революции классические: эта Шакеспировская» (Вяземский П. А. Записные книжки. 1813—1848 / Ред. В. С. Нечаевой. М., 1963, с. 193, см. также с. 207).

того же Михайловского. — Не могу прийти в себя! Как мелок по сравнению с шим Байрон-трагик!» (XIII, 197).²⁴ К сожалению, нам неизвестна и едва ли будет установлена в дальнейшем последовательность ознакомления Пушкина с произведениями Шекспира в 1824—1825 гг.; мы догадываемся лишь, что к этому времени Пушкин успел уже изучить не только все основные пьесы Шекспира, но и его поэмы и, может быть, даже его сонеты. На примерах произведений Шекспира Пушкин задумывался над тем, как история некогда решала актуальные и для России его времени проблемы узурпации власти, соотношения народа и правителей, преступления и наказания, индивидуальной большой совести и общественного блага, любви и ненависти в различной социальной среде, и т. д. Не подлежит сомнению, что с особым вниманием Пушкин читал и перечитывал в эти годы «Гамлета» и «Макбета», «Ричарда III» и ряд исторических хроник Шекспира, так как следы их внимательного изучения можно встретить в произведениях Пушкина и ближайших за ними лет. Два произведения Пушкина — трагедия и поэма — в особенности свидетельствуют об этих воздействиях: это «Борис Годунов» и «Граф Нулин».

Задача создания пародной русской трагедии увлекла Пушкина еще в конце 1824 г., а первые пять сцен «Бориса Годунова» вчерне набросаны были в начале 1825 г. В большом драматическом произведении, основанном на тщательном изучении подлинных документальных источников, он задумал изобразить широкую картину русской исторической жизни начала XVII в. и на ее фоне и материалах поставить проблему политической и моральной ответственности за содеянные в прошлом преступления. Следование приемам Шекспира представлялось Пушкину одновременно верным и плодотворным на пути к созданию такого произведения, что он и подчеркивал неоднократно в письмах к своим друзьям.

«Читайте Шекспира» [это мой припев], — писал Пушкин в том же черновом письме к Н. Н. Раевскому в 1825 г. — Он никогда не боится скомпрометировать свое действующее лицо — он заставляет его говорить со всею жизненной непринужденностью, ибо уверен, что в свое время и в своем месте он заставит это лицо найти язык, соответствующий его характеру» (XIII, 198, 408).²⁵ О «Борисе Годунове» Пушкин сам свидетельствовал:

²⁴ Подлинник по-французски. Настоящее письмо сохранилось лишь в черновике и, вероятно, не было отправлено, так как часть его вошла впоследствии в письмо к Н. Н. Раевскому от 30 января 1829 г.

²⁵ Это письмо к Н. Н. Раевскому вместе с позднейшей его редакцией 1829 г. еще со времени работы П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина» (в кн.: Пушкин. Соч. СПб., 1855, т. I, с. 132) рассматривается как один из важнейших документов, свидетельствующих о глубоком и подробном изучении Пушкиным вопросов теории драматургии в период создания «Бориса Годунова» (см., в частности: Майков Л. Н. Из сношений Пушкина с Н. Н. Раевским. (Заметки по поводу одного письма). — В кн.: Майков Л. П. Пушкин, с. 137—161). Впослед-

«... я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира и принеся ему в жертву пред его алтарь два классические единства и едва сохранив последнее» (XI, 66); «По примеру Шекспира я ограничился изображением эпохи и исторических лиц, не гонаясь за сценическими эффектами, романтическим пафосом и т. п. Стиль трагедии — смешанный» (XIV, 46; оригинал по-французски); «Не смущаемый никаким светским (?) влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов» (XI, 140), и т. д.

Появившись осенью 1826 г. в Москве с рукописью «Бориса Годунова», еще не напечатанной, читая ее в салонах друзей и знакомых и обмениваясь мнениями о своей трагедии, Пушкин также неоднократно вспоминал о Шекспире. Интересна, например, но как всегда слишком лаконична запись дневника М. П. Погодина, в которой со слов Д. В. Веневитинова приводятся следующие слова Пушкина, сказанные у Волконских: «У меня кружится голова после чтения Шекспира. Я как будто смотрю в бездну». И далее следует запись о чтении «Бориса Годунова».²⁶

Пушкин предполагал собрать вместе все свои разрозненные заметки о трагедии и дать их в виде предисловия к «Борису Годунову» («Создавая моего Годунова, я размышлял о трагедии и если бы вздумал написать предисловие, то вызвал бы скандал»; XIV, 48, 396); в этом предисловии-манифесте была бы, конечно, освещена и связь трагедии с пьесами Шекспира; однако осуществления это намерение не получило. О «жизненной непринужденности» языка действующих лиц в пьесах Шекспира, которой восхищался Пушкин, существует еще свидетельство А. М. Горчакова. Осенью 1825 г. этот лицейский однокашник поэта, делавший быструю дипломатическую карьеру, возвращаясь из Лондона, заехал к своему дяде А. Н. Пещурову в его псковское имение. Пушкин поехал туда из Михайлово для встречи с ним и, как сам сообщил кн. П. А. Вяземскому (вторая половина сентября 1825 г.), познакомил его с фрагментами «Бориса Годунова» («От нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии»; XIII, 231). Впоследствии был записан рассказ А. М. Горчакова об этой встрече с Пушкиным; Горчаков помнил, что в выслушанных им отрывках «было несколько стихов, в которых проглядывала какая-то изысканная грубость и говорилось что-то о „слюнях“». Горчаков усмотрел в этом «искусственную тривальность» и просил «вычеркнуть эти слюни». «А посмотри, у Шекспира и те такие еще выражения попадаются» — возразил Пушкин. «Да, но Шекспир жил не в XIX в. и говорил языком своего времени», — заметил его собеседник (Русский архив, 1883, т. II, № 3, с. 206); см. также: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1931, с. 13—14.

²⁶ См.: Цявловский М. Пушкин по документам Погодинского архива. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XIX—XX. Пгр., 1914, с. 77. — Знаменательно, что эти слова были переданы Погодину Д. В. Веневитиновым, сильно увлеченным Шекспиром в том же 1826 г. Читая Шекспира (в немецком переводе А. Шлегеля) по совету Н. М. Рожалина, Д. В. Веневитинов написал ему стихотворное послание («Оставь, о друг мой, ропот твой»), в котором упоминает Шекспира, который ему «друзей здесь заменяет круг». К тому же 1826 г. относится стихотворение Веневитинова «Жизнь», которое, по словам его приятелей, представляло собой вариацию на известные слова Шекспира в «Короле Джоне» (д. III, сц. 4): «Жизнь скупна, как дважды рассказанная сказка» (см.: Веневити-

Для современников Пушкина и последующих читателей зависимость «Бориса Годунова» от произведений Шекспира была вполне очевидной и явственно бросалась им в глаза; совершенно естественно, что эта зависимость уже с давних пор служила предметом длительного обсуждения и специального изучения и что представлявшиеся по этому поводу выводы претерпели весьма значительные изменения.

«Борис Годунов» был напечатан в 1831 г. после отмены цензурного запрета, тяготевшего над ним в течение почти шести лет;²⁷ первые критики пушкинской трагедии, высказывавшиеся

нов Д. В. Полп. собр. соч./Под ред. Б. В. Смиренского. М.; Л., 1934, с. 85—87, 112, 434, 441). В последующих записях дневника М. П. Погодина есть не прокомментированные М. А. Цявловским и несколько загадочные строки: «Пушкину» отпис ресестр ппес. Хорошо! Назначил свои ппесы. Обещал прочесть Годунова во вторник. Bravo! Дал намек о Калибана» роле. — А я певсика не читал его» и далее: «Читал с восхищением Калибана. Во всей трагедии должна быть аллегория, п я рад был некоторым прозрениям своим, хотел сообщить их Пушкину, но не застал его. — Обедал у Шевырева, говорил с ним об Иродоте и пр., о Шекспире», о журнале. Мудрец Шекспир! На любочном театре он прорекал миру — слышите ли вы, говорит он» (Цявловский М. А. Пушкин по документам Погодинского архива. с. 79). О каком Калибане Пушкин говорил Погодину? Шла ли здесь речь о переделке шекспировской драмы, «волшебнo-романтичeском предствлении» А. А. Шаховского «Буря» (1821)? Или о персонаже кюхельбекеровской шутки «Шекспировы духи», в которой Пушкину понравился как раз Калибан (наряженный Калибаном дядюшка Фрол Карпыч)? Об этом персонаже Пушкин писал Кюхельбекеру в начале декабря 1825 г.: «зато Калибан прелесть», «чудо как мил» (XIII, 247—248). В повести В. Л. Пушкина «Капитан Храбров» (1828) есть следующее место:

Я очень занимаюсь чтеньем
И романтизм меня пленил.
Недавно Ларина Татьяна
Мне подарила Калибана:
Ах, как он интересен, мил!

(См.: Пушкин В. Л. Соч. СПб., 1893, с. 110). Стих с упоминанием Калибана объясняют как намек на «Шекспировы духи» Кюхельбекера (см.: Шекспир и русская культура, с. 136). Отметим также, что имя Калибана (как возможного действующего лица) упомянуто в одном из набросков к «Сценам из рыцарских времен» Пушкина, условно датированном 1835 г.: «Шварц ищет философского камня. Калибан, его сосед, над ним смеется» и т. д. (VIII, 348). Трудно сказать, имеет ли этот пушкинский Калибан какое-либо отношение к шекспировскому: у Пушкина он, по-видимому, должен был служить олицетворением тупого быта, житейского бездумного существования; однако из следующей программы того же замысла Калибан исчез.

²⁷ Пушкин, как известно, с большим трудом добился снятия этого запрещения, наложенного на «Бориса Годунова» Николаем I еще в 1826 г. на основании специального отзыва о рукописи трагедии некоего «верного» Бенкендорфу человека. Г. О. Винокур в статье «Кто был цензором Бориса Годунова?» (в кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 1. М.; Л., 1936, с. 203—214) неопровержимо доказал, что этим официальным критиком был Ф. Булгарин. М. Загорский (Пушкин и театр. М.—Л., 1940, с. 95—96) к аргументам Г. О. Винокура добавил любопытное текстологическое сопоставление одной фразы в этом «тайном» отзыве Булгарина

о ней в печати, за несколькими исключениями, отнеслись к ней холодно и даже враждебно: она явно оказалась им не по плечу. И. В. Киреевский был вполне прав, когда утверждал об этих критиках (в своем «Обозрении русской словесности за 1831 год», в «Европейце», 1832), что «они в трагедии Пушкина не только не заметили, в чем состоят ее главные красоты и недостатки, но даже не поняли, в чем состоит ее содержание»; по его мнению, иные из этих критиков смотрят на нее «помня Лагарпа»; «другой в честь Шлегелю требует от Пушкина сходства с Шекспиром и упрекает за все, чем наш поэт отличается от английского трагика, и восхищается тем, что находится в них общего». Впрочем, и сам Киреевский, один из наиболее благожелательных и прощительных критиков «Бориса Годунова», упрекая Пушкина за то, что тот не снизошел до уровня своих читателей, писал: «Если бы, вместо фактических последствий цареубийства, Пушкин развил нам более его психологическое влияние на Бориса, как Шекспир в Макбете; если бы вместо русского мошакса, который в темной келье произносит над Годуновым приговор судьба и потомства, поэт представил нам шекспировских ведьм. . . тогда, конечно, он был бы скорее понят и принят с большим восторгом».²⁸ Большинство первых критиков «Бориса Годунова» не видело никакой связи между отдельными сценами трагедии и утверждало, что она непригодна для сцены. Это писал еще в 1826 г. о ее рукописи в своем негласном отзыве Ф. Булгарин, указывавший, в частности, что «Борис Годунов» «не есть подражание Шекспиру, Гете или Шиллеру; ибо у сих поэтов в сочинениях, составленных из разных эпох, всегда находится связь и целое», а трагедия Пушкина содержит будто бы только «разговоры, припоминающие разговоры Валтера Скотта».²⁹ В анонимном памфлете против «Бориса Годунова» делается тот же упрек в бессвязности и разорванности его композиции: «Это настоящие китайские тени. Действие перескакивает из Москвы в Польшу, из Польши в Москву, из кельи в корчму. Есть нечто подобное в драматических произведениях Шекспира, да все-таки посовестнее. К тому же Шекспир писал

с его же утверждением в подписанной статье «Театральные воспоминания моей юности» (Пантеон русского и всех европейских театров, 1840, ч. 1, № 1, с. 91), где говорится: «Теперь только и речей, что о Шекспире, а я же верю, что Шекспиру подражать не можно и не должно. Шекспир должен быть для нашего века *не образцом*, а только историческим памятником. Наш век требует другого языка, других идеи, другого плана в трагедии и вовсе иной завязки». Впрочем, Б. П. Городецкий в статье «Кто же был цензором „Бориса Годунова“ в 1826 году?» (Русская литература, 1967, № 4, с. 109—119) пришел к заключению, что под «верным человеком» Бенкендорф на этот раз имел в виду не Булгарина, но Н. И. Греча, но это не кажется правдоподобным после работы А. А. Гозенпуда (см. выше, с. 250—251, примеч. 80).

²⁸ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1914, т. II, с. 46.

²⁹ Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи. СПб., 1889, с. 219—220; полный текст этой доносительной рецензии Булгарина см. в кн.: Дела III Отделения собственной его имп. величества канцелярии об А. С. Пушкине. СПб., 1906, с. 23 и сл.

тогда еще, когда одноземцы его и понятия не имели об изящном вкусе».³⁰ Суждения этого анонимного памфлетиста (дошедший до П. А. Вяземского слух, что им был автор «Дурацкого колпака» В. С. Фильмопов, не подтвердился) вызвали возмущение даже рецензента болгарской «Северной пчелы», в разборе этого «разговора» о «Борисе Годунове» писавшего, в частности: «Непозволительно с такими слабыми средствами хотеть быть судьей гениев великих, Шекспира например».³¹

Недовольство трагедией Пушкина, сопоставленной с пьесами Шекспира, высказано также и в большой статье Н. Полевого в «Московском телеграфе». «Вместо всяких объяснений романтической драмы и изложений теоретических, мы решаемся представить здесь практический пример, взятый из Шекспира. Его драма: „Король Ричард II“... имеет некоторое сходство в положении действующих лиц с сочинениями Пушкина. Так же как Годунов, сильный Ричард самовластно управляет Англиею; бедный изгнанник восстает против него, в несколько месяцев Ричард был низвергнут и умерщвлен, а противник его начал царствовать под именем Генриха IV». Представив далее на нескольких страницах подробную характеристику пьесы Шекспира, Н. Полевой высказывал свое восхищение этим творением английского драматурга.³² Восторженная характеристика была сделана с явным расчетом унижить пушкинское творение, хотя именно подобные намерения в своих словах Н. Полевой пытался вовсе отрицать. «Впрочем, — писал он, — мы не для того выставляем здесь Шекспира, чтобы по его гению осудить нашего поэта... Но мы говорим о Шекспировом Ричарде для пополнения слов наших, что „Борис Годунов“ не выдерживает суда критики, рассматриваемый как драматическое создание. Пример Шекспира надобен был нам для определения, что и как извлекает из чего-нибудь подобного великий драматический гений».³³

Остальные печатные отзывы о «Борисе Годунове» 30-х годов были столь же малоблагоприятными для Пушкина. Не достигла

³⁰ О «Борисе Годунове», сочинении Александра Пушкина, разговор. М., 1831. — Эта маленькая (16 стр.) весьма редкая брошюрка перепечатана в «Русской старине» (1890, т. 68, ноябрь, с. 445—455).

³¹ Северная пчела, 1831, 28 июня, с. 2—3; с. также: Пушкин и его современники. Пгр., 1916, вып. XXIII—XXIV, с. 175—176. — Любопытно, что в этой рецензии впервые на русском языке (в дословном переводе) приведено известное стихотворение о Шекспире Бена Джонсона.

³² В этой статье (первоначально напечатанной в «Московском телеграфе», 1833, ч. XLIX, № 2) Н. Полевой, между прочим, писал о «Ричарде II»: «Не знаете, чему более удивляться в этом превосходном создании: искусству ли, с каким извлечено единство действия драмы; связи ли подробностей, величественно, богато раскрытых поэтом; верности ли, с какою следовал поэт истории, или простоте его создания, и глубокому познанию характеров, указанных поэтом в сухой летописи?» (с. 320). Подробно о восторженном отношении Н. А. Полевого к «могущему колдуну» Шекспиру см. в статье Ю. Д. Левина в сборнике «Шекспир и русская культура» (с. 207—214).

³³ Полевой Н. Очерки русской литературы. СПб., 1839, ч. I, с. 204—205.

цели и не поднялась до подлинного понимания пушкинской драмы статья о «Борисе Годунове» Н. И. Надеждина (под псевдонимом «Н. Надоумко») в «Телескопе»; хотя он, видимо, пытался взять Пушкина под свою защиту от нападений Н. Полевого, по все же утверждал: «Шекспировы *Хроники* писаны были для театра и посему более или менее подчинены условиям сценики. Но *Годунов* совершенно чужд подобных претензий... Это — ряд *исторических сцен*... Эпизод *истории в лицах!*...».³⁴ Остальные отзывы современной русской печати о «Борисе Годунове» были малозначительны и в большинстве своем обнаруживали явное непонимание действительных соотношений между «Борисом Годуновым» и драматургией Шекспира. Из младших современников Пушкина лишь одному Белинскому уже в 40-х годах удалось высказать (в особенности в десятой статье о Пушкине) глубоко верный и проникновенный взгляд на трагедию Пушкина как на «трагедию народную», завещанный более поздним русским и зарубежным ее истолкователям.³⁵

В последующей русской критике «Бориса Годунова» и его историко-литературных изучениях значение Шекспира для создания этой драмы то преувеличивалось, то отрицалось вовсе. В частности, издавна указывались некоторые совпадения отдельных мотивов и сцен в «Борисе Годунове» и «Хрониках» Шекспира. С. Тимофеев, например, обращал внимание на монолог Бориса при вступлении на престол и на слова умирающего царя царевичу Федору как возникшие «под самым близким влиянием Шекспира», разумея сцены избрания королем Ричарда III (д. III, сц. 7) и монолог Генриха IV (ч. II, д. IV, сц. 4 и 5) у Шекспира; по мнению того же исследователя, весь монолог Бориса «Достиг я высшей власти» можно «признать результатом знакомства Пушкина с Макбетом и страданиями последнего по поводу убийства Банко».³⁶ Ряд подобных параллелей привел был М. М. Покровским,³⁷ А. Лиронделем,³⁸ в новейшее время М. Н. Бобровой,³⁹ Г. Гиффордом⁴⁰ и др. «Но при оценке этих сопоставлений, — с полным основанием утверждал Г. О. Винокур, — необходимо

³⁴ Телескоп, 1831, ч. I, с. 557.

³⁵ Отметим, кстати, что в рецензии на «Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова» С. Глинки (1841), приведя отсюда цитаты о Шекспире, Белинский с особенной язвительностью отозвался о произведенном С. Глинкой многостраничном сопоставлении «Дмитрия Самозванца» Сумарокова и «Бориса Годунова» Пушкина: «... да и где бедному Пушкину было бороться с Сумароковым, если сей трагик победил самого Шекспира!» и т. д. (Белинский в В. Г. Поли. собр. соч. М., 1954, т. V, с. 514—517).

³⁶ Тимофеев С. Влияние Шекспира на русскую драму, с. 71—76.

³⁷ Покровский М. М. Шекспиризм Пушкина, с. 10—13; Сочинения Пушкина. Пгр. Изд. имп. Академии наук, 1916, т. IV, Примечания. с. 168—169.

³⁸ Lirondelle A. Shakespeare en Russie. Paris, 1912. p. 142—143.

³⁹ Боброва М. К вопросу о влиянии Шекспира в трагедии Пушкина «Борис Годунов». — Литература в школе, 1939, № 2, с. 69—80.

⁴⁰ Gifford Henry. Shakespeare elements in Boris Godunov. — The Slavonic and East European Review, 1947, vol XXVI, N 66, p. 152—160.

учитывать неизбежность одинаковых драматических ситуаций в произведениях, написанных на одну и ту же тему о царе-узурпаторе, совершающем преступление в обстановке борьбы за власть <...> Так, например, — поясняет Г. О. Винокур далее, — отношения между Джоном и мальчиком Артуром в „Короле Джоне“ похожи на отношения Бориса и младенца Димитрия, монолог Сольсбери в той же трагедии (д. V, сц. 2) очень напоминает монолог Басманова об измене царю (сцена: «Ставка»). Этих сопоставлений никто не делал, но они не менее, а может быть, даже более вероятны, чем общепринятое сопоставление характера Бориса с характерами Клавдия («Гамлет») или Макбета. Такого рода общие сравнения, разумеется, лишены всякого историко-литературного значения: цари-преступники в известном отношении все похожи друг на друга».⁴¹

Тем не менее нет решительно никаких оснований приуменьшать действительные размеры мощного воздействия, которое Шекспир оказал на создание «Бориса Годунова»: сам Пушкин, изучавший Шекспира и отдававший ему дань восхищения до конца своей жизни, называл его в числе источников своей трагедии и никогда не стал бы этого отрицать. Однако «Пушкин очень принципиально и с большим чувством меры воспользовался в Борисе Годунове теми уроками, которые он извлек из чтения Шекспира»,⁴² и, «даже подражая Шекспиру... мог остаться вполне самостоятельным и в идейном и в литературном отношении».⁴³ Самостоятельность и оригинальность философско-исторической концепции Пушкина в «Борисе Годунове» не раз энергично подчеркивалась новейшими исследователями. Б. М. Энгельгардт, например, высказывал убеждение, что одним из отличительных признаков пушкинского историзма, как он выражен в «Борисе Годунове», было понимание действенной роли народа в историческом процессе и что именно «у Шекспира нет ни одной исторической драмы, в которой народ играл бы такую решающую роль в развитии исторической интриги произведения».⁴⁴ Хотя художественная интерпретация исторических фактов у Шекспира и Пушкина, отдаленных друг от друга несколькими столетиями исторической жизни и углубленной разработки и философского изучения истории как науки, не могла совпадать, но именно Пушкину вменяют в заслугу, что в «Борисе Годунове» он сумел по-новому реабилитировать и восстановить драматургические принципы Шекспира. «„Борис Годунов“ был одним из этапов всевропейской борьбы за реалистическую драму, за драму

⁴¹ См.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VII, с. 496.

⁴² Там же, с. 487.

⁴³ Там же, с. 488.

⁴⁴ Энгельгардт Б. Историзм Пушкина. — В кн.: Пушкинист. Пгр., 1916, т. II, с. 54. — Б. П. Городецкий в своей книге «Драматургия Пушкина» (Л., 1953, с. 93—95) говорит даже о «коренном отличии драматической системы Пушкина — в тех ее чертах, какие определились в „Борисе Годунове“, — от шекспировской».

народно-историческую. . . — писал Н. П. Верховский. — Роль Пушкина отнюдь не ограничилась тем, что он отдал „дашь времени“ и приобщил к потоку драм, паппсапных под влиянием Шекспира, еще одну драму, а тем самым приблизил Шекспира к еще одной национальной литературе. Дело обстоит сложнее: Пушкин создал не только оригинальное и самостоятельное произведение, высоко поднимающееся над уровнем подражания, — он по-новому, по-своему интерпретировал Шекспира. *Пушкинская интерпретация Шекспира была новым этапом в освоении наследия великого английского драматурга.* Пушкин полнее и глубже, чем его предшественники, раскрыл народно-исторический характер шекспировских драмы. В этом — его оригинальность, в этом — его международное значение». ⁴⁵

«Борис Годунов» «есть творение, достойное занимать первое место после шекспировских драм», — писал Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и виды» (1841). ⁴⁶

К сходным выводам приходили также исследователи зарубежной драматургии пушкинского времени. Эрнест Рейнольдс, например, дав характеристику шекспировского культа в английской ранневикторианской драматургии, указал на пушкинского «Бориса Годунова» как на единственную для всей Европы XIX в. «шекспиризирующую» драму, как на тот «образец», к которому английская драматургия стремилась бесплодно. По его мнению, такие драмы, как «Григорий VII» Горна, «Ришелье» Бульвер-Литтона, «Королева Мэри» Теннисона или «Карл V» Уилса, «имеют некоторый национальный интерес. Но сколь убогими (poor) кажутся они в сравнении с пушкинским Борисом! Нет ни одной тщательно разработанной и совершенной речи у Горна или Марстона, которые могли бы быть сравнены со сценой прощания Бориса с царевичем <. . . > И это произошло не только потому, — заключает Рейнольдс, — что русская драма XIX в. представлена рядом шедевров, но и потому, что „Борис Годунов“ может служить поистине блестящим примером того, какое употребление можно сделать из великих образцов прошлого». ⁴⁷

Еще в 1826 г. Пушкин думал о постановке «Бориса Годунова» на сцене и через посредство П. А. Катенина обращался с какими-то предложениями по этому поводу к актрисе А. М. Колосовой, которую он, по удачному предположению А. Л. Слонимского, «очевидно, хотел видеть в роли Марины», ⁴⁸ на что Кате-

⁴⁵ Верховский Н. П. Западноевропейская историческая драма и «Борис Годунов» Пушкина. — В : Западный сборник. М.; Л., 1937, т. I, с. 187.

⁴⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 59.

⁴⁷ Reynolds Ernest. Early Victorian Drama. 1830—1870. Cambridge, 1936, p. 21—22.

⁴⁸ Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1959, с. 464. — «У нас не выдвигали патриарха и монахов на сцене», — дописал Ф. Булгарин в своей записке о «Борисе Годунове». Возможно, что замысел поэта вывести на сцену среди персонажей представителей православного и католического духовенства составил одно из существенных препятствий для по-

нии отвечал Пушкину: «... она с охотою возьмется играть в твоей трагедии, но мы оба боимся, что почтенная дама цензура ее не пропустит» (XIII, 282). Впоследствии Пушкин также не раз призывался, что одной из задач «Бориса Годунова» была реформа русского театра: «Нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой»; «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической» (XI, 141). Но национальная драма, отвечающая общественным запросам и стремлениям современности, вступала в противоречие с условностями и традициями русской сцены и с суровыми требованиями театральной цензуры; Пушкин хотя и старался «упрятать свои уши под колпаком юродивого», но опасался, что его намерения будут разгаданы, и поэтому не мог говорить полным голосом. Возможно, что именно это противоречие заставило его вовсе охладеть к жанру большой народной драмы — исторической хроники и перейти к камерной драматургии «маленьких трагедий».

Через месяц после окончания «Бориса Годунова» Пушкин написал «Графа Нулина» (1825). Это поэма также имеет прямое отношение к его усиленным заплатам Шекспиром в то же самое время. В заметке, которую Пушкин написал позднее (ок. 1830 г.) и которую определяют как «набросок предисловия к переизданию поэмы» или, во всяком случае, как «авторский комментарий к ней»,⁴⁹ Пушкин рассказал о том, как возник «Граф Нулин», в первой черновой редакции названный «Новый Тарквиний». «В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреция пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом припужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола⁵⁰ не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть» (XI, 188).

становки «Бориса Годунова». Другим препятствием было, конечно, усвоенное Пушкиным у Шекспира право драматурга на живую, грубую, откровенную речь, когда она нужна для характеристики соответствующих персонажей, в частности из пародной среды. За эту «реалистическую» грубость обиходной речи критика обвиняла не только пушкинского «Бориса Годунова», но и другие «шекспиризирующие» драмы того времени. Так, Н. И. Греч в «Чтениях о русском языке» (СПб., 1840, т. II, с. 79), характеризуя «Дмитрия Самозванца» А. С. Хомякова (1831, напеч. в 1833 г.) как пьесу, написанную «умно и с соблюдением одной общей идеи», упрекает, однако, автора в том, что он «от желания подражать Шекспиру становится низким и отвратительным».

⁴⁹ Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 74.

⁵⁰ Публипп ошибся: мужем Лукреции был не Публикола, а Коллатин (Collatinus).

Этот авторский «ключ» к «Графу Нулипу» объясняет, разумеется, не все в творческой истории поэмы; даже истинный смысл слов «перечитывая Лукрецию» (т. е. «The Rape of Lucrece») мы не можем объяснить удовлетворительно: в каком переводе читал Пушкин эту, по его словам, «довольно слабую поэму» Шекспира, и читал ли он ее раньше, этого мы не знаем. Важно, однако, то, что середина 20-х годов — время «особенно напряженного интереса Пушкина к проблемам истории: исторического процесса, исторической логики, исторической причинности»⁵¹ и что поэтому «Граф Нулин» возник не только в связи с Шекспиром, но вследствие занятий поэта римскими историками.

Исходя из подкананного самим Пушкиным признания, что толчком к созданию поэмы послужили размышления поэта о случайном и закономерном в истории, Ю. М. Лотман предположил, что Пушкин, помимо Шекспира, мог вспомнить в данном случае также рассуждение Мабли о неизбежности падения деспотизма в Риме, сопровождаемое ссылками на тех же Тарквиния и Лукрецию.⁵² С другой стороны, Б. М. Эйхенбаум пытался обнаружить связь между «Графом Нулиным» и пьесой Кюхельбекера «Шекспировы духи» (1825), толкуя пушкинскую «повесть в стихах» как своего рода ответ на возражение Кюхельбекеру.⁵³ Тем не менее поэма Шекспира «The Rape of Lucrece» (очевидно, во французском переводе) оказалась только поводом для «паро-

⁵¹ Эйхенбаум Б. О замысле «Графа Нулина». — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. 3, с. 349—357.

⁵² Мабли писал в работе «Об изучении истории» (Mably. De l'étude de l'histoire: Collection complète des œuvres. Paris, l'an III, [1794 à 1705], t. XI, p. 286): «Однако совсем не оскорбление, причиненное Лукреции молодым Тарквинием, вселило в римлян любовь к свободе. Они уже давно были утомлены тиранией его отца; они краснели за себя, презирали свое терпение. Мера исполнилась. И без Лукреции и Тарквиния тирания была бы низвергнута и иное происшествие вызвало бы революцию». «Вполне вероятно, — замечает Ю. М. Лотман, приведя эту цитату, — что истолкование Пушкиным поэмы Шекспира в связи с злободневными размышлениями над случайным и закономерным в истории и неизбежностью падения деспотизма было подготовлено чтением весьма популярного произведения Мабли» (Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960, т. III, с. 154). Мы можем добавить к этому еще одно указание на возможный источник заметки Пушкина о замысле «Графа Нулина». В «Письмах о России» (1739) Франческо Альгаротти, в тексте которых находятся известные слова о Петербурге как «окне России в Европу», взятые Пушкиным для одного из примечаний к «Медному всаднику», печатается в виде приложения небольшой «Опыт о продолжительности правления семи римских царей», здесь идет речь и об истории Тарквиния и Лукреции; при этом Альгаротти утверждает, что причиной государственных изменений в Риме был спор о целомудрии римских женщин между Секстом Тарквинием и Коллатином: «... вот причина несчастия Лукреции, консулата, свободы Рима» (Lettres du comte Algarotti sur la Russie... Londres, 1769, p. 285—286). Хотя принято считать, что Пушкин взял цитату об «окне в Европу» непосредственно из «Писем о России», а из эпиграфа другой книги (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 183, № 698; Путеводитель по Пушкину. М.; Л., 1934, с. 33), но было бы трудно отрицать возможность знакомства Пушкина с книгой Альгаротти в целом.

⁵³ Эйхенбаум Б. О замысле «Графа Нулина», с. 355.

дии» Пушкина, по не объектом, хотя в самом тексте пушкинской поэмы граф Нулиц назван Тарквипием («Она Тарквинию с размаха/Даёт — пощечину»; V, 11), что открывает возможность считать и его самого, и героиню «пародийными» подражателями действующих лиц произведения Шекспира; но Пушкин не зря отказался от первоначального заглавия («Новый Тарквиний»), чтобы дать себе больший простор для бытовой живописи и характеристики русских провинциальных помещиков. Современное зарубежное шекспироведение обратило наконец внимание на «Графа Нулина» как на один из немногих «комментариев крупного поэта континентальной Европы к недраматическому произведению Шекспира», превосходящий по своему художественному значению все прочие английские «подражания» или «продолжения» шекспировской поэмы.⁵⁴

Прилежное, вдумчивое изучение Шекспира, относящееся к годам ссылки Пушкина в Михайловское, продолжалось и в последующие годы, не ослабевая, а скорее усиливаясь с течением времени. Плоды своих размышлений над текстами Шекспира Пушкин иногда набрасывал и на бумагу; кое-что из таких рукописей им самим направлено было в печать, другие сохранились среди его бумаг и увидели свет только после его смерти. Так, в альманахе «Северные цветы на 1830 г.» (СПб., 1829) в примечании к «Сцене из трагедии Шекспира: Ромео и Юлия» в переводе П. А. Плетнева (но без его подписи) Пушкин напечатал небольшую заметку об этой пьесе, которая обнаруживает несомненную осведомленность его в специальной литературе об английском театре. Начинается она следующими словами: «Многие из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только им поправлены. Трагедия *Ромео и Джульета* хотя слогом своим и совершенно отделяется от известных его приемов, но она так явно входит в его драматическую систему и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти, что ее должно почтить сочинением Шекспира» (XI, 83). Даваемая Пушкиным в последующих строках характеристика итальянского колорита в этой пьесе и ее главных действующих лиц весьма живописна; в известной мере она предвосхищает последующую литературу о *soeur local* Шекспира, об удивительном знакомстве его с топографией Вероны, итальянским языком и мелкими подробностями итальянского быта, какие были обнаружены в этой пьесе: «В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и *soncetti*. Так понял Шекспир драматическую местность» (XI, 83). Среди действующих лиц пьесы кроме четы

⁵⁴ Gibian George. Pushkin's Parody on The Rape of Lucrece.— The Shakespeare Quarterly, 1950, vol. 1, N 4, p. 244—266. — Подробно вся история литературных обработок сюжета о Тарквинии и Лукреции изложена в кн.: Galinsky Hans. Der Lucretia Stoff in der Weltliteratur. Breslau, 1932 (Пушкин в этой работе не упомянут).

влюбленных Пушкин особо выделил Меркуцио;⁵⁵ это, очевидно, отчасти вызвано было тем обстоятельством, что именно вокруг Меркуцио сосредоточено действие в сцене на веронопской площади (д. III, сц. 1), которую перевел П. А. Плетнев для «Северных цветов» и для которой заметка Пушкина явилась введением или своего рода комментарием: «После Джульеты, после Ромео, сих двух очаровательных созданий шекспировской грации, Меркуцио, образец молодого кавалера того времени, изысканный, привязчивый, благородный Меркуцио есть замечательнейшее лицо из всей трагедии. Поэт избрал его в представителе итальянцев, бывших модным народом Европы, французами XVI века» (XI, 83). Едва ли, таким образом, подлежит сомнению, что сцену шекспировской пьесы, переведенную П. А. Плетневым, Пушкин знал еще в рукописи и что вводная заметка к этой сцене была специально написана им для «Северных цветов». Публикация заметки в альманахе сопровождалась примечанием: «Извлечено из рукописного сочинения А. С. Пушкина», которое П. В. Анненков истолковал в том смысле, что эта заметка являлась отрывком из большого сочинения Пушкина о Шекспире, до нас не дошедшего: «Этого рукописного сочинения, однако, нет в бумагах поэта, — писал Анненков, — и мы принуждены ограничиться только сбережением самого отрывка, единственного его остатка».⁵⁶ Выше, обращая внимание на то, что глубокое понимание Пушкиным произведений великого английского драматурга легко усматривается хотя бы из дошедших до нас в черновиках писем поэта о «Борисе Годунове», П. В. Анненков также заметил, что «собственно работы над Шекспиром (Пушкина, — М. А.) теперь не существует. Блестящим остатком ее могут служить два отрывка: один с разбором Фальстафа, напечатанный посмертным изданием в „Записках“ Пушкина, а другой касающийся драмы „Ромео и Юлия“ и посмертным изданием пропущенный».⁵⁷ На самом деле ни о существовании такой особой статьи Пушкина о Шекспире, оставшейся

⁵⁵ Пушкин пишет «Меркуцио» (как и П. А. Плетнев) в соответствии с орфографией шекспировского оригинала, но, может быть, это свидетельствует и о недостаточном знакомстве русского поэта в то время со всеми особенностями английского произношения; с другой стороны, Пушкин тут же пишет «Джульета» в соответствии с шекспировской Juliet, но не с французской Juliette или немецкой Julia; характерно, что в сцене, переведенной П. А. Плетневым, героиня именуется Юлией. Отметим, кстати, что до середины 30-х годов английская орфография имени Шекспира в писаниях Пушкина отличалась устойчивостью: в черновом письме к Н. Н. Раевскому (в конце июля 1825 г.) он писал «Schakespear» и ему же (30 января 1829 г.): «Schekspeare» (XIII, 406; XIV, 46); с той же неустойчивостью мы встретимся также и в русской орфографической практике начала 30-х годов. См. примеры, приведенные в статье: Алексеев М. П. К истории написания имени Шекспира в России. — В кн.: Проблемы современной филологии: Сборник статей к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова. М., 1965, с. 304—313.

⁵⁶ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина, с. 169.

⁵⁷ Там же.

в рукописи, ни даже о замысле подобной работы не осталось никаких сведений; очевидно, она никогда и не существовала.⁵⁸ Отрывок о Шейлоке, Анджело и Фальстафе относится к серии заметок Пушкина, объединяемых заглавием «Table-talk» и написанных не ранее чем в 1834 г. Отрывок этот, о котором пойдет речь ниже, не имеет ничего общего с приведенной выше заметкой о «Ромео и Джульетте».

Во многих рукописях Пушкина за десятилетие, протекшее между 1826—1836 гг., и печатных статьях того же времени имена Шекспира и героев его произведений упоминаются многократно и по разным поводам. В черновых заметках «О пародности в литературе» (1826) Пушкин говорит, например: «... мудро отъять у Шекспира в его *Отелло*, *Гамлете*, *Мера за меру* и проч. достоинства большой пародности» (XI, 40); в материалах к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям» (1827) поднимается вопрос о «высшей смелости» — «смелости изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию», а в перечне обладавших этим качеством писателей Шекспир стоит на первом месте рядом с Данте, Мильтоном, Гете, Мольером (XI, 64). В черновой заметке «В зрелой словесности приходит время» (1828) находится такое стилистическое замечание: «Сцена тени в Гамлете вся писана шутливым слогом, даже низким, но волос становится дыбом от Гамлетовых шуток» (XI, 73); в наброске «О романах В. Скотта» (1829—1830) утверждается: «Shakespeare, Гете, Walter Scott не имеют холопского пристрастия к королям и героям» (XII, 195); в набросках плана статьи «О пародной драме и драме Погодина: Марфа Посадница» (1830) высказаны весьма существенные положения: «Шекспир, Гете, влияние его на нынешний французский театр, на нас», «... важная разница между трагедией народной, Шекспировой и драмой придворной, Расиновой», «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ... Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки» (XI, 177, 419).

Одна из заметок Пушкина, напечатанных им без подписи в «Литературной газете» (1830, 25 февраля), имеет полемический характер, но в то же время свидетельствует о близком его знакомстве с текстом комедии Шекспира. «Как вам это понравится» («As you like it»). «В одной из Шекспировых комедий, — пи-

⁵⁸ Отметим, впрочем, что П. А. Плетнев писал Пушкину 21 мая 1830 г.: «Хотелось бы мне, чтоб ты ввернул в трактат о Шекспире любимые мои две идеи: 1) спрашивается, зачем перед публикой позволять действующим лицам говорить неприятности? Отвечается: эти лица и не подозревают о публике: они решительно одни, как любовник с любовницей, как муж с женой, как Меркутио с Бенволио (пещеромонные друзья)... 2) Для чего в одном произведении помещать прозу, полустихи (т. е. стихи без рифм) и настоящие стихи» (Плетнев П. А. Сочинения и переписка. СПб., 1885, т. III, с. 353). О каком «трактате о Шекспире» идет здесь речь? Может быть, действительно Пушкин предполагал написать статью о Шекспире, для которой успел лишь закончить то, что напечатано Плетневым в «Северных цветах»?

шет Пушкин, — крестьянка Одрей спрашивает: „Что такое поэзия? вещь ли это *настоящая*?“. Не этот ли вопрос, предложенный в ином виде и гораздо велеречивее, паходим мы в рассуждении о поэзии романтической, помещенном в одном из московских журналов 1830 года» (XII, 178). Эта заметка Пушкина представляет собой иронический отклик на рассуждение о романтической поэзии Н. И. Надеждина, пачавшее печататься в первых номерах «Вестника Европы» за 1830 г., в котором романтики сопоставлялись с Шекспиром.⁵⁹ Надеждин явно напал на Пушкина, когда взывал к «величественным теням Дантов, Кальдеронов и Шекспира при виде безумия, совершаемого, во имя их, со столь невежественной самоуверенностью».⁶⁰ Поэтому Пушкин был весьма остроумен и язвителен, возражая Надеждину аргументом, заимствованным из того же Шекспира. Пушкин имел в виду 3-ю сцену III действия комедии «Как вам это понравится», где простодушная и невежественная крестьянка Одри (Audrey) никак не может понять, что говорит ей Тачстон, и в частности, что такое поэзия: «Я не знаю, что это такое значит „поэтичная“, — признается Одри. — Значит ли это — честная на словах и на деле? Правдивая ли это вещь?». На это Тачстон отвечает ей: «Поистине нет, потому что самая правдивая поэзия — самый большой вымысел».⁶¹ Попытки приписать Пушкину другие заметки в той же «Литературной газете» с упоминанием Шекспира или его героев признаны были ошибочными. Тем не менее он внимательно следил за этим изданием, принимал близкое участие в подборе для него литературных материалов⁶² и постоянно встречал имя Шекспира на его страницах. Разумеется, он знал, что в том же 1830 г. сам издатель «Литературной газеты» А. А. Дельвиг весьма сурово отозвался о переведенном с немецкого А. Ротчевым «Макбете» Шекспира (СПб., 1830),⁶³ осужден-

⁵⁹ [Надеждин] Н. Н. О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии. — Вестник Европы, 1830, ч. CLXX, № 1, с. 15.

⁶⁰ Там же, с. 37.

⁶¹ Виноградов В. В. Неизвестные заметки Пушкина в «Литературной газете» 1830 г. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 462—464.

⁶² Так, статья Кюхельбекера «Мысли о Макбете» без имени автора появилась в «Литературной газете» 1830 г. в том, седьмом, номере журнала (с. 52—53), который был подготовлен к печати Пушкиным с помощью О. М. Сомова, в то время как Дельвиг находился в Москве. Как установил Ю. Д. Левин («В. К. Кюхельбекер — автор „Мыслей о Макбете“». — Русская литература, 1961, № 4, с. 191—191¹), эта статья сосланного декабриста представляла собою предисловие к переводу «Макбета», осуществленному им в ноябре—декабре 1828 г. Следует исправить оплошность, допущенную Е. М. Блиновой в ее ценном справочнике «Литературная газета А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830—1831. Указатель содержания» (М., 1966, стр. 54 и 150): статья «Мысли о Макбете» предположительно приписана здесь П. А. Плетневу на том основании, что Плетневу ее безоговорочно приписал Н. К. Козмин в своих «Очерках по истории русского романтизма» (СПб., 1903, с. 348) и с меньшей уверенностью — А. А. Чебышев (в кн.: Письма П. А. Катенина к П. П. Бахтину. СПб., 1911, с. 173).

⁶³ Литературная газета, 1830, 22 ноября, с. 244—245. — Рецензия эта

пом также большинством других русских журналистов. Вскоре Пушкину и самому пришлось ближе столкнуться с неудачными русскими переводами Шекспира (например, В. А. Якимова).⁶⁴ Однако Пушкин также содействовал появлению новых перево-

также не имеет подписи, но принадлежность ее перу А. А. Дельвига не вызывает сомнений (см.: Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотв. / Ред. и примеч. Б. Томашевского. Л., 1934, с. 505). Пушкин, конечно, сочувствовал каждому слову этой осудительной рецензии своего друга. «Перевод Макбета с немецкого языка показывает все непочтенье к превосходному творению Шекспира... — писал Дельвиг. — Перелистываешь книгу и изумляешься. Не зная английского языка, наш поэт мог найти человека, который показал бы ему, как по-русски пишутся английские собственные имена. Он и о том не подумал. Он пишет Шакспир вместо Шекспир, лади вместо леди, у него Макдуф — то Макдуф, то Макдюф, а Фейф — то Фифа, то Флва, то Флвы!! Нет, Макбет еще не переведен у нас. Интересно, что это не единственный отклик Дельвига на тогдашние русские увлечения Шекспиром. Одна из идиллий Дельвига «Конец золотого века» (1828), действие которой сосредоточено в древнегреческой Аркадии, содержит мотив из «Гамлета». Пастух рассказывает путешественнику историю пастушки Амариллы, обольщенной и брошенной Мелегтем, «приходившим из города». Она сходит с ума и гибнет в волпах подобно «бедной Лизе» Карамзина и шекспировской Офелии (известную аналогию сюжету представляет и будущая «Русалка» Пушкина). Публикуя идиллию в своем поэтическом сборнике, Дельвиг сам указал на близость его аркадской пастушки Амариллы к героине Шекспира: «Читатели заметят в конце сей идиллии близкое подражание Шекспирову описанию смерти Офелии. Сочинитель, благоговей к поэтическому дару великого британского трагика, радуется, что мог повторить одно из прелестнейших его созданий» (Стихотворения барона Дельвига. СПб., 1829, с. 156). Близость эпизода к соответственной сцене шекспировского «Гамлета» действительно бросается в глаза:

...Страшно поющая дева стояла уже у платана,
Плющ и цветы с наряда рвала и ими прилежно
Древо свое украшала. Когда же нагнулася с берега,
Смело за прут молодой ухватившись, чтоб цепью цветочной
Эту ветвь обвязать, до нее достоящую тенью,
Прут, затрещав, обломился, и с берега она полетела
В волпы несчастные. Нимфы ли вод, красоту сожалела
Юной пастушки, спасти ее думали, платье ль сухое,
Кругом широким поверхность воды обхватив, не давало
Ей утонуть? Не знаю, но долго, подобно Няжде
Зримая только по грудь, Амарилла стремленьем неслася,
Песню свою распевая, не чувствуя гибели близкой,
Словно во влаге рожденная древним отцом Океаном.
Грустную песню свою не окончив — она потонула.

⁶⁴ Весной 1833 г. В. Ф. Одоевский приглашал к себе Пушкина, чтобы «выслушать Шекспирова Венецианского купца, переведенного г. Якимовым, который собирается перевести всего Шекспира» (XV, 56), но Пушкин, вероятно, уклонился от присутствия на этом чтении, так как уже знал от М. П. Погодина и из отзывов московской печати о бездарнейших переводах харьковского профессора В. А. Якимова, которые, по отзыву «Молвы» (1833, № 97, с. 385—387), способны были возбудить в русских читателях лишь «отвращение к Шекспиру». О Пушкине и Якимове см. подробный комментарий Л. Б. Модзалевского к письму Пушкина (к В. Ф. Одоевскому) от 28 марта 1833 г. (XV, 56) (Пушкин П. Письма. М.; Л., 1935, т. III, с. 90, 572—573; Шекспир и русская культура, с. 263). Пушкин, безусловно, осведомлен был о том, что Шекспира в 30-е гг. много переводил В. К. Кюхель-

женей: так, именно он посоветовал А. Ф. Вельтману «прсобразовать» комедию Шекспира «Сон в летнюю почь» в либретто волшебной оперы для постановки в театре с музыкой русского композитора; Вельтман воспользовался советом Пушкина, очень интересовавшимся этим предприятием, по смог выполнить это «либретто» лишь с большим запозданием; сначала эта пьеса называлась «Сон в Ивановскую ночь» и в первой редакции была представлена в цензуру 15 января 1837 г., незадолго до смерти Пушкина, издана же была она в новой переработанной редакции под заглавием «Волшебная ночь» лишь в 1844 г. «Удалось раскрыть первоначальный набросок предисловия Вельтмана к „Волшебной ночи“, из которого становится ясным замысел Пушкина, — говорит по этому поводу Ю. Д. Левин. — Великий поэт мечтал о создании на основе шекспировской комедии яркого, чарующего, фантастического спектакля. „Этот сюжет для оперы, — писал Вельтман, — есть выбор Пушкина: в *Midsummer night's dream* он видел все очарование, которое может придать этой пьесе прекрасная музыка и щедрая постановка“». ⁶⁵ Стоит отметить также, что в это время Пушкин продолжал интересоваться новинками иностранной литературы о Шекспире и непрерывно пополнял ими свою библиотеку.

В своих автобиографических заметках Я. К. Грот рассказывает: «Изучая английский язык, я сошелся с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. . . Увидев Пушкина, я забыл свою собственную цель и весь превратился во внимание: он требовал книг, относящихся к биографии Шекспира, и, говоря по-русски, расспрашивал о них книгопродавца»; ⁶⁶ то же известие в несколько иной редакции и с приблизительной датой помещено Я. К. Гротом в примечании к его статье «Записки графа М. А. Корфа»: «В 1834 или 1835 г. я встретился с ним (Пушкиным, — М. А.) в английском магазине Диксона. . . он при мне отобрал все новые сочинения, касавшиеся Шекспира, и велел

бекер (см.: Бумаги Пушкина. М., 1884, вып. I, с. 52), и вполне мог оценить остроту своего друга, уподобившего свою судьбу комедии Шекспира «Много шума из ничего»; в письме из Сибири (от 18 октября 1836 г.) Кюхельбекер писал Пушкину: «Я собираюсь жептяться; вот я и буду *Benedick the married man*, а моя *Beatrix* почти такая же *little Shrew*, как и в *Much Ado* старика *Willy*» (XVI, 169). В 1836 г. И. И. Панаев прислал Пушкину свой перевод «Отелло», изданный в этом году в Петербурге, и эта книга с падиськой переводчика сохранилась среди книг поэта (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 115, № 424). 21 декабря 1836 г. в бенефис Я. Брянского г. а в этом переводе давалась в Александринском театре; Пушкин должен был знать, что под псевдонимом «аббата Ирпниуса», сочинившего музыку к спектаклю, скрывался В. Ф. Одоевский (см.: В. Ф. Одоевский: Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 556—557).

⁶⁵ Левин Ю. Д. «Волшебная почь» А. Ф. Вельтмана: Из истории восприятия Шекспира в России. — В кн.: Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966, с. 83—92.

⁶⁶ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и паставники: Статьи и материалы. 2-е изд. СПб., 1899, с. 275—276; перепеч. в кн.: Труды Я. К. Грота. СПб., 1903, т. V, с. 16.

доставить их себе на дом». ⁶⁷ О каких именно книгах шла речь, остается неизвестным; можно, однако, предположить, что среди них было сохранившееся и доныне в его библиотеке пятое издание прозаических пересказов шекспировских пьес Чарльза Лема. ⁶⁸ В сохранившейся части библиотеки Пушкина содержится и несколько других книг о Шекспире, например сочинение Л. Тика «Шекспир и его современники» во французском переводе с немецкого, ⁶⁹ книга Л. Мезьера об истории английской литературы, в которой Шекспиру уделено значительное место. ⁷⁰ Представляет несомненный интерес, что среди книг Пушкина была также, но до нас не дошла классическая немецкая книга Карла Иозефа Зимрока «Источники Шекспира» ⁷¹ — собрание первоисточников драм Шекспира в пересказах, составленное знатоком средневековой литературы; так, в главе о «Ромео и Джульетте» автор излагал эту историю по Луиджи да Порто и повелле Банделло, о «Гамлете» — редакцию легенды, оставленную Саксоном Грамматиком, о «Венецианском купце» — пересказ Джованни Фиорентино, и т. д. Пушкина, несомненно, интересовали сюжетные аналогии к пьесам Шекспира: об этом свидетельствуют уже цитированная выше заметка о «Ромео и Джульетте» из «Северных цветов» или в его отзыве об Озере слова «самые народные трагедии» Шекспира» заимствованы из итальянских новелл» (статья «О драме», 1830; XI, 179).

Ксенофонт Полевой привел в своих «Записках» якобы однажды высказанный Пушкиным резко отрицательный отзыв о немецких критиках Шекспира, но сохранные им слова не очень достоверны и не поддаются более точному и подробному истолкованию. ⁷² Бесспорно, однако, что в середине 30-х годов Пушкин

⁶⁷ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, с. 246. — Ряд английских книг — среди них и «Shakespeare» — упомянут Пушкиным в письме от 26 марта 1831 г. к П. А. Плетневу, через посредство которого Пушкин и выписал их себе из книжного магазина Беллизара. Отметим также, что М. Юзефович, встретившийся с Пушкиным в Закавказье (в 1829 г.), вспоминает, что при нем «было несколько книг, и в том числе Шекспир» (Юзефович М. В. Памяти Пушкина. М., 1880, с. 16).

⁶⁸ Lamb Charles. Tales from Shakespeare: Designed for the use of young persons. Fifth ed. London, 1831 (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 267, № 1068).

⁶⁹ Tiesck L. Shakespeare et ses contemporains. Paris, 1832 (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 349, № 1438).

⁷⁰ Mezières L. Histoire critique de la littérature anglaise depuis Bacon... Paris, 1834 (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 287, № 1160).

⁷¹ Simrock K. Die Quellen des Shakespeare in Novellen, Märchen und Sagen. 1831, 3 Theile (у Пушкина было только два томика; см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина: Новые материалы. — В кн.: Литературное наследство. М., 1934, т. 16—18, с. 1018, № 180 (768); Алексеев М. П. Несколько английских книг из библиотеки А. С. Пушкина. — Научный бюллетень ЛГУ, 1946, № 6, с. 29—30).

⁷² Вот слова Пушкина, приведенные Кс. Полевым: «Немцы видят в Шекспире черт знает что, тогда как он просто, без всяких умствований

являлся у нас одним из самых авторитетных ценителей и знатоков Шекспира и что он был очень почитаем в современной критической литературе о Шекспире, как русской, так и иностранной. Об этом свидетельствуют его критические наброски об отдельных образах шекспировских драм, не увидевшие света при жизни поэта, и, кроме того, упоминания Шекспира в произведениях Пушкина в стихах или прозе, отклики в них, сознательные и бессознательные, на шекспировские пьесы, сцены, отдельные строки и т. д.; о том же, наконец, свидетельствует сохранившееся в рукописи Пушкина начало перевода одной из шекспировских драм непосредственно с английского подлинника.

Заметки Пушкина об Отелло, а также о Шейлоке, Анджело и Фальстафе входят в его так называемый «Table-talk» — сборник «Застольных бесед», положенных на бумагу в первой половине 30-х годов (в основном между 1834—1836 гг.). Пушкин дал название этому своему собранию анекдотов, афоризмов и более или менее случайно возникших мыслей по примеру сохранившихся в его библиотеке книг В. Хэзлитта и в особенности С. Кольриджа,⁷³ в которых, кстати сказать, также не раз ведется речь о Шекспире. Одна из входящих в этот цикл заметок (VII по

говорил, что было у него на душе, не стесняясь никакой теорией. Тут он выразительно напомнил о неблагоприятностях, встречаемых у Шекспира, и прибавил, что это был гениальный мужичок» (Полевой Кс. Записки. СПб., 1888, с. 199). Г. О. Винокур считал приведенную запись «очень правдоподобной» (см.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VII, с. 491), что справедливо лишь отчасти. Выше мы уже указывали, например, на то, как Пушкиным были восприняты суждения о Шекспире А.-В. Шлегеля. Об отношении же Пушкина к Л. Тикю и его занятию Шекспиром (об этом Пушкин мог знать также от Жуковского) данных не сохранилось. С другой стороны, известно, что Н. А. Полевой утверждал как раз противоположное тому, что его брат Ксенофонт приписывает Пушкину (может быть, просто по контрасту); в статье о Пушкине в «Московском телеграфе» (1833), цитированной выше, Н. Полевой утверждал: «Всеобъемлющий Омир средних веков, Шекспир был изучен, понят германцами» (Полевой Н. Очерки русской литературы, ч. I, с. 103). И. В. Киреевский полагал также, что знакомством с Шекспиром «обязаны мы распространявшемуся влиянию словесности немецкой» (Киреевский И. В. Полн. собр. соч., т. II, с. 26). Заключение часть записи Кс. Полевого в частности будто бы сказанные Пушкиным слова, что Шекспир — это «гениальный мужичок», также приняты на веру (см. замечание Б. С. Мейлаха, что цитированные слова «не будут восприниматься как парадокс»; Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 444); нельзя, однако, не обратить внимания на близость их к словам о Шекспире Н. А. Полевого в той же его статье о Пушкине: «...уродливый мужик этот в продолжение 20 годов написал 40 пьес и в течение многих лет ежегодно выставлял по драме» (Очерки русской литературы, ч. I, с. 204).

⁷³ Hazlitt William. Table-talk; or original essays. Paris, 1825. 2 vols; Specimens of the Table-talk of the late Samuel Taylor Coleridge. London, 1835. 2 vols. — Книга Кольриджа, как свидетельствует сделанная на ней карандашная пометка, была куплена Пушкиным 17 июля 1835 г. (Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 246, № 974 и с. 198, № 760). О происхождении заглавия «Table-talk» у Пушкина см. в статье Н. В. Яковлева «Пушкин и Кольридж» (в кн.: Пушкин в мировой литературе. Л., 1926, с. 139—140)

цыпшнему счету, установленному по сверке с подлинными рукописями)⁷⁴ бегло сопоставляет Отелло Шекспира и созданного в подражание ему Орозмана в «Заире» Вольтера. Пушкин пишет: «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив. Вольтер это понял, и, развивая в своем подражании создание Шекспира, вложил в уста своего Орозмана следующий стих:

Je ne suis point jaloux... Si je l'étais jamais!..
(Я совсем не ревнив... Если б я был ревнивым!).

(XII, 157)

Б. В. Томашевский отметил, что сравнение Пушкиным этих героев Шекспира и Вольтера подсказано «возникшим во французской критике обсуждением вопроса о судьбах „Отелло“ во французской драматургии в связи с переводом А. де Виньи (1829); как известно, „Заира“ была первой попыткой приспособления сюжета „Отелло“ на французской сцене».⁷⁵ В другой работе Б. В. Томашевский отметил противоречие, в какое Пушкин вступил этой своей заметкой с написанной им приблизительно в это же время характеристикой Вольтера;⁷⁶ с нашей точки зрения, это свидетельствует, что указанная заметка Пушкина вызвана не столько его старыми симпатиями к Вольтеру, сколько новыми успехами в овладении им подлинным текстом Шекспира, и в частности именно «Отелло» — пьесы, пользовавшейся в середине 30-х годов особой популярностью в России. Отвечая на критические отзывы о своей «Полтаве», и в частности тем критикам, которые объявили, «что отроду не видано, чтоб женщина влюбилась в старика», Пушкин писал в своей полемической заметке, что «любовь есть самая своеправная страсть», и в доказательство

⁷⁴ См.: Соловьева О. С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 г.: Краткое описание. М.; Л., 1964, с. 41 (№ 1134). Обе пушкинские заметки о Шекспире (№№ VII и XVIII) первоначально опубликованы были в «Современнике» (1837, т. VIII, № 4, с. 226 и 234—236).

⁷⁵ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 14. — В переводе А. де Виньи, озаглавленном «Венецианский мавр» и приспособленном для французской сцены, «Отелло» был представлен впервые в «Comédie Française» 24 октября 1829 г. Особое значение получила предпосланная отдельному изданию перевода статья Виньи, в которой драматургия Шекспира противопоставлялась системе классиков (см.: Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, с. 210). См. также специальное исследование о судьбе «Отелло» во французской литературе и театре: Gilman Margaret. Othello in French. Paris, 1925. В этой книге подчеркнуто, что данная пьеса Шекспира представила особые препятствия для понимания и восприятия ее французскими зрителями и читателями; по мнению исследовательницы, эти препятствия становились тем значительнее, чем ближе французские переводчики придерживались английского подлинника.

⁷⁶ Отметив, что герой «Загры» Вольтера «является подражанием Отелло Шекспира», Б. В. Томашевский писал: «Следовательно, Пушкин в 30-х годах считал, что Вольтер не всегда пренебрегал „правдоподобием характеров“, если он так хорошо развил усвоенный им образ Шекспира» (Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 247).

ссылался на житейские случаи и мифологические предания, которые «не чужды поэзии или, справедливее, ей принадлежат», восклицая при этом: «А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах?» (XI, 1558). Тот же пример из Шекспира, подтверждающий на этот раз «своеобразие» или, скорее, «своеволие» поэта при выборе им поэтической темы, находим мы во второй главе «Египетских ночей» (1835) в импровизации итальянца — стихах, «сохранившихся в памяти Чарского»:

Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избпрает
Кумир для сердца своего.

(VII, 269)

Не подлежит сомнению, что вся история любви Дездемоны и Отелло, как она изображена Шекспиром, во всех ее тончайших оттенках, служила источником разнообразных мыслей и ощущений автора «Арапа Петра Великого» (1827—1828).⁷⁷

⁷⁷ В двух книжках альманаха «Северные цветы» — на 1830 и на 1831 гт., к изданию которых Пушкин имел близкое отношение, он читал два стихотворения И. И. Козлова: «Романс Дездемоны» с подзаголовком «Из Шекспира» (сильно искаженная и переведенная, вероятно с французского, песня об иве) и «К тени Дездемоны» (перепечатано в его «Собрании стихотворений» (СПб., 1833, ч. 2, с. 200—201)). В этом стихотворении для поэтической характеристики знаменитой шекспировской четы И. И. Козлов, как и Пушкин, прибегает к «астральным» сравнениям:

Дездемона, Дездемона!
Далека тревог земных,
К нам из тучи с небосклона
Ты дрожишь звездой любви.
И мольбе твоей, и стою
Африканец не внимал;
В страсти буйной Дездемону
Он для сердца сберегал.
И любви безнадежной,
Звездный мир страна собой,
Все кометою мягежной
Он стремится за тобой.

Отметим также переводное А. И. Полежаевым в 1836—1837 гг. стихотворение Э. Легуве «Последний день Помпеи», в первой части которого дан пересказ шекспировской сцены Отелло и Дездемоны, угодливных Везувию и Помпеи. Этот перевод А. Полежаева, однако, увидел свет лишь в 1857 г (Полежаев А Стихотворения СПб., 1857, с 194—197)

Другая более известная заметка Пушкина той же серии «Table-talk» (№ XVIII), условно именованная в сочинениях Пушкина, изданных до 1933 г., «Шайлок, Анджело и Фальстаф», исходит из сопоставления созданных Шекспиром характеристических образов с персонажами мольеровских комедий: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; по существу живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры» (XII, 159—160). Эти известные слова Пушкина характеризуют два различных метода реалистического воспроизведения человеческих характеров в драматических произведениях; шекспировский Шейлок противопоставлен мольеровскому Гарпагону, Анджело—Тартюфу: «У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителев, чадолюбив, остроумен. У Мольера Лицемер волочится за женою своего благодетеля — лицемера; принимает имение под сохранение, лицемера; спрашивает стакан воды, лицемера. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он оболещает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью пабожности и волокитства» (XII, 160), и т. д. Это сравнение делается Пушкиным, по замечанию Б. В. Томашевского, «как и можно было угадать, далеко не в пользу Мольера»,⁷⁸ по в этой заметке Мольер, собственно, нигде не осуждается: речь идет лишь о разных творческих возможностях писателя при создании драматических характеров; следует также иметь в виду и собственную драматургическую практику Пушкина: при создании, например, типического образа скряги в «Скупом рыцаре» он шел не столько шекспировским, сколько мольеровским путем.⁷⁹ Тем существеннее для нас другое указание Б. В. Томашевского, справедливо отметившего, что «в начале XIX в. Мольер был единственным из классиков, не потерявшим своего обаяния перед зрителем», и что он не утратил своего значения и в глазах романтиков; «естественность сопоставления Шекспира с Мольером явствует хотя бы из того, что независимо от Пушкина эти имена сопоставлял Шатобриан в своем „Опыте об английской литературе“ (1836)».⁸⁰

Сделанная Пушкиным в той же заметке особенно подробная

⁷⁸ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 119. — Д. П. Якубович, ссылаясь на указанную заметку в «Table-talk», также замечает: «Мольеровская комедия, прекрасно знакомая Пушкину с детских лет, очевидно, казалась ему несколько схематично-элементарной и представлялась шагом назад в изображении типа скупого сравнительно с разносторонне реалистическим изображением, данным Шекспиром» (см.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VII, с. 510).

⁷⁹ См.: Спасский Ю. Пушкин и Шекспир. — Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук, 1937, № 2—3, с. 416; ср. также: Спасский Ю. Шекспир, Мольер, Пушкин. — Театр. 1937, № 1, с. 14—22

⁸⁰ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 119

и действительно увлекательная по своему глубокому смыслу, меткости и живописному мастерству характеристика Фальстафа как «гениального создания» Шекспира в настоящее время пользуется международным признанием и хорошо известна английским шекспироведам.⁸¹ Отметим также, что английское слово «the Sack», употребленное Пушкиным в портретной характеристике Джона Фальстафа — «Ему нужно крепкое испанское вино (the Sack), жирный обед» (XII, 160), вероятно, свидетельствует, что Пушкину был в это время доступен английский текст шекспировской хроники «Генрих IV» и «Веселых виандзорских кумушек», в которых выведен этот герой и где действительно не один раз упоминается данное слово в значении белого вина, привозившегося в Англию из Испании и с Канарских островов.⁸²

Не все ссылки Пушкина на Шекспира или даже цитаты из его произведений восходят прямо к шекспировскому тексту; иногда они опосредствованы каким-либо иностранным или русским источником. В повести «Гробовщик» (1830), например, Пушкин вспоминает, между прочим, сцену с могильщиком в «Гамлете» (д. V, сд. 1), но эта ассоциация возникла у него не в процессе нового чтения шекспировской пьесы, а в связи с «Ламмермурской невестой» В. Скотта; замечание Пушкина («Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми»; VIII, 89) восходит непосредственно к XXIV главе этого романа В. Скотта.⁸³ Английская цитата в письме Пушкина к П. А. Вяземскому от

⁸¹ Еще в 1941 г. в XVI выпуске «Shakespeare Association Bulletin» пушкинские «Notes on Shylock, Angelo and Falstaff» напечатаны были в переводе Альберта Зигеля (р. 120—121). Та же пушкинская заметка в переводе Ле Винтера вошла в хрестоматию «выдающихся западноевропейских высказываний о Шекспире»: Shakespeare in Europe/Edited by Oswald Le Winter. Cleveland; New York, 1963, р. 160—162 (№ 13); переводу предпослана небольшая справка о Пушкине, в которой объясняется, что пушкинский отрывок о Шейлоке, Анджело и Фальстафе является «одним из немногих непосредственных утверждений» Пушкина о Шекспире, что так же ошибочно, как и другое предположение переводчика, будто этот фрагмент задуман Пушкиным еще в период работы его над «Борисом Годуновым» (р. 161).

⁸² См.: Schmidt A. Shakespeare-Lexicon. Berlin; London, vol. II, 1886, р. 996; Onions C. T. Shakespeare Glossary. 2nd ed. Oxford, 1963, р. 187. — Возможно, что пояснение Пушкина основано на каком-нибудь комментарии к тексту Шекспира. Н. К. Козмин в примечании к статьям и заметкам Пушкина (Соч. Пушкина. Л., 1929, т. IX, ч. 2, с. 580—581) высказал догадку, что «характеристики шекспировских героев набросаны Пушкиным, может быть, под влиянием А.-В. Шлегеля, который тонко отметил особенности природы Шейлока и личности Фальстафа»; впрочем, приведенные здесь же обширные выписки из «Cours de littérature dramatique» Шлегеля по изданию 1814 г. несколько не подтверждают эту точку зрения; они, напротив, свидетельствуют о самостоятельности пушкинских суждений; в середине 30-х гг. «Курс» Шлегеля был для Пушкина уже совершенно архаическим.

⁸³ См.: Якубович Д. П. Реминиценции из Вальтера Скотта в «Повестях Белкина». — В кн.: Пушкин и его современники. Л., 1928, вып. XXXVII, с. 114—112.

11 июля 1831 г. — известные слова Ричарда III из трагедии Шекспира (д. V, сц. 4) — также ведет нас не к подлинному тексту шекспировской пьесы, но к эпитафии стихотворения Вяземского, которое Пушкин и имеет в виду.⁸⁴ «Сонет» (1830) Пушкина — «Суровый Дант не презирал сонета» — упоминает Шекспира как «творца Макбета» (III, 214) и как создателя книги сонетов, но и это упоминание, и все стихотворение Пушкина в целом восходят одновременно к стихотворению Вордсворта («Scorn not the sonnet, critic») и подражанию ему Сент-Бева («Ne ris point des sonnets, ó, critique moqueur»): в обоих этих стихотворениях, английском и французском, Шекспир назван — у Вордсворта мы находим сравнение сонета Шекспира с «ключом, отмыкающим сердце», в более обычной связи Шекспир упомянут Сент-Бевом.⁸⁵ Укажем также на интересное для нас в том же отношении позднее стихотворение Пушкина «Не дорого ценю я громкие права» (1836), в котором цитируется известное восклицание Гамлета «Слова, слова, слова...» (III, 420). Хотя это стихотворение и названо «Из Пиндемонти», но изучение рукописи показало, что первоначально оно имело другое заглавие, зачеркнутое поэтом: «Из Alfred Musset»; вдохновившее Пушкина стихотворение А. Мюссе существует, и оно-то и напомнило ему восклицание Гамлета.⁸⁶

Напомним еще многозначительное упоминание Шекспира в стихотворении Пушкина «Калмычке» (1829), где оно входит в ряд отрицательных сравнений, противопоставляющих вольный образ жизни среди степей калмыцкой красавицы традиционным и скованным условностями моды развлечениям столичных представительниц светской среды:

Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног,

Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь...

(III, 159)

Легкое, бездумное, подражательное увлечение Шекспиром светских модниц Пушкин не считал обязательным для «справдных душ», предпочитая ему полное, но естественное неведение.

⁸⁴ Пушкин спрашивал П. А. Вяземского в этом письме о С. Н. Карамзиной: «Что Софья Николаевна? царствует на седле? A horse, a horse! My kingdom for a horse!» (XIV, 175). Он имел в виду не только увлечение С. Н. Карамзиной верховой ездой, но и посвященное ей стихотворение П. А. Вяземского «Прогулка в степи», незадолго перед тем напечатанное в «Литературной газете» (1831, 16 января), эпитафией к которому поставлены указанные слова Ричарда III.

⁸⁵ См.: Яковлев Н. В. Сонеты Пушкина в сравнительно-историческом освещении. — В кн.: Пушкин в мировой литературе, с. 122—124.

⁸⁶ См.: Розанов М. Н. Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонти». В кн.: Пушкин / Ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л., 1930, сб. II, с. 124. — Стих «Все это (видите ль) слова, слова, слова» был начат: «Как Гамлет»; в окончательном, переделанном тексте имя Гамлета попало в примечание к этому стиху.

В произведениях Пушкина 30-х годов существуют, однако, и такие места, которые, по-видимому, возникли под непосредственным воздействием Шекспира или представляют собой непрямые отклики поэта на запомнившиеся ему отдельные шекспировские сцены, стихи, выражения; при этом Шекспир, может быть явившийся бессознательным для Пушкина поводом к совершенно самостоятельному ходу мыслей, не упоминается.

Воздействие творчества Шекспира на драматургию Пушкина не было исчерпано «Борисом Годуновым»; оно сказалось еще в некоторых «маленьких трагедиях», написанных в болдинскую осень 1830 г. Эти драматические этюды, или «изучения», как их пытался определить сам поэт, не знаменовали его полного отхода от Шекспира; это были поиски той малой сценической формы, которая была бы более пригодной для русского театра, чем большие, громоздкие, трудные для театрального воплощения в новых условиях драмы Шекспира.⁸⁷ Любопытно, что одним из образцов для «маленьких трагедий» Пушкина были «Драматические сцены» Барри Корнуола, сохраняющие свою связь с техникой и манерой английской драматургии начала XVII в., что подчеркнуто, в частности, и некоторыми эпиграфами «сцен» Корнуола, заимствованными также из Шекспира.

Черты сходства «маленьких трагедий» с произведениями Шекспира бросились в глаза уже современникам Пушкина. Так, С. П. Шевырев еще в 1841 г., в статье о последних томах посмертного издания сочинений Пушкина, отметил близость двух сцен «Каменного гостя» к одной сцене в «Ричарде III»: речь идет о сценах оболыщения Дон Гуаном Доны Анны у памятника командора и в ее доме, действительно имеющих некоторое сходство с объяснением между Глостером и леди Анной в трагедии Шекспира. «Сцены Дон Жуана с Доной Анной, — писал Шевырев, — напоминают много сцену в Ричарде III между Глостером (Ричардом III) и леди Анной, вдовой Эдуарда, принца Валлийского, даже до подробности кипжала, который Дон Жуан, как Глостер, употребляет хитрым средством для довершения победы. Положение совершенно одно и то же; не мудрено, что Пушкин и без подражания, без подущения памяти, сошелся печально в некоторых чертах с первым драматическим гением мира».⁸⁸ Новейшие исследователи, анализируя эту параллель, также находят, что указанная пушкинская сцена в «Каменном госте» «родственна по структуре шекспировской сцене между Ричардом III и Анной», с тем, однако, разл^чием, что у Шекспира «ситуация еще более остра».⁸⁹

⁸⁷ Ср.: Архангельский К. П. Проблема сцены в драмах Пушкина. — Тр. Дальневост. пед. инст. Владивосток, 1930, сер. VII, № 1, с. 8—11.

⁸⁸ Москвитянин, 1841, ч. V, № 9, с. 246; то же сопоставление приводится в «С.-Петербургских ведомостях» (1841, 13 ноября).

⁸⁹ Волькенштейн В. Драматургия. Изд. испр. и доп. М., 1960, с. 73.

Отмечены также параллельные места из произведений Шекспира к «Скупому рыцарю». Как известно, еще Белинский находил, что «эта драма — огромное, великое произведение, вполне достойное гения самого Шекспира», но что она может претендовать и «по выдержанности характеров» главных драматических лиц, и «по страшной силе пафоса, по удивительным стихам, по полноте и окончательности».⁹⁰ Но это лишь общее впечатление. Яркий колорит западноевропейского средневековья, сообщенный Пушкиным этому произведению, а также ссылка его на мифического «Ченстона» долгое время заставляли русских критиков заподозривать существование западного оригинала «Скупого рыцаря». В связи с этим еще И. С. Тургенев (в письме к П. В. Аннепкову от 2 (14) февраля 1853 г.) сделал очень тонкое наблюдение; он процитировал из мополога Скупца стихи о совести, которые, по его мнению, «носят слишком резкий отпечаток нерусского происхождения»:

Когтистый зверь, скребящий сердце, совесть,
Незванный гость, докучный собеседник,
Займодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают. . .

(VII, 113)

и прибавил: «Чистая английская, шекспировская манера».⁹¹ В подкрепление этого суждения Н. О. Лернер привел действительно ряд сходных мест из произведений Шекспира, например мрачную картину могил, извергающих мертвецов, которая встречается у него неоднократно, что и заставляет думать, что она внушена Пушкину Шекспиром.⁹²

⁹⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 563.

⁹¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. II. М.; Л., 1961, с. 121.

⁹² Н. О. Лернер (Рассказы о Пушкине. Л., 1929, с. 218—220) напомнил прежде всего слова, сказанные Макбетом, когда он видит дух убитого Банко: «Если склепы и наши могилы высылают назад тех, кого мы похоронили, то наши памятники должны быть утробами коршунов» (д. III, сц. 4); ту же картину выхода мертвых из могил он находит в словах Проспера в «Буре» (д. V, сц. 1). Гамлет спрашивает призрак отца (д. I, сц. 4):

. . .Зачем гробница,
В которой был ты мирно упокоен,
Разъяв свой тяжкий мраморный оскал,
Тебя извергла вновь. . .

(Перевод М. Л. Лозинского)

В одном из монологов Гамлета упоминается «тот колдовской час ночи, когда гроба зияют и заразой ад дышит в мир» (д. III, сц. 2); наконец, во II части хроники «Король Генрих VI» описывается зловещая ночь, когда «призраки разверзают свои могилы» (д. I, сц. 4) «Воображение Пушкина, — замечает по этому поводу Н. О. Лернер, — восприняло это создание Шекспирова воображения. Наш пост обогатил пленивший его образ одною деталью, еще живее и еще мрачнее: у него могилы „смущаются“».

Отмечено было также возможное отражение в «Русалке» (1832) сцены прощания Антония и Клеопатры в трагедии Шекспира (д. I, сц. 3). Впрочем, эта параллель, на которую несколько раз обращал внимание Ф. Ф. Зелинский,⁹³ не вызвала единодуш-

⁹³ Первоначально в статье «Мотив разлуки — Овидий, Шекспир, Пушкин» (Вестник Европы, 1903, № 10; перепечатана в кн.: Зелинский Ф. Из жизни идей. 3-е изд. СПб., 1916, с. 420—422), а затем и в работе об «Антонии и Клеопатре», предпосланной переводу в сочинениях Шекспира под ред. С. А. Венгерова (изд. Брокгауза—Еврона. СПб., 1903, т. IV, с. 224; ср. также: Зелинский Ф. Ф. Возрожденцы. Пб., 1922, вып. 2, с. 39), Ф. Ф. Зелинский обращал внимание на ту сцену «Русалки», когда князь расстается с дочерью мельника, а она в горе и муке никак не может вымолвить ему то, что казалось самым важным:

Она

Постой; тебе сказать должна я
Не помню что.

Князь

Припомни.

Она

Для тебя
Я все готова... нет, не то... Постой —
Нельзя, чтобы навеки в самом деле
Меня ты мог покинуть... Все не то...
Да!.. вспомнила: сегодня у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся.

(VII, 193)

По мнению Ф. Ф. Зелинского, в этом месте Пушкин невольно вспомнил о словах Клеопатры покидающему ее Антонию (д. I, сц. 3):

Друг друга мы покинем, — нет, не то,
Друг друга мы любили, — нет, не то.
Все знаешь сам. Хотела что-то
Сказать я. Только память у меня
Похожа на Антония. Забыта
Я им совсем.

Когда Антоний отвечает на это, что она является воплощением легкомыслия, Клеопатра бросает реплику:

Поверь, не так легко так близко к сердцу
Такое легкомыслие носить,
Как носит Клеопатра.

(Перевод Н. Минского)

В оригинале:

Tis sweating labour
To bear such idleness so near the heart.

Этими словами, повергавшими в недоумение комментаторов Шекспира, Клеопатра, по мнению Зелинского, прозрачно намекает на свою беременность: «Чего не понял ни один из толкователей Шекспира, то сразу уло-

лого согласия исследователей Пушкина; некоторые из них представляли и свои возражения по этому поводу, настаивая, в частности, на том, что «между гордой и властолюбивой Клеопатрой и простодушной и доверчивой девочкой Пушкина нет ни тени сходства» и что поэтому сходные подробности в «Русалке» и «Антоний и Клеопатра» свидетельствуют лишь о близости понимания Шекспиром и Пушкиным «истины страстей» и «правды диалога на сцене».⁹⁴ Напомним, впрочем, что еще Н. Г. Чернышевский отметил «шекспировский элемент» в «Русалке» Пушкина, утверждая, что эта неоспоримая драма прямо возникла из «Короля Лира» и «Сна в летнюю ночь».⁹⁵ С другой стороны, однако, утверждали, что поэма, вставленная в «Египетские ночи» Пушкина, является той же трагедией Шекспира «Антоний и Клеопатра».⁹⁶

В 50-х годах П. И. Бартевев записал следующее свидетельство приятеля Пушкина — П. В. Нащокина, хорошо осведомленного о жизни поэта и относительно его творческих замыслов: «Чтя Шекспира, он (Пушкин, — М. А.) пленился его драмой „Мера за меру“, хотел сперва перевести ее, но оставил это намерение, не надеясь, чтобы наши актеры, которыми он не был вообще доволен, умели разыграть ее. Вместо перевода, подобно своему Фаусту, он перевел Шекспирово создание в своем Анджело». Здесь же Бартевев отметил, что именно П. В. Нащокину Пушкин говорил: «Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думаю, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал».⁹⁷

Это сообщение, как и многие другие свидетельства Нащокина, отличается полной достоверностью. Пушкин действительно начал переводить «Меру за меру» Шекспира с английского подлинника, приступив к этой работе еще до того, как он начал писать «Анджело», т. е. до начала октября 1833 г. Рукопись пушкинского перевода дошла до нас, но долгое время известна была лишь по неточной копии, которой пользовался П. В. Анненков.⁹⁸ Ознакомившись с этой несовершенной копией, Н. И. Стороженко уже много лет назад подчеркивал, что этот «мастерской перевод» лишь нескольких первых сцен «Меры за меру» «показывает, что мы

вил, руководясь одним своим поэтическим чутьем, наш Пушкин» (см. также: Лернер П. О. Пушкинологические этюды. XI. Из отношений Пушкина к Шекспиру. — Звенья. М.; Л., 1935, т. V, с. 137—140).

⁹⁴ Загорский М. Пушкин и театр, с. 182.

⁹⁵ Там же, с. 139.

⁹⁶ См.: Кугель А. Р. Русские драматурги: Очерки театрального критика. М., 1934, с. 22. См. также: Нусилов И. М. «Антоний и Клеопатра» и «Египетские ночи» Пушкина — В кн.: Нусилов И. М. Историко-литературные чтения. М., 1958, с. 234—295 (однако эта статья, несколько раз перепечатанная, страдает вульгарно-социологическими обобщениями).

⁹⁷ Цит. по: Цявловский М. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевевым в 1851—1860 гг. М., 1925, с. 47.

⁹⁸ См.: Пляккин П. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903, с. 71—74.

липились в Пушкине великого переводчика Шекспира».⁹⁹ Публикация всего текста этого перевода в 1936 г.¹⁰⁰ позволила лучше вникнуть в самый процесс работы над ним Пушкина и отделить его — как самостоятельный этап — от создания вовсе заслонившего его «Анджело». В своем переводе Пушкин был очень точен и верен оригиналу; он сохранил и шекспировское место действия г. Вену, тогда как в «Анджело» действие происходит, как известно,

В одном из городов Италии счастливой.

Напомним, что в уже цитированной выше XVIII заметке своего «Table-talk» Пушкин дал ключ к собственному пониманию характера шекспировского Анджело и своей заинтересованности этим образом. Он писал, что Анджело несколько не похож на «однолипейного» мольеровского Тартюфа, и, перечислив характерные черты шекспировского лицемера, заключал: «Анджело лицемер — потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!» (XII, 160).

Слова Пушкина поясняют, что интерес его к образу Анджело был столь велик, что он бросил свой перевод «Меры за меру», увлеченный задачей свободного пересоздания этого произведения, возможностью самостоятельной творческой работы в пределах той же заданной темы. Вопрос о том, почему Пушкин отказался от драматической формы и прибег к повествовательной, к «рассказу в стихах», неоднократно возникал перед его исследователями. П. В. Анненков объяснял это «последним направлением творческой мысли поэта», склонностью его к эпическим жанрам: «Эпический рассказ сделался столь важен и так завладел всей творческой способностью его, что, может быть, хотел он видеть, как одна из самых живых драм нового искусства отразится в повествовании».¹⁰¹ По мнению Б. В. Томашевского, Пушкина увлекла задача представить развитие сложного и противоречивого характера Анджело в поэме, потому что «до тех пор задачи развертывания психологии героя в их противоречиях и внутренней цельности Пушкин разрешал только в драматической форме. Ни в поэме, ни в прозе он вплотную к этому не подходил».¹⁰² М. Н. Розанов интересно аргументировал еще одно предположение, что на эпическую, точнее, новеллистическую форму Пушкина натолкнул «самый характер шекспировского сюжета». «Хотя ближайшим источником для Шекспира послужила драма Джорджа Уэтстона «Промос и Кассандра» (1578), по сам автор драмы заимствовал сюжет у итальянского повеллиста Джиральди Чинтио», — пишет М. Н. Розанов и отмечает, что «оба автора колебались во внешнем оформлении сюжета. Сам Чинтио впоследствии

⁹⁹ Венок на памятник Пушкину, с. 226.

¹⁰⁰ См.: Якубович Д. П. Перевод Пушкина из Шекспира. — Звенья. М.; Л., 1936, т. VI, с. 144—148.

¹⁰¹ Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина, с. 389.

¹⁰² Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2, с. 407—408.

превратил свою новеллу в драму («Eritia»), а Уэтстон, начавший с драмы, несколько позже перевел итальянскую новеллу. Таким образом, сюжет допускал ту и другую обработку. Но Пушкин, выпустив из „Меры за меру“ весь элемент грубо-комический, перешедший в нее из драмы Уэтстона, вернулся к основному сюжету новеллы Джиральди Чиптио и тем самым легко мог прийти к мысли положить его в стиле итальянской новеллы».¹⁰³ Любопытно, что европейские шекспиристы послепушкинского времени, например Г. Гервинус, ничего не зная ни о Пушкине, ни об его «Анджело», утверждали, что достоинства шекспировской «Меры за меру» сделались бы особенно ясными, если бы эта драма была превращена в новеллу.¹⁰⁴

Ю. Д. Левин высказал правдоподобное предположение, что между драмой Шекспира и поэмой Пушкина существовало промежуточное звено. Им являлось изложение «Меры за меру» в книге английского романика Чарльза Лема «Рассказы из Шекспира» («Tales from Shakespeare»); пятое английское издание этой книги, написанной для детского возраста, сохранилось в библиотеке Пушкина.¹⁰⁵ «В сущности, — замечает Ю. Д. Левин, — Лем, отбросив все второстепенные персонажи, эпизоды, не связанные с основным развитием действия, и грубые, условно говоря, „массовые сцены“, сделал то извлечение из „Меры за меру“ (изложенное притом в повествовательной форме), которого довольно близко придерживался Пушкин».¹⁰⁶

Зарубежные критики пушкинской поэмы — последней в его творчестве, в которой он встретился с Шекспиром, подчеркивают ее достоинства и выдающиеся поэтические качества. Обращают внимание на то, что истолкование образа Анджело, которое дает Пушкин, близко соответствует той характеристике его, какую мы находим у В. Хэзлитта,¹⁰⁷ и что Пушкин как будто предвидел ход последующей шекспировской критики, выделив в «Мере за

¹⁰³ Розанов М. Н. Итальянский колорит в «Анджело» Пушкина. — В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934, с. 377—389.

¹⁰⁴ Там же (со ссылкой на кн.: Гервинус. Шекспир / Пер. К. Тимофеева. СПб., 1878, т. III, с. 76). Очень возможно, что Пушкину были известны дошекспировские превращения сюжета об Анджело и Изабелле и что он знал об его итальянском происхождении; во всяком случае, он вернул сюжет на его подлинную родину, что повлекло за собою «итальянизацию» действующих лиц и воспроизведение *couleur locale* эпохи Возрождения. «В „Анджело“, — замечает М. Н. Розанов, — облеченном в форму итальянской новеллы, Пушкин воссоздает итальянское Возрождение с таким же искусством, с каким он воскрешал перед нами Испанию Дон Жуана, Египет Клеопатры, Аравию Магомета, Англию пуритан и т. д.» (Розанов М. Н. Итальянский колорит в «Анджело» Пушкина, с. 389).

¹⁰⁵ См. выше, с. 278, примеч. 68.

¹⁰⁶ Левин Ю. Д. Об источниках поэмы Пушкина «Анджело». — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1968, т. XXVII, вып. 3, с. 256.

¹⁰⁷ См.: Gibian G. «Measure for Measure» and Pushkin's «Angelo». — PMLA, 1951, vol. LXVI, № 4, p. 429—431. — Отметим, что еще в 1833 г. о книге «Характеры Шекспира в его драмах» (1817) Гаццита (sic) писали в «Телескопе» (1833, ч. XVI, № 18, с. 211 и сл.).

меру» именно те сцены, которые представлялись наиболее существенными, и опуская в своем пересоздании те, которые казались лишними и неудачными.¹⁰⁸

Несмотря на сравнительное обилие исследований, излагающих историю отношений Пушкина к Шекспиру, тема эта не может еще считаться исчерпанной. В дальнейшем представляло бы интерес, в частности, выяснить, как Шекспир освещен в книжках пушкинского «Современника», выпущенных в свет самим поэтом; сошлемся, например, на замечание о Шекспире в статье Гоголя («О движении журнальной литературы») ¹⁰⁹ или на то, что на страницах пушкинского журнала появилась «драматическая сказка» Н. М. Языкова «Жар-птица», в которой усматривают монологи и сцены, пародирующие «Гамлета».¹¹⁰

Знатком Шекспира в 30-е годы считался у нас кн. П. Б. Козловский, несколько раз бывавший в Англии, блестящий русский дипломат и увлекательный собеседник. Пушкин в посвященном ему стихотворении назвал его «другом бардов Англии» и добивался сотрудничества его в «Современнике». Некоторые из отзывов его о Шекспире сохранились. Так, он в своих воспоминаниях говорил: «Только в Англии мог Шекспир сам от себя найти, без помощи Горация, тайну характера достойного человека, которую поэт древности выразил в словах более выпрепных, но не более сильных (см. оду *Justum ac*); вот эти два стиха Шекспира:

He would not flatter Neptune for his trident,
Or Jove for's power of thunder.

(Он не станет лстить Нептуну из-за его трезубца или Юпитеру из-за его силы громовержца) («Кориолан», д. III, сд. 1).¹¹¹

¹⁰⁸ G. Gibian. «Measure for Measure» and Pushkin's «Angelo», p. 430 (со ссылкой на кн.: Tillyard E. M. Shakespeare's Problem Plays. London. 1950, p. 121—122).

¹⁰⁹ Статья Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», напечатанная Пушкиным в I томе «Современника» 1836 г. (с. 192—225), заключала в себе ироническое свидетельство о своеобразной моде на Шекспира, установившейся в русской печати в 30-е гг. Гоголь писал: «... рецензент, о какой бы пустейшей книге ни говорил, непременно начнет Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в моду говорить, — итак, подавай нам Шекспира! Говорит он: „С сей точки начнем мы теперь разбирать открытую перед нами книгу. Посмотрим, как автор наш соответствовал Шекспиру“, а между тем разбираемая книга чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с Шекспиром, и сходствует разве только с духом и образом выражений самого рецензента» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII. Л., 1952, с. 174).

¹¹⁰ Начало сказки «Жар-птица» напечатано в «Современнике» в 1836 г. Пародийность сюжетной завязки ощущается здесь в монологе царя Выслава, представляющем собой «юмористическую параллель к гамлетовскому быть или не быть», «наставление Выслава сыновьям перед отправкой их на поиски Жар-птицы напоминает обращение шекспировского Полония к Лаэрту», и т. д. (Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX в. Петрозаводск, 1959, с. 445—447).

¹¹¹ См.: D o r o w W. Fürst Kosloffsky. Leipzig, 1946, S. 73.

Небесполезными были бы подсчеты всех довольно многочисленных упоминаний Шекспира у Пушкина,¹¹² распределенные по годам, по произведениям Шекспира и т. д. Тем не менее даже приведенные здесь данные безусловно позволяют признать широкое и довольно полное знакомство Пушкина с произведениями Шекспира; их понимание и истолкование достигнуты были продолжительными и упорными занятиями поэта, который тщательно изучал их тексты как в переводах, так и в подлиннике. Результаты этих трудов, сопоставленные с итогами изучения Шекспира современной Пушкину критики, в особенности разительны: Пушкин впервые обнаружил ту глубину и безошибочность в постижении великого английского драматурга, которых в состоянии была достигнуть русская литературная и эстетическая мысль в XIX столетии, и впоследствии часто возвращавшаяся к его оценкам и суждениям о Шекспире.

¹¹² См. весь необходимый для анализа материал в кн.: Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1959, Справочный том, с. 453—454 (под словом «Шекспир»).





ЗАМЕТКИ О «ГАВРИИЛИАДЕ»

Введение

Публикуемые ниже «Заметки» были напечатаны: первая («По поводу издания В. Брюсова») — в 1919 г., вторая («К источникам „Гавриилиады“») — в 1925 г.;¹ написаны же они несколько ранее. Включая их в настоящий сборник своих статей о Пушкине, автор первоначально предполагал внести в них лишь кое-какие необходимые исправления и дополнения, но в конце концов принужден был отказаться от такого намерения. Со времени их первого появления в печати прошел значительный срок, пушкиноведение за этот период заметно подвинулось вперед и сделало столь очевидные успехи, что текст указанных «Заметок» потребовал бы радикальной переработки, после которой воспроизведение их под старыми заголовками и датами их возникновения теряло бы всякий смысл. Напротив, сохранение прежнего текста «Заметок» — поскольку они касались такого произведения, как «Гавриилиада», имевшего особую, своеобразную историю и судьбу в истории русской литературы, — имеет известные основания; обе указанные статьи носят на себе сильный отпечаток времени, когда они возникли, и с этой стороны представляют собою своего рода документальные исторические свидетельства. Так как обе заметки опубликованы были в редких ныне изданиях, отсутствующих в большинстве крупных наших библиотек, они и с этой стороны, вероятно, могут представить некоторый интерес для пушкиноведов. Вот почему в данном сборнике обе эти заметки появляются в своем первоначальном виде, с минимальными изменениями, которые были естественны и необходимы: в тексте их исправлены опечатки, старославянские тексты даются в русских переводах, на отдельных страницах сделаны мелкие стилистические улучшения, подстрочные ссылки технически оформлены в соответствии с принятой ныне практикой, и т. д. Что же касается всех необходимых

¹ Точные данные о них см. в отделе «Библиографические справки» в конце настоящей книги

дополнений — исправлений по существу и в связи с появившимися новыми исследованиями по затронутым в заметках вопросам, — то читатель найдет их, так же как и библиографические указания на новейшие работы о «Гавриилиаде», в настоящем «Введении».

1

В настоящее время «Гавриилиада» хорошо известна читателям Пушкина, так как она входит во все полные собрания его сочинений, неоднократно перепечатывалась в сборниках разного характера и назначения, выпускалась отдельными изданиями.² Авторство Пушкина никаких сомнений более не вызывает; время написания поэмы также установлено вполне точно (апрель, 1821 г.); лишь текстологические сомнения и вопросы — при отсутствии авторских рукописей поэмы и наличии ряда разновременных ее списков — все еще возникают при очередных ее переизданиях и не могут считаться разрешенными окончательно, хотя питать надежды на новые текстовые открытия, по-видимому, более не приходится.³

² В юбилейном академическом издании 1937 г. «Гавриилиада» напечатана в IV томе (с. 121—136) по тексту, представляющему собою реконструкцию не дошедшей до нас подлинной рукописи, выполненную Б. В. Томашевским на основании тщательного аналитического сопоставления всех позднейших, наиболее авторитетных списков поэмы (перечень всех этих списков см. здесь же, с. 469). При этом редактор руководствовался принципом «не следовать тексту какого-нибудь одного из списков, хотя бы и признанного лучшим, а критически оценивать каждый „вариант“ данного места, стараясь из сопоставления их обнаружить подлинный текст, искаженный различным образом в списках» (Бонди С. М. Из материалов редакции академического издания Пушкина. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 2, с. 459). Естественно, впрочем, что этими сопоставлениями вопросы о ценности и полноте каждого из указанных списков не снимаются.

³ Одним из наиболее полных и точных списков «Гавриилиады» является собственноручный список С. А. Соболевского, помеченный 1827 г. и сохранившийся в его бумагах. Обнаруживший его А. К. Виноградов (см. в кн.: Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, с. 175) отметил, что Соболевский, владевший подлинной рукописью поэмы, «по-видимому, ее уничтожил», а сохранившийся список 1827 г., очевидно, «никому не выдавался» и на нем не стояло имени автора, так как «Соболевский очень берег имя Пушкина и не ставил его имя при жизни поэта в связь с этой, как он выражается „прелестной накостью“». Тем не менее возлагались надежды на то, что еще один, вполне авторитетный (если не авторский), список «Гавриилиады» может обнаружиться в библиотеке С. А. Соболевского, большая часть которой после смерти владельца (в 1870 г.) была куплена Британским музеем на книжном аукционе в Лейпциге в 1873 г. Однако тщательное обследование книг, принадлежавших Соболевскому и хранящихся ныне в Британском музее в Лондоне, дало в этом отношении незначительные результаты. Здесь, правда, действительно пахелся список «Гавриилиады», сделанный писарским почерком (очевидно, для Соболевского, но не им самим); этот список вклеен в экземпляр издания Н. В. Гербеля «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений» (Берлип, 1861); этот

его).⁴ Эта книга стала заметной вехой в пушкиповедении тех лет, но широко известной «Гавриилиада» сделалась не сразу: московское издательство «Альциона» выпустило поэму по очень дорогой цене и весьма малым тиражом (всего 555 пронумерованных экземпляров), благодаря чему это издание тотчас же превратилось в библиографическую редкость. Правда, текст «Гавриилиады» в том же году был перепечатан несколько раз в различных городах, но это были перьяшковые издания, со всяческими искажениями текста и множеством опечаток.⁵ Лишь новое критическое издание «Гавриилиады», подготовленное к печати Б. В. Томашевским и вышедшее в 1922 г.,⁶ положило прочное начало научному изучению этого запретного ранее произведения.

Брюсовское издание имело свою, довольно длинную предысторию, которая помнилась еще тогда, когда полный текст поэмы стал общеизвестным. Принадлежность «Гавриилиады» перу Пушкина В. Брюсов доказывал еще в 1903 г. на страницах «Русского архива» в статье, озаглавленной «Пушкин. Рана его совести». Заглавие это было дано не самим Брюсовым: на нем настоял редактор этого исторического журнала П. И. Бартенев,⁷ который, кстати сказать, лучше многих других знал всю историю «Гавриилиады»: еще в 1876 г. в том же своем журнале он опубликовал «отрывки из поэмы»;⁸ очевидно, еще в начале XX в. говорить о «Гавриилиаде» в печати можно было лишь с опаской; даже самое утверждение, что она принадлежит Пушкину, требовало, по мнению осторожного редактора, известных оговорок и сожалений. Несмотря на присвоенное ей заглавие, статья В. Брюсова тотчас же вызвала чрезвычайно резкие возражения. В двух книгах (седьмой и восьмой) «Русского вестника» за 1903 г. опубликованы были направленные против статьи Брюсова полемические заметки Н. Барсукова и Н. Я. Стародума; под псевдонимом Стародум

ст. 255 Награда вся: дьячков
ошпыльх пенъе
ст. 493 И что же? вдруг лохматый,
белокрылый

ст. 255. Награда вся дьячков
осиплых пенъе
ст. 493 И что же! вдруг мохнатый,
белокрылый

Как видим, эти сличения дают незначительные результаты.

⁴ Пушкин А. С. Гавриилиада. Полный текст / Вступительная статья и критические примечания Валерия Брюсова. М., 1918.

⁵ В указателе: Добровольский Л. М. и Мордовченко Н. И. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1918—1936. М.; Л., 1952, ч. I, с. 108—109, 113 (№№ 231—235 и 261) описаны вышедшие в 1918 г. еще одно издание «Гавриилиады», выпущенное издательством «Альциона» в Москве (без указания, что оно является вторым изданием), и еще три издания — в Петербурге, Одессе и Кисеве, некоторые без имени Пушкина и с анонимными предисловиями; в 1919 г. за ними последовало еще одно издание, выпущенное в Тбилиси.

⁶ Пушкин А. С. Гавриилиада. Поэма / Редакция, примечания и комментарии Б. Томашевского. Пб., МСМХХII. 110 с. (Труды Пушкинского Дома).

⁷ Библиография Валерия Брюсова. М., 1913, с. 18.

⁸ Русский архив, 1876, кн. III, № 10, с. 217—219.

скрывался Н. Я. Стечъкин (1854—1906),⁹ журналист, издатель газет, сотрудник ряда журналов, памятный, в частности, тем, что он был корреспондентом И. С. Тургенева и автором воспоминаний о нем. Стародум-Стечъкин писал: «Некто Валерий Брюсов избрал себе специальность грязнить память Пушкина. В № 7 Русского архива Валерий Брюсов с наглостью невежды и с развязностью невоспитанного человека тщился доказать, что Пушкин решился на бессовестную ложь перед императором Николаем I, отрицаясь от авторства Гавриилиады».¹⁰ Н. Барсуков, со своей стороны, при-водил документальные доказательства, по его мнению неопровержимые, из которых должно было следовать, что «Гавриилиада» Пушкину не принадлежит.¹¹

Естественно, что столь категорически высказанные суждения не могли остаться без отповеди. В защиту В. Брюсова выступил в «Русской мысли» В. В. Каллаш, посмеявшийся, кстати, над псевдонимом Н. Я. Стечъкина («этот псевдоним, — писал он, — избрал себе, по-видимому, Митрофанушка, в отместку за слишком откровенное осмеяние подлинным Стародумом его „русской“, основанной на „Хавроньиных историях“, теории „двери прилагательной“ и „существительной“»); самую же аргументацию Стечъкина Каллаш назвал «мутным и грязным потоком прямо непристойных ругательств»; тем не менее «сделанная им непристойность была очень сочувственно подхвачена и повторена многими органами провинциальной печати».¹²

Полемика, сводившаяся теперь, собственно, даже не столько к вопросу о том, Пушкиным или кем-либо другим писана была «Гавриилиада», сколько к тому, действительно ли Пушкин признался в своем авторстве государю, продолжалась некоторое время, плодила новые догадки,¹³ обростала новыми слухами и легендами, критика которых становилась все более затруднительной благодаря их обилию и зачастую чисто обывательской мотивировке. Имели место также рецидивы раздраженных нападок на исследователей Пушкина за обсуждение и популяризацию его

⁹ См.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1958, т. III, с. 132; Русский вестник, 1906, кн. 7, с. 260—264, 362—363.

¹⁰ Стародум Н. Я. Журнальное обозрение, III. — Русский вестник, 1903, кн. 8, с. 707—719.

¹¹ Барсуков Н. По поводу заметки В. Я. Брюсова. — Русский вестник, 1903, кн. 7, с. 268—270.

¹² Каллаш В. В. «Спор, уж взвешенный судьбою» (об авторе «Гавриилиады»). — Русская мысль, 1903, № 12, отд. II, с. 153—160.

¹³ См., например, статью Е. Мумшгорского «Кто автор Гавриилиады» (Новое время, 1903, № 9924 от 17 октября); В. В. Каллаш в уже цитированной выше статье «Спор, уж взвешенный судьбою» (об авторе «Гавриилиады») ссылался на «последние газетные известия», будучи рукою «Гавриилиады» «находится среди припадающих публичной библиотеке бумаг Державина, умершего в 1816 г.», и, кроме того, выступал со следующим малообоснованным предположением: «Возможно, что кроме „Гавриилиады“, приписываемой Пушкину, найдется другая, кн. Горчакова, и что в первую попали отрывки из второй» (с. 158), и т. д.

«Гавриилиады» в стиле обвинений Н. Я. Стародума-Стечькина по адресу В. Брюсова. Документы о распространении этой поэмы, время от времени появлявшиеся в печати, освещавшие всю эту старую историю или обновлявшие интерес к ней читателей, неожиданно всплывали на поверхность вплоть до недавнего времени,¹⁴ впрочем, большею частью мало способствуя прояснению истины.

Несмотря на грубые окрики в печати, В. Брюсов продолжал свои занятия «Гавриилиадой» и в 1908 г. по приглашению С. А. Венгерова напечатал во II томе редактированных им «Сочинений» Пушкина (изд. Брокгауз—Ефрон) статью о «Гавриилиаде» (в отделе «Примечаний» к стихотворениям 1822 г.).¹⁵ Именно эту статью В. Брюсов и воспроизвел с поправками десятилетиями позже во введении к упомянутому выше полному тексту «Гавриилиады» (изд. «Альциона»). Как мы знаем теперь, В. Брюсову принадлежит также предпосланное этой книге предисловие «От издательства» (рукопись данного предисловия сохранилась в архиве В. Брюсова).¹⁶

¹⁴ См.: Щеглов В. Новые документы о Гавриилиаде: (Из архива собств. его имп. вел. канцелярии). — Старина и новизна. СПб., 1909, кн. XI, с. 1—2; Переписка по делу о возвращении шт-кап. Митковым своих дворовых людей в понятия христианской религии чтением рукописного стихотворения «Гавриилиада». — Старина и новизна. СПб., 1911, кн. XV, с. 184—213. — Одной из наиболее интересных документальных находок нашего времени, связанных с «Гавриилиадой», было обнаруженное в бумагах С. А. Соболевского письмо к нему товарища по петербургскому пансиону при педагогическом институте С. С. Петровского (см.: Русская старина, 1874, № 4, с. 724); в этом письме из Петербурга (от 12 июля 1822 г.) Петровский среди других новостей (в частности, о выходе «Кавказского плешника») сообщал: «Написана А. Пушкиным поэма Гавриилиада или любовь арх[ангела] Гавриила с Девой Марией. Он [Пушкин] тот же. Ежели достану, пришлю к тебе» ((Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому, с. 175); вторично, без ссылок на первую публикацию, эта выдержка из письма С. С. Петровского напечатана также в «Литературном наследстве» (1934, т. 16—18, с. 728)); это самое раннее из дошедших до нас свидетельств о принадлежности «Гавриилиады» перу Пушкина, о дате ее написания и, может быть, о ее первоначальном заглавии. — Сравнительно недавно вновь вспомнили о хранящемся в Центральном архиве Москвы с 1845 г. так называемом «письме Пушкина к Николаю I от 2 октября 1828 г.» с признанием относительно «Гавриилиады» (см. заметку С. Феклистова «Письмо писал Пушкин!» — «Комсомольская правда», 1966, 12 февраля); впрочем, оно давно уже признано подложным; специальная криминалистико-графологическая экспертиза этого документа, произведенная в Москве в 1957 г., выявила, что это письмо является неумелой, хотя и старательной подделкой. См. заметку: Белкин Р., Миньковский Г. Искусство раскрытия тайны. — Техника молодежи, 1957, № 12, с. 32, — а также подборку документов об этой фальсификации в Рукописном отделе ИРЛИ (ф. 244, оп. 15, № 35).

¹⁵ Пушкин. Сочинения / Ред. С. А. Венгерова. СПб., 1908, т. II, с. 602—606.

¹⁶ Эта статья вошла в кн.: Брюсов В. Мой Пушкин. М.; Л., 1928, с. 45—55, и перепечатана (с комментариями) в кн.: Брюсов В. Избр. соч. М., 1955, т. II, с. 409—420 (под статьей выставлены даты: 1908, 1918) и примечания (с. 618—619).

Защита Брюсовым «Гавриилиады» как художественного произведения и обоснование им прав этой поэмы на печатное воспроизведение и распространение, как видим, были в 1918 г. существенными и необходимыми. В настоящее время представляется странным и маловероятным то поистине яростное сопротивление, которым эти попытки были встречены. В. Брюсов полагал, что к поэме нельзя подходить как к произведению скабрёзного жанра, и стремился особенно подчеркнуть ее художественные достоинства. В. Брюсов писал: «Н. Огарев, первый издатель „Гавриилиады“, признает ее язык и форму „безукоризненно изящными“, хотя „содержание ее проникнуто религиозным и политическим вольномыслием“. Можно соглашаться и не соглашаться с выводами Н. Огарева, но уже самый факт, что они были высказаны таким чутким и авторитетным критиком, обязывает всех, изучающих Пушкина, ознакомиться с „Гавриилиадой“... Закрывать на нее глаза, — продолжал В. Брюсов далее, — значит сознательно отбросить важный этап в творчестве великого поэта. Сам Пушкин позднее, как говорят, отрекался от „Гавриилиады“, не терпел даже упоминания в своем присутствии об этой поэме. Но, во-первых, такие свидетельства еще требуют проверки, а во-вторых, поэт, создавший художественное произведение, как бы теряет свои права над ним: оно принадлежит уже всему человечеству».¹⁷ Последнее утверждение В. Брюсов подкреплял ссылками на то, что Гоголь хотел уничтожить «Вечера на хуторе близ Диканьки», что Тассо искажал переделками «Освобожденный Иерусалим», что Боттичелли в старости порывался уничтожить все свои лучшие картины, но что потомство не утвердило все эти приговоры.

«Гавриилиада» в издании В. Брюсова 1918 г. вызвала несколько печатных откликов. Библиографический указатель Л. М. Добровольского и Н. И. Мордовченко называет статьи Б. В. Томашевского, Н. Лернера, И. А. Линниченко и автора статьи, перепечатанной ниже.¹⁸ Во всех этих статьях есть кое-что общее, несмотря на то что они появились одновременно в разных городах. «„Гавриилиада“ понаслышке известна всем, но немногие читали ее, — писал, например, Б. Томашевский, приветствуя выход этого издания. — Хотя за ней установилась репутация порнографической поэмы, но именно любители этого подпольного жанра... ни стиха не знают из нее. Это потому, что на самом деле в ней нет порнографии, а есть эротика и так называемый кощунственный элемент, т. е. сатира в области религиозной. Образцы ее Пушкин заимствовал во Франции, именно в поэме „Война богов“ Эвариста Парни, написанной при директории и поныне популярной и распространенной в дешевых изданиях во Франции, несмотря на то что и эротический и кощунственный

¹⁷ Брюсов В. Избр. соч., т. II, с. 618.

¹⁸ Добровольский Л. М., Мордовченко Н. И. Библиография произведений А. С. Пушкина..., ч. I, с. 109.

элементы в ней гораздо сильнее, чем в „Гавриилиаде“. Но свобода, никого не смущающая во Франции («Война богов» продается за десять сантимов), до сих пор не по плечу русскому, привыкшему к наставительной опеке начальства». ¹⁹ О поэмах Парни как о важнейшем источнике «Гавриилиады» говорилось во всех первых откликах на издание В. Брюсова, и это вполне понятно; говорить в русской печати о таких произведениях Парни, как «Война богов», в которой французский поэт пародировал Библию и даже католические молитвы, было до 1918 г. столь же трудно, как и цитировать или анализировать «Гавриилиаду». Как известно, пародические поэмы Парни при своем появлении также вызвали в европейских литературах бурную реакцию, особенно в католических странах, но затем отношение к ним сделалось равнодушным и безразличным, когда они отжили свой век. ²⁰ Аналогичная судьба предстояла и пушкинской «Гавриилиаде». Параллели между ней и поэмами Парни напрашивались сами собой. ²¹ Предстояло также на первых порах после ее опубликования определить то историческое место, которое «Гавриилиаде» подлежало занять в ближайших к ней по времени рядах произведений русской и западноевропейских литератур. Этому в первую очередь и были посвящены вызванные изданием В. Брюсова статьи о «Гавриилиаде» конца 1918 и начала 1919 г.

¹⁹ Б. Т. [Томашевский] Почтово-телеграфный журнал, 1918, № 5—6—7—8 (май), с. 250—253. — О принадлежности этой рецензии на издание Брюсова Б. В. Томашевскому см., помимо указанной библиографии, также список его печатных трудов в сб.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960, т. III, с. 26. — Стопт отметил, что в примечаниях к списку «Гавриилиады», принадлежавшему М. Н. Лонгинову, говорилось, что «масса читателей лишена целой поэмы Пушкина, хотя и навеянной посторонним влиянием преимущественно Парни в его поэмах „La guerre des Dieux“ и „Les galanteries de La Bible“ («Галантные эпизоды Библии»), но не менее того исполненной красот».

²⁰ В первый раз одна из указанных поэм Парни в русском стихотворном переводе В. Г. Дмитриева появилась в серии «Литературные памятники»: Парни Эварист. Война богов: Поэма в десяти песнях. Л., 1970.

²¹ Несколько текстуальных сопоставлений «Гавриилиады» с поэмами Парни сделано было в анонимной статье 1916 г. «Заметки на полях», напечатанной в кн.: Пушкин и его современники. Л., 1927, вып. XXXI—XXXII, с. 68—70. — Впоследствии эта зависимость была, однако, забыта довольно прочно; о ней напомнила заново статья Л. Вольперт, впрочем, не ориентировавшаяся на ей предшествовавшие, — «О литературных истоках „Гавриилиады“» (Русская литература, 1966, № 3, с. 95—103). Отметим, кстати, что цитируемый в нижеследующей статье (с. 306) отрывок «К Х...» взят был из «Собрания запрещенных стихотворений А. С. Пушкина», изданных Э. Л. Каспровичем в Лейпциге (1873). Ныне этот отрывок печатается в академическом издании (III, 45) с заголовком «К **», так как адресат этого послания считается ныне не установленным. В дореволюционных изданиях (например, в изд. П. А. Ефремова — т. 2, СПб., 1880, с. 167) это послание имело заглавие «Княжне Хованской». Кроме того, произвольно датировавшееся то 1823, то 1824 г. послание «Ты богоматерь, нет сомненья» относится в настоящее время к стихотворениям Пушкина 1826 г.

Издание «Гавриилиады», выпущенное Б. В. Томашевским²² несколько лет спустя, снабжено было, помимо текстологического, также обширным историко-литературным комментарием, в котором, в частности, уделено было внимание сюжету поэмы, ее жанровому своеобразию и предполагаемым источникам. Последние, впрочем, были определены довольно суммарно и неточно, что и вызвало возражения С. Я. Лурье в его статье «„Гавриилиада“ Пушкина и апокрифические евангелия (к вопросу об источниках «Гавриилиады»)», напечатанной в 1926 г.²³

Наша статья (воспроизводимая ниже) под заглавием «Мелкие заметки к „Гавриилиаде“» была опубликована ранее (1925) и, в свою очередь являясь критическим разбором соответствующего раздела комментария в издании Б. В. Томашевского — о сюжете поэмы и его источниках, представляла читателям кое-какие соображения и дополнения по этому вопросу. С данной статьей С. Я. Лурье, по его собственному заявлению, смог ознакомиться «лишь по напечатании» его работы; несколько цитат из нашей статьи он успел привести лишь в «примечаниях», опубликованных в сборнике на последних листах книги.²⁴ Следовательно, обе названные статьи, С. Я. Лурье и наша, в которых приводятся замечания, вызванные одновременным, параллельным чтением раздела о «сюжете» «Гавриилиады» в комментарии Б. В. Томашевского, не совпадают, но друг друга пополняют. На этот раз, впервые устанавливая несомненную связь кощунственного замысла Пушкина с его протестом против широкого распространения в России мистицизма, господствовавшего в придворных кругах Петербурга и достигавшего даже отдаленного Кишинева, Б. В. Томашевский предпринял попытку возвести сюжет «Гавриилиады» не столько к поэмам Парни, сколько к апокрифическим евангелиям. С. Я. Лурье в названной статье писал по поводу комментария Б. В. Томашевского: «Придя ко вполне правильному и неопровержимому выводу, что источником „Гавриилиады“ были не западноевропейские пародические поэмы, а только евангельские апокрифы, он тут же аподиктически заявляет (с. 57): „Основным источником этих сведений являются Протоевангелие Якова и Псевдоевангелие Матфея“. Доказательство этого заявления он видит в том, что „сюжетные мотивы“ „Гавриилиады“ полностью содержатся в (этих следовательно) апокрифах. Между тем, в то время как действительно все мотивы „Гавриилиады“ можно найти расплывчатыми в апокрифической, рашехри-

²² См. выше, с. 296, примеч. 6; точное библиографическое описание двух изданий этой книги, вышедших в одном году, и перечень печатных отзывов об этой книге см.: Добровольский Л. М., Мордовченко Н. И. Библиография произведений А. С. Пушкина..., ч. I, с. 18 (№ 27) и с. 117 (№ 286).

²³ Пушкин в мировой литературе: Сборник статей. Л., 1926, с. 1—10.

²⁴ Там же, с. 345.

стиапской церковной и так или иначе связанной с ней литературе, в указанных Томашевским апокрифах имеются только две черты пушкинской фабулы и те — в рудиментарном виде <...> Любопытно, — пишет С. Я. Лурье далее, — что, как указывает сам же Томашевский, в книге апокрифов, находившейся в библиотеке Пушкина, этих указанных Томашевским апокрифов не было, и, следовательно, „Пушкин читал не подлинные тексты апокрифов, а какие-то (нам неизвестные!) изложения их“ (с. 38). Итак, уже Томашевский вплотную подошел к вопросу о существовании какого-то не использованного наукой источника нашей поэмы». ²⁵

Исходя отсюда, С. Я. Лурье и поставил своей задачей если не найти и указать этот источник, то по крайней мере установить направление, в котором должны вестись его поиски. «Если мы допустим, — пишет он, — что источником Пушкина была известная нам апокрифическая и церковная литература, то, ввиду того что заимствованные Пушкиным черты разбросаны по различным сочинениям, пришлось бы сделать невозможное предположение, что он, прежде чем сесть за „Гавриилиаду“, произвел огромную филологическую работу. Поэтому допущение, что в руках Пушкина был какой-то чрезвычайно любопытный и научно-ценный апокриф, неизвестный нынешним западноевропейским историкам христианства, становится почти что единственно возможным». ²⁶

Широко осведомленный в древнегреческой, древнеегипетской, раннехристианской литературе, С. Я. Лурье привел в своей статье весьма интересные сюжетные параллели из древних разноречивых источников и пришел к выводу, что Пушкин изложил какую-то очень древнюю по своему содержанию версию о благовещении, до нас, однако, не дошедшую: «Пушкину, — по его словам, — по-видимому, удалось натолкнуться на любопытный памятник, примыкающий к этой старой традиции, и было бы праздником для нынешней исторической науки, если бы попытки отыскать бывший в распоряжении Пушкина источник „Гавриилиады“ увенчались успехом». ²⁷ В заключение, ссылаясь на слова самого Пушкина в тексте поэмы («Но говорит армянское преданье...»), а также и на мою статью, в которой обращено внимание на это интригующее свидетельство поэта, С. Я. Лурье утверждает: «Очевидно, „армянское преданье“ далеко не простая фикция». ²⁸

²⁵ Там же, с. 1.

²⁶ Там же, с. 2.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же, с. 10, 348 (Примечания). — И. Г. Франк-Каменский в статье «Разлука как метафора смерти в мифе и в поэзии» (Изв. Академии наук СССР, ООН, 1935, № 2, с. 161—162), указывая параллель к «Гавриилиаде» в древнеиндийской литературе, утверждает, с нашей точки зрения, несколько преждевременно: «Можно считать установленным, что „армянское преданье“, — в прямом или переносном смысле, — на которое ссылается Пушкин, является отголоском более древней версии „благовещения“, дошедшей до нас в апокрифических евангелиях»; тот же иссле-

Такое преданье не указано и доныне, и вообще весь накопленный материал об источниках сюжета «Гаврииллады» до настоящего времени не подвергся еще надлежащему, углубленному сравнительно-историческому исследованию.

Вопрос о загадочном «армянском преданье», на которое сослался Пушкин, был, вероятно, единственной общей темой, которой посвящено было несколько слов как в статьях С. Я. Лурье, так и в моих «Мелких заметках о Гавриилладе». В остальном — и по данным, извлеченным из памятников письменности и фольклора, и по сделанным из них выводам, — в обоих указанных статьях обнаруживались существенные расхождения. В отличие от С. Я. Лурье я не настаивал на том, что Пушкин должен был располагать каким-то неизвестным нам апокрифическим текстом о благовещении (или его устным пересказом), хотя такой текст, вероятно, мог иметь хождение в разропленном и разноязычном Кишиневе. В противоречии с мнением С. Я. Лурье, возражавшим против допущения, «что Пушкин собирал свой материал из различных источников, реконструируя по рудиментам первоначальную форму рассказа», и следовательно, против контаминации в тексте своей поэмы нескольких источников разного рода, я полагал, что процесс творчества Пушкина и на этот раз должен был быть совершенно иным. Пушкину, как известно, достаточно было беглого намека, отрывка случайно услышанной фразы, чтобы они запомнились прочно и чтобы из них могло вырасти, притом с чудодейственной быстротой, целое самостоятельное произведение, в котором сплетались воедино другие данные и сообщения, услышанные или прочитанные еще ранее. Нельзя также не учесть то обстоятельство, что сколько бы неожиданных аналогий с сюжетом «Гаврииллады» ни открывали нам древнеегипетские сказания об Изиде или коптские апокрифические тексты о христианской богородице и т. д., известные специалистам-филологам в наше время, но до Пушкина они могли дойти с гораздо большим трудом, чем современные ему книги на западноевропейских языках, где также можно обнаружить еще не отмеченные пушкиноведами, но достойные внимания аналогии к замыслу интересующей нас пушкинской поэмы. Поэтому дальнейшие поиски возможных, но еще не называвшихся источников «Гаврииллады» или творческих импульсов к работе над нею в западноевропейских литературах XVIII и начала XIX в. и более раннего времени, с нашей точки зрения, очень желательны.

дователь ссылается на «раннехристианские воззрения, отождествляющие архангела Гавриила с Логосом, который является одновременно супругом и сыном Марии. В египетской мифологии, как и в раннехристианских воззрениях, мотив „благовещения“ совпадает с „зачатием“. В мифе о рождении фараона солнечный бог в образе земного царя сочетается с царицей и, открыв ей божественную природу, одновременно возвещает ей предстоящее рождение. . . Здесь фараон мыслится как инкарнация солнечного бога, являющегося одновременно супругом и сыном небесной богини, образ которой перенесен на царицу».

В интересах будущих исследований укажу здесь лишь несколько параллелей к сюжетным мотивам «Гавриилиады», не приводившихся в моей, воспроизводимой ниже статье 1925 г., которая перепечатывается в данном сборнике без дополнений, по соображениям, высказанным выше.

Возможно, например, что стоило бы в поисках этих параллелей обследовать — тщательнее и полнее, чем это было сделано ранее, — широко разветвленную генеалогию сюжета новеллы Боккаччо из «Декамерона» о мнимом архангеле Гаврииле и об инсценированном им благовещении (вторая новелла четвертого дня). Эта новелла названа в нашей статье только попутно. Между тем во множестве вариантов, переделок и применений этот сюжет обошел все важнейшие литературы мира. Исследователи Боккаччо уже с давних пор одним из первоисточников указанной новеллы «Декамерона» считали рассказ о жреце Нектанебе и об обманутой им Олимпии из Псевдо-Каллисфеновой книги сказаний об Александре Македонском: Нектанеб появляется перед Олимпией в храме под видом божества.²⁹ Другие сравнивали новеллу Боккаччо со сходным рассказом Иосифа Флавия о плутнях жреца храма Изиды, играющего роль пособника римского патриция — обманщика и обольстителя набожной матроны под видом вселившегося в него божества. Прозаические трактаты Боккаччо о «Знаменитых мужах» и «Достославных женщинах» свидетельствуют, что обе указанные истории были ему хорошо известны и могли оказать воздействие на его новеллу о псевдоархангеле Гаврииле.³⁰

Древнеиндийский сказочный сюжет из «Панчатантры», озаглавленный в издании Т. Бенфея «Ткач в роли Вишну»,³¹ находится в родстве с рассказом Псевдо-Каллисфена. Эта индийская сказка полна задорного веселья: влюбившийся ткач в очень сходной ситуации так хорошо играет роль бога Вишну, что сам Вишну, чтобы поддержать свою репутацию, чувствует себя вынужденным воплотиться в тело обманщика и сотворить настоящее чудо.³²

Новелла Боккаччо породила множество откликов и подражаний; не всегда легко установить, восходят ли они к рассказу о плутнях брата Альберто или к источникам самого Боккаччо,

²⁹ Weinreich Otto. Der Trug des Nectanebos. Leipzig, 1911.

³⁰ Landau Marcus. Die Quellen des «Decameron». 2te Aufl. Stuttgart, 1884, S. 299.

³¹ Benfey Theodor. Panchatantra, Fünf Bücher indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen. Leipzig, 1859, Th. II, S. 48—56. — Комментарии Ф. Либрехта в переизданиях этой классической книги Бенфея содержат в себе много параллелей к этому сюжету в европейских литературах.

³² Landau Marcus. Die Quellen des «Decameron», S. 295. — Автор приводит ряд западноевропейских рассказов из Сульпиция Севера, Цезаря Гейстербахского и т. д. о христианских обманщиках-священнослужителях, которым удавалось совершать чудеса не столько благодаря их ловкости, сколько потому, что должны были получить заслуженную награду чисто-сердечно относившиеся к ним верующие.

такой устойчивой в мировой литературе становится сюжетная схема о ложном благовещении. Можно назвать здесь повеллу Маууччо «Пятый евангелист» («Il quinto evangelista» в его «Il Novellino», 1476), известность которой усилилась в конце XVIII в. благодаря ее стихотворной обработке Джамбаттиста Касты (в его «Nouvelle galanti», 1793).³³ Во Франции рассказ о ложном благовещении законченную сюжетную форму обрел уже в рассказе, включенном в «Сто новых новелл» («Cent nouvelles nouvelles») Антуана де ла Сая (1388—1464), где он помещен под № 14 и озаглавлен «Делатель папы или священнослужитель» («Le faiseur du Pape ou l'homme de Dieu»): здесь рассказывается о пройдохе из Бургундии, ловко обманувшем простодушную вдову, в хорошенькую дочку которой он влюбился. Глухой ночной порой он является к дому вдовы, с помощью длинной трости устраивает благовест в колокол на ближайшей звоннице, сам же в длинной и витиеватой речи объявляет себя ангелом, посланным от бога: «Слушай меня, — говорит он изумленной вдове, — я ангел божий, которого Творец направил меня возвестить тебе о твоей дочери... (Escoute moy, femme de Dieu, je suis un angel du Createur qui devers toy m'envoye toy annoncer et commender... etc.). Когда твоя дочь, — объявляет он далее, — побывает у святого отшельника, она зачнет сына, избранника божия, который со временем сделается папой и прославит церковь как новый апостол Петр или Павел». Комизм этого рассказа усугубляется тем, что обманщик, перерядившись в святого отшельника, из хитрости не сразу соглашается принять у себя дочь вдовы, явившейся к нему с рассказом о полученном от ангела благовестии: мнимый отшельник предостерегает ее — не козни ли это дьявола? Лишь на третий раз соглашается он выполнить свое предпазачение. Когда в положенный срок у избранницы рождается не обещанный мальчик, а девочка, отшельник скрывается. Эту новеллу положил в основу своей стихотворной обработки Лафонтен, в «сказках» которого она озаглавлена «Отшельник» («L'Ermite», 1667).³⁴ И на этот раз вполне вероятно, что ее текст был известен Пушкину.

Существует также много непосредственных переработок указанной выше повеллы Боккаччо; между прочим, заинтересовавшийся ею Вольтер создал ее продолжение в виде небольшого стихотворного рассказа «Гертруда, или Воспитание девушки» («Gertude ou l'éducation d'une fille»), и это произведение в свою очередь было подвергнуто дальнейшим обработкам; Лессинг в «Гамбургской драматургии» (Stück X) назвал его «одной из тех по-

³³ Не лишено вероятности, что Пушкину был известен этот сборник «Галантных новелл», поскольку он хорошо знал о Касте, о его приезде в Россию при Екатерине II и сатирической поэме его «Il poema Tartaro» (1787), в которой был изображен петербургский двор; Пушкин знал также людей, которые были лично знакомы с Кастой (например, Н. Б. Юсупова), и неоднократно упоминал этого итальянского поэта (см.: III, 219, 816, 817; XI, 98, 156, 371).

³⁴ Lafontaine J. de. Contes / Ed. Regnier. Paris, 1882, vol. IV, p. 453.

учительных сказок, которыми мудрая старость божественного Вольтера одаривала молодое поколение», а Фавар превратил ее в веселую одноактную комедию («Isabelle et Gertrude ou les Sylphes supposées», 1765).

Сюжет о ложном благовестии встречается также в фациях и шванках, попал он и в славянские народные рассказы — южно-славянские³⁵ и украинские. Относительно последних можно считать установленным, что их пустил в оборот в пародную среду в XVII в. известный проповедник Иоанникий Галятовский своим сочинением «Мессия Праведный» (1669), где мы находим этот же анекдот со ссылкой на источник, откуда он его взял («Цезарий в книге 2 Диалогов своих о скрусе, в главе 25 до Аполлония») — «Dialogus miraculorum» Цезария Гейстербахского; запись устного пересказа этого анекдота о ложном Мессии, оказавшемся девочкой, находим у П. Чубинского.³⁶ Поздняя обработка сюжета в варианте, который находится в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия, принадлежит еще исторической повести Н. С. Лескова «Оскорбленная Нетэта».³⁷

Мы опускаем перечисление различных обработок этого сюжета, существовавших в английской литературе, — начиная с той, которая включена в латинскую поэму «Исповедь влюбленного» (Confessio amantis) современника Чосера, Джона Гауэра, поскольку обо всех этих произведениях Пушкин едва ли мог знать что-либо.³⁸ Тем не менее подчеркнем, что некоторые из этих сюжетов заимствованы были английской литературе XIX в. эпохой Просвещения и порою давали себя знать, в том или ином облике, в первые два десятилетия этого века. Так, норичский литератор Вильям Тейлор (1765—1836), являвшийся видным переводчиком

³⁵ Anthropophyteya... hrsg. von dr. F. S. Krauss. Leipzig, 1904, Bd I, S. 307.

³⁶ М. Марковский в статье «Бродячий анекдот в малорусской народной словесности» (Киевская старина, 1895, № 12, с. 94—96) приводит рассказ, записанный П. П. Чубинским, сопровождаая его ссылками на другие варианты в различных европейских сказочных сборниках.

³⁷ См.: Невский альманах. Пб., 1917, с. 145—186. — Повесть Н. С. Лескова осталась неоконченной. Во вступительной заметке А. Измайлов пишет, что Лесков был «захвачен несколькими страницами превосходного по своей сжатости рассказа» Иосифа Флавия «о проделке жрецов храма Изида в Риме во времена Тиберия, жертвою которой явилась благородная матрона, ставшая наложницей распущенного патриция, вошедшего к ней под маскою бога Ануписа» (с. 138).

³⁸ В 1732 г. Филдинг написал комедию «Распутники, или Пойманный иезуит» («The Old Debauchees, or the Jesuit Caught»), в основу которой он положил историю, обошедшую все газеты того времени, — о соращении в Тулоне иезуитом Жераром монахини-урсулини Екатерины Кадьер. Но Филдинг не только придал образу священника-иезуита в своей пьесе черты мольеровского Тартюфа; он воспользовался также старым сюжетом об «обмане Нектанеба», но дал ему здесь своеобразное применение. Чтобы вывести иезуита на чистую воду, сама намеченная им жертва, оказавшаяся умною и расторопной девушкой, инсценирует тайное свидание со священником, и его планы разоблачают спрятанные в комнате друзья и родственники девушки (ср.: D u d d e n F. Homes. Henry Fielding: His Life, Works and Times. Oxford, 1952, vol. I, p. 107—108).

и популяризатором в Англии немецкой литературы, имел, между прочим, также репутацию крайнего «безбожника», порою весьма шокировавшего его сограждан; по свидетельствам современников, он, например, «утверждал, что Дева Марья, вероятно, была обольщена сторожем иерусалимского храма по имени Гавриил; при этом он утверждал, что такова была „теория“, автором которой он, однако, не являлся».³⁹ Возможно, что Тейлор имел в виду дошедшие до него тем или иным путем отзвуки тех анекдотических интерпретаций легендарных библейских мотивов, о которых рассуждал еще Вольтер. Но как раз в начале века в Англии возник новый интерес к критике текста библейских книг, а также к ветхозаветным и новозаветным апокрифам, что оказало сильное воздействие на «мистерии» Байрона и восточные поэмы Томаса Мура.

Напомним в связи с этим, что Байрон прекрасно знал Библию⁴⁰ и что он имел к ней живой интерес как к художественному памятнику. Это в полной мере сказалось также на таких его лирических драмах — «мистериях», как «Каин» (1821) и «Небо и земля» (1822); их «богоборческие» мотивы приводили в смятение клерикальные круги и реакционную прессу не в одной лишь Англии; эти произведения были запрещены и в России для перевода как произведения богохульные и еретические.⁴¹ В особенности предосудительным казалось смешение здесь эротических мотивов и преданий, освященных церковью, что частично объяснялось интересом Байрона и его современников именно в апокрифической литературе. Так, сюжет мистерии Байрона «Небо и земля» основан на библейской «Книге бытия», в частности на ее шестой главе, где находится известное место, дававшее повод к теологическим спорам и кривотолкам. Начало этой главы в русском переводе читается так: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Но Байрон, как это было давно установлено, пользовался и апокрифической «Книгой Епоха»: в пей также идет речь об ангелах — «сынах неба», которые, увидев прекрасных дочерей земли, почувствовали к ним страстное влечение и звали друг

³⁹ См.: Fréchet René. George Borrow. Paris, 1956, p. 33.

⁴⁰ См. кн.: Pönitz Arthur. Byron und die Bibel. Diss. Leipzig, 1906, — в которой весьма тщательно собраны и систематизированы цитаты из Библии и намеки на нее во всех писаниях Байрона; полученный результат оказался весьма внушительным.

⁴¹ Еще в мае 1829 г. петербургский комитет цензуры иностранной, заново обследовав тексты произведений Байрона, «или в целом составе исполненных неуважения к благочестию и нравственности или только отчасти содержащих в себе места предосудительные», обратил особое внимание на мистерию «Небо и земля», в которой представлены «любвные свидания ангелов с девами земными»; главным же ее предметом, по словам цензора, является «изображение всеобщего разврата, ожесточения и ропота кичливых злочестивцев, в духе коих выражается сын Ноев — Иафет, имеющий соперником в любви одного из ангелов» (см.: Оксман Ю. Г. Борьба с Байроном в александровскую и николаевскую эпоху. — Начала, 1922, № 2, с. 260).

друга спуститься на землю и сочетаться с ними браком. «И вот случилось, — говорится здесь, — когда дети человеческие умножились в те дни, то прекрасные и благообразные дочери родились у них. И ангелы, сыны небес, видели их и вожделели по ним, и сказал один другому: пойдем, изберем себе жен среди детей человеческих и произведем детей». Обе приведенные цитаты из «Книги бытия» (VI, 2, 4) и апокрифической «Книги Еноха» (гл. 7), в сопоставлении или каждая в отдельности, как раз в начале 20-х годов подвергались широкому обсуждению и спорам.⁴² Тем же источникам воспользовались также Томас Дейл для своей поэмы «Irad and Adah, a tale of the flood» (1822),⁴³ Томас Мур в поэме «Любовь ангелов» (1823) и другие литераторы. Томас Мур снабдил свою поэму весьма учеными примечаниями; первое из них походит на теологический трактат (это примечание имеет и особое заглавие: «Об ошибочном переводе 70-ю толковниками шестой главы „Книги Бытия“»), в котором поэт ссылается на множество раппехристианских писателей — Филона, Климента Александрийского, Тертуллиана, Лактанция, Диона Хризостома и других, чтобы показать, как понимали они спорное место библейского рассказа об «ангелах» или «сынах».⁴⁴ И в самом деле, указанная выше цитата была камнем преткновения для комментаторов Библии не только во время Байрона и Мура, но и значительно позже.⁴⁵

Приведенные факты свидетельствуют, что в английской литературе интерес к библейским апокрифическим текстам весьма

⁴² Отрывок из «Книги Еноха», сохранный византийским писателем VIII в. Георгием Синкеллом, был издан И. Скалигером в 1606 г.; английский перевод части фрагмента под характерным заглавием «The History of the Angels and their Gallantry with the Daughters of Men» был издан в Оксфорде в 1715 г. и, может быть, стал известен Байрону. Полностью вся «Книга Еноха» найдена была в 1786 г.; в 1821 г. Ричард Лоуренс (R. Lawrence) издал ее полный английский перевод, привлекая к себе внимание всей западноевропейской печати. См.: Byron: Works, Poetry / Ed. E. H. Coleridge. London, 1901, vol. V, p. 302.

⁴³ О поэме Т. Дейла (Dale, 1798—1870) в связи с мистерией Байрона и «Книгой Еноха» см.: Maun G. Über Byron's «Heaven and Earth». Diss. Breslau, 1887, S. 47—54. — Енох считался «сыном Аредовым». Можно сослаться также на поэму Джеймса Монтгомери «Мир до потопа» («The World before the Flood», 1813, 6-е издание — 1823 г.), написанной под воздействием Мильтона и повествующей о потомстве Адама и Каина.

⁴⁴ В апокрифической литературе сообщались сведения, из которых следовало, что под «сынами божьими» подразумевались «сыны Сифа», бравшие себе в жены дочерей из потомства Каина; частично эти сказания проникли и на славянскую почву, см.: Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872, с. 28; Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб., 1881, кн. IV (Примечания и дополнения), с. 541—542.

⁴⁵ См., например: Oswald J. H. Angelologie. 2-te Aufl. Paderborn, 1889, S. 28, 91. — Богословское исследование дерптского профессора Курца «О браках сыновей божьих с дочерьми людей» (Kurtz J. H. Die Ehen den Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen. — Theologische Untersuchung über Gen 6, 1—4. Berlin, 1857) высмеял А. И. Герцен в «Колоколе» в 1860 г. (Герцен А. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1950, т. XIV, с. 228, 532).

оживился именно в начале 1820-х гг., т. е. в то время, когда создавалась «Гавриилиада» Пушкина.

Стоит отметить, что в это же самое время в английской демократической печати появилось множество антирелигиозных пародий и сатирических памфлетов. Нет ничего невероятного в том, что о некоторых этих изданиях мог слышать и Пушкин, писавший позднее: «Англия есть отечество карикатуры и пародии. Всякое замечательное происшествие подаст повод к сатирической картинке: всякое сочинение, ознаменованное успехом, подпадет под пародию» (XI, 118, 544). Напомним также, что приятель Пушкина, Николай Иванович Кривцов, причисленный в 1818 г. к русскому посольству в Лондоне, имел репутацию атеиста; А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому (28 августа 1818 г.), что «Кривцов не перестает развращать Пушкина и из Лондона прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии!».⁴⁶ Какие именно стихи Н. И. Кривцов прислал Пушкину из Лондона, мы не знаем; нам, однако, известно, что выбор «безбожных» произведений на английском книжном рынке этого времени был действительно очень богатым.⁴⁷ Широкую известность своими пародиями на религиозные тексты приобрел тогда в английских демократических кругах В. Хон; уже в 1817 г. против Хона начались судебные преследования по обвинению в богохульстве; два года спустя в одном из реакционных памфлетов, направленных против Хона, о его сатирах говорилось как об «отвратительных извращениях Библии», «имеющих целью разжечь страсти ослепленных фанатиков» и получивших «большое распространение». В 1820 г. В. Хон опубликовал в Лондоне «Апокрифический Новый Завет».⁴⁸

Все вышеприведенные данные дают нам право признать, что изучение сюжетных аналогий к пушкинской «Гавриилиаде» еще нельзя считать завершенным вполне и что оно может быть продолжено.

I

По поводу издания В. Брюсова

1

Отмена некоторых цензурных стеснений позволила издать одно за другим несколько произведений, связанных между собой

⁴⁶ Остафьевский архив, т. I. СПб., 1899, с. 117.

⁴⁷ Об антицерковных пародиях в Англии см.: Kitchin G. A survey of burlesque and parody in English. Edinburgh; London, 1931, p. 196, 262—264; Николюкин А. Н. Массовая поэзия в Англии конца XVIII—начала XIX в. М., 1961, с. 153—154.

⁴⁸ Ковальницкая О. В. Из истории английской демократической сатиры конца XVIII—начала XIX в. — В кн.: Из истории демократической литературы в Англии XVIII—XIX вв. Л., 1955, с. 119.

если не общим характером и веселостью сюжета, то судьбой. Были пзданы «Опасный сосед» В. Л. Пушкина,¹ когда-то популярный в «арзамасской» среде, пленивший А. С. Пушкина живостью действия и чистотою речи и заслуживший лестные отзывы Батюшкова, Воейкова, Гпедича; «Поп», поэма И. С. Тургенева (М., 1917), долго приписываемая Лонгинову, и, наконец, «Гавриилиада» Пушкина, давно уже окруженная ореолом скверной славы и одинаково недоступная не только любителям «поэтических вольностей», но и большинству специалистов-пушкиповедов. Все эти «шалости пера» или «проказы резвой юности» были одинаково под запретом, хотя и давно перепечатывались за границей; в России же они ходили в рукописях, тщательно хранились в фамильных архивах или в пыли дедовских библиотек и были вечною и педоступною мечтою библиофилов. Своего восстановления ждут еще «юнкерские поэмы» Лермонтова, вроде «Уланши», «Петергофского праздника», «Сашки», впрочем, тоже уже напечатанные за границей в полном виде.² Историк литературы не вправе пренебрегать столь значительной группой давно «отверженных» произведений; вглядываясь в них пристально, он может заметить их внешнее и внутреннее родство, установить между ними преобладающую связь, подчас неумловимое сходство в трактовке сюжета или деталях стиля, в особенностях поэтической маперы, в фактуре стиха. Сравнительный анализ этих поэм мог бы быть во многих случаях бесполезным, а иногда и необходимым. Быть может, для произведений этого рода можно было бы даже говорить об особенностях традиции или установить целую школу рукописных поэм, столь распространенных в николаевскую пору благодаря строгостям «чопорной цензуры». Так, несомненно, детали связывают и названные здесь «вольные поэмы»: А. С. Пушкин от В. Л. Пушкина мог научиться «вольному рассказу» и занимательности сюжета. В «Попе» Тургенева не трудно видеть отзвуки Пушкина и Лермонтова; от первого Тургенев взял его «поэтическую прозрачность», от второго — резкие и сочные краски и саркастический тон в отступлениях.

Все изданные поэмы, помимо новизны, имеют еще и научное значение, но первое среди них принадлежит, конечно, пушкинской «Гавриилиаде». «Гавриилиада» особенно дорога нам не только потому, что она связана с именем Пушкина. Нужно быть окончательно предубежденным, чтобы отказать ей в прекрасном мастерстве. Но для нас «Гавриилиада» представляет нечто большее, чем одну лишь «прекрасную шалость», какою она была для кн. П. А. Вяземского и А. И. Тургенева; она помогает нам отчетливее оценить для Пушкина значение некоторых литературных образцов, дает нам представление о настроениях поэта в пору его ссылки; признание хотя бы этих фактов должно было разрушить предрассудок о ее ничтожном историко-литературном зна-

¹ Библиотека вольного слова. Пгр., 1917, № 3.

² Русский эрот. Не для дам. 1879.

чении; но достаточно оценить ее поэтические красоты — четкость образов, отделку стиха, чтобы предрассудок этот был бы отброшен как изжитый. Внешние достоинства поэмы бросались в глаза и тем, кто отрицательно относился к ее религиозному свободомыслию. Н. Огарев, первый издатель поэмы, указав на то, что ее содержание «проникнуто религиозным и политическим вольномыслием», признал ее «язык и форму» «бесконечно изящными». «Для нас, — пишет Огарев, — очень важна эта сторона неприличных стихотворений Пушкина; мы слишком неизбежно видим, как с отсутствием изящности форм в жизни на долю стихотворений неприличного содержания остается только неприличность и устраняется все изящное. „Гавриилиада“, принадлежащая к произведениям раннего возраста поэта, без сомнения отзывается влиянием Парни. Рассказ Сатаны о том, как и почему он научил Еву отведать запретного плода, и прилет голубя имеют всю силу и прелесть лучших позднейших произведений Пушкина». Несколькими строками далее Огарев добавляет: «Пушкин довел стихотворения эротического содержания до высокой художественности, где уже ни одна грубая черта не высказывается угловато и все облечено в поэтическую прозрачность». Этот отзыв бесспорно замечателен своей критической тонкостью, но он особенно любопытен в устах Огарева и объясняет многое в его отношениях к Пушкину. Сильно подчеркнутый религиозный момент личного творчества Огарева не допускал возможности его увлечения религиозным вольномыслием или мнимым либерализмом пушкинской поэмы. Но, издавая ее, Огарев подчеркивал это изящество формы и ее право на внимание именно с этой стороны.

В отношениях Огарева к Пушкину было нечто, напоминавшее отношения к Пушкину Лермонтова (ср., например, посвященные Пушкину строфы в «Юморе», так сильно напоминающие «Смерть поэта» Лермонтова), — преклонение перед мастерством, очарованность им и попытки подражания, несмотря на различие душевных организаций. Наконец, увлечение религиозным вольномыслием было в эпоху Огарева окончательно изжитым, по крайней мере в тех формах, какие оно приняло в «Гавриилиаде», да и сам Парни, служивший для русских писателей образцом в пору создания их поэм, был лишь последним и несколько запоздавшим отзвуком вольтеровского скептицизма. Таким образом, Огарев не мог опасаться, что издание поэмы принесет скверные плоды, но замечательно, что он оценил ее значение. «Гавриилиаду» Огарев мог знать от П. В. Анненкова, с которым он находился в дружеской переписке в пору работы Анненкова над Пушкиным; от него мог он получить и увлечение работой над изданием и комментированием поэта; на это есть и некоторые намеки в его письмах. Любопытно, что и П. В. Анненков, столь строгий в вопросах нравственности, так скоро, например, осудивший кружок «Зеленой лампы», основавшийся исключительно на легенде Бартечева о его оргиастическом направлении,³ а позднее так упре-

³ Щеголев П. Е. Пушкин: Очерки. СПб., 1912, с. 1—2.

кавший Ефремова за то, что он «блеклые цветы пушкинской сакрепной производительности» «вплел в один венок с самыми раскошными, чистыми, благородными цветами пушкинской музыки»,⁴ склонен был видеть в поэме нечто большее, чем одно лишь «щегольство» и «прекрасную шалость». По его мнению, поэма была «написана в виде ответа на торжество клерикальной партии».⁵ Бартепев, со слов друзей поэта, и, может быть, желая освободить Пушкина от слишком пристрастных нападков за поэму, писал так: «Уверяют, что он позволил себе сочинить ее просто из молодого литературного щегольства. Ему захотелось показать своим приятелям, что он может в этом роде написать что-нибудь лучше стихов Вольтера и Парши». А. Незеленов, высказывая ту же мысль, но относя этот «задор» исключительно на долю Вольтера, добавлял следующее: Пушкин, «к сожалению, достиг цели, пошел по последовательности русского ума дальше своего учителя».⁶ В этом предубеждении много упорства и доля наивности: комментаторам казалось непопнтным, как прекрасное могло быть заключено в безнравственные формы, по это «прекрасное», бросаясь в глаза, отмечалось и ими как отрицательный признак. Дурная слава, упрочившаяся за поэмой Пушкина со времени знаменитого о ней процесса, обраставшая с течением времени легендами и вымыслами, не так быстро хорошила поэму, как строгие приговоры, какие ей были вынесены комментаторами Пушкина. Тому же Незеленову, например, она казалась «самым печальным событием» деятельности Пушкина и всего лишь «грязно-цинической вещью». Авторитетам приходилось верить на слово, так как исключалась возможность проверки этих приговоров по личному впечатлению. Ссылались на то, что о поэме сам Пушкин не любил вспоминать и отрекся от нее, и это было, к сожалению, достаточным поводом для того, чтобы пзять ее из научного обихода. Поэма игнорируется как биографический источник; историко-литературный анализ ее почти не коснулся. Поэтому издание В. Брюсовым полного текста «Гавриилиады» пужпо признать крупной заслугой, имеющей бесспорное научное значение, тем более что она должна оказать заметное влияние на ход работ по исследованию Пушкина среди специалистов, для которых издание главным образом и предназначено. Первым издателем поэмы был Н. Огарев (Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861); за этим изданием следовали — анонимное заграничное издание 1898 г.; берлинское издание Гуго Штейница 1904 г.⁷ Отрывки поэмы опубли-

⁴ П. В. Анпенков и его друзья. СПб, 1892, с. 440 («К истории работы над Пушкинским»).

⁵ Анпенков П. В. А. С. Пушкин в александровскую эпоху. СПб, 1874, с. 145—146.

⁶ Бартепев П. Русский архив, 1866, стб. 1179; Незеленов А. И. Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии. СПб., 1882, с. 98.

⁷ А. К. Елачич указал нам также, что полностью поэма была издана в Константннополье. О константннопольских изданиях русских поэтов до сих пор известно очень мало. В Константннополье, между прочим, как

ликывывались периодически и в России: Гербелем — в журнале «Время» 1861 г.; Гаевским — в «Современнике» 1853 г., в статье о Дельвиге (это указание Ефремова не приято Брюсовым во внимание); Ефремовым — в «Библиографических записках» 1861 г. и в его издании сочинений Пушкина 1880 г. Дополнительные стихи даны были в «Русском архиве» 1881 г. и «Остафьевском архиве» 1899 г., т. 2; отрывки из поэмы печатались всеми издателями Пушкина после издания Ефремова, но даже в изданиях Морозова, Венгерова и академическом (1916 г.) приведено не больше половины поэмы. Издание В. Брюсова является, таким образом, первым полным текстом, появляющимся в России (М., 1918). «Гавриилиада» в издании В. Брюсова вышла уже вторым изданием; первое разошлось в три дня. Второе издание рассчитано на более широкий круг читателей, а потому в поэме «по тщательном размышлении» опущено около 9-ти стихов.⁸ Книга все же предназначена преимущественно для лиц, изучающих Пушкина, а потому текст сопровождают примечания, где даны указания по критике текста и библиографические («рукописи», «издания», «современные свидетельства», «заглавие, посвящение и план», «время написания» и т. д.). Издатели скромно заявляют, что они «не имеют притязания дать научное издание», удовлетворяющее всем строгим требованиям: для этого необхо-

сообщил нам И. А. Дондаров, был издав Лермонтов, с иллюстрациями, оттиснутыми на шелку.

⁸ Вслед за изданием В. Брюсова появилось множество изданий, не только копирующих, но и искажающих его текст. Одно из таких изданий вышло и в Киеве: «Гавриилиада», полный текст поэмы. — Библиотека «Куранты». Киев, 1918, № 1. Текст, однако, напечатан с пропусками и с ошибками. Тексту предшествует краткое введение, составленное по статье В. Брюсова, но искажающее и сс. Барсуков назван здесь Бажуковым, но всего удивительнее невежество комментатора. Он, например, пишет: «В письме к А. А. Бестужеву Пушкин хвалит чью-то уморительную поэму „Елисей“ (sic!). В конце введения с развязностью, недостойной Пушкина, комментатор заявил, что он предоставляет специалистам филологам установить, насколько в поэме Пушкина сильно влияние Парни и Вольтера, но для «эстетически настроенного читателя», которому и уготовано издание «Курантов», видимо, достаточно этой странни, этого собрания непроверенных или заведомо ложных фактов. Для большей верности к изданию приложено еще факсимиле одной из страниц кишиневской тетради Пушкина с наброском программы «Гавриилиады».

За «эстетически настроенного» читателя вступилась и правительственная инициатива; в Одессе, по сообщению «Одесского листка», уже состоялся суд по обвинению одного из журналистов в коупстве за переиздание «Гавриилиады». В Киеве и же «Курантов» было приветствуемо довольно шумно. Не обошлось, впрочем, и без курьезов: В газете «Наша Родина» (1918, № 5, отдел «Хроника») под заглавием «Обман» напечатано было следующее заявление: «В городе распространяется выпущенная издательством „Куранты“ поэма, носящая название „Гавриилиада“. Издательство приписывает эту порнографическую „поэму“ перу А. С. Пушкина, для большей убедительности чего даже приводятся какие-то „дашние“ и „доказательства“. Обращаем внимание публики на этот грубый обман, тем более что сам А. С. Пушкин неоднократно опровергал свое авторство в „Гавриилиаде“». О «Гавриилиаде» см. еще заметки Б. М.-ъ в «Русском голосе» (1918, № 95) и Н. Г.-й в журнале «Наши дни» (1918, № 21).

димо было бы располагать рукописными материалами. «Наша работа лишь первое начинание в этом направлении». Как общее историко-литературное вступление перепечатана статья В. Брюсова из 2-го тома сочинений Пушкина под редакцией Венгерова. Замечание, что она «вновь просмотрена и пополнена», однако, неверно: статья перепечатана почти без всяких изменений, но важна уже потому, что была одной из первых работ, посвященных поэме.

Наиболее важной частью книги является текст. Как известно, рукописи Пушкина не сохранилось. Пушкин, как свидетельствует Бартенев, «всячески истреблял списки, выпрашивал, отнимал их». Один из списков поэмы Пушкин прислал Вяземскому между 7—10 декабря 1822 г. Ефремов, указав на это, сделал такое примечание: «Эта рукопись *несомненно* должна найтись в Остафьевском архиве, так как кн. Вяземский *никогда* не выпускал из него *ничего*, туда попавшего».⁹ Между тем в библиотеке кн. Вяземского на экземпляре «Стихотворений» А. С. Пушкина (Берлин, 1870) нашлась следующая надпись, сделанная его рукой: «У меня должен быть в старых бумагах полный собственноручный Пушкина список „Гавриилиады“, им мне присланный. Должно сжечь его, что и завещаю сделать сыну моему». Список этот до сих пор найден не был.

В основу текста В. Брюсов положил текст издания Огарева, быть может, наиболее исправный, но сверяя его с другими изданиями, ни одно из них Брюсов справедливо не может признать вполне авторитетным: текст академического издания основан на «старинной копии, принадлежавшей В. Е. Якушкину», происхождение текстов изданий Ефремова, Морозова, Венгерова неизвестно. Из рукописных копий Брюсов впервые пользовался еще анонимным списком 1850—1860 гг. До сих пор неизвестен тот список поэмы, который, по указанию «Нового времени», 1903 г., имелся в «собственной его величества библиотеке»; он, однако, может оказаться наиболее авторитетным. На основании тщательного стилистического анализа В. Брюсов восстанавливает предполагаемый текст. «Мы следуем правилу филологической критики, требующей предпочитать чтение более трудное», — говорит В. Брюсов, и этот принцип последовательно применен им во всех случаях, вызывающих сомнение. Значительное количество исправлений относится к правописанию и пунктуации, но и в более сложных случаях у Брюсова достаточно критической тонкости, чтобы не впасть в ошибку. Проверка справедливости анализа, впрочем, стоила бы специального разбора. Должны найтись еще несколько списков, до сих пор хранившихся тайно, и сверка с ними принятого Брюсовым текста окончательно утвердит его или исправит. Наконец, до сих пор еще не исключена возмож-

⁹ Сочинения Пушкина. СПб, Изд. Суворина, 1905, т. VIII, с. 393 (курсив подлинника).

ность нахождения автографа Пушкина, а пока текст Брюсова следует признать предположительно исправным.

История создания «Гавриилиады» и отречение от нее Пушкина все еще темна. В своей статье, посвященной этой истории, повторенной в издании, о котором идет речь, В. Брюсов привел достаточно доказательств тому, что авторство Пушкина несомненно. Новейший скептицизм некоторых писавших о поэме (Н. Барсуков, В. Каллаш), основанный исключительно на темной истории отречения и заперательства Пушкина, отныне должен быть сдан в архив. В. Брюсов ставит «Гавриилиаду» в связь с настроениями Пушкина кишиневского периода, рассказывает историю ее замысла и создания и отводит ей место в ряду других произведений Пушкина; но историко-литературного анализа он касается лишь отчасти: было бы весьма своевременным указать, например, параллели из тех поэм Парри, на зависимость от которых «Гавриилиады» указывали достаточно часто начиная от Огарева, но по цензурным соображениям всегда бездоказательно. Работа над «Гавриилиадой», впрочем, только начинается, и издание В. Брюсова важно уже тем, что оно способствует этому в значительной мере. В настоящей заметке мы сделаем несколько сопоставлений в надежде, что они не окажутся бесполезными.

Дело о «Гавриилиаде» возникло по следующему поводу. Статс-секретарь Николай Назарьевич Муравьев в письме к графу П. А. Толстому от 29 июня 1828 г. свидетельствует, что крепостные люди отставного штабс-капитана В. Ф. Митькова «принесли к высокопреосвященному Серафиму прошение, что господин их развращает их в понятиях православной, ими исповедуемой христианской веры, прочитывая им из книги его рукописи некое развратное сочинение под заглавием „Гавриилиада“, и представили высокопреосвященному митрополиту и ту самую книгу». Дело началось и дошло до государя. Неизвестно, какая кара постигла Митькова, но любопытно, что на одном из докладов комиссии по расследованию дела, представленном Николаю I, он сделал отметку: «Желаю знать подробнее, что последует, и вторяю, что если сей Митьков тот самый, который служил в финляндском полку, то он требует весьма строгого надзора и дурной и фальшивый человек». Комиссия, вновь представляя по сему поводу собранные ею сведения, сообщала: «Преследуя дело сие со всем вниманьем, коего оно заслуживает, не могла по предмету известной поэмы Гавриилиада найти Митькова виновным, ибо доказано, что он не читал ее людям и не внушал им неверия. Главная виновность заключается тут в сочинителе. Комиссия старается найти одного. Пушкин письменно объявил, что поэма сия не им писана».¹⁰

¹⁰ Щеглов В. Новые документы о «Гавриилиаде». — Старина и новизна, 1909, кн. XIII, с. 1—2. — Заметим здесь кстати, что, излагая историю процесса о «Гавриилиаде», В. Брюсов мог дополнительно использовать ряд источников, оставленных им без внимания. Так, в дополнении к доку-

Неизвестно, как доказана была невинность Митькова, но все усилия комиссии были направлены к раскрытию автора поэмы. Неизвестно также, почему комиссия обратилась к Пушкину; на него при допросе мог указать Митьков, его имя могло стоять в рукописи. К делу проявлен был столь повышенный интерес, что письмом Пушкина, где он отказывался от поэмы, дело не ограничилось. По приказанию государя графу Толстому, был произведен устный допрос, где, снова отрицая свое авторство, Пушкин рассказывал, что, от кого он получил рукопись, он не помнит, что она ходила между офицерами гусарского полка, и между прочим добавлял: «...осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаяваюсь, нет ни следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное». Это сказано в 1828 г., когда Пушкин мог говорить это со спокойной совестью. «Зная лично Пушкина, я его слову верю», — написал Николай на докладе по этому поводу, но тут же выразил желание, чтобы Пушкин «помог правительству открыть подобную мерзость» и того, кто обидел «Пушкина, выпуская оную под его именем». Пушкин был призван к допросу третий раз, но испросил разрешения писать прямо к государю. Нераспечатанным письмо его было доставлено Николаю. Содержанию его остается неизвестным, дело, однако, было прекращено.

На основании «Записок» кн. Голицына обычно полагают, что в письме этом было заключено признание; Пушкин прибегал к великодушию государя, «припертый к стене». Таким образом, есть основание отбросить главный аргумент противников авторства Пушкина — его личный отказ от поэмы; второй — приписывание ее Пушкиным кн. Д. П. Горчакову — основан на малодоверенных свидетельствах; одно из них (неизвестное Брюсову) принадлежит Н. С. Селивановскому, в его «Записках», который, рассказав о Радищеве и его судьбе, напоминает и другую подобную же историю. «Вспомним еще одного русского писателя, подвергнутого той же участи, — говорит он, — это Горчаков, автор Гавриилиады, глухой... поэмы, напечатанной и переведенной им с французского. Мне не случилось иметь ее в руках; но, сколько слышал, в ней были места поэтические. Кто-то мне сказывал, что профессор Мерзляков однажды прочитал ее всю од-

ментам, опубликованным в XV книге «Старины и новизны» (1911, с. 184—213), Б. Модзалевский опубликовал еще два новых документа, касающихся В. Ф. Митькова и сообщающих несколько интересных черточек о процессе (см.: Пушкин и его современники. СПб., 1914, вып. XVII—XVIII, с. 73—76). Указаний на эти опубликования было бы весьма естественно ждать в книге, предназначенной для специалистов и в библиографическом отношении составленной довольно внимательно. Эта небрежность объясняется механической перепечаткой статьи Брюсова из венгровского издания сочинений Пушкина, вышедшей в свет, когда эти документы еще не появились в печати.

ному приятелю и сжег в печи».¹¹ «Записки» Н. С. Селивановского, как указали уже его первые издатели, «нуждаются в критической проверке», кроме того, их автор мог слышать легенду о принадлежности «Гавриилиады» Горчакову: ее пустил сам Пушкин на допросе и о том же сообщал в известном письме к кн. Вяземскому. Каллаш, защищавший авторство Горчакова, пошел на уступки и допустил, что поэма Пушкина была лишь подражанием Горчакову: в числе произведений Горчакова были, правда, легкомысленные поэмы, которые по общему характеру могли напоминать «Гавриилиаду», но они уже утрачены, сгорев в числе его прочих бумаг,¹² и это сомнительное предположение не может быть доказано ничем. Зато авторство Пушкина доказывается рядом убедительных доводов. Кн. Вяземский, посылая А. И. Тургеневу отрывок из поэмы, писал ему: «Пушкин прислал мне одну свою шалость». В кишиневской тетради есть наброски программы, которую нельзя толковать иначе, как замысел «Гавриилиады», там же есть черновик стихотворения, который, несомненно, представляет собою послание, «en voi» к Вяземскому или Бестужеву, при посылке поэмы. Наконец, убедительным кажется тот анализ стиля поэмы, который произвел Брюсов, сравнительно с другими произведениями Пушкина, и то еще, что ее отдельные места могут быть сравнены с некоторыми стихотворениями: стихи 329—355 со стихотворением «Платоническая любовь» (1819); стихи 113—116 со стихами «Любовь одна — веселье жизни хладной» (1816), и т. д. В авторстве Пушкина, таким образом, не может быть никаких сомнений.¹³

2

История создания «Гавриилиады» была рассказана много раз, но условия ее возникновения достаточно освещены еще не были.

¹¹ Библиографические записки, 1858, № 17, с. 518—519.

¹² Пиксанов Н. К. Д. П. Горчаков. — В кн.: Сочинения Пушкина. СПб., Изд. Брокгауз—Ефрон, 1907, т. I, с. 182.

¹³ Кстати будет прибавить здесь, что в заграничных «Собраниях запрещенных стихотворений А. С. Пушкина» Э. Каспровича (Лейпциг, 1873, с. 72) печатается обычно отрывок «К Х. . .», который можно было бы поставить в связь с настроениями «Гавриилиады»:

Ты богомать: нет сомненья —
Не та, которая гасой
Пленила только \ святой:
Мила ты всем без исключения!
Не та, которая Христа
Родила, не спросясь супруга.
Есть бог другой; земного круга
Ему послушна красота;
То бог Парни, Тибулла, Мура;
Им мучусь, им утешен я —
Он весь в тебя — ты мать Амура,
Ты богородица мол!

«Кишиневские вольности» изгнанника-поэта состояли из кутежей, увлечений, дуэлей. Не было конца его беспечным забавам и шалостям.

Фантазия Пушкина, как выразился Анненков, была в «горячечном состоянии». Еще осенью 1821 г., кончив «Пленника», Пушкин писал Дельвигу, что у него в голове уже бродят новые поэмы. Он пачинал их, бросал, уничтожал написанное; «Вадим» остался незавершенным, «Разбойников» Пушкин сжег, и только «Бахчисарайский фонтан» дошел до нас в полном виде. Рисунки кишиневских тетрадей изображают танцующих чертей, пытки и казни; в связи с ними паходится, быть может, замысел той поэмы, действие которой должно было происходить в аду, при дворе сатаны. Она осталась ненаписанной. Но над «Гавриилиадой», как можно догадаться, Пушкин работал упорно и долго. Ее замысел относится к лету 1821 г.: она была окончена зимой 1822-го и тогда же отослана кн. Вяземскому. В письме к последнему Пушкин несколько позднее выражал досаду, что в «Полярной звезде» хвалят «холодного однообразного Осипова» и обижают Майкова, «Елисей» которого истинно смешон. Пушкин писал: «Тебе, кажется, боле нравится благовещение, но, однако, Елисей смешнее, следовательно, полезней для здоровья». Если под «благовещением» понимать «Гавриилиаду», весьма естественно было бы сравнить эти две поэмы. Но «Елисей, или Торжество Вакха», шуточная поэма В. И. Майкова (1771), однако, едва ли могла служить образцом для Пушкина; замечательная своим живым народным языком и некоторой нецеремонностью сюжета, она была первой на Руси и типичной героико-комической поэмой в стиле Буало: образец такой поэмы он дал в своем «Налое» («Lutrin»).¹⁴ Уже это одно подчеркивает различие замыслов Майкова и Пушкина; сходство поэм не могло идти далее общей для них «веселости» или «игривости» изображения: сюжет, поэтическая манера были совершенно различны. Другими возможными образцами для поэмы Пушкина могли быть те произведения, которые помянул поэт в «Городке» (1814) спрятанными в «потаенну сафьянову тетрадь».

Образцом мог быть и Вольтер с некогда пленившей Пушкина «Орлеанской девственницей», которым Пушкин увлекался как раз в пору создания «Гавриилиады», об этом упоминается и в послании к В. Л. Давыдову (1821):

Я стал умеи и лицемеру,
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мой грехи,
Как государь мои стихи.
Говеет Инзов, — и намедни
Я променял Вольтера бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни,
Да на сушеные грибы.

¹⁴ Сочинения и переводы В. И. Майкова / Под ред. Ефремова. СПб., 1867, с. LII.

Симпатии Пушкина к Вольтеру оживают, как думал еще Незеленов, под влиянием Байрона, который посвящает ему несколько строк в «Чайльд Гарольде». Во всяком случае, значение некоторых произведений Вольтера для «Гавририады» требует подтверждений и проверки.

Пушкина интересовал в Вольтере, между прочим, и его скептицизм. Это может быть подтверждено и заметкой Пушкина о Байроне, в которой он старается освободить его от обвинений в безверии. «Вера внутренняя, — пишет Пушкин, — перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказанный им местами в своих творениях. Может быть даже, что скептицизм сей был только временным своеобразием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему».

Таким «временным своеобразием ума» были и религиозные построения поэта в этот период его жизни. Не будучи неверующим, Пушкин не был и скептиком. «Mon coeur est matérialiste, mais ma raison s'y refuse», — записал он в своем дневнике (9 апреля 1821 г.). «Пушкин не мог примириться с мыслию о несуществовании духовного мира», — говорит Незеленов и в доказательство приводит черновой отрывок:

Ты сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого,
Ничтожество, пустой призрак,
Не жажду твоего покров!
Мечтанья жизни разлюбя,
Счастливых дней не зная от века,
Я все не верю в тебя,
Ты чуждо мысли человека,
Тебя страшится гордый ум...

В религиозных колебаниях и сомнениях Пушкина отгадка тех его строф, где он кажется с первого взгляда убежденным и насмешливым. Он несколько свысока относится к Библии; по рассказам Липранди, он рисует на ломберном столе мелом сестру молдаванина Катакази — Терейсу мадонной, а на руках у нее младенцем — генерала Шульмана, с оригинальной большой головой, в больших очках, с поднятыми руками, но все это — «временное своеобразие ума». «Вера внутренняя» перевешивает в нем «скептицизм, высказанный местами в его творениях».¹⁵

Таким образом, отказываться от «Гавририады» у Пушкина были основания и тотчас вслед за ее написанием, тем естественнее его отречение шесть лет спустя, когда ближе были минуты, в которые написаны были «Отцы пустышки» или «Странник».¹⁶

¹⁵ О религиозных настроениях поэта см.: Гиппиус В. Пушкин и христианство. СПб., 1916.

¹⁶ Добавим к этому, что, по свидетельству Л. Павлицева, Пушкин «величайшей глупостью» считал «Царя Никиту», а отказываться от своих поэм и стихотворений легкого содержания его принуждало еще и то обстоятельство, что ему постоянно приписывались произведения, ему не принадлежащие. «Подлость моих зоилов-завистников, — говорил Пушкин

Наиболее значительным и несомненным образцом для Пушкина была поэма Парни «La guerre des Dieux» (1799) и две другие: «Les galanteries de la Bible» и «Le paradis perdu», объединенные автором в сборнике «Украденный портфель» 1805 г. Парни Пушкин хорошо знал уже в Лицее; в «Городке» он рассказал нам, что в его библиотеке:

Воспитапы Амуром,
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок.

В Кишиневе впечатления юности постоянно освежались.¹⁷ Значение Парни для «Гавриилиады» признавалось всеми, кому приходилось писать о пей. На Парни указывали Огарев, Барте-нев — со слов друзей поэта; в туманных выражениях, выпущен-

сестре, — дошла уже до того, что они стали приписывать моей девственной музе, — как я узнал от Дельвига па днях, — именно всякие неприличия... Мнимые мои сочинения ходят в рукописях по городу, а что всего хуже — с моей подписью. Мерзавцы! Хотят меня утопить перед людьми, достойными всякого почтения, да и рассовывают где только могут — сочиненные не мною, а ими же пошлости. Конечно, ни Дельви, ни Плетнев гнусным клеветам на мою музу не поверят: они очень хорошо знают, что я ее не оскверню стихами, которые и каналье Баркову не по плечу. Я же не Барков, а подавно не маркиз де Сад» (П а в л и щ е в Л. Воспоминания о Пушкине. М., 1890 с. 143, ср. с. 149—151). Эти слова Пушкина относятся к 1829 г. Любопытно, что, по свидетельству того же Павлищева, лира Баркова и его последователей пользовалась в это время значительной популярностью, а известный Ф. Ф. Вигель хвастался уцелевшим у него экземпляром романов маркиза де Сада, как известно, публично сожженных по приказанию Наполеона.

¹⁷ Поэмы Парни нашлись в библиотеке Пушкина в брюссельском издании 1827 г. (см. Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, № 1241, 1253); они частью разрезаны, и это свидетельствует, что Пушкин интересовался ими и позже издания «Гавриилиады». Возможно предположить, что он знал их задолго до 1822 г. В «Бове» (1815) находим следующее место:

За Мильтоном и Камоэнсом
Опасался я без крыл парить.
Не дерзал в стихах бессмысленных
В серафимов жарить пушками,
С сатанюю обитать в раю,
Иль святую Богородицу
Вместе славить с Афродитою:
Не бывал я греховодником.

Нужно думать, что Мильтона Пушкин едва ли знал в Лицее, и потому Л. Н. Майков готов отнести это место на счет туманной фразы вольтеровского Кандида. Не удобнее ли предположить, что Мильтона Пушкин мог знать по частым ссылкам в «Le paradis perdu» Парни? Ср., например, у Парни: «Après Milton, dans ces gouts maudits c'est à regret que ma muse est tombée» (chant II). Оттуда же Пушкин мог взять и картины битвы серафимов, и даже то, что обычно относят на долю Камозиса: «смешение языческих понятий с христианскими». Намек на знакомство Пушкина с «Le paradis perdu» можно усмотреть в стих. 71—72 полной редакции «Вишни» (1815).

ный к этому цензурой, и потому почти бездоказательно говорил об этом Ефремов,¹⁸ за ним Морозов и ряд комментаторов и издателей Пушкина. Но сближения не шли дальше общих и случайных указаний.

Парни эпохи директории мало напоминает певца Элеопоры, того роète élégiaque, который был так красив и изысканно печален в своей любовной печали. Пейзажи его напоминают «сельские праздники» и galantries Фрагонара, Ватто или особенно Буше, с его декоративным мастерством, однообразием сюжетов и «искусственно веселыми» красками.

Свой элегический топ Парни победил к концу своих дней, променяв его на скептицизм и остроумие Вольтера, уже, впрочем, отживавшие свой век. Пушкин долго был пленен Парни-элегиком; влияние Парни, по наблюдениям П. О. Морозова, ослабло только к 1827 г., но степень увлечения Пушкина поэзией Парни была столь велика, что у него возник интерес и к этой группе его поэм.

К этому, впрочем, были и другие основания. Появление «Войны богов», например, было литературным событием. По выходе в свет поэмы о Парни писали, что он вступил в соперничество с Вольтером и Ариосто. Шлегель посвятил поэме сочувственную статью в «Атенсуме»; ее расхвалил Жюффруа в «Декаде». Состязались в сравнениях и уподоблениях: Парни превосходил древних силою и убедительной чеканностью речи; Катулл и Овидий, Анакреон и Гораций нового времени, в искусстве элегии он не имел себе равных, в области комической эпопеи он был соперником Вольтера и в то же время был «pur et harmonieux comme Racine».¹⁹

Поэмы «Le paradis perdu» и «Les galantries de la Bible» примыкали к «La guerre des Dieux» и по своему стилю и по сюжетам. В «La guerre des Dieux» картинно и с частыми отклонениями в сторону эротической изобразительности представлялась борьба старого языческого Олимпа с новым, христианским. В «Galantries de la Bible. Sermon en vers» и «Le paradis perdu» пересказывались известные эпизоды из Библии:

Approchez, chrétiennes jolies.
De la Génèse les versets
Valent bien d'un roman anglais
L'horreur est les tristes folies.
Surmontez d'injustes dégoûts;

¹⁸ Отметим кстати, что стихи Г' или:

Toi dont le nom est encor dans mon coeur
Premier objet dont j'ai tenté les charmes.
Pardonne moi — mon crime est mon bonheur,

которые приводит Ефремов в виде параллели к стих. 329—355 «Гаврииллады», заимствованы им из «Le paradis perdu», chant III (по парижскому изданию 1889 г., с. 174).

¹⁹ Œuvres complètes de Parny. Bruxelles, MDCCCXXIV, t. I, p. X.

Lisez; de la Bible pour vous
Je traduis les galanteries.

(Les galanteries de la Bible)

Сходство «Гавриилиады» с названными поэмами Парни²⁰ называется не только в стиле, но в описаниях или отступлениях. Вот несколько примеров.

Парни

Son vieux mari, très mauvais
charpentier,
Ne gagnant rein vivait dans la misère.²¹

Пушкин

Ее супруг, почтенный человек,
Седой старик, плохой столяр и
плотник,
В сельсье был единственный
работник.

Рассказ змея о грехопадении почти повторяет Парни в «Le paradis perdu».

De ce jardin Eve était la merveille.
Luprès d'Adam, à l'ombre
d'un bosquet.
Négligemment elle forme un bouquet,
Le jette ensuite, et sa bouche
vermeille
Laisse échapper un long soupir
d'ennui:
Qu'avec lenteur le temps coule
aujourd'hui!
— Occupons-nous. Volontiers, mais
que faire?
— Cueillons des fleurs. — Toujours
des fleurs!
Eh bien,
— Chantons un hymne. Oh, je ne
chante rien.
— Dormons. — Encore? Dinons pour
nous distraire.

Je n'ai pas faim...

...Quelle injustice!
Du Dieu jaloux quel étrange caprice!
Mais sans amour peut on multiplier?
Sottise, erreur, j'y veux remédier.²²

...младая Ева
В своем саду, скромна, умна, мила,
По без любви в унынии цвела.
Всегда один, глаз на глаз,
муж и дева
На берегах Эдема светлых рек
В спокойствии вели свой тихий век.
Скучна была их дней однообразность,
Ни рожи сень, ни молодость,
ни праздность,
Ничто любви не воскрешало в них;
Рука с рукой гуляли, жили, ели.
Зевали днем, а ночью не имели
Ни страстных игр, ни радостей
живых...
Что скажешь ты? — Тиран
несправедливый,
Еврейский бог, угрюмый
и строптивый,
Адамову подругу полюбя,
Ее хранил для самого себя
...
Мне стало жаль прелестной Евы,
Решился я, создателю на зло,
Разрушить сон и юноши и девы.

К этой же картине близок первый эпизод «Les galanteries de la Bible». Прилет голубя находит себе полное соответствие в описании Парни «l'oiseau d'amour»,²³ хотя некоторые детали могли быть навеяны также и «Ледой» Парни, которой Пушкин подражал еще в 1814 г.

²⁰ О поэмах подробнее см.: Морозов П. Пушкин и Парни. — В кн.: Соч. Пушкина. Изд. Брокгауз—Ефрон, т. I, с. 383.

²¹ P a r n y. La guerre des Dieux. Paris, 1889, ch. IV, p. 47—48.

²² P a r n y. Le paradis perdu. Paris, 1889, p. 167, 168.

²³ Ibid., p. 184.

L'oiseau d'amour paraît; il lui présente
 Le fruit mortel, qu'elle a trouvé si doux,
 Elle sourit, et sa main caressante
 Flatte l'oiseau placé sur ses genoux,
 Il les couvrait d'une aile frémissante.
 Il ose plus; de son bec amoureux
 D'azure effleure un sein voluptueux;
 Et de la bouche il entr'ouvre la rose.
 Eve soupire, et dans son trouble heureux
 Sur une main sa tête se repose.

Бог «Гавриилиады» мало похож на «еврейского бога», как его называет Пушкин, и напоминает скорее того Юпитера, каким его любил изображать XVIII век. Наконец, и образ Марии, быть может, стоит в зависимости от Парни:

Шестнадцать лет — невинное творенье,
 Бровь черная, двух девственных холмов
 Под полотном уругос движенье,
 Нога любви, жемчужный ряд зубов.

У Парни:

«Quel air commun! quelle sottе coiffure!»
 Belle Marie, au Tivoli des cieux
 Ainsi parlaient tes rivales altières:
 Mais n'en déplaie à ces juges sévères
 De grands yeux noirs, doux et voluptueux,
 Des yeux voilés par de longues paupières,
 Quoique baissés sont toujours de beaux yeux;
 Sans qu'elle parle une bouche de rose
 Est éloquente, et même on lui suppose
 Beaucoup d'esprit: de pudiques tétons
 Bien séparés, bien ronds,
 Et couronnées par une double fraise.
 Chrétiens ou juifs, pour celui qui les baise,
 Ne sont pas moins de fort jolis tétons.²⁴

Картины Пушкина, однако, ярче, живее и более сжаты, тогда как Парни в них кажется порою скучным, несмотря на то, что он старается оживить их двусмысленностью или остротой. «Гавриилиада» оставляет далеко за собой свои образцы; ее поэтические красоты искупают ее «вольности». Неудивительно, что она пользовалась популярностью. Ее, быть может, знал и Лермонтов, и это знакомство сказалось в «Демоне».

Пушкин

— Кто ты, змия? По лъстивому пашу, у,
 По красоте, по блеску, по глазам
 Я узнаю того, кто пашу Еву
 Привлечь успел к таинственному древу

Лермонтов

Т а м а р а

О, кто ты? Речь твоя опасна...
 Тебя послал мне ад иль рай?
 Чего ты хочешь?

²⁴ Parny. La guerre des Dieux, ch. 1, p. 10. — Указанные параллельные места, конечно, далеко не исчерпывают сходства между поэмами: оно заслуживало бы специального и подробного разбора.

И там склонил несчастную к грехам	Д е м о н	
— Попы вас обманули,		Ты прекрасна.
И Еву я не погубил, а спас!		
— Спас! от кого?	Т а м а р а	
— От Бога.	Но молви, кто ты?	
— Враг опасный.		Отвечай!
— Он был влюблен...	Д е м о н	
— Послушай, берегись!	Я тот, которому внимала	
— Он к ней пылал...		
— Молчи!		
— любовью страстной.		
Она была в опасности ужасной.		и т. д.

Здесь можно усмотреть сходство в диалогической форме рассказа и оживленности разговора, да и соперничество Ангела и Демона в келье Тамары напоминает несколько единоборство Гавриила с сатаной, опять-таки заимствованное Пушкиным у Парни.

В некоторой зависимости от Пушкина, быть может, находится и образ Тирзы — еврейки в «Сашке», характеризованный чертами, напоминающими Марию «Гавриилиады». В данном случае, однако, лужно помнить также о женском образе «Испанцев», навеянном Лермонтову Лессингом или Вальтером Скоттом.

Кажется, определеннее сказалось влияние «Гавриилиады» в поэме «Мария» Т. Шевченко (1859). Концепции одного и того же сюжета у Пушкина и Шевченко различны; подлинный лиризм и мягкие, теплые краски поэмы Шевченко значительно разнятся от общего стиля «Гавриилиады»; у Шевченко евангельский эпизод пересказан распространеннее, и в рассказе нет ничего религиозного — напротив, вся поэма проникнута подлинным религиозным волнением, но детали могут быть сближены с поэмой Пушкина. Архангел Гавриил, очеловеченный у Шевченко, напоминает пушкинского Гавриила не только своею внешностью, но и своим поступком. Напоминает Пушкина и рассказ Шевченко о жизни Марии у Иосифа:

У Йосипа, у тесляря
 Чи в бондаря того святого,
 Марія в наймичках росла,
 Росла собі и виростала,
 І на порі Марія стала,
 Рожевим квітом розбувила,
 В убогій и чужій хатчині,
 В святому тихому раю.
 Теслярь на наймичку свою
 Неначе на свою дитину
 Теслу було і струг покине
 Та й дивиться...²⁵

Но отличие поэмы Шевченко ясно уже из этой параллели. Картина семейной обстановки у Шевченко уютнее и мягче. Отческие отношения Иосифа к Марии у Пушкина, следовавшего

²⁵ Твори Тараса Шевченка. У Львові, 1912, т. II, с. 292.

Парни, трактованы иначе. Иной была и цель поэмы: к Мадонне заступнице обращался Шевченко, к утешительнице в печали и скорби.

В постоянной заметке мы собрали несколько фактов, относящихся к истории поэмы, ее замыслу и ее возможному влиянию на последующую литературу. Как бы они ни были случайны, они помогают оценить выдающееся значение поэмы не только для творчества Пушкина, но и для всеобщей истории литературы, — а это, думается, лучше всего указывает на бесспорную заслугу Брюсова, решившегося, вопреки общепринятому мнению, настаивать на ее большом значении и предпринятому немалый труд по изданию исправного текста поэмы. В этом его оправдание от тех возможных преследований и пареканий по поводу изданной им поэмы, от которых она, цужно думать, к сожалению, не скоро избавится.

II

К источникам Гавриилады

Легенда о записательстве и признаниях Пушкина в авторстве смелой богохульственной поэмы, долгий запрет, тяготевший над нею по понятным соображениям, поскольку дело шло не о специально исследовательском к ней интересе, но о настроениях круга читателей, всегда особенно падкого на произведения этого рода, — все это обеспечило ее первому легальному изданию (1918) крупный, почти скандальный успех и в силу этого почти одновременное появление ее в ряде более или менее плохих перепечаток. Пока полный текст «Гавриилады» имел злободневный интерес, она породила лишь ряд честных и лицемерных педоумений, и чисто научное использование ее уступило на время место обсуждению этического и религиозного порядка. Новое издание ее по возможности исправного текста, сделанное в 1922 г. Б. В. Томашевским,¹ снабженное образцовым комментарием, в котором исследователь резко ограничил себя пределами историко-литературного изучения, положило наконец прочное основание научному исследованию поэмы. Тщательная работа Б. Томашевского выводит нас на правильный путь ее оценки и истолкования; книга отнюдь не является только лишь сводкой имеющихся данных о «Гаврииладе», как она предлагает ее считать сам автор: он выдвигает несколько новых точек зрения и своеобразно группирует уже известный материал. Потому-то здесь и нужны дополнения, разъяснения и поправки; комментарий, какой даст Б. Томашевский в названном издании, неизбежно должен был

¹ Пушкин А. С. Гавриилада / Ред., примеч. и комм. Б. В. Томашевского. Изд., МСМХХІІ.

обойти ряд очень существенных мелочей и некоторых важных вопросов и утверждать там, где еще требуется обсуждение, тем более что он касается одного из самых малообъясненных созданий Пушкина. М. А. Цявловский показал недавно, что установление окончательного текста поэмы несколько преждевременно.² Со своей стороны мне хотелось бы в настоящих заметках показать преждевременность слишком категорического решения и некоторых других вопросов, в первую очередь — вопроса об источниках поэмы.³

1

Пародическая традиция, к которой примыкает пушкинская поэма, имеет свою длинную историю. Б. Томашевский дает некоторые примеры из литературы XVII—XVIII вв.: господствующее мнение до сих пор возводило «Гавриилиаду» к поэмам Парни. Следует, однако, пойти еще дальше и вспомнить, что и сам Парни с его прославленными поэмами, в сущности, восходит к пародической традиции средневековья, особенно укрепившейся именно во Франции. Меняется лишь конечная цель создания: тогда как Парни задается определенными целями противохристианской пропаганды, авторы средневековых пародий на священные тексты и сюжеты нисколько не выходят за пределы своей веры и наивного религиозного мирозерцания.

Уже между V—VIII вв. написана «Вечеря», долго приписывавшаяся Киприану Карфагенскому, в действительности же принадлежащая, вероятно, какому-нибудь шутнику клирику. Ее принято считать наиболее ранней из известных нам пародий на священные сюжеты. Широкая популярность ее на протяжении нескольких веков дает основание предполагать, что средневековье знало ряд произведений этого же типа. «Вечеря», пародирующая евангельскую притчу (Матф. XXII, 1—14), и ее три средневеко-

² Цявловский М. Тексты «Гавриилиады». — В кн.: Пушкин: Сборник первый. М., 1924, с. 163—176.

³ В дополнение к приводимым в статье М. А. Цявловского поправкам библиографического характера отмечу, что для полноты библиографии в книге Б. Томашевского (с. 108—109) следовало бы еще указать обычно ускользающее от исследователей свидетельство о «Гавриилиаде» лексикографа Н. П. Макарова (см. его кн.: Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь. СПб., 1881, ч. I, с. 100—101). Н. Макаров, имевший в 1831 г. полный список поэмы, пропавший у него во время польского восстания, подробно рассказывает о том успехе, с каким он всегда читал наизусть поэму Пушкина, но, впрочем, приводит маловероятный заключительный стих поэмы, сохранившийся у него в памяти:

И звук сих струн тебе я посвятил.

По его свидетельству, поэма была в двух песнях и по тексту значительно отличалась от заграничного издания 1873 г. «Говорили, что за эту ультрацензурную поэму в рукописи когда-то порядком досталось нашему народному поэту и что на своем смертном одре он горячо раскаивался в написании этой скабрёзности».

вые переделки⁴ действительно не были единственными произведениями этого жанра, где действующими лицами являлись бог-Отец, Иисус и персонажи Библии, которым приписывались наивно грубые действия и поступки. Средневековая литература дает нам множество бурлесков и пародий на священные темы: пародируются популярные молитвы и гимны (*Pater, Credo, Ave Maria*); гимн в честь богородицы (*Verbum bonum et suave*) превращается в застольную песнь (*Vinum bonum et suave*), господня молитва — в похвалу Бахусу («*Pater Bacchi, qui est in scyphis...*»), наконец, и вся месса подвергается той же участи: множество сохранившихся английских, немецких, итальянских рукописей содержат пародированную латинскую мессу.⁵ Прозаические пародии травестируют евангелие, проповедь, житие.⁶

Почти все светское латинское творчество средних веков принято связывать с голиардами; их странствующая, разгульная и беспутная жизнь известна и как будто объясняет многое в вакхическом и зачастую вульгарном характере созданной ими своеобразной литературы; но, в сущности, не всегда легко провести резкую грань между голиардической литературой и той, которая создавалась и существовала в любой монастырской ограде. Ни одного из авторов этих многочисленных пародий нельзя обвинять в преднамеренном желании нападать на церковь или оскорблять святыню.

Следует помнить, что такое исключительное лицо, как Рабап Мавр (ум. в 856 г.), автор известного «*Martirologium*», еще в IX в. с удовольствием забавлялся переделкой «Вечери» Псевдо-Киприана и посвятил ее королю Лотарю. Дело здесь, очевидно, в той далекой для нашего понимания настроенности религиозной мысли, которая допускала грубую остроту и шутки рядом с мистическими взлетами гимна или молитвы, в том исключительном смешении набожности с распущенностью и богохульством, которое поражает нас и на порталах фландрских соборов, допускающих изображение Мадонны в окружении вакхических оргий и сцен из быта кабаков.

Традицию пародирования евангельских сюжетов, молитвословия и всей церковной службы, особенно укореившуюся в голи-

⁴ Первая написана в 842 г. Рабаном Мавром, епископом Фульдским, вторая написана в 876 или 877 г. и принадлежит перу Jean le Diacre'a, третья — Азелину Реймскому (нач. XI в.) Об этих поэмах и пародиях вообще см. исследование: Novati Francesco. La parodia sacra nelle litte-rature moderne. — In: Novati Fra- sco. Studi critici e letterari. Milano, 1889, p. 267 sqq. — Изложение «на» Псевдо-Киприана см. также: Wrignt T. Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art. Paris, 1867, vol. II, p. 44—45. — Большой материал, относящийся к вопросу о средневековой пародии, собран также в книге: Ilvo nen Eero. Parodies de thèmes pieux dans la poésie française du moyen âge. Helsing-fors, 1914

⁵ Большинство из них восходит, по видимому, к общему французскому источнику, см.: Ilvo nen Eero Parodies de thèmes pieux . . . p. 5 sqq

⁶ Многочисленные примеры даны у Новати, Райта, Итьволена

ардической среде, можно встретить в XII и XIII вв. в повсеместном распространении; в XV и XVI вв. она поддерживалась у базовцев и в других веселых обществах.

В XVII в. было написано много пародий на священные тексты, направленных против Ришелье и Мазарини. Особенно же продуктивны были в этом отношении конец XVIII в., который любил смеяться над церковью и религиозными предрассудками, пародируя Библию и церковные молитвы, постоянно пользуясь при этом запасом старых формул и сюжетных трафаретов. Заключительное развитие трагедии этого типа получила наконец в поэмах Парри.⁷

Характерно, впрочем, что во всех этих разнообразных шутках богородица играет главную роль и что среди этих многочисленных пародий не встречается пародий на евангельские рассказы о благовещении: я не решаюсь, по крайней мере, вслед за некоторыми исследователями назвать в этой связи известную повеллю Боккаччо («Декамерон», IV, 2), в которой брат Альберто, решив использовать для своих целей евангельский рассказ о благовещении, убеждает простоватую венецианскую красавицу Лизету, что небесный ангел, прельщенный ее красотой, придет к ней вечером для беседы, и после этого в виде ангела действительно посещает ее. Характерно, что в некоторых старых изданиях присваивались заглавия, эта повелля озаглавлена «Архангел Гавриил». Источник этой повелли ищут в «Панчатантре», но, кажется, нет необходимости предполагать здесь столь далекий литературный источник: сюжет мог быть подсказан самой жизнью. Тем не менее эта повелля Боккаччо пользовалась широкой известностью и вызвала множество подражаний в различных литературах и в разных жанрах, в том числе стихотворных; некоторые ее отзвуки (например, у Лафонтена или Вольтера) Пушкин, разумеется, не мог не знать.

Отсутствие благовещения в темах средневековых пародий нужно объяснять культом богородицы и той преимущественной ролью, какая была ей дана средневековой догмой и бытом: Мадонна вызывала страстные любовные песни провансальских трубадуров; с тем же подъемом лирического и молитвенного восторга Кальдерон подвергал литературной обработке предание о благовещении, развертывая его в большой художественный замысел; оно делалось темой мистерий и предметом живописного

⁷ Впоследствии поэмы Парри не пользовались особым распространением, однако еще в 1830 г. был издан не для продажи итальянский перевод его «Войны богов» — «Teomachia, poema eroico, di G. G. P. P.» (Giovanni Giuseppe Poggi Pimentino) (Parigi, 1830); о последующих произведениях этого жанра, особенно плодившихся во Франции (в конце века пользовались некоторым распространением: Frisson Gustave. La vie de Jesus, racontée par un mâtélot; Taxil Leo, La Bible amusante/Ed P Fort), не стоит и упоминать

истолкования. О намеренно кощунственном подходе к теме не могло быть и речи.

Однако именно благовещение в гораздо большей степени, чем какое-либо другое евангельское предание, с его необъяснимой тайной девственного зачатия, должно было очень рано привлечь к себе внимание богословской и поэтической мысли. Момент «реалистического», по терминологии Томашевского, истолкования благовещения отнюдь не являлся изобретением философии XVIII в., да и те книжки, на которые притворно нападал Вольтер («*Serpher Toldos Jeschu*»),⁸ вовсе не являются продуктами рационалистического и антирелигиозного движения XVIII в. «*Toldos Jeschu*» — рассказ, которым пользовался Вольтер, помещен в редком собрании противохристианских анекдотов, изданном в латинском переводе в 1681 г., и трактует главным образом о богоматери и земной жизни Христа, по широко известен был также средневековой габраистической литературе.⁹ Иные из этих анекдотов, как и легенда о римском солдате (по другим версиям, вавилонянине) Пантере, восходят ко временам гностиков и иудействующих евионитов и, следовательно, имеют уже весьма внушительную давность. По учению гностиков первых веков, испытавших на себе сильное влияние иудейской рационалистической философии, Иисус был сыном Иосифа и Марии; таково, например, было учение Керифа (или Меринфа, конец I в.), Ириной находил его следы у евионитов и предполагал его близким назареем; позднее к нему примыкал, вероятно, гностик Левкий Харин, автор «*Transitum beatae semper virginis, Mariae, genetricis Dei*», трактата, осужденного декретом папы Геласия, как «нечестивого и оскорбительного для ее достоинства» («*De libris recipiendis et non recipiendis decretum*», cap. VI, § 28); некоторые элементы этого и подобных учений возродились у катаров, «произносивших хулу на богородицу», люциферриан и богомилов.¹⁰ В оценке поэтических легенд о богоматери приходится

⁸ См.: Пушкин А. С. Гавриилада, с. 56. — Анекдотические рассказы о солдате Пантере Вольтер упоминает в своем предисловии к собранию древних апокрифических текстов (*Collections d'anciens evangiles...*, 1769) и замечает: «Мне стыдно говорить здесь о других произведениях этого рода, например об Аретино, который (см.: *Rautro libri della humanita di Christo. Venetia, 1538*) сравнивает Марию с Ледой, забеременевшей от Юпитера, превратившегося в лебедя, как если бы Святой Дух принял форму голубя» (*Voltaire. Œuvres complètes / Ed. Moland, vol. XXVII, p. 443—444*).

⁹ *Wagenselius. Tela ignea Satanae hoc est arcani et horribiles Iudeorum adversus Christum Deum et christianam Religionem libri Anekdotoi. Altdorfi Noricorum, 1681.*

¹⁰ П о с п о в М. Гностицизм. Киев, 1917, с. 180; Döllinger Ign. von. Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. Th. 2. Dokumente vornehmlich zur Geschichte der Waldensier und Katharer. München, 1890, S. 260; Р а д ч е н к о К. Религиозное и литературное движение в Болгарии. Киев, 1898, с. 211; К а р с а в и н Л. П. Очерки религиозной жизни Италии XII—XIII вв. СПб., 1912, с. 61—62. — Тема о «непорочном зачатии» была предметом долгих ученых споров между францисканцами и доминиканцами: de la

считаться со следами и эхих учений и отзвуками когда-то бурных богословских споров, возникших по поводу «непорочного зачатия»,¹¹ отложившихся в сказаниях как романских, так и славянских. Иной раз источник пародий на священную легенду нужно искать именно в фантастике и домыслах этих сказаний, напряженно искавших решения и объяснения таких фактов, о которых молчат канонические предания. Благодаря наивному реализму своих объяснений для человека иной эпохи и миропонимания они прямо могли представлять из себя готовую пародийную схему. Можно почти определенно утверждать, что источниками многих пародий на религиозные темы, создававшихся в XVIII и XIX вв., были пародные религиозные сказания, обращавшиеся в устных пересказах или закрепленные в литературной передаче: они воспринимались именно как сказания-пародии; многие из них своевременно не попали в печать только лишь из-за их мнимой «кощунственности». Ряд подобных пародных легенд, как увидим далее, можно было бы считать в числе источников «Гавриилиады».

2

Источник «Гавриилиады» искали в поэмах Парни, хронологически наиболее близких к Пушкину из произведений подобного рода и, кроме того, несомненно ему хорошо известных. Не возражая против того, что Пушкин в своей поэме воспользовался некоторыми эпизодами из «La guerre des Dieux» и «Les galanteries de la Bible», Б. Томашевский решительно отвергает зависимость сюжета «Гавриилиады» от поэм Парни и предлагает источник его искать в апокрифических евангелиях. «Пушкин, — пишет он, — не восходит в своем сюжете к Парни. Он совершенно самостоятельно пародирует церковные предания». Все сюжетные мотивы «Гавриилиады» исследователь находит в апокрифических евангелиях, излагаемых им по сводному русскому переводу Веги, но полагает, впрочем, что «вопрос о том, как могли попасть в руки Пушкина апокрифы, требует особого рассмотрения. Вернее предположить, что Пушкин читал не подлинные тексты апокрифов, а какие-то изложения их».¹² Отказываясь от наводящих указаний, Б. Томашевский открывает обширное поле для догадок и предположений.

Думается, прежде всего, что нахождение пародируемого сюжета в апокрифических евангелиях само по себе не может слу-

Marche Lecoy. La chaire française au moyen âge. Paris, 1886, p. 373; ср.: Köster L. Maria, die unbefleckt Empfangene. Regensburg, 1905.

¹¹ X. M. le Bachellet. Immaculée conception: Dictionnaire de théologie catholique. Paris, 1922, t. 7, col. 845—1248.

¹² Б. Томашевский (см.: Пушкин А. С. Гавриилиада, с. 57—59) цитирует апокрифические тексты по повой и совершенно не авторитетной «Книге Девы Марии», помещенной в популярном издании: Вега. Апокрифические сказания о Христе. 2-е изд. СПб., 1913, П.

жить поручительством знакомства Пушкина ни с текстом этих евангелий, ни даже с какими-либо их пересказами: вопрос осложнен тем, что именно в изложении обстоятельств благовещения не только учительная и проповедническая литература, гимны, иконопись и легенда, но даже и литургия, пользуясь не каноническими евангелиями Матфея (I, 18—25) и Луки (I, 26—45), где рассказ об этом событии изложен действительно достаточно полно, но именно евангелиями апокрифическими. С не меньшей степенью вероятности можно было бы сюжетные мотивы «Гавриилиады» искать, например, в текстах благовещенской церковной службы, насквозь пропитанной апокрифическим элементом. Здесь достаточно указать лишь на некоторые места служебной мшени. Так, в стихире на «Слава и ныне», поющейся накануне благовещения, есть, между прочим, такие слова, которые не имеют ничего общего с каноническим евангельским текстом: «радуйся непевестная мати, и неискусобрачная, и удивляйся странному моему зраку, и ужасайся, архангел бо есмь. Змий прельсти Еву иногда, ныне же благовествую тебе радость». Здесь же последовательно развивается мотив страха Марии, ее боязнь обмана, ее ссылка на обольщившую Еву: «Страшно есть слово твое и воззрение, — отвечает Мария в той же стихире архангелу, — страшны твои глаголы и возвещения, да не прельстиши мене, дева бо есмь, брака не знающи. Глаголещи, яко зачну теобъемного: и како вместит утроба моя, его же величества небесная вместити не могут».¹³ Здесь очень характерны и диалогическая форма и мотивировка, опирающаяся не столько на церковное предание, сколько на психологически объяснимую, чисто житейскую картину: недоверие, испуг молодой девушки, опасющейся искушения и в то же время несколько польщенной. Также и основная часть благовещенской службы — канон, в композиции которого усматривают пролог и диалог между Гавриилом и Марией, — последовательно развивает те же основные моменты предпраздничных песен, но добавляет к ним, на той же основе апокрифических преданий и психологических пояснений, мотив недоверия Иосифа к положению Марии, его сомнений и, наконец, радости.

Нужно отказаться, однако, от заманчивой возможности, мня апокрифические евангелия, возводить сюжетные мотивы «Гавриилиады» прямо к текстам православной благовещенской службы, хотя бы эпохи «насильственного говения» Пушкина. Все эти подробности мы найдем также в учительной литературе и христианской иконографии. Монах Иаков (XI в.) в одной из своих проповедей повествует о пред-благовещении у колодца

¹³ Текст стихирь приводится по изданию мартовской мшени 1824 г. В статье Иларiona Свенцицкого (Архангелови възданиа Марии і благовіщенська містерія. Записка наукова товариства ім. Шевченка, т. LXXXVI, Львів, 1907, с. 11) текст стихирь — другой. Характерно, что эта диалогическая форма встречается также в тропарях канона. См.: Петровский А. Благовещение. — В кн.: Православная богословская энциклопедия. СПб., 1901, т. 2, с. 622.

и знаст также об обстоятельствах разговора бога с Гавриилом, предшествовавшего благовещению, а в «слове» Софрония, патриарха Иерусалимского (VII в.), целая XXVI глава его проповеди на благовещение посвящена разбору доказательств архангела, что он «не искушитель Евы и не виновник несчастия людского рода».¹⁴ Все эти мотивы не исчезают из учительной литературы и в последующие эпохи.

Традицию апокрифической мотивировки благовещения мы встречаем, конечно, и в иконописи; между прочим, многие из итальянских живописцев, ради того же реалистического освещения события, изображают Гавриила в виде парящего разодетого молодца, каким появлялся он и в благовещенской мистерии (Боттичелли, Тинторетто, Веронезе); педаром в тосканских народных песнях до сих пор поется об ангеле Гаврииле, что он и есть самом красивом в целом рае:

...l'angel Gabriello
Il più bel santo che sia in paradiso.¹⁵

У других художников, как Фра-Анджелико, Гирландайо и Фраччио, Гавриил представлен в демоническом образе искусства.

Кажется, однако, что Б. Томашевский имел в виду эти необходимые оговорки: указывая на так называемое первое благовещение, он замечает: «Об этом первом благовещении молчат канонические евангелия. Однако апокрифическое сказание настолько проникло в традицию, что, например, игумен Даниил в своем „Хождении“ описывает тот колодец, у которого Мария услышала благовествовавший голос».¹⁶ Действительно, в «Хождении» Даниила мы встречаем рассказ о пред-благовещении у колодца, встречающийся в «Protoevangelium Jacobi» и «Pseudo-Mathei evangelium»: однако традиция оказалась настолько прочной, что его оставила в полной неприкосновенности и современная нам богородичная легенда.¹⁷ Все это заставляет предполагать, что если

¹⁴ Свенцицкий И. Архангелови вѣщания Маріи і благовіщенська містерія, с. 37 и сл.

¹⁵ Веселовский А. Н. Собр. соч. СПб., 1911, т. IV, вып. 2, с. 125.

¹⁶ См.: Пушкин А. С. Гаврииллада, с. 57.

¹⁷ Заболотский П. А. Легендарный и апокрифический элемент в хождении игумена Даниила. Варшава, 1909, с. 36. — Сказание о пред-благовещении знают легенды галицко-русские (Сумцов Н. Ф. Очерки из истории южнорусских апокрифических сказаний. — Киевская старина, 1887, IX, с. 9) и румынские (Чебан С. Румынские легенды о Богородице. Этнографическое обозрение, 1911, № 3—4, с. 11—12). Столь же прочным оказался этот мотив и в иконописи; его находим уже на диптихе IV в. на окладе евангелия Миланского собора. П. Покровский (Евангелие в памятниках христианской иконографии. М., 1890) указывает на ряд изображений благовещения у колодца начиная с V в. На Руси мы встречаем его уже на мозаике киевского Софийского собора и на множестве икон, иногда с любопытными вариантами, см.: Барсов Е. В. О воздействии апокрифов на обряд и иконопись. — ЖМНП, 1885, декабрь, с. 107—109.

Пушкин действительно говорит о двукратном благовещении, то о нем он мог узнать, конечно, не только из апокрифических евангелий, но и из памятников живописи и, конечно, скорее всего из устных преданий, особенно распространенных на юге и, между прочим в той Бессарабии, где писалась его поэма. Некоторые подробности «Гавриилиады» папомпнают народныя легенды. Среди них легенды о благовещении являются очень распространенными.¹⁸

3

Возможно, однако, что источники поэта были и иные. В стихе 336 Пушкин сам делает указание, которым необходимо воспользоваться. Стихи 132—140 читаются так:

¹⁸ Существует, между прочим, большая группа легенд, в которых рассказ о благовещении поставлен в связь со сказочным мотивом зачатия от цветка. В одной румынской легенде «какой-то молодой, красивый юноша» приносит Марии цветок; она прячет его за пазуху, после чего становится беременной (Чебан С. Румынские легенды о Богородице, с. 13). Этот мотив невольно напоминает стихи 320—330 «Гавриилиады»:

Мария зрит красавца молодого,
У ног ее, не говоря ни слова,
К ней устремив чудесный блеск очей,
Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит. . .

и т. д.

Чтобы не останавливаться далее на народных преданиях, укажу, что вступительный эпизод «Гавриилиады» о грехопадении, возводимый Б. Томашевским к Мильтону, также мог иметь корни в народном сказании. П. П. Чубинский приводит южнорусское сказание, где повествуется о том, что, когда бог выгнал Адама и Еву из рая, он послал к изгнанникам Гавриила, который научил их сеять хлеб и коноплю. Пользуясь этим, дьявол принял образ Гавриила и, уча их «науке любви», прельстил Еву, отчего и родился Каин; сказание подчеркивает, что Каин, зная свое происхождение, не любил Адама: «Він, бачте, знав, що його батько — той апгел, которого бог выгнав из неба» (Труды этнографической экспедиции в западнорусский край. СПб., 1872, т. I, с. 146—147). Легенда эта носит явные следы богомильских воззрений (Драгоманов в М. Забълъжки върху славянскитѣ религиозно-етически легенди. Сборник за народни умо-творения, наука и книжнина. София, 1894, кн. X, с. 5), но вполне последовательно объясняет поступок Каина тем, что он был сын дьявола. Среди румынских сказаний о богородице, собранных в книге Marian'a, существует легенда, не имеющая параллели в других сказаниях, но очень интересная тем, что в рассказ о пред-благовещении она вносит эротический мотив. Богоматерь отправляется к колодцу, где находит маленькую иконку, которую и прячет за пазуху. В это время один из служителей Прода поил у того же колодца лошадей. Увидев девушку, «красивую как роза», он пытался отнять у нее эту иконку. Встретив с ее стороны сопротивление, он безжалостно начинает бить ее арашиком, связывает уздечками и хочет потащить ее к себе в дом, но Мария разрывает уздечки на мелкие кусочки; зачатие происходит от иконки, спрятанной на груди (Чебан С. Румынские легенды о Богородице, с. 14).

Потом, призвав любимца Гаврипла,
Свою любовь он прозой объяснял.
Беседы их нам церковь утаила,
Евангелист немного оплошал

Но говорит армянское преданье,
Что царь небес, не пожалев похвал,
В Меркурии Архангела избрал,
Заметя в нем и ум и даровапье, —

И вечером к Марии подослал.
Архангелу другой хотелось чести

и т. д.

«Ссылка на армянское предание, — говорит Томашевский, — показывает, что Пушкин обращался к каким-то литературным источникам, трактующим обстоятельства благовещения». ¹⁹ Однако, как видно из контекста, «армянское преданье» говорит не столько о самом благовещении, сколько об обстоятельствах, ему предшествующих, точнее, о беседе бога с Гавриилом.

Такой диалог действительно существует в литературной обработке: он принадлежит к весьма распространенным памятникам христианской письменности, мог найти соответствующее отражение в письменности армянской или сообщен Пушкину в устном пересказе. ²⁰

В церковнославянской письменности, в списках болгарских, сербских и русских известны два «слова» на благовещение, приписываемые Иоанну Златоусту, которые в диалогической форме передают беседы архангела с господом перед благовестием и дальнейший разговор Гавриила с Марией. В славянскую письменность они очень рано (Супрасльская рукопись, Златоуструй XII в.) попали из византийской и сохраняются в очень большом количестве списков. ²¹ Произведения эти, конечно, опираются не на тексты канонических евангелий Луки и Матфея, а на евангелия апокрифические.

Первое из этих «слов» («Паки радости Благовештение») слагается из нескольких частей: во вступлении материнство невинной Марии противопоставлено греху праматери Евы, приведены давние пророчества, а затем в диалогической форме изложена беседа бога с Гавриилом перед благовестием. Характерно, что Гавриил очень озадачен возлагаемым на него поручением; поэтому бог дает пояснения, предостерегая своего посла, чтобы он не испугал Марию. Сомнения архангела этим не поколеблены, и он размышляет: «Дивно дело преходит ум... Иже херовимом страшн и серафимом певидим. Иже есть аггельским силам не-

¹⁹ См.: Пушкин А. С. Гавриплада, с. 58.

²⁰ Заметим, кстати, что в Бессарабии 20-х гг. было много армян, а Кишинев являлся резиденцией армянского архиепископа. В кишиневском дневнике Пушкина отмечено «*bal chez l'archevêque arménien*». Здесь помещается в виду преев. Григорий (Захарьянов), «архиепископ обитающих в Бессарабии армян», см.: Арх. Гавриил [Айвазовский]. Армяно-грегорпанские архирен в Новороссии и Бессарабии. — Зап. Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1875, т. IX, с. 163

²¹ Перечень их — в названной выше работе П. Свенцицкого «Архаггелови вѣщания Маріи...», с. 7.

разумно. Обещавает девици сам своим лицом пришьствие явити. Паче же въход слухом обещавает ея. И осудивый Еугу дъштеръ своя велии славити грядет... то может ли чрево вмести невместимааго». Сомнение ангела господь пытается разрешить примерами из жизни Захарии и Елисаветы, Сары, Ревекки, и Анны. Но все это были люди, которые людям же давали жизнь, и потому Гавриил спрашивает вновь: «Небесътии и земьстии коньци не вместят тебе владыко, то како тя вместит чрево девиче?» В ответ господь ссылается на явление троицы Аврааму и на неопалимую купину Моисея. Только тогда Гавриил наконец исполняет волю господню и является к Марии с благовестием.²²

В другом «слове» «И царьских тайн празднество празднествуем днесь...»,²³ которое Свенцицкий предлагает считать как бы продолжением первого,²⁴ полнее развернут диалог Гавриила с Марией. В этом диалоге, полном живости и очень тонких реалистических подробностей, как бы намечена уже вся схема разговора пушкинской Марии с сатанюю и потом с Гавриилом. У Пушкина (стихи 441—447):

И перед ней коленопреклоненный
Он между тем ей нежно руку жал...
Потупя взор, прекрасная вздыхала,
И Гавриил ее поцеловал.
Смутясь она краснела и молчала,
Ее груди дерзнул коснуться он...
— Оставь меня, — Мария прошептала...

В «слове» Мария на привет архангела, посмотрев на него и ужаснувшись его красоте, замечает, что с его стороны нехорошо девушку подвергать такому испытанию, и велит ему уйти: «Не годе ми еси. Мьяню прельстити мы хоцещи, яко же Егу [Еву] матеръ бывшую въсего рода. Не пределеетъ доброта твоего зрака. Совесть еже к обручнику моему имам». Иди отсюда, повторяет она, потому что ревнив мой старик-муж; может случиться, что «приобрящещи себе скорбь». Но Гавриил не унимается и все твердит: «Радуйся обрадованная, господь с тобою». Далее, согласно повествованию канонических и апокрифических евангелий, предметом разговора служит самое предсказание, но и здесь сомнения Марии рассеиваются не сразу.

Если зачну сына, рассуждает она, то только от Иосифа, по в таком случае как он может стать великим? Обрученник мой нищ, а у меня нет ни достояния, ни богатой родни, а потому и сыну придется платить дидрахму подати. Иди себе восвосяи, говорит она Гавриилу, не говори мне льстивых земных речей, чтобы Иосиф не покинул меня, а тебе не отрубил бы топором головы. С большим трудом Гавриил наконец исполняет свое поручение. Как бы мы не отнеслись к попытке Свенцицкого дока-

²² Супрасльская рукопись / Изд. С. Северьянова. СПб., 1904, с. 248—251.

²³ И. И. Срезневский (Древние памятники русского письма и языка. СПб., 1863, с. 192—195) напечатал его по тексту Златоструя XII в.

²⁴ Свенцицкий И. Архангелови вѣщания Маріи... с. 16.

зять, что в данном случае мы имеем дело с двумя частями одного цельного благовещенского «слова», нельзя вместе с ним не признать, что автор его основал свое повествование на канонических и апокрифических текстах, но осмыслил их житейскими наблюдениями. Потому-то он и обращает внимание на красоту благовестника, которую не могла не заметить Мария, даже застыдившаяся и напуганная. Она боится быть обманутой, и это подтверждает, что она может стать хорошей матерью. В этих чисто бытовых подробностях — основная ценность этого «слова» как художественного произведения, и именно они, развиваясь в целые эпизоды, могли дать основание сюжету для кощунственной поэмы.

Я не берусь утверждать, что эти распространенные произведения славянской письменности могли быть известны Пушкину, хотя в этом нет ничего невероятного. Следует помнить, что, живя в Кишиневе, Пушкин не только имел доступ к библиотеке И. Н. Инзова, состоявшей из книг богословских и мистических,²⁵ но и несомненно пользовался ею. Мы знаем о столкновениях поэта на религиозной почве с кишиневским духовенством, составившим инзовский кружок,²⁶ о том кощунственном настроении, которое овладевало им в период принуждения его к исполнению христианской обрядности. Все это направляло его мысли в определенную сторону, но и вызывало соответствующую реакцию. Последняя, впрочем, питалась и извне: Ф. Ф. Вигель свидетельствует, что в 20-е годы «не только молодежь, но и пожилые люди, не понимая Спинозы, ни Ламетри, ни Вольтера, щеголяли вольнодумством. Не только в столице, но даже в провинции, в Пензе или Курске раздавались хулы на бога, эпитафии на богородицу».²⁷ В таком настроении могла восприниматься, соответственно деформируясь, и народная богородичная легенда.

Все перечисленные соображения заставляют нас вопрос об источниках сюжета «Гавриилиады» оставить открытым. Возводить его непосредственно к апокрифическим евангелиям нет решительно никаких оснований. За неимением положительных данных мы можем с одинаковым правом в числе источников сюжета поэмы считать и благовещенскую церковную службу, и старую славянскую литературу, и народную легенду.

²⁵ Русская старина, 1887, т. 53, февраль, с. 285—286. Книги Инзова впоследствии поступили в Одесскую публичную библиотеку (Российская библиография / Изд. Э. Гартве, 1880, № 6, с. 288).

²⁶ Инзов был, между прочим, вице-президентом «Бессарабского отделения русского библейского общества», организовавшегося в 1817 г. по инициативе митр. Гавриила. Главными деятелями общества были будущие кишиневские знакомцы Пушкина: К. А. Катакази, Ф. И. Педоба, М. С. Крупенский, Прункул, И. Варфоломей и ряд духовных лиц, среди которых особенно нужно отметить известного арх. Иринея (директор с 1817 г., в 1820 — секретарь) (см.: Дело Капцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, 1817, № 12, л. 84, 110). О столкновении последнего с Пушкиным рассказал Л. Мацевич со слов П. В. Дыдишковой (см.: Яковлев В. Отзывы о Пушкине. Одесса, 1887, с. 73—74).

²⁷ Тукалевский Вл Из истории философских направлений в русском обществе XVIII в. — ЖМНП, 1911, май, [год 11], с. 8.



СПОРЫ О СТИХОТВОРЕНИИ «РОЗА»

1

Из ранних стихотворений Пушкина лицейской поры, вероятно, лишь одно небольшое стихотворение «Роза» давно уже вызывает различные недоуменные вопросы, догадки, несогласия и споры, хотя на первый взгляд оно кажется прозрачным и ясным. Напомним прежде всего весь его текст:

Роза

Где наша роза,
Друзья мой?
Увяла роза,
Дитя зари.
Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вот жизни радость!
Цветку скажи:
Прости, жалею!
И на лилею
Нам укажи.

(I, 455)

В академическом издании «Сочинений» Пушкина 1900 г. Л. Н. Майков снабдил этот текст довольно подробным комментарием, в котором проследил эмблематическое значение лилии и розы в различные периоды словесного искусства, от античности и средних веков вплоть до нового времени. Однако вывод, к которому пришел этот опытный исследователь, был неопределенным и неясным: в стихотворении Пушкина, по его словам, «противоположение между двумя цветками проведено так осторожно и тонко, без всякого намерения вызвать правоучительное заключение, что пиеса не представляет никакой печати искусственности и является подобием наивной пародной песни».¹ Не более обладающая

¹ Пушкин П. Соч. 2-е изд. СПб., 1900, т. 1, с. 189.

ющими были и последующие пояснения к «Розе». В. Я. Брюсов, например, комментируя несколько лет спустя текст этого стихотворения в «Сочинениях» Пушкина под ред. С. А. Венгерова, принужден был признать, что «мысль поэта не совсем ясна, и остается неизвестным, в каком смысле противопоставляет он розу лилии».² Несколько неожиданной, но правдоподобной долгое время казалась догадка о «Розе» Ю. Г. Оксмана, высказанная в начале 20-х годов нашего века. В небольшой статье «Сюжеты Пушкина (отрывочные замечания)» стихотворению Пушкина давалось следующее объяснение: «В первой части „Писем русского путешественника“, — популярнейшей тогда энциклопедии художественных схем, суждений, образов, положений, философских и исторических реиниценсий, мы и находим ключ к раскрытию замысла „Розы“. В письме 1789 года, помеченном „Веймар“ июля 20, Карамзин делится впечатлениями от „одного из новейших сочинений Гердера—Бог“ (Бог. Несколько диалогов, написанных И. Г. Гердером. В Готе, у Этингера 1787): „Взглянем на лилию в поле; она вливает в себя воздух, свет, все стихии — и соединяет их с существом своим, для того чтобы расти, накопить жизненного соку и расцвести; цветет и потом исчезает. Всю силу, любовь и жизнь свою истощила она на то, чтобы сделаться матерью, оставить по себе образы свои и размножить свое бытие. Теперь исчезло явление лилии; она истлела в неумолимом служении натуре; готовилась к разрушению с пачала жизни. Но что разрушилось в ней, кроме явления, которое не могло быть долее, которое, достигнув до высочайшей степени, заключавшей в себе вид и меру красоты ее, — назад обратилось? и не с тем, чтобы лишась жизни, уступить место новейшим живым явлениям — сие было бы для нас весьма печальным символом — нет! Напротив того, она, как живая, со всюю радостию бытия произвела бытие их, и в зародыше любезного вида предала его вечно цветущему саду времени, в котором и сама цветет. Ибо лилия не погибла с сим явлением; сила корня ее существует; она вновь пробудится от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте подле милых дочерей бытия своего, которые стали ее подругами и сестрами. И так нет смерти в творении: или смерть есть не что иное как удаление того, что не может быть долее, т. е. действие вечно юной, неумолимой силы, которая по своему свойству не может ни минуты быть праздною или покоиться. По изящному закону Премудрости и Благости, все в быстрейшем течении стремится к новой силе юности и красоты — стремится, и всякую минуту превращается“».

Приведя эту длинную цитату из «Писем русского путешественника» Карамзина, автор заметки резюмирует: «Неожиданный философский смысл, смело сообщенный Гердером эмблематическому значению лилии, в этом крайне индивидуальном толкова-

² Пушкин. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., Изд. Брокгауз—Ефрон, 1907, т. I, с. 290.

нии ее и был воспринят в 1815 г. молодым поэтом. Пушкин через „любимого наперсника муз“, каким представлялся ему тогда Карамзин, один из избранников „Городка“ (1814). — соприкоснулся на мгновение с Гердеровской теодицеей и постулат ее оптимизма — отрицание небытия — утвердил в своей „Розе“».³

Указанная гипотеза о происхождении пушкинской «Розы» получила довольно широкое распространение: на нее иногда ссылались в пояснениях к последующим изданиям сочинений Пушкина, в новейших работах о его лирике и т. д. Так, например, в «Сочинениях» Пушкина (в изд. «Academia») 1936 г. говорилось: «В последних четырех стихах своего стихотворения Пушкин образу розы противопоставляет образ лилеи, символизирующий неуязвимую красоту и жизненную силу. Последний образ, возможно, заимствован Пушкиным из тридцать четвертого письма „Писем русского путешественника“ Карамзина».⁴ «Правдоподобность» этой догадки отмечал также Б. П. Городецкий⁵ и другие.

В недавнее время поиски нового истолкования «Розы» возобновились в связи с появлением публикаций статей о нем зарубежных исследователей. В 1966 г. профессор Гамбургского университета Дитрих Герхардт напечатал весьма интересное сообщение «Первый немецкий перевод стихотворения Пушкина».⁶ Ему удалось обнаружить, что произведения русского поэта впервые появились на немецком языке не в 1823 г., как это считалось раньше, а несколько ранее, — в 1821 г., когда в малоизвестном издании «Муза»⁷ было напечатано стихотворение «Роза» в вольном переводе Христофа-Августа Тидге. Интерес этой находки заключался не только в том, что переведенным оказалось именно это, а не какое-либо другое стихотворение Пушкина, и что это систематически ускользало от внимания библиографов, но прежде всего в том, что это был перевод еще не напечатанного произведения Пушкина: «Роза» появилась в печати лишь пять лет спустя (1826); следовательно, под руками у Х.-А. Тидге был рукописный список этого стихотворения, до нас не дошедший или, во всяком случае, нам неизвестный. Правда, Х.-А. Тидге называет свой перевод «вольным», хотя в нем столько же стихотворных строк (12), что и в «Розе» Пушкина; ссылка на «вольность» передачи затрудняет возможность составить себе представление об особенностях списка стихотворения, которое Тидге перевел. Этот список Тидге могли предоставить В. К. Кюхельбекер, побывавший в Дрездене в 1820 г., или В. А. Жуковский, если говорить лишь о близких

³ Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Ггр., 1922, с. 25—27.

⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 6-ти т. М.; Л., 1936, т. I, с. 664.

⁵ Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.; Л., 1962, с. 154.

⁶ Gerhardt Dietrich. Die erste deutsche Übersetzung eines Puškingedichtes. — Die Welt der Slaven, 1966, Jhg. XI, H. 1—2, S. 1—16.

⁷ Die Muse. Monatschrift für Freunde der Poesie und der mit ihr verwandten Künste, hrsg. von Friedrich Kind. Leipzig, 1821, Bd II. Erstes Heft, S. 5.

друзьях Пушкина; впрочем, вопрос о том, каким путем рукописное стихотворение Пушкина-лицейста могло дойти до немецкого поэта, пуждается еще в специальном обосновании, хотя основу для разысканий в этом направлении заложил уже Д. Герхардт, не только открывший забытый перевод Х.-А. Тидге, но и указавший на В. К. Кюхельбекера как на возможного посредника в этом предприятии немецкого поэта.⁸ Воспроизведем, прежде всего, весь немецкий текст пушкинской «Розы» для сопоставления его с известными русскими автографическими и печатными текстами этого стихотворения:

Die Rose

(Frei nach dem Russischen)

Wo ist sie hin, die Morgenrose,
Die schöne Blumenkönigin?
Ach! sie entging nicht ihrem Loose;
Ihr Raum ist leer, sie ist dahin!

Sagt nicht: das ist das Bild des Lebens;
So stirbt die Freud' in unsrer Brust!
Und klaget nicht; ihr klagt vergebens
Der Jugend eilenden Verlust!

Sprecht: fahre wohl! Du hast geendet!
Dann aber hebt den Blick empor
Vom Rosentode, Freund, und wendet
Ihn zu dem frischen Liljenflor.⁹

Характеризуя сделанные Х.-А. Тидге переводы нескольких русских народных песен, а также стяжавшей в Германии большую

⁸ Х.-А. Тидге (Christoph-August Tiedge, 1752—1841), второстепенный немецкий поэт, автор дидактической поэмы «Урания» и сентиментальных элегий, стал переводчиком нескольких произведений русских писателей и народных песен, очевидно, благодаря писательнице Элизе фон дер Рекке, в салоне которой, в Лейпциге и Дрездене, он встречал многих русских путешественников; в особенности тесными стали дружеские связи Тидге с Жуковским и А. И. Тургеневым во время пребывания их в Дрездене в 1826—1827 гг. В. К. Кюхельбекер познакомился с Тидге в Дрездене в салоне фон дер Рекке осенью 1820 г., что и описал сам в своем «Отрывке из путешествий», напечатанном в изданном им вместе с В. Ф. Одоевским альманахе «Мнемозина. Собрание стихотворений в стихах и прозе» (М., 1824, ч. II, с. 56—65). Здесь Кюхельбекер пишет о Тидге: «Я много рассказывал ему о нашей словесности, об Державине, Жуковском и молодом творце Руслана и Людмиллы (sic) и должен был перевести для него стихотворения Батюшкова и Пушкина; он хочет их переложить и поместить в журнале, который в непродолжительном времени будет издаваться в Германии в пользу семейств, пострадавших от войны 1813 и 1814 годов» (с. 57—58). Таким образом, хотя среди переведенных Кюхельбекером для Тидге (очевидно, дословно) стихотворений Пушкина «Роза» не упомянута, очень вероятно, что именно Кюхельбекер дал ее текст Тидге. Аналогичную роль популяризатора Пушкина Кюхельбекер, как известно, сыграл в беседах с Гете.

⁹ Gerhard Dietrich. Die erste deutsche Übersetzung eines Puškingedichtes, S. 5.

популярность песни «Прекрасная Мшка» («Schöne Minka, ich muß scheiden»), представлявшую собой перевод украинской песни «Іхав козак за Дунай» (все тексты этих песен, по-видимому, Тидге передал тот же Кюхельбекер), Э. Хексельшнейдер справедливо заметил, что эти произведения Тидге, «строго говоря, не могут быть названы переводами или даже подражаниями (seine Schöpfungen sind nicht Übersetzungen oder Nachdichtungen im strengen Sinne des Wortes)»; это, по его словам, «скорее его собственные стихотворения, о русском происхождении которых свидетельствуют их заглавия и некоторые особенности их сюжетов». ¹⁰ Что же касается «Розы» Тидге, Э. Хексельшнейдер хотя и указал на этот перевод и на издание 1821 г., где немецкое стихотворение было опубликовано впервые, но не опознал в нем переложение пушкинского текста, заметив лишь, что оно «восходит к какому-нибудь сентиментальному стихотворению (das aber wohl auf ein sentimentales Gedicht zurückgeht)»; ¹¹ правда, имя Пушкина не названо и у Тидге.

Г. Рааб, напротив, в специальном и очень солидном исследовании «Лирика Пушкина в Германии» привел полностью свидетельство Кюхельбекера, напечатанное в «Мнемозине», но заметил, что намерение Кюхельбекера дать Тидге кое-какие переводы из Пушкина осталось, вероятно, невыполненным, поскольку будто бы в немецких периодических изданиях ближайших к этому лет «никаких следов этих переводов не имеется». ¹²

Следовательно, лишь с тех пор как Д. Герхардт в 1966 г. перепечатал в своей статье «Розу» в «вольном переводе» Тидге и определил значение публикации 1821 г. как первого немецкого перевода стихотворения Пушкина, к тому же в России еще не опубликованного, возможным сделалось сопоставление русских текстов «Розы» и ее немецкого переложения. Следует, однако, сказать, что для интересующего нас истолкования пушкинского стихотворения, — на что, в данном случае, можно было рассчитывать, — «Роза» Тидге не дает почти ничего. Хотя Тидге на этот раз довольно близко следует русскому оригиналу (по немецкому подстрочнику, бывшему у него в руках), но последнее, тресте четверостишие в интерпретации Тидге теряет всю свою за-

¹⁰ H e x e l s c h n e i d e r Erhardt. Die russische Volksdichtung in Deutschland bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 1967, S. 64.

¹¹ Ibid., S. 191.

¹² R a a b Harald. Die Lyrik Puškin in Deutschland (1820—1870). Berlin, 1964, S. 25—26. — Г. Рааб в свою очередь основывался на предположении Г. Г. Цявловской, писавшей: «Очевидно, Тидге не осуществил своего намерения и не перевел ничего из Пушкина. По крайней мере, в просмотренном нами собрании его сочинений (С.-А. Tiedge's Sämmtliche Werke. Vierte Aufl. Leipzig, Bd 1—8, 1841) мы не нашли переводов из Пушкина» (см.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951, т. I, с. 773). Однако это собрание сочинений Тидге неполно, и перевод «Розы» из лейпцигского издания Ф. Кинда «Die Muse» (1821) в него не вошел. См также: Reissner Eberhard Deutschland und die russische Literatur 1800—1848. Berlin, 1970, S. 314.

гадочность и приобретает заурядный бытовой смысл: поэт предлагает читателю не думать об увядшей розе и взглянуть на «свежую лилию». При таком истолковании стихотворения весь скрытый смысл прогнвопоставления лилии — розе пропадает; в передаче Тидге увядшей розе без всякого ущерба могла быть противопоставлена вместо лилии «свежая» или расцветающая роза: как будто переводчик не почувствовал, что у Пушкина роза и лилия, несомненно, играют роль не реальных цветов, а являются лишь цветочными символами. Повишен ли в этом сам Тидге или автор немецкого подстрочника пушкинского стихотворения, которое Тидге перелагал в немецкие стихи, мы сказать не можем, не располагая никакими данными по этому поводу. Д. Герхардт, однако, отмечает, что цветочная символика не была чужда поэзии самого Тидге, в чем убеждают также его стихотворения, как «Утренняя роза» («Die Morgenrose») или «Блеск лилии невинности» («Lilienglanz der Unschuld»).¹³ Едва ли не в этом обстоятельстве следует видеть важнейшую причину того, что Тидге получил немецкий подстрочник «Розы» Пушкина, а не какого-либо другого его произведения. Если посредником между Тидге и поэзией Пушкина был действительно Кюхельбекер, хорошо знавший в 1820 г. все печатные и большинство рукописных произведений Пушкина, оставалось бы совершенно непонятным, почему он остановил свой выбор именно на «Розе», а не на ином, более значительном произведении своего лицейского друга: единственно правдоподобным могло бы быть предположение, что он остановился на «Розе» как на стихотворении, отвечавшем вкусу самого Тидге.¹⁴

В итоге приходится признать, что для истолкования пушкинской «Розы» ее первый немецкий перевод, сделанный Тидге, не дает ничего, что заслуживало бы внимания исследователей. Поэтому нельзя не признать вполне своевременной попытку еще раз обратиться к истолкованию «Розы», предпринятую Уолтером Викери в статье «К вопросу о замысле „Розы“ Пушкина».¹⁵

¹³ Gerhardt Dietrich. Die erste deutsche Übersetzung eines Puškingedichtes, S. 9. — Автор вспоминает здесь, кстати, также поэта Маттисона, которого Тидге встречал в том же салоне Элизы фон дер Рекке и чья поэзия была Тидге близка тематически и стилистически; в одном из писем к Бошштеттену от 21 августа 1789 г. Маттисон объяснял, что в его стихах розы и лилии потому встречаются чаще, чем другие цветы, что будто бы в немецком языке прочие цветы имеют слишком «варварские названия». У русских поэтов первых десятилетий XIX в. поэзия Маттисона была еще более популярна, чем поэзия Тидге (см.: Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906, с. 224—228).

¹⁴ До личной встречи с Тидге Кюхельбекер хорошо знал его поэзию. В позднем своем дневнике (запись от 11 августа 1833 г.) Кюхельбекер вспоминал, что его ранние стихи появились в 1817 г. в «Сыне отечества», где напечатал также свое первое стихотворение В. И. Туманский, являвшееся подражанием Тидге (см.: Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929, с. 125; Туманский В. И. Стихотворения. М., 1912, с. 45—49, 329).

¹⁵ Профессор университета в Колорадо (США) Уолтер Н. Викери (Walter N. Vickery) давно уже сосредоточил свои научные интересы в об-

В самом деле, как мы уже видели, замысел этого стихотворения, ключ к которому одно время казался утерянным, все еще представляется зыбким, неясным, интригующим; хотя известен ряд опытов его объяснения, большинство их относится к давшему времени, а результаты их не могут считаться ни бесспорными, ни даже правдоподобными.

Свою статью У. Викери начал с полемики против упомянутой выше гипотезы, что замысел «Розы» возник из рассуждения Гердера, приведенного в «Письмах русского путешественника» Карамзина. Эту старую догадку, долго державшуюся в пушкинской литературе, У. Викери счел неправдоподобной и нуждающейся в пересмотре. Он писал: «Подобное объяснение мы считаем небудительным по следующим соображениям: 1) Действительно, „в греческой антологии роза является символом не только „любви и плодородия“, но и скоропреходящих радостей, непрочности всего земного, а у римских поэтов получает даже эпитет brevis“ (Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова, с. 27). Однако вряд ли лилию у Гердера следует рассматривать как символ „прочности“ в обычном смысле слова: ведь и она „цветет и потом исчезает“ (в то же время к розе, в равной мере как и к лилии, можно отнести слова Гердера: «сила корней ее существует»; «она вновь пробудится от зимнего сна» и т. д.). Как мы увидим далее, в литературной традиции конца XVIII—начала XIX в. лилия обычно не служит символом прочности, — очень часто она имеет то же эмблематическое значение, что и роза.

2) „Философствование“ Гердера было чуждо и мировоззрению и творчеству юного поэта, и в частности, как мы надеемся показать ниже, чуждо духу пушкинского стихотворения.

3) При истолковании „Розы“ надо иметь в виду не только автора, но и адресата. Вполне правдоподобным нам кажется предположение М. А. Цявловского, что „Роза“ Пушкина является откликом на стих Вяземского „К друзьям“ — о символе молодости — розе, которая „утром гордится красой“, а к ночи увядает (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 6-ти т., М.; Л., 1936, т. I, с. 664). Стихотворение это не претендует на глубину, оно является характерным эпикурейским призывом к пользованию жизненными радостями мира сего:

ласти пушкиноведения: ему принадлежит много работ о Пушкине, появившихся в 50—60-е годы в разном периодических изданиях, в частности в славистических сборниках Индианского университета в Блумингтоне (Indiana Slavic Studies), одним из редакторов которых он состоял. В III томе этого издания (1963) появилась его большая работа „„Медный всадник“ Пушкина и героическая ода XVIII века»; ранее опубликованы стилистический эссе о «Полтаве», статья «Параллелизм в литературном развитии Байрона и Пушкина» и др. Недавно вышли в свет его книги: «Pushkin. Death of Poet». Bloomington and London, 1968 и «Alexander Pushkin» (Twayne Publishers. New York, 1970). Статья У. Викери «К вопросу о замысле „Розы“ Пушкина» опубликована в журнале «Русская литература» (1968, № 3, с. 82—90).

Кинем печали!
Боги нам дали
Радость на час...

и по своему духу близко к французским стихам Пушкина 1814 г. „Stances“. Стихотворение Вяземского требует в ответ не философской мысли, а остроты, меткого словца, до которого Вяземский сам был большой охотник». Исходя из того, что Пушкин умел «чутко откликаться на интересы и склад ума индивидуального читателя», У. Викери пытается извлечь еще один довод в пользу того, что «Роза» Пушкина, если она действительно представляет собой «ответ» П. А. Вяземскому, не могла быть в то же самое время вдохновлена рассуждением Гердера в переводе Карамзина. «Невероятно поэтому, — заключает У. Викери, — чтобы Пушкин, хотя он, по-видимому, и не был лично знаком с Вяземским во время писания „Розы“, так некстати и невпопад откликнулся на легкие стихи старшего поэта. И вряд ли пушкинская „острота“ могла бы заключаться в напоминании гердеровского учения о бессмертии творения. „Шутка“ выходила бы тяжеловесной и неуклюжей».¹⁶

Оставимся пока на приведенных цитатах из статьи У. Викери. Как мы видели, считая «неубедительной» гипотезу о рассуждении Гердера в передаче Карамзина как источнике «Розы» Пушкина, У. Викери, напротив, признал «вполне правдоподобным» предположение, что «Роза» является «ответом» на стихотворение П. А. Вяземского «К друзьям». В интересах последующего изложения мы предпочитаем высказаться отдельно по поводу каждой из этих догадок.

Отложим пока в сторону гипотезу о Гердере—Карамзине. Попробуем вдуматься в другую догадку и определить, действительно ли «правдоподобным» может быть названо допущение, что «Роза» возникла как ответ на призыв П. А. Вяземского «Кинем печали!» и т. д.

Стихотворение П. А. Вяземского «К друзьям» появилось в девятом номере журнала «Российский музеум» за 1815 г. Этот журнал, издававшийся В. В. Измайловым и просуществовавший лишь один год, занимает видное место в истории русской периодической печати. В этом журнале напечатано много стихотворений Пушкина, в том числе «Воспоминания в Царском Селе», бывшее первым его произведением, которое появилось в печати с полным его именем: «Александр Пушкин»; кроме Пушкина (напечатавшего здесь также послания к Н. Г. Ломоносову, К. Батюшкову, А. И. Галгчу и др.) в «Российском музеуме» свои стихотворения печатали В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, А. А. Дельвиг, П. И. Гнедич и другие русские поэты.¹⁷ Стихотворение Вяземского «К друзьям» («Кинем печали!») появилось

¹⁶ Викери У. К вопросу о замысле «Розы» Пушкина, с. 83.

¹⁷ Максимов А. Г. Российский музеум, или Журнал европейских новостей 1815 года, издаваемый Владимиром Измайловым: Библиографиче-

здесь под криптонимом В***; в этом же сентябрьском номере «Российского мезеума» опубликовано впервые стихотворение Пушкина «Мечтатель» (под криптонимом: I... 14.—17) и стихотворение «К А. С. Пушкину» («Кто как лебедь цветущей Авзонии») А. А. Дельвига, скрывшегося под инициалом Д. Отсюда мы можем заключить, что стихотворение «Кинем печали!» Пушкин читал, притом зная имя автора (которое, кстати, полностью названо в этой книжке в заглавии стихотворения В. А. Жуковского). Но П. А. Вяземский ранее во второй книжке того же журнала напечатал другое стихотворение, под тем же заглавием «К друзьям», начинавшееся следующими стихами:

Гонители моей невинной лени,
Ко мне и льстивые, и строгие друзья!
Благодарю за похвалы и пени, —
Но не ленив, а осторожен я!
Пуškai, довольствуясь быть знаем в круге малом,
Я ни одним еще не завладел журналом,
И, пальцем на меня указывая, свет
Не говорит: вот записной поэт!

В последующих стихотворных строках Вяземский всячески оправдывается в своем сибаритстве поэта-дилетанта и копчает свое послание двумя афористическими стихами:

Чтоб более меня читали,
Я стану менее писать!¹⁸

Это послание Вяземского было обращено к В. А. Жуковскому и К. Батюшкову. Это видно, в частности, из того, что на это произведение Жуковский тотчас же откликнулся посланием «К Вяземскому. Ответ на его послание к друзьям», напечатанным в следующем, третьем номере «Российского мезеума». Начинается оно следующими стихами:

Ты, Вяземский, хитрец, хотя ты и Поэт!
Проблему, что в тебе ни крошки дара нет,
Ты вздумал доказать посланьем,
В котором на беду стих каждый заклеимен
Высоким дарованьем!

Далее в этой длинной эпистоле, которой открывается третья книжка «Российского мезеума», Жуковский па все лады, с помощью всех традиционных классических прикрас и мифологических уподоблений, призывает пивого певца не отречься от творчества и писать, «когда писать внушает Аполлон!».

Притворство в сторону! Знай друг, что осужден
Ты своенравными богами

ское описание. — В кн.: *Sertum Bibliologicum* в честь проф. А. П. Маленна. Пб., 1922, с. 71—87.

¹⁸ Российский мезеум, 1815, ч. 1, № 2, с. 132—134.

На свете жить и умереть с стихами,
Так точно, как орел пад тучами летать,
Как благородный конь кипеть пред знаменами,
Как роза па лугу весной благоухать!

и т. д.¹⁹

Мне представляется очень вероятным, что на этом обмене друзей посланиями не закончился и что Вяземский, прочитав адресованные ему стихи, снова откликнулся на них очередным посланием («Кинем печали!») и напечатал его в том же «Российском музее» под прежним заглавием «К друзьям» потому, что он снова обращался к тем же участникам развернувшейся на страницах этого журнала стихотворной переписки — к Жуковскому и Батюшкову. Это был ответ на ответ. Вторая половина цитированного послания Жуковского овеяна меланхолией. Он только что призывал друга —

Летай перобкими перстами
По очарованным струнам,
И Музы не страшись. В перукотворный храм
Стезей цветущюю, по скрытую от света,
Она ведет Поэта! —

по внезапная мысль о посмертной судьбе поэта «погрузила его в унылость», и он делится с собеседником мрачным предчувствием:

Пускай правдивый суд потомством раздается —
Ему внимать наш прах во гробе не проснется.
И не достигнет он к бесчувственным костям!

Вяземский подхватывает этот мрачный мотив и обращает «к друзьям» новый утешительный анакреонтический призыв:

Кинем печали!
Боги нам дали
Радость на час...

и т. д.

Едва ли можно сомневаться в том, что Пушкин отчетливо представлял себе все этапы указанной поэтической переключки и что он не мог не знать, какую роль в ней сыграло заключительное послание Вяземского «К друзьям» («Кинем печали!»). Оно замыкало весь ряд и неотделимо от посланий, ему предшествовавших. Вот почему мне представляется крайне сомнительным, что Пушкин мог написать свою «Розу» в качестве «ответа» на стихотворение Вяземского, которое само по себе уже было ответом на обращение к нему Жуковского. Маловероятно, что Пушкин мог решиться включить себя самого в оживленную поэтическую беседу стихотворцев, старших по возрасту, к тому же еще не являвшихся его друзьями в прямом смысле этого слова; трудно

¹⁹ Жуковский. К Вяземскому: (Ответ на его послание к друзьям). — Российский музей, 1815, ч. I, № 3, с. 257—261.

допустить, что в «Розе» заключалось нечто вроде поучения или полемики с Вяземским, с которым Пушкин в 1815 г. еще знаком не был,²⁰ хотя в стихотворении Вяземского, действительно, тоже упомянута быстро увядающая роза, дающая повод к напускной меланхолии о скоротечности жизни:

Утром гордится
Роза красой.
Утром свежится
Роза росой.

К ночи прелестный
Вянет цветок;
Други! Безвестно,
Сколько здесь рок
Утр нам отложит, —
Вечер быть может
Наш недалек.²¹

«Российский музей» был полон посланиями, жанр которых был тогда в моде. Пушкин и его друзья, лицейские поэты, пристально следили за этим журналом и сами являлись его деятельными сотрудниками, обмениваясь на его страницах собственными посланиями друг к другу, — сверстники со сверстниками (например, Дельвиг и Пушкин), поскольку жанр посланий в «Российском музее» процветал и был одним из излюбленных. Вот по-

²⁰ П. А. Вяземский (род. 12 июля 1792 г.) был старше Пушкина на семь лет. Хотя, может быть, он видел Пушкина еще в детстве (Вяземский П. А. Собр. соч. СПб., 1893, с. 472—474), но более близкое их знакомство относится к лицейскому периоду жизни Пушкина. Б. Л. Модзалевский предполагает, что оно могло состояться в 1815 г. (Пушкин. Письма / Ред. Б. Модзалевского. М.; Л., 1926, т. I, с. 179); М. А. Цявловский (Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, т. I, с. 94), напротив, исходя из ряда свидетельских показаний, настаивает на более поздней дате их встречи — 25 марта 1816 г., когда Вяземский посетил Лицей вместе с Карамзиным, Жуковским, А. И. Тургеневым, С. Л. и В. Л. Пушкиными. Именно к этому времени М. А. Цявловский относит «начало знакомства Пушкина с Карамзиным и Вяземским». Первое письмо Пушкина к Вяземскому, посланное «вдогонку» за ним в Москву через два дня после их встречи (27-го марта в Царском Селе), полно жалоб на тяготы школьной жизни: Пушкин сетует на то, что ему предстоит «целый год еще дремать перед кафедрой. Это ужасно» — и признается: «От скуки часто пишу я стихи, довольно скучные (а иногда и очень скучные), часто читаю стихотворения, которые их не лучше». Едва ли эти строки Пушкина-школьника допускают, что уже за год перед тем он написал свою «Розу», адресуясь в этом стихотворении к тому же Вяземскому. В очень интересной статье И. Н. Розанова (И. Н. Вяземский и Пушкин: К вопросу о литературных влияниях. — В кн.: Вспомы: Сборник Общества истории литературы в Москве. М., 1915, т. I, с. 57—76), где приведены обширные данные о воздействии Вяземского на творчество Пушкина, стихотворение «Кинем печали!», естественно, не упоминается вовсе. Отметим также, что Пушкину было хорошо известно стихотворение Вяземского «Лилия» («О царственный цветок, о лилия младая, весны любимица, роскошная краса...»), без подписи автора напечатанное в «Литературной газете» (1830, 25 июня, с. 288).

²¹ Российский музей, 1815, ч. II, № 9, с. 964.

чему, если бы было необходимо именно на страницах этого журнала отыскать какой-либо текст, который мог бы оказаться одним из поводов или импульсов для возникновения пушкинской «Розы», мы предпочли бы сослаться не на «Кинем печали!» Вяземского, а на стихотворение А. А. Дельвига «Лилея»,²² помещенное здесь же и столь же хорошо известное Пушкину.

Ко всему сказанному выше следует, впрочем, добавить, что к соображениям о предполагаемой генетической зависимости «Розы» Пушкина от «Кинем печали!» Вяземского присоединены были соображения метрического характера. Так, Д. Герхардт, анализируя структуры обоих стихотворений, утверждал их метрическое родство, усматривая в двухстопных дактилях стихотворения Вяземского вероятный источник двухстопных ямбов пушкинской «Розы». Ему представлялось очень вероятным, что «образцом для Пушкина было стихотворение Вяземского, на которое он ответил не только идейно и образно, но и метрически («Puškin habe Vjazemskijs Vorbild nicht nur gedanklich und bildlich, sondern auch metrisch beantwortet»): взгляд, брошенный от увядающей розы на лилию, которым он [Пушкин] дополняет разочарованную концовку стихотворения Вяземского, и созерцательный метр „Розы“ после скачущих тактов у Вяземского — связываются воедино: лишь возвращаясь к вакхическим радостям в „Здравном кубке“, он снова обращается к этому оживленному метру

²² Вся мартовская книжка первой части «Российского музеума» состоит главным образом из посланий. Она открывается ответом «К Вяземскому» Жуковского («Ты, Вяземский, хитрец...»); далее следует «Ответ на послание Василью Львовичу Пушкину» самого Вяземского, затем идут подписанные криптонимом — послание А. С. Пушкина «К Н. Г. Л-ову» (лицейству Ломоносову) и его же «Козак» (с. 263—266); на той же странице, где кончается последнее стихотворение, опубликовано небольшое стихотворение Дельвига (с подписью: — Д —) «Лилея» (с. 266), открывающееся следующим восьмистишием:

Оставь, о Дорида, на стебле лилею:
Она меж цветами прелестна как ты:
Пусть тихо зефиры колеблются с нею
И рой легкокрылый собирает соты!
Она наклонилась к фиалке щастливой;
Над ними трепещет златой мотылек;
Блестая любовью ручей говорливой,
На струйках рисует любимый цветок.

Во втором восьмистишии, напоминая Дориде: «Блаженство вкушает Природа с весной», поэт упрекает недоступную красавицу:

Но ты неподвластна Природы закону!

Любопытно, что эта редакция стихотворения ни разу не перепечатывалась самим Дельвигом; в новой редакции оно изменило свое заглавие («К Дориде») и подверглось радикальной переработке: из него полностью исчезли упоминания лилеи, зато появилась роза (в строке «Над розой трепещет златой мотылек»), и в таком виде стихотворение напечатано слова (Благонамеренный, 1818, март, с. 290).

«. . .» Вообще же, — заключает Д. Герхардт, — эта метрическая зависимость Пушкина от Вяземского кажется мне более очевидной или, во всяком случае, более существенной, чем тематическая, бывшая лишь очень косвенной». ²³ Все это построение кажется мне искусственным и маловероятным. Стихотворение Вяземского написано двухстопным дактилем, размером, подсказанным ему, может быть, «Пуншевой песнью» Шиллера; ²⁴ как известно, той же песнью Шиллера (и тематически и метрически) вдохновлялся и Пушкин в своем «Заздравном кубке» (1816), где, однако, применена иная система рифмовки (в «Пуншевой песне» Шиллера рифм нет); но двухстопным дактилем написан также один из куплетных отрывков пушкинской «Леды» (1814), и этот размер, по справедливому наблюдению Б. В. Томашевского, «надо считать вариантом ритма двухстопного ямба и родственным стихам типа „Где папа роза“». ²⁵ Несколько указаний Д. Герхардта на эротическую символику «лилии» и «розы» в русской и мировой поэзии почти не выходят за пределы поэзии Карамзина и Жуковского и не дают ничего нового для истолкования пушкинской «Розы»; ²⁶ гипотеза о возникновении ее из рассуждений Гердера, по-видимому, осталась Д. Герхардту неизвестной.

Возвратимся к статье У. Викери. Поддержка догадки о том, что «Роза» Пушкина является «отвлесом» на стихотворение Вяземского, Викери ищет во французской поэзии примеры, которые могли бы подтвердить понравившееся ему предположение. Он приводит, например, стихотворение «Письма к Эмилии о мифологии» (*Lettres à Emilie sur la Mythologie*, Paris, 1812) Ч.-А. Демутье — нечто вроде занимательно изложенного компендиума по всем отделам античной мифологии как обязательной в то время воспитательной дисциплины. В одном из этих писем, указывает У. Викери, «мы находим описание Весны: здесь Флора, вечно юная мать Весны, несет с собой корзиночку, полную роз и лилий». ²⁷ Нельзя не обратить внимания на то, что и в стихотворении

²³ Gerhardt Dietrich. Die erste deutsche Übersetzung eines Puškingedichtes, S. 7—8.

²⁴ Вяземский П. А. Стихотворения / Ред. Л. Я. Гинзбург. 2-е изд. Л., 1958, с. 417—418 (Библиотека поэта. Большая серия).

²⁵ Томашевский Б. В. Строфика Пушкина. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958, т. II, с. 108. — Здесь же Б. В. Томашевский, ставя вопрос о возможных метрических прототипах Пушкина при употреблении им двухстопного дактиля, выдвигает гипотезу, что прототип подобного метра следует искать во французской средневековой поэзии: «В период увлечения „трубадурной“ поэзией подобной формы возвращались во Францию (вторая половина XVIII в., эпоха консульства и империи). Образец подобных стихов мы найдем и у Парни».

²⁶ Д. Герхардт ссылается, в частности, на статью: Wissemann H. Wandlungen des Naturgefühls in der neuen russischen Literatur. 1. Karamin und Zukovskij (*Zeitschrift für slavische Philologie*, 1960, Bd XXVIII, H. 2, S. 303—332), в которой подчеркивается, что и у Карамзина и у Жуковского много стихотворений, основанных на цветочной символике; ни о Пушкине, ни о Вяземском здесь, однако, не упоминается.

Вяземского „К друзьям“ (т. е. «Кинем печали!») мы имеем дело с Флорой:

Флора лслееет
Прелесть садов!

Итак, у Демутье — Флора, розы и лилии, у Вяземского — Флора и роза, которая вянет; а у Пушкина нет упоминания о Флоре, но увядшая роза Вяземского заставляет думать о лилии. Приманчива мысль, что именно стихотворение Демутье и заставило Пушкина напомнить Вяземскому о существовании лилии, о которой последний будто бы забыл. В таком случае можно было бы утверждать, что стихотворение Демутье и послужило непосредственным источником для Пушкина. Но мы сейчас не будем увлекаться такой мыслью. Она никак не меняет сути дела. Хочу подчеркнуть, что от такого прямого сопоставления наш тезис не зависит. Тезис опирается скорее на общую литературную традицию и общее отношение к цветам-символам.²⁷

Заключительное слово этого рассуждения У. Викери избавляет нас от необходимости возражать против его новой догадки о роли «Писем» Демутье в создании «Розы». Не будем входить в детальный разбор этой новой гипотезы, поскольку на ней не настаивает и сам автор ее. Дальнейшие приводимые им в его статье примеры из французской поэзии, подтверждающие, что в пей были традиционными послания, «близкие по содержанию к стихотворениям Вяземского и Пушкина», представляют известный интерес, но не всегда являются новыми в исследовательской литературе о Пушкине и русской поэзии его времени.²⁸



Критическая литература, накопившаяся вокруг «Розы», довольно обширна и противоречива; поэтому в ней легко запутаться. В данном случае, как и во многих других, отрицательно сказано отсутствие хорошо и достаточно подробно комментированного издания стихотворений Пушкина, в котором были бы собраны и систематизированы все наиболее ценные отзывы о произведениях великого поэта, а также сообщены важнейшие итоги их долголетнего изучения. Из-за отсутствия такого издания изучение это развивалось неравномерно, а относительно отдельных стихотворений и вовсе не подвигалось вперед; продолжали высказываться выдаваемые за новые старье, давно уже отброшенные

²⁷ Викери У. К вопросу о замысле «Розы» Пушкина, с. 86.

²⁸ Там же, с. 86—90. — В связи с замечанием профессора У. Викери о том, что «при истолковании „Розы“ надо иметь в виду не только автора, но и адресата», напомним о существовании традиции рассматривать «Розу» как скрытый или даже явный диалог. Так, одна из музыкальных композиций на пушкинский текст «Розы» (Надежды Самсоновой) пазывалась «дуэтипо» и рассчитана была на два голоса (см.: Булич С. К. Пушкин и русская музыка. СПб., 1900, с. 61).

догадки; прежние ошибки и немотивированные допущения повторялись беспрепятственно, без учета в свое время предложенных к ним поправок; новые домыслы предлагались свободно, без сопоставления и сверки их с теми, какие уже были сделаны по тем же поводам. Все это в полной мере относится и к стихотворению Пушкина «Роза»: в истолкованиях его мы можем встретить немало спорных утверждений и неисторических обобщений, выдаваемых порою за итоги предшествующих исследований этого стихотворения, иногда же никак с ними не согласованных. В качестве примера сошлемся хотя бы на статью В. Васиной-Гроссман «Глинка и лирическая поэзия Пушкина». В этой работе, содержащей в себе ряд интересных наблюдений над особенностями и техническими средствами музыкального воссоздания лирики Пушкина в романском творчестве М. И. Глинки, есть также замечания о его романсе на текст пушкинской «Розы»; однако высказанные здесь суждения автора об этом романсе не могут не насторожить нас, так как истолкование его, по меньшей мере, спорно и едва ли вытекает из всей предшествующей истории изучения пушкинского текста.

В. Васина-Гроссман утверждает, в частности, что в группе «эпикурейских» романсов Глинки на слова Пушкина романс «Где наша роза» следует выделить особо, как «маленький шедевр...», являющийся, в сущности, законченным художественным выражением жизненной философии Пушкина и Глинки». Столь ответственной декларация, естественно, не могла обойтись без пояснений; они и действительно сделаны здесь же, хотя, с нашей точки зрения, отнюдь не усиливают правдоподобие высказанной мысли. Исследовательница утверждает, например, следующее: «Образы этого стихотворения: свежий цветок, расцветающий на смеху увядшему, — выражают оптимистическую идею, очень характерную для Пушкина: жизнь и красота существуют и будут существовать вечно». Пытаясь далее несколько конкретизировать эту выдаваемую за пушкинскую, неизвестно каким путем выведенную эстетическую формулу, она пишет: «Развитие художественного образа в стихотворении Пушкина подчинено строгим логическим законам; анализ поэтической композиции обнаруживает ее удивительную продуманность, не парусающую впечатления простоты и естественности. Первое четверостишие дает основной „тезис“ стихотворению: в образе увядшей розы раскрывается мысль о бренности всего земного. Далее идет рассуждение по этому поводу — цепь синтаксически параллельных звеньев, захватывающая второе четверостишие и до стиха третьего:

Не говори:	Вот жизни радость!
Так вянет младость!	Цветку скажи:
Не говори:	Прости, жалею!

В последнем двустишии:

И на плечо
Нам укажи, —

вводится повый образ — лилея, расцветшая на смену увядшей розе, символ вечной смены мертвого — живым. Значительность этого образа, значительность двух завершающих стихов композиционно подчеркнуты изменением порядка чередования рифм: вместо перекрестных рифм — опоясывающие».²⁹

Было бы, разумеется, трудно возразить что-либо против того наблюдения исследовательницы, что «внутреннее расчленение музыки Глинки па эти слова в точности совпадает с разделами поэтической композиции» Пушкина; музыковеды неоднократно подчеркивали совершенство музыкального претворения в данном романсе Глинки этого стихотворения поэта: композитору действительно удалось сохранить здесь все интонационные и ритмические особенности пушкинского текста и добиться полного слияния в звучании мелодии и поэтического слова. Мы были бы готовы согласиться также с определением романса Глинки «Где наша роза», даваемым В. Васиной-Гроссман, как произведения «уникального», которое можно было бы назвать «музыкально-поэтическим афоризмом».³⁰ Тем не менее все то, что в указанной статье говорится об идейном смысле этого «афоризма», кажется рискованным, произвольным, не согласованным с другими произведениями поэта, отзывается явным и напрасным преувеличением. Почему, например, «образ лилеи» следует толковать как «символ вечной смены мертвого — живым»? Где и когда Пушкин мог усвоить и применить в своей поэтической практике столь необычное и нетрадиционное восприятие лилии как поэтического символа? На чем основано утверждение, что в стихотворении «Роза» Пушкин будто бы выразил «очень характерную» для него идею, что «жизнь и красота существуют и будут существовать вечно»? Допустимо ли, наконец, считать, что как в своем поэтическом обличии, так и в своем музыкальном воссоздании, сколь бы явственно ни ощущалось их органическое сродство, стихотворение-романс является «законченным художественным выражением жизненной философии Пушкина и Глинки»? Все эти вопросы остаются без ответов, потому что приведенные домыслы сделаны *ad hoc*, внушены случайно возникшим субъективным ощущением, не основаны па традиции предшествующих истолкований данного стихотворения, хотя для них уже производились в свое время необходимые предварительные разыскания, приближавшие к решению задачи.

Одним из важнейших отправных пунктов при истолковании любого произведения искусства должна служить дата его создания, установленная точно или предположительно. Стихотворение Пушкина авторской даты не имеет, и мы не знаем, при каких обстоятельствах оно было написано; однако его обычно относят

²⁹ Васина-Гроссман В. Глинка и лирическая поэзия Пушкина. — В кн.: М. И. Глинка: Сборник материалов и статей. М.; Л., 1950, с. 102.

³⁰ Там же, с. 103.

к 1815 г., для чего имеются известные основания.³¹ Следовательно, это стихотворение написано шестнадцатилетним юношей-лицейстом и является произведением еще неопытной музыки. Уже по одному этому оно не могло являться «законченным художественным выражением жизненной философии Пушкина»: мировоззрение юного поэта в лицейские годы находилось только в периоде своего становления и было еще далеко от зрелости; творчество же его, несмотря на удивительную одаренность юноши, естественно, не могло еще иметь полной самостоятельности. Тем более неоправданной следует признать попытку механически объединить в одно неразличимое целое искусственно абстрагированную именно из этого стихотворения формулу «жизитерской философии» Пушкина с предполагаемой основой мировоззрения М. И. Глинки (кстати сказать, создавшего музыку к «Розе» лишь в 1838 г., т. е. почти четверть века после того, как это стихотворение было написано Пушкиным).³²

³¹ К этому году «Роза» отнесена в академическом Полном собрании сочинений Пушкина (I, 455) и в большинстве последующих изданий. Ср.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, с. 89.

³² Нечто подобное, хотя и с большей осторожностью, допускает также автор специальной монографии «Глинка и Пушкин» С. Шлифштейн (М.; Л., 1950, с. 46—47); он анализирует, в частности, романс «Где наша роза», в котором, по его словам, «Глинка сумел воплотить... самый дух поэзии Пушкина, присущее ей светлое, неугасимое чувство жизни, ее реализм <...> В форме мечтательной элегии Глинка выразил здесь ту же мысль о вечно обновляющемся начале жизни, которую устами народной мудрости провозгласил затем в своем главном пушкинском создании — в „Руслане“:

За благом вслед идут печали,
Печаль же радости залог».

По мнению С. Шлифштейна, романс «Где наша роза» обращен «к радости, к любви, в которой и Пушкин и Глинка видели источник животворящей красоты и правды жизни» (с. 47). Характерно, впрочем, что тот же С. Шлифштейн хотя и удивлялся этой «пушкинской миниатюре» Глинки, называя ее «шедевром лирического творчества, соединяющим в себе мелодическую текучесть музыки с тончайшей реалистической интонационностью», но подметил все же, что стихотворный текст «Розы», который мы находим при нотах романса Глинки, не совпадает с обычным печатным текстом стихотворения Пушкина, что, по нашему мнению, побуждает к еще большей осторожности при их отождествлении. Мы не знаем оснований, которые позволили автору утверждать, что Глинка имел дело с двумя редакциями пушкинского стихотворения и что будто бы «Глинка при отборе текста пользовался обеими редакциями, свободно компилируя из них одно целое вплоть до замены дельных пушкинских слов своими». Тщательное сличение текстов показывает, что несходство потной и традиционной печатной редакций было довольно существенным: «Основой для романса служила все же ранняя редакция, в которую Глинка вносил лишь отдельные более поздние поправки Пушкина. Этим, видимо, и объясняется, почему вместо пушкинского: „Не говори так вьет младость! Не говори: вот жизни радости!“ — у Глинки, помимо перестановки стихов шестого и восьмого, в седьмом стихе вместо „говори“ звучит „повтори“, впоследствии отброшенное Пушкиным, как не совсем точно выражающее его мысль. Но досадным образом в романсную редак-

Подобные ошибочные и бесполезные преувеличения допускали и раньше некоторые критики Пушкина, придавая его «Розе», этому маленькому и, разумеется, случайному стихотворению юного поэта, песоразмерно большое значение, какого оно в действительности безусловно иметь не могло. Основанием для этого служила традиционная высокая эстетическая оценка этого стихотворения, и на самом деле отличающегося изяществом и соразмерностью своей композиции; это, впрочем, не обособляет его от всей группы лицейских стихотворений, с которыми оно связано органически и на фоне которых оно и должно рассматриваться.

В. Брюсов в свое время отмечал, что среди лицейских стихотворений поэта стихотворение «Роза» «выделяется особой музыкальностью стиха», и добавлял, что будто бы «сам Пушкин признал его значение, включив в издание 1826 г.»;³³ однако этот довод едва ли играл столь категорическую роль, какая нередко ему отводится. «Роза» действительно впервые напечатана в издании «Стихотворения Александра Пушкина» 1826 и 1829 гг. (в отделе «Эпиграммы и подписи») и перепечатывалась затем в других сборниках.³⁴ Сохранилось стихотворение и в автографе поэта в лицейской рабочей тетради, составленной около 1817 г.,³⁵ и в авторизованной копии (написанной около 1820 г.).³⁶ Известно, что между 1818—1820 гг. Пушкин несколько раз начинал готовить свой стихотворения к изданию; он отбирал их, производил опыты их группировки по отделам, пересматривал их текст. В лицейской рабочей тетради 1817 г., например, сохранилось не-

цию стихотворения вкралась ошибка: вместо „Не повтори так вянет младость“ — „Но повтори...“, что совершенно бессмысленно». Все это приводит автора к несколько неожиданному заключению: «В интересах не только Пушкина, но и самой музыки Глинки, так дивно воссоздающей поэтическую прелесть пушкинского стихотворения, следовало бы восстановить его подлинную пушкинскую редакцию» (с. 47).

³³ См.: Пушкин. Сот. Изд. Брокгауз-Ефрон, т. I, с. 290; до него еще Л. И. Поливанов в своем издании писал, что в стихотворении «Роза» «выступает артистическая манера отрока-Пушкина», сумевшего этому «вихрю звуков» придать «оттенок той неги, которая под искусным смычком звучит в мотивах вальса» (Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики / Изд. Льва Поливанова. 2-е изд. М., 1893, с. 32).

³⁴ Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати. 1814—1837: Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни. 2-е изд. М., 1938, с. 34, 68 (№№ 189, 594). В конце 20-х—начале 30-х гг. стихотворение перепечатано в двух салонных изданиях: Листки граций, или Собрание стихотворений для альбомов. М., 1829, с. 10; Венера, или Собрание стихотворений разных авторов. М., 1831, ч. 1, с. 72 (см. №№ 452 и 579 того же указателя). Тем досаднее оплошность, допущенная в широкоизвестном популярном издании Полного собрания сочинений Пушкина в десяти томах, где в примечании к стихотворению «Роза» сообщается: «При жизни Пушкина не печаталось» (М.; Л., 1949, т. I, с. 475; то же в издании 1950 г.; в последующих изданиях ошибка исправлена).

³⁵ Соловьева О. С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский дом после 1937 г.: Краткое описание. М.; Л., 1964, с. 12 (№ 829).

³⁶ Там же, с. 12, 15 (№№ 829, 847: «тетрадь Всеволожского»).

сколько слоев поправок и отметок, напосившихся на рукопись не только Пушкиным, но и его друзьями, по крайней мере до 1825 г.

Автограф «Розы» в этой тетради снабжен пометой «не надо», несомненно сделанной в связи с планировкой одного из задуманных изданий. Но планы этих возможных книг год от года менялись, а старые пометы забывались; поэтому некогда отброшенные стихотворения опять заносились в будущие оглавления и отдавались в переписку. Догадка М. К. Клемана, относительно того, что пометы «надо» или «не надо» «не имеют никакого отношения к изданию 1826 года», не подтвердилась,³⁷ хотя, разумеется, и сейчас трудно установить время, когда они сделаны; ясно лишь то, что никакой последовательности в отборе стихотворений для предполагаемых изданий не наблюдалось — особенно в те годы, когда издание стихотворений опального поэта, томившегося в изгнании, должны были осуществить его друзья. Их литературные вкусы не совпадали, поэтому у них не могло быть единодушия в восприятии и оценке тех или иных стихотворений Пушкина-юноши. Брату Льву Сергеевичу, принимавшему участие вместе с П. А. Плетневым и В. А. Жуковским в подготовке к печати «Стихотворений» 1826 г., Пушкин в ожидании присылки рукописи к нему в деревню писал (14 марта 1825 г.) весьма решительно: «... давай уничтожать, переписывать и издавать». Обратив внимание на то, что в этой программе совместных действий глагол «уничтожать» стоит на первом месте: как ни мечтал Пушкин об издании сборника стихов, но к созданиям своей музы он был очень требователен и строг и не хотел включать в издание такие стихи, какие могли бы вызвать сомнение с чьей-либо стороны. Этим и объясняется, что в сборник 1826 г. попало всего лишь несколько стихотворений лицейских лет. Хотя «Роза» вошла в издание 1826 г. и, следовательно, должна числиться среди произведений, отобранных самим поэтом для печати, такой «отбор» на этот раз являлся, вероятно, делом случая и был далек от со-

³⁷ См.: Клеман М. К. Текст лицейских стихов Пушкина. — В кн.: Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова, с. 8. — Исследователь обращал внимание на то, что в тетради «против стихотворения „Послание Лиде“, не вошедшего в это издание, стоит пометка „ненад.“, но точно такая же пометка имеется против стихотворений „Роза“ и „Гроб Анакреона“, нашедших место в сборнике. Против стихотворений „Месяц“ и „Надпись к беседке“ написано „надо“, но оба они Пушкиным не напечатаны». Отсюда М. К. Клеман заключил, что и пометы могли, однако, относиться к тетради Всеволожского, за отсутствием которой нельзя определенно установить их смысла. Однако, когда «тетрадь Всеволожского была найдена, оказалось, что пометы к ней не относятся. Описавшие тетрадь Б. В. Томашевский и М. А. Цявловский, тщательно проанализировав всю рукопись, пытались датировать эти пометы 1818—1819 гг. (См.: Летопись Государственного литературного музея. М., 1936, кн. I, Пушкин, с. 40). На листе 12 (23) тетради Всеволожского находится «стихотворение „Роза“, переписанное писарским почерком; слева сделана карандашная помета „М“, что авторы описания толкуют как мелочь (см. вклейку между с. 16 и 17, а также с. 47).

зпательного намерения автора: он не связан с мыслью Пушкина об особом значении данного стихотворения; даже в представлении друзей поэта оно являлось лишь «мелочью», второстепенной и необязательной.

Из всего сказанного можно вывести заключение, что «Роза» Пушкина должна считаться одним из типичных образцов его лицевидского творчества; при всех своих поэтических достоинствах это стихотворение, конечно, не может играть той слишком ответственной роли, которую поручают ему некоторые исследователи. Нельзя, однако, впадать и в другую крайность, отрицая вовсе какое-либо его значение и видя в нем лишь своего рода «пробу пера». В одной из зарубежных биографий Пушкина по этому поводу говорилось: «Каким веселым звонким смехом залился бы на весь Лицей Пушкин, если бы ему сказали, что много ученых страниц будет напечатано об двенадцати строчках его „Розы“...».³⁸ На это следует заметить, что изучение ранних литературных опытов всякого крупного поэта не только занимательно, но и очень существенно, если мы хотим понять и представить себе историю дальнейшего развития и мастерства данного поэта. Для исследователей Пушкина лицейская пора, когда он гигантскими шагами шел к своей поэтической зрелости, знаменуя рождение новой русской литературы, представляет интерес особой, чрезвычайной важности. Поэтому всякая попытка внести ясность в любой из множества нерешенных вопросов, относящихся к биографии и творческой деятельности Пушкина-юноши, должна быть встречена с благодарностью.

3

Один из ближайших друзей Пушкина-лицейца, И. И. Пущин, рассказавший так много интересного о Пушкине-отроке, утверждает, что в самых ранних воспоминаниях об их совместной жизни образ мальчика неотделим от уже тогда увлекавшего его поэтического творчества: «При самом начале — он наш поэт».³⁹ Как известно, в первые годы существования Лицея самостоятельные внеучебные литературные занятия лицейцев то запрещались, то поощрялись. В 1812 г. (в письме от 26 апреля) лицеист А. Илличевский сообщал в Петербург своему другу: «Скажу тебе новость: нам позволили теперь сочинять».⁴⁰ Вероятно, именно к этому году относится воспоминание того же И. И. Пущина о сделанной Н. Ф. Кошанским попытке включить занятия стихотворством в учебные занятия лицейцев. По рассказу Пущина, Кошанский однажды, окончив лекцию раньше урочного часа, сказал лицей-

³⁸ Тыркова-Вильямс Ариадна. Жизнь Пушкина. Париж, [1929], т. I, 1799—1824, с. 108.

³⁹ Пущин И. И. Записки о Пушкине. М., 1937, с. 43.

⁴⁰ См.: Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899, с. 56—57.

стам в классе: «„Теперь, гг., будем пробовать перья: опишите мне пожалуйста розу стихами“. Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Копанский взял рукопись к себе».⁴¹

К сожалению, это классное упражнение — описание «розы», понравившееся не только сверстникам поэта, но и преподавателю, до нас не дошло: его поучительно было бы сравнить со многими другими поэтическими «розами», столь щедро рассыпанными в ранней пушкинской лирике.

Душистые гирлянды из этих роз сплетаются уже на страницах ранних стихов Пушкина. Так, «Розы нежный цвет» упомянут в «картинах» «Фавн и пастушка» (1813—1817; I, 274).

Только весной
Зефир младую
Розой пленен, —

читаем в стихотворении «Измены» (1815; I, 108).

К 1814 г. относятся французские стансы («Stances») Пушкина.⁴² Здесь роза описана в пяти четверостишиях гладких французских стихов, от которых не отказался бы любой французский стихотворец XVIII в. Уже в первой строфе идет речь о быстротечности цветения розы, являющей живой образ любви:

Avez-vous vu la tendre rose,
L'aimable fille d'un beau jour,

Quand au printemps à peine éclose,
Elle est l'image de l'amour?⁴³

и т. д.
(1, 89)

В последующих строфах названо женское имя Eudoxie, давшее повод для традиционной стихотворной параллели между девушкой и розой. Тут же сделано напоминание о грядущей непогоде и неизбежной близости увядания цветка: стоит подуть зимним ветрам, и цветы погибнут.

Et plus de fleurs, et plus de rose!
L'aimable fille des amours

⁴¹ Пущин И. И. Записки о Пушкине, с. 43. — Существует свидетельство, что это восхитившее всех стихотворение было помещено в лицейском журнале «Неопытное перо», выходявшем в 1812 г.; ни один номер этого журнала не сохранился.

⁴² См.: Цявловский М. А. Хронология лицейских стихотворений. — В кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 84.

⁴³ Перевод:

Видели ль вы нежную розу,
Любезную дочь ясного дня,
Когда весной, едва расцветши,
Она являет образ любви?

Tombe fanée, à peine éclose;
Il a fui, le temps des beaux jours.⁴⁴

Столь же нежной и хрупкой является и человеческая жизнь.

Отсюда следует естественный вывод: любите, время не терпит, радуйтесь юности, пока не сменила ее хладная старость!

Хотя русское стихотворное упражнение Пушкина на тему о розе, заданную лицеистам Н. Кошарским, до нас не дошло, мы едва ли ошибемся, если предположим его близость к данным французским стансам молодого поэта. Порокой тому может служить явно ученический характер стансов, состоящих исключительно из одних общих мест. «Stances», по-видимому, выполняли приблизительно ту же роль, что и русская «Роза», — свидетельствовали о достижениях юности во французской версификации. Скоротечность земных радостей, сопоставленных с быстротой увядания розы, — одна из древнейших лирических тем, популярная еще у александрийцев и римских элегиков.⁴⁵ Пушкин с юных лет был хорошо знаком с этими образами и ходом мыслей по десяткам, если не сотням поэтических образцов, как французских, так и античных, а некоторые из них, ставшие общеизвестными источниками цитат и крылатых выражений, вероятно, знал даже наизусть, как и прочие школьники-лицейсты, широко пользовавшиеся учебными французскими хрестоматиями для занятий. Таковы были, например, знаменитые стансы Малерба «Утешение г-ну Дюперье по случаю кончины его дочери», в которых французский поэт сравнивал умершую девушку с рано, на утре дней, увядшей розой:

⁴⁴ *Перевод:*

И нет более цветов, и нет более розы!
Любезная дочь любви,
Завянув, падает, едва расцветшая:
Минувала пора ясных дней!

Можно сравнить эти французские стихи Пушкина с тем сентиментальным романсом, который Флориан включил в текст своего французского перевода «Дон-Кихота» Сервантеса, заменив им ту вольную песню, которую в испанском подлиннике поет камеристка Альтисидора; у Флориана она сравнивает себя с увядающей розой:

Semblable à ces roses d'un jour
Que le même jour voit fanées. . .

В переводе Жуковского (1804):

Лишь только роза расцвела,
Уже поблекла, опадает. . .

(см.: Резанов В. И. Из разысканий
о сочинениях В. А. Жуковского, СПб.,
1906, вып. 1, с. 345)

⁴⁵ См.: André J. Etude sur les termes des couleurs dans la langue latine. Paris, 1949, p. 329.

Mais elle était du monde, où les plus belles choses
Ont le pire destin:
Et Rose elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.⁴⁶

Общеизвестно, что в черновом наброске «О французской словесности» (1822), рассуждая о французской поэзии и значении ее для русской литературы, Пушкин заметил именно о приведенных стихах французского классика XVI в.: «Малерб держится 4 стр.<оками> оды к *Дюперье*. . .» (XII, 191).

Было бы бесполезно искать дальнейших аналогий французским стансам Пушкина с их увядающей розой любви, так как они поистине неисчислимы: роза как символ быстро отцветающей любви стала во французской поэзии истертым поэтическим клише еще в XVIII в. Важнее, пожалуй, другое: этот штамп, усвоенный Пушкиным в юности, оставался в его памяти долгие годы как устойчивая стилистическая формула, неожиданно прорывавшаяся в создававшиеся им стихотворения вплоть до 30-х годов то в виде сжатого определения «дева-роза» (ср.: «О дева-роза, я в оковах», «И Девы-Розы пьем дыханье — Быть может — полное Чумы!»), то в форме застывшего сравнения:

Твоя краса, как роза, вянет;
Минуты юности бегут. . .

(II, 107)

Или:

О Лила! вянут розы
Минутныя любви. . .

(I, 279)

Иль юности златой
Вотще даны мне розы. . .

(I, 103)

⁴⁶ *Перевод:*

Но она была из того мира, в котором самые прекрасные вещи
Имеют самую горькую судьбу.
Подобно розе она жила столько, сколько живут розы,
Лишь одно утро.

Многочисленны быстро умирающие весенние розы в поэзии Пьера Ронсара. См., например, в его «Ode XVII», где ради сравнения с любовью описана

. . . la rose
Qui ce matin avoit disclose
Sa robe de pourpre au Soleil
(. . . роза,
этим утром развернувшая к солнцу
свое пурпурное одеяние).

Затем следует вздох автора о «мачехе Природе»:

O vraiment marastre Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusqu'en soir.

(О настоящая мачеха Природа!
Такой цветок, как этот.
Живет лишь от утра до вечера).

В стихотворении «Виноград» (1824):

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной. . .

(II, 342)

К 1825 г. относится замысел изящного стихотворения Пушкина об умирающих розах, в вариантах французском и русском; наброски этого стихотворения остались необработанными, хотя поэт несколько раз возвращался к ним:

Лишь розы увядают,
Амвросий дыша,
[В Элсизий] улетает
Их [легкая] душа.

(II, 377)

Напомним, наконец, его стихотворение «Есть роза дивная» (1827), в котором об этой румяной и пышной розе говорится, что она не подвластна зимней непогоде:

Вотще Киферу и Пафос
Мертвит дыхание мороза —
Блестит между минутных роз
Неувядаемая роза. . .

(III, 52)

К поэтическому ряду, нами построенному, с выборочными цитатами о розах, интересующее нас стихотворение «Где наша роза» может быть отнесено лишь отчасти: его концовку составляет и придает ему особый смысл упоминание другого цветка — лилии. Замысел стихотворения — в противопоставлении цветочных символов; значение такого противопоставления и подлежит разгадке.

Не в пример розе лилия довольно редко встречается в произведениях Пушкина.⁴⁷ Характерно, что мы находим лилию только в ранних, лицейских, стихотворениях Пушкина, где она, подобно розе, отождествляется с юной девушкой. В стихотворении «Фавн и пастушка» есть, например, такие строки:

С пятнадцатой весною,
Как лилия с зарею,
Красавица цветет. . .

(I, 274)

В «Воспоминаниях в Царском Селе» 1814 г., напротив, «лилея горделива» упомянута со своими традиционными атрибутами — «царица среди полей», цветущая «в роскошной красоте» (I, 78). Но в этом стихотворении лилия оживляет, в сущности, вполне реальный ночпой пейзаж царскосельского парка, облитый лунным

⁴⁷ См.: Словарь языка Пушкина. М., 1957, т. II, с. 484—485.

светом, составляя, по-видимому, живописную декорацию картины природы, открывшуюся наблюдательному взору юноши-поэта.

Затем лилия исчезает из стихов Пушкина. Правда, мы встречаем ее еще один раз в «Евгении Онегине» в качестве общераспространенного символа чистоты, непорочности, девственности — в словах Ленского, которые Пушкин приводит с иронической улыбкой как воспоминание о некогда имевших хождение штампах элегического стиля. Ссора на балу с Онегиным из-за Ольги, по описанию поэта, привела Ленского к суровому решению, которое он и выразил на свой манер:

Он мыслит: «буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохом и полвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренный цветок
Увял еще полураскрытый».

(VI, 123—124)

И для того чтобы еще энергичнее подчеркнуть всю условность такого поэтического языка, давно вышедшего из моды, Пушкин в заключительных стихах этой строфы перевел сумрачные мысли своего героя на язык житейской прозы:

Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

Из приведенных примеров явствует, что противопоставление лилии розе, сделанное в стихотворении «Роза», не имеет аналогий в других стихотворениях Пушкина, где и тот и другой цветок встречаются отдельно, не связанные вместе каким-то неясным в настоящее время ходом мысли, хотя для современников поэта он был, вероятно, привычным и общепонятным. Стихотворение «Роза» должно было иметь особый смысл, а лежащее в его основе сравнение могло и не совпадать с традиционным в западно-европейской и русской поэзии противопоставлением лилии как цветка невинности розе как цветку чувственной любви. Подобные противопоставления, как увидим ниже, были довольно распространены в русской поэзии до конца 30-х годов, но с пушкинской «Розой» генетически они не связаны и не подсказывают, какой традиции принадлежит она сама. Свое юношеское стихотворение Пушкин создал, однако, не на пустом месте. Каждой своей строкой этот еще ученический поэтический опыт связан с предшествующими образцами. У «Розы» есть очевидные источники, и они должны быть найдены.

В. Брюсов одним из первых исследователей творчества Пушкина пытался открыть аналогии его «Розе» в русской поэзии начала XIX в. «В русской лирике того времени, — писал он, — можно указать целый ряд более или менее сходных стихотворений».⁴⁸ Однако примеры, на которые он ссылался для подтверждения своего наблюдения, оказались малоудачными: это были в основном стихотворения В. А. Жуковского «Роза весенний цветок», «Где фиалка мой цветок» и др., «Фиалка и роза» Дельвига. Сходство между ними и пушкинской «Розой» обнаруживается лишь в том, что все они посвящены различным цветам, но как раз лилия в них отсутствует.

В этом смысле более правдоподобной долгое время казалась догадка, что Пушкин воспользовался в своем стихотворении тем неожиданным эмблематическим значением лилии, какое он якобы нашел в первой части «Писем русского путешественника» Карамзина. Профессор У. Викери начал свои разыскания именно с опровержения этой давней, еще не оставленной, хотя и очень искусственной гипотезы; его критика этой гипотезы кажется нам справедливой, хотя и неполной.

Рассуждение о лилии, включенное Карамзиным в его «Письма», взято им из философского трактата Гердера, в котором он разъяснял пантеистические воззрения Спинозы: «Бог. Несколько диалогов о системе Спинозы вместе с гимном природе Шафтсбери».⁴⁹ Карамзин читал эту книгу вскоре после появления в печати ее первого издания, готовясь к своим встречам с Гердером, состоявшимся в Веймаре 20 и 21 июля 1789 г. «Я выписал из нее многие места, которые мне отменно понравились», — писал Карамзин, сообщая читателям то место о лилии, которым будто бы заинтересовался также и Пушкин. Оно находится в пятом диалоге и представляет собою слова одного из спорящих, Теофраона, доказывающего бессмертие неиссякаемых сил природы.⁵⁰

Можно вполне согласиться с профессором У. Викери в том, что данный отрывок из «Писем» Карамзина не был источником пушкинского стихотворения. Со своей стороны, к его аргументации мы можем добавить еще два соображения. Во-первых, у Гердера не упомянута роза, нет никакого противопоставления одного цветка другому. Все то, что говорится здесь о «жизненных соках», производительной силе и т. д., вполне относится и к лилии и к розе: не было никакого смысла противопоставлять

⁴⁸ См.: Пушкин. Соч. Изд. Брокгауз—Ефрон, т. I, с. 290.

⁴⁹ Gott. Einige Gespräche über Spinoza's System, nebst Shaftesbury's Natur-Hymnus.

⁵⁰ См.: Herder J. G. Sämmtliche Werke. Stuttgart; Tübingen, 1853, Bd XXXI, S. 204—205. — О происхождении этой идеи и ее значении в мировоззрении Гердера см.: Haffart Elisabeth. Herders «Gott». — Bausteine zum Geschichte der deutschen Literatur, hrsg. von F. Saran. Halle a. S., 1918, H. XVI, S. 45—46.

их друг другу. Во-вторых, и это особенно примечательно, в немецком оригинале Гердера лилия отсутствует: говорится о цветке вообще.⁵¹

Откуда лилия появилась в тексте, переведенном Карамзиным? Вероятнее всего, что он сам имел склонность к этому цветку⁵² и потому заменил лилией ничего не говорившее его воображению обобщающее слово Blume (цветок).⁵³ Для выяснения вопроса об источнике пушкинской «Розы» эта текстологическая деталь, конечно, значения не имеет, поскольку предполагается, что Пушкин читал русский перевод цитаты у Карамзина, а не немецкий ее подлинник в первом издании философского сочинения Гердера. Тем интереснее, что в произведениях Гердера имеется ряд сопоставлений розы и лилии и что некоторые из них для прояснения замысла интересующего нас пушкинского стихотворения могут иметь большее значение, чем упоминание лилии в гердеровском отрывке, помещенном в «Письмах» Карамзина. Таково, например, стихотворение Гердера «Лилия и роза» из его цикла «Картины и сны»:

Lilie und Rose

Lilie der Unschuld, und der liebe Rose,
Wie zwo schöne Schwestern steht ihr bei einander.
Beide wie verschieden!
Du, der Unschuld Blume, bist dir selbst die Krone:
Ohne Schmuck der Blätter, auf den nackten Zweige,
Schutzest du dich selber.
Du, von Amors Blute tief durchgedrungne Rose,
Du von seine Pfeilen vielgetroffner Busen
Brauchest um dich Dornen.⁵⁴

⁵¹ Во всем остальном цитата, приведенная Карамзиным, вполне соответствует тексту Гердера: «Sehen Sie die Blume an, wie sie zu ihren Blüthe eilet. Sie ziehet den Saft, die Luft, das Licht, alle Elemente an sich und arbeitet sie aus, damit sie wachse, Lebenssaft bereite und eine Blüthe zeige; die Blüthe ist da und sie verschwindet. Sie hat alle ihre Kraft, ihre Liebe und ihre Leben daran gewandt, damit sie Mutter werde»... etc. (S. 204).

⁵² См.: например, напечатанное в журнале «Аонида» (1796, кн. I, с. 76—77) стихотворение Карамзина «Лилия», отличающееся своеобразным построением. В нем дважды повторено сожаление о недоступности цветка («...но рок меня с лилеей разлучает...», «...она не для тебя! Увянет не с твоей слезою...»). Стихотворение пользовалось известностью; оно вошло в хрестоматию, изданную В. Жуковским (Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов. М., 1814, ч. V, с. 257—258).

⁵³ Карамзин ссылается на первое издание книги Гердера «Бог. Несколько диалогов, написанных И.-Г. Гердером» (В Готе, у Эттингера, 1787); во втором издании книги (1800) Гердер сделал кое-какие изменения, но интересующее нас место к ним не относится, так как в лучшем критическом издании этого сочинения (Herders Sämmtliche Werke, Bd XVI, hrsg. von Bernhard Suphan, Berlin, 1887, S. 565), в котором приведены все варианты текста и указаны различия обоих изданий, ни исчезновение из текста «лилии», ни превращение ее в «цветок» не отмечены (в первом издании заинтересовавшее Карамзина место находится на с. 239; во втором — на с. 278).

⁵⁴ Herder J. G. Sämmtliche Werke, Bd XIII, S. 17. — Стихотворение «Lilie und Rose» из цикла «Bilder und Träume» воспроизведено здесь из III тома «Zerstroute Blätter» по второму изданию 1798 г. *Перевод*: «Лилия

Другой отрывок, прозаический, с тем же сравнением двух цветков и с тем же заглавием, помещен в «Московском журнале» со следующим редакционным примечанием Карамзина: «Сочинение Гердера, славного немецкого теолога, философа и поэта. Издатель благодарит особу, благоволившую сообщить ему сей перевод. — К.». ⁵⁵ Приводим отрывки из этого перевода:

«Лилия и роза»

Скажите мне, дочери грубой, черной земли, кто вам дал красоту вашу? Ибо верно образованы вы нежными пальцами. Какие маленькие Гении вылетают из чашечек ваших? И какое удовольствие вы чувствовали, когда богини на листочках ваших качались? Скажите мне, мирные цветочки, как они делили между собою веселую свою работу и, украшая ткань свою толь многообразно, улыбкою хвалили друг друга? Но вы молчите, милые цветочки, и наслаждаетесь бытием своим. Пусть же поучительная басня расскажет мне то, чего вы сказать не хотите. . .»

Вслед за этим вступлением Гердер рассказывает космогоническую фантазию в античном вкусе о создании цветов на земном шаре, когда он явился «в виде голого еще камня»: «... толпа дружных нимф напосила на него девственную землю, и услужливые Гении готовы были покрыть голый камень цветами. Их было много, и всякий взял на себя особое дело». Сначала «скромное *Смирение*» «соткало прячущуюся фиалку», затем *Надежда* создала гиацинт, за ними появились тюльпан и нарцисс.

«Множество иных богинь и нимф старались многообразными образами украшать землю и радовались, любясь прекрасным своим делом. Но как сии цветки по большей части уже отцвели, а с ними отцвела и слава их и радость богинь; тогда Венера сказала своим Грациям: «Что вы медлите, сестры приятности? Сотките и вы из своих прелестей какой-нибудь смертный, видимый цветок!». Они сошли на землю. Аглая, Грация невинности, образовала лилию; Талия и Евфросина вместе соткали цветок радости и любви, девственную розу».

И Гердер заканчивает изложение созданного им мифа своего рода моралистическим наставлением:

«Многие цветки, полевые и садовые, завидовали друг другу; лилия и роза не завидовали никому, но им все завидовали. Как сестры, растут они вместе на одном лугу богини Геры ⁵⁶ и друг друга украшают. Цветок

невинности и роза любви! Как две прекрасные сестры, стоите вы рядом друг с другом! Но какие вы разные! Ты, цветок невинности, сама составляешь свой венец; не украшенная листьями, на голом стебле, ты сама защищаешь себя. Ты же, роза, цветок, проникнутый кровью Амура, ты, в чью грудь много раз попадали его стрелы, ты — прибегаешь к шипам!».

⁵⁵ Московский журнал, 1791, ч. 1, март, с. 349—351.

⁵⁶ В тексте перевода в «Московском журнале» ошибочно напечатано «Горы», вместо «Геры». Гердер имеет в виду древнегреческую Геру, супругу Зевса, богиню урожая и плодородия. Мифологическая иерархия у Гердера соответствует той системе, которая излагалась в учебниках мифологии XVIII в. Он упоминает о трех Грациях (собственно «харитах»), которые считались дочерьми Зевса и Геры: Аглае (Блеск), Евфросине (Радость) и Талии (Цвет) — и олицетворяли женскую прелесть.

невинности возвышает красоту невесты любви и радости; ибо Грации, родные сестры, соткали их вместе. Девушки! И на ваших лицах цветут лилии и розы. Да обитают на них и Грации, певинность, радость и любовь, также вкупе и неразлучно!»

Эта неприхотливая мифологическая композиция задумана и рассказана, в сущности, ради заключающего ее комплимента девической красоте («на ваших лицах цветут лилии и розы»), представляющего собой, впрочем, то общее место, которое можно встретить у большинства западноевропейских и русских поэтов конца XVIII и начала XIX в., в том числе и у Карамзина в «Послании к женщинам» (1795), где красота их уподоблена саду, в котором цветут «роза с нежным кринумом», т. е. лилией, и у Пушкина в качестве метафоры белизны и румянца (ср. в его ранней лилейской поэме «Монах» (1813) в конце первой песни: «... где юный бог покоится меж розой и лилеей»).

Очевидно, не было никакой необходимости заимствовать у Гердера это сопоставление лилии и розы в том или ином применении, потому что и он сам встречал его множество раз во всевозможных произведениях мировой литературы и упоминал о нем в собственных писаниях. В изобилии встречаются лилии и розы также в стихотворных переводах Гердера — в «Цветках из греческой антологии» («Blumen aus der griechischen Anthologie»), в «Голосах народов в песнях» («Stimmen der Völker in Liedern») и т. д. В последней, например, находится стихотворный перевод «Дворца весны» Гонгоры, испанского поэта XVII в., где описан сад с «царственной розой» во главе, а среди прочих цветов, «дочерей Авроры», упомянута «лилия невинности» (Lilie der Unschuld), томящаяся в слезах любви; здесь же Гердер поместил две баллады из «Остатков древней английской поэзии» (Reliques of Ancient English Poetry, 1765) Томаса Перси (о «Прекрасной Розамунде» и «Розочке и Колине»), где встречается то же сравнение розы и лилии;⁵⁷ упоминания этих цветов изобилуют и в гердеровских переводах и адаптациях произведений восточных литератур (например, из «Гулистана» Саади).⁵⁸

⁵⁷ Herder J. G. Stimmen der Völker in Liedern. Sämmtliche Werke, Bd XVI, S. 178—179 («Palast des Frühling»), 262 (Die schöne Rosemunde), 315 («Röschen und Kolin»); Bd XX, S. 19, 37 etc.

⁵⁸ Можно указать здесь еще на полностью приведенное Гердером (в V выпуске его «Zerstreute Blätter») стихотворение немецкого поэта первой половины XVII в. Векхерлина (Georg-Rudolf Weckherlin), долго жившего в Лондоне и умершего там. Кромвеле. Гердер воспроизводит полное англицизм стихотворение Векхерлина из его сборника 1641 г.; оно озаглавлено «Über einen Kranz» и посвящено женщине, красоту которой он уподобляет розам и «свежим лилиям»; но цветы живут недолго; подобно им, поклеплет и красавица:

Die Rose gibt ein Tag den Gang,
Die Liljen blühen auch nicht lang!..

(Herders Sämmtliche Werke, Bd XVI,
hrsg. von Bernhard Suphan, S. 246)

Все приведенные выше справки приводят нас к заключению, что Пушкин, когда он писал свою «Розу», действительно, едва ли вдохновлялся страницей из трактата Гердера, помещенной в переводе в «Письмах» Карамзина. В критике и отрицании этой гипотезы профессор У. Викири был вполне прав. Мы постарались лишь дополнить его аргументацию ссылками на другие произведения Гердера — собственные стихотворения и переводы немецкого писателя, в которых можно найти ту же цветочную символику и к которым, в известной мере, пушкинская «Роза» стоит даже ближе, чем к проблематической «лилии» карамзинского «Письма». Некоторые из этих произведений Гердера были известны и в ранних русских переводах;⁵⁹ тем не менее ни к одному из них «Роза» Пушкина прямого отношения не имела.

5

Стоит отметить, что среди новолатинских стихотворных произведений средневековой Европы мы уже встречаем своеобразное «Состязание Розы и Лилии», оспосащающее к жанру тех «споров», «дебатов» (*Streitgedichte, Debats, Estrifs* etc.), которые были так популярны во всех европейских литературах в течение нескольких веков. «Состязание Розы и Лилии» (*Certamen Rosae Liliique*) принадлежит к древнейшим латинским «спорам», созданным в эпоху так называемого Каролингского возрождения в подражание античным эклогам. Автором «Состязания Розы и Лилии» был своеобразный латинский поэт IX в., ирландец по происхождению, живший на континенте в Люттихе (на территории нынешней Бельгии), Седуллий Скотт, учитель при соборной школе. В его прозведении спор начинается Роза, похваляясь своим цветом: алый или пурпурный цвет выражает власть, утверждает она, белый же, по ее мнению, это цвет горя или нищеты. С возражениями выступает Лилия, которая, со своей стороны, хвастается, что она является любимицей Аполлона и украшением земли, алый же цвет Розы — цвет стыда, знаменующий нечистую совесть. И снова слышатся возражения Розы: она — сестра Авроры, и ее алый цвет говорит о красоте девического целомудрия. В этой перебранке начинают звучать все более резкие слова. Тогда, повествует поэт, раздается голос отдыхающего среди трав на мягком зеленом лугу юноши, чело которого украшено цветочным венком.

Это — Весна. Для того чтобы понять такое непривычное и чуждое русскому читателю олицетворение Весны в фигуре юноши, а не молодой женщины, следует иметь в виду, что латинское слово *ver* (весна) — среднего, а не женского рода; во многих

⁵⁹ См. указания на стихотворения о розах в книге: Неустров А. Н. Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. СПб., 1898, с. 577.

же новоевропейских языках — мужского.⁶⁰ «Зачем вы спорите, милые дети? — говорит юноша, обращаясь к Розе и Лилии, и советует им признать друг в друге родных сестер. «Каждому свое!» — восклицает он и затем произносит примирительные слова как нелицеприятный судья: «Тебя, Роза, будут вплетать в венки мучеников, ты Лилия, украсишь длинные платья девушек». Весь этот нехитрый, но не лишенный изящества «спор» Седулия Скотта умещен поэтом в латинском стихотворении, состоящем из 50 гладких гекзаметров: Роза и Лилия выступают каждая по три раза, произнося по четыре стиха. Фактура этого стихотворения, как и других произведений Седулия Скотта, свидетельствует, что автор был очень начитан в эклогах поэтов древнего Рима.⁶¹

Подобно еще более раннему спору «Весны и Зимы» (*Conflictus Veris et Hiemis*), который приписывается знаменитому Алкуину, спор цветов не остался без подражаний не только в позднейших латинских «спорах» или «состязаниях», но и в произведениях того же жанра на народных языках и оказал воздействие на народные песни, составлявшие один из существенных элементов весенней обрядности.⁶²

Менялись цветы, затевавшие между собою спор. Место Лилии, например, занимала Фиалка (состязание ее с Розой не раз увлекло воображение ранних итальянских поэтов);⁶³ вместо персо-

⁶⁰ Во французском языке, как известно, слово «весна» — мужского рода (*le printemps*), как и в немецком (*der Frühling*; ср., однако, итальянское *primavera*), что создавало специфические трудности для переводчиков при переводах эклог или пасторалей, в которых появилась аллегорическая фигура Весны, а также для изображающих ее живописцев. Поэтом олицетворение Весны нередко заменял мифологический образ Флоры, древнеиталийской богини цветов и юности (Пушкин охотно пользовался этим именем как метафорой юности; напомним хотя бы «ланиты Флоры» в «Евгении Онегине»). П. Ронсар в своей «Элегии Весны» (*Élégie du Printemps*) называет Весну «сыном Солнца» (*Printemps, fils du Soleil..*) и «братом» Флоры, рождающей цветы, прежде всего, конечно, розы (очень часто упоминаемые в стихах Ронсара), а также и лилии.

⁶¹ См.: Ebert A. *Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters*, Leipzig, 1880, Bd II, S. 197; Walther H. *Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters)*, Bd V, H. 2), München, 1920, S. 54, где «*Certamen Rosae Lilliquae*» цитируется по новейшему изданию Л. Траубе (*Poetae latini Medii aevi*, III, S. 230). О стихотворениях Седулия Скотта см. также: Manitius Max. *Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters*, t. I. München, 1911, S. 322—

⁶² См.: Jantzen H. *Geschichte der deutschen Streitgedicht im Mittelalter*. Breslau, 1896, S. 6.

⁶³ См.: Walther H. *Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters*, S. 54—55. — Латинский стихотворный «Спор розы и фиалки» (*Conflictus rosae et violae*), сохранившийся в рукописи XIII в., опубликован А. Тоблером (*Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen*, 1893, Bd 90, S. 152—154); по другой рукописи — в статье: Biedeme L. *Contrasto della rosae e della viola* (*Studi di Filologia Romanza*, 1899, vol. VII, p. 99—131). Действие его происходит в саду, где цветут фиалка и роза; их взаимные упреки и похвалы, в которых порою слышатся интонации кумушек, повздоривших на улице, услышал и воспро-

нифицированных Весны или Флоры судьями в перебранке цветов становились пастухи или сам поэт, которому вся сцена привиделась во сне, но везде декорацией такой пасторали служил весенний пейзаж, полный красок и света. В конце концов архаичной стала форма «спора» цветов⁶⁴ и бесконечно разнообразными

изводит неизвестный поэт, которого они и избирают в судьи. Конец этого спора очень напоминает указанный выше: поэт советует цветам называть друг друга не «служанками» (*servas*), но «сестрами» (*soroges*). Латинскую прозаическую эпистолу на тему о розе и фиалке написал также сицилиец, поэт Petrus de Vinea, доверенное лицо и советник императора Фридриха II, ставший жертвой придворной интриги в 1249 г. (текст его эпистолы напечатан в книге: *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne* / Ed. par A. Huillard-Bréholles. Paris, 1865, p. 336—338). Известен еще более поздний диалог на ту же тему, сочиненный миланцем Бонвизином да Рива (умер в начале XIV в.); об этом «Disputatio Rosae cum Viola» см.: «Verhandlungen der Kais. Preussischen Akademie der Wissenschaften», 1851, S. 3 ff. Отзвуки этого спора долго не смолкали в европейской поэзии; достигли они и русской печати в XVIII в. См., например, стихотворение «Роза и фиалка» (Приятное и полезное препровождение времени, 1798, ч. XX, с. 93). Скромная фиалка в противовес гордой и кичливой розе встречается в стихах В. А. Жуковского. К 1815 г. относится его «Песня» («Фиалка») (перевод стихотворения немецкого поэта Иоганна-Георга Якоби (1740—1814) «Nach einem alten Liede»), в которой судьба «весенней» фиалки приравнена к участи «летней» розы:

Где фиалка, мой цветок?	Розы были там в тени
Прошлою весною	Рожицы тенистой...
Здесь поил ее поток	Оживляли дол они
Свежею струею?..	Красотой душистой.
Нет ее; весна прошла,	Лето быстрое прошло,
И фиалка отцвела.	Лето розы увесло.

В том же 1815 г. в «Российском музее» (ч. II, № 5, с. 135) появилось стихотворение Дельвига-лицейста «Фиалка и роза», также, вероятно, обманной той же немецкой песенной традиции; позднее оно было известно под заглавием «Тленность», подчеркнувшим его основную мысль — о быстротечности весны и ее радостей. В первой строфе речь идет о фиалке:

Здесь фиалка по лугам
С зеленью пестреет,
Перед Флорой по тропам
Стелется, синеет.
Юноша, весна пройдет,
И фиалка опадет.

В следующей строфе та же печальная мысль о тленности всего земного обращена к деве и розе:

Роза! груди украшай
Девы молодые,
Другу милому венчай
Кудри золотые.
Скоро лету пролететь,
Розе скоро не алеть.

и т. д.

⁶⁴ Форма спора цветов (или плодов) долго удерживалась еще в новогреческих или южнобалканских песнях, но там вместе с розой появляются гвоздика, майоран и бальзам (Dieterich Karl. Die Volksdichtung der

стали самые цветы, из которых душистые венки сплетали в своих элегиях, сонетах и пасторальях западноевропейские поэты эпохи Возрождения.⁶⁵ И тем не менее роза и лилия продолжали занимать свое несколько обособленное место в этих пышных, многокрасочных цветочных букетах: они появлялись то как спорщицы, то как безмолвные соперницы, то, наконец, как символы, воплощавшие в себе те или иные нравственные идеи и качества, но чаще всего в сопоставлениях или противопоставлениях друг другу.

Было бы чрезвычайно затруднительно, да и излишне касаться здесь причин, обусловивших устойчивость и традиционность такого сравнения; достаточно сказать, что они не раз были указаны в специальной литературе: свое значение имели и народная обрядность, и культовые христианские традиции, усвоенные или видоизмененные средневековым католицизмом, своеобразно сплавленные с воскрешенной античной поэзией. В указанной выше эклоге Седулия Скотта IX в. такого смешения еще нет или оно еще лишь намечается, тем более что лилии и ирисы, вывезенные с востока, только начали появляться в то время в монастырских садах и на кладбищах.⁶⁶ Но лилия, служившая у римлян символом надежды,⁶⁷ у народов Востока издавна являлась символом чистоты и невинности,⁶⁸ лишь в средние века она стала одним из атрибутов Девы Марии; любопытно, что в истории усвоения и канонизации этих атрибутов католической церковью между теологами произошел спор: одни из них высказывались в пользу розы, другие в пользу лилии; отзвуки этого спора достигли и русской письменности и встречаются, например, у Максима Грека.⁶⁹ Пуш-

Balkanländer in ihren gemeinsamen Elemente. — Zeitschrift für Volkskunde, 1902, Jg. XII, S. 276).

⁶⁵ См.: Ruutz-Rees C. Flower Garlands of the Poets, Milton, Shakespeare, Spenser, Marot, Sannazaro. — In: Mélanges, offerts à M. Abel Lefranc. Paris, 1936, p. 75—90. — Автор цитирует целые «каталоги цветов», вставлявшиеся в произведения этих поэтов; среди цветов, разумеется, есть и лилии рядом с розами, например у Спенсера, в его «Prothalamion» (1569; The Virgin Lilie... with stores of vermeil Roses), у К. Маро, Саннадзаро и т. д.

⁶⁶ Erich O. Beitzl R. Wörterbuch der deutschen Volkskunde. 2-te Aufl. Stuttgart, 1955, S. 480.

⁶⁷ von Perger A. Ritter. Deutsche Pflanzensagen. Stuttgart und Oehringen, 1864, S. 79—80.

⁶⁸ Forstner Dorothea. Die Welt der Symbole. Innsbruck—Wien—München, 1961. — См. здесь историю цветочных символов: лилии (S. 256—258) и розы (S. 258—262).

⁶⁹ Максим Грек, выдающийся теолог своего времени, отвергал широко распространенное в католической западной литературе уподобление богородицы розе (греч. родон) и взамен его рекомендовал образ «крина» (лилии): «Родон благоуханнейше есть и красен видением». Но у розы есть тернии, шипы, что и препятствует ее сопоставлению со священными именами и предметами; зато этой цели, полагает он, вполне удовлетворяет «белый крин» (см.: Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля древней Руси. М.; Л., 1942, с. 17). Отсюда и появление лилии в акафистах богородицы православной греческой церкви (Forstner Dorothea. Die Welt der Symbole, S. 257). Южнорусские проповедники, однако, охотно

кнцу были известны обе традиции: в «Гавриилиаде» он, разумеется, имел в виду лилию как цветок благовестия, который Гавриил вручает Марии («цветочек ей подносит...»); пушкинский же рыцарь в посвященном ему стихотворении («Жил на свете рыцарь бедный...») на равнинах Палестины, в боях с мусульманами, громче всех славил «свет небесный», «святую розу», восклицая:

Lumen coelum, sancta Rosa!

(III, 161)

Секуляризация русской культуры, происшедшая в послепетровскую эпоху, не уменьшила популярность делавшихся и у нас противопоставлений лилии розы; они заимствовались теперь непосредственно из светской западноевропейской литературы, где еще были живы восходившие к эпохе Возрождения традиции поэтических описаний цветников или их символического истолкования, а среди цветов в этих воображаемых садах по-прежнему преимущественное внимание уделялось розе и лилии. Мы находим эти противопоставления в очень ранних, еще косноязычных образцах новой русской поэзии. В «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (СПб., 1735) В. К. Тредиаковского находится «Ода в похвалу цвету Розе», сочиненная, по объяснению автора, «нарошно новым российским пентаметром для примера». Ода эта начинается следующими стихами:

Красота весны! Роза о прекрасна!
Всей о госпожа румяности власна!
Тя во всех садах яхонт несравненный,
Тя из всех цветов цвет преддрагоценный...

Вознося розу превыше всех других цветов, Тредиаковский считает, что даже белая лилия не может сравниться с розой, потому что лилейной белизне роза противостоит удивительной яркостью своей окраски. И, словно представляя себе традиционный спор говорящих цветов, Тредиаковский пишет:

Лилее б молчать с белостью немалой,
К белизне тебе цвет дала желт, алой.⁷⁰

сравнивали Деву Марию одновременно и с розой и с лилией, находясь как бы под перекрестным воздействием течений, шедших с католического Запада и православного Востока. Хотя А. Радивилловский, проповедник XVIII в., посвятил целую проповедь сравнению богородицы с лилией, в духовных виршах можно было встретить и такие, например, стихи:

...Вдячна роже (роза), царице, госпбже,
Вдячна лелея, Дева Мария...

(Много примеров в статье: Огиенко И. Легендарно-апокрифический элемент в «Небе новом» Иоанникия Галатовского, южнорусского проповедника XVIII в. — В кн.: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. Киев, 1914, кн. XXIV, вып. I, с. 59—60).

⁷⁰ Тредиаковский В. К. Новый и краткий способ к сложению российских стихов. СПб., 1735, с. 102.

Характерно, что это раннее русское шитическое прославление розы сочинено Тредиаковским в качестве «примера» для учебника стиховорства и, следовательно, представляет собой намеренно типический образец и по форме и по своей теме. Правдоподобной, вероятно, была бы догадка, что именно этот «пример» старого российского пииты из учебника стиховорства вдохновил в 1812 г. Н. Ф. Кошанского предложить воспитанникам-лицеистам такую же учебную задачу — сочинить стиховорную «похвалу розе».

И в самом деле, для всего XVIII в. русской поэзии эти розы, заимствованные из западноевропейских поэтических садов, были чрезвычайно популярными образцами стиховорений хрестоматийного типа, с поразительной стойкостью удерживавших свои типические черты до самого конца этого столетия. Никто, по-видимому, не обращал внимания на то, что все они только повторяли друг друга и что почти не находилось такого поэта, который не соблазнился бы сочинить что-либо подобное — о розе и лилии.

Мы приведем лишь несколько примеров для того, чтобы показать, какими истертыми клише являлись эти описания и сравнения еще в конце XVIII в.

В стиховорении А... Б..., напечатанном в журнале Крылова и Клушина «Зритель», мы словно присутствуем при возрождении средневекового латинского «состязания» этих цветов, о котором речь шла выше:

Роза и лилея

В саду соперницы одном
Росли и Роза и Лилея.
Зефир чуть веял им крылом,
Почтенье к прелестям имея;
Но был всегда он не решим,
Которой дать любви цену:
То Роза обладала им,
Колелебля чашечку надменну;
То Лилия, нежна, бела,
Его внимание влекла.

Всяк знает, как самолюбивы
Всегда бывают красоты.
Лилея, Роза горделивы
И презирают все цветы;
И даже в ссоре меж собою. —
Но как соперницам двум быть,
Не ссориться и в дружбе жить? —
Нет миру им и нет покою;
И их жилище, райский сад
Померк, зря зависти в них яд.

Как и в средневеком «Состязании Розы и Лилии», в данном «российском» стиховорении должен был появиться судья, который мог бы разрешить спор соперниц; он действительно появляется здесь, но не в виде юноши — Весны или Поэта, а в виде Амура. Эта абстрактная фигура наряду с Зефиром еще сильнее подчеркивает зависимость произведения от анакреонтических образцов чистого классического стил.

Амур однажды по дороге
Тем местом милым пролетал;
Обепх видит он в тревоге,
И педоволен спором стал.

Однако приговор Амура в устах русского поэта превращается всего лишь в заурядный светский комплимент, а имя русской де-

вушки Анюты, коей он адресован, является единственной деталью, свидетельствующей о русском происхождении всего этого длинного, но не очень оригинального поэтического объяснения в любви. Увидев недружелюбно взирающих друг на друга соперниц, Розу и Лилию, Амур, по свидетельству поэта, колебался недолго, в чью пользу разрешить их спор:

Он рассудил их беспристрастно,
Недолго слушал и мирил;
Взял их и на лице прекрасно
Анютино пересадил.
Велел им цвсть без всякой ссоры
И вдруг и порознь там блистать,
Пленять приятной смесью взоры
И нежны чувства открывать.⁷¹

Так условные поэтические цветы превращаются в чистую метафору.

Напомним также распространенные песни И. Ф. Богдановича или П. С. Гагарина, в которых можно наблюдать то же смешение цветов символических с метафорическими цветовыми абстракциями. В «Песне» И. Ф. Богдановича, например, опубликованной впервые в 1786 г., но печатавшейся затем во всех песенниках с конца XVIII в. в течение нескольких десятилетий, говорится:

Много роз красивых в лете,
Много беленьких лилей;
Много есть красавиц в свете,
Только нет мне, нет милей,
Только нет милей в примете
Милой дорогой моей.⁷²

Не менее популярной была «Песня» П. С. Гагарина, в которой одна из строф описывает цветущий сад:

Над душистыми цветами
Пестры бабочки летят,
И узорными крылами

⁷¹ Зритель, 1792, сентябрь, ч. III, с. 23—24. — Под псевдонимом «А... В...» скрылся А. Бухарский, имя которого как автора «Розы и Лилей» указано в оглавлении журнала. А. Бухарский, второстепенный поэт, известен своими подражаниями идиллиям С. Геснера. См., например, журнал «С.-Петербургский Меркурий» (1793, ч. I, февраль, с. 131) и отдельно изданную: Ночь: Поэма. Подражание Геснеру Андрея Бухарского. СПб., 1794. Это внушает предположение, что и его «Роза и Лилей» восходит к какой-нибудь немецкой идиллии XVIII в. Отметим также, что в том же журнале без имени автора напечатано стихотворение «Притча. Лилия и другие цветы» (Зритель, 1792, ч. I, апрель, с. 187—188). Автором ее, вероятно, является П. М. Карабанов (ср.: Петровский Н. М. Библиографические заметки о русских журналах XVIII в. — Изв. ОРЯС имп. Акад. наук, 1907, т. XII, кн. 2, с. 344).

⁷² Новые ежемесячные сочинения, 1786, август, ч. II, с. 68. — Как указал В. Е. Гусев (см. его антологию: Песни и романсы русских поэтов. М.; Л., 1965 (Библиотека поэта. Большая серия). 2-е изд., с. 981), эта песня Богдановича воспроизводилась в песенниках от «Нового российского песенника» 1790 г. до 1822 г.

Игры, смехи к нам маят.
Тут лилеи; —
Им милее
Розы Лизаньки моей.⁷³

Как чистые метафоры красок, но с дополнительными ассоциациями благоуханий, имеющими эротический оттенок, розы и лилии появляются в стихах Г. Р. Державина, как ранних, так и поздних. В стихотворении «Невесте» (1776) находим такие строки:

Лилей на холмах груди твоей блистают...
На розах уст твоих — софы благоухают...

В стихотворении «Анакреон у печки» (1795) то же уподобление: Купидон, облюбовав Марию, метал свои стрелы

И с роз в устах прелестных
И на грудях с лилей...

Еще в стихотворении Державина 1807 г. говорится о черкешенках, у которых

... на грудях, как пух зыбучих,
Лилей кусты и роз пахучих...⁷⁴

В произведениях русских сентименталистов, как поэтических, так и прозаических, роза и лилия играли ту же роль, что и прежде, с тем, однако, различием, что теперь они словно стали и вовсе неделимы друг от друга: стоило назвать розу, как лилия тотчас же приходила на память по ассоциации, привычность которой становилась прямо автоматической. Приведем лишь несколько примеров одновременных упоминаний розы и лилии как устойчивых словесных сочетаний в русской печати начала XIX в. В 1803 г., в «уведомлении» журнала «Московский Меркурий», П. И. Макаров писал, обращаясь к женщинам: «Когда весна посетит и наш суровый климат; когда вся натура начнет оживать и обновляться, когда благоухающая *роза* будет спорить с Вами о преимуществе в свежести и нежности, а *лилея* — в белизне, — тогда, может быть, и мы положим несколько цветов к ногам Вашим».⁷⁵ В заимствованной «Новостями русской литературы» из парижского дамского журнала статейке о приметах женской красоты между прочим говорилось: «Что касается до лица, то мне не надобны ни розы, ни лилеи; красота и блеск юности может пленить мое сердце».⁷⁶ В начале XIX розы и лилии в обязательном

⁷³ Первоначально опубликована в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (1794, ч. II, с. 66). По указанию В. Е. Гусева, встречалась в песенниках с конца XVIII в. до 1820 г. (см.: Песни и романсы русских поэтов, с. 987).

⁷⁴ Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957, с. 83, 227, 323 (Библиотека поэта. Большая серия).

⁷⁵ Московский Меркурий, 1803, январь, ч. I, с. 70.

⁷⁶ Повести русской литературы, 1805, ч. XIII, с. 241--242; ср. также: Любитель словесности, 1806, ч. IV, № 11, с. 156.

сочетания встречались в русской литературе в произведениях всех жанров столь часто и даже пазойливо, что А. С. Кайсаров написал по этому поводу в конце первого десятилетия (между 1808 и 1810 гг.) пародическое стихотворение; поднимая на смех любовную лирику сентименталистов, он построил свою пародию именно на ироническом упоминании розы и лилии как обязательного атрибута стихотворений подобного рода:

Если б ты была лилея	Ароматы бы смешались,
Я бы — розою дышал,	Твой и мой, в один состав,
Как бы я тебя, лилея,	Все б пастушки восхищались,
К сердцу страстно прижимал!	Нашу связь с тобой узнав...

и т. д.⁷⁷

Достоин упоминания, что без роз и лилий как устойчивого стилистического признака любовной лирики не обходилась порой даже кладбищенская элегия, весьма распространенная в ту пору. В очень типичном «стихотворении в прозе» начала века Александра Княжнина «Розы» мы находим следующие строки: «Хладный гроб сокрывает драгоценный прах твой; и уже не лилии, не розы украшают могилу твою: один седой мох покрыл мрачное твое убежище...».⁷⁸ Можно, разумеется, сказать, что здесь имеются в виду реальные цветы, сажавшиеся на могилах, но те же цветы без затруднений превращались в метафорические. В сходном по своему мрачному кладбищенскому колориту стихотворении «Красавице» читаем:

Под сей гробницею лежит увядший цвет,
Роз алых и лилей не знал подобных свет...⁷⁹

Традиция сочетания розы и лилии с их разнообразными применениями к чувствам, представлениям или нравственным категориям уходила далеко в XIX в. Эти цветы еще долго оставались неразлучными в реквизите русской поэзии. В 20—

⁷⁷ Русский библиофил, 1912, № 4, с. 28—29. — Приблизительно в это же время в русском журнале можно было прочесть следующие строки:

Здесь лилея с розой алой
Милой прелестью цветет;
Миг — и лилии не стало,
Миг — и роза ей вослед.

(М. . . и й. Сельская прогулка. —
Журнал для сердца и ума,
1810, ч. II, с. 128)

См. еще перевод из «Притч» Круммахера, сделанный В. Тило в «Новостях литературы» (1823, кн. IV, № XXII, с. 131—132): «Роза и лилия»; здесь рассказывается о лилии, которая процветала под розовым кустом: «Над нею висела распустившаяся, пышная роза и разливала багряное сияние на сребристые листочки лилии — и благоухания их сливались. „О, какой прекрасный союз!“ — воскликнула Мальвина и склонилась главою к цветам. „Это союз певинности и любви!“ — сказал отец».

⁷⁸ Новости русской литературы на 1802 год, ч. III, с. 262.

⁷⁹ Московский собеседник, 1806, ч. I, с. 175.

30-е годы, и до и после того, как впервые опубликована была интересующая нас пушкинская «Роза», они еще нередко встречались вместе в произведениях русской литературы, оригинальных и подражательных. В явно архаическом «подражании Анакреону» кн. Цертелева «К Лиле» заключительные строки читаются так:

И роза с лилеей,
Небрежно сплетаясь,
Пленяют наш взор.⁸⁰

В не менее архаической басне «Роза» мы снова встречаем розу и лилию среди других цветов в аллегорическом саду, на фоне традиционного весеннего пейзажа:

В прелестнейшем саду, весной,
Младая роза расцветала,
И пышною своей блистая красотой,
Тюльпаны, лилии, фиалки помрачала.⁸¹

Зато в альбомном стихотворении С. П. Шевырева, напечатанном в альманахе А. Дельвига «Северные цветы», те же воображаемые цветы опять выделены, объединены и снова играют ту же роль, какую играли много столетий:

Лилия и роза

Средь пышных Флориных садов,
Где радость, мир и нега веют,
Сестры: Невинность и Любовь
Два цвета милые лелеют.
Цвет первый, кроткой белизной
Сияя весело, как радость,

Плеплет прелестью живой
И очаровывает младость;
Поники скромною главой
На светлый ток реки струистой,
Любуется во влаге чистой
Своею чистою красой:
То цвет невинности — Лилея.

Нетрудно догадаться, что второй цветок хотя и противостоит первому, но ссоры или перебранки между ними не возникнет:

Второй, роскошно пламенея
Пурпуровым зари огнем,
Как утро майское блистает,
И над пылающим цветком

Воздушным плавая крылом,
Зефир прохладу навевает:
То Роза, то любви цвет.

Подобно своим отдаленным средневековым предшественникам, поэт принужден высказать свое суждение об этих цветках, хотя они и не спорят, и не просят его с этим:

Какой же из цветов милее?
Иль кроткая в тиши Лилея,
Иль Роза пламенная? Нет:
Не все ль в цветах равно
прекрасно?

Но вдвое нам милей они,
Когда цветут красой согласной,
И Роза, пышный цвет любви,
Сплетаясь с Лилеей нежной, томной,
Чело венчает девы скромной.

⁸⁰ Благонамеренный, 1820, ч. IX, № II, с. 124—125.

⁸¹ Там же, ч. XI, № XV, с. 195.

Нисколько не замечая, что в своем длинном стихотворении он только воспроизводит истертые штампы, давно уже надоевшие читателям, поэт и заканчивает его сплошным плоским, хотя и расплывшимся трюизмом:

Но где, у Флоры ли в садах,
В какой стране очарованья,
В роскошных блещет красотах
Чудесное цветов слиянье? —

спрашивает он и отвечает:

Не там, не там! У дев молодых
Невинность и любовь согласно
В цветах возлюбленных своих
Всю чистоту сердец живых,
Всю душу выразили ясно.
Во цвете девственных ланит
Горящий пурпур Розы слит

Со снежной Лилий белизною,
И дивный цвет равно блещит
И кротостью и красою.
Там светлая любовь нежней
Стыдливый пламенем играет,
И кроткой Лилией милей
Невинность пламень оттеняет.⁸²

Как ни заурядны эти стихи, как ни многословен породивший их старомодный комплимент, но близкую им аналогию можно встретить в русской печати еще десятилетие спустя! Такова, например, сцена III в драматической поэме поэта-романтика А. В. Тимофеева «Елизавета Кульман» (1835). Она озаглавлена «Садик г-жи Кульман», и поэтическому тексту ее предшествует следующая ремарка автора: «Елизавета и ее Гений ходят между цветами. На что она ни взглянет, Гений тотчас же касается железом своим: — все говорят». Первый диалог, разумеется, происходит между получившими дар речи Розой и Лилией:

Роза:

Дитя весны,
Цветок любви, —
Я только раз,
Я только час
Живу меж вас.
Едва взойду,
Едва блесну
Крутом подруг,

Мой верный друг —
Зефир ночной,
Дыша грозой,
Мои листья,
Мои цветы
Колышет, рвет,
И врознь (sic!) несет.

Лилия:

Белая лилия,
Скромная лилия,
Цветом невинности
Я украшение
Луга зеленого,

Сада кудрявого;
Стала соперницей
Розы красавицы.
Добрая девица,
Будь мне подружкой. . .⁸³

и т. д.

Как воображаемые цветы и как сопряженные друг с другом цветочные символы роза и лилия встречались в русской поэзии

⁸² Северные цветы на 1826 год. М., 1825, с. 118—120 (вторая пагинация).

⁸³ [Тимофеев А. В.] Опыты Т. м. ф. а. СПб., 1837, ч. I, с. 186—187.

до конца XIX в., правда, все реже и реже,⁸⁴ то являясь поводом для сознательных поэтических стилизаций, то вдохновляя мистические искания новейших лириков, возрождавших доступную лишь немногим эрудитам цветовую символику раннего средневековья.⁸⁵

6

Возвратимся, однако, к Пушкину. Приведенные выше данные, думается, достаточны для того, чтобы с их помощью — с большей уверенностью, чем это делалось прежде, — ставить и решать некоторые вопросы, относящиеся к загадке пушкинской «Розы». На довольно густом фоне, который образуют собранные цитаты (хотя они, разумеется, далеко не исчерпывают материал, подлежащий изучению), контуры идейного замысла этого юношеского стихотворения Пушкина проступают и обрисовываются гораздо более отчетливо; тем самым домыслы о его происхождении или предложенная профессором У. Викери попытка нового истолкования заключающейся в стихотворении цветочной символики могут быть обсуждаемы с реальными фактическими основаниями, ранее призрачными или только предполагавшимися.

Маленькую, но очень изящную и глубокомысленную статью «Из поэтики розы» (1898), которой, кстати сказать, предпослано в качестве эпиграфа первое четверостишие из пушкинской «Розы» А. Н. Веселовский начинал следующими словами: «Роза и лилия

⁸⁴ Не лишены занимательности те наблюдения, которые сообщает по этому поводу В. С. Федина в кн.: А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Пгр., 1915. В главе III («Флора и фауна в поэзии Фета и Тютчева») он приводит, в частности, статистические таблицы упоминаний цветов (а также трав, кустарников и деревьев) в поэзии Тютчева и Фета; из этих подсчетов выясняется, что у Тютчева роза упомянута 15 раз, у Фета — 89; лилия у Фета встречается 6 раз (один раз «лилея»), в стихах же Тютчева ее нет вовсе (с. 103); при этом метафоры типа «розы ланит» в расчет не принимались (с. 95). Изобилие роз у Фета в известной степени отражает его интерес к античной поэзии и начитанность в русской лирике пушкинской поры.

⁸⁵ Примером может служить «Песня офитов» Вл. Соловьева (1876), сочиненная им от имени своеобразной секты гностиков конца II в., придерживавшихся пантеистических воззрений. У Соловьева офиты поют:

Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем...

(Соловьев Владимир.
Стихотворения. М., 1891, с. 39)

Критик-символист Г. Чулков первую строку «Песни офитов» сделал заглавием своего критического этюда, а самое стихотворение толковал как призыв поэта «сочетать тайну искусства с тайной жизни» (см.: Чулков Георгий. Лилия и роза. — В его кн.: Покрывало Издпы: Критические очерки. М., 1909, с. 33—43; то же в издании: Чулков Г. Соч. СПб., 1912, с. 142).

как-то затерялись среди экзотической флоры современной поэзии, но еще не увяли и по-прежнему служат тем же целям символизма, выразителями которого были в течение веков. Средство осталось, содержание символа стало другое, более отвлеченное, личное, нервное, расчленяющее: многие из образов Гейне были бы непонятны поэтам, певшим о розовой юности (*rosea juventa*) и создавшим эпитет „лилейный“». ⁸⁶ В самом деле, содержание представлений о розе и лилии и всего сложного комплекса чувствований, который они вызывали, у поэтов-классиков и у романтиков было во многом несходно, хотя и те и другие пользовались одними и теми же словесными обозначениями цветков. Поставив перед собой задачу выяснить, «как зарождается и развивается символика цветов, без которой не обошлась ни одна народная или художественная поэзия», А. Н. Веселовский справедливо обращал внимание на то, что эволюция цветочной символики всегда находилась под одновременным воздействием многих весьма сложных факторов, не одинаково проявлявших себя в разной среде и различных исторических условиях. Выбор поэтами тех или иных цветов определяли не только «качества местной флоры», но и «красота цветка», чаще же «его отношения к знаменательным явлениям природной и личной жизни в их взаимодействии». От емкости поэтического образа цветка зависело также и разнообразие вызываемых им ассоциаций; нередко, впрочем, «образ цветка почти исчезает за подсказанным ему человеческим содержанием. Он в сущности безразличен: весенний цветок, каков бы он ни был, мог всюду вызвать те же чаяния и ту же работу мысли; в тургеневском: „Как хороши, как свежи были розы!“ — дело не в розах, а в качестве захватывающих воспоминаний. Оттого сходные поверья привязывались к разным цветкам, легенды, приуроченные к захожему цветку, приставали к туземному»». ⁸⁷ «Так создавались цветочные символы и вступали в борьбу за жизнь; одни вымирали, либо удержались в тесных границах какой-нибудь народной песни, другие входили в литературный круговорот, становясь в широком смысле международными». Такова роза (как цветочный символ), одержавшая победу над многими другими соперничавшими с нею цветами и за свою многовековую историю чрезвычайно обогатившаяся ассоциациями, которые она может вызывать. А. Н. Веселовский говорит, что в этом именно и заключается тайна поэтической красоты цветка: «...роза цветет для нас полнее, чем для грека, она не только цветок любви и смерти, но и страдания и мистических откровений: обогатилась не только содержанием вековой мысли, но и всем тем, что про нее пели на ее дальнем пути с иранского востока». ⁸⁸

Насколько велика была «емкость образа» поэтической розы для Пушкина-юноши? Не забудем, конечно, что это был гениаль-

⁸⁶ Веселовский А. Н. Из поэтики розы. — Избр. статьи. Л., 1939, с. 132.

⁸⁷ Там же, с. 132.

⁸⁸ Там же, с. 132—133.

ный юноша, но все же в год написания «Розы» ему было не больше шестнадцати лет. И. И. Пущин вспоминал о нем: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слышали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться (sic!) и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше, и легче находят случай чему-нибудь выучиться».⁸⁹ Это свидетельство для нас весьма существенно; оно корректирует в значительной степени то представление о юноше-поэте, которое внушает нам чтение указанной выше статьи профессора У. Викери. Воображая его настоящим эрудитом во французской эротической поэзии, У. Викери как будто забывает, что в эти годы Пушкин еще охотно играл в мячик на том самом царскосельском «розовом поле»,⁹⁰ где в то время произрастали несомненно реальные розы, а может быть, и те лилии, о которых мы уже упоминали выше, цитируя «Воспоминания в Царском Селе» 1814 г.

Начитанность молодого Пушкина во французской поэзии была, разумеется, велика, но не следует ее преувеличивать. Мы в состоянии достаточно ясно представить себе, что он читал и что мог знать о поэтической розе, которую называл «дитя зари»: это был образ, внушенный юношескими чтениями, и не стоит его усложнять, доискиваясь того эротического значения, о котором говорит профессор У. Викери, напоминая нам отрывки из произведений Ж. Бернара или Парни.

Относительно Ж. Бернара можно было бы пожалеть, что из произведений этого поэта цитируется «Искусство любить» с его весьма рискованными и едва ли понятными для мальчика мыслями «о радостях любви, получаемых от женщин разных возрастов», тогда как перу этого французского поэта-либертина принадлежит также более близкое к пушкинскому, очень скромное и весьма типичное стихотворение «La rose» («Tendre fruit des pleurs de l'aurore. . .»), одна из бесчисленных вариаций на тот же анакреонтический мотив о быстротекущей молодости, столь, как мы видели выше, привычный Пушкину как раз в эту пору.⁹¹ Мы высказались бы также в данном случае и против приводимой профессором У. Викери параллели к пушкинской «Розе» из Парни, в которой, как указывает американский исследователь, «„лилии“,

⁸⁹ Пущин И. И. Записки о Пушкине, с. 22.

⁹⁰ См.: Андиферов Н. Пушкин в Царском Селе. Л., 1950, с. 52.

⁹¹ Стихотворение Ж. Бернара «L' » в переводе на русский язык вошло в антологию: Французские лирики XVIII века. Сборник переводов, составленный И. М. Брюсовой, под ред. и с предисловием Валерия Брюсова. М., МСМХIV, с. 261—262. Описывая расцветающую розу, «окропленную росой Авроры», поэт сопоставляет ее с девушкой:

Увы, Темира! Рок ужасный!
Вам суждено, весны цветы:
Тебе, как розе, быть прекрасной,
Ей — мимолетной, как и ты.

сменяющие на щечках девушки „розы“, означают увядание первой молодости:

Mais la rose sur son visage
Par degrés a fait place au lis. . .».

Данное стихотворение, озаглавленное у Парни «*Coup d'oeuil sur Cythère*» (1787), уже не раз сопоставлялось с различными стихотворениями Пушкина; при этом едва ли может быть опровергнуто уже давно сделанное наблюдение, что Пушкин подражал этому произведению Парни в стихотворении «Платоническая любовь» (1819),⁹² из которого мы уже приводили, в другой связи, строки:

Твоя краса, как роза, вянет;
Минуты юности бегут. . .

(II, 107)

Что касается метафорической «лилии», которую упоминает в своем стихотворении Парни, то в подражании Пушкина она исчезла: вместо нее у Пушкина появились «побледневшие ланиты».⁹³

Дальнейшие сопоставления пушкинской «Розы» с произведениями французских лириков XVIII в., в частности с «*poésies fugitives*», с моей точки зрения, бесполезны, так как они не могут объяснить ничего сверх того, что уже объяснили ранее,

⁹² См. это сопоставление в забытой, к сожалению, статье «Заметки на полях» (в кн.: Пушкин и его современники. Л., 1927, вып. XXXI—XXXII, с. 69).

⁹³ Задолго до Парни розы и лилии в том же метафорическом сочетании и применении поместил в стихотворении «Больной Элизе» Паоло Ролли, итальянский поэт, живший в Лондоне в начале XVIII в. и входивший там в кружок А. Кантемира. В русском переводе А. С. Норова интересующие нас строки этого стихотворения Ролли читаются так:

Покрылись бледностью Элизы красоты!
Лишь лилии цветут, где расцветали розы. . .

(Благонамеренный, 1821, ч. XIII, № 11,
с. 82—83)

Поэтическая строка о молодой женщине — «роз и лилий красоты» есть в стихотворении К. Н. Батюшкова «Привидение», переведенном из Парни. В «Идиллии» М. В. Милонова читаем:

Расцветшая роза чрез миг исчезает.
Не доле у Лиллы Зефир обнажает
И лилии персей, и розы ланит.

(Муза новейших российских
стихотворцев. М., 1814, с. 79)

Последний стих составлен здесь из тех же двух метафор, уже окостеневших и постепенно утрачивавших свою связь с породившей их цветовой основой. Позже французский фразеологизм «*teint de rose et de lys*» — о румянном человеке «цветущего» здоровья был в русском языке заменен фразой с двумя другими метафорами — «кровь с молоком», пущенной в широкий оборот Гоголем в «Мертвых душах».

а именно, что пушкинская роза, «дитя зари», — есть та самая роза подражателей Анакреона в поэзии классицизма, которая цвела и отцветала в бесчисленных стихотворениях, то и дело появлявшихся между XVI и XIX веками во французской литературе; лучшие из этих образцов, как мы уже видели, были Пушкину хорошо известны. Следовательно, нет никакой необходимости в представлениях его о поэтической розе, как они сложились к 1815 г., искать какой-либо дополнительный, сокровенный смысл. С образом и цветочным символом лилии того же пушкинского стихотворения дело обстоит, как мы себе представляем и постараемся объяснить ниже, несколько иначе.

На глазах у Пушкина-юноши, столь начитанного во французской классической поэзии, в этой поэзии происходили уже характерные сдвиги, на которые чутко откликались и русские писатели, его старшие современники и наставники в поэтическом творчестве. Эти сдвиги направлены были в сторону зарождавшегося романтизма и постепенно подготавливали многие структурные и стилистические изменения во всех жанрах для будущего обновления поэзии и прозы. К «предромантическим» веяниям во французской, а вскоре затем и в русской литературах можно отнести наблюдавшееся в ту пору возникновение новых форм элегии или баллады, тяготение к экзотическому колориту, обострившееся внимание к памятникам средневековья и литературам других стран (в частности, к немецкой и английской), обновленный интерес к живой природе и т. д. Эти веяния или, скорее, предчувствия их уследимы, в частности, как раз в поэзии Парни, благодаря чему она влекла к себе Батюшкова и за ним юношу Пушкина. Воспитанный в школе Лафонтена и Вольтера, Парни тем не менее отразил в своем творчестве кое-какие «предромантические» искания: хотя его элегии были засушены рационализмом или опошлены пряной эротикой либертинажа, но его мадагаскарский песенный цикл или опыты «оссианических» поэм принадлежат новому веку и еще не сложившейся новой поэтической школе.⁹⁴ Несмотря на то что французские романтические поэты и не считали Парни своим предтечей, его мечтательные любовные стихи, группировавшиеся вокруг образа Элеоноры, заставляют вспомнить лирику стихотворных посланий, обращенных к Эльвире в «Méditations» Ламартина.

Воздействий, шедших от Парни, не избежал в своем раннем творчестве и Жуковский. Но эрудиция его была шире и сосредоточилась в конце концов в большей мере на немецкой и английской поэзии, которая открыла для него широкий простор народной поэзии всех стран,⁹⁵ а вместе с нею также сокровища евро-

⁹⁴ Парни отдал дань также возникшей моде на средневековье, в своих «Les Rose-Croix», опубликованных в 1808 г. в его «Œuvres complètes».

⁹⁵ Знакомством с мировым фольклором Жуковский, как и другие русские писатели того времени, обязан был наследию Гердера (см.: Bittner Konrad. J. G. Herder und V. A. Joukowski. — Zeitschrift für slavische Philologie, 1959, Bd XXVIII, N. 1, S. 1—44), а также сборникам поэтов-роман-

пейской средневековой лирики. В том же направлении развинулись симпатии молодого Карамзина.

Мы привели эти справки для того, чтобы подчеркнуть ошибочность представления об одностороннем внимании Пушкиналицеиста к одной лишь французской поэзии XVIII в. Неверно было бы также искать в ней одной те поэтические средства и приемы, которые он насаждал и в родной русской поэзии. Горизонт юного поэта был шире, как и его эстетический опыт. Его творчество имело в те годы, как и творчество всякого молодого поэта, характер экспериментальный и подготовительный. Процесс превращения поэтической розы классицизма, давно обретшей уже бутафорский характер, в розу романтическую тогда еще не завершившийся в поэзии, по существовавшим переменам, происшедшим в цветовой символике, как и во всей системе обновляемых поэтических средств, Пушкину, нужно думать, были уже заметны.

В руках Пушкина, вероятно, побывала одна из самых популярных в начале XIX в. учебных хрестоматий по французской литературе Ноэля и Делапласа, первое издание которой вышло в 1804 г. под заглавием «Уроки литературы и морали»; хрестоматия затем переиздавалась почти ежегодно и достигла громадной популярности.⁹⁶ Первое ее издание во всяком случае не только было в руках у Жуковского, но даже внушило ему мысль, как это доказал В. И. Резанов, составить подобную же переводную книгу «образцов» слога, выбранных из произведений лучших французских писателей. В проекте этой книги, который Жуковский составил около 1805 г., в отделе «Картины», точно соответствовавшем отделу «Tableaux» первого тома хрестоматии Ноэля и Делапласа, полностью отведенного прозе, Жуковский отметил среди отобранных им для задуманной книги отрывков также фрагмент — «Лилия и роза».⁹⁷

Автором этого прозаического отрывка был Бернарден де Сен-Пьер, «руссоист» и «предромантик», с именем которого связывается возникновение в литературе нового «чувства природы» и открытие новых цветовых ощущений, воплощенных им в новой лексике, стилистике художественной прозы и пересозданных красочных эпитетах. Отрывок о лилии и розе заимствован составителями этой хрестоматии из первой главы первой книги «Этюдод природы» Б. де Сен-Пьера и представляет собой весьма живописное описание реальных живых растений — лилии и розы, совершенно отличных от цветов, числившихся некогда в поэтическом реквизите, многочисленные упоминания которых легко найти во

тиков вроде «Чудесного рога мальчика» (Des Knaben Wunderhorn) Арнима и Брентано.

⁹⁶ *Leçons [françaises] de littérature et de morale, ou Recueil, en prose et en vers, des plus beaux morceaux de notre langue dans la littérature des deux derniers siècles...*, par M. Noel et M. de La Place (14-е издание книги вышло в 1825 г., 16-е — в 1828, 21-е — в 1833 г. и т. д.).

⁹⁷ Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Пгр., 1916, вып. II, с. 540.

втором томе той же хрестоматии Ноэля и Делапласа (уделенном поэзии). Фрагмент из трактата Б. де Сен-Пьера помогает нам еще более убедиться в том, что «лилея», на которую Пушкин указал в последней строке своего стихотворения о розе, не относится к французской поэтической традиции и что ее следует искать в другой стороне. Б. де Сен-Пьер начинает свой отрывок с описания живой лилии; он называет ее «королем долин» (*Le Roi des vallées*) по той причине, что лилия (*le lys*) во французском языке мужского рода. Возражая ботаникам, изучающим цветы по своим гербариям, он пишет, что они ничего не поймут в «божественной» красоте цветов, если будут смотреть на них, распластанных и засушенных, а не в природных условиях. Б. де Сен-Пьер говорит, что будет любоваться «лилией, этим королем долин, на берегу ручья, когда он поднимает из травы свой царственный стебель и отражает в водах свои красивые чашечки, более белые, чем слоновая кость». Точно так же в засушенной розе нельзя распознать эту «королеву цветов»: «Для того чтобы она была одновременно предметом любви и философии, нужно ее видеть тогда, когда, поднимаясь из влажной расщелины скалы, она блистает на собственной своей зелени, когда зефир качает ее на стебле, усеянном шипами, когда утренняя заря покрыла ее слезами и когда она своим сверканием и ароматом призывает руки любящих».⁹⁸

В этом отрывке лилия не противопоставлена розе; из прочих цветов они отобраны для иллюстрации мысли автора лишь по давно установившейся традиции, как наиболее знаменитые в цветочном царстве; но власть этой традиции оказалась так велика, что свою реальную, живую, цветущую розу Б. де Сен-Пьер не может не снабдить атрибутами, ранее приданными ей поэтами: упомянуты и Зефир, и Аврора, и руки любящих, и стародавние поэты и мудрецы. При этом автор не мог назвать цветы ни «сестрами», так как лилия была не «королевой», но «королем», ни «соперницами» — по той же самой причине.

Наблюдение лишний раз убеждает нас в том, что лилия, на которую указывал в своем стихотворении Пушкин, принадлежит не столько французской, сколько немецкой литературной традиции, живыми носителями которой для Пушкина в лицейские годы могли быть его друзья-поэты Дельвиг и Кюхельбекер. Профессор У. Викери в поисках разгадки замысла пушкинского стихотворения утверждает, что роза и лилия в поэзии «обладают многообразными, различными, а иногда и сходными, функциями в зависи-

⁹⁸ St-Pierre Bernardin de. *Ouvres complètes*. Paris, 1825, t. III, p. 27—28. В «*Leçons [françaises] de littérature et de morale*» Ноэля и Делапласа этот отрывок находится в первом томе (я пользовался 14-м изданием 1825 г., с. 101—102); с ним интересно сравнить помещенные во втором томе (посвященном поэзии) «*Hommage à la rose*» из описательной поэмы Делля «Сады» (*Les Jardins*, ch. III) и находящиеся почти рядом стихотворения Парри о рождении розы и о лилии (t. II, p. 133—134, 138, 139).

мости от контекста». Мы полагаем, однако, что Пушкин знал тот особый смысл, который придавался лилии в цветочной символике немецких романтиков и распространен был также в народной поэзии, как немецкой, так, между прочим, и западнославянской.

В этуодах о немецкой народной песне Э.-К. Блюмля обширное исследование посвящено песням, в которых речь идет о лилиях как о цветках, сажаемых или вырастающих произвольно на могилах в знак правоты или невинности тех, кто там похоронен.⁹⁹ В этих песнях-балладах белая лилия, как догадываются исследователи, служит символическим воплощением представлений о человеческой душе и ее бессмертии.¹⁰⁰ Если белая роза в народных поверьях являлась цветком смерти, украшением гроба и кладбищ, то лилия, в данном круге поэтических произведений, противостояла ей именно как цветок жизни. Широко распространены, например, в немецкой народной поэзии баллады о рыцаре, покинувшем свою возлюбленную, которая умерла с горя или покончила жизнь самоубийством; на ее могиле вырастают (две или три) лилии как свидетельство того, что умершей отпущены грехи (иногда она является также убийцей своего ребенка) и предстоит вечная жизнь на небесах.

К этому же песенному сюжету относится широко распространенная баллада о дочери графа (или другого видного лица), которая служит, не узнавая никем, у своей замужней сестры или матери, затем умирает; на могиле ее вырастают лилии, на лепестках которых можно прочесть надпись о том, что героиня была прощена; выясняется, что она оставлена любовником; грех, которым она себя запятнала, заставил ее скрыть свое имя и пойти в услужение к родным.

Und als das Mädchen gestorben war,
Da wuchsen drei Lilien auf ihrem Grab,
Und unter den mittelsten stand geschrieben:
Das Mädchen wär bei Gott geblieben.¹⁰¹

Лилии в немецких песнях вырастали также на могилах любовников, при жизни подвергшихся гонениям или клевете.

⁹⁹ Blümml E. K. Zur Motivgeschichte der deutschen Volkslieder. 1. Die Lilie als Grabespflanze. 2. Die Volkslieder von der Lilie als Grabesblume. — Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. Berlin, 1906, Bd VI, S. 409—427; Bd VII, 161—191; Meier John. Geschichte des modernen Volksliedes. — Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 1909, Bd 13, S. 241 ff.

¹⁰⁰ Erich O., Beitzl R. Wörterbuch der deutschen Volkskunde. 2. Aufl. Stuttgart, 1955, S. 480. — Напомним одно из первых исследований, в которых устанавливалась тождественность представлений о лилии и душе: Hartung J. A. Auslegung des Märchens von der Seele und des Märchens von der schönen Lilie. Erfurt, 1866.

¹⁰¹ Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte, Bd VII, S. 161. — Автор ссылается на множество сборников немецких народных песен, в которых встречается мотив лилий; для нас интересно, что указанные песни-баллады с лилией, расцветающей на могиле, встречаются у Арнима и Брентано (Arnim Achim von Brentano Kl. Des Knaben Wunderhorn. Bd 1. Heidelberg, 1806, S. 53) и в песенных сборниках 30-х гг., с сопровождением музыкальной мелодии.

Распространенность этого мотива о лилиях, выраставших на могилах, усвоена была и искусственной немецкой поэзией. Одна из ранних баллад Л. Уланда «Розовый сад» (*Der Rosengarten*, 1807), написанная под воздействием немецких средневековых эпических сказаний, связанных с именами Кримхильды, а также Дитриха Бернского, описывает сад королевы, полный роз, которые стерегут садовники; но приходят три рыцаря, убивают сторожей, уничтожают розы — и тогда, говорится в балладе, «там, где был розовый сад, вырастет сад лилий»:

Und wo der Rosengarten war,
Soll der Liliengarten werden.

«Кто же сохранит эти лилии, если нет больше для них верных сторожей? — спрашивает поэт и заключает: — Их будут сторожить днем — солнце, ночью — луна и звезды».¹⁰² Розы и лилии часто встречались в хорошо известных в России произведениях Теодора Кернера, поэта-воина, юноши, ставшего жертвой освободительной войны 1813 года. В его поэтическом наследии («*Poetischer Nachlaß*»), издававшемся с 1814 г., этим цветам была посвящена особая драматическая сцена в стихах: «*Die Blumen. Ein Spiel in Versen*» с датой 11—12 января 1812 г.¹⁰³

¹⁰² Uhland L. *Gedichte*. 64. Aufl. Stuttgart, 1884, S. 219—221. — О дате и об источниках этой баллады см.: Dünzger H. *Uhlands Balladen und Romanzen*. Leipzig, 1879, S. 122—123. — Любопытно, что впоследствии тот же Л. Уланд исследовал происхождение цветочной символики, как она отразилась в немецких народных песнях, а также в лирических и эпических произведениях европейского средневековья. Он упоминает здесь и о противопоставлении и толковании в народном сознании красного и белого цвета и подробно говорит о значении розы и лилии в поэтической традиции. О юной девушке Вальтер фон-дер-Фогельвейде говорит, что на ее щеках цвели розы и лилии («*Jr wangen wurden rôt same din rôse, da si bi der lilien stat*»); это сравнение можно найти и у других миннезингеров. Те же символы играют роль в старофранцузском романе о «Флоре и Бланшфлере», известном также в немецкой и голландской редакциях; в одной шотландской балладе две сестры имеют имена *Rose the Red* и *White Lilly*. (См.: *Uhlands Schriften zur Geschichte und Sage*, Bd. III. Stuttgart, 1866, S. 413, 415, 496 и др.). К большому материалу, собранному Л. Уландом, добавим указание на известное двустишие немецкого поэта XVII в. Логая:

Wie wills tu weisse Lilien zu roten Rosen machen?
Küss eine weisse Galathee: sie wird errötend lachen.
(Как превратишь ты белую лилию в красную розу?
Поцелуй белоснежную Галатею: она покраснев, улыбнется).

(см.: Petsch R. —
Volkskunde und Literaturwissenschaft.
Jahresberichte für historische Volkskunde,
Berlin, 1925, I, S. 155—156).

Это двустишие-сентенция Логая стало широко известно после того, как его положил в основу своего сборника новелл «Изречение» и его «обрамления» Готфрид Келлер (*Das Sinngedicht*, 1882).

¹⁰³ В этой одноактной пьесе две героини — Роза и Лилла. В предварительной ремарке автора указано, что сцена представляет собою деревен-

У романтиков, например у Тика, розы воплощали жизнеутверждающую полноту чувства любви, лилии — скромность и чистоту желаний.¹⁰⁴ Но если роза увядает быстро, лилия знаменует вечную жизнь. Недаром она является одним из видов символического «древа жизни», его, так сказать, малой ипостасью.¹⁰⁵

Наши разыскания приведены к концу. Мы стремились обосновать гипотезу, что пушкинская лилия в его «Розе» восходит к представлению о ней как о «древе жизни», как о символе бессмертия и всепрощения и что такое представление Пушкин мог получить (предположительно через Кюхельбекера или Дельвига) из какого-либо немецкого балладного или песенного источника. Тем самым последний стих пушкинского стихотворения «И на Лилею нам укажи» получал бы вполне ясный смысл.

Добавим лишь, что в более поздние годы Пушкин безусловно должен был познакомиться с некоторыми произведениями, в которых лилия имела именно такой смысл. Такова была баллада Мицкевича «Лилия» (1820), всецело основанная на традиции польских народных песен. В этой балладе жена убивает мужа и сажает лилии на его могиле; из-за сорванных лилий происходит ссора между братьями убитого, когда они пытаются его вдову взять себе в жены. Но храм, куда вели к венцу клятвopреступницу и убийцу, рушится при звуках голоса убитого; все погибают, а на развалинах вновь расцветают лилии. (Характерно, что, не понимая этого народного мотива, К. Ф. Рылеев в своем оставшемся незаконченным переводе (1822 г.) баллады Мицкевича заменил лилии розами). Исследователи польского поэта привлекли к изучению баллады огромный международный песенный материал — не только польский и немецкий, но и французский, итальянский, испанский и т. д. Оказывается, что мотив о лилиях, вы-

скую комнату, в которой с обеих сторон стоят столы: «На одном — розовый куст, на другом — лилия». Роза и Лилла стоят у своих цветов (первая — у роз, вторая — у лилии) и ведут между собой беседу, во время которой Лилла, в частности, утверждает:

Bunt ist deiner Rose Glühen,
Schneeweiß ist der Lilie Kleid, —
Rosenliebe solt verblühen,
Lilienunschuld trotz der Zeit.
(Ярко пылает твоя роза,
Как снег бела одежда лилии. —
Любовь розы отцветает,
Невинность лилии противится времени).

В результате возникшей между девушками вовсе не занимательной перебранки они уничтожают свои цветы (Theodor Körners Werke, Bd. II, Abt. I, hrsg. von A. Stern, «Deutsche National-Literatur». Stuttgart, (o. J.), S. 42—50).

¹⁰⁴ Steinert W. Ludwig Tieck und das Farbenempfinden der roman-tischen Dichtung. Dortmund, 1910, S. 3—4, 99—100.

¹⁰⁵ Bauerreis Romuald. Arbor vitae. Der «Lebensbaum» und seine Verwendung in Liturgie, Kuhst und Brauchtum des Abendlandes. München, 1938, S. 123, 132—133.

раставших на могилах, и вообще представление о лилии как символе живой души широко распространены в мировой литературе,¹⁰⁶ что лишний раз подсказывает нам вероятность знакомства Пушкина и с этим представлением, и с указанным песенным мотивом.

Наши выводы могут показаться неожиданными. Зато они свидетельствуют, сколь многое остается для нас неясным или даже загадочным в лирике Пушкина, как много дальнейших усилий еще потребует от нас ее изучение, какой далекий и кружной путь придется делать порой для того, чтобы в истолковании творчества поэта добиться более или менее прочных результатов.

¹⁰⁶ См.: Biegeleisen H. Motywy ludowe w balladzie Mickiewicza Lilje. — Wisła. Warszawa, 1891, t. V, s. 62—103, 393—397. — К собранному здесь огромному материалу добавим лишь указание на «Лілею» Шевченко: на могиле девушки вырастает цветок, который и есть сама девушка. Вл. Данилов нашел параллель этому стихотворению Шевченко в чешской поэзии (см. его статью «„Лілея“ Шевченка и „Lilie“ Эрбена» в журнале «Україна» (1907, май, т. II, с. 180—189)).





ПУШКИН И ЧОСЕР

Отзывы и суждения о Джеффри Чосере и его творческом наследии, опубликованные в России в XVIII и XIX вв., еще не были собраны и не подвергались изучению; их не учитывали историки его литературной репутации в мировой литературе. Так, например, мы не находим ни одной ссылки на русские печатные источники в такой замечательной по своей полноте библиографической работе, какова справочная книга Каролайн Сперджен «Пять веков критики Чосера и указаний на него».¹ Благодаря этому давно уже создалось впечатление, что Чосер известен у нас мало, хуже многих других великих писателей: с ним не связывалось у нас никаких поэтических или исследовательских традиций, исторических или бытовых аналогий; до сравнительно недавнего времени произведения его почти вовсе не интересовали также и русских переводчиков.

Все это, конечно, в известной мере, справедливо; тем не менее неизвестности Чосера в русской литературе не следует преувеличивать. Место Чосера — среди великих литературных деятелей XIV столетия, рядом с Данте, Петраркой и Боккаччо. В истории английской литературы Чосер — несомненно крупнейшее поэтическое имя вплоть до Шекспира; лучшее же из его созданий — «Кентерберийские рассказы» («*Canterbury Tales*») — безусловно является одним из величайших произведений литературы английского средневековья, в котором отчетливо пробиваются ренессансные черты. Было бы очень странно и совершенно неправдоподобно, если бы сведения о Чосере и его стихотворных новеллах дошли бы до русской литературы, столь рано и чутко откликнувшейся на все сколько-нибудь замечательные явления западной культуры, только в конце XIX в., как это обычно утверждается. Действительно, «Кентерберийские рассказы» узнали у нас много раньше, а одним из примечательных эпизодов из истории знакомства с Чосером в России безусловно являются отзывы о Чо-

¹ Spurgeon Caroline F. E. Five hundred years of Chaucer's criticism and allusion, 1357—1900. Cambridge, 1925, 3 vols.

сере Пушкина, сопровождавшиеся его попыткой стихотворного перевода одной из новелл кентерберийского цикла, правда, через посредство французского источника.

Имя Чосера, хотя и в ошибочной транскрипции, впервые было упомянуто в русском журнале «Полезное увеселение» в 1762 г. в рассуждении «О стихотворстве». Этот трактат, в котором дается краткий обзор истории происхождения и развития поэзии у разных народов Европы и Востока, издавна приписывается перу русского литератора С. Г. Домашнева. Н. С. Тихонравов уже давно обратил внимание и на этот трактат и на то место в нем, где идет речь о некоем английском стихотворце Шангере как о «несравненном писателе в описаниях и вообще весьма остром»;² при этом Тихонравов естественно предположил, что автор трактата несомненно имел в виду Чосера, имя которого взял из какого-либо иностранного источника и воспроизвел с ошибкой.³ Правда, авторство С. Г. Домашнева в данном случае более чем сомнительно, так как оно не подкрепляется никакими свидетельствами, заслуживающими доверия;⁴ с другой стороны, в настоящее время определены важнейшие иностранные источники этой русской компилятивной статьи: таковы «Опыт о правах» Вольтера (1757), «Древняя история» Роллена (1730—1738) и «Опыты истории художественной литературы, науки и искусств» Феликса Жювенеля де Карленка (Félix de Juvenel de Carleucas, 1679—1760). Последний источник был под рукой анонимного русского составителя рассуждения «О стихотворстве», и в частности отразился именно в тех отделах этой компиляции, в которых речь шла о стихотворстве в Англии, Испании и в странах Востока. Именно отсюда взято дословно также известие о Чосере; при этом Чосер и у Жювенеля ошибочно именуется Changer; таким образом, русский компилятор, кто бы он ни был, должен быть обвинен не столько в небрежности, сколько в добросовестном заимствовании.⁵ Впрочем, о Чосере он еще не имел никакого представления.

² Полезное увеселение, 1762, кн. IV, с. 231.

³ Тихонравов Н. С. Соч. М., 1898, т. III, ч. 2, с. 59. — С именем С. Г. Домашнева статья «О стихотворстве» полностью перепечатана из «Полезного увеселения» П. А. Ефремовым в его кн.: Материалы для истории русской литературы. СПб., 1867, с. 168—195. — С удивлением относительно неосведомленности автора отзыв его о Шангере-Чосере цитирует также Ernest J. Simmons (English Literature and Culture in Russia 1553—1840. Cambridge, Mass., 1935, p. 113).

⁴ О затруднительности приписывать этот трактат перу С. Г. Домашнева (1743—1796) и о его французских источниках см.: Schlieter H. Zu den Quellen der Abhandlung von S. G. Domašnev «О стихотворстве». — In: Ost und West. Aufsätze zur slavischen Philologie, hrsg. von A. Rammelmeyer. Wiesbaden, 1966, S. 158—179.

⁵ Juvenel de Carleucas. Essais sur l'histoire des belles lettres, des sciences et des arts, 2 vols. Lyon, 1740—1744 (2-е изд. — 1749 г., 3-е изд. — 1757 г.). Gerda Achinger (Der französische Anteil an der russischen Literaturkritik des 18 Jahrhunderts (Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, Bd 15. Bad Homburg, 1970, S. 140), говоря о значении труда Жювенеля для автора русской статьи «О стихотворстве», приводит следующую текстуальную параллель:

Конечно, и сам Жювенель, из труда которого в русскую статью перенесен слово в слово весь пассаж о «весьма остром» английском стихотворце Шангере, знал о Чосере не очень многое. Для Жювенеля, как и для его французских предшественников (например, для Нисерона в его «*Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres*», 1736), Чосер был всего лишь перелателем новелл Боккаччо на довольно варварские английские стихи.⁶ Впрочем, язык и стихосложение Чосера в XVII и XVIII вв. во всей Западной Европе казались устарелыми и беспомощными. В самой Англии в ту пору литературным критикам недоставало умения читать его поэтические тексты правильно в фонетическом и метрическом отношениях. Перемена пришла лишь с Джоном Драйденом (1631—1700), первым английским поэтом нового времени, который сквозь чуждую ему языковую и метрическую оболочку писаний Чосера сумел распознать в нем великого художника. В изданных Драйденом в конце его жизни стихотворных переложениях ряда произведений античного мира и эпохи Возрождения («*Fables, Ancient and Modern, translated into verse*», London, 1699) сделан первый шаг на пути к обновлению былой поэтической славы Чосера: в этом сборнике наряду с парафразами из «*Метаморфоз*» Овидия, новелл из «*Декамерона*» и других произведений Боккаччо находятся также пересказанные новыми английскими стихами произведения Чосера, а среди последних —

У Жювенеля (vol. I, p. 66, по 2-му изданию 1749 г.): «En Angleterre la Poésie ne commença à se rendre digne d'attention que dans le quatorzième siècle: changer qui vivait alors, est inimitable dans ses description et, en général, fort ingénieux».

В статье «О стихотворстве»: «В Англии стихотворство сделалось достойно примечания в XIV в. Шангер, который жил в то время, есть несравненный писатель в описаниях, и вообще весьма остр» (с. 231).

Добавим, что этот труд Жювенеля, предвосхитивший историко-литературные обобщения Вольтера, пользовался в середине XVIII в. значительной известностью и был переведен на немецкий и английский языки. Немецкий перевод его «*Essais*» (Leipzig, 1749—1752, 2 Bd) был известен Ломоносову (см.: Будилович А. Ломоносов как писатель. СПб., 1874, с. 267; Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. М.; Л., 1961, с. 263 (№ 70) и с. 419 (№ 54)). В том же самом году, когда извлечения из его «*Essais*» появились (без указания на источник) в русском журнале «Полезное увеселение», во Франции о Жювенеле писал Фрерон в «*L'Année Littéraire*» (1762), см.: *Dictionnaire des lettres françaises; Le dix-huitième siècle*. Paris, 1960, t. I, p. 603; Brockmeier Peter. *Darstellungen der französischen Literaturgeschichte von Claude Fauchet bis Laharpe*. Berlin, 1963, S. 83—86.

⁶ Spurgeon Caroline F. E. *Chaucer devant la critique en Angleterre et en France*. Paris, 1911, p. 307. — Очень возможно, что источником этих утверждений о близости Чосера к Боккаччо были упомянутые ниже «*Fables*» Драйдена. Позднее Ф. Феллер (Abbé F. X. Feller), автор первой биографии Чосера на французском языке (in: *Dictionnaire Historique*. 2-me éd. 1791, t. III, art. «Chaucer»), говорил о «Кентерберийских рассказах», «полных ирриности, наивности и вольности», как о созданных якобы «по Боккаччо». В настоящее время, однако, зависимость Чосера от Боккаччо почти полностью отрицается, см.: Алексеев М. П. «Кентерберийские рассказы» и «Декамерон». Л., 1941, с. 59 и сл. (оттиск из «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. XXI).

один из знаменитых впоследствии «Кентерберийских рассказов», «Рассказ горожанки из Бата».⁷

В эпоху Просвещения знакомство в Англии со среднеанглийским языком и палеографией значительно увеличилось; вместе с этим рос также интерес и к наследию Д. Чосера. Ко второй половине XVIII в. относится деятельность выдающегося знатока Чосера и его эпохи — Томаса Тируитта (Tyrrwhitt, 1730—1786), издавшего «Кентерберийские рассказы» (1775—1778) с комментариями, в которых разъяснены и источники отдельных новелл, и версификация Чосера, а также сделаны первые критические попытки установления полного авторского текста на основе сличения различных рукописных списков и освобождения их от искажений. Очищенный и объясненный, текст шедевра Чосера — его «Кентерберийских рассказов» вновь пачинал сиять для читателей первозданным блеском. Полностью славу Чосера восстановили следующие поколения английских поэтов — В. Блейк, В. Скотт. Ч. Лем, Байрон, У. С. Лендор и др.

В конце XVIII в. и в первое десятилетие XIX в. имя Чосера довольно редко встречалось в русской печати: его упоминали лишь попутно, притом в самых произвольных и неустойчивых транскрипциях. В «Московском журнале» Карамзина (1792) о Чосере говорится однажды в статье о Виланде: «Виландов Оберон есть царь фэй, юноша прелестной и вечно-юной, каковым описывает его Чосер или Шекспир в *Midsummer Night's Dream*».⁸ В 1807 г. о Чосере упоминает И. И. Мартынов, именуя его Шоссер и выдавая этим написанием, что источник его сведений был французский; правда, из контекста явствует, что имя Чосера для Мартынова было пустым звуком, не влекшим за собой никаких ассоциаций. В речи, произнесенной 23 марта 1807 г. в Российской Академии, И. И. Мартынов между прочим говорил: «В четырнадцатом веке нашей эры, после мрака невежества, облежавшего Европу, паки начали возвышаться храмы вкуса... В Италии были три гения, Дант, Петрарк и Бокас... Рвение отличиться на поприще словесности сделалось общим во всей Европе: Шоссер в Англии, Жонвиль [sic! следует — Жуанвиль] Фроассар [Фруассар] и многие другие писатели во Франции в то время занимались очищением природных языков».⁹

⁷ О переделках Драйдена и их отношениях к чосеровским оригиналам см.: Schöpke Otto. Dryden's Übertragungen Chaucer's und ihr Verhältniss zu ihren Originalen. Halle, 1878.

⁸ Московский журнал, 1792, VIII. 2-е изд. М., 1803, с. 231—232.

⁹ См.: Сухомлинов М. И. История Российской Академии. СПб., 1881, вып. 7, с. 286. — В чем состояло это произведенное Чосером «очищение» языка, И. И. Мартынов едва ли догадывался. Однако и впоследствии в русской печати об этой заслуге Чосера говорилось особенно охотно. См., например, в кн.: Жарри де Манси А. История древних и новых литератур, наук и изящных искусств. Пер. с франц. И. Милашевич. М., 1832, ч. I, с. 58, где о реформе Чосером литературной речи сказано, что английский язык, «очищенный Шодером [sic] в XIV в. ... соделался языком письменным».

Лишь в 20-е годы представления о Чосере стали у нас более ясными и отчетливыми. Интересное свидетельство находим мы в одном из писем Д. Н. Блудова, состоявшего в это время поверенным в делах русского посольства в Великобритании. В письме из Лондона от 25 марта (6 апреля) 1820 г. к И. И. Дмитриеву, сообщая свои впечатления о литературной жизни в Англии, Д. Н. Блудов отмечал, что особенно достойными внимания казались ему отчетливо проявляющие себя в стране ретроспективные тенденции современной английской поэзии, происходившее на его глазах возрождение литературного прошлого. «Что сказать о состоянии здешней словесности? — писал Блудов. — Вы, конечно, по старой благоразумной привычке, еще называете Англию отечеством>Addисонов, Пóпов, Стилей, полагая сей титул в числе других ее славных титулов. Поверите ли, что ныне уважение к блистательному веку королевы Анны здесь едва ли терпимо. И кто, из англичан или иностранцев, имеет дерзость пленяться красноречивою простотою лондонской прозы или глубокомыслием всегда ясным стихов Попа и сильною краткостью его выражений, тот, благодаря господствующему вкусу, слывет литературным еретиком. Чтоб быть православным, надобно поклоняться поэтам предшествовавших веков, и чем древнее, тем лучше, начиная от Мильтона и поднимаясь к Шекспиру, Спенсеру [sic] или, что еще почтеннее, к Чоусеру и другим песнопевцам 14-го столетия. Любовь к средним векам и ко всему готическому здесь почти общая; от каменных зданий перешли и к творениям воображения».¹⁰

Приведенное свидетельство представляет для нас значительный интерес. С одной стороны, в нем находятся верные наблюдения очевидца, сделанные на месте действия: Блудову удалось подметить основное в развитии литературных тенденций и вкусов в современной ему Англии; в том же письме он сообщал о складывавшихся на его глазах репутациях В. Скотта, Байрона, Т. Мура. С другой стороны, Д. Н. Блудов являлся деятельным членом «Арзамаса» и состоял в приятельских отношениях со многими русскими литераторами «карамзинского» лагеря — П. А. Вяземским, А. И. Тургеневым, Д. В. Дашковым. В. А. Жуковский в особенности ценил критические способности Блудова и доверял его оценкам и суждениям больше, чем себе самому; посвящая Блудову свою балладу «Вадим» (1817), Жуковский признавался:

Вадим мой рос в твоих глазах,
Твой вкус был мне учитель...

Лишь Пушкин занял независимую позицию и проявил осторожность: в письме к Жуковскому (в конце апреля 1825 г.) он писал: «Зачем слушаешься ты маркиза Блудова? Пора бы тебе удостовериться в односторонности его вкуса» (XIII, 167).

¹⁰ См.: Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время. — Соч. СПб., 1871, Приложение, с. 250.

В конце 20-х годов и начале 30-х имя Чосера стало чаще падать в русских журнальных статьях и книгах по иностранной словесности. Так, например, Чосер (называемый — Чаусер) упомянут в «Московском телеграфе» в статье о Томасе Муре. Говоря о том, что Мур довел «до высшей степени совершенства английскую версификацию», автор статьи замечал далее: «Английские критики сознаются, что ни один из английских стихотворцев со времен Чаусера не оказал столько заслуг английской словесности в этом отношении».¹¹

В книге С. П. Шевырева «История поэзии», о которой, как известно, весьма благоприятно отозвался Пушкин, мы также находим несколько упоминаний о Чосере во втором (вступительном) «чтении», где дается сравнительная характеристика национальных западноевропейских литератур. «Еще в XIV в. Англия имела своего писателя, Чосера, который давал уже художественные формы английскому языку», — говорит здесь Шевырев. Далее, имея в виду «Кентерберийские рассказы», Шевырев пишет, что «Чосер еще до Сервантеса уже смеялся над нелепостями рыцарских сказок», а затем утверждал, что в XIV—XVI вв. итальянская литература нередко служила образцом для английской и что Чосер стоял в самом начале этого процесса, «когда язык трудами Чосера, а потом Спенсера, устроил свои художественные формы по образцам итальянской».¹²

И все же еще до Шевырева именно Пушкин первым в русской литературе произнес имя Чосера с отчетливым пониманием его значения в мировой литературе. Отвечая суровым критикам своей поэмы «Граф Нулин», которым она представлялась слишком фривольной и предосудительной, Пушкин в 1830 г. с иронией спрашивал их: «И ужели творцы шуточных повестей, Ариост, Бокаччио [sic!], Лафонтен, Касти, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон известны им по одним лишь именам?».¹³ Этот литературный ряд «творцов шуточных повестей», построенный Пушкиным, в который он с полным основанием включил имя Чосера, заставляет предположить, что сам Пушкин — в отличие от своих хулителей — имел достаточное представление о «Кентерберийских рассказах», об их жанре и форме, хотя бы и не на основании собственного знакомства с их подлинным текстом или его переводом.

Некоторые исследователи Пушкина, указывая на эту цитату и предпологая, что он действительно мог быть знаком с произведениями Чосера, сделали даже попытку, впрочем, рискованную и бездоказательную, поставить прямую связь сюжетную схему «Сказки о царе Салтане» с «рассказом законника» (man of law's

¹¹ Московский телеграф, 1827, ч. XVIII, № 23, с. 254.

¹² Шевырев С. История поэзии. М., 1835, ч. I, с. 59—60.

¹³ Пушкин. Опровержения на критики — XI, 156. — Приятная Пушкиным форма «Чаусер» встречается у него еще один раз в варианте статьи «О ничтожестве литературы русской»: «...Тассо, Камоенс, Лоп де Вега [sic!], Калдерон, Сервантес, Спенсер, Чаусер, наконец, Шекспир уже одарили человечество своими созданиями» (XI, 515).

tale) в «Кентерберийских рассказах». Так, Е. Аничкова утверждала, что хотя Пушкин написал свою сказку на основании своего знакомства с произведениями русского и иноплеменного фольклора (кавказского, татарского), где встречается много сюжетов, весьма сходных с чосеровским рассказом законника, но что, прочтя его еще до того, как закончено было его собственное произведение, Пушкин будто бы «узнал в нем сюжет своей сказки и докончил ее, приблизив к английской версии повести о Констанции».¹⁴

Эта надуманная гипотеза не встретила сочувствия исследователей, хотя посвященная ее изложению статья в почти тождественной форме была дважды напечатана на русском языке — в Праге и в Ленинграде. «Привлекательная Е. Аничковой в качестве возможного источника „Сказки о царе Салтане“ повесть Chaucer'a о Констанции имеет самое отдаленное сходство с пушкинским текстом», — утверждал М. К. Азадовский в статье «Источники сказок Пушкина».¹⁵ В том же смысле высказался Р. М. Волков, писавший: «Е. Аничкова, сопоставляя с „Рассказом юриста“ Дж. Чосера „Сказку о царе Салтане“ Пушкина, ставит перед собой задачу установить (по ее словам) „сходство сюжета при совершенно противоположной трактовке“. При этом с текстом Чосера сопоставляются на выборку те или иные обрывки сказки Пушкина, более или менее близкие к Чосеру, но нарушается последовательность развития в „Сказке о царе Салтане“. Такой метод сравнительного изучения пушкинской сказки и „Рассказа юриста“ Чосера не позволяет судить о „сходстве сюжета“. Можно говорить только о близости, в той или иной мере, отдельных мест у Пушкина к Чосеру. Сюжетная схема в кишиневской тетради 1822 г. также далека от Чосера. Поэтому вывод Е. Аничковой, что „между 1822 и 1831 г. Пушкин читал в модернизированном или не модернизированном издании английского поэта Chaucer'a, узнал свою сказку и докончил ее, приблизив к английской версии“, не может быть принят».¹⁶ Тем не менее Р. М. Волков полагает, что «близость отдельных мест пушкинской сказки к Чосеру позволяет допустить, что Пушкин знал рассказ Чосера». С нашей точки зрения, на эту оговорку должно было повлиять не лишнее доказательство положения Е. Аничковой, что Пушкин не мог не знать о Чосере из доступных для него в 20-е годы или заведомо известных ему иностранных источников, английских и французских. В своей статье Е. Аничкова напоминала, что к Чосеру своих читателей не раз отсылал В. Скотт и что к началу 30-х годов

¹⁴ Аничкова Е. Опыт критического разбора происхождения пушкинской «Сказки о царе Салтане». — В кн.: Язык и литература. Л., 1927, т. II, 2, с. 92—138; то же под заглавием: Происхождение Сказки о царе Салтане. — Slavia, 1927, гођн. VI, сеђ. 1, с. 99—118; сеђ. 2—3, с. 335—351.

¹⁵ Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 1, с. 154, примеч. 1.

¹⁶ Волков Р. М. Народные истоки творчества А. С. Пушкина. — Черновцы, 1960, с. 86.

давний интерес Пушкина к В. Скотту усилился. По ее мнению, едва ли можно сомневаться в том, что Пушкин читал «Айвенго», — что вполне справедливо; однако исследовательница обращала также внимание на предпосланное этому роману «посвятительное письмо» В. Скотта, в котором Пушкин, по ее словам, «должен был прочесть прямой призыв обращаться непосредственно к Чосеру, не смущаясь мнимыми трудностями чтения его»; этот довод, однако, кажется нам значительно менее убедительным, так как указанное «посвятительное письмо» В. Скотта, сколько знаем, отсутствовало и во французском и в русском переводах «Айвенго», как и эпитафии из текстов Чосера, встречающиеся как в этом, так и в других романах шотландского писателя. Ссылки Е. Аничковой на стихотворные произведения В. Скотта, где также встречаются «восхваления Чосера», или на «Эдинбургское обозрение», где появилась статья В. Скотта о книге В. Годвина «Жизнь Чосера», столь же неубедительны, потому что каждая из них вместо общего правдоподобного предположения требовала бы особого обоснования и подтверждения, каковым мы не располагаем.

Но Е. Аничкова в поисках доказательств для своей догадки шла еще дальше, привлекая данные не только из английской, но и из французской литературы. Справедливо, конечно, что в 20-е годы имя Чосера стало чаще встречаться не только в английской, но и во французской периодической печати, за которой Пушкин внимательно следил; заслуживают некоторого внимания те строки о Чосере, которые Пушкин мог прочесть во французском журнале «Revue encyclopédique» 1821 г.: «Он первый в своей стране пробудил поэтическое чувство: его стихотворные повести (contes), написанные в подражание Боккаччо, соединяли в себе вольность, педантизм и варварские черты своего века с верностью наблюдений и богатством поэзии, блестящими сквозь ржавчину своего устарелого языка»; тем не менее предположение, что Пушкин действительно читал приведенные слова, превратится в уверенность только в том случае, если мы будем знать твердо хотя бы то, что он держал в руках именно указанную книжку «Энциклопедического обозрения», где эти слова напечатаны.¹⁷ Между тем

¹⁷ Аничкова Е. Происхождение Сказки о царе Салтане, с. 335—338. — Здесь же находим указание на латинскую диссертацию Н. И. Надеждина «О романтической поэзии» (De poeti romantica. Moscae, 1830), где несколько слов уделено английской поэзии, и определение «Кентерберийских рассказов» как «простаго подражания „Декамерону“ Боккаччо», со ссылкой на Т. Уортона (Warton Th. History of English Poetry. 1774, vol. II); в этом классическом труде Чосеру посвящено свыше ста страниц и приведены цитаты из его произведений. «Очень может быть, — замечает Е. Аничкова, — что Пушкин, конечно читавший Надеждина, заинтересовался взглянуть и в Warton'a» (с. 337). Впрочем, и это предположение, при всей его заманчивости, представляется мало правдоподобным. Книга Уортона в то время была уже редка, и в библиотеке Пушкина ее не было, как не было также и латинской диссертации Надеждина.

Е. Аничкова полагает, что все приведенные ею аргументы имеют силу доказательности, и, приведя их, восклицает: «Разве нельзя предположить, что Пушкину, после стольких упоминаний со всех сторон о Чосере и самых противоречивых о нем суждений, захотелось ознакомиться с знаменитым английским поэтом?».

Этот вопрос поневоле остается риторическим. Приходится иметь в виду, что даже при очевидной вероятности такого желания у Пушкина осуществить его Пушкину было довольно трудно. Сама исследовательница замечает по этому поводу, что, поскольку французских переводов из Чосера, «кроме небольших и очень вольных отрывочков в периодической печати, в пушкинское время не существовало», а «первый французский, очень неполный перевод [«Кентерберийских рассказов»] вышел только в 1847 г.», «остаётся предположить, что Пушкин читал Чосера в английском модернизированном издании».¹⁸ Мы извлекли из рассуждения Е. Аничковой все приведенные аргументы, представляющие, в сущности, нагромождения одной догадки на другую, не для того, чтобы согласиться с ее копытным выводом (последний, как мы уже отмечали, был встречен отрицательно, в лучшем случае — с явным недоверием), но для того, чтобы продемонстрировать, какими изощренными, искусственными, надуманными доказательствами приходилось ей обосновывать возможность знакомства Пушкина с текстом Чосера в том или ином виде. По правде говоря, все эти доказательства, основанные на второстепенных данных и косвенных свидетельствах, поставленной цели так и не достигают: читал ли Пушкин какой-нибудь чосеровский текст, остаётся неизвестным.

Мы можем, однако, указать на один конкретный и бесспорный случай более близкого знакомства Пушкина с одним из рассказов Чосера того же кентерберийского цикла, правда, во французской переделке. Все исследователи Пушкина, вступившие в спор относительно возможности возводить к «Кентерберийским рассказам» сюжетную канву «Сказки о царе Салтане», этот случай соприкосновения Пушкина с Чосером упустили, вероятно потому, что посредником между английским поэтом XIV и русским XIX столетия на этот раз оказался Вольтер. В истории творчества Пушкина этот примечательный случай еще не был разъяснен.

В 1825 г. на обороте черновой рукописи стихотворения «Я помню чудное мгновенье» Пушкин записал в два ряда густо зачеркнутые многочисленными поправками строки (в следующем ниже тексте мы для ясности проставляем кое-где знаки препинания):

Короче дни, а почт доле,
[Настала скучная] пора
И солнце будто поневоле
Глядит на убрание поле.
Что делать <?> [Скучны] вечера.
Пока не подали нам кушать,

¹⁸ Аничкова Е. Происхождение «Сказки о царе Салтане», с. 337.

Хотите ли теперь послушать,
Мои почтенные друзья,
Рассказ про доброго Роберта,
Что жил во время Дагоберта.

Далее, после этого вступления, начинается самое повествование о «добром Роберте»:

Из Рима ехал он домой,
Имея очень мало денег —
Сей рыцарь был хорош собой,
Разумен, хоть и молоденец.
В то время деньги . . .

(II, 445, 976)

На этой незаконченной фразе рассказ обрывается. Как установил Н. О. Лернер, эти отрывки представляют собою начало «стихотворной повести» Вольтера из серии «*Les contes de Guillaume Vadé*» (1764); первоначально эта повесть была издана Вольтером отдельно под заглавием «То, что нравится женщинам» («*Ce qui plaît aux dames*», 1763).¹⁹ Пушкин довольно близко следовал французскому оригиналу:

Or maintenant que le beau Dieu du jour
Des Africains va brûlant la contrée,
Qu'un cercle étroit chez nous borne son tour,
Et que l'hiver allonge la soirée;
Après souper, pour vous désennuyer,
Mes chers amis, écoutez une histoire
Touchant un pauvre et noble chevalier,
Dont l'aventure est digne de mémoire.
Son nom était messire Jean Robert,
Lequel vivait sous le roi Dagobert . . .

etc.

Последний усеченный стих в переведенном отрывке («В то время деньги . . .») получает объяснение из оригинальных стихов Вольтера, которые Пушкин начал было переводить, но затем оставил по неизвестной для нас причине. Вольтер говорит, что в те «критические времена» странствующие рыцари (*paladins*) обладали малыми средствами: деньги доставались только служителям церкви:

... car dans ces temps de crise
Tout paladin fut très mal partagé:
L'argent n'allait qu'aux mains des gens d'église.

Точно определив непосредственный источник данного перевода Пушкина, Н. О. Лернер, однако, не указал, что эта стихотворная повесть Вольтера — не оригинальное его произведение, но в свою очередь представляет собой вольный пересказ чосеровского «рас-

¹⁹ Лернер Н. О. Рассказ про доброго Роберта. — В кн.: Пушкин и его современники. Л., 1930, вып. XXXVIII—XXXIX, с. 108—112.

сказа горожанки из Бата» («The wife of Bath's tale») из цикла «Кентерберийских рассказов». Перевод Вольтера восходит, однако, не непосредственно к чосеровскому оригиналу, а к его парафразе у Джона Драйдена, модернизированной по языку и стилю, в его сборнике «Fables Ancient and Modern» (1699), о котором у нас уже шла речь выше.²⁰

Героиня чосеровской новеллы, мещанка из города Бата, — бойкая, веселая вдовушка (ее колоритный портрет, сделанный тонким и метким пером, Чосер дал в «Прологе» к своему кентерберийскому циклу), рассказывает забавную историю, хорошо известную в средневековой литературе. В Англии этот сюжет приемыкал к сказаниям Артуровского цикла (см., например, «The Knight and the Loathly Lady»), встречался также в народных балладах. Обработку его мы находим в «Исповеди влюбленного» («Confessio Amantis»), латинской поэме приятеля Чосера, Джона Гауэра, в рассказе о рыцаре Флоренте, но здесь он служит «моральным примером» непослушания и имеет несвойственные чосеровской версии дидактические тенденции.

В обновленной редакции Дж. Драйдена чосеровский рассказ сохранил многие особенности оригинала — присущие ему веселость и тонкую иронию, но его наивной средневековой нескромности придапы более галантные черты.²¹ Обработка Вольтера откровеннее и грубее, и в ней есть его собственные прибавки; на первой из них (отступление о странствующих монахах) споткнулся и остановился Пушкин. У Чосера дело происходит при дворе короля Артура, Вольтер переносит действие в полумифические времена древней французской истории.

У Чосера приключение рыцаря, холостяка и весельчака, с простодушной крестьянской девушкой, пересказанное устами батской вдовушки, отнесено ко времени, когда рыцарь возвращался с соколиной охоты; вольтеровский рыцарь, Роберт, возвращается из Рима, куда он совершил паломничество; соблазненная им пастушка получает у Вольтера имя (Marton) и под более беспощадным сатирическим пером французского писателя из деревенской простушки преобразуется в ловкую и расчетливую молодницу, которая больше всего заботится о том, чтобы получить обещанные ей двадцать экю; между тем их ворует у рыцаря

²⁰ См. выше, с. 390—391.

²¹ Подробное сличение чосеровского текста и обработки Драйдена см.: Schörke Otto. Dryden's Übertragungen Chaucer's... Рассказ «The wife of Bath's tale» известен в нескольких русских переводах: 1) неточный прозаический перевод И. А. Баженова помещен в «Вестнике иностранной литературы», 1898, № 11, с. 264—270; 2) в переводе И. А. Кашкина («Рассказ батской ткачихи о рыцаре и старухе») — в его издании: Чосер Джеффри. Кентерберийские рассказы. М., 1946, с. 274—284; на с. 495 в комментарии отмечено: «Вольтеровским переложением этого рассказа Чосера, очевидно, навеяны наброски Пушкина „Короче дни, а ночи доле“, и „Из Рима ехал он домой“ — как начало рассказа про доброго Роберта (см. академич. издание, т. IV, II, 1946, с. 201—202)»; 3) стихотворный и очень точный перевод Ю. С. Ромешниковой опубликован в «Уч. зап. Ленинградского гос. пед. инст. им. А. И. Герцена» (т. XLI, 1944, с. 112—119).

вместе с его конем и дорожной сумкой оказавшийся поблизости монах. Эпизод с монахом — выдумка Вольтера, еще более усугубляющая, в сущности, довольно мрачный колорит, который он придал завязке этой пересказанной им стихотворной новеллы. Потерпевшая Маргон идет с жалобой на рыцаря ко двору короля Дагоберта, а тот отсылает ее к королеве Берте, где в присутствии ее приближенных и происходит суд над обидчиком. Начиная с этого момента и вплоть до оправдания рыцаря рассказ в изложении Вольтера близко следует версии Драйдепа — Чосера.

Королева объявляет рыцарю, что ему грозит смерть; чтобы спасти свою жизнь, он должен ответить на вопрос — что больше всего нравится женщинам? Этот ответ рыцарь должен обдумать как следует и произнести его ясно и откровенно, но так, чтобы не рассердить королеву и придворных дам. Озадаченный, растерянный и смущенный, рыцарь встречает дряхлую старушку, которая берется помочь его горю и вызволить его из беды, но при условии — исполнить то, что она у него попросит. Когда рыцарь соглашается, старуха объясняет ему, какой ответ должен он дать при дворе: каждой женщине больше всего нравится быть полной хозяйкой в доме и всем командовать. Когда Роберт объявляет это при дворе, королева и состоящие при ней дамы признают, что он прав, и освобождают его от наказания: жизнь его спасена. Однако злоедающая беззубая старуха появляется при дворе королевы и требует, чтобы рыцарь, во исполнение данного ей обещания, женился на ней. В речи, которую произносит старуха, Вольтер несколько усилил акценты там, где старуха резко отзывалась о ложном дворянстве и недостойных его представителях, противопоставляя красоте и богатству скромность, бедность и добродетельное безобразие. Как ни упирался еще более озадаченный, чем прежде, рыцарь Роберт, но он был вынужден согласиться с отращением на ужасавший его брачный союз. Рыцарь и старуха едут в хижину, где должна праздноваться их свадьба, и здесь после скудного ужина внезапно наступает счастливая развязка: старуха превращается в прекрасную фею, а жалкая хижина — в дворцовые палаты. Вольтер отождествляет героиню с феей д'Юржелъ из народной сказки.

Эта стихотворная новелла Вольтера («conte», по тогдашнему французскому обозначению) имела успех. Через несколько месяцев после ее появления плодовитый французский драматург той поры Шарль-Симон Фавье превратил ее в комедию в четырех актах, с пением и танцами: «Фея д'Юржелъ, или То, что нравится женщинам» («La Fée d'Urgèle ou Ce qui plaît aux dames»), а это псевдопасторальное представление, приближавшееся к феерии, полное салонного жеманства и двусмысленностей, было играно в Фонтенбло (в октябре 1765 г.), а затем и в Париже (декабрь, 1765 г.), с музыкой Дюни.²²

²² Cusuel G. Le Moyen Âge dans les opéras comiques du XVIII s. — Revue du XVIII siècle, 1914, N 1, p. 63.

Оживились, впрочем, и педоброжелатели Вольтера; о них стоит здесь упомянуть, так как в полемике, возникшей вокруг названной его «сказки», несколько раз упоминалось имя Чосера. Е. Аничкова, мнение которой мы приводили выше, ошибалась, утверждая, что произведения Чосера до 40-х гг. XIX в. были неизвестны во Франции. Она не знала, что имя батской вдовушки из «Кентерберийских рассказов» было названо несколько раз. Так, еще до того как ее рассказом в 1763 г. воспользовался Вольтер, в 1757 г., в июньском номере парижского «Journal étranger», выходившего под редакцией Делейра (Deleure), появился перевод этого самого рассказа, выполненный не названным по имени переводчиком, правда, и на этот раз не по тексту Чосера, а по переделке Драйдена. Текст сказки «Ce qui plaît aux dames», напечатанной самим Вольтером в его «Contes de Guillaume Vadé», сопровождался примечанием, в котором была сделана ссылка на английский источник; в более раннем «пиратском» издании сказки, выпущенном в свет без его ведома, ссылки этой не было, чем и воспользовался Фрерон, вновь напечатавший тот же чосеровский рассказ в «L'Année Littéraire» (Janvier, 1764) с обвинениями Вольтера в постыдном плагиате.

Добавим, что «Рассказ горожанки из Бата» был напечатан во Франции еще раз в книге «Английские ночи» («Les nuits anglaises») Контана д'Орвилля, вышедшей в 1770 г. в четырех томах.²³ Эта книга — одна из тех пухлых компиляций, которыми Контан д'Орвилль в изобилии снабжал французских читателей; «Английские ночи» состояли из переводов, анекдотических сведений, сплетен всякого рода, бытовых очерков и т. д.²⁴ Под заглавием «La femme de Bath, conte de Chaucer, remanié par Dryden» в этой книге Контан воспроизвел слово в слово тот перевод, который в 1757 г. появился в «Journal étranger».

Таким образом, на основании тех или других источников Пушкин мог знать и скорее всего знал в действительности, что «рассказ про доброго Роберта», который он начал было переводить по тексту Вольтера, восходит к Чосеру. Этим, вероятно, и объясняется то отчетливое представление о развитии жанра «шутливых повестей», среди творцов которых Пушкин поместил и «Чоусера» рядом со Спенсером и Шекспиром, чтобы их великими именами защитить себя от нападков критиков на «Графа Нулина».

Вольтеровская «сказка» «То, что нравится женщинам» была известна в России задолго до Пушкина. По известию, сохраненному в «Опыте исторического словаря о российских писателях»

²³ Hunter Alfred C. Le Conte de la femme de Bath en français au XVIII^e siècle. — Revue de Littérature Comparée, 1929, p. 117—140.

²⁴ В 1769 г., например, Контан д'Орвилль выпустил книги «Fastes de la Grande Bretagne», «Anecdotes Germaniques» и даже не лишнюю интереса «Les Fastes du royaume de Pologne, et de l'Empire de Russie» (1769, 2 vols.), переизданную в следующем году (см.: Catalogue de la Section des Russica. . . , S.-Pb., 1873, t. II, p. 63).

Н. Новикова (СПб., 1772), перевод ее сделал С. Г. Домашнев,²⁵ однако дата и текст этого перевода остаются неизвестными. Существует также другой ее перевод, выполненный в первой трети XIX в. литератором-любителем Н. Н. Анненковым, но он остался неопубликованным.²⁶ Встреча рыцаря Роберта со старухой напоявила Н. О. Лернеру в сказке Пушкина «встречу гонца царя Никиты, выпустившего из лапца заветных птичек, с такою же жалкою старухой, которая научила его, как изловить беглянок».²⁷ Уолтер Н. Викери привел более близкую параллель из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила»; он цитирует то место, где Финн рассказывает Руслану о том, как преследовала его состарившаяся Наина:²⁸

Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признание.
Вообрази мое страданье!
Я трепетал, потупя взор;
Она сквозь кашель продолжала
Тяжелый, страстный разговор:
«Так, сердце, я теперь узнала;
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я спораю,
Томлюсь желаньями любви...
Приди в объятия мои...»

и т. д.
(IV, 19)

Справедливости ради необходимо указать здесь же, что еще до пушкинской поэмы в ситуацию, в которую попадает рыцарь, пре-

²⁵ Ефремов П. А. Материалы для истории русской литературы, с. 35. Д. Д. Языков в статье «Вольтер в русской литературе» (в юбилейном сборнике в честь Н. И. Стороженко «Под знаменем науки (М., 1902, с. 700—706)» приводит несколько свидетельств о чрезвычайной популярности при дворе Екатерины II «сказок» Вольтера, изданных под псевдонимом Guillaume Vadé; часть их под заглавием «Вадины сказки» (СПб., 1774) опубликована в переводе М. В. Попова, однако «То, что нравится женщинам» в число переведенных сказок не вошло. О популярности этой сказки Вольтера в России в XIX в. свидетельствует сатирическая макароническая поэма И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже», где героиня, характеризуя Вольтера, говорит, в частности:

«Философы лексикона»
Не читала, признаюсь,
И читать его боюсь,
.
.
.
Но как объяснил он нам
Верно секи плет-о дам!

(Мятлев И. П. Стихотворения.
Л., 1969, с. 347 (Библиотека поэта.
Большая серия))

²⁶ См. Рукописное отделение Гос. Публ. библиотеки в Ленинграде (ф. 603, № 7, л. 29). Этим указанием я обязан любезности П. Р. Заборова.

²⁷ Лернер Н. О. Рассказ про доброго Роберта, с. 111.

²⁸ Vickery Walter N. Alexander Pushkin. New York, 1970, p. 195.

следуемый влюбленной старухой у Вольтера, привел своего Бову А. Н. Радищев (в первой песне поэмы «Бова»), притом даже с непосредственной ссылкой на вольтеровского «славного витязя Роберта».²⁹

²⁹ Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938, т. 1, с. 36—37. — О том, что Пушкин в поэме «Руслан и Людмила», подобно Радищеву в его «Бове», заимствовал карикатурный образ влюбленной старухи из сказки Вольтера «То, что нравится женщинам», уже писала В. Д. Кузьмина в статье: Сказка о Бове в обработке А. Н. Радищева. — В кн.: Проблемы реализма в русской литературе XVIII в. М.; Л., 1940, с. 280.





К ИСТОЧНИКАМ «ПОДРАЖАНИЙ ДРЕВНИМ» ПУШКИНА

В статье «Судьба одного автографа» Н. П. Смирнов-Сокольский, описывая беловую рукопись стихотворения Пушкина «Из Ксенофана Колофонского», отметил: «Из какого источника почерпнул Пушкин, почти не разбиравший по-гречески, стихотворения греческих поэтов, неизвестно. С. А. Венгеров делает предположение, что источник был французский».¹ Это указание неточно; догадки о возможных французских книгах, из которых Пушкин мог узнать ряд древнегреческих текстов в переводах, высказывались неоднократно, еще до того, как в 1915 г. в VI томе «Сочинений» Пушкина под редакцией С. А. Венгерова об этом писал Н. О. Лернер (а не сам Венгеров).² Так, например, в 1912 г. А. С. Грузинский на заседании Неофилологического общества при Петербургском университете прочел доклад на тему «„Подражания древним“ А. С. Пушкина», в котором он, по словам В. Н. Перетца, «детально разобрал процесс подражания Пушкина древним через посредствующие французские звенья. Некоторые из этих звеньев в пушкинской литературе не были известны и вновь привлечены докладчиком на основании подробного изучения материала, представляемого книгой Афиней: *Δελφισφισται*. Кроме французских текстов этой книги («*Banquets des savants*») докладчик присоединил сюда и латинские полустихотворные переводы, также доступные Пушкину».³ К сожалению, этот доклад напечатан не был и рукопись его не сохранилась. В более общей форме на французские источники «Подражаний древним» Пушкина указывали еще Л. Поливанов⁴ и др.

В 1927 г. опубликована была статья Г. Гельда «Пушкин и Афиней», в которой автор на основании тщательного просмотра

¹ Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о книгах. М., 1959, с. 295 (изд. 2-е — М., 1960, с. 295).

² См.: Пушкин. Соч. СПб., Изд. Брокгауз—Ефрон, 1915, т. VI, с. 434.

³ Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в С.-Петербурге. — Университетские известия. Киев, 1912, № 7, с. 7.

⁴ Указание на Лефевра как на источник пушкинского подражания Иону Хиосскому см.: Сочинения А. С. Пушкина/Изд. Л. Поливанова для семьи и школы. М., 1887, т. I, с. 367—371.

всего пятитомного издания труда Афинаея (во французском переводе Жана-Батиста Лефевра де Виллебрена, 1732—1809), сохранившегося среди книг библиотеки Пушкина,⁵ не зная, по-видимому, о разысканиях А. С. Грузинского, установил, что именно эта книга была источником переведенных Пушкиным: 1) отрывка Иона Хиосского о вине, 2) надгробной надписи Гедила флейтисту Феону и 3) элегии Ксенофана Колофонского «Пир».⁶

В 1954 г. к пересмотру вопроса обратился американский исследователь Ричард Барджи.⁷ На основании ряда заново произведенных им сопоставлений он пришел к заключению, что Пушкин гораздо шире воспользовался трудом Лефевра, чем предполагал Г. Гельд. Так, следуя беглому указанию Б. В. Томашевского,⁸ Барджи подтвердил, что к Афинаею в переводе Лефевра восходит отрывок Пушкина:

Бог веселый винограда
Позволяет нам три чаши
Выпивать в пиру вечернем.⁹

(III, 1, 292)

Эти стихи Пушкину внушила приводимая Афинаею (и переведенная Лефевром) цитата из греческого комического поэта Евбула. Далее, по правдоподобному предположению Барджи, к тому же «Пиру софистов» следует возводить пушкинский фрагмент:

Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай.

(III, 1, 297)

Возможный источник этого двустишия Барджи усматривает в находящейся у Афинаея — Лефевра (I, 130) цитате из Мнесифея (Mnesithée), тогда как его обычно возводили к Анакреону.¹⁰ В «Пире софистов», а не в источниках, называвшихся в другой статье Г. Гельда,¹¹ Барджи предлагает также видеть вероятный оригинал пушкинского отрывка «Сафо» (1825):

⁵ Banquet des Savans / par Athénée, traduit, tant sur les textes imprimés, que sur plusieurs manuscrits par M. Lefebvre de Villebrune. Paris, 1789—1791, v. I—V (далее: Lefebvre, том, страница). См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, с. 144—145, № 559.

⁶ Гельд Г. Пушкин и Афинаей. — В кн.: Пушкин и его современники. Л., 1927, вып. XXXI—XXXII, с. 15—18.

⁷ Burgi Richard. Puškin and the Deipnosophists. — In: Harvard slavic studies. Cambridge, Mass., 1954, p. 266—270.

⁸ См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 40-ти т. М.; Л. 1949, т. III, с. 244, 515.

⁹ Ср.: Lefebvre, I, 130—131.

¹⁰ Ода Анакреона «Что же сухо в чаше дно...» (LVII) переведена Пушкиным в 1835 г. (III, 1, 375). Ср.: Черняев Пав. А. С. Пушкин как любитель античного мира и переводчик древнеклассических поэтов. Казань, 1899, с. 46.

¹¹ Гельд Г. Пушкин и Сафо; Пушкин и Анакреонт. — В кн.: Пушкин и его современники. Л., 1930, вып. XXXVIII—XXXIX, 202—204.

Счастливым юноша, ты всем меня пленил:
Душою гордою и пылкой и пезлобной,
И первой младости красой женоподобной,

(II, 1, 422)

Едва ли, таким образом, может возникнуть сомнение, что «Пир софистов» Афиней в издании Лефевра не один раз и в течение довольно долгого времени читался Пушкиным, вдохновляя поэта на его «Подражания древним». К Лефевру восходит у Пушкина самая транскрипция имени составителя «Пира» — Афеней, напрасно удерживаемая донныне комментаторами Пушкина.¹² В изданном Лефевром «Пире софистов» (или «Трапезе знатоков», как, может быть, правильнее было бы назвать *Δελτιοσοφισται* Афиней)¹³ Пушкин в собранном виде мог найти большое количество столь интересовавших его образцов древнегреческой поэзии в переводах видного французского эллиниста. Поэтому посредство переводов Лефевра для таких «Подражаний древним» Пушкина, как отрывок из Иона Хиосского, надпись Гедила и элегия Ксенофана Колофонского, считается прочно установленным и неоспоримым.¹⁴

Конечно, Афиней в издании Лефевра не мог быть единственным источником Пушкина при воссоздании им на русском языке образцов древнегреческой музыки. Дословные французские прозаические их переводы не в состоянии были дать Пушкину все необходимые для его «подражаний» краски. О метрических особенностях оригиналов приходилось лишь догадываться, поскольку эти оригиналы только в отдельных случаях приводились Лефевром в его труде для сопоставления с переводами. В связи с этим Барджи считает, что Пушкин при всем недостаточном знании им греческого языка все же не упустил возможностей ознакомиться

¹² В рукописи подражания Гедилу («Славная флейта, Феон, здесь лежит...») Пушкин отметил в скобках: «Из Афенея» (II, 1, 291); такая транскрипция вполне соответствует французскому «Athénée», но противоречит традиционным правилам передачи по-русски греческих собственных имен. Вслед за Пушкиным большинство его исследователей, за исключением филологов-классиков (например, Г. Гельда), также употребляло форму Афеней вместо Афиней; в настоящей статье мы всюду восстанавливаем последнюю транскрипцию как единственно правильную.

¹³ Гермес. Пгр., 1918, с. 118.

¹⁴ См., например, замечание в «Истории греческой литературы» (М.; Л., 1946, т. I, с. 210): «В русской литературе находим подражание Ксенофану в стихотворении Пушкина: „Чистый лоснится пол, стеклянные чаши блистают“. С Ксенофаном Пушкин познакомился не по греческому тексту, а по французскому переводу Лефевра». Б. П. Городецкий (Лирика Пушкина. М.; Л., 1962, с. 444) также утверждает каталогически: «Пушкин не обращался непосредственно к греческим оригиналам. В своей работе он пользовался их французскими переводами, содержащимися в имевшейся в его библиотеке книге „Vanquet des savans“». Отметим вкравшуюся в это исследование хронологическую неточность: деятельность «александрийца» Афиней на самом деле относится к III в. н. э. Отрывки из «Пира софистов» Афиней (однако не те, которыми интересовался Пушкин, и без всякой ссылки на русского поэта) приведены в кн.: Поздняя греческая проза. М., 1960, с. 449—460.

с греческими текстами заинтересовавших его стихотворений, когда издание Лефевра представляло их образцы. Так, например, по мнению Барджи, Пушкин, работая над отрывком из Гедила, внимательно прочел не только его французский прозаический перевод, но и греческий стихотворный подлинник, напечатанный Лефевром в примечании; это и помогло Пушкину правильно воспроизвести его метрическую структуру.¹⁵ Но в лефевровском издании отсутствовали греческие оригиналы стихотворений как Иона Хиосского, так и Ксенофана; перед глазами Пушкина были лишь дословные французские их переводы в прозе, напечатанные к тому же сплошным текстом, без разбивки на соответствующие им стихотворные строки подлинников. Отсюда и возникает вопрос, как происходил у Пушкина сложный процесс воссоздания их первоначальной стихотворной формы, как ему удалось угадать ее? Ведь, как известно, Пушкин и сам осуждал поэтические переводы, выполненные с помощью подстрочников или переводов, стилистически обработанных, сделанных прозой. В статье о Шатобриановом переводе «Потерянного рая» Пушкин говорит о «жалких переводах в прозе», в которых Мильтон был «безвинно оклеветан» (XII, 137); ранее, говоря «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», Пушкин признавал подобный «способ перевода» «недостаточным», опасаясь, что он может нанести вред пониманию «неподражаемого нашего поэта» (XI, 31).¹⁶ Между тем в данном случае воссоздание подлинника теми же средствами Пушкину удалось вполне. «К подстрочным, буквальным переводам Пушкин подходил с большой осторожностью, критически, — замечает Г. Д. Владимирский. — Так, используя „ключ“ Лефевра к стихотворению Гедила («Славная флейта, Феон»), поэт сквозь перевод-кальку ученого греколога угадал подлинник. Он, например, оставляет без перевода риторический вопрос (Que dis-je?) у Лефевра, искажающий интонации оригинала, или троекратное повторение у переводчика имени Ватфала».¹⁷ «Интересно видеть, как поэт реконструировал их поэтическую форму, — замечает Барджи в свою очередь по поводу тех же «Подражаний древним» Пушкина. — Вероятно, Пушкин знал, что гекзаметр был излюбленным методом Ксенофана — издание его стихотворных фрагментов было опубликовано в Брюсселе в 1830 г. (Xenophanis Colophonii carminum reliquiae, ed. Simonum Karsten, Bruxelles, 1830); однако еще более правдоподобно, что для описания «пира» Пушкин считал идеальным гекзаметр, им самим столь хорошо разработанный».¹⁸ Хотя оригинал данного поэтического текста Ксенофана на этот раз напи-

¹⁵ Burgi Richard. Puškin and the Deipnosophists, p. 266—267.

¹⁶ О теоретических воззрениях Пушкина относительно переводов см.: Холмская О. Пушкин о переводе. — Уч. зап. 1-го Моск. гос. пед. инст. иностр. яз. Кафедра перевода, 1958, т. 13, с. 35—84.

¹⁷ Владимирский Г. Д. Пушкин-переводчик. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 314.

¹⁸ Burgi Richard. Puškin and the Deipnosophists, p. 267.

сан не гекзаметром, но элегическим дистихом, «Подражание» Пушкина, удивительное по своим художественным качествам, дает полную иллюзию подлинника; на первый взгляд кажется даже, что греческий стихотворный текст воссоздан поэтом со всей точностью и полнотой. Однако сопоставление стихотворения Пушкина и прозаического перевода элегии Ксенофана у Лефевра свидетельствует о существенных различиях между ними. Подражание Ксенофану (как и надписи Гедила) — это отметил еще Г. Гельд — сокращено в сравнении с оригиналом приблизительно наполовину; кроме того, Пушкиным выброшены некоторые детали, а отдельные строки подверглись перефразировке. С несравненным вкусом и тонкостью понимания Пушкин отобрал и воспроизвел лишь те реальные подробности пира, какие сами складывались в живописную картину и не требовали усилий воображения или ученых пояснений; выбор отдельных слов и фразеологических сочетаний, подчиненных плавному течению гекzamетра, своими явными и намеренными отклонениями от французских длинных прозаических предложений весьма наглядно демонстрирует поэтическое мастерство Пушкина. Естественно, что подобные пересоздания были осуществимы только благодаря присутствию Пушкину тонкому, изощренному «чувству древности», воспитанному в нем долгими годами увлечения античным миром и основательного изучения его по разнообразным источникам;¹⁹ бесспорное знакомство Пушкина с переводами Лефевра само по себе не в состоянии было бы объяснить все стилистические особенности и эстетические качества пушкинского цикла «Подражаний древним».

Г. Гельд отметил, что надпись Гедила и элегия Ксенофана Колофонского «имеются у Афиней, и притом только у него».²⁰ Однако перевод этих произведений, сделанный Лефевром, был не единственным. Имя Афиней в пушкинскую пору было хорошо известно в России. В «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара помещена была справка о нем, написанная К. М. Базили (товарищем Гоголя по Нежинскому лицее).²¹ Ксенофан Коло-

¹⁹ Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Л., 1941, вып. 6, с. 92—159.

²⁰ Гельд Г. Пушкин и Афиней, с. 15.

²¹ «Афиней, или Афеней, родившийся в Навкратиде, что в Египте, жил в начале III в. и по необыкновенной своей учености был прозван греческим Варроном. Единственное до нас дошедшее сочинение Афиней называется „Диалог философ“, или „Пир мудрецов“. Двадцать один человек артистов или словесников, в числе ко-рых были музыканты, поэты, врачи и проповедники, пируют у богатого римлянина, Лавренция. Они толкуют обо всем, что по обычаям греков могло украсить пиршества: о разных блюдах, винах, благоуханиях, цветочных вязях и венках, о сосудах, играх и т. п. Собеседники приводят более семисот писателей и знакомят нас с заглавиями, а отчасти и с содержанием 25 000 древних творений, для нас потерянных. „Пир мудрецов“ разделяется на пятнадцать книг, из которых не дошло до нас двух первых и начало третьей» (Энциклопедический лексикон. СПб., 1835, т. III, с. 533). В X томе «Библиотеки для чтения» 1835 г. (отд. II, с. 124), уже после того, как именно в этом журнале напе-

фонский, правда, преимущественно как философ элейской школы, а не как поэт, также привлекал к себе внимание русских литераторов. Пушкину, несомненно, известна была характеристика Ксенофана, включенная В. Ф. Одоевским в тот отрывок из его «Словаря истории философии», который был напечатан в «Мнемозине».²² В конце 20-х и начале 30-х годов о Ксенофане неоднократно вспоминали в русской печати по поводу большой статьи о нем В. Кузена, вошедшей в его книгу «Nouveaux fragmens philosophiques» (1828). Знакомство с нею Пушкина именно в то время, когда он писал свое подражание Ксенофану, вполне вероятно.

Французский философ-эклектик Виктор Кузен (1792—1867) пользовался в России широкой известностью в 20—30-е годы. В «Московском телеграфе» Кузена деятельно пропагандировал Н. Полевой, называвший его «первым профессором истинной философии во Франции»²³ и печатавший в переводах отдельные лекции из его курса истории философии;²⁴ лекции Кузена печатались также в «Атенее» М. Г. Павлова, отмечавшего, что он помещает их в своем журнале «с тем большим удовольствием, что «в бытность в Париже сам пользовался лекциями сего философа»;²⁵ они рецензировались в «Московском вестнике».²⁶ Кузеном и его трудами тогда же интересовались А. И. Кошелев, И. В. Киреевский, П. Я. Чаадаев и др.²⁷ Очень ценится у нас выполненный Кузеном перевод сочинений Платона: о первой части этого «прекрасного перевода» А. И. Тургенев сообщал П. А. Вяземскому еще в 1823 г.,²⁸ а в библиотеке Пушкина со-

чатано было (т. V, кн. 8) пушкинское «Из Ксенофана Колофонского», находим следующую характеристику труда Афиняя: «Что касается до „Дипнософистов“ — „Пирующих софистов“ Афиняя (<...>, то об его сочинении можно дать понятие в нескольких словах, хотя оно дошло до нас без начала: эта огромная хрестоматия, составленная из отрывков тысячи разных творений, большею частью теперь неизвестных, и все эти выписки связаны разговором нескольких лиц так, чтоб казалось, будто каждая из них пришлась к слову. Да еще как связаны! И какой разговор!.. За всем тем — это архив очень любопытных подробностей о словесности и обычаях древнего мира!».

²² Мнемозина: Собрание сочинений в стихах и прозе, издаваемое кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером. М., 1825, ч. IV, с. 160—192; о Ксенофане см. с. 172—179 (элегия «Пир» здесь, однако, не упомянута).

²³ Московский телеграф, 1832, № 16, с. 560.

²⁴ Там же, 1828, № 17, с. 97; 1829, № 10, с. 3.

²⁵ Атеней, 1829, февраль, с. 240—252; декабрь, с. 454—461.

²⁶ Московский вестник, 1828, ч. XII, с. 21—22, 129 и 313 — рецензия на «Fragmens philosophiques» (1826); о «Nouveaux fragmens philosophiques» см. у И. И. Давыдова во втором курсе его «Чтений о словесности» (М., 1837, с. 236).

²⁷ О В. Кузене и отношении к нему русской журналистики см.: Козмин и Н. К. Очерки из истории русского романтизма: Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб., 1903, с. 267—268, 476—481; Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. М., 1913, т. I, ч. 1, с. 125.

²⁸ Остафьевский архив. СПб., 1899, т. II, с. 321.

хранились все восемь томов этого издания (1822—1832).²⁹ Очень возможно поэтому, что от Пушкина не ускользнули также «Nouveaux fragmens philosophiques». Эта книга Кузена открывается большой статьей о Ксенофоне как об основателе элейской школы («Xenophane, fondateur de l'école Elée», р. 9—95), в которой приводится полностью описание пира Ксенофана в собственном переводе В. Кузена с греческого текста, сохраненного Афинеем (с. 30—31). Перевод Кузена также сделан в прозе, но совершенно независимо от Лефевра, имя которого и не упоминается в этой статье. Различие переводов Лефевра и Кузена, между прочим, заключается в том, что последний публикует его с разбивкой на стихотворные строки оригинала.

Приводим текст перевода Кузена:

La salle est préparée, les convives ont lavé leurs mains;
On a apporté les verres; un esclave arrange des couronnes sur les têtes,
Au milieu et la coupe remplie de joie.
Il y a aussi d'autre vin qui promet de ne jamais finer;
Il est encore dans les cruches et exhale le parfum de la fleur.
Autour de nous le thym répand une chaste odeur;
Il y a de l'eau fraîche, douce et pure,
Des pains exquis, et la table respectable
Chargée de fromage et de miel onctueux;
Au milieu un autel couvert de fleurs,
Le chant et la joie remplissent la maison.
Avant tout, il faut que des hommes sages célèbrent Dieu
Par les bonnes paroles et de saints discours,
Lui faisant des libations et lui demandant la force
De faire ce qui est juste, car c'est toujours le plus sûr.
Et il n'y pas de mal à boire, pourvu qu'on puisse revenir
A la maison sans un serviteur, à moins qu'on ne soit vieux.
Il faut louer celui qui après avoir bu tient d'utiles propos
Selon sa mémoire, et celui qui discourt de la vertu,
Qui ne raconte pas les combats de Titans, ni de Géans
Ni de Centaures, fictions, des temps passés,
Bagatelles aimables sans aucune utilité.
Mais il faut toujours avoir la pensée des Dieux.³⁰

Представлялось бы весьма интересным тщательно сличить этот перевод с лефевровским (полностью перепечатанным в статье Г. Гельда), не упуская из внимания «Подражание» Пушкина: результат такого сравнительно-стилистического анализа еще ярче представил бы артистический блеск и пластичность произведенной Пушкиным мозаической работы. Следует обратить внимание еще на одну любопытную деталь. В последним стихам элегии Ксенофана, отброшенным Пушкиным (в которых Ксенофан с явным пренебрежением упоминает о титанах, гигантах и кентаврах как о недостойных предметах для беседы во время разумной трапезы), Кузен делает особое примечание: «Очень вероятно, что

²⁹ Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 311, № 1267.

³⁰ Cousin Victor. Nouveaux fragmens philosophiques. Paris. MDCCCXXVIII, р. 30—31.

следующее двустишие, приводимое Афинеем (Athen. t. III, p. 213), также принадлежит к этой же элегии, к предшествующим стихам:

N'allez pas dans une coupe mêler au hasard le vin et l'eau,
Versez d'abord de l'eau et par dessus du vin pur». ³¹

Может быть, по этой же причине и Пушкин перевел, как указано было выше (из того же Афиней), следующее двустишие:

Юпоша, скромно пируй, и шумную Вахову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай.

Вскоре после смерти Пушкина в петербургском журнале опубликована была большая статья о Ксенофане, ³² в которой, между прочим, приводится ряд стиховорных фрагментов, приписываемых этому философу и переданных русскими гекзаметрами; среди них, однако, нет элегии, привлечшей внимание Пушкина. ³³

³¹ Ibid., p. 31.

³² Ксенофан Колофонский (из Риттера). — ЖМНП, 1837, апрель, ч. 14, отд. II, с. 46—61.

³³ В только что опубликованной статье Я. Л. Левкович «К творческой истории перевода Пушкина „Из Ксенофана Колофонского“» (Временник Пушкинской комиссии: 1971. Л., 1972, с. 97) высказано правдоподобное предположение, что указанное стихотворение было читано Пушкиным на лицейской годовщине 19 октября 1832 г. (написанное поэтом к предыдущей годовщине и не прочитанное товарищам, собравшимся 19 октября 1831 г. у А. Илличевского). Тематически этот перевод вполне соответствовал традиционным стихотворениям, читавшимся на годичных вечеринках бывших лицейстов, так как в нем изображается, по словам исследовательницы, «общение единомышленников за пиршественным столом».





ЗАПИСЬ ПУШКИНА О «ТРАГЕДИИ, СОСТАВЛЕННОЙ ИЗ АЗБУКИ ФРАНЦУЗСКОЙ»

Во всех полных собраниях сочинений Пушкина в отделе «Заметки и афоризмы разных годов» печатается небольшой отрывок, начинающийся следующими словами: «Буквы, составляющие славенскую азбуку, не представляют никакого смысла. Аз, буки, веди, глаголь, добро etc. суть отдельные слова, выбранные только для начального их звука. У нас Грамматин первый, кажется, вздумал составить апофегмы из нашей азбуки». Приведа далее цитату из комментария Н. Ф. Грамматина к «Слову о полку Игореве», Пушкин замечает: «Как это все патянуто! Мне гораздо более нравится трагедия, составленная из азбуки французской», — и приводит затем эту одноактную «трагедию» на французском языке под заглавием «Ено et Ikaël», предпосылая ее тексту перечень «действующих лиц» (XII, 180—181), имена которых составлены из наименований букв французского алфавита: N (эн), O, I, K (ка), L (эль), P (пе), Q (кю) и т. д.:

Le prince Eno.
La princesse Ikaël, amante du Prince Eno.
L'abbé Pécu, rival du Prince Eno.
Ixe }
Ygrec } garde du Prince Eno.
Zède }

Самая «трагедия любви и рвности» несложна; все ее действие, в котором принимает участие столько персонажей, развивается стремительно, хотя она и уместилась в нескольких строках.

В большинстве изданий сочинений Пушкина эта его запись оставлена без всяких комментариев; остается неясным, из каких источников Пушкин почерпнул эту понравившуюся ему шутку и почему она привлекла его внимание. Правда, Н. О. Лернер остроумно объяснил один стих «Евгения Онегина» (гл. 2, строфа XXXIII), основанный на несовпадении наименования буквы «п»

в алфавитах французском и русском «эн» и «наш»,¹ и его наблюдение свидетельствует, что Пушкин не один раз задумывался над вопросами о наименовании букв и об их происхождении. Лишь в IX томе академического издания сочинений Пушкина 1929 г. к тексту «Epo et Ikaël» Н. К. Козмин сделал следующее пояснение: «„Трагедия, составленная из азбуки французской“, неизвестная в современных Пушкину изданиях, найдена нами, при любезном содействии Б. В. Томашевского, в книжке: *Petite Encyclopédie récréative. Un million de calembours, publié par Hilaire le Gai, Paris, 1851, p. 399...* В свое время эта трагедия была довольно популярна, и профессор В. М. Остроградский во время лекций по механике и чистой математике любил рассказывать ее содержание с целью освежить внимание слушателей, перенося их мысли на посторонние предметы. „Вы слышали, — говорил Остроградский, — что французская азбука — это целое драматическое произведение? Это драма в одном акте; действие ее происходит на востоке“ и т. д. (следует вся цитата, приведенная из «Нового времени», 1898, 11 апреля, стр. 3, — М. А.)».²

Таким образом, в справке, приведенной Н. К. Козминым, вероятный источник Пушкина, собственно, не указан; ссылка на энциклопедию каламбуров издания 1851 г. свидетельствует лишь о том, что несложный текст «Epo et Ikaël» не был забыт во Франции и после того, как он стал известен Пушкину; указание же Н. К. Козмина, что «трагедия, составленная из азбуки французской», не была известна «в современных Пушкину изданиях», необходимо подвергнуть сомнению.

Отметим прежде всего, что именно в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века у нас очень интересовались разнообразными филологическими и педагогическими вопросами, связанными с русской азбукой; возникавшая по этому поводу полемика неоднократно давала повод к многочисленным остроумным откликам, в том числе и стихотворным, и широко освещалась в печати. Можно напомнить, например, спор, который Н. И. Надеждин вел с Н. А. Полевым и Н. И. Гречем о буквах «фита» и «ижица»; буквы эти Греч (в его «Практической грамматике»), по словам Надеждина, вовсе «изгонял из алфавитного Эдема». Надеждин даже напечатал в «Вестнике Европы» большое юмористическое стихотворение, в котором изобразил гонимую всеми «Ижицу», некогда игравшую видную роль под именем «Ипсилона» и «Игрека». В этом стихотворении «Ижица» молит «державного первенца письмен» «Аза» о заступничестве:

¹ Лернер Н. О. Пушкинологические этюды (4. «Русский наш»). — Звенья. М.; Л., 1935, т. V, с. 65. — Эту же цитату из «Евгения Онегина» («И русский Н, как N французский») еще в 1904 г. приводил В. Шульце в статье об истории наименования букв латинского алфавита для доказательства устойчивости различных названий в азбуках и алфавитах «des slavischen naß und der französischen enne» (Schulze Wilhelm. Die lateinischen Buchstabennamen. Sitzungsberichte d. kgl. — Preussischen Akademie der Wissenschaften. 28 April, Berlin, 1904, XXIII—XXIV. S. 760).

² Пушкин А. С. Соч. Л., 1929, т. IX, ч. 2 (Примечания), с. 882—884.

В тихой, тихой, скромной доле
Я не сносила головы!
Враги нашли меня — наперли,
Наддали ... стиснули, шумят...
Анафемствуют, кричат,
И в азбуке мой лик затерли...
За что? ... сама не знаю я!

И так нет нужды, нет предлога
Из алфавитного чертога
Меня так злобно изгонять!..

О Аз! Мой верный брат и друг!
Вступись за честь сестры родимой,
Склони на горький вопль мой слух
И будь защитником гонимой!..³

Пушкину хорошо был известен как этот, так и другой, возникший в то же время юмористическо-филологический спор, с подобной же персонификацией буквенных наименований: находившийся в Петербурге А. Гумбольдт высказал свое мнение о бесполезности буквы «ер» (ъ), на что один из русских литераторов (либо П. А. Вяземский, либо А. А. Перовский) ответил статьей в форме челобитной к немецкому ученому от обиженной им

³ Н. Н. [Надеждин]. Уполномоченный от Ижицы. Ижица к Азу. — Вестник Европы, 1828, ч. CLXII, № 23, с. 187, 193, 194. — Прием персонификации буквенных обозначений в сатирических целях был применением в русской литературе еще в XVIII в. Можно напомнить, например, юмористическую сценку М. В. Ломоносова, написанную в 50-х гг. — «Суд российских письмен, перед Разумом и Обычаем от Грамматики представленных», впервые напечатанную в издании Ф. О. Туманского: Лекарство от скуки и забот. 1787, ч. II, № 45 (по авторской рукописи опубликовано в кн.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 7, с. 381—388). В этой сценке Грамматика представляет на суд Разуму и Обычаю буквы российского алфавита, которые «вражду имеют» и спорят друг с другом. «Они, — по словам Грамматики, — давно имеют между собою великие распри о получении разных важных мест и достоинств... Иные хвалятся своим пригожим видом, некоторые приятным голосом, иные своими патронами, а почти все старинною своею фамилиею». Когда же судьи соглашаются рассмотреть их тяжбы, Грамматика осведомляется, «в каком образе» они желают их видеть: «Ежели вам угодно перекликать их на улице, то станут они для нынешней стужи в широких шубах, какие они носят в церковных книгах, а ежели в горнице пересматривать изволите, предстанут в летнем наряде, какие они надевают в гражданской печати. Буде же за благо рассудите, чтобы они пришли к окнам на ходулях, явятся так, как их в старинных книгах под заставками писали или как и ныне в Вязьме на пряниках печатают». Далее «А» спорит с «О», «Ять» с «Е», согласные недовольны первлством гласных, «Ф» жалуется на «Фиту» и т. д. Ср.: Будилович А. М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869, с. 77—78. — Добавим, что Н. Надеждин, бывший хорошим эллинистом, несомненно, знал не только «Суд российских письмен» Ломоносова, но и его возможные античные образцы, например «Суд гласных букв» Лукиана, а также позднейшие западноевропейские ему подражания вроде «Arologia pro littera T» С. Calcagnini (Базель, 1539) или поэмы Никольса (Nicols. De litteris inventis. London, 1711). См.: Сочинения М. В. Ломоносова с пояснительными примечаниями акад. М. И. Сухомилова. СПб., 1898, т. IV, с. 260—262.

буквы; эта статья, как и заключительное письмо Гумбольдта (от 29 ноября 1829 г.), была помещена в «Литературной газете».⁴

Это не единственные примеры. Несомненно, что в эти же годы в литературных кругах широко обсуждались предвидимые реформы системы русской графики и различные предложения о возможном изъятии из русского алфавита ряда букв, помимо твердого знака или ижицы.⁵ Так, А. Буков в статье «Введение в новейшую русскую грамматику»⁶ задавался вопросом, не следует ли из «комплекта тридцати пяти букв» исключить некоторые, причислив их «до времени к буквенной герольдии, впредь до определения?». Он вспоминал и о твердом знаке, которому «еще недавно знаменитый Гумбольдт нанес смертельную обиду», и об ижице; буква «э», по его словам, уже несколько дней не дает ему «ни сна, ни покоя»; он писал и о крючковатом «щ», «с которым соединено воспоминание о щепетильных подьячих старого века», и восклицал также: «...кто решится быть рыцарем ф и е?» «Я вижу в буквах совершенно другое, — писал А. Буков далее. — В их звуках — моя философия. Я нахожу в них первое впечат-

⁴ Литературная газета, 1830, 16 апреля, с. 172—177. — Подробности см. в статье: Черейский Л. А. Пушкин и Александр Гумбольдт. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956, т. I, с. 254—255. — Установить, кто был автором редакционного предисловия к этой «тяжбе о букве ъ», довольно затруднительно. Л. А. Черейский указывает на три перепечатки данной статьи из «Литературной газеты»: в сочинениях Перовского-Погорельского (1853), в «Русском архиве», 1865, стб. 1128—1138 (без указания автора) и в собрании сочинений П. А. Вяземского (т. II, 1879); со своей стороны укажем еще на перепечатку в журнале «Маяк» (1842, кн. VIII, отд. V, смесь, с. 54—75). По мнению Л. А. Черейского, «авторство Вяземского исключается»; однако Е. М. Блинова («Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина, 1830—1831. Указатель содержания. М., 1966, с. 162) с этим не соглашается и, со своей стороны, указывает, что на экземпляре «Литературной газеты», принадлежавшем А. И. Тургеневу, имеется пометка Вяземского: «Новая тяжба о букве ъ — моя, а письмо — Перовского». Отметим также, что в книге «Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России» (М., 1962, с. 95—96) статья Гумбольдта из «Литературной газеты» перепечатана под заглавием «Гумбольдт — Д. Н. Блудову» на том основании, что письмо о значении «ер» (твердого знака), на которое ответил Гумбольдт, написано именно Блудовым.

⁵ Уже десятилетиями раньше над доморощенными реформаторами русской азбуки забавлялся М. Н. Загоскин. В одном из его сатирических очерков выведен некий литератор, сочиняющий «разговоры на русском и французском языках» и «русскую азбуку». «А что вы хотите переменить в азбуке?» — спрашивают его. «Говорите тише! — отвечает он. — Я хочу... Но нет, я не смею вам поверить этой тайны. Почему знать, вы не остережетесь, откроете ее другим, и тогда, чего доброго, прежде, нежели моя книга выйдет в свет, какой-нибудь любитель ижицы убьет меня из-за угла камнем» (Соревнователь просвещения и благотворения, 1821, ч. XV, кн. I, № VII, с. 71—72). Приблизительно в то же время Загоскин обещал прислать М. Е. Лобанову для прочтения в Обществе любителей российской словесности небольшую статью, озаглавленную «Торжественное заседание преобразователей российской азбуки» (см.: Круглый А. О. М. Е. Лобанов и его отношения к Гнедичу и Загоскину. — Исторический вестник, 1880, август, с. 688).

⁶ Молва, 1831, № 19, с. 1—9.

ление младенчества, знание, способность говорить — драгоценное преимущество человека... Я усматриваю постепенность, достойную подражания: развитую мысль первоначального существования. А з — человек рождается, б у к и — страшится всего в младенчестве, веди — начинает познавать, получает глагол (слово) и уверяется, что добро есть, живет на земле». ⁷ О. Евецкий напечатал в «Телескопе» целое рассуждение о славянской азбуке до Кирилла и Мефодия; высказывая совершенно произвольное предположение, что каждая азбука «в первообразе своем» имеет религиозный, мистический смысл, он предлагал следующее связное чтение древнеславянских графических знаков: «Я бог всеведывающий, заповедываю...» и т. д. ⁸ Ему возражал некий К в том же журнале: «Не проще ли открывается ларчик? Что за буки, что за веди, живете, мыслете? Ни первоначально, ни теперь нет в них никакого смысла. Не так ли первоначально читалась азбука, имевшая смысл свой и удобно оставшаяся в памяти: Аз буквы ведай глагол добро есть» ⁹ и т. д.

Отметим также, что в 1828 г. П. Л. Яковлев издал анонимно свою бойко написанную брошюру «Рукопись покойного Клемептия Акимовича Хабарова, содержащая рассуждения о русской азбуке и биографию его, им самим писанную...», в которой между прочим доказывал, что для русской азбуки достаточно 27 букв вместо 35; эта брошюра обсуждалась в нескольких русских журналах, где рецензенты то условно соглашались с проектом Яковлева—Хабарова, то старались «уговорить наших русских грамотеев ничего не затевать в русской азбуке», ¹⁰ ссылаясь на английскую практику. ¹¹ В следующем году в «Московском

⁷ Там же, с. 7.

⁸ Евецкий О. Гипотетический ход человеческого ума, изображающего графику. — Телескоп, 1832, ч. VIII, № 7, с. 324—341. — Эта статья харьковского молодого ученого, впоследствии приятеля И. И. Срезневского, оказалась настолько правдоподобной, что была включена в текст переведенного с французского труда: Жарри де Манси А. История древних и новых литератур, наук и изящных искусств / Пер. с франц. И. Милашевич. М. 1832, ч. II, с. 118—122.

⁹ [К.] О русской азбуке (отрывок из письма). — Телескоп, 1832, ч. XII, № 23, с. 430—432. — В. Г. Анастасевич еще в начале века, рассуждая о буквах русской азбуки, их расположении и графическом сходстве с греческими, замечал, что «российский алфавит» имеет «особенный порядок», а «потому думать надобно, что он принят произвольно, хотя некоторые и находят в нем какой-то нравственный смысл» (Нечто о Российской абевере. — Улей, 1811, ч. I, № 11, с. 96).

¹⁰ Московский телеграф, 1828, ч. I, № 11, с. 503—506; Сын отечества, 1828, ч. 120, № XIII, отд. V, с. 81—84; Московский вестник, 1828, ч. II, с. 69—73.

¹¹ В «Московском телеграфе» Н. А. Полевой писал, например: «Доказывайте, что угодно, но что перешло много поколений, то сделалось почти природою. Испытайте заставить англичан отказаться от их нелепой азбуки, и вы увидите, что легче помирить тори с радикалами, нежели убедить в ненужности букв [sic] оо, ее и проч» (с. 504). Касаясь тех страниц брошюры П. Л. Яковлева, где идет речь «об усовершенствовании русской азбуки», рецензент «Московского вестника» также писал: «Замечания отчасти спра-

вестнике» появилась статья Д. А. Облеухова об иероглифическом языке, являвшая очень типичный для тех лет пример дилетантского фантазирования на филологическую тему: автор пытается здесь доказать, что в основе древнейших алфавитов лежат графические воспроизведения глаза, уха, рта, носа и руки; так, по его мнению, латинское L весьма сходно с изображением носа, M — с изображением рта, еврейская буква «фе» похожа на ухо; в буквах древнееврейской азбуки он находит и подобие «брови с носом», и подобие «бороды», «подбородка», «пальца» и т. д.¹²

Такие догадки были не очень далеки от тех «апофегмат» Грамматина, составленных из наименований церковнославянской азбуки, над которыми смеялся и Пушкин. Тем не менее они были безусловно в моде; в литературных кругах, например, пользовался тогда печальной известностью А. И. Сулакадзеv, коллекционер и фальсификатор рукописей, все еще трудившийся над собиранием азбук всех времен и народов; этот его фантастиче-

ведливые, но usus tyranus. Нам еще грех пожаловаться на свою азбуку Какова французская, английская?» (с. 73). Отметим также, что среди переводов молодого Белинского находится статья «Изобретение азбуки», помещенная им в «Молве» (1833, № 47—48); здесь рассказывается об одном из индийских племей Северной Америки, которое пыталось добиться возможности употреблять «говорящие листы»: это был «целый ряд остроумных покушений создать для своего употребления систему письма и усвоить ее своему наречию» — эта переводная статья перепечатана в Полном собрании сочинений В. Г. Белинского под редакцией С. А. Венгерова (СПб., 1900, т. I, с. 160—162).

¹² Облеухов Д. Отрывки из письма к N о иероглифическом языке. — Московский вестник, 1829, ч. IV, с. 105—134. — Отметим, кстати, интерес Пушкина к древнееврейской азбуке; начертания и обозначения ее букв записаны им в той тетради, которая была при нем во время занятий в библиотеке Вольтера в марте 1832 г. (запись еврейского алфавита см. в кн.: Рукоя Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935, с. 60—63; см. также сделанную Пушкиным запись арабских букв — там же, с. 108—110). Воспроизведя эти «учебные пушкинские записи древнееврейского алфавита», Д. П. Якубович заметил: «Первая запись, мне кажется, свидетельствует, что Пушкин хотел проделать с еврейским алфавитом тот же занимательный эксперимент, что и в его известной заметке „Форма цифр арабских“. . . Таблицы еврейского алфавита имелись в библиотеке Пушкина. . . Однако записи Пушкина восходят, видимо, к устному источнику, как видно из перевода еврейских букв» (Литературное наследство. М., 1934, т. 16—18, с. 918—919, 920, 922). Укажем в свою очередь, что в своеобразной книге А. Ф. Вельтмана «Странник» (М., ч. III, 1832) одну главу (гл. ССLXII) занял фантастический рассказ-сновидение, все действующие лица которого говорят только названиями букв древнееврейского алфавита (в его транскрипции: алеф, бет, гиммель, далет, хэ, вув и др.).

Персонафикацию русских буквенных наименований мы также нередко встречаем в литературе этой поры. См., например, в юмористической повести Н. Бобылева «Графиня и коза»: «Я начал тем, что вывел заглавие самыми крупными, самыми вычурными буквами! Хвастливый ферт, словно барин на ярмарке, чопорно подпер руками бока свои; вертлявое к а к о заботливо выбрасывало вперед крючковатую ножку, не хуже другого записного щеголя. . . з е м л я, будто приказный после дарового завтрака, сгибалось в два крючка» и т. д. (Невский альбом Опыты в сплax и прозе Н. Бобылева. СПб., 1838, с. 116).

ский трактат, названный «Буквозором», дошел и до наших дней.¹³

Азбука, однако, привлекала к себе внимание не только как предмет для филологических наблюдений или остроумия, но и как объект педагогических экспериментов. В журнале «Телескоп» в пространной статье 1836 г., озаглавленной «Как прежде учили и как еще учат грамматике?»,¹⁴ А. Галахов между прочим вспоминал о «веселых» и «наглядных» букварях старого времени. Именно с подобными веселыми западноевропейскими азбуками связана была и «трагедия» об Эно и Икаэль — поздний водевильный отклик на педагогическую практику создания веселых, удобных для запоминания при изучении грамоты учебных пособий.

Историческая традиция создания подобных «занимательных» азбук, приспособленных для мнемотехнических целей, чрезвычайно длинна. Следы ее мы находим уже в древнем Риме: Квинтилиан утверждает в своем трактате «Об образовании оратора» («*Institutio oratoria*», I, 1, 126), что он знал, как можно сделать «игру» из азбуки; о подобных же забавах при изучении начатков грамоты свидетельствуют и христианские писатели средневековья, например св. Иероним в своем послании к Лэту; неудивительно, что подобные же забавы рекомендовал Эразм Роттердамский («*De pueris statim ac liberaliter instituendis*») и что Монтень сам испытал этот метод в свои детские годы при изучении греческого языка: «...отец имел намерение обучить меня этому языку, пользуясь совершенно новым способом — путем разного рода забав и упражнений. Мы перебрасывались склонениями вроде тех юношей, которые с помощью определенной игры, например шашек, изучают арифметику и геометрию» (Опыты, I, XXVI). В XVIII в. этот метод имел столь широкое распространение в Европе, в особенности при расширившемся изучении иностранных языков, что вызвал даже остроумную пародию Попа, Свифта и Арбетнота под их коллективным псевдонимом «Мартинауса Скриблеруса».¹⁵

Действительно, «забавные азбуки» открывали полный простор для сатирических применений; во всех литературах Европы, не исключая и русской, начиная от средних веков тянется длинный ряд разнообразных сатирических азбук, в которых «игра» как простой педагогический прием переосмыслена в целях забавы для взрослых и порой имеет в виду серьезные общественные цели.¹⁶ Поздними образцами подобных сатирических азбук яви-

¹³ См.: Сперанский М. Н. Русские подделки рукописей в начале XIX в. — Проблемы источниковедения. М., 1956, т. V, с. 72.

¹⁴ Телескоп, 1836, ч. XXXIII, № 11, с. 339—374.

¹⁵ *Memoirs of a Extraordinary Life: Works and Discoveries of Martinus Scriblerus* / Ed. by Ch. Kerby Miller. New Haven, 1950, p. 108, 211—212.

¹⁶ Ряд подобных азбук, вроде «*Alphabete von den bösen Weibern*» (XV в.) или пародических «Азбук пьяниц» («*A bis M des Trinkers*»), или юмористической «*Das ABC cum notis variorum* (Leipzig, 1703) и др. перечислен в кн.: Dornseiff Franz. *Das Alphabet in Mystik und Magie*,

лись: на русской почве — детская азбука 1814 г., иллюстрированная И. И. Теребневым, в которой каждой букве придана иллюстрация-карикатура на французов наполеоновской армии 1812 г. и соответствующее двустипшие;¹⁷ на английской почве — «Азбука Теккерей» (1833), английский алфавит, в котором Теккерей пояснил каждую букву комическим рисунком и острым двустипшием (например, буквы К и Q с гротескными фигурами короля и королевы).¹⁸

Среди французских сатирических азбук первой половины XVI в. одной из наиболее известных является «Азбука нашего времени» («L'Alphabet du temps présent»), не без основания приписываемая Клеману Маро. Анализируя это сатирическое произведение французского поэта, издатель его и комментатор Жорж Гиффрей напомнил, что «фантазию, основанную на подобном же принципе», можно найти и в «современном французском театре», и для примера привел сцену из комедии-водевиля Брунсвика, Бартеlemi и Лерп «Ночной колокольчик», представленного на сцене парижского театра «Gaité» 27 ноября 1835 г.¹⁹ Это и есть

2-te Aufl. Leipzig; Berlin, 1925, S. 149—151. — В русской письменности также были известны подобные произведения, см. опубликованную В. П. Адриановой-Перетц «Азбуку о голом и небогатом человеке» в издании: Русская демократическая сатира XVII в. М.; Л., 1954, с. 30—36, 233—235, или позднейшие стихотворные «автобиографии» в форме азбук (Покровская В. Ф. Стихотворная автобиография подъячего XVIII в. — ТОДРЛ. Л., 1935, т. II, с. 292—300; Ярхо Б. И. Ритмика так называемого «романа в стихах». Ars poetica. М., 1928, т. II, с. 9—36; Mathauserová S. Ruský «Román ve veršich» XVIII století. — Československá rusistika, 1959, N 1, s. 1—14). В многочисленных произведениях старой русской литературы старинные наименования букв также нередко получали юмористические или сатирические применения. Можно вспомнить, например, об известном в рукописях XVIII в. «Сказании — как волка грамоте учили», где волк подает реплики на каждую из называемых ему шести первых букв русской азбуки (Кузьмина В. Д. Русский демократический театр XVIII в. М., 1958, с. 99—100); немало комических эффектов из подобных же созвучий извлек также Фонвизин (см.: Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин. М.; Л., 1961, с. 67). В рукописном «Магазине достопамятных и любопытных бумаг, появившихся в пароде» А. Т. Болотова на с. 46, среди сатирических произведений, направленных против французской революции 1789 г., находится «Alphabet du Royaume François», начало которого читается так: Le trône est ABC, le clergé DCD, le parlement KC, etc. (т. е. если раскрыть наименования отдельных литер: «Le trône est abaissé, le clergé désédé, le parlement cassé: трон унижен, духовенство умерло, парламент разрушен»), см.: Отчет имп. Публичной библиотеки за 1892 г. СПб., 1895, с. 121. Ср. также статью Ю. Тувима «Abecadlo z píesca spadlo» с примерами забавных азбук и причудливых толкований отдельных литер, извлеченными из произведений польской литературы (Tuwim J. Cicer cum saula, czyli groch z kapusta. — Panoptikum i archiwum kultury. Warszawa, 1958, s. 77—78).

¹⁷ Подарок детям в память 1812 года. СПб., 1814; Геннади Г. Справочный словарь о русских писателях и ученых. М., 1906, т. III, с. 157; Вережагин В. Русская карикатура: Отечественная война. СПб., 1912, с. 143—145; Каганович А. И. И. Теребнев. М., 1956, с. 140.

¹⁸ The Thackeray Alphabet / Written and illustrated by W. M. Thackeray. London, 1929.

¹⁹ La Sonnete de Nuit: Comédie-vaudeville en 1 acte par M. M. Brunswick, Berthélemy et Lheri. Цит. по: Les œuvres de Clément Marot... Le tout mieux

искомый нами источник записи Пушкина об Эно и Икаэль. Так как нам известна и дата представления этого водевиля, то она может также служить для нас *terminus ante quem* для датировки записи Пушкина. Последнюю условно датируют 1835—1836 гг.; очевидно, что она не старше даты, указанной выше.

Приводим в переводе отрывок²⁰ из пятой сцены водевиля «Ночной колокольчик», в которой аптекарь Коффиньон, только что женившийся на некоей Серафиме, застаёт па колених перед пею клерка Давида. На вопрос аптекаря, что тут происходит, Давид объясняет, что он с Серафимой репетировал пьесу. Но какую? «Это немножко старовато, — говорит Давид про себя, — но все же годится для аптекаря», — и продолжает вслух: «Это трагедия в 25 актов с прологом и эпилогом; называется она „Алфавит“. Принц Ижикаэль (IJKL) обожает принцессу Эно (No) и нежно любим ею... К несчастью, у него есть соперник — аббат Пеку (PQ). Принцесса Эно сладострастно возлежит на кушетке, когда входит аббат Пеку; он бросается перед ней па колени и объясняется ей в любви... Появляется принц и велит аббату удалиться (игра слов: абеседе — *abbé cédez!*). Взбешенный аббат отвечает ему EF (э эф)... Он не произносит это, но все же ясно слышно EF. Принц показывает ему свои руки, говоря: GH (же аш, т. е. приблизительно: изрублю!). Аббат удаляется. Тогда принц Ижикаэль бросается на колени перед принцессой и говорит ей: IJKLMNO (Ижикаэль эм эпо, т. е. «Ижикаэль любит Эно»). Тише, — отвечает ему принцесса, — PQRST (ше кю эр эс те, или «Пеку э ресте», т. е. «Пеку остался»). Принц кличет UVXY (Ю Ве Икс Игрек) — все это его телохранители. Отрубите ему голову... (Зеро)».

ordonné comme l'on verra ci-après et soigneusement revue par Georges Guiffrey. Paris, 1875, t. II, p. 500. — И. М. Тронский довольно подробно пересказал сюжет этого нескромного водевиля со ссылкой на «Le Magazin théâtral» (1836, t. XI) и сообщил также, что под псевдонимами Brunswick и Lheri скрылось одно лицо — Léon Lévi, под псевдонимом Barthélemy — другое: Mathieu-Barthélemy Troin (см.: Тронский И. М. Грамматическая трагедия Каллия. — В кн.: Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966, с. 334—335).

²⁰ Для лучшего понимания текста приведенной цитаты в скобках даются пояснения переводчика. И. М. Тронский в указанной выше статье, основываясь на словах героя водевиля Давида — «Это немножко старовато...» и т. д. («C'est un peu vieux...»), справедливо замечает, что из этих слов можно заключить, что «шуточная азбука, использовавшаяся составителем водевиля, существовала уже до них (с. 335). Что касается «Грамматической (т. е. буквенной) трагедии» древнегреческого комедийного поэта, афинянина Каллия (считается V в. до н. э.), дошедшей до нас во фрагментах, то это, несомненно, один из самых ранних образцов того же рода. «Служила ли пьеса Каллия для пропаганды ионийского алфавита или представляла собой пародию на увлечение им, — из фрагментов не ясно, — замечает И. М. Тронский. — Исследователи разрешали этот вопрос по-разному в зависимости от того, видели ли они здесь пособие для обучения, веселую азбуку или комедийную насмешку». Отметим, кстати, что фрагменты «Грамматической трагедии» Каллия сохранились лишь в X книге «Пирующих софистов» Афиней, произведении, вызвавшем к себе особое внимание Пушкина (см. в настоящей книге выше, с. 404, примеч. 5).

Нельзя не обратить внимания на некоторые отличия этого текста от того, который мы находим в записи Пушкина. В водевильной редакции мы находим весь французский алфавит, от А до Z, тогда как у Пушкина отсутствуют некоторые буквы. Имя принца — не Эно, но Ижикаэль (у Пушкина наоборот); Ижикаэль, конечно, правильнее, чем Икаэль, так как в редакции Пушкина исчезает одна буква, J (жи), необходимая при последовательной рецитации всего алфавита. Пушкин отбрасывает также игру словами, т. е. приблизительно сходными звучаниями буквенных наименований (ABCD, GH) и возможных фраз-реплик. Все это может служить свидетельством, что Пушкин не имел перед глазами печатного источника «трагедии», но записал его по памяти или со слуха в чьей-то устной передаче. Эта шуточная «трагедия букв» запомнилась Пушкину не только потому, что у нас в это время были распространены подобные «филологические» остроты и анекдоты, но также и потому, что он понял сатирические намеки французских водевилистов, направленные на разоблачение структуры и характерных особенностей французской романтической драмы.





К ТЕКСТУ СТИХОТВОРЕНИЯ «ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД»

1

В июне 1858 г. в Петербург приехал Александр Дюма-отец. Он провел здесь полтора месяца, затем уехал в Москву, где находился вторую половину июля и весь август; с начала сентября Дюма ездил по Волге от Нижнего-Новгорода до Астрахани, потом побывал на Кавказе. Все путешествие Дюма по России растянулось более чем на полгода: он покинул ее лишь в январе 1859 г.¹ Свои путевые впечатления Дюма описал в большой серии очерков; первоначально они появлялись в периодических изданиях, публиковавшихся самим писателем, а затем выпускались отдельными книгами в разных редакциях и с переменами заглавий.²

¹ Дурюлин С. Н. Александр Дюма-отец и Россия. — В кн.: Литературное наследство. М., 1937, т. 31—32, с. 491—557. — Эта известная работа имеется также во французском переводе: Douriline S. Alexandre Dumas-père en Russie. Paris; Seluck, 1947 (85 p.).

² Библиография этих изданий и их текстологическая история чрезвычайно запутаны. Первоначально эти очерки Дюма печатались в виде писем из России в таких его журналах, как «Monte-Cristo» и «Caucase» (Дюма был их издателем и единственным сотрудником). Между 1858 и 1862 гг. очерки были изданы в виде книг в Брюсселе и Лейпциге под заглавием «От Парижа до Астрахани» («De Paris à Astrakhan») и в Париже под заглавием «Впечатления путешествия в России», в 9 томах, и в 1865—1866 гг. — в 4 томах. Путешествие по Кавказу существует также под заглавием «Кавказ от Прометея до Гамилля» («Le Caucase depuis Prométhée jusqu'à Chamill») (1859, в 7 томах). Текстологически все эти многочисленные издания друг с другом не сопоставлены, а между тем они не всегда являлись только перепечатками. Так, например, издания, печатавшиеся в Бельгии, включают в себе страницы общественно-политического содержания, порою отсутствующие в изданиях французских. Отметим, в частности, что в Брюсселе в 1859 г. начали появляться «Письма из Санкт-Петербурга» А. Дюма, запрещенные к обращению во Франции; позже этот труд был назван «Lettres sur le Servage en Russie». См.: Corbet Charles. L'opinion française face à l'Inconnue Russe (1799—1894). Paris, 1967, p. 312—313. — Под заглавием «Путешествие по России» путевые очерки Дюма

В одной из этих книг Дюма рассказал о своем кратком знакомстве с графиней Е. П. Ростопчиной, состоявшемся в августе 1858 г. Это было за несколько месяцев до ее смерти (она умерла 3 декабря этого года), когда она уже была поражена тяжелым недугом и жила то в Москве, то в своем подмосковном имении Вороново.

«До нашей встречи в Москве я уже был с нею в артистической переписке, — писал Дюма. — Когда она узнала, что я в Москве, то нарочно приехала из деревни, чтобы увидеться со мною, и тотчас дала мне знать, что она меня ожидает. Я отправился к ней и нашел ее очень больною... Разговор с прелестной больною был увлекателен; она обещала прислать все то, что найдет достойным моего внимания... Когда я собирался уходить после двухчасовой беседы, почувствовав, что она устала от нашей продолжительной болтовни, она взяла мою записную книжку и на первой странице написала одну строчку: „Никогда не забывайте ваших русских друзей и между ними Евдокию Ростопчину. Москва 14 (26) августа 1858 г.“ <...> И действительно, — продолжает Дюма, — через несколько дней она прислала мне заметки из деревни, куда она возвратилась на другой день после нашего свидания. К заметкам было приложено письмо, которое я привожу полностью, чтобы дать понятие об уме этого милого, остроумного и поэтического друга одного дня, воспоминание о котором я сохранию на всю свою жизнь; письмо писано на французском языке, на котором графиня писала как прозой, так и стихами». Далее следует текст письма Ростопчиной с пометой: «Вороново, понедельник 18 (30) августа 1858 г.» (начало: «Duschinka Dumas!», конец: «Votre amie depuis trente ans. Eudoxie Rostopchine»)³.

Это письмо хорошо известно исследователям Лермонтова: во французском тексте и в русском переводе оно неоднократно воспроизводилось в русской печати, так как предваряло другое и последнее письмо Ростопчиной к Дюма от 27 (10 сентября) 1858 г., к которому была приложена ее записка о Лермонтове.⁴

были переизданы столетие спустя после их первого появления, см.: Dumas A. Voyage en Russie / Préface par André Maurois. Notes et introduction par Jacques Suffel. Paris, P. Hermann, 1964. 671 p. — Это издание, однако, не устранило необходимости произвести текстологическое сравнение всех ранних изданий этого труда. О том, какое внимание уделял Дюма изданию своих путевых очерков, существует свидетельство И. А. Гончарова, писавшего А. В. Дружинину 22 июля 1858 г.: «Дюма я видел два раза минут на пять, и он сказал мне, что полагает написать до 200 томов путешествий, и между прочим определяет 15 томов [юмов] на Россию, 17 на Грецию, 20 на Малую Азию и т. д. Ей-богу так!» (Письма к А. В. Дружинину / Ред. П. С. Попова. — Летописи / Гос. лит. музей. М., 1948, кн. 9, с. 78, 80).

³ Впервые этот рассказ о знакомстве с Ростопчиной появился в издании Дюма: «Le Caucase, journal de voyages et de romans» (1859, от 4 мая, № 19, p. 147—150), а затем перепечатывался неоднократно в книгах его путешествий. Мы цитируем его по кн.: Dumas A. Le Caucase: Nouvelles impressions de voyage. Bruxelles, 1859, ch. XIX, p. 249—250.

⁴ М. Ю. Лермонтов в рассказе гр. Е. П. Ростопчиной / Перевел и сообщил В. К. Шульц — Русская старина, 1882, сентябрь, т. 25, с. 613—614.

Первое из указанных писем, от 18 (30) августа 1858 г., дошло до нас в подлиннике. Недавно А. Я. Полонский, в парижском собрании которого находится много рукописей, весьма ценных для истории русской литературы,⁵ приобрел в Париже подлинник этого письма Ростопчиной и прислал фотоснимок с него в Ленинград с любезным разрешением опубликовать его. Сверка этого письма, напечатанного самим Дюма, с автографическим подлинником Ростопчиной показывает, что французский писатель воспроизвел его вполне точно, но с одним исключением: он выпустил в печатном тексте целую страницу этого письма (л. 3 и 3 об.), представляющую для нас особый интерес: вся она посвящена Пушкину.

Приводим всю выпущенную страницу во французском подлиннике и русском переводе.⁶

«Voici, pour votre dessert, une pièce de Pouschkine, qui n'est pas, et ne peut jamais être imprimée en russe. Venant dans une maison d'ami, il trouva qu'on y écrivait une lettre aux exilés de Sibérie, à ceux que nous appelons les Décembristes: il prit la plume, et improvisa les vers suivants:

Aux exilés

Au fond des souterrains de Sibérie
Conservez votre patience fière et forte:
Il ne sera pas perdu, votre lugubre travail,
Non plus que le saint élan de vos âmes

*

L'amour de vos amis saura se frayer un chemin jusqu'à vous,
Il pénétrera dans [les] vos trous de galériens,
Aussi bien que ma voix attristée
Sait pénétrer à travers grilles et cadenas de fer

*

La fidèle soeur du malheur,
L'espérance, éveillera la joie et le contentement
(Au) Dans les sombres abîmes des mineurs, ...
Vous verrez luire le grand jour désiré! ..

*

Les fers pesants tomberont,
Les prisons s'abîmeront, et la liberté
Vous recevra, joyeuse, sur le seuil de votre tombeau,
Et vos frères vous présenteront le glaive de l'homme libre...

La suite au N° prochain».

⁵ О принадлежащем ему автографе стихотворения Пушкина «На холмах Грузии» см. в кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1963. М.; Л., 1966, вып. 2, с. 31—47.

⁶ См. воспроизведение этой страницы в иллюстрации, помещенной во «Временнике Пушкинской комиссии. 1969» (Л., 1971) между с. 32—33. Чернила в автографе сильно выцвели и читаются с трудом; не удалось разобрать несколько слов на краю страницы, попорченном сыростью; конец перевода стихотворения перешел на оборот третьей страницы.

[Перевод]: «Вот вам, на десерт, стихотворение Пушкина, которое не было и никогда не сможет быть напечатано на русском языке: придя однажды в дом друга, он [Пушкин] узнал, что там пишется письмо к изгнанникам в Сибирь, к тем, кого мы зовем декабристами: он взял перо и экспромтом написал следующие стихи: „К изгнанникам“».

Следует дословный французский перевод известного стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд/Храните гордое терпенье...». В конце сделана приписка: «Продолжение в ближайшем №», т. е., очевидно, в следующем письме (или в следующем номере журнала Дюма, о котором см. выше, примеч. 3, где он предполагал напечатать свою корреспонденцию, если это приписка Дюма, а не Ростопчиной).

2

Естественно возникает вопрос, почему Дюма, публикуя это письмо Ростопчиной «полностью» (*toute entière*), по его собственному заявлению, все же выпустил из него целую страницу с французским переводом стихотворения Пушкина. Было ли опущение этой страницы случайным или намеренным?

Едва ли, разумеется, следует предположить, что послание Пушкина в Сибирь Дюма не воспроизвел вместе с текстом всего опубликованного им письма потому, что он находился как бы под внушением тех его строк, где Ростопчина сообщала, что стихотворение Пушкина никогда «не было и не сможет быть напечатано на русском языке»: ведь Ростопчина не приводила русского текста стихотворения и предоставляла его французский перевод, конечно, не для тайного хранения. Кроме того, вся остальная часть интересующего нас письма появилась в печати в мае 1859 г., после возвращения Дюма из России, о смерти же Ростопчиной он узнал еще будучи на Кавказе. Впрочем, даже находясь в России и отправляя оттуда свои корреспонденции во Францию, Дюма не очень стеснял себя, то и дело сообщая о таких вещах, какие являлись предосудительными с точки зрения тогдашних русских властей; в частности, он свободно цитировал запрещенные в России стихотворения Пушкина и охотно рассуждал на острые общественно-политические темы. Декабристами же и их судьбой Дюма интересовался еще задолго до своего приезда в Россию.

В 1840 г. сначала на страницах журнала «*Revue de Paris*», а потом и отдельной книгой Дюма опубликовал свой роман «Учитель фехтования, или Восемнадцать месяцев в С.-Петербурге» («*Le maître d'armes, ou dix-huit mois à Saint-Petersbourg*»), в котором было рассказано о восстании 14 декабря 1825 г. и ссылке в Сибирь декабриста И. А. Анненкова.⁷ Если справедливо, что

⁷ Об этом также см.: Cadot M. *La Russie dans la vie intellectuelle française*. Paris, 1967, p. 304—305, а также в статье: Тарасюк Л. И.

главным источником этого романа послужила для Дюма рукопись Огюстена Гризье, то из этой же рукописи Дюма мог узнать также о Пушкине. О декабристах речь шла неоднократно и в очерках Дюма о России. Одна из глав этой книги была названа «Изгнанники» («Les exilés») ⁸ и посвящена политическим ссыльным в Сибири, в первую очередь декабристам; Дюма интересовался А. А. Бестужевым-Марлинским и печатал переводы его повестей; упомянул он также многих других декабристов.⁹

Пушкина Дюма неоднократно вспоминает в своих очерках, в частности в связи с декабристами. Полуанекдотическая биография поэта с многочисленными цитатами из его стихотворений и поэм заполнила целую главу «Le poète Pouchkine» (ch. XXII).¹⁰

Обращает на себя внимание то, что Дюма в лирике Пушкина в особенности привлекают вольнолюбивые стихотворения и, в частности, такие, какие еще не были известны в русской печати и обращались в рукописных списках; тексты подобных списков предоставлялись Дюма его русскими собеседниками и добродетельными переводчиками, например Д. В. Григоровичем.¹¹ Еще до знакомства с Е. П. Ростопчиной Дюма, несомненно, уже располагал сведениями о дружбе Пушкина с декабристами, и можно думать, что Е. П. Ростопчина только пополнила эти сведения и относящиеся к ним поэтические тексты, возможно, даже по личной просьбе французского писателя.

Среди стихотворений Пушкина, полностью или в отрывках приведенных Дюма в путевых очерках о России, находятся: отрывок из стихотворения «Вольность» (девятая строфа), первые

Огюстен Гризье, преподаватель фехтования Пушкина. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1967—1968. Л., 1970, вып. 6, с. 105.

⁸ Dumas A. Impressions de voyage. En Russie / Ed. Calman-Lévy. Paris, [s. a.], t. II, p. 179—190.

⁹ Старая библиография к теме «Дюма и декабристы» подробно перечислена в кн.: Нечкина М. В., Сказин Е. В. Семинарий по декабризму. М., 1925, с. 137.

¹⁰ Dumas A. Impressions de voyage, t. I, p. 23—50.

¹¹ С. Н. Дурылин (в ст. «Александр Дюма-отец и Россия», с. 525), может быть, слишком категорично приписывал Григоровичу роль чуть ли не единственного информатора Дюма о русских писателях: «Беседы с Григоровичем явились для Дюма путеводителем по истории русской литературы, и те странички книги Дюма „En Russie“, которые посвящены Пушкину, Полежаеву, Некрасову, современным журналистам и самому Григоровичу, обязаны своим происхождением сообщениям Григоровича». На такой вывод, однако, наталкивали и сообщения самого Дюма, и признания Д. В. Григоровича, и свидетельства его современников (см.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928); в приложении к этой книге на с. 461—504 перепечатан отрывок из книги Дюма и фельетон И. Панаева о Дюма в России. И. А. Гончаров писал А. В. Дружинину (22 июля 1859 г.): «Теперь Петербург опустел: только Григорович возится с Дюма и проводит у Кушелева-Безбородко дни свои. Там живет и Дюма: Григорович возит его по городу и по окрестностям и служит ему единственным источником сведений о России. Что будет из этого — бог знает» (Письма к А. В. Дружинину, с. 78). Еще раньше (2 июля) о том же писал Дружинину А. Ф. Писемский: «Григорович, желая, вероятно, получить окончательную европейскую известность, сделался каким-то прихвостнем Дюма, всюду ездит с ним и переводит с ним романы» (там же, с. 254, 255).

две строфы из вступления к «Медному всаднику»¹² и начало пятой строфы поэмы, седьмая строфа из «Моей родословной», отрывок из стихотворения «19 октября» (1827 г.), вслед за которым Дюма приводит также полностью в собственном стихотворном переводе послание Пушкина декабристам. Воспроизводим его для удобства сопоставлений с прозаическим переводом Е. П. Ростопчиной:

Au fonds des souterrains de l'âpre Sibérie
Gardez votre constance et vos sombres labeurs;
La clémence du ciel, amis, n'est point tarie:
Dieu voit votre travail et comptera vos pleurs.

Rien ne sera perdu, ni l'élan de vos âmes,
Blé semé par vos mains aux champs de l'avenir;
Ni les prospérités de nos tyrans infâmes
Que Dieu ne garde saufs que pour les mieux punir.

L'amour de vos amis, dont peut-être l'on doute,
Là-bas, ou l'on trébuche et tombe dans la nuit,
Croyez-moi, jusqu'vous saura s'ouvrir la route:
Au plus sombre cachot parfois l'étoile luit.

Il entrera, pieux, jusque dans votre tombe,
Et, le guidant au bruit de vos généreux fers,
Ma muse secoua ses ailes de colombe
Sur vos fronts de martyrs, saignants, mais toujours fiers.

De sa voix consolante, elle vous dira: «Frères,
Me reconnaissez-vous? J'arrive, me voilà.
Ce n'est plus l'espérance aux lueurs mensongères
C'est la liberté sainte; elle approche, elle est là».

L'heure est lente à sonner, qui venge les victimes,
Mais elle sonnera peut-être des demains
Et vous nous trouverez au seuil de vos abîmes,
Vous attendant debout et le fer à la main!¹³

При первом ознакомлении с этим стихотворением может создаться впечатление, что оно не имеет никакого отношения к пушкинскому «Во глубине сибирских руд». В. К. Шульдц, обследовавший стихотворные переводы Дюма из Пушкина, с полным осно-

¹² О том, как созданы были эти строфы, оставил свидетельство П. И. Панаев в своем фельетоне о Дюма: Современник, 1858, т. LXX, отд. II («Петербургская жизнь. Заметки нового поэта»; цит. по перепечатке в кн.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 503): «Мы (т. е. Григорович, И. Панаев и др., — М. А.) перевели Дюма вступление к «Медному всаднику» Пушкина, первые строфы, начинающиеся:

На берегу пустынных волп
Стоял он, дум великих полп. . .

и проч.

Г. Дюма через несколько минут передал нам эти строфы в прекрасных и звучных стихах.

¹³ Dumas A. Impressions de voyage, t. II, p. 127—128.

ванием называет этот перевод «довольно фантастическим».¹⁴ Тем не менее не подлежит сомнению, что это все-таки амплифицированный перевод и что единственным источником Дюма были строки дословного перевода Е. П. Ростопчиной; сохранив неизменными некоторые его строки и словосочетания, Дюма сильно распространил присланный ему подстрочник. В переработке стихотворение увеличилось на два четверостишия; тем не менее в нём очень ослаблен русский оригинал, довольно точно переданный Е. П. Ростопчиной; ясные, четкие, экспрессивные слова заменены у Дюма банальными штампами сентиментального склада.

Первая строка стихотворного перевода Дюма буквально воспроизводит начало подстрочника: Дюма прибавил только эпитет к слову Сибирь — «суровая» (*Gâpre Sibérie*). Вторая строка оригинала «Храните гордое терпенье» уже у Ростопчиной искусственно увеличена на одно слово:

Conservez votre patience fière et forte,

а у Дюма она непомерно разрослась. Строки 3—4 Ростопчиной отозвались у Дюма в стихе 5-м, но последующие стихи (6—9) являются уже чистой фантазией французского писателя, который выдумал и «семена», брошенные декабристами «на поле будущего», и «процветание наших гнусных тиранов, которых бог сохраняет только для того, чтобы их лучше наказать». Может быть, Дюма, не знавший русского оригинала, неправильно истолковал слова перевода Ростопчиной «*Le saint élan de vos âmes*» (восходящие к пушкинскому стиху «и дум высокое стремленье»); более вероятно, что Ростопчина сама читала «душ» вместо «дум» (слово это в ее копии написано неясно), а определение «высокое» преобразовала в «святое» стремление. Это оказалось для Дюма достаточным поводом, чтобы придать всему переводу религиозно-дидактический колорит, а декабристов превратить в христианских мучеников. Лишь последняя строфа снова приближается к пушкинской концовке-пророчианию. Владевший даром свободного

¹⁴ Шульц В. К. А. С. Пушкин в переводе французских писателей. СПб., 1880, с. 127—132. — Приведя в отрывках или полностью и разобрав все стихотворные переводы из Пушкина, сделанные Дюма (помещенные им в его сочинении о России), автор пришел, в общем, к благоприятным выводам. Он считает, что переводы Дюма представляют собою «светлое явление», в особенности «после всех перечисленных посредственностей и фантазий как в прозе, так и в стихах» Дюма мстят для прикрасы, а может, и по поэтическому увлечению прибавляет своего, но притом везде сохраняет основную мысль поэта». В настоящее время такое заключение представляется явно неверным и преувеличивающим достоинства французского писателя, тем более что и сам Дюма предупреждал читателей о несовершенствах своих переводов. Он писал, например: «Мы желаем дать вам представление о стихах Пушкина, но не забудьте, что перевод походит на оригинал, как лунный свет на свет солнечный», или в другом месте: «О стихах Пушкина не нужно судить по моим переводам: Пушкин — великий поэт, поэт из семьи Байронов и Гете» (*Dumas A. De Paris à Astrakhan. Paris, 1860, t. I, p. 34; t. II, p. 180*).

и непринужденного версификаторства, Дюма, пользуясь переводом Ростопчиной, создал свою собственную вольную импровизацию на тему пушкинского послания декабристам.

Публикуя свой перевод, Дюма снабдил его заметкой о поводе и обстоятельствах написания этого стихотворения, полностью заимствованной из письма Е. П. Ростопчиной. У Дюма говорится: «Другой раз Пушкин непринужденно вошел в кабинет друга, писавшего письмо в Сибирь одному из декабристов (à un déce-mbriste); он взял перо и в свой черед написал» (следует текст перевода). Легко заметить, что Дюма воспользовался также словом «декабрист», которое употребила и Ростопчина в своем письме.¹⁵ «Эти стихи не могли быть напечатаны и обращались в рукописях», — писал Дюма в заключение, выдавая и на этот раз источник своих сведений.

Таким образом, мы можем прийти к заключению, что у Дюма не было никаких оснований скрывать от своих читателей ту страницу письма к нему Е. П. Ростопчиной, которую он опустил при «полной» публикации письма; как видим, всем, что он нашел на этой странице, включая и текст стихотворения Пушкина, и пояснения к нему, Дюма воспользовался без остатка, хотя и в других частях своего труда. Единственным поводом для исключения им интересующей нас страницы могли быть соображения композиционного характера: весь рассказ в путевых записках Дюма об «однодневном» личном знакомстве с Е. П. Ростопчиной и о переписке с ней служил своего рода введением к публикации сообщенных ею воспоминаний о Лермонтове; поэтому можно думать, что неожиданно возникающий в середине письма эпизод о послании Пушкина в Сибирь показался Дюма неуместным, перебивающим основную линию его повествования, и он перенес этот эпизод в другую главу, где речь шла о Пушкине, но уже без ссылки на Е. П. Ростопчину.

3

Гораздо труднее решить, что вызвало неожиданное решение Е. П. Ростопчиной сообщить Дюма в собственном переводе послание Пушкина в Сибирь.

Напомним прежде всего, что стихотворение «Во глубине сибирских руд» было впервые напечатано А. И. Герценом в Лон-

¹⁵ С. А. Рейсер в статье «Из разысканий по истории русской политической лексики. Декабристы» (Тр. Ленингр. библиотечн. инст. им. Н. К. Крупской. Л., 1956, т. I, с. 244—254) приходил к заключению, что слово «декабрист», возникшее, по-видимому, «не позднее первой половины 40-х годов», не употреблялось в русской легальной печати из цензурных соображений. Но во второй половине 50-х гг., «после смерти Николая I в 1855 г. и последовавшего некоторого общественного оживления», слово «декабрист» «перестало быть запрещенным и не позже 1860-х годов вошло в основной словарный фонд русского языка». Этот вывод подтверждают приведенные выше примеры употребления слова «декабрист» у Е. Ростопчиной и А. Дюма.

доне за два года перед тем,¹⁶ а в России в 1858 г. Е. И. Якушкин смог напечатать в «Библиографических записках» (в статье «По поводу последнего издания сочинений А. С. Пушкина») лишь два стиха этого послания, не дававшие никакого представления ни о его содержании, ни о его адресатах: «К 1827 г. относится послание Пушкина, начинающееся [sic] стихами:

...Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд...»¹⁷

Полностью это стихотворение напечатано в России лишь в 1876 г., а в собрания сочинений Пушкина стало входить лишь с 1880 г.,¹⁸ да и то не во все.¹⁹

Знала ли Е. П. Ростопчина опубликованный Герценом текст «Во глубине сибирских руд»? Хотя прямыми свидетельствами по этому поводу мы не располагаем, но различные косвенные соображения позволяют нам ответить на этот вопрос отрицательно. Как мы видим, посылая Дюма текст пушкинского послания, Е. П. Ростопчина сообщала ему, что оно «не было и никогда не сможет быть напечатано на русском языке»; едва ли, говоря так, Ростопчина могла бы пойти на откровенную ложь; естественнее было бы думать, что «Полярная звезда» Герцена с текстом послания Пушкина до Ростопчиной не дошла,²⁰ по крайней мере к тому времени, когда она писала Дюма.

Между тем известно, что последние годы своей жизни Ростопчина находилась в полном разладе почти со всеми своими соотечественниками, а с кругом «Современника» и «лондонскими пропагандистами» состояла в самой острой полемике, отозвавшейся и в «Колоколе», и в «Полярной звезде». Отсюда можно было бы заключить, что какие-то издания Герцена и Огарева или по крайней мере известия о них должны были доходить до Ростопчиной,

¹⁶ Полярная звезда на 1856 г. Лондон, 1856, кн. 2, с. 13.

¹⁷ Библиографические записки, 1858, № 11, с. 345.

¹⁸ Гербель Н. В. Для будущего полного собрания сочинений Пушкина. — Русский архив, 1876, кн. I, с. 220; Богаевская К. П. Пушкин в печати за сто лет (1837—1937). М., 1938, с. 57 (№ 384).

¹⁹ В. Е. Якушкин в статье «Сочинения Пушкина в 1887 г.» жаловался, что в «популярных» изданиях Пушкина даже этого времени цензурные изъятия превращали некоторые стихотворения в настоящие ребусы; так в «Послании в Сибирь» (и заглавие не дано) последнее четверостишие печатается в следующем виде:

Ок... тя... ад...
Темн... руд... и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья м. . . вам отдадут.

(см.: Якушкин В. Е.
О Пушкине: Статьи и заметки.
М., 1899, с. 160)

²⁰ Вторая книжка «Полярной звезды», в которой напечатано послание Пушкина декабристам, вышла в свет около 25 мая 1856 г. (см.: Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966, с. 32).

в особенности после того, как Н. П. Огарев напечатал в четвертой книге «Полярной звезды» (1858) свое непосредственное стихотворное обращение к ней с весьма выразительным заглавием: «Отступнице (Посвящено гр. Р. . . ой)».²¹ Действительно, это стихотворение в конце концов стало ей известным, но мы затрудняемся определить, было ли это до или после того, как отправлено было ее письмо к Дюма; к тому же если внимание Ростопчиной обратили на четвертую книгу «Полярной звезды», для чего был особый повод, это не дает нам никаких оснований для заключения, что ей была известна также вторая книга этого лондонского издания. Поскольку, однако, в стихотворении «Отступнице» речь шла также о декабристах и об отношении к ним поэтессы, необходимо иметь его в виду при анализе тех побуждений, которые вызвали Ростопчину на перевод послания Пушкина.

В стихотворении «Отступнице» (1857) Н. П. Огарев вспоминал годы своей юности и знакомства с будущей графиней Ростопчиной, тогда еще Сушковой, когда она жила «милой барышней в Москве» и только начинала свою поэтическую деятельность стихами, полными политического свободомыслия. В особенности запомнилось Огареву ее стихотворение, посвященное декабристам, о котором он писал:

С порывом страстного участия
Вы пели вольность и слезой
Почтили жертвы самовластья,
Их прах казненный, но святой.
Листы тетради той заветной
Я перечитывал не раз,
И снился мне ваш лик приветный,
И блеск, и живость черных глаз...

Об этом стихотворении Сушковой-Ростопчиной долгое время известно было лишь из приведенных строк Огарева; следы той «заветной тетради», в которой его читал Огарев, затерялись. Дочь поэтессы свидетельствовала даже об его уничтожении: «Мать моя написала тогда стихотворение на декабристов, ею после сожженное. Я никогда не слыхала его».²² Однако текст этого стихотворения, притом в автографе Ростопчиной, много лет спустя был найден. Оно озаглавлено «Послание страдальцам» и написано было, по свидетельству собственноручной надписи на автографе, в то время, когда поэтессе было «пятнадцать лет», т. е., очевидно, вслед за исполнением приговора над участниками восстания 14 декабря 1825 г., вероятнее всего в 1827 г. Текст «Послания страдальцам» с надписью поэтессы декабристу «Захару Григорьевичу Чернышеву в знак особенного уважения» был

²¹ Полярная звезда на 1858 г., кн. 4, с. 302—304; в том же году перепечатано в Лондоне в издании «Стихотворений» Огарева (с. 392—396).

²² См.: Ростопчина Л. А. Правда о моей бабушке: (Отрывок из воспоминаний). — Исторический вестник, 1904, кн. 3, с. 869.

найден среди бумаг Петра Сергеевича Киселева.²³ «Послание страдальцам», по времени своего создания близкое к посланию в Сибирь Пушкина, имеет и кое-какие внутренние соответствия с ним. «Послание страдальцам» адресовано прежде всего декабристам, томящимся в казематах Сибири:

Соотчичи мои, заступники свободы,
О вы, изгнанники за правду и закон, —
Нет, вас не оскорбят проклятием пароды,
Вы не услышите укор земных племен!

Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И рабства иго снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой...

Поэтесса допускает, что среди ссыльных декабристов «в степях Сибири диких» «увяли многие безвременно, в цепях», но мысль ее обращена к еще живым изгнанникам, и она стремится передать им не только слова утешения, но и надежду на будущее освобождение и торжество:

Быть может, вам не всем в плену, в горах ужасных,
Терпеть ругательства гонимей своих...
Быть может... вам и нам ударит час блаженный
Паденья варварства, деспотства и царей,
И нам торжествовать придется мир священной
Спасенья россия и мщенья за друзей!
Тогда дойдут до вас восторженные клики
России, вспрыгнувшей от рабственного сна...²⁴

и т. д.

²³ Полный текст впервые напечатан Г. П. Георгиевским в кн.: Декабристы: Сборник материалов. Л., 1926, с. 7—8, 9—16 (комментарий). По другому списку и с датой «июль 1831 г.» стихотворение напечатано в ст.: Нейштадт В. Неизвестные стихи Е. П. Ростопчиной. — Тридцать дней, 1938, № 2, с. 95—96.

²⁴ Последняя из цитированных нами строк, как справедливо отметил С. А. Рейсер в комментарии к перепечатке стихотворения «К страдальцам» в антологии «Вольная русская поэзия второй половины XVIII—первой половины XIX в.» (Л., 1970, с. 848 (Библиотека поэта. Большая серия)), представляет собою перефразировку стиха («Россия вспрянет ото сна») из не напечатанного в то время послания Пушкина к Чаадаеву. Не вполне точную цитату из того же послания Пушкина (по какому-нибудь рукописному списку) Ростопчина взяла эпиграфом к другому своему раннему стихотворению — «Мечта» (1830), также впервые напечатанному Вл. Нейштадтом в указанной выше статье; в нем господствует такое же, смелое по тому времени, политическое вольнодумство; в последнем стихотворении в стихе «плач братьев притесненных», вероятно, также подразумевается декабристы. Отметим еще, что к стихотворению «К страдальцам» был поставлен эпиграф из «Исповеди Наливайки» К. Ф. Рыльева:

Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

(ср.: Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов: Биография. М., 1945, с. 159—160).

Именно эти строки, полные гражданственного пафоса и «страстного участия», вспоминал Н. П. Огарев, противопоставляя им позднейшие ретроградные, полные враждебного непонимания и злобы отзывы Е. П. Ростопчиной о новых добровольных изгнанниках и мучениках русской свободы.

В том же стихотворении Н. П. Огарев вспоминал также позднюю встречу с ней, по-видимому, в Париже в 1845 г. («В поре печальной зрелых лет...»). Однако на этот раз он не решился заговорить с ней:

Уже хотел я молвить слово,
Сказать вам дружеский привет,
Но вы какому-то французу
Свободу поносили вслух
И русскую хвалили музу
За подлый склад, за рабский дух...

Но и эти слова поэтессы, по мнению Огарева, только предвещали ее последующую «измену», к которой пришла она в своих поздних сатирических стихах.

Можно считать установленным, что стихотворение «Отступнице» с подзаголовком «Посвящено гр. Р...ой» было написано Н. П. Огаревым в Лондоне в 1857 г. и что ближайшим поводом для его возникновения явилось стихотворение Ростопчиной «Простой обзор», напечатанное в газете «Северная пчела» 10 августа 1857 г.,²⁵ направленное против передового демократического лагеря в России, в частности против Чернышевского и Добролюбова, выступивших против Ростопчиной в «Современнике»;²⁶ однако две строфы были направлены против Герцена и Огарева. Хотя в тексте «Простого обзора», опубликованном в «Северной пчеле», эти две строфы не были пропущены цензурой, но какими-то путями они дошли в Лондон до Герцена, который и напечатал их в заметке отдела «Смесь» в своем «Колоколе» под заглавием «Струна из графской лиры Ростопчиной», где сделана также полная язвительности ссылка на стихотворение «Отступнице» в «Полярной звезде».²⁷ Ранее Герцена и Огарева Ростопчина задела также в своей сатире «Дом сумасшедших в Москве в 1858 г.», написанной весной 1858 г. (в строфах 58—60).²⁸

В своем биографическом очерке Е. П. Ростопчиной брат ее С. П. Сушков, вступив в полемику с Е. С. Некрасовой, впервые

²⁵ Северная пчела, 1857, 10 августа, 818—819.

²⁶ Абрамович А. Ф. Н. Г. Чернышевский и Е. П. Ростопчина: (Из истории общественно-литературной борьбы в России 50—60-х гг. XIX в.). — Тр. Иркутского гос. ун-в. 1959, т. XXVIII, вып. 1, с. 195—197.

²⁷ Колокол, 1858, от 15 сентября, л. 23—24, с. 200. — Ср.: Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1958, т. XIII, с. 350, 583—584. — Стоит обратить внимание также на то, что на той же странице «Колокола» оканчивалась заметка Герцена, озаглавленная «А. Дюма», в которой говорилось: «Со стыдом, с сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног А. Дюма, как бегают смотреть „великого и курчавого человека“ сквозь решетки сада...» и т. д. (речь идет о пребывании Дюма в Петербурге).

²⁸ Русская старина, 1885, март, т. 45, с. 693—694.

сообщившей в русской легальной печати большой отрывок из стихотворения Огарева «Отступнице»,²⁹ засвидетельствовал: «Н. В. Сушков сообщил в с. Вороново графине Ростопчиной о появлении в Москве стихов Огарева в своем письме от 1 июля 1858 г., из которого г-жа Некрасова, по ее собственному признанию, почерпнула это сведение; но в то время графиня уже страдала предсмертною болезнью, более ничего не писала, прекратила все светские отношения, а по переезде в сентябре в Москву окончательно слегла в постель и 3 декабря скончалась».³⁰ Несколько ранее тот же С. П. Сушков по тому же поводу привел эти данные в более подробном виде. Он сообщил цитату из письма Н. В. Сушкова к Е. П. Ростопчиной от 1 июля («Герцен уже тиснул на тебя стихи Огарева. Ходят по Москве») и добавил: «Из письма Н. В. [Сушкова] не видно, послал ли он копию графине с этих стихов, озаглавленных: „Отступнице“, но они были записаны в его „Воспоминаниях“, где с ними познакомилась г-жа Некрасова». Прочитывая это стихотворение по тому же списку, С. Сушков продолжал: «Н. В. Сушков сообщил графине о стихах Огарева в своем письме от 1 июля 1858 г., но в это время она уже лежала на одре мучительной болезни в подмосковном селе Вороново, ничего более не писала, за исключением только упомянутого выше „Очерка о Лермонтове“, набросанного ею по-французски с большим трудом для Александра Дюма (отца), посетившего в тот год Москву», и т. д.³¹ Если мы сопоставим теперь

²⁹ Некрасова Е. С. Графиня Е. П. Ростопчина. — Вестник Европы, 1885, кн. 3, с. 42—81.

³⁰ Сушков С. П. Биографический очерк. — В кн.: Ростопчина Е. П. Соч. СПб., 1890, т. I, с. ХLI.— Тяжелое состояние здоровья Е. П. Ростопчиной во второй половине 1858 г. подтверждали и другие свидетели. Ф. И. Тютчев, посетивший ее в сентябре этого года, писал М. П. Погодину: «Накануне моего отъезда из Москвы отправился я к Ростопчиной; я нашел ее больною, хворающей все лето, чувствующей себя, по ее словам, измученной и ослабшей. Действительно, бедная женщина стала какою-то тенью или, вернее, развалиной»; месяц спустя (8 октября) С. П. Шевырев писал Погодину: «Говорят, бедная Ростопчина очень больна и безнадежна» (Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1902, кн. 16, с. 207).

³¹ Сушков Сергей. Возражение на статью Е. С. Некрасовой о графине Е. П. Ростопчиной. — Вестник Европы, 1888, кн. 5, с. 431. — Возможно, что С. П. Сушкову осталась неизвестной другая статья Е. С. Некрасовой в «Русской старине» (1885 г., март, т. 45, с. 671—710), в которой опубликованы «шутка-сатира» Ростопчиной «Дом сумасшедших» и ее переписка с дядей — Н. В. Сушковым. Предполагается здесь же напечатать стихотворение «Отступнице»: «Привожу это стихотворение почти целиком в заключение всего упомянутого любопытного материала», — писала Е. С. Некрасова (с. 673), однако публикация стихотворения в последнюю минуту не была разрешена цензурой, вследствие чего в журнале остались пустыми две страницы (с. 707—709). Дядя Е. П. Ростопчиной Николай Васильевич Сушков (1796—1871), от которого она узнала о посвященном ей стихотворении Н. П. Огарева, был литератором, поэтом, драматургом, имевшим широкие связи в литературных и артистических кругах. Он был женат на сестре Ф. И. Тютчева, Дарье Ивановне; его хорошо знали в Москве благодаря его салону, посетителями которого были многочисленные литераторы и

дату этого письма Н. В. Сушкова с приведенными нами выше датами двух писем Е. П. Ростопчиной к Дюма — первое, с переводом послания, писано из Воронова 18 (30) августа; второе, с заметками о Лермонтове, оттуда же 27 августа (10 сентября) 1858 г., — мы сможем заключить, что, хотя письмо к ней ее дяди с первым известием о появившихся в Москве списках стихотворения «Отступнице» послано было на месяц раньше (1 июля старого стиля), самый текст этого обращенного к ней произведения она могла и не получить к тому времени, когда состоялась ее встреча с Дюма в Москве; этому могло помешать также плохое состояние ее здоровья, на что ссылаются и С. П. Сушков,³² и А. Дюма. Во всяком случае задевающие Герцепа и Огарева строфы в сатире Ростопчиной «Дом сумасшедших в Москве в 1858 г.» не могли быть ее «ответом»³³ на стихотворение «Отступнице», так как были написаны до того, как она узнала о нем, а посвященная ей заметка в «Колоколе», может быть, не дошла до нее вовсе, так как появилась в Москве в период ее тяжелой предсмертной болезни.

Таким образом, у нас нет никаких оснований предполагать, что для сообщения Дюма перевода пушкинского послания в Сп-

ученым всех направлений, делившиеся друг с другом новостями отечественной и зарубежной культурной жизни. Ф. И. Тютчев всегда посещал этот салон и неоднократно упоминал о нем в письмах к своей второй жене, Эрнестине Федоровне: «Гостинная Сушковых если и не первая в Европе, то самая многолюдная. Это постоянная толчея»; «В Москве... я вижу... в две недели больше развитых людей, чем в Петербурге в шесть месяцев. Надо сознаться, что салон Сушковых положительно приятен» (Старина и новизна, 1915, кн. 19, с. 222 и 269; см. также письма Ф. И. Тютчева к Н. В. Сушкову, опубликованные Д. Д. Благоим: Мурановский сборник М., 1928, 1, с. 64—73). У старых литераторов Н. В. Сушков пользовался репутацией «замечательно легкомысленного человека», «с претензиями на независимость мнений, по которым восстает на Пушкина и подобн.» — как его аттестовал однажды П. А. Плетнев в письме к Я. К. Гроту от 13 февраля 1846 г. (см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896, т. II, с. 674). Но Н. В. Сушков был преисполнен благоговения к памяти Пушкина и, вероятно, располагал сведениями об истории его жизни, почерпнутыми из устных рассказов о поэте. См., например, в первой книге издававшегося им литературного сборника «Раут» (М., 1851) его собственную статью «Пушкина шляпа» (с. 7—10), в которой Н. В. Сушков, в частности, делится собственными воспоминаниями о смерти и отпевании Пушкина в Петербурге.

³² «Графиня Евдокия Петровна, — утверждает С. П. Сушков, — взялась за перо в самый последний раз в конце августа 1858 г., чтобы написать для А. Дюма (отца) на французском языке краткую заметку о Лермонтове» (Сушков С. П. Биографический очерк, с. XX).

³³ Такое утверждение мы находим в комментарии к стихотворению «Отступнице» в изд.: Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. Л., 1956, с. 817 (Библиотека поэта. Большая серия). Отметим, что в этот комментарий вкралась, к сожалению, и другие неточности и досадные типографские опечатки: стихотворение Ростопчиной «Простой обзор» напечатано в «Северной пчеле» в августе, а не в июне 1857 г., в номере же от 10 июня напечатано другое ее стихотворение — «Мои критикам» (с датой 25 ноября 1856 г.); статья Герцена в «Колоколе» названа здесь не «Струна...», но «Страница [?] из графской лиры», стихи декабристам пазваны «Послание к стрельцам» (?) вместо «страдальцам» и т. д.

бирь на Е. П. Ростопчину могли оказать какое-либо воздействие материалы о Пушкине, декабристах и о ней самой, опубликованные в лондонских изданиях Герцепа и Огарева. Поводы были иные — очевидно, мы знали бы о них, если бы Дюма сам раскрыл нам содержание той оживленной двухчасовой беседы, которую он вел с нею у постели в ее московском доме с записной книжкой в руках: оба ее письма к Дюма были следствием этой беседы, выполнением добровольно данных ему обещаний. Конечно, ни о каких лондонских изданиях на русском языке сам Дюма знать не мог, но разговор его с Ростопчиной, естественно, мог коснуться декабристов, о которых в России много говорили после амнистии 1856 г., и Пушкина, которого сама Ростопчина все чаще вспоминала именно в последние годы.

По-видимому, воспоминания о Пушкине действовали целительно на те раны, которые получала она в борьбе со своими литературными противниками, и потому она часто призывала его имя. Драматические сцены Ростопчиной «Дочь Дон-Жуана» 1856 г. посвящены «памяти Пушкина»; в своем стихотворном посвящении к этому произведению она писала:

Я знала вас: вы для меня открыли
Свой теплый круг, приветливо родной;
Ребенком вы меня в нем приютили,
Любя меня и детский лепет мой...

На этом основании, обращаясь к тени поэта, она просила о покровительстве и защите:

... пусть труд мой осепится
Загробною защитой твоей...³⁴

Она искренне считала, что «разошлась с новым поколением» потому, что принадлежит миру прошлого, писателям пушкинской поры (стих. «Моим критикам», 1856). Очень ясно выразила она это свое ощущение в письме того же года к М. Погодину, где говорится: «Я вспомнила, что я жила в короткости Пушкина, Крылова, Жуковского, Тургенева, Баратынского, Карамзина, что все эти чистые славы наши любили, хвалили, благословляли меня на путь по следам их... Вот почему презираю я душевно всю теперешнюю литературную сволочь, исключая только некоторых... не принадлежащих ни к сим, ни к оным».³⁵ Цитируя эти слова, В. Ходасевич заметил: «Память несколько изменяет ей, когда она касается отношения с Пушкиным, с которым она была мало знакома».³⁶ Однако о характере их взаимоотношений

³⁴ Паптеон, 1856, кн. 1, с. 2.

³⁵ См.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1900, кн. 14, с. 384.

³⁶ Ходасевич В. Гр. Ростопчина: Ее жизнь и лирика. — Русская мысль, 1916, № 11, отд. II, с. 51.

мы, в сущности, знаем очень мало: касавшиеся их историки русской литературы с давних пор пересказывают преимущественно собственные признания поэтессы по этому поводу.³⁷

Из посвященного П. А. Плетневу стихотворения Ростопчиной «Две встречи» (1841) можно заключить, что в первый раз она видела Пушкина в Москве на Новинском бульваре, по-видимому в 1826—1827 гг., и что вторая ее встреча с поэтом произошла на бале у московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына зимою 1828 г., но эти встречи были мимолетны, а сама поэтесса была еще очень молода. Более примечательными должны были быть встречи, состоявшиеся в конце 1836 г., после того как она вместе с мужем впервые появилась в Петербурге. «Более короткое сближение Евдокии Петровны с Пушкиным, — утверждает ее брат С. П. Сушков, — произошло в зиму 1836 по 1837 г., незадолго до его кончины»; в другом месте своего биографического очерка Ростопчиной он же замечает: «От зимы с 1836 на 1837 г. сохранились в моей памяти неизгладимые воспоминания о происходивших нередко у Ростопчиной обедах, на которые собирались Жуковский, Пушкин, кн. Вяземский, А. И. Тургенев, кн. Одоевский, Плетнев, графы Вьельгорские, Мятлев, Соболевский, гр. Соллогуб».³⁸ Мы ничего не знаем о том, как часто на этих обедах бывал Пушкин; существует лишь одна важная, но ничем не подтвержденная запись П. И. Бартенева: «Пушкин за день до своего смертельного поединка обедал у графини [Е. П. Ростопчиной] и, как рассказывал ее муж, гр. А. Ф. Ростопчин, неоднократно убежал мочить себе голову, до того она у него горела».³⁹ Фактическим подтверждением возможных встреч и бесед Пушкина с Е. П. Ростопчиной может служить то, что в бумагах поэта находились два ее стихотворения, оба датированные 1836 г.; первое из них («Эльбрус и я») было напечатано Пушкиным в пятой книге журнала «Современник» (составлением которой он был занят в декабре 1836 г.); второе стихотворение («Месть») появилось в седьмой книге.⁴⁰ Возможно, что к этой же зиме 1836 г. относится отзыв Пушкина о Е. П. Ростопчиной, занесенный в записки В. И. Анненковой. «Вспоминаю, — пишет мемуаристка, — суждение [Пушкина] на счет графини Ростопчиной. Он отдавал должное ее поэтическому таланту, но говорил, что если пишет она хорошо, то, напротив, говорит очень плохо, опьяняется собственными словами и производит на него впечатление Пифии на треножнике, высказывающей самые противоречивые мысли, совершенно лишённые логики, ради единственного удовольствия

³⁷ См., например: Белецкий А. И. До питання про вплив Пушкіна на російську літературу XIX віку: Пушкін і російські письменниці, 1830—1860. — В кн.: О. С. Пушкін: Статті та матеріали. Київ, 1938, с. 123—125, 131—133; Вересаев В. В. Спутники Пушкина. М., 1937, т. 2, с. 321—322.

³⁸ Сушков С. П. Биографический очерк, с. VIII—IX, XIV.

³⁹ Русский архив, 1905, кн. III, с. 212.

⁴⁰ Рыскин Е. И. Журнал А. С. Пушкина «Современник». 1836—1837: Указатель содержания. М., 1967, с. 14 (№ 82) и с. 19 (№ 126).

спорить».⁴¹ Критическая нотка в этом снисходительном отзыве, если он точно удержан в памяти мемуаристики, представляется нам заслуживающей внимания. По-видимому, знакомство Пушкина с Е. П. Ростопчиной мало чем отличалось от множества других светских знакомств поэта и никогда не походило на душевную близость. Все то, что об этом писала сама Ростопчина начиная со стихотворения «Черновая книга Пушкина» (1838), было ее иллюзией или самообольщением. Во второй половине 50-х годов она особенно часто тепила себя этой иллюзией, наивно поверив в то, что

Он, наш кумир... он, слава русской славы
Благословлял на дальний путь меня...
Песнь женская была ему забавой,
Как новизна... О, не забуду я,
Что Пушкина улыбкой вдохновенной
Был награжден мой простодушный стих...⁴²

Этим можно объяснить и решение Ростопчиной поделиться с А. Дюма «ненапечатанным» стихотворением Пушкина. Беседуя с А. Дюма о русских поэтах, она и ему хотела засвидетельствовать свое близкое знакомство с Пушкиным, простиравшееся до того, что она знала его тайные, запрещенные произведения, которые, по ее словам, никогда не могли быть обнародованы.

4

Наиболее веским доводом в пользу того, что Е. П. Ростопчина не знала текста стихотворения «Во глубине сибирских руд», напечатанного Н. П. Огаревым, и не имела его под рукой, когда писала к А. Дюма, может служить то, что французский перевод стихотворения сделан ею по тексту, отличающемуся от того, который опубликован в «Полярной звезде». Мы можем указать в настоящее время и тот рукописный список этого послания Пушкина, с которого Е. П. Ростопчина делала свой перевод. Этим списком располагала сама Е. П. Ростопчина. Своей рукой она занесла его в принадлежавший ей альбом 1843 г., хранящийся ныне в Центральном архиве литературы и искусства в Москве.⁴³

⁴¹ См.: Андроников Ираклий. Лермонтов: Исследования и заметки. М., 1964, с. 173—174 (статья «Утраченные записки»).

⁴² Ростопчина Е. П. Памяти Пушкина: (посвящение «Дочери Дон Жуана»). — Пантеон, 1856, кн. 1, с. 2.

⁴³ Альбом Е. П. Ростопчиной (*Pensées, poésies, fragments, extraits de mes lectures etc., etc. livre 4, Pétersbourg, 1843, appartenant à la C-sse Eudoxie Rostopchine* (ЦГАЛИ, ф. 733, оп. 1, № 16)). — Ранее этот альбом принадлежал покойному Ю. Н. Верховскому (Новый мир, 1938, № 4, с. 278). Сам Ю. Н. Верховский для своей книги об А. А. Дельвиге (Бар. Дельвиг: Материалы биографические и литературные, собранные Ю. Верховским. Пгр., 1922, с. 98) извлек из этого альбома очень интересную запись, сделанную рукою Е. П. Ростопчиной по рукописным материалам Льва Сергеевича Пушкина («*Copie pour moi par Léon Pouchkine, Moscou 28 septembre 1849*»), об обстоятельствах, при которых в начале 1820-х гг. были

На л. 135 об. этого альбома под общим заголовком «Ненапечатанные стихи Пушкина» помещены: на верхней части листа список стихотворения «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением», на нижней — список интересующего нас послания в два столбца, отделенные друг от друга вертикальной чертой, с цифровым, порядковым обозначением каждой из его четырех строф.

Приводим этот список полностью⁴⁴ (для удобства его описания и сличения с другими списками каждый стих обозначен порядковой цифрой, заключенной в квадратные скобки):

К изгнанникам...

1

- [1] Во глубине Сибирских руд
- [2] Храните гордое терпенье;
- [3] Не пропадут ваш скорбный труд
- [4] И душ высокое стремленье

созданы стихотворения А. С. Пушкина, Ф. Туманского и А. Дельвига на тему о «птичке, выпущенной на волю». В этом же альбоме был найден список экспромта А. С. Грибоедова «По духу времени и вкусу он ненавидел слово раб» по поводу его ареста в 1826 г. в связи с процессом декабристов и с поясняющей это восьмистишие записью владелицы альбома: «Как Грибоедов определял мнение о себе московских дам» (см.: Цявловский М. А. Экспромт А. С. Грибоедова. — Новый мир, 1938, № 4, с. 278; Грибоедов А. С. Соч. / Ред. и прим. Вл. Орлова. Л., 1946, с. 339, 606). На л. 126 альбома после списка элегии А. И. Одоевского «На смерть Грибоедова», написанной в 1829 г. в Читинском остроге, сделана запись Е. П. Ростопчиной (датированная: «Вороново, 19 июня 1852 г.»), в которой идет речь о насильственной смерти русских писателей, в частности Грибоедова и Лермонтова; об А. И. Одоевском здесь говорится, что он, «замешанный в заговоре 14 декабря, был в крепости под судом и приговорен к вечной ссылке на каторжные работы в Сибири, с лишением чинов и дворянства; потом прощен и умер на Кавказе рядовым. К нему относятся прекрасные стихи М. Лермонтова: „Мир праху твоему, мой милый Саша“». Далее идет целое рассуждение о кончине этих поэтов: «Странное сближение: в течение 12 лет сосланный Одоевский пишет на смерть умерщвленного Грибоедова, потом сам умирает и воспет Лермонтовым через два года. Лермонтов погибает, застреленный Мартыновым на дуэли в Пятигорске, на Кавказе, и на смерть его стихи писаны графинею Ростопчиной, как будто для того, чтобы женскою рукою заключить ряд этих жертв насильственной смерти» и т. д. (см.: Майский Ф. Ф. М. Ю. Лермонтов и Карамзины. — В кн.: М. Ю. Лермонтов: Сборник статей и материалов. Ставрополь, 1960, с. 159). На год ранее Ростопчиной ее дядя Н. В. Сушков в своем сборнике «Раут» (М., 1851, с. 8) в свою очередь писал о «странном» сходстве в судьбе троих поэтов: «погибшего преждевременно на Кавказе» «пылкого и восприимчивого Лермонтова», выразившего «скорбь свою бурным ропотом, доходившим до исступления при мысли о Пушкине, который тоже — несколько лет прежде — тосковал о мученической кончине Грибоедова, также рано похищенного смертью в коварной Персии». Неудивительно, что в том же альбоме Ростопчиной находится также список стихотворения Лермонтова «На смерть Пушкина» (л. 110—111) и что она же сообщила его А. Дюма.

⁴⁴ Публикуемый ниже список не назван ни в перечне рукописных списков стихотворения (III, 2, 1137—1139), ни в дополнениях к нему, составленных М. К. Азадовским в его кн. «Статьи о литературе и фольклоре» (М.; Л., 1960, с. 439—440). За указание мне этого списка искренне благодарю В. Э. Вацуру.

2

- [5] Любовь друзей дойдет до вас,
 [6] Проникнет в каторжные норы,
 [7] Как сквозь железные затворы
 [8] Мой скорбный достигает глас.

3

- [9] Несчастью верная сестра
 [10] Надежда, в мрачном подземелье
 [11] Возбудит радость и веселье...
 [12] Придет желанная пора!..

4

- [13] Оковы тяжкие спадут...
 [14] Темницы рухнут, и свобода
 [15] Вас встретит радостно у входа,
 [16] И братья меч вам подадут!..

Нетрудно заметить, что этот список имеет отличия от общепринятого текста и что именно эти отличия сохранены в том французском переводе, который Ростопчина послала Дюма. Одна из самых существенных особенностей указанного списка — та, что в нем стихи 5—8 (все второе четверостишие) поставлены на место стихов 9—12 (третьего четверостишия), т. е. они поменялись местами. Отличия есть и в тексте стихов 5—8 ростопчинского списка, где они читаются:

Любовь друзей дойдет до вас,
 Проникнет в каторжные норы,
 Как сквозь железные затворы
 Мой скорбный достигает глас,

вместо принятого

Любовь и дружество до вас
 Дойдут сквозь мрачные затворы,
 Как в ваши каторжные норы
 Доходит мой свободный глас.

Есть и другие, более мелкие разночтения. Так, в стихе 3 списка стоит «не пропадут» вместо обычного «не пропадет»; в стихе 4 «И душ (вместо «дум») высокое стремлень»; стих 11 списка читается

Возбудит бодрость и веселье.

вместо «разбудит», в стихе 13 «оковы тяжкие спадут» вместо «падут», в стихе 15 «вас примет» вместо «вас встретит», в стихе 16 «И братья меч вам подадут» вместо «отдадут». Все отмеченные особенности отразились не только во французском переводе стихотворения Е. П. Ростопчиной, но и в стихотворном переложении его А. Дюма.

Когда и откуда заимствовала Ростопчина тексты обоих произведений Пушкина, записанные в ее альбом 1843 г., — это мы можем только предполагать. Если этот альбом действительно был заведен в 1843 г., то этот год составляет ту дату, ранее которой

запись в нем не могла быть произведена, но это, конечно, не означает, что Ростопчина не могла знать этих стихотворений раньше или что она не располагала другими их списками. Нет сомнения, что до нас дошли очень немногие рукописи из ее богатого литературного архива и что среди утраченных были списки произведений Пушкина, декабристов и т. д. Мы догадываемся об этом, в частности, по эпитафиям, поставленным ею к ее собственным ранним стихотворениям и заимствованным из ненапечатанных произведений Пушкина и его современников.

Подобные списки Е. П. Ростопчина хранила у себя и позже. Ей принадлежали, например, две тетради 50-х годов со вписанными в них ею самою и другими лицами произведениями русской потаенной музыки. Первая из этих тетрадей озаглавлена «Запрещенные стихотворенья 19 века» (34 л.), вторая (31 л.) заглавия не имеет, но содержит в себе подобные же произведения; на л. 9—10 — ряд произведений Пушкина или ему приписывавшихся преданьем в довольно авторитетных редакциях, среди них его эпитагмы на А. Н. Голицына («Вот Хвостовой покровитель»), на М. С. Воронцова («Полу-милорд, полу-купец»), на Ф. В. Булгарина («Не то беда, что ты поляк»), на Е. С. Огарева («Митрополит, хвастун бесстыдный»), эпитагмы на Карамзина, Аракчеева и т. д. Здесь же находится полный текст «Ариона» Пушкина, список декабристской песни «Ах, где те острова», стихи за подписями Н. Ермолова, С. Соболевского и т. д. Обе тетради принадлежали некогда музею А. Ф. Онегина в Париже, куда перешли от дочери Ростопчиной, а ныне находятся в Пушкинском Доме.⁴⁵ Изучавший их М. А. Цявловский отметил, что вторая из указанных тетрадей заключает в себе «собрание стихотворений такого же содержания, что и тетрадь С. Д. Полторацкого», и что в ней «имеются точные копии стихотворений Пушкина, списанные с тетради С. Д. Полторацкого».⁴⁶ Это указание ошибочно. Сличение указанной тетради Е. П. Ростопчиной с тетрадью С. Д. Полторацкого «Собрание стихотворений разных авторов», которую М. А. Цявловский имеет в виду,⁴⁷ приводит к заключению, что не тетрадь Ростопчиной была списана с тетради Полторацкого, а наоборот, все тексты были переписаны (писарским почерком с поправками рукою С. Д. Полторацкого) из тетради Е. П. Ростопчиной.⁴⁸ Это свидетельствует о том, что даже Полто-

⁴⁵ ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 8, № 114; Ср.: Модзалевский Б. Л. Описание рукописей Пушкина, хранящихся в музее А. Ф. Онегина в Париже. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1909, вып. XII, с. 29.

⁴⁶ Цявловский М. А. Эпитагма Пушкина на Аракчеева. — Литературный критик, 1940, кн. 7—8, с. 219 (перепеч. в кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 32).

⁴⁷ Эта рукопись также находится в ИРЛИ (Рукописный отдел, ф. 244, оп. 8, № 101).

⁴⁸ В этом убеждает, в частности, первое же «безымянное стихотворение» 1854 г., помещенное в начале тетради Ростопчиной с ее собственноручным замечанием, которое С. Д. Полторацкий воспроизвел в своей

рацкий, усерднейший собиратель списков произведений Пушкина, пользовался их коллекцией, собранной Е. П. Ростопчиной. Кстати, именно С. Д. Полторацкий мог сообщать Е. П. Ростопчиной новости из книжек лондонской «Полярной звезды», как один из «тайных корреспондентов» этого издания. С ним Ростопчина сохраняла в 1858 г. довольно дружественные отношения, сообщая ему через Н. В. Сушкова «сердечное рукопожатие» и посвятив ему три строфы своей сатиры («Дом сумасшедших», строфа 35—37), в которой дана в сущности беззлобная и скорее даже сочувственная характеристика этого «премилого чудака», хотя он и помещен «двух миров на перепутье», как не чуравшийся никого из обеих враждующих партий — «славянофилов» и «западников».

В широком кругу светских знакомых Е. П. Ростопчиной было, конечно, много других лиц, знавших Пушкина и обладавших списками его ненапечатанных стихотворений; поэтому трудно дознаться, от кого могла она получить тексты тех двух стихотворений, которые собственноручно записаны ею в альбом 1843 г. Обратим, однако, внимание на то, что оба стихотворения — «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»⁴⁹ и послание в Сибирь («К изгнанникам») — записаны на одном листе, одним почерком и имеют общее заглавие «Ненапечатанные стихотворения Пушкина»: это может свидетельствовать о том, что они списаны одновременно, притом из одного источника — у кого-либо из ее петербургских друзей. Решаясь высказать одно из возможных предположений, что таким лицом мог быть на этот раз С. А. Соболевский, которого Ростопчина хорошо знала и в Петербурге, и в Москве. Публикуя письмо Е. П. Ростопчиной к Соболевскому (от 3 марта 1854 г.), П. И. Бартнев писал в сопроводительной заметке: «Соболевский знал ее в Петербурге, откуда он переселился в Москву около 1854 года».⁵⁰ С. А. Соболевский, этот, по ее словам,

копии, но прибавив имя автора: «Гр. Рост[опчина]». Тетрадь Полторацкого, по его свидетельству, сверена с оригиналом 22 ноября 1857 г.

⁴⁹ Автографа этого стихотворения не сохранилось: впервые по копии М. Е. Борисоглебского оно при содействии П. А. Ефремова было напечатано в «Библиографических записках» (1858, № 7, с. 203; см. III, 2, 1820).

⁵⁰ Графиня Ростопчина и Соболевский. — Русский архив, 1908, кн. III, с. 140—142. — Переселившись в Москву (в 1852 г., а не в 1854 г., как сообщает П. И. Бартнев), Соболевский был постоянным посетителем салона Ростопчиной и посвятил ей мадригал «Ах, зачем вы не бульдог» (см.: Эпиграммы и экспромты С. А. Соболевского. М., 1912, с. 23). По записи Н. В. Путяты, друга и свойственника Баратынского, близко знавшего и Соболевского, и Е. П. Ростопчину, она опубликована очень острая эпиграмма Соболевского на «ее сиятельство Авдотью» и ее стихи на смерть Николая I, по-видимому, не омрачившая добрых отношений эпиграмматиста и поэтессы (см.: Мурановский сборник, 1, с. 75—81). 21-го сентября 1855 г. Е. П. Ростопчина обратилась к С. А. Соболевскому с просьбой написать к «приятелю» его Просперу Мериме: вместе с этим «препроводительным» письмом, которое, как она рассчитывала, будет также и рекомендательным, Ростопчина хотела отправить французскому писателю экземпляр своих сочинений. «Попросите его [Мериме], — писала она Соболевскому, — взять на себя труд написать по поводу моих произведений

сочувственно характеризуем в сатире «Дом сумасшедших» (строфы 38—40), где он помещен рядом с С. Д. Полторацким; литературную репутацию Соболевского как остроумца и арбитра в литературных оценках Ростопчина защищала в письме к Н. В. Сушкову (от 19 июня 1858 г.).⁵¹

Любопытно, что в одной из тетрадей П. И. Бартечева 1850-х годов, где находятся копии стихотворений Пушкина, в то время не напечатанных, рядом, на соседних страницах, именно рукою Соболевского записаны оба интересующих нас стихотворения: «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением» и «Во глубине сибирских руд»⁵² в текстах, близких к списку Ростопчиной. Может быть, случайностью следует объяснить то, что в списке второго стихотворения Соболевский пропустил как раз ту вторую строфу послания, которая Ростопчиной переставлена («Любовь друзей дойдет до вас»): она записана Бартечевым сбоку; возможно, что это объяснялось тем, что Соболевский делал свою запись в тетрадь Бартечева наизусть. У Соболевского все стихотворение дано без деления на строфы; Ростопчина же не зря снабдила их цифровыми обозначениями: при записи текста в два столбца порядок строф легко было нарушить.

Под текстом Соболевский сделал запись, в которой между прочим говорится, что эти стихи он слышал в чтении Пушкина, «а они сочинены им у меня в доме». Нельзя ли отсюда заключить, что Ростопчина знала, где Пушкин написал свое послание, и потому именно сообщила А. Дюма, что оно было написано поэтом у одного из его друзей?⁵³

статью в какой-либо французской Revue. Очень печально, конечно, что иностранцы мало нас знают и не имеют возможности высказываться с надлежащим беспристрастием о наших соотечественниках». Судя по дальнейшей переписке с Мери́ме, Соболевский исполнил просьбу Е. П. Ростопчиной, притом, вероятно, с буквальной точностью, сообщив ему вместо личного ходатайства текст письма Ростопчиной и уклоняясь тем самым от необходимости высказать собственные суждения о ее поэзии. Ответ Мери́ме был скорым, но отрицательным и очень язвительным. Он писал Соболевскому: «Я получил письмо графини Ростопчиной и два тома ее стихов, о которых она просит меня дать отзыв для западных варваров. Я позабыл три из шести слов русского языка, известных мне раньше, а кроме того вы знаете, что я неспособен к суждению о лирических стихах. Все это я ей объяснил в письме» (Виноградов А. К. Мери́ме в письмах к Соболевскому. М., 1928, с. 153). На этом переписке Ростопчиной с Мери́ме при посредничестве Соболевского прервалась. Обмен письмами Ростопчиной с А. Дюма и последующее личное знакомство с нею, напротив, состоялось без помех и, как мы видели, к обоюдной выгоде французского писателя и русской поэтессы.

⁵¹ Русская старина, 1885, март, т. 45, с. 703—704.

⁵² Цявловский М. А. Из Пушкинианы П. И. Бартечева. 1. Тетрадь 1850-х годов. — Летописи Литературного музея. М., 1936, кн. 1, с. 539—540.

⁵³ Это сообщение очень правдоподобно: на квартире С. А. Соболевского (на Собачьей площадке, на углу Борсоголебского переулка, в доме

Во всяком случае вводимый ныне в оборот ростопчинский список послания «Во глубине сибирских руд» заслуживает внимания пушкиноведов-текстологов как имеющий все признаки достоверности и близости к утраченному подлиннику.

А. А. Ренкевич, ныне уничтоженным) Пушкин останавливался 19 декабря 1826 г. и жил до 19 мая 1827 г. (см.: Чулков Н. П. Пушкин-москвич. — В кн.: А. С. Пушкин в Москве. М., 1930, с. 59—64. (Тр. Об-ва по изучению Московской обл., вып. 7). Стихотворение «Во глубине сибирских руд» датируется концом 1826—началом января 1827 г. Пушкин хотел передать его с М. Н. Волконской, но ввиду ее поспешного отъезда вручил жене декабриста Никиты Муравьева Александре Григорьевне, урожденной гр. Чернышевой, также последовавшей за своим мужем в Сибирь.





ЛЕГЕНДА О ПУШКИНЕ И ВАЛЬТЕРЕ ГЕТЕ

1

В пушкинской литературе с давних пор то и дело мелькает указание, что музыкант и композитор Вальтер Гете (1817—1885), пришедшийся родным внуком Вольфгангу Гете, великому немецкому поэту, написал одно или даже несколько произведений на сюжеты произведений Пушкина. Чаще всего встречается указание на оперу Вальтера Гете «Цыганы»; иногда к ней добавляется и другая — «Кавказский пленник». Эти сведения нередко можно найти в различных юбилейных статьях о Пушкине 1937 и 1949 гг. и большей частью без указания источников, из которых почерпнуты данные об этих музыкальных произведениях. Факт представлялся настолько несомненным, установленным и неопровержимым, что он повторялся в то время, без дополнительной проверки, в книгах и статьях самого разнообразного характера — о Пушкине и его значении для истории музыкальной культуры.¹

¹ См., например: Арденс Ник. Пушкин и музыка. — Новый мир, 1936, № 12, с. 283; Нейштадт Вл. Пушкин в мировой литературе. — Красная новь, 1937, № 1, с. 171; та же статья в кн.: Сто лет со дня смерти А. С. Пушкина: Труды Пушкинской сессии Академии наук СССР. М.; Л., 1938, с. 278 и др. Еще в 1899 г., к столетию со дня рождения Пушкина, в юбилейном библиографическом обзоре «Кто впервые принялся переводить А. С. Пушкина и прототип его переводов на 50 языков и наречий мира» (Исторический вестник, 1899, т. LXXVI, № 5, с. 632) составитель П. Д. Драганов упомянул, что «внук Гете пишет оперу из поэмы Пушкина „Цыгане“», приписав это известие Фарнгагену фон Энзе и заимствовав из статьи М. Н. Каткова в «Отечественных записках» 1839 г., но эта неточная ссылка, — как и многие другие указания того же Драганова, — надолго была забыта, неожиданно отозвавшись лишь пятьдесят лет спустя в книге Е. Канн-Новиковой «М. И. Глинка. Новые материалы и документы», вып. 2. М.; Л., 1951, с. 35. Говоря здесь о книге немецкого литератора Г. Кёнига «Literarische Bilder aus Russland» (Stuttgart und Tübingen, 1837), исследовательница заметила: «Внук Гете, музыкант, прочитав книгу Кёнига, приступил к сочинению оперы на сюжет пушкинских Цыган», а о Фарнгагене тут же сказано, будто бы он заявил, что книга Кёнига «в первый раз раскрыла богатства русской словесности, которых до того никто не подозревал». Об источниках этих сведений здесь ничего не говорится.

Откуда идет эта легенда? В № 1 журнала «Современник» за 1839 г. в отделе «Литературные новости» была помещена небольшая статья (без подписи) под заглавием «Переводы русских сочинений на немецкий язык», в которой читаем: «Недавно получили мы из Германии несколько известий, приятных для русского, и спешим сообщить их нашим читателям». Указав на то, что «внимание немцев» преимущественно обратили на себя «двое из наших писателей: *Пушкин* и кн. *Одоевский*», автор продолжал:

«Статья о Пушкине <Фарнгагена фон Энзе> переводится одним живущим в Берлине парижанином на французский язык, вместе с книгой Кёнига о русской литературе.

Вскоре появится также очень удачный немецкий перевод, в стихах, „Бахчисарайского фонтана“. Между тем молодой Гете, внук поэта, посвятивший себя музыке и учащийся ей у Мендельсона Бартольди, выбрал из „Цыган“ сюжет для музыкального произведения; он положил на музыку известную песню „Старый муж“ и всю сцену, в которой Земфира поет ее. Он же одну из своих фантазий назвал: „Кавказский пленник“.²

Вскоре в «Летописи русских журналов за 1839 год», помещенной в «Сыне отечества», появился и отклик на вышеуказанное известие; сославшись на «Литературные новости» «Современника» и выписав отсюда несколько известий — о том, например, что «Фарнгагенова статья о Пушкине произвела сильное впечатление в Берлине» («наравне с современными политическими вопросами занимала несколько дней весь Берлин»), что «внук Гете пишет оперу из поэмы Пушкина „Цыганы“», — автор этого обзора прибавлял: «Последнему известию порадуемся».³

Таким образом, известие, помещенное в «Сыне отечества», только повторяло то, о котором рассказывалось в «Современнике», и с прямой ссылкой на этот журнал как на свой первоисточник. Однако в двух редакциях этого известия есть небольшие, но существенные для нас стилистические отличия: в «Современнике» говорится о песне Земфиры, включенной в одну сцену из «Цыган», музыка к которой была написана Вальтером Гете, в «Сыне отечества» — о целой «опере», музыку которой «пишет» внук Гете.

В обеих указанных статьях сведения о музыкальных произведениях Вальтера Гете, вдохновленных поэмами Пушкина, включались в историю первого знакомства с Пушкиным в Германии. В статье «Современника» уже говорилось о книге Г. Кёнига

² Современник, 1839, т. XIII, № 1, с. 163—164.

³ Сын отечества, 1839, т. VII, № 1; отд. IV, с. 44. — Ссылка на предшествующую статью могла быть дана здесь потому, что первая книжка «Современника» за 1839 г. вышла ранее первой книжки «Сына отечества». Цензурное разрешение «Современника» помечено 21 декабря 1838 г., а «Сына отечества» — 14 января 1839 г. Отсюда, между прочим, ясно, что «Литературные новости», составленные на основании писем, полученных из Германии, не могли быть написаны позже, чем в середине декабря 1838 г.

«Literarische Bilder aus Russland» и об известной статье о Пушкине Фарнгагена фон Энзе (1838), сыгравшей также важную роль в популяризации Пушкина среди немецких читателей конца 30-х годов. При этом, естественно, предполагалось, что и обращение к пушкинским сюжетам Вальтера Гете также связано с работами о Пушкине Кёнига или, в особенности, Фарнгагена. И о Кёниге и о Фарнгагене много сообщалось в русских журналах тех лет в связи с возникшей по поводу этих работ полемикой. В «Сыне отечества», например, в той же книжке, где помещено было известие о Вальтере Гете, был впервые полностью помещен русский перевод статьи Фарнгагена из берлинских «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik».⁴ В приложении к третьему тому «Отечественных записок» за 1839 г. Н. А. Мельгунов поместил свою статью «История одной книги», в которой он изложил историю своего знакомства с Г. Кёнигом и той помощи, которую он оказал немецкому писателю при составлении им его «Русских литературных очерков». Здесь Н. А. Мельгунов вновь сослался на известие «Современника» и «Сына отечества» о том, что «внук Гете пишет оперу из поэмы Пушкина „Цыганы“».⁵ Из статьи Мельгунова это известие попало и в некоторые последующие работы, но с ошибочным утверждением, будто источником информации о музыкальных произведениях Вальтера Гете был Фарнгаген.⁶

Едва ли не первым исследователем, пытавшимся проверить свидетельство «Современника» (которое он считает идущим от Фарнгагена), был В. Вишневский. Он писал по этому поводу: «Это свидетельство (кстати, в немецкой печати появившееся еще в 1838 г.), безусловно, заслуживает внимания. К удивлению, вся позднейшая критика о Вальтере фон Гете ничего не говорит о его „Цыганах“. Во всех музыкальных энциклопедиях, даже в 11-м издании „Musik-Lexikon“ Гуго Римана (Berlin, 1929) в немногих строках о Гете указаны лишь три его оперы: „Рыбачка“, „Болопский пленник“ и „Эльфрида“».⁷

Задаваясь вопросом, чем можно объяснить отсутствие сведений о «Цыганах» Вальтера Гете, В. Вишневский писал далее в этой же статье: «Быть может, опера композитором не была за-

⁴ Сын отечества, 1839, т. VII, № 1, отд. IV, с. 1—37.

⁵ Мельгунов Н. История одной книги. М., 1839, с. 16 (цитируется по отдельному изданию, имеющему цензурное разрешение от 14 марта 1839 г.). — Любопытно отметить, что в том же номере «Отечественных записок» (1839, т. III, № 6), к которому приложена была эта брошюра Н. Мельгунова, в качестве второго приложения помещалась та же статья Фарнгагена о Пушкине (с. 1—36) в переводе М. Н. Каткова и с его предисловием.

⁶ См.: Алексеев М. П. Пушкин на Западе. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. III, с. 127.

⁷ Вишневский В. Пушкин в опере. — Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1940, т. XXIX, с. 67—68. — Едва ли необходимо прибавлять, что на том же недоразумении относительно Фарнгагена основано и указание В. Вишневского, что данное свидетельство появилось «в немецкой печати» в 1838 г.; на самом деле в немецкой периодической печати оно не появилось вовсе.

кончена или осталась неизвестной в рукописи, что вполне вероятно. Даже в специальных трудах немецких критиков о внуке Гете нет ни малейшего намека на его пушкинскую оперу; интересная статья Карла Антона „Карл Лёве как учитель Вальтера фон Гете“,⁸ давая много любопытного и ценного материала для характеристики внука Гете как человека и музыканта, ничего не говорит об интересующем нас сочинении композитора. Тем не менее, полагаясь на достоверность свидетельства современника, мы можем назвать Вальтера фон Гете автором первой в истории оперы на пушкинский сюжет».⁹

Сколько ни любопытно известно, опубликованное впервые в «Современнике», но сообщение о том, что Вальтер Гете написал одну или даже две оперы на пушкинские сюжеты или вдохновлялся последними для своих музыкальных «фантазий», наталкивается на серьезные затруднения.

Директор Национального исследовательского и мемориального института немецкой классической литературы в Веймаре (Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar) Г. Хольцхауер по моей просьбе, направленной ему от имени Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР в Ленинграде, любезно сообщил, что поиски вышеупомянутых опер Вальтера Гете оказались безрезультатными. Они не названы, например, в наиболее подробном библиографическом перечне его музыкальных композиций, составленном в 1927 г.¹⁰ Г. Хольцхауер сообщил далее, что поводом к недоразумению могли послужить заглавия двух опер Вальтера Гете (написанных им между 1840 и 1846 гг.), имеющие внешнее сходство с заглавием двух поэм Пушкина. Одна из них называется «Беглец» («Der Flüchtling»), другая — «Болонский пленник» («Der Gefangene von Bologna»). Последняя представляет собой «трагическую оперу» в трех действиях на текст A. van der Venne (экземпляр его находится в «Музее Гете» в Дюссельдорфе), но первоначально либретто основано было на ином тексте, так как более ранняя рукопись этой оперы озаглавлена: «König Enzo oder der Gefangene von Bologna. Grosse romantische oper in 3 Aufzügen von Adelphi». Приведенную заметку, опубликованную в 1958 г., я кончал следующими словами: «Таким образом, среди сохранившихся произведений Вальтера Гете неизвестно в настоящее время таких, какие могли бы быть связаны с именем Пушкина. В силу этого легенду о „пушкинских операх“ Вальтера Гете приходится, по-видимому, оставить вовсе. Тем не менее „Литературные новости“ „Современника“, основанные на известиях, „полученных из Германии“ в 1838 г., заслуживают все же дальнейшей про-

⁸ Goethe-Jahrbuch. 1913, Bd 34, S. 156—161.

⁹ Вишняевский В. Пушкин в опере, с. 68. — В этой статье названо около девяти десятков опер на тексты и сюжеты Пушкина, и список их открывается «Цыганам» Вальтера Гете (с. 62).

¹⁰ Bergmann A. Die Kompositionen Walther von Goethe. Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. Leipzig, Insel-Verlag, 1927—1928, Bd VII, S. 173 f.

верки. Едва ли эти известия, специально сообщенные в русский журнал, не имели какого-либо основания. Было бы интересно дознаться, кто сообщил их П. А. Плетневу и от кого именно они были получены».

2

Вскоре после того как вышеприведенная заметка была опубликована, известный немецкий музыковед Эрнст Штёкль поместил в научном журнале Йенского университета свою статью, озаглавленную «Объяснение загадки о музыкальном воплощении Вальтером фон Гете произведений Пушкина». ¹¹ Дополнительные разыскания, произведенные им в архиве Гете и Шиллера, привели его к находкам чрезвычайно интересных литературных документов, которые и позволили ему ответить почти на все поставленные вопросы. Пользуясь впервые опубликованными им документами, а также теми данными, которые можно извлечь из новейших исследований по истории русско-немецких литературных отношений в первой трети XIX в., всю историю композиций Вальтера Гете на тексты Пушкина можно представить теперь в нижеследующем виде.

Э. Штёкль в своей статье дал прежде всего точные справки о самом Вальтере Гете и о деятельности его как композитора. Оказалось, например, что даже те сведения, которые сообщаются о нем в известном музыкальном словаре Г. Римана, не точны и что, в частности, приписанной там перу В. Гете оперы «Эльфрида» никогда не существовало. К 1838 г., к которому относятся ходившие в России рассказы об интересе, возникшем у нас к поэмам Пушкина, Вальтер Гете был еще юношей, не достигшим двадцати лет, и музыкальное образование его также еще не закончилось: между 1836—1838 гг., живя в Лейпциге в качестве студента философского факультета Лейпцигского университета, Вальтер Гете действительно брал уроки музыкальной композиции у Феликса Мендельсона-Бартольди; в ноябре 1838 г. В. Гете уехал в Штеттин; музыкальные занятия, которые он вел здесь под руководством видных музыкантов-педагогов, — в частности Карла Лёве, — а затем продолжил в Вене, в начале 40-х годов, в конце концов, превратили Вальтера Гете в композитора-профессионала. Правда, дарование его было не из крупных, кроме того, по свидетельству его современников, он не отличался трудолюбием и склонностью к методическим, усидчивым занятиям; зато, по-видимому, он был прекрасным импровизатором романтического типа: эти навыки были привиты ему Мендельсоном. Среди музыкантов этого времени В. Гете пользовался некоторой известностью: так, Р. Шуман посвятил ему свои ранние «Танцы Давидбюндлеров». В музыкальном наследии В. Гете числятся ныне три

¹¹ Stöckl Ernst. Die Lösung des Rätsels um Walther von Goethes Puškinvertonungen. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller Universität Jena, Jhg. 8 (1958—1959), H. 1, S. 145—160.

оперы и несколько десятков романсов. Женни Герстенберг так характеризует его в своих воспоминаниях: «Стремления Вальтера фон Гете были настоящими, идеальными, прекрасными, талант его — привлекательным; однако его творческая производительность не находилась в надлежащем соотношении с тем, чего так властно требует искусство: тяжелой, неутомимой работы».¹²

Русские путешественники, являвшиеся в Веймар на поклон к престарелому великому поэту Иоганну-Вольфгангу Гете незадолго до его смерти, иногда знакомились также с его внуком Вальтером, тогда еще мальчиком, и его матерью Оттилией. Нам известен, например, рассказ С. П. Шевырева, приехавшего в Веймар в 1829 г. и посетившего старика Гете вместе с кн. З. А. Волконской и Н. М. Рожалиным. Они познакомились тогда и с невесткой Гете, Оттилией, и с ее сыном, Вальтером. Этот рассказ тем интереснее для нас, что в нем Шевырев упоминает также о Пушкине: в тот памятный вечер в гостиной дома Гете в Веймаре о русском поэте завела беседу кн. З. А. Волконская. В своем письме к А. П. Елагиной С. П. Шевырев сообщает об этом следующее: «Оттилия Гете не хороша, даже дурна, но очень умна и любезна; она вся дышет Байроном и сожалеет, что он не успел исполнить своего обещания — посетить Веймар. Гете очень добрый дедушка: когда вошел в комнату внук его, он весь устремился на него. Видно, что и в бессмертии своем, как поэт, он слишком уверен; ему хочется жить и во внуках. Какие огненные глаза! Но они одни и живут в нем, а в прочем он только что бродит по земле <...> С большим участием слушал он, как княгиня говорила ему о том, как ценят его в России. Оттилия слыхала о Пушкине, но не могла сказать его имени, потому что имена русские жесткие даже и для немецкого уха».¹³ Девять лет спустя С. П. Шевырев снова побывал в Веймаре и ему живо вспомнилось тогда его первое посещение гостиной в доме Гете, когда еще был жив его хозяин, а хозяйкой являлась его невестка — Оттилия Гете. В своих «Дорожных эскизах», посвященных его путешествию по Германии 1838 г., Шевырев вспоминал об авторе «Фауста», за которым он наблюдал за девять лет перед тем в его гостиной: «Лицо его оживилось и просияло выразительною улыбкою; когда вошел его маленький внук, сын Оттилии, хорошенький мальчик, который теперь (1838) вырос и обещает быть замечательным музыкантом, Гете устремил глаза на своего внука, как на свое будущее, и был рад, что мог рекомендовать его гостям». И далее: «Разговор сначала шел очень медленно, тем более что Гете говорил на французском языке, который затруднял его. Оттилия, вольнее им владевшая, оживляла беседу и, я помню, говорила о произведениях Пушкина и особенно о его „Кавказском пленнике“, который узнала она через перевод, сообщенный ей

¹² Gerstenbergk Jenny. Otilie von Goethe und ihre Söhne, Walther und Wolf, in Briefen und persönliche Erinnerungen. Stuttgart, 1901, S. 28.

¹³ Русский архив, 1879, кн. I, с. 139.

князем Э[лимом] М[ещерским]. Речь коснулась и Байрона — много сожалела Оттилия о том, что он не сдержал данного свекру ее слова и не приехал в Веймар». ¹⁴

Как видим, оба этих рассказа Шевырева о посещении им Гете в 1829 г. кое в чем дополняют друг друга, хотя и говорят, собственно, об одном и том же: о любви Гете к его внуку, Вальтеру, о матери Вальтера — Оттилии как о любезной хозяйке салона в веймарском доме Гете, о том, что беседа с путешественниками шла здесь, в частности, о русской литературе. В «Дорожных эскизах» Шевырев уточняет, что разговор тогда коснулся также «Кавказского пленника» Пушкина и что Оттилия Гете знала эту поэму благодаря переводу, доставленному ей кн. Элимом Мещерским.

Свидетельства Шевырева давно и хорошо прокомментированы. Мы знаем теперь, что Оттилия получила от Мещерского, скорее всего, немецкий перевод «Кавказского пленника», сделанный А. Вульффертом. ¹⁵ Тот же Э. Мещерский, побывавший у Гете в Веймаре в 1829 г., мог и лично рассказывать ей о Пушкине; известно, что еще в 1830 г. старик Гете заинтересовался французской брошюрой Э. Мещерского «О русской литературе» (Marseille, 1830), читал ее, как об этом свидетельствует отметка его дневника (от 3 сентября 1830 г.), и, следовательно, познакомился с теми ее страницами, которые Мещерским посвящены были Пушкину. ¹⁶ Все это говорит нам о том, что имя Пушкина уже было известно самому старику Гете, который знал его от многих русских путешественников (в том числе от Жуковского, Кюхельбекера и других), ¹⁷ еще более — Оттилии Гете; от нее же имя русского поэта могли слышать и ее сыновья.

¹⁴ Шевырев С. П. Дорожные эскизы из Франкфурта в Берлин. — Отечественные записки, 1839, т. III, отд. III, с. 116—117; см. также: Дурьлин С. Русские писатели у Гете в Веймаре. — В кн.: Литературное наследство. М., 1932, т. 4—6, с. 465—466.

¹⁵ Der Berggefangene von Alexander Puschkin aus dem russischen übersetzt. СПб., 1823. — Стихотворный перевод А. Вульфферта (однако без имени переводчика; к книге приложены ноты Л. Маурета к «Черкесской песне»). В руках Оттилии могла быть известная контрафакция — тот же перевод, но с воспроизведением подлинного русского текста, выпущенный Е. Ольдекопом — издателем петербургской немецкой газеты и цензором (СПб., 1824). Ср.: Гессен С. Я. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л., 1930, с. 42—49; Raab Harald. Die Lyrik Puškins in Deutschland: (1820—1870). Berlin, 1964, S. 29.

¹⁶ Дурьлин С. Русские писатели у Гете в Веймаре, с. 236 (здесь же подробно о пребывании в Веймаре Э. Мещерского, с. 222—235). Ср. также: Wahl H. Russische Weisheitsfreunde bei Goethe und im Goethehaus (1829 und 1838). — In: Goethe Vierteljahresschrift der Goethe-Gesellschaft, 1937, Bd 2, S. 185.

¹⁷ Raab Harald. Die Lyrik Puškins in Deutschland, S. 26—27; Дурьлин С. Русские писатели у Гете в Веймаре; Fahrten nach Weimar. Slawische Gäste bei Goethe. Weimar, 1958; Propper M. v. Goethe und Puschkin. Wahrheit und Legende. — In: Goethe-Jahrbuch d. Goethe-Gesellschaft. — In: Neue Folge, 1951, Bd 12, S. 218—259; Reissner E. Deutschland und die russische Literatur. 1800—1848. Berlin, 1970, S. 264—265, и др.

Еще громче звучало имя Пушкина в доме Гете после трагической гибели русского поэта, когда его стали чаще упоминать в немецкой печати. К самому концу 30-х годов в Германии появилось также несколько русских литераторов, сыгравших тогда немалую роль в популяризации русского языка и литературы в немецких землях. Одним из них был близкий друг Н. В. Станкевича и Т. Н. Грановского, впоследствии видный деятель в области народного просвещения, Януарий Михайлович Неверов (1810—1893), живший в Германии между маем 1837 и летом 1839 г. Незадолго до своего отъезда в Берлин в письме к Грановскому (24 января 1837 г.), уже находившемуся там, Неверов сообщил своему другу о гибели Пушкина: «Пожалей, милый Грановский, со всею Россией о важной потере: наш поэт, наш единоплеменный поэт Пушкин не существует более. Сегодня в три часа после обеда он окончил жизнь — и какую жизнь, бурную, славную». ¹⁸ Это письмо Неверова, в котором подробно описаны последние дни Пушкина, его дуэль и смерть, М. А. Цявловский считал «прекрасным по своей простоте», полагая, что «среди многочисленных писем современников об этом событии письмо Неверова займет одно из видных мест». ¹⁹ Вскоре после этого Неверов отправился в Берлин, заручившись рекомендательными письмами от своих влиятельных московских и петербургских друзей. Одно из таких писем было от Н. А. Мельгунова: Неверов получил его по совету С. П. Шевырева, чтобы представиться Фарнгагену фон Энзе, «который едва ли не есть средоточие литераторов берлинских». ²⁰

Учась в берлинском университете, Я. М. Неверов в свободное время совершил также поездку по Германии. В начале 1838 г. вместе с Н. В. Станкевичем Неверов побывал в Веймаре. В результате этого путешествия им написан был очерк, посвященный описанию дома Гете и напечатанный в петербургском журнале в следующем 1839 г. «Это было жилище Гете, — писал Неверов; — в нем живет теперь вдова его сына, г-жа Оттилия фон Гете, с своими детьми <...> Будучи рекомендован одним моим лейпцигским знакомым к г-же Гете, я получил от нее приглашение на вечер, который она умела сделать для иностранца чрезвычайно замечательным, собрав небольшое, но чрезвычайно интересное общество и одушевив беседу рассказами о своем великом родственнике. Г-жа Гете занимает только одну часть дома; большая же половина, в которой жил сам поэт и в которой расположена его библиотека и домашние музеи, заперта и находится в непосредственном ведении опеки, потому что внуки и наследники Гете, дети г-жи Оттилии Гете, еще несовершеннолетние, и старшему, который учится в Лейпциге музыке под руководством Мендельсона-Бартольди и, как говорят, оказывает сильный талант, не более 17 лет». Опекуны, к которым обратился Неверов,

¹⁸ Московский пушкинист, М., 1927, вып. I, с. 42—46.

¹⁹ Там же, с. 5.

²⁰ Русский архив, 1909, т. II, № 5, с. 93—94.

по его словам, «были так благосклонны, что без всяких затруднений дозволили осмотреть это святилище, в котором величайший гений Германии совершил знаменитейшие труды и окончил свою славную жизнь».²¹ Дополнительные подробности об этом посещении веймарского дома Гете Неверовым сообщил его спутник — Н. В. Станкевич в письме к Л. А. Бакуниной от 24/12 июня 1838 г., в котором шла речь, в частности, о вечере у Отtilии Гете, на который она пригласила русских путешественников.²² К сожалению, Неверов не сообщил имя того своего «лейпцигского знакомого», который дал ему рекомендательное письмо в Веймар к Отtilии Гете; назвать его затруднительно, так как Неверов в это время имел уже много знакомых в Германии и состоял в дружеских отношениях со многими немецкими литераторами, учеными, деятелями искусства. Очень возможно, что интересующим нас «лейпцигским знакомым» общительного Неверова был Мендельсон-Бартольди: у этого знаменитого композитора сам Неверов брал уроки музыкальной теории, и существует известие, что именно у Мендельсона Неверов встретился с Вальтером Гете.²³ Не менее вероятно, что автором рекомендательного письма в Веймар, полученного Неверовым, был Фарнгаген фон Энзе или кто-либо из его ближайших друзей.

С Фарнгагеном Неверов познакомился в апреле 1837 г. в берлинском кружке Н. Г. и Е. П. Фроловых;²⁴ в гостиниой Фроловых Неверов встречался также с Мендельсоном-Бартольди, с Беттиной фон Арним и многими другими тогдашними немецкими знаменитостями. Известно, что Неверов учил Фарнгагена русскому языку и познакомил его с русскими текстами произведений Пушкина. В письме из Берлина от 25 ноября 1838 г. к В. Ф. Одоевскому Неверов сообщал о своих дружеских связях с Фарнгагеном и о том любопытстве, которое в Германии вызывали к себе произведения русских литераторов. Все это письмо представляет для нас особый интерес, так как оно имеет ближайшее отношение к интересующим нас композициям Вальтера Гете на пушкинские темы. «Я знаю в Берлине до десяти литераторов, хорошо знающих по-русски, которые охотно бы знакомили немцев с русской литературой, если б имели книги и журналы, но их достать здесь ужасно трудно. Фарнгаген хочет выписывать для себя какой-нибудь журнал и просил моего совета и выбора <...> Не знаю, обратили ли вы внимание на статью его о Пушкине в октябрьском номере *Jahrbücher der wissenschaftlichen Kritik* — она возбудила здесь живой интерес как содержанием своим, так в особенности

²¹ Неверов Я. Дом Гете в Веймаре: (Из путевых записок). — Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1839 (1 января), № 1, с. 7—11.

²² Станкевич Н. В. Переписка. М., 1914, с. 568. — О другой встрече Станкевича с Отtilией Гете см. здесь же, с. 679.

²³ Данилевский Р. Ю. Молодая Германия и русская литература. Л., 1969, с. 78.

²⁴ Stöckl Ernst. Die Lösung des Rätsels... S. 150.

именем Фарнгагена, и русская литература паряду с современными политическими вопросами составляла на несколько недель предмет общего разговора. Забавно, что профессор Ганс,²⁵ одна из остроумнейших голов между тяжеловесными немецкими учеными, высказал подозрение, что это написано не Фарнгагеном, а русским, и именно мною, — он знает, что я хорошо знаком с Фарнгагеном, так что мне надобно было оправдываться. Главное дело в том, что Ганс на своих лекциях, на которые ежедневно собирается более 400 человек всех званий, возрастов и наций, жарко нападает на славянские народы и старается доказать, что они способны только воспринимать пассивно, ничего не производя, а потому все его последователи никак не хотели верить, чтобы русские могли иметь поэта с европейским значением, и думали, что статья написана русским. Со всем тем она чрезвычайно заинтересовала здесь всех. Один мой знакомый француз перевел ее и теперь переводит книгу Кёнига с изменениями, в которых я обещался помочь ему.²⁶ Если вы, князь, имете переписку с Мельгуновым или по крайней мере знаете, где он, то потрудитесь написать ему об этом, я охотно бы писал к нему сам, но не знаю, где он. Еще несколько слов о Пушкине: скоро явится очень удачный перевод в стихах „Бахчисарайского фонтана“.²⁷ Гете, внук поэта, посвятивший себя музыке и учащийся у Мендельсона-Бартольди, положил на музыку песню Земфиры и всю эту сцену; потом одну из своих музыкальных фантазий назвал „Кавказский пленник“, — но мне не удалось слышать ни того, ни другого».²⁸

Основываясь на этом письме, и в частности на приведенных выше последних его строках, можно было бы утверждать, во всяком случае, что легенда о пушкинских композициях В. Гете имела достаточное основание: такой осведомленный свидетель, каким являлся Я. М. Неверов, конечно, не стал бы выдумывать небылицу. Поэтому Э. Штёкль был безусловно прав, когда он не удовлетворился приведенным свидетельством, а продолжал искать дальше какие-нибудь новые известия об этом в бумагах веймарского архива. И такие свидетельства здесь действительно нашлись — в письмах Альвины Фромманн того же 1838 г.

Альвина Фромманн (Alwine Frommann, 1800—1875) — лицо, хорошо известное биографам Гете. Она была преданным другом

²⁵ Э. Ганс (Eduard Gans, 1798—1839), профессор истории и права в Берлинском университете; умер 4 мая 1839 г. Я. Неверов напечатал его некролог в «Отечественных записках» (1839, т. IV, отд. II, с. 39—52).

²⁶ В своих воспоминаниях о Т. Н. Грановском (Русская старина, 1880, т. XXVII, с. 749) Неверов называет этого француза Piaget.

²⁷ Вероятно, речь идет о переводе Ф. Тица, появившемся в декабре этого года под заглавием: Die Quelle von Bactschisarai. Poetische Erzählung von Friedrich Tietz. Blätter zur Kunde des Literatur des Auslandes, 1838, N 113—116. См.: Stöckl Ernst. Die Lösung des Rätsels..., S. 156.

²⁸ Из переписки кн. В. Ф. Одоевского. — Русская старина, 1904, т. VII, с. 157—159.

его семьи, близкой приятельницей Оттилии и ее сыновей.²⁹ Дочь пенского книгопродавца и художника Карла-Фридриха Фромманна, Альвина после смерти отца в 1837 г. жила около Берлина, занимая должность при дворе прусской принцессы и общаясь с литераторами и музыкантами, в центре которых находился Фарнгаген фон Энзе. В своей рукописной автобиографии (хранящейся со всеми ее бумагами в том же архиве Гете—Шиллера в Веймаре), она рассказывает, что летом 1838 г. Фарнгаген часто бывал у нее, «всегда с книгами, любопытными новостями и письмами», она же, по ее собственному свидетельству, представляла для него интерес как друг семьи Гете, как своего рода осколок веймарского быта гетевских времен («ein Stück Weimar-Goethe»).³⁰ Первый период жизни Альвины Фромманн под Берлином совпал со временем усиленных занятий Фарнгагена русским языком и его увлечения Пушкиным. Через Фарнгагена она познакомилась также с русскими, находившимися тогда в Берлине; Э. Штёкль называет среди них Я. М. Неверова, Н. Г. Фролова, Н. П. Огарева.³¹ Очевидно, под воздействием Фарнгагена она стала изучать русский язык, через посредство своего приятеля узнала поэзию Пушкина и «к тому же столь хорошо, — замечает по этому поводу Э. Штёкль, — что она могла познакомить и увлечь ею посетившего Альвину в октябре 1838 г. Вальтера Гете».³²

Альвина Фромманн пишет Вальтеру (из Neu-Schöneberg, близ Берлина, 24 октября 1838 г.): «Только что закончила переписку для тебя „Пленника“ («des Gefangenen»), дорогой Вальтер, и очень боюсь, что ты не сможешь это прочесть: получились своего рода иероглифы, и тебе придется призвать на помощь весь присущий тебе дар разгадывать (Divinationsgabe); и все же я представляю себе, что ты посмотришь на это приветливо, потому что это первое, за что я взялась, еще лежа и выздоравливая». Что касается самого «знаменитого произведения («fabelhafte Schrift»), то «ты его сюжетом, вероятно, не воспользуешься, хотя Вольф, или твоя мать, или, в конце концов, ты сам могли бы наилучшим образом переделать Пушкина (obwohl Wolf oder Deine Mutter oder endlich Du selbst vielleicht am besten es nach Puschkin umschaffen könnten). Я посылаю тебе его в память о том утре <...> Подумай теперь о беде, которую может натворить одно слово: я пишу Фарнгагену, что ты был у меня и что мы с тобой выбрали одну сцену из „Цыган“ (eine Szene von den Zigeunern), с которой он познакомил меня вместе со всеми этими русскими вещами (mit diesen russischen Sachen bekannt gemacht), но он [Фарнгаген] воспринял это гораздо серьезнее и пишет мне, со своей сто-

²⁹ Э. Штёкль ссылается на оставшуюся для меня недоступной статью: Vogel Hermann. Allwina Frommann, eine treue Freundin des Goetheschen Hauses. — In: Goethe Jahrbuch... — Neue Folge, 1938, Bd III.

³⁰ Stöckl Ernst. Die Lösung des Rätsels..., S. 148.

³¹ Ibid., S. 150.

³² Ibid. — Э. Штёкль впервые публикует это письмо по подлиннику, хранящемуся в Веймаре, и приводит снимок с его текста (Ibid., S. 148—149).

роны: „Мой русский друг, г. Неверов, в полном восторге (ganz entzückt) от того, что Вальтер Гете положил на музыку что-то (etwas) из Пушкина, и жаждет увидеть его сочинение, чтобы сравнить его с уже существующими“. «Так возникают слухи», — пишет Альвина далее в этом письме и прибавляет, что она чисто-сердечно рассказала ему всю эту историю на тот случай, если какой-нибудь «залетный русский путешественник» («durchfliegender Russe») спросит его об его сочинении «Цыгане»; Вальтер будет знать, «как и где я заставила себя потешаться над этим»; «„звуки“ давно рассеялись в воздухе, а то же, что от них осталось в моей душе, то г. Неверов не сможет положить на ноты!!»³³

Это письмо проясняет многое в интересующей нас легенде, однако в нем остаются все же темные места, недостаточно отчетливые подробности. В дневниках Альвины Фромманн записи, относящиеся к этому времени (октябрь 1838 г.), по сообщению Э. Штёкля, отсутствуют; многое стало бы нам более понятным, если бы перед нами был полный текст того письма Альвины к Фарнгагену, из которого она сама привела несколько строк (о Неверове) в цитированном выше письме к Вальтеру Гете. К сожалению, все письма Альвины, хранившиеся в большой эпистолярной коллекции Фарнгагена, в настоящее время, вероятно, утрачены,³⁴ тем не менее Э. Штёклю все же удалось отыскать небольшой отрывок из интересующего нас письма ее к Фарнгагену, давно опубликованный в забытых мемуарах.³⁵ Вот что ответила Альвина Фромманн Фарнгагену в ответ на переданную через него просьбу Неверова (дата этого письма точно неизвестна, но оно безусловно относится к последним числам октября или началу ноября 1838 г.): «Музыку Вальтера было бы трудно вам переслать: я стояла перед ним и читала, он смотрел в книгу, мы смотрели друг на друга, он пел, и все это улетучилось. Это не занесено ни на какую бумагу, и хотя это могло бы выглядеть восхитительно, это было не обработано. К тому же он [Вальтер] еще очень робок и ничего не хочет издавать. Я обещала Вальтеру „Пленника“; тема эта очень его захватила еще по моему изложению, так что я обещала вскоре послать ему текст: без него он не мог писать музыку, тем не менее он мечтает либо сократить его, либо извлечь отсюда сюжет „по Пушкину“. Все это может не состояться, но он должен его [текст Пушкина] иметь, в память о том утре, когда он стал для меня еще дороже».

Вот, следовательно, и разгадка всей интересующей нас легенды. Речь, как видим, шла (притом только в *русской* печати) лишь о замыслах оперы на пушкинский сюжет, которые появились у В. Гете в 1838 г. под воздействием Альвины Фромманн,

³³ Stöckl Ernst. Die Lösung des Rätsels... S. 148.

³⁴ Ibid., Anm. 43.

³⁵ См.: Gaederitz Karl-Theodor. Goethe-Erinnerungen einer Jenenserin. Nord und Süd. Eine deutsche Monatschrift. Breslau, 1889, Bd 51, S. 382.

а также увлечения Пушкиным Фарнгагена фон Энзе. Но такая опера написана не была, и от нее не осталось никаких следов. В памяти Альвины осталась, однако, вдохновенная импровизация В. Гете, создавшаяся в то утро, когда он вместе с ней читал «Кавказского пленника» Пушкина или «Цыган».

Таким образом, Вальтера Гете не следует числить среди композиторов, написавших оперы на тексты произведений Пушкина,³⁶ но вся рассказанная легенда может быть удержана в пушкиноведении как весьма характерный эпизод в истории распространения известности Пушкина в Германии в первой половине XIX в.

³⁶ Как известно, количество зарубежных композиторов, написавших оперы на тексты Пушкина, довольно велико; среди создателей их числятся Верди («Борис Годунов»), Галеви («Пиковая дама»), Шабрие («Капитанская дочка»), Сакки, Ферретто, Леонкавалло (в разное время издавшие три оперы на основе пушкинских «Цыган») и др. Перечень их см. в статье: Stöckl Ernst. Puschkin. — In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. v. Friedrich Blume. Kassel; Basel; London; New York, 1966, Sp. 1777—1784.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

Ниже приводится перечень тех изданий, в которых были впервые опубликованы собранные в настоящей книге исследования и статьи.

1

Пушкин и наука его времени. Печатается по тексту, опубликованному в издании: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956, т. I, с. 9—125; с поправками и дополнениями.

2

Пушкин и проблема «вечного мира». Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Русская литература» (1958, № 3, с. 3—39); с поправками и дополнениями.

3

Ремарка Пушкина «Народ безмолвствует». Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Русская литература» (1967, № 2, с. 36—58); с поправками и дополнениями.

4

Пушкин и Шекспир. Печатается по тексту, опубликованному в кн.: Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965, с. 162—200. — Сокращенный вариант напечатан на немецком языке под загл: Shakespeare und Pushin. — In: Shakespeare Jahrbuch hrsg. im Auftrage der deutschen Shakespeare-Gesellschaft von Anselm Schlösser und Armin-Gerd Kuckhoff. Weimar, 1968, Bd 104, S. 141—174.

5

Заметки о «Гавриилиаде». Заметка первая («По поводу издания В. Брюсова») печатается по тексту, опубликованному в журнале «Родная земля» (Киев, 1919, № 2, отд. II, с. 1—11). Вторая заметка печатается по тексту, впервые опубликованному в сб. Одесского Дома ученых: Пушкин: Статьи и материалы. Одесса, 1925, вып. I, с. 20—31; «Введение» к этим заметкам написано специально для настоящего издания.

6

Споры о стихотворении «Роза». Печатается по тексту, озаглавленному «Еще раз о стихотворении Пушкина „Роза“» в журнале «Русская литература» (1968, № 3, с. 92—115) в качестве ответа на статью У. Викери «К вопросу о замысле „Розы“ Пушкина» в том же номере журнала (с. 82—91); в настоящем издании статья пополнена первой главой (с. 326—339), написанной заново.

7

Пушкин и Чосер. Эта статья впервые напечатана на английском языке под заглавием «Pushkin and Chaucer» (Науч. бюл. ЛГУ, 1945, № 3, с. 43—46); здесь публикуется в расширенной редакции.

8

К источникам «Подражаний древним» Пушкина. Печатается по тексту, опубликованному в кн.: Временник Пушкинской комиссии. (1962). М.; Л., 1963, с. 20—28.

9

Запись Пушкина о «Трагедии, составленной из азбуки французской». Печатается по тексту, опубликованному в кн.: Проблемы сравнительной филологии: Сборник статей к 70-летию члена-корр. АН СССР В. М. Жирмунского. М.; Л., 1964, с. 293—302.

10

К тексту стихотворения «Во глубине сибирских руд». Печатается по тексту, опубликованному в кн.: Временник Пушкинской комиссии. (1969). Л., 1971, с. 20—42.

11

Легенда о Пушкине и Вальтере Гете. Печатается по тексту, впервые опубликованному в кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958, т. II, с. 391—393; здесь публикуется в расширенной редакции.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА

- Александр Радищев 246
Александрю (Утихла брань племен)
208—209
Анджело 288—291
Андрей Шенье (Меж тем как изум-
ленный мир) 246
Арап Петра Великого 281
Арион (Нас было много на челне)
440
- Батюшкову (В пещерах Гелико-
на) 209
Бахчисарайский фонтан 318, 445, 453
Беги, сокройся от очей — см. Воль-
ность. Ода
Бова (отрывок из поэмы) 320
Бог веселый винограда 404
Бог помочь вам, друзья мои — см.
19 октября 1827
Борис Годунов 55, 221—252, 257—
258, 262—270, 273, 283, 285, 456
Бородинская годовщина (Великий
день Бородина) 233
Братья разбойники 318
Была пора: наш праздник молодой
81, 208
- Вадим (поэма) 318
Введение в историю французской
революции 245
Великий день Бородина — см. Боро-
динская годовщина
В зрелой словесности приходит вре-
мя — см. О поэтическом слоге
Виноград (Не стапу я жалеть о ро-
зах) 360
Вишня (Румяпой зарею покрылся
восток) 320
В лесах, во мраке ночи праздной —
см. Соловей и кукушка
Во глубине сибирских руд 421—443
- Возможно ль? вместо роз, Амуром
насажденных — см. Красавице, ко-
торая нюхала табак
Возражение на статью Кюхельбекера
в «Мнемозине» — см. О вдохно-
вении и восторге
Война (Война! подняты наконец)
212
Вольность. Ода (Беги, сокройся от
очей) 426
Воспоминания в Царском селе (На-
вис покров угрюмой ночи) 344,
360, 379
Вот Хвостовой покровитель — см.
На кн. А. Н. Голицына
В пещерах Геликона — см. Батюш-
кову
Все в таинственном молчанье — см.
Гроб Анакреона
Все известно, что французы... (за-
метка) 257
Все миновалось! — см. Измены
В стране, где я забыл тревоги преж-
них лет — см. Чаадаеву
В те дни, когда в садах Лицея (ЕО,
8, 1) 98
- Гавриилиада 293—336, 370
Где наша роза — см. Роза
Городок 45, 184, 318, 320, 339
Граф Нулин 262, 270—272, 393, 400
Гроб Анакреона (Все в таинствен-
ном молчанье) 355
Гробовщик 283
Грустен и весел вхожу, ваятель —
см. Художнику
- Давыдову В. Л. (Меж тем как гене-
рал Орлов) 318
Движенце (Движенья нет, сказал
мудрец брататый) 65—81
19 октября (1825) (Роняет лес баг-
ряный свой убор) 205

- 19 октября 1827 (Бог помочь вам, друзья мои) 426
 Джон Теннер 152
 Дневники 152, 319
 Домик в Коломне 48
 Дорожные жалобы (Долго ль мне гулять на свете) 129
 Дружба (Что дружба? Легкий пыл похмелья) 65—66
- Евгений Онегин 20, 24, 38, 41, 48, 63, 65, 86, 114, 115, 118, 129—130, 133—134, 136—138, 140—143, 145—146, 149, 184—185, 211, 244, 255, 264, 361, 367, 411—412
 Египетские ночи 256, 281, 288
 Есть роза дивная: она 360
- Жил на свете рыцарь бедный** 370
- Заздравный кубок (Кубок янтарный полон давно) 349
 Заметка о «Графе Нулине» 270
 Заметки и афоризмы разных годов 274—275, 411
 Зачем из облака выходишь — см. Месяц
 Зачем твой дивный карандаш — см. To Dawe esq̄
- Из Вольтера (Чосера) (Короче дни, а ночи доле, Из Рима ехал он домой) 396—398
 Из Ксенофана Колофонского (Чистый лоснится пол...) 403, 405, 408—410
 Измены (Все миновалось!) 357
 Из Пиндемонти (Не дорого ценю я громкие права) 284
 Из письма В. Л. Пушкину (Христос воскрес, питомец Феба!) 209
 Из Рима ехал он домой — см. Из Вольтера
 История Петра 244
 И ты, любезный друг, оставил — см. К Н. Г. Ломоносову
- К**** (Ты, богоматерь, нет сомпежья) 300, 317
К*** (Я помню чудное мгновенье) 396
 Кавказский пленник 185, 298, 318, 444—445, 449—450, 453—456
 Калмычке (Прощай, любезная калмычка!) 284
 Каменный гость 285
- Капитанская дочка 196, 456
 Кинжал (Лемносский бог тебя сковал) 38
 К морю (Прощай, свободная стихия!) 76
 К Н. Г. Ломоносову (И ты, любезный друг, оставил) 348
 К Огаревой (Митрополит, хвостун бесстыдный) 440
 Козак (Раз, полунощной порою) 348
 Короче дни, а ночи доле — см. Из Вольтера
 Красавице, которая нюхала табак (Возможно ль? вместо роз) 27
 Кубок янтарный полон давно — см. Заздравный кубок
- Леда (Средь темной рощины) 349
 Лемносский бог тебя сковал — см. Кинжал
 Лишь розы увядают 360
 Любви, надежды, тихой славы — см. Чаадаеву
 Любовь одна — веселье жизни холодной 317
- Мадригал (Нет ни в чем вам благодати) 65—66
 Маленькие трагедии 285
 Медный всадник 146, 218, 271, 343, 426
 Меж тем как генерал Орлов — см. В. Л. Давыдову
 Меж тем как изумленный мир — см. Андрей Шенье
 Месяц (Зачем из облака выходишь) 355
 Мечтатель (По небу крадется луна) 209, 345
 Митрополит, хвостун бесстыдный — см. К Огаревой
 Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности... 59, 113
 Монах (Хочу воспеть, как дух нечистый ада) 26, 365
 Моя родословная (Смеясь жестоко над собратом) 426
- Навис покров угрюмой ночи — см. Воспоминания в Царском селе
 На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г. — см. Александру
 На Воронцова (Полу-милорд, полукупец) 440
 Надпись к беседке (С благоговеющей душой) 355
 На кн. А. Н. Голицына (Вот Хвостовой покровитель) 440

- Наполеон (Чудесный жребий совершил) 181
- Нас было много на челне — см. Арион
- На холмах Грузии лежит ночная мгла 423
- Не дорого ценю я громкие права — см. Из Пиндемонти
- Несколько московских литераторов 98
- Не стану я жалеть о розах — см. Виноград
- Нет ни в чем вам благодати — см. Мадригал
- Не то беда, что ты поляк — см. Эпиграмма
- Нет, я не дорожу мятежным наслаждением 438, 441—442
- О вдохновении и восторге 42—44
- О вечном мире 174—220
- О дева-роза, я в оковах 359
- Однажды, странствуя среди долины дикой — см. Странник
- О драме 278
- О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая» 258, 406
- О народной драме и драме «Марфа Посадница» 260, 274
- О народности в литературе 274
- О ничтожестве литературы русской 184, 246, 393
- Он между нами жил 144
- О поэтическом слогe 274
- О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова 58, 60, 406
- Опровержение на критики 109, 393
- О прозе 48
- О романах Вальтера Скотта 274
- О «Ромео и Джульете» Шекспира 272—274
- О сколько нам открытий чудных 95—98
- Отрывки из писем, мысли и замечания 42—44, 184, 274
- Отцы-пустынники и жены непорочны 319
- О французской словесности 359
- Пиковая дама 23, 110—125, 145, 456
- Платоническая любовь (Я знаю, Лидинька, мой друг) 317, 380
- Поверь: когда слепней и комаров — см. Совет
- Под каким созвездием 62
- Подражания древним 403—410
- Подражания Корану 64
- Поедем, я готов... 88, 95, 98
- Полтава 280, 343
- Полу-милорд, полу-купец — см. На Воронцова
- По небу крадется луна — см. Мечтатель
- Послание Лиде (Тебе, наперсница Венеры) 75, 355
- Прощай, любезная калмычка! — см. Калмычке
- Прощай, свободная стихия! — см. К морю
- Пускай поэт с кадилницей наемной — см. Сон. Отрывок
- Путешествие из Москвы в Петербург 58—60, 114, 126—129, 137, 164—165, 196
- Раз, полночной порою — см. Козак
- Редет облаков летучая гряда 61
- Роза (Где наша роза) 337—387
- Роняет лес багряный свой убор — см. 19 октября (1825)
- Румяной зарею покрылся восток — см. Вишня
- Русалка (драма) 276, 287—288
- Руслан и Людмила 118, 353, 401—402
- Сафо (Счастливей юноша, ты всем меня пленил) 404—405
- С благоговейною душой — см. Надпись к беседке
- Сказка о царе Салтане 393—396
- Скупой рыцарь 282, 286
- Славная флейта, Феон, здесь лежит 405—406
- Смеясь жестоко над собратом — см. Моя родословная
- Совет (Поверь: когда слепней и комаров) 65—66
- Соловей и кукушка (В лесах, во мраке ночи праздной) 65—66
- Сон. Отрывок (Пускай поэт с кадилницей наемной) 209
- Сонет (Суровый Дант не презирал сонета) 284
- С пятнадцатой весною — см. Фавн и пастушка
- Средь темной рощицы, под тенью лип душистых — см. Леда
- Станционный смотритель 130
- Странник (Однажды, странствуя среди долины дикой) 319
- Суровый Дант не презирал сонета — см. Сонет
- Сцены из рыцарских времен 101—104, 107—108, 264
- Счастливей юноша, ты всем меня пленил — см. Сафо

- Таврида (Ты, сердцу непонятный мрак) 319
- Тебе, панерсища Всперы — см. Послание Лиде
- Телега жизни (Хоть тяжело подчас в ней бремя) 129
- Ты, богоматерь, нет сомненья — см. К**
- Ты, сердцу непонятный мрак — см. Таврида
- Утихла брань племен — см. Александрю
- Участь моя решена 151—152
- Фавн и пастушка (С пятнадцатой весною) 357, 360
- Форма цифров арабских 416
- Хоть тяжело подчас в пей бремя — см. Телега жизни
- Хочу воспеть, как дух нечистый ада — см. Монах
- Христос воскрес, питомец Феба! — см. Из письма к В. Л. Пушкину
- Художнику (Грустен и весел вхожу, ваятель..) 222
- Царь Никита и сорок его дочерей (Царь Никита жил когда-то) 319, 401
- Цыганы 185, 444—447, 453—454, 456
- Чаадаеву (В стране, где я забыл тревоги прежних лет) 60
- Чаадаеву (Любви, надежды, тихой славы) 431
- Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают — см. Из Ксенофана Колофонского
- Что дружба? Легкий пыл похмеля — см. Дружба
- Что же сухо в чаше дно? 404
- Эпиграмма (Не то беда, что ты поляк) 440
- Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу 404, 410
- Юрий Милославский или Русские в 1612 году 244
- Я знаю, Лидинька, мой друг — см. Платоническая любовь
- Я помню чудное мгновенье — см. К***
- Avez-vous vu la tendre rose — см. Stances
- Eno et Ikaël 411—420
- Il est impossible que les hommes (О вечном мире) 161—162
- Stances (Avez-vous vu la tendre rose) 343, 357—358
- Table-talk 274, 279—282, 289
- To Dawe, esq^r (Зачем твой дивный карандаш) 329

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрамкин В. М.** 113
Абрамович А. Ф. 432
Аверкиев Д. В. 227
Аддисон Дж. 392
Адрианова-Перетц В. П. 369, 418
Азадовский М. К. 394, 438
Азелин Реймский 327
Аксаков И. С. 156
Александр I 121, 128, 200—202, 208, 210, 212, 249
Александр Македонский 207, 304
Алексеев М. П. 20, 52, 89, 227, 250—251, 273, 278, 299, 390, 446
Алкуин 367
Альгаротти Ф. 271
Ампер Ж.-Ж. 148
Анакреон 324, 375, 381, 404
Анастасевич В. Г. 415
Андерсон В. 163
Андреева И. С. 187, 199
Андроников И. Л. 437
Андросов В. П. 110
Аничкова Е. Е. 394—396, 400
Анненков И. А. 204, 424
Анненков Н. Н. 401
Анненков П. В. 42—43, 60, 70, 162, 227—229, 237, 253, 262, 273, 286, 288—289, 311—312, 318
Анненкова В. И. 436
Антисфен 70, 73, 79
Антон К. 447
Антуан де ла Саль 305
Анциферов Н. П. 379
Араб-Оглы Э. А. 206
Араго Д. Ф. 25
Аракчеев А. А. 440
Арбетнот Дж. 417
Арденс Н. Н. 239—240, 444
Аретино П. 329
Ариосто Л. 321, 393
Аристотель 38, 74, 77, 80
Арним Лхим фон 382, 384
Арним Беттина фон 382, 452
Артемов П. И. 222
Архангельский К. П. 285
Архимед 26, 35
Афинея (Афеней) 403—405, 407—410, 419
Ахлопова В. Н. 45
Ашевский С. (М. Н. Столяров) 209
Ашукин Н. С. 26, 233
Ашукина М. Г. 26, 233

Баженов И. А. 398
Базанов В. Г. 154, 185, 204
Базили К. М. 407
Байрон Дж. 185, 255, 262, 307, 308, 319, 343, 391—393, 427, 449—450
Бакунин Н. А. 169
Бакунина Л. А. 452
Банделло М. 278
Барант де, бар. 244
Баратынский Е. А. 45, 48, 65, 67, 78, 90, 153, 169, 171, 222, 435, 441
Барбур Ф. 249
Барбье А. 220
Барбье О. 148
Барджи Р. (Burgi) 404—406
Барков И. П. 320
Бармин А. 156
Барсов Е. В. 332
Барсуков Н. П. 65, 88, 296—297, 313, 315, 433, 435
Бартелеми 418—419
Бартнев П. И. 163, 165, 285, 296, 311—313, 320, 436, 441—442
Бастид де 186
Батеньков Г. С. 63
Батэн 198
Батюшков К. Н. 32, 48—49, 59, 87, 310, 340, 344—346, 380, 381
Бахтин Н. И. 275
Башуцкий А. П. 162

- Бегичев Д. Н. 93
Бейль Пьер (Бель) 48, 73—74, 76—78, 80
Бейсов П. С. 210
Белецкий А. И. 436
Белинский В. Г. 22, 110, 126, 155, 169, 171, 175, 223—227, 239—240, 251, 253, 267, 269, 285, 416
Белкин Р. 298
Белливар Ф. М. 247, 278
Бенедиктов В. Г. 155
Бенитцкий А. П. 53
Бенкендорф А. Х. 98, 100, 137, 228—229, 237—238, 251, 264—265
Бентам И. 198
Бенфей Т. 304
Бергсон А. 79—80
Березина В. Г. 135
Беринг В. 54
Бернар Жанвиль 379
Бернарден де Сен-Пьер Ж. А. 203, 382—383
Бернулли Д. 170
Бернштейн-Коган С. В. 127
Бертоль 198
Бестужев Н. А. 99, 159
Бестужев П. А. 159
Бестужев-Марлинский А. А. 58, 84, 110, 205, 249, 259, 313, 317, 425
Биньон 202
Био Э. 158
Бичурин Иакинф (отец Иакинфий) 88, 90, 95, 99
Благой Д. Д. 69, 225, 239, 240, 434
Блейк 391
Блинова Е. М. 275, 414
Блише 41
Блудов Д. Н. 392, 414
Блэкмор 56
Блюммль Э.-К. 384
Бобров Е. 67, 112, 118, 136
Бобров С. С. 50—51, 63
Боброва М. Н. 267
Бобылев Н. 416
Бове Ж. (архиепископ Сенесский) 247—248
Бог (Bogue) Д. 198
Богаевская К. П. 228, 429
Богданович И. Ф. 182, 184, 203, 372
Богомоллов С. А. 79
Боккаччо Дж. 304—305, 328, 388, 390—391, 393, 395
Болотов А. Т. 418
Бомарше 119
Бонвизин да Рива 368
Бонди С. М. 294
Бонштеттен К.-В. 342
Борисоглебский М. Е. 441
Бороздна И. П. 152
Боттичелли 299, 332
Бочкарев В. А. 244
Брандт Р. Ф. 153
Браун М. 56
Брентано К. 382, 384
Бродский Н. Л. 24, 63, 129, 137, 242, 255, 431
Брук Р. 56
Брунsvик М. 418—419
Брюсов В. Я. 25, 293—294, 296—300, 309—325, 338, 354, 362, 379
Брюсова И. М. 379
Брянский Я. 277
Буало Н. 318
Будилович А. 390, 413
Буков А. 414—415
Булгаков А. Я. 87, 89, 99
Булгарин Ф. В. 40, 43, 113, 138, 142—143, 151, 229, 251, 264—265, 269, 440
Булич С. К. 350
Бульвер-Литтон Э. Дж. 269
Буняковский В. Я. 122
Бурачок С. 138
Бургуэн 198
Бурдин С. М. 59
Бутурлин Д. П. 202
Бухарский А. 372
Буше Ф. 321
Бюффон Ж.-Л. 48, 54
В. В. В. (С. М. Строев) 152
Вавилов С. И. 95, 97
Вагнер И. 41
Вальтер фон-дэр-Фогельвейде 385
Вальховский В. Д. 28
Вариксон 35
Варфоломей И. 336
Васильчиков кн. 211
Васина-Гроссман В. 351—352
Ватто А. 321
Вацуро В. Э. 438
Вега (псевд.) 330
Вейс Ф. Р. 205
Векхерлин Г.-Р. 365
Великопольская С. М. 45
Великопольский И. Е. 44—45
Велланский Д. М. 117—118, 136
Вельтман А. Ф. 277, 416
Венгеров С. А. 232, 287, 298, 313—314, 338—339, 343, 355, 403, 416
Веневитинов Д. В. 41—42, 263
Венецианов А. Г. 88
Вергилий 36, 47
Верди Дж. 456
Вереvкин М. И. 64
Вересаев В. В. 436
Верещагин В. 418
Вержье Ж. 320
Веритов И. 36
Веронезе П. 332
Верховский Н. П. 269

- Верховский Ю. Н. 437
 Веселовский А. Н. 332, 377—378
 Вигель Ф. Ф. 152, 181, 320, 336
 Вьельгорский М. Ю. (Вьельгорский)
 152, 436
 Вьельгорские (Вьельгорские) 436
 Виче-Лебрен Э.-Л. 116
 Викери У. Н. 342—344, 349—350, 362,
 366, 377, 379, 383, 401
 Виланд К. М. 48, 391, 393
 Вилар де Гонекор 104
 Виноградов А. К. 135, 294, 298, 412,
 442
 Виноградов В. В. 63, 113—114, 151,
 273, 275
 Винокур Г. О. 185, 229, 237—240,
 242, 250, 257, 260, 264, 267—268, 279
 Виньи А. де 148, 280
 Виргинский В. С. 125, 128—129, 154,
 158—159, 161—163, 165
 Вишневский В. 446—447
 Владимирский Г. Д. 406
 Владиславлев В. 143
 Водозовов В. 232
 Воейков А. Ф. 47, 58, 310
 Волк С. С. 213
 Волков М. С. 125, 163—166, 170
 Волков Р. М. 394
 Волковская Э. А. 449
 Волконская М. Н. 443
 Волконские 263
 Волькенштейн В. 285
 Вольперт Л. 300
 Вольта А. 111—112
 Вольтер, М. Ф. Аруз 35, 45—46, 48—
 49, 120, 180, 186—188, 205, 214,
 244, 248, 254, 257, 259, 280, 305—
 306, 312—313, 318—319, 321, 328,
 329, 336, 381, 389—390, 396—402, 416
 Вольф 454
 Вордсворт В. 57, 149, 284
 Воронцов А. Г. 207
 Воронцов А. Р. 210
 Воронцов М. С. 128, 256, 440
 Воскресенский Е. 224
 Востоков А. Х. 54, 203
 Всеволожский Н. С. 135, 355
 Вульфферт А. 450
 Вяземский П. А. 59, 65—67, 87—88,
 93, 99, 129—133, 139—140, 150, 152,
 154—155, 157, 160—161, 164, 169—
 170, 181, 184—185, 226, 244, 254—
 255, 259, 261, 263, 266, 283—284,
 309—310, 313, 317—318, 343—350,
 392, 408, 413—414, 436
 Гавриил (митрополит) 336
 Гавриил (Айвазовский), арх. 334
 Гагарин П. С. 372
 Гаевский В. П. 313
 Гайар 189
 Галахов 417
 Галеви Ж.-Ф. 456
 Галилей 47, 52, 66, 69, 75, 81
 Галич А. И. 71, 73, 344
 Гальвани А. 111—112
 Гампельн К. 89
 Ганс Э. 453
 Гартье Э. 336
 Гастфрейнд Н. 28
 Гауэр Джон 306, 398
 Гегель Г.-В.-Ф. 77—78, 80
 Гедил 404—407
 Гейне Г. 378
 Гейтман Е. 89
 Геласий (папа римск.) 329
 Гельд Г. 403—405, 407, 409
 Гельти Л.-Г.-Х. 35
 Геннади Г. Н. 228, 418
 Генрих III (Валуа) 200
 Генрих IV (Бурбон) 176, 180, 187,
 189, 193—194, 200
 Георгиевский Г. П. 431
 Георгий Подибрад 187
 Гербарт 77
 Гербель Н. В. 294—295, 313, 429
 Гервинус Г. 290
 Гердер И. Г. 187, 338—339, 343—344,
 349, 362—366, 381
 Герман К. Ф. 213
 Герман Л. 197
 Герстенбергк Ж. 449
 Герстнер Ф. А. 164—165
 Герхардт Д. 339—342, 348—349
 Герц Г. 202
 Герцен А. И. 137, 308, 428—429,
 432—435
 Гершель В. 63
 Гершель Дж. 63, 78
 Гершензон М. О. 115, 176—177, 181
 Геснер С. 372
 Гессен С. Я. 213, 450
 Гете Вальтер 444—456
 Гете Вольф 449
 Гете И.-В. 149, 254, 265, 274, 340,
 427, 444, 447—454
 Гете Оттилия 449—452, 454
 Гизо Ф. 25, 244, 255—257, 259, 260
 Гинзбург Л. Я. 349
 Гиппиус В. В. 110, 319
 Гирландайо Д. 332
 Гиффорд Г. 267
 Гиффрей Ж. 418—419
 Глебов Гл. 24, 70
 Глинка М. И. 156, 351—354, 444
 Глинка С. Н. 267
 Глинка Ф. Н. 154, 167, 204
 Глинский М. 249
 Гнедич Н. И. 88, 151, 184, 254, 310,
 344, 414
 Гоголь Н. В. 22, 85—86, 109—110,

- 138, 165, 175, 232, 251, 291, 299,
380, 407
- Годвин В. 207, 395
Гозенпуд А. А. 250, 265
Голицын А. Н. 440
Голицын Д. В. 436
Голицын С. 88, 316
Голубков В. В. 242
Гольбах П. 190
Гомер (Омер, Омпр) 36, 257, 279
Гонгора Л. де 365
Гондон 198
Гонекор Вилар де 104
Гончаров И. А. 155—156, 422, 425
Гончарова Н. Н. (см. Пушкина-Лан-
ская Н. Н.)
Горацій 291, 321
Горбачевский И. И. 213
Горбов Д. 185
Гордон Л. С. 189
Горихвостов Д. П. 128
Горн 269
Городецкий Б. П. 240—241, 265, 268,
339, 405
Горчаков А. М. 263
Горчаков В. П. 181—182, 205, 210—
211
Горчаков Д. П. 297, 316—317
Гофман А. Г. 31
Граббе П. X. 98
Грамматин Н. Ф. 411, 416
Грановский Т. Н. 451, 453
Грекур Ж.-Б.-Ж. де 320
Гренвилл А. 254
Греч А. Н. 155
Греч Н. И. 86, 141, 265, 270, 412
Грибоедов А. С. 85, 88, 150, 232, 438
Григорий (Захарьянов), пресов. 334
Григорович Д. В. 425—426
Гризье О. 424
Гроссман Л. П. 144, 199, 256
Грот К. Я. 28
Грот Я. К. 27, 31, 117, 208, 277—278,
356, 434
Грузинский А. С. 403—404
Губер Э. И. 123
Гудар Анж (Удар) 189
Гудар де ла Мотт см. Удар де ла
Мотт
Гудзий Н. К. 105
Гуковский Г. А. 212, 242—243, 270
Гулыга А. В. 187
Гумбольдт А. 413—414
Гурьев В. П. 132, 146, 156—157
Гусев В. Е. 372—373
Гутьер Ф. 198
Гюго В. 92, 257, 259
- Давыдов В. Л. 181, 318
Давыдов Д. В. 23, 67, 72
Давыдов И. И. 38, 408
- д'Аламбер Ж. (Даламберт) 25, 35,
45, 47—48, 104, 187—189
Даль В. 119
Даниил, игумен 332
Давилевский Р. Ю. 452
Данилов В. В. 225, 387
Данилов С. С. 225
Данте Алигьери 258, 274—275, 388,
391
Дарвин Э. 57
д'Аржансон Р.-Л. 187—188
Дашков Д. В. 392
Двигубский И. А. 112, 160
Дебро Э. 243
Дебюсси К. 249
Де Валь 198
де Гонекор Вилар 104
Дейл Т. 308
Дейч А. Л. 210
Декарт Р. 35, 40, 54, 77
Де ла Мотт Удар (Гудар) 46
Делаплас М. 382—383
де ла Саль Ангуан 305
Делейр 400
Делиль Ж. 47—49, 383
Дельвиг А. А. 28—35, 37—38, 42, 45,
48, 53, 58, 78, 85, 90, 117, 124, 130,
160, 163, 261, 275—276, 313, 318,
320, 344—345, 347—348, 362, 368,
375, 383, 386, 414, 437, 438
Дельвиг А. И. 122—125, 163
Демутье Ч.-А. 349—350
Державин Г. Р. 30, 33—34, 116—117,
208, 297, 340, 373
Державин К. Н. 234, 241
Державина О. А. 242
дер Фогельвейде Вальтер фон 385
де Сен Пьер Бернарден 203, 382—
383
Дефонтен (маркиз) 47
Джонсон Бен 266
Дибич И. И. 152
Дидро 190
Диоген (циник) 70, 73—76, 78, 80
Диоген Лаэртский 74
Диодор Сицилийский 76
Дион Хризостом 306
Дмитриев В. Г. 300
Дмитриев И. И. 67—68, 391
Добровольский Л. М. 296, 299, 301
Добролюбов Н. А. 22, 169, 432
Долгоруков П. И. 182
Домашнев С. Г. 389, 401
Дондаров 313
Доу Дж. 151
Драганов П. Д. 444
Драгоманов М. 333
Драйден Дж. 390—391, 398—400
Дружинин А. В. 422, 425
Дурюлин С. Н. 146, 236, 261, 421,
425, 450

- Дыдицкая П. В. 336
 Дюбуа П. 187
 Дюгамель 35
 Дюкан М. 147
 Дюма А. (отец) 421—430, 432—435, 437—439, 442
 Дюмон Э. 247
 Дюни 399
 Дюпен А.-М.-Ж.-Ж. 137
 Дюпен Шарль (Карл) 134—140
 Дюперье Бонавентура 358—359
 Дюсис Ж.-Ф. 254, 257
- Евбул (греч.) 404
 Евецкий О. 415
 Евклид 36, 43
 Екатерина II 119, 203, 305, 401
 Елагина А. П. 449
 Елачич А. К. 312
 Елизавета (англ. королева) 259
 Елисеев С. 224
 Ермолов Н. 440
 Ефремов Д. В. 107
 Ефремов П. А. 228, 230, 295, 300, 312—313, 318, 321, 389, 401, 441
- Жарри де Манси А. 391, 415
 Жданов И. Н. 230
 Женгене 321
 Жерар (иезуит) 306
 Жирмунский В. М. 458
 Житков С. М. 121—123
 Жуанвиль 391
 Жуковский В. А. 30, 87, 88, 93, 98, 150, 152, 164, 228, 237—238, 239, 249, 250, 279, 339—340, 344—349, 355, 358, 362—363, 368, 381—382, 392, 435, 436, 450
 Жювенель де Карленка Ф. 389—390
- Заболотский П. А. 332
 Заборов П. Р. 401
 Завалишин Д. 214
 Загорский М. 264—265, 288
 Загоскин М. Н. 414
 Замков Н. К. 237
 Зелинский Ф. Ф. 287
 Зенгер Т. Г. см. Цявловская Т. Г. 239
 Зенон Элейский 70—80
 Зенон (эпикурец) 74—75
 Зигель А. 283
 Зимрок К. И. 278
 Зиссерман П. И. 44
- Иаков (монах XI в.) 331
 Иващенко А. 24
 Иероним (св.) 417
- Измайлов А. 306
 Измайлов В. В. 28, 344
 Измайлов Н. В. 77, 103, 166
 Илличевский А. Д. 27, 28, 31, 66, 69, 76, 356, 410
 Инзов И. Н. 318, 336
 Иоанн Златоуст 334
 Иоанникий Галатовский 306, 370
 Ион Хиосский 403—406
 Иосиф Флавий см. Флавий Иосиф
 Ириней 329
 Ириней (арх.) 336
- Каверин В. А. 161
 Каганович А. 418
 Кадьер Е. 306
 Кайсаров А. С. 374
 Калашников И. Т. 169
 Калиостро А. 90, 94, 97
 Каллаш В. В. 119, 297, 315, 317
 Каллий 419
 Кальдерон П. 258, 275, 328, 393
 Камаровский Л. 197—198
 Каменев Г. П. 67
 Каменецкий О. К. 54
 Камозэс Л. 320, 393
 Канн-Новикова Е. 444
 Кант И. 77—78, 187, 198
 Кантемир А. Д. 48—49, 380
 Капнист В. В. 31
 Карабанов П. М. 372
 Карамец, гр. 198
 Карамзин Н. М. 54—55, 63, 234, 240—242, 244, 252, 276, 338—339, 343, 344, 347, 349, 362—366, 382, 391, 435, 440
 Карамзина Е. А. 166
 Карамзина С. Н. 284
 Карамзины 98, 166, 438
 Каргин Д. И. 91, 105
 Карл XII (швед. король) 207
 Карлейль Т. 249
 Карсавин Л. П. 329
 Карцов Я. И. 27—28
 Каспрович Э. Л. 300, 317
 Кастелин Н. А. 225
 Кафель П.-Л. 47
 Касти Д. 305, 393
 Катакази К. А. 319, 336
 Катенин П. А. 243, 269—270
 Катиллина 248
 Катков М. Н. 226—227, 444, 446
 Катулл 321
 Каченовский М. Т. 37—38
 Кашкин И. А. 398
 Кашталева К. С. 64
 Квиццилан 417
 Келлер Г. 385
 Кёниг Г. 444—446, 453
 Кеплер И. 47

- Керинф (Меринф) 329
 Кёрнер Т. 385—386
 Кипарский В. 153
 Киприан Карфагенский 326
 Киреевский И. В. 48, 85, 110, 135,
 137, 221, 265, 279, 408
 Кирпичев М. В. 150
 Киселев Н. Д. 88
 Киселев П. С. 431
 Китс Дж. 57
 Китчин Д. 43, 309
 Клейст Э. фон 66—67, 69
 Клеман М. К. 355
 Климент Александрийский 308
 Клопшток Ф.-Г. 35
 Клуге проф. 117
 Клушин А. И. 371
 Княжнин А. 374
 Княжнин Я. Б. 69
 Кобеко Д. Ф. 203
 Ковалевский Е. П. 392
 Ковалинская 117
 Ковальницкая О. В. 309
 Козельский Я. П. 204
 Козлов И. И. 281
 Козловский П. Б. 25, 86, 170—171,
 291—292
 Козмин Н. К. 253, 275, 283, 408, 412
 Козодавлев О. П. 83—84
 Колосова А. М. 269—270
 Колошин П. И. 154
 Кольридж С.-Т. 43, 260, 279
 Коменский Я.-А. 187
 Кондорсе 170
 Контан д'Орвилль 400
 Коперник Н. 49, 53, 55, 68—69
 Коплан Б. И. 59
 Корнель П. 257
 Корнуол Б. 285
 Коровин Г. М. 69, 390
 Коростин А. Ф. 88—89, 99
 Корсак Ю. 141
 Корф М. А. 27, 277
 Косяровский П. 85
 Котляревский Н. А. 231
 Кочубей В. П. 88, 210
 Копанский Н. Ф. 356—358, 371
 Копелев А. И. 408
 Кравец Т. П. 106
 Краевский А. А. 164, 223
 Крам Р. (Сгум) 45—46, 149
 Красильников А. И. 69
 Крафт Г.-В. 54
 Крачковский И. Ю. 64
 Кривцов П. И. 90, 309
 Кромвель О. 365
 Крутлый А. О. 414
 Круммахер Ф.-А. 374
 Крупенский М. С. 336
 Крüse Э. 187
 Крюков Н. А. 204—205
 Крылов И. А. 31, 58, 150, 154, 371,
 435
 Ксенофан Колофонский 71, 404—410
 Кугель А. Р. 288
 Кузен В. 78, 408—409
 Кузнецов Б. Г. 59
 Кузнецов Н. 61—62
 Кузьмина В. Д. 402, 418
 Кукольник Н. В. 156—157
 Кулешов В. И. 226
 Кулибин И. П. 91, 104—105
 Кулиш П. А. 86
 Куницын А. П. 75
 Курганов Н. Г. 67—69, 75
 Курочкин В. С. 132
 Купелев-Беабородко Г. А. 425
 Кухельбекер В. К. 34, 43—44, 77,
 205, 254, 264, 271, 276—277, 339—
 342, 383, 386, 408, 450
 Лаврецкая В. 240
 Лагарп Ж.-Ф. 189, 254, 257, 265, 390
 Лажечников И. И. 92
 Лазарев П. П. 82
 Лазарев Х. Е. 100
 Лактанций 308
 Ламартин А. де 381
 Ламетри Ж. О. 336
 Ламотт 198
 Лансиваль Л. де 47
 Лаплас П. С. 170
 Лапуэнт С. 168
 Ларошфуко Ф. де (Рошефукольд)
 205
 Лафонтен Ж. де 305, 328, 381, 393
 Лебрен Э. 45, 116
 Левашов Н. В. 124
 Лёве К. 447—448
 Левин Ю. Д. 266, 275, 277, 290
 Ле Винтер О. 283
 Левитский И. 34
 Левкий Харин 329
 Левкович Я. Л. 410
 Лёвшин В. А. 204
 Легуве Э. 281
 Лейбниц Г.-В. 35, 40, 77, 187
 Лем Ч. 278, 290, 391
 Лемке М. К. 138
 Лемонте П.-Э. 58, 60, 244
 Лемьер А.-М. 47
 Лендор У. С. 391
 Ленин В. И. 80
 Ленкевич Ф. И. 53
 Ленц Э. Х. 83, 112—113
 Леонкавалло Р. 456
 Лепехин И. И. 54
 Лери 418
 Лермонтов М. Ю. 93, 310—311, 313,
 323—324, 422, 428, 431, 433, 434,
 437—438

- Лернер Н. О. 25, 118, 145, 163, 285, 288, 299, 397, 401, 403, 411—412
 Леруа Ж. и Леруа П. (Lerouy) 116, 118, 120
 Лесков Н. С. 306
 Лессинг Г. Э. 305, 324
 Летурнер П. 256—258
 Лефевр де Виллебрэн Ж.-Б. 403—407, 409
 Либрехт Ф. 304
 Лигин В. 84
 Ликург 196
 Линней К. 47, 54
 Линниченко И. А. 299
 Липранди И. П. 181—182, 205, 319
 Липс 198
 Лирондель 267
 Лихонин М. Н. 136
 Лобанов М. Е. 414
 Лобанов-Ростовский А. 128
 Лобачевская В. А. 44
 Лобачевский Н. И. 44—45, 82
 Логау Ф. фон 385
 Лодыженский А. 187, 198
 Лозинский М. Л. 286
 Локк Дж. 77
 Ломоносов М. В. 49—51, 56, 58—60, 67—69, 76, 390, 413
 Ломоносов Н. Г. 344, 348
 Лонгинов М. Н. 295, 300, 310
 Лопе де Вега Ф. 393
 Лорер Н. И. 205, 212
 Лотар (король) 327
 Лотман Ю. М. 184, 271
 Лоуренс Р. 308
 Лузянина Л. Н. 252
 Луиджи да Порто 278
 Лукиан 413
 Лукин (инж.-подпоручик) 124
 Лунин М. С. 88, 220, 250
 Лупанова И. П. 291
 Лурье С. Я. 301—303
 Львов Ф. П. 117
 Любарский А. 82, 107
 Людовик XIV (Бурбон) 198, 207, 244
 Людовик XV (Бурбон) 120, 247, 248
 Людовик XVI (Бурбон) 246—247

 Мабли Г.-Б. де 190, 207, 271
 Мазарини Дж. 328
 Мазуччо Гуардаги 305
 Майков В. И. 318
 Майков Л. Н. 44, 176—177, 256, 262, 320, 337
 Майский Ф. Ф. 438
 Макадам Дж. 131—132
 Макаров Н. П. 326
 Макаров П. И. 373
 Маковельский А. 70
 Макогоненко Г. П. 418
 Максвелл Дж. 82
 Максим Грек 369
 Максимов А. Г. 344
 Максимович М. А. 84, 85, 93, 130, 136
 Максимовский М. 121
 Малевский Ф. 67
 Малейн А. И. 345
 Малерб Ф. 358—359
 Малиновский В. Ф. 206—208, 210—211
 Малиновский И. В. 208
 Малов 38
 Мандес М. И. 79
 Манн Ю. В. 251
 Марковский М. 306
 Маро К. 369, 418
 Марстон 269
 Мартынов И. И. 391
 Мартынов Н. С. 438
 Масанов И. Ф. 297
 Маттезон И. 251
 Маттисон Ф. 342
 Маурет Л. 450
 Мацкевич Л. С. 336
 Межевич В. С. 223
 Мезьер Л. 278
 Мейерхольд В. Э. 234
 Мейлах Б. С. 127, 279
 Мелисс 71
 Мельгунов Н. А. 446, 451, 453
 Мендельсон-Бартольди Ф. 445, 448—449, 452—453
 Меншиков А. С. 128
 Мерзляков А. Ф. 34, 316
 Мерилью М. 247
 Мериме П. 119, 135, 294, 298, 441—442
 Меринг Ф. 213
 Меринф (Керинф) 329
 Мерсье Л. С. 142, 187, 190
 Месмер Ф. А. 116—118
 Местр Ж. де 216—220
 Метерлинк М. 249
 Мещерские 152
 Мещерский Э. 450
 Милашевич И. 391, 415
 Милонов М. В. 380
 Мильтон Дж. 258, 274, 308, 320, 333, 369, 392, 406
 Минский Н. 287
 Минье Ф.-А. 244—245
 Миньковский Г. 298
 Мирабо О. 246—249, 252
 Митьков В. Ф. 298, 315—316
 Михаил Павлович (вел. князь) 122—123
 Михайловский Н. К. 231—232
 Мпцкевич А. 67, 88, 141—144, 386
 Мпезифей 404
 Модзалевский Б. Л. 42, 44—45, 63,

- 73, 88, 99, 163, 170—171, 178, 200,
217, 220, 245, 247, 255—256, 271,
277—279, 316, 320, 347, 404, 409, 440
- Модзалевский Л. Б. 44—45, 62, 103,
152, 245, 276
- Моль Р. 198
- Мольер 186, 188, 258, 274, 282
- Монго А. 119
- Монгольфе (братья) 116—118
- Монтгомери Д. 308
- Монтень М. де 417
- Монтескье Ш.-Л. (Montesquieu) 257
- Мордвинов А. Н. 100
- Мордвинов Н. 160
- Мордовченко Н. И. 296, 299, 301
- Морзе С. 92
- Морозов Павел 38—40
- Морозов П. О. 62, 70, 223, 228—230,
232—235, 237, 313—314, 321—322
- Мур Т. 307—308, 317, 392—393
- Муравьев М. Н. 54
- Муравьев Н. М. 204, 214, 443
- Муравьев Н. Н. 315
- Муравьев-Апостол И. М. 36—37
- Муравьева А. Г. 443
- Мурьянов М. Ф. 146
- Муханов Н. А. 88
- Мюссе А. де 148, 168, 284
- Мятлев И. П. 401, 436
- Надеждин Н. И. 84, 93, 224, 267, 275,
395, 412—413
- Надир (шах) 207
- Надлер В. К. 200
- Наполеон I (Бонапарт) 181, 201—
202, 208, 211, 320
- Нарышкина М. А. 23
- Нахимов А. Н. 32
- Нащокин П. В. 285
- Нащокин П. Н. 100
- Недоба Ф. И. 336
- Неверов Я. М. 451—455
- Незеленов А. И. 230—231, 312, 319
- Нейштадт Вл. 431, 444
- Неккер де Соссюр 260
- Некрасов Н. А. 425
- Некрасова Е. С. 432—433
- Неустроев А. Н. 366
- Нечаев С. Д. 38
- Нечаева В. С. 224, 261
- Нечкина М. В. 215, 425
- Никитенко А. В. 150—151, 239
- Николай I 88, 98, 122, 137, 228—229,
237, 239, 251, 264, 297, 315—316,
428, 441
- Никольс 413
- Никольсон М. 56—58
- Николюкин А. Н. 309
- Нисерон Ж.-П. 390
- Новиков Н. И. 204, 232, 242, 401
- Новлянская М. Г. 106
- Новосельцев 245
- Норов А. С. 380
- Ноэль М. 382—383
- Нусинов И. М. 288
- Ньютон И. (Невтон) 35, 40, 47, 52,
54—58, 59, 104
- Облеухов Д. А. 416
- Овидий 287, 321, 390
- Огарев Н. П. 155, 295, 299, 311—313,
315, 320, 429, 430, 432, 435, 437, 454
- Огарева Е. С. 440
- Огиенко И. И. 370
- Одоевский А. И. 438
- Одоевский В. Ф. 25, 35, 71—73, 76—
77, 89—90, 108—110, 117, 143, 163—
164, 170—172, 276—277, 408, 436,
445, 452—453
- Одынец А. 141—142, 144
- Озеров В. А. 278
- Окен 41
- Оксман Ю. Г. 196, 307, 338
- Оленин А. А. 88
- Оленин А. Н. 154
- Оленина-Андро А. А. 88
- Оленины 151
- Ольдекоп Е. 113, 450
- Ольшки Л. 46
- Онегин А. Ф. 102, 440
- Орлов А. С. 290
- Орлов В. Н. 54, 85, 92—93, 438
- Орлов М. Ф. 177, 180—183, 196, 202—
203, 205, 216, 220
- Орлова Е. Н. (Раевская) 176—177,
180—182, 184, 192
- Осипов Н. П. 318
- Остолопов Н. Ф. 117
- Островский А. Н. 105
- Остроградский М. В. 82, 122, 412
- Отрешков Н. И. см. Тарасенко-От-
решков Н. И.
- Павлицев Л. С. 319—320
- Павлов М. Г. 72, 112, 408
- Павлов-Сильванский Н. П. 232—233
- Павлова К. К. 155
- Павловский Е. Н. 57
- Палье де Сен-Жермен 189
- Панаев И. И. 277, 425—426
- Паоли-Шань 198
- Парменид 70—72
- Парни Э. 299—300, 311—312, 315, 317,
320—324, 326, 328, 330, 379, 380,
381
- Паскаль Б. 42, 44, 47
- Паскевич И. Ф. 90, 152
- Пеш В. 187
- Перевощиков Д. М. 86, 112

- Перетц В. Н. 403
 Перовский А. А. (Погорельский) 413—414
 Перси Т. 365
 Пестель П. И. 182, 194, 213
 Петерс 105
 Петин И. А. 33
 Петр I 56, 127, 201, 218
 Петрарка Ф. (Петрарк) 388, 391
 Петров А. А. 55
 Петров В. В. (акад.) 111
 Петров В. П. 63
 Петровский А. 331
 Петровский Н. М. 372
 Петровский С. С. 298
 Пехтелев И. Г. 225
 Печерин В. С. 220
 Пещуров А. Н. 263
 Пиксанов Н. К. 162, 284, 295, 317
 Пиндар 43, 59
 Пируньков В. Н. 91, 105
 Писарев А. И. 92
 Писемский А. Ф. 425
 Пифагор 35, 69
 Пишо А. 255, 257
 Платон 35, 71, 408
 Плетнев П. А. 23, 124, 160, 164, 237—238, 249, 272—274, 278, 320, 355, 434, 436, 443
 Плутарх 248, 256
 Плюшар А. А. 86, 112, 407
 Пнин И. П. 52—54
 Погодин М. П. 65, 88—89, 132, 134, 171, 263, 264, 276, 433, 435
 Погорельский А. см. Перовский А. А.
 Поджио А. В. 204
 Покровская В. Ф. 418
 Покровский М. М. 75, 253, 267
 Покровский Н. 332
 Полевой К. А. 92, 136, 278—279
 Полевой Н. А. 67, 84, 92—93, 105, 135—136, 138, 160, 222, 226, 266—267, 279, 408, 412, 415
 Полежаев А. И. 154, 281, 425
 Полибий 35
 Поливанов Л. И. 354, 403
 Полонский А. Я. 423
 Полонский Я. П. 91—92, 155
 Полторацкий С. Д. 67, 295, 440—442
 Пономарев С. И. 93, 130, 132—133
 Поп А. 392, 417
 Попов М. В. 401
 Попов П. С. 422
 Поповский Н. Н. 50
 Попугаев В. В. 54
 Порфирьев И. 308
 Поснов М. Э. 329
 Потемкин-Таврический Г. А. 117
 Прад (Pradt) 200, 202
 Прокофьев Е. А. 214—215
 Прункул 336
 Псевдо-Каллисфен 304
 Псевдо-Киприан 326—327
 Птоломей 49, 53, 68
 Путята Е. В. 88
 Путята Н. В. 169, 441
 Пушкин В. Л. 87, 264, 310, 346
 Пушкин Л. С. 255, 347, 355, 437
 Пушкин С. Л. 347
 Пушкина-Ланская Н. Н. (Н. Н. Гончарова) 99, 163
 Пуштин И. И. 205, 208, 356—357, 379
 Пуэрсине С. 47
 Пьятоли С. 201
 Рааб Г. 341, 450
 Рабан Мавр (епископ Фульдский) 327
 Рабинович М. Б. 242
 Рабо де Сент-Этьен 244
 Радивиловский А. 370
 Радищев А. Н. 49, 52, 91, 117, 126—127, 207, 232, 246, 316, 402
 Радовский М. И. 107
 Радченко К. 329
 Раевский А. Н. 176, 180, 181
 Раевский В. Ф. 63, 181—183, 204—205, 210
 Раевский Н. Н. (сын) 258, 261—262, 273
 Раевская Е. Н. см. Орлова Е. Н.
 Разумовская Н. К. 170
 Раич С. Е. 222
 Райков Б. Е. 49, 69
 Расин Ж. 257—259, 274, 321
 Резанов В. И. 56, 342, 358, 382
 Реизов Б. Г. 259—260
 Рей М. 186
 Рейнольдс Э. 269
 Рейсер С. А. 428, 431
 Рекке Э. фон дер 340, 342
 Ременникова Ю. С. 398
 Ренкевич А. А. 442
 Риман Г. 446, 448
 Рихман Г. В. 51
 Ршпель А.-Ж. 328
 Робертсон В. 244
 Робеспьер М. 197, 246
 Ровинский Д. 308
 Рогожин В. Н. 203
 Рожалин Н. М. 263, 449
 Розанов И. Н. 130, 347
 Розанов М. Н. 185, 284, 289—290
 Розанов Н. И. 135—136, 138
 Розберг М. П. 60, 136
 Розен Е. Ф. 160
 Ролли П. 380
 Роллень Ш. 389
 Ронсар П. 359, 367
 Ростопчин А. Ф. 436
 Ростопчина Е. П. 422—443
 Ростопчина Л. А. 430

- Ротчев А. 275
 Руссо Ж.-Ж. 51, 176—177, 179—180, 183—196, 199—200, 203—204, 210—212, 214, 216
 Рылеев К. Ф. 105, 386, 431
 Рыскин Е. И. 436

 Саади 365
 Сабуров А. А. 87
 Савельев А. 113
 Сад Д. А. Ф. маркиз де 320
 Садиков П. А. 181
 Сакки 456
 Саксон Грамматик 278
 Сакулин П. Н. 35, 72, 110, 143—144, 163, 171, 408
 Самсонова Н. 350
 Саннадзаро Я. 369
 Сарразен Н. 199
 Сафо 404
 Сватковский В. П. 79
 Сватонь В. 250—251
 Свенцицкий И. 331—332, 334—335
 Свербеев Д. Н. 150
 Свиньян П. П. 104, 158
 Свистунов П. Н. 204
 Свифт Дж. 417
 Северьянов С. 335
 Сегюр Л.-Ф. 135
 Седулий Скотт 366—367, 369
 Секст Эмпирик 74—75
 Селезнев И. 28
 Селивановский Н. С. 316—317
 Семевский В. И. 202, 204—205, 210
 Семенников В. П. 203
 Сенковский О. И. (барон Брамбеус) 86, 135, 161
 Сен-Ламбер 45
 Сен-Пьер (аббат) 176—180, 184—196, 198—201, 203—205, 210—211, 216, 219
 Сен-Симон А. 144, 198
 Сент-Бёв Ш.-О. 245, 284
 Сербинович К. С. 98
 Сервантес М. де 258, 358, 393
 Сиверс А. А. 202
 Сийес (аббат) 249
 Симонов И. М. 82
 Синкелл Георгий 308
 Синявский Н. 76, 354
 Сиповский В. В. 55
 Сирано де Бержерак 69
 Сиркур (Хлюстиана) А. С. 23
 Скавкин Е. В. 425
 Скалигер И. 308
 Скварчиньска С. 142
 Скотт В. 110, 265, 274, 283, 324, 391—392, 395
 Слопцов П. А. 169
 Слонимский А. Л. 243, 269
 Смиренский Б. В. 41, 264

 Смирнов В. 254
 Смирнов Н. А. 64
 Смирнов-Сокольский Н. П. 403
 Снегирев И. М. 38, 226
 Соболева Ю. Д. 232
 Соболевский С. А. 67, 135, 294—295, 298, 436, 440—442
 Соколовский Е. 91, 109, 121—123
 Соллогуб В. А. 436
 Соловьев Вл. С. 377
 Соловьева О. С. 280, 354
 Сомов О. М. 85, 259, 275
 Сопиков В. С. 203, 206
 Софроний (патриарх Иерусалимский) 332
 Спасский Г. И. 158
 Спасский Ю. 282
 Спенсер У. 369, 392—393, 400, 417
 Сперанский М. Н. 417
 Сперджен К. (Spurgeon С. F. E.) 388, 390
 Спиноза Б. 336, 362
 Спиридов М. М. 205
 Срезневский В. И. 43, 105, 335
 Срезневский И. И. 335, 415
 Сталь Ж. де 244, 249, 260—261
 Станкевич Н. В. 149, 451—452
 Стендаль 259
 Степанов М. 220
 Стерн Л. 255
 Стефенсон Дж. 84
 Стечкин Н. Я. (Стародум) 296—297
 Стиль Р. 392
 Столянский П. 113
 Столяров М. Н. (Ашевский С.) 209
 Стороженко Н. И. 253, 288, 401
 Строганов С. Г., граф 226
 Строгов Э. И. 98
 Строев П. М. 136
 Строев С. М. см. В. В. В.
 Струве В. Я. 82
 Струве Г. П. 254—255
 Струговщиков А. 205
 Струйский Д. 167
 Суворин А. С. 230, 314
 Сулакадзев А. И. 416
 Султан-Шах М. П. 169
 Сульпиций Север 304
 Сумароков А. П. 59, 267
 Сумцов Н. Ф. 332
 Сухомлинов М. И. 50, 69, 84, 229—230, 265, 391, 413
 Сушков Н. В. 433—434, 438, 441—442
 Сушков С. П. 432—433
 Сыроечковский Б. Е. 213
 Сюлли М., герцог 176, 180, 187, 193

 Таненбаум А. С. 146
 Тарасенко-Отрешков Н. И. (Отрешков Н. И.) 25, 129, 162—164
 Тарасюк Л. И. 424

- Тассо Т. 299, 393
 Тагищев А. И. 128
 Тагищев И. 128
 Тейлор В. 306—307
 Теккерей В. 418
 Теннисон А. 149, 269
 Тербенев И. И. 418
 Терио 188
 Тертуллиан 308
 Тибулл 317
 Тидге Х.-А. 339—342
 Тик Л. 278—279, 386
 Тило В. 374
 Тимофеев А. В. 376
 Тимофеев К. 290
 Тимофеев С. 253, 267
 Тинторетто Я. 332
 Тируитт Т. 391
 Тихонравов Н. С. 389
 Тич Ф. 453
 Тоблер А. 367
 Толстой А. К. 156
 Толстой Л. Н. 115, 201
 Толстой П. А., граф 315—316
 Томашевский Б. В. 62, 103, 134, 147,
 177—179, 184, 192—193, 229, 245,
 254—256, 258, 276, 280, 282, 289,
 294—296, 299—302, 325—326, 329—
 330, 332—334, 349, 355, 404, 412
 Томсон Дж. 55—57
 Торричелли 47
 Торсон К. П. 214
 Траубе Л. 367
 Трегубов И. Н. 23
 Тредиаковский В. К. 370
 Треттёр 198
 Тронский И. М. 419
 Грубешкой С. П. 215
 Тувим Ю. 418
 Тукалевский В. 336
 Туманский В. И. 342
 Туманский Ф. И. 438
 Туманский Ф. О. 413
 Тургенев А. И. 87, 98, 152, 181, 226,
 309—310, 317, 340, 347, 392, 408,
 414, 435—436
 Тургенев И. С. 285—286, 297, 310
 Тургенев Н. И. 128—129, 213
 Тургенев С. И. 128—129, 213
 Тучков С. А. 91
 Тынянов Ю. Н. 205
 Тыркова-Вильямс А. В. 356
 Тьер М.-А. 244—247
 Тьерри О. 244
 Тюрин 93
 Тютчев Ф. И. 250, 377, 433—434
 Тютчева Э. Ф. 434
 Удар Анж см. Гудар Анж
 Удар де ла Мотт (Гудар де ла
 Мотт) 46
 Уилс 269
 Улапд Л. 385
 Улыбышев А. Д. 215
 Уортоп Т. 395
 Уродков С. А. 162, 166
 Усов С. 94, 138
 Ушаков Д. Н. 153
 Ушакова Е. Н. 89
 Уэтстон Дж. 289—290
 Фавар Ш.-С. 306, 399
 Фадеев А. В. 212
 Фалес 53
 Фарадей М. 83, 112—113
 Фарнгаген фон Энзе 226—227, 444—
 446, 451—456
 Федина В. С. 377
 Фейнберг И. Л. 244
 Феклистов С. 298
 Феллер Ф. 390
 Феон 404
 Ферретто 456
 Фет А. А. 377
 Филдинг Г. 207, 306
 Филимонов В. С. 266
 Филипп Красивый 187
 Филон 308
 Филонов А. 227, 246
 Фиорентино Дж. 278
 Флавий Иосиф 304, 306
 Флориан Ж.-П.-К. де 358
 Фонвизин Д. И. 119, 418
 Фонвизин М. А. 204, 214
 Фок П. Я. фон 238—239
 Фонтенель 46, 48
 Фонтон Ф. П. 78, 90—91, 94—95
 Фосс Ю. 143
 Фра-Анджелико 332
 Фрагонар Ж.-О. 321
 Франкёр Л.-Б. 85, 170
 Франк-Каменецкий И. Г. 302
 Франклин В. 59
 Франция Ф. 332
 Фрауенгофер 82
 Фрерон Э. К. 390, 400
 Фридрих II (имп. XIII в.) 368
 Фролов Н. Г. 149, 452, 454
 Фролова Е. П. 149, 452
 Фромманн А. 453—456
 Фроммаш К.-Ф. 454
 Фруассар Ж. 391
 Фультон Р. 150
 Фурье Ш. 144
 Фусс П. Н. 31—32
 Фупе Ж. 255
 Хаютин А. Д. 184
 Хвостова 440
 Хексельштейндер Э. 341
 Херасков М. М. 50—51

- Херсонский Н. X. 79
 Хитрово Е. М. 245, 280
 Ходасевич В. Ф. 435
 Холиншед 260
 Холмская О. 406
 Холодковский Н. А. 57
 Хольцхауер Г. 447
 Хомяков А. С. 270
 Хоп В. 309
 Хэзлитт 279, 290
- Цебрикова Р. М.** 189
Цезарий Гейстербахский 304, 306
 Цертелев, кн. 375
 Цехновицер О. 143
 Цицерон 59, 248
Цявловская Т. Г. см. Зенгер Т. Г. 67, 89, 341
Цявловский М. А. 76, 114, 181, 204, 256, 263—264, 288, 295, 326, 341, 343, 347, 353—354, 355, 357, 438, 440, 442, 451
- Чаадаев П. Я.** 60, 220, 408, 431
Чарторыйский А. 201
Чебан С. 332—333
Чебышев А. А. 275
Черейский Л. А. 414
 Черепановы 156
Чернышев З. Г. 430
Чернышевский Н. Г. 285, 432
Черняев Н. И. 70
Черняев П. 404
Чехов А. П. 115
Чижевский Д. (Čiževskyi) 67, 142, 251
Чижов Ф. В. 165
Чингио Дж. 289—290
Чирахов Ф. X. 107
Чосер Дж. (Шангер, Шоцер, Чау-сер) 306, 388—402
Чубинский П. П. 306, 333
Чулков Г. И. 377
Чулков М. Д. 204
Чулков Н. П. 443
Чумаков 38
- Шабрие А.-Э.** 456
Шаликов П. И. 93
Шамиль 421
Шапц д'Отрош 91
Шатобриан Ф. Р. де 35—37, 258, 282, 406
Шафрановский К. И. 106
Шафтсбери 362
Шавохской А. А. 113—114, 264
Шварц Б. 109
Шевчепко Т. Г. 324—325, 387
- Шевырев С. П.** 68, 251, 256, 264, 285, 375, 393, 433, 449—451
Шекспир В. 102, 224, 231, 234, 253—292, 369, 388, 391—393, 400
Шелли П.-Б. 57
Шеллинг Ф.-В. 41, 71—72
Шенье А. 47, 246
Шервинский С. В. 251
Шиллер Ф. 35, 265, 349, 448, 454
Шиялинг П. Л. 83, 87—92, 94—95, 97—101, 107—109, 151
Шильдер П. К. 91
Шишков А. С. 62
Шкловский В. Б. 204
Шлегель А.-В. 260—261, 265, 279, 283, 321
Шлецер А.-Л. 36
Шлифштейн С. 353—354
Шляпкин И. А. 70, 288
Штейниц Г. 312
Штёкль Э. 448, 452—456
Штрайх С. Я. 99, 250
Штранге М. М. 204
Шульман, генерал 319
Шульц В. К. 422, 426—427
Шульце В. 412
Шуман Р. 448
Шумигорский Е. 297
- Щеглов В.** 298, 315
Щеглов Н. П. 112, 122, 159—161
Щеголев П. Е. 23, 42, 204—205, 263, 311
Шукин П. И. 88, 136
- Эдлинг Р. С.** 200
Эйдельман Н. Я. 429
Эйлер Л. 31, 52, 54, 81
Эйхенбаум Б. М. 177, 201, 271
Экенсайд М. 57
Элиас 70
Энгельгардт Б. М. 268
Эразм Роттердамский 187, 417
Эрбен К. Я. 387
Эрстед Г. X. 83, 113
Эттингер П. Е. 253, 338, 363
- Юзефович М. В.** 278
Юм Д. 244
Юсупов Н. Б. 305
- Языков Д. Д.** 401
Языков Н. М. 123, 155, 291
Якимов В. А. 276
Якоби Б. С. 83, 99, 105—108
Якоби И.-Г. 368
Яковлев В. 336
Яковлев Н. В. 279, 284

- Яковлев П. Л. 415
 Якубович Д. П. 101, 103—104, 120,
 123, 282, 289, 407, 416
 Якушкин В. Е. 96, 98, 314, 429
 Якушкин Е. И. 429
 Яроцкий А. В. 90—91, 98—100, 109
 Ярхо Б. И. 418
 Ясинский Я. И. 245
 Яцевич А. 147
 Яценко А. 187, 190—191, 198
- Achinger G. 389
 Alexandre R. 247
 André J. 358
- Bahner W. 188—189
 Bauerreis 385
 Beil R. 369, 384
 Bengesco G. 248
 Bergmann A. 447
 Biademe L. 367
 Biegeleisen H. 387
 Bittner K. 381
 Blume F. 456
 Borner W. 187
 Borrow G. 307
 Brockmeier P. 258, 390
 Bush D. 149
- Cadot M. 424
 Cajou F. 79
 Calcagnini C. 413
 Cole A. H. 168
 Coleridge E. H. 308
 Corbet Ch. 421
 Cucuel G. 399
- D'Ancona A. 201
 Daul A. 104
 Dieterich K. 368
 Döllinger I. von 329
 Dornseiff F. 417
 Dorow W. 291
 Drennon H. 56
 Dreyfus 198
 Drouet J. 187
 Dudden F. H. 306
 Dudley F. A. 57
 Dünzer H. 385
- Ebert A. 367
 Erich O. 369, 384
- Fauchet C. 258, 390
 Forstner D. 369
 Fort P. 328
- Fréchet R. 307
 Frisson G. 328
 Frobenius V. 149
 Fusil C. 45
- Gaederitz K.-T. 455
 Galinsky H. 272
 Gerling L. 78
 Gibian G. 272, 290
 Gilman M. 280
 Grabo C. 58
 Grant E. M. 92, 148, 150, 153, 168
- Haffart E. 362
 Haines C. M. 257, 259
 Hartung J. A. 384
 Haskell D. C. 168
 Hausjakob 109
 Heiss R. 79
 Herford C. H. 253
 Hertzlet W. L. 109
 Hexelschneider E. 341
 Hilaire le Gai 412
 Hoefler F. 59
 Hoffman M. 623
 Huillard-Bréholles A. 368
 Hunter A. C. 400
- Ilvonen E. 327
 Ivanov A. 252
- Jantzen H. 367
 Jean le Diacre 327
- Karsten S. 406
 Kind F. 339, 341
 Kitchin G. 309
 Köster L. 330
 Koyré A. 79
 Krauss F. S., dr. 306
 Kreft B. 253
 Kuckhoff A.-G. 457
 Kurtz J. H. 308
- Lamb Ch. 278
 Landau M. 304
 Lavrin J. 253
 le Bachelet X. M. 330
 Lecoy de la Marche 330
 Lefranc M. A. 369
 Lesur C. L. 217
 Lévi L. 419
 Logan J. V. 57
- Manitius M. 367
 Marian 333
 Mathauserová 418

Maurois A. 422
Mayn G. 308
Meier J. 384
Meynieux H. 177
Michelet D. K. L. 78
Mickiewicz L. 141
Miller Ch. K. 417
Moland L. 329
Mühlenkamp I. 196

Novati F. 327

Onions C. T. 283
Oswald J. H. 308

Partridge E. 131
Pctitan G. 185
Petrus de Vinea 368
Petsch R. 385
Piaget 453
Pimentino G. G. P. 328
Pommier V. 153
Pönitz A. 307
Pons de Verdun 67
Propper M. v. 450

Rammelmeyer A. 389
Raumer K. v. 187
Reissner E. 341, 450
Ritter von Perger 369
Roger A. 247
Ruutz-Rees C. 369

Saran F. 362
Schlieter H. 389
Schlösser A. 457
Schmidt A. 283
Schnitzler J. H. 150
Schöpke O. 391, 398
Senélier J. 186
Sesemann W. 79
Simmons E. J. 389
Spurgeon C. 388
Steinert W. 386
Stern A. 386
Still A. 112
Struve O. 31
Suffel J. 422
Suphan B. 363, 365
Swann H. J. 168

Taxil L. 328
Tesnière L. 167
Tillyard E. M. 291

Ueberweg-Heinze 80

Venne A. van der 447
Vogel H. 454

Wagenselius 329
Wahl H. 450
Walther H. 367
Weinreich O. 304
Wissemann H. 349
Wolf T. A. 253
Wolff H. Chr. 251
Wright T. 327

ОГЛАВЛЕНИЕ

Академик М. П. Алексеев и его роль в развитии науки о литературе (В. Н. Баскаков, А. С. Бушмин)	5
Предисловие	20
Пушкин и наука его времени	22
Пушкин и проблема «вечного мира»	174
Ремарка Пушкина «Народ безмолвствует»	221
Пушкин и Шекспир	253
Заметки о «Гавриилиаде»	293
Споры о стихотворении «Роза»	337
Пушкин и Чосер	388
К источникам «Подражаний древним» Пушкина	403
Запись Пушкина о «Трагедии, составленной из азбуки французской»	411
К тексту стихотворения «Во глубине сибирских руд»	421
Легенда о Пушкине и Вальтере Гете	444
Библиографические справки	457
Указатель произведений Пушкина	459
Указатель имен	463

CONTENTS

Academician M. P. Alexeyev and his part in the advance of literary studies (<i>by A. S. Bushmin, V. N. Baskakov</i>)	5
Preface	20
Pushkin and contemporary science	22
Pushkin and the problem of «eternal peace»	174
Pushkin's stage direction: «The people are speechless»	221
Pushkin and Shakespeare	253
Notes on «The Gabrieliade»	293
Controversy about the poem «Rose»	337
Pushkin and Chaucer	388
Concerning the sources of Pushkin's «In imitation of the ancients»	403
Pushkin's note on «The tragedy compiled of the French ABC»	411
On the text of the poem «Deep in the Siberian mines...»	421
Legend about Pushkin and Walther Goethe	444
Bibliographical notes	457
Index of Pushkin's works	459
Index of names	463

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»**

*Для получения книг почтой
заказы просим направлять по адресу:*

117192 Москва, В-192, Мичуринский пр., 12
Магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»

197345 Ленинград, П-345, Петрозаводская ул., 7
Магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига»

- 480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13;
320093 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 Душанбе, пр. Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;
252142 Киев, пр. Вернадского, 79;
252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
277012 Кишинев, пр. Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1;
660049 Красноярск, пр. Мира, 84;
443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 Ленинград, Литейный пр., 57;
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2;
199034 Ленинград, 9 линия, 16;
220012 Минск, Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);
103009 Москва, ул. Горького, 8;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630076 Новосибирск, Красный пр., 51;
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр., 22 («Книга — почтой»);

142292 Пущино Московской обл., МР «В», 1;
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 Уфа, Коммунистическая ул., 49;
720001 Фрунзе, бульв. Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).